

КОРЕ ХОЛТ

Лонунг

К. ХОЛТ



Конунг



KAARE HOLT	
KONGEN. MANNEN FRA	1966
UTSKJAERET	
KONGEN. FREDLOSE MENN	1967

Конунг

КОРЕ ХОЛТ

Конунг. Человек
с далеких островов

Конунг. Изгой



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1996

ББК 84.4 Нр.
К 64



Редколлегия серии
Наталия Будур
Любовь Горлина
Сергей Кондратов
Ирина Шурыгина

Художники
Нонна Алёшина
Татьяна Хрычёва

Перевод с норвежского
Любови Горлиной

Серия «Википедия»
подготовлена Издательским центром «ТЕРРА»
совместно с Центром скандинавской культуры «НОРД»

К $\frac{470300000-540}{А30(03)-96}$ Без объявл.

ISBN 5-300-00778-1

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю

7

К. Холт

Конунг. Человек с далеких островов

перевод с норвежского

Л. Горлиной

8

К. Холт

Конунг. Изгой

перевод с норвежского

Л. Горлиной

246

К ЧИТАТЕЛЮ

В последней четверти XII века в Норвегии начинается период «гражданских войн», период глубокой внутренней распри, период вражды между берестениками (биркебейнерами) и посошниками (баглерами).

В 1163 году в стране был принят закон о престолонаследии, и королем стал Магнус, сын ярла Эрлинга Кривого, которого поддерживали знать и высшее духовенство.

Права Магнуса на престол были весьма сомнительны, ибо его отец породнился с родом королей, женившись на дочери Сигурда Крестоносца.

Основным противником Магнуса стал самозванец Сверрир, который объявил себя сыном конунга Сигурда сына Харальда и внуком Магнуса Голоногого.

В результате длительной и кровопролитной войны Сверриру удалось завоевать престол в стране. «Власть Сверрира настолько возросла, что за исключением Магнуса конунга и его людей не было человека в Норвегии, который не называл бы его конунгом», — написано в саге.

Талантливый военачальник, искусный политик, дальновидный государственный муж, конунг Сверрир сумел продержаться на троне двадцать пять лет.

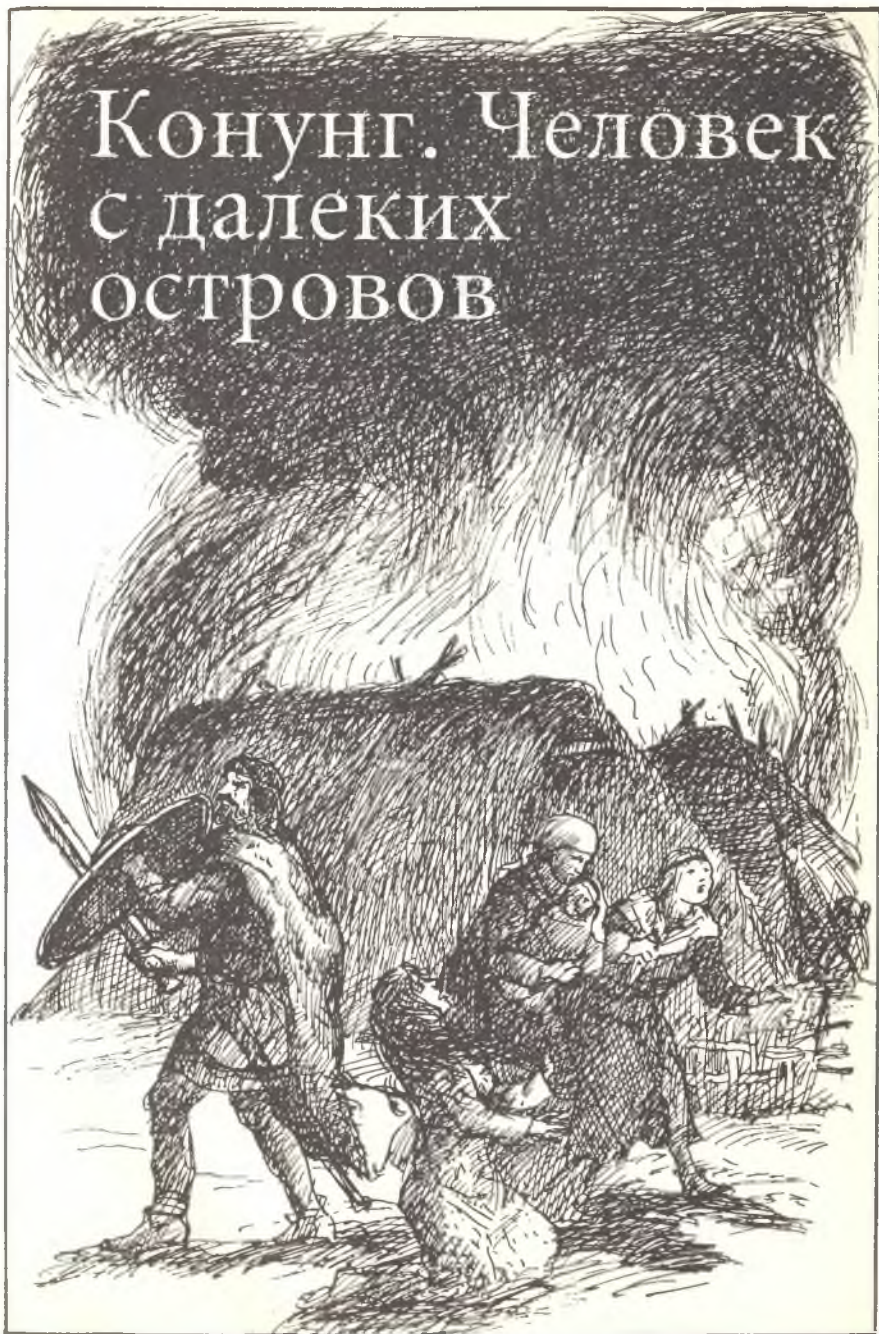
В 1202 году он неожиданно умер.

В этот том вошли две первых части трилогии «Конунг» известного писателя, классика современной норвежской литературы Коре Холта, который, опираясь на материалы древней «Саги о Сверрире», сумел создать волшебную картину северного средневековья...

Счастливого плавания на викингских драккарах!



Конунг. Человек с далеких островов





ПРОЛОГ

Я, Аудун с Фарерских островов, верный спутник конунга Сверрира в добрые и недобрые времена. С самой юности я был его близким и единственным другом, пока ему не отворили последние врата, дабы он преклонил колена у ног Господа. Я сижу в усадьбе Рафнаберг в Ботне, темнота плотно окутала это забытое Богом и людьми жилище, притулившееся на высоком уступе, обрывающемся в море. Я выглядываю в волоковое оконце и вижу белые осенние звезды, и мне кажется, что там, в вышине, я вижу лицо конунга, вижу глаза моего покойного друга. Я был молчаливым свидетелем многих его тайных деяний, а часто и его духовником. Утрата конунга, этого грозного и вместе с тем богобоязненного человека, не терявшего ясность мысли, даже тогда, когда кругом звенели клинки, знавшего все о ненависти и страстях, сжигающих сердца людей, до сих пор гнетет меня. Он был великим пламенем в моей жизни, и я часто обжигался об этот пламень.



Я священник, я, как и конунг Сверрир, тоже ученик епископа Хрои из Киркьюбе на Фарерских островах, этих самых западных островах Норвегии. С тех пор судьба повелела мне следовать за Сверриром, начиная с его первого похода и до последнего дня его жизни, и потому я самый

подходящий человек для того, чтобы рассказать о нем жестокую и вместе с тем прекрасную правду. Поэтому, когда йомфру Кристин, дочь Сверрира, его единственная дочь, пришла ко мне и спросила, не соглашусь ли я поведать ей все, что знаю, об ее отце, я ответил да. Да, йомфру Кристин! Был или не был он сыном конунга, тяготило его бремя правды или неправды и что говорил внутренний голос этому человеку, в котором звучало столько разноречивых голосов? Я знаю, йомфру Кристин: мой рассказ о том, что видели мои глаза и что помнит мое сердце, будет тяжел для тебя. Но как дочь конунга ты имеешь право знать о нем все, это твой долг.

Я и сейчас с чувством стыда и боли вспоминаю тот день, когда пришел к конунгу и сказал:

— Я хочу написать твою сагу.

Но он отказал мне. Ее должен был написать аббат Карл, который для того и приехал из Исландии.

Когда я читал сагу о Сверрире, конунге Норвегии, написанную аббатом Карлом, мною владело желание проникнуть в тайны его замысла, а не доверие к нему. Мое бедное сердце не испытало ни радости при чтении этой саги, ни почтения при встрече с конунгом, как должно было быть. Вполне возможно, что аббат Карл сидит сейчас у себя дома в Исландии и пишет на пергаменте продолжение и конец той саги о конунге, которую обещал написать. Я никогда не прочту этого продолжения. Сага аббата Карла — неправда, это ложь, это рассказ самого конунга о своей жизни. Это голос моего покойного друга, но голос этот служит лжи, Сверрир сам говорил то, что перо должно было писать. Мой добрый друг с его разноречивыми голосами хорошо понимал, что именно лучше всего послужит его делу. И руководствовался только этим. Он умел выбирать, не между добром и злом, что часто умеет даже самый жалкий из жалких, он умел делать правильный выбор. Умел выбрать между злом и еще большим злом, между ложью и еще большей ложью, и его выбор всегда был верен. Я понимаю, он должен был разрешить аббату Карлу написать его сагу и должен был отказаться в этом мне, который не уступил бы ему. Но я горжусь тем, что был неуступчив.

Это единственное, в чем мы были несогласны, и единственное, что причинило нам боль. В тот день между нами не было дружеского расположения. Для меня правда незыблема, но он, конунг, мог и

ложь превращать в незыблемую правду. Именно это, — а для меня это одна из загадок, которые мне загадал Господь Бог, — и было основой того, что всю жизнь до самой смерти он был моим другом.

Когда йомфру Кристин, молоденькая, всего шестнадцати зим, еще ребенок, но уже и женщина, ушла от меня сегодня вечером, я знал, что мое обещание было продиктовано желанием встретиться с ее покойным отцом где-то в глубинах моего мрачного сердца. Это будет борьба между мной и моим другом конунгом, борьба без пощады и снисхождения. Я уверен, что моим спутникам и мне на нашем пути из Осло в Бьёргюн придется провести в Рафнаберге еще много тяжелых ночей. А потому я хочу использовать это время для того, чтобы рассказать сагу, которую не смог написать. Сначала продумать ее наедине над кубком, когда-то подаренным мне конунгом, я буду осторожно прикладываться к этому кубку и строго следить за тем, чтобы мех с вином, висящий под потолком, не пустел слишком быстро. А потом снова позову йомфру Кристин, дочь конунга, и скажу ей:

— Вот правда о твоём отце.

Хватит ли у нее сил вынести эту правду? Да, потому что она дочь Сверрира.

Я знаю, что в моем повествовании не будет пустой недоговоренности, какая есть в саге аббата Карла, вот кто был мастер напыщенно излагать ложь. Но я верю, что в моем рассказе о жизни конунга — если когда-нибудь Всемогущий позволит мне записать это, чего я втайне жажду и на что страстно надеюсь, — будет нечто от той красоты, которой, по словам монаха Бернарда из Тунсберга, отличаются песни и сказания его родины. Бернارد приобрел ученость в школе в Премонтре, ему известны книги и нынешних и давно забытых времен. Он рассказывал мне о них, и это были лучшие минуты в моей жизни.

Я снова подхожу к волоковому оконцу и смотрю на белые звезды над Рафнабергом. И снова вижу там его лицо, исполненное жестоким силой, присущей конунгам, и нежности, на какую только способно сердце человека.



Не знаю, ненавидит ли меня йомфру Кристин, но чувство справедливости, которое я постоянно ношу в сердце, заставляет меня

признать, что у нее есть для этого основания. Думаю также, что где-то в ее юной мятущейся душе прячется глубокое уважение, даже нежность ко мне и всему, что я могу назвать своим. Ведь я был близким другом ее отца. В ее сердце я должен быть слиться с его образом, с образом конунга. Сейчас он на небесах у Господа Бога среди всех спасенных душ, а я, неспасенный, еще хожу по земле. И я, неспасенный и безвестный, единственный из всех, кто знает правду и имеет силу ее рассказать. Ни один мужчина еще не входил в опочивальню йомфру Кристин, и какое-то время она еще будет выходить оттуда не женщиной, но ребенком.

Ее мать, королева Маргрет, ненавидит меня, я знаю это, и у нее есть для этого основания. Королева Маргрет, дочь шведского конунга Эйрика, супруга Сверрира, женщина озлобленная и капризная, всегда была недовольна, что у меня с ее мужем такая близкая дружба. Когда конунг умер, она забрала дочь и на трех кораблях отправилась вдоль берега. Она хотела вернуться в Швецию и там выдать свою дочь замуж. К тому же она опасалась, что здесь ее жизнь и свобода могут подвергнуться опасности. Конунг Хакон, сын Сверрира и Астрид с Фарерских островов, не из тех, кто станет кланяться супруге своего отца. Но в Осло мы их догнали.

Королева, наверное, прознала, что несколько наших военных кораблей пожимают ее у Конунгахеллы, поэтому она зашла во фьорд и дальше собиралась ехать по суше. Но в Осло мы захватили то, что было целью нашей поездки. Я, священник, участник многих битв, вел один корабль, Свиной Стефан — другой. Мы напали на них рано утром, на йомфру Кристин и ее служанку йомфру Лив. Это было похищение. Королева прибежала на крик дочери, она стояла на берегу растрепанная, потреявшая бывшее величие, и осыпала нас проклятиями, она была некрасива и вместе с тем пугающе прекрасна в своем безграничном отчаянии. Наши корабли медленно вышли из фьорда.

Я не знал тогда, не знаю и теперь, была ли йомфру Кристин моей пленницей или я ее пленником. Но знал, что исполнял волю конунга, когда бросился вслед за его дочерью, чтобы вернуть ее обратно. Я ощущал в себе его волю. Он любил дочь, может быть, он любил и Маргрет, на эту тему мы с ним никогда не говорили. Как бы там ни было, он горячо и беззаветно любил свою дочь Кристин, и любовь

эта была, наверное, не меньше, чем его любовь к власти. Конунг подавлял каждого, кто не разделял с ним его желаний.

Сверрир часто говорил, что ради мира с посошниками*, готов осушить любой кубок хорошего или дрянного вина, что это его долг как повелителя этой земли. Когда йомфру Кристин выросла, она распустилась, как распускается цветок на горячем солнце у просмоленной бревенчатой стены, это было чудо, и он наблюдал за ней своим тяжелым, немного отсутствующим и вместе с тем цепким, холодным взглядом. Он знал цену своей дочери. И он знал ей цену как женщине.

Поэтому моим неприятным, тяжким долгом было вернуть ее, я исполнял волю моего конунга. В этой стране много хёвдингов-посошников**, стоящих выше других, людей, которые с легкостью переступят через любой труп и с радостью преклонят колени перед йомфру Кристин. Отданная нужному человеку, она помогла бы нам расколоть ряды посошников и получивший ее получил бы звание ярла*** и стал бы нашим послушным человеком. Когда-нибудь была бы написана и его сага. И пусть бы ее написал аббат Карл.

Но что сказала йомфру Кристин, стоя с развевающимися волосами на корме корабля, летящего по черному блестящему морю? У нее был острый отцовский ум и его способность провидеть завтрашний день. Она обладала и его несокрушимой волей, когда требовала то, что принадлежало ей по праву, а может быть, и больше. Она сказала:

— Я никогда не выйду замуж за человека, который по рождению ниже моего отца.

Йомфру Кристин, вряд ли ты разделишь свое брачное ложе с каким-нибудь конунгом, тебе не суждено выйти королевой из своей опочивальни. Но я видел на своем веку достаточно женщин, чтобы понять, что в тот день, когда придет срок, не происхождение мужчины, ставшего твоей судьбой, но его сила или ее отсутствие заставят тебя полюбить или возненавидеть его.

Во фьорде мы взяли в плен рыбака и, прежде чем убить его, отправили женщин в палатку. Он первый сообщил нам, что посо-

* Посошники (от епископского посоха) — возглавлялись представителями крупной аристократии и католическими прелатами. (Здесь и далее прим. переводчика).

** Военные предводители.

*** Высший титул после конунга.

шники со своим флотом стоят у Тунсберга, и мы уже не могли оставить его в живых — он знал больше, чем следует. Мы посоветовались со Свиным Стефаном и решили, что он с обоими кораблями поплывет дальше на восток и постарается избежать встречи с флотом пошников, который, как мы полагали, только входит во фьорд. А мы — йомфру Кристин, ее служанка йомфру Лив и я сам в сопровождении наших людей — проберемся по крутым горным тропам в усадьбу Рафнаберг. Из этой усадьбы виден весь фьорд, я уже бывал там и знал, что оттуда есть дорога на запад, в Теламёрк, а при необходимости можно сушей добраться и до Бьёргюна*. Или же Свиной Стефан вернется и заберет нас оттуда.

Йомфру Кристин послушно сошла на берег, если б понадобилось, я бы даже связал ее, но только в самом крайнем случае я бы пригрозил ей оружием, чтобы заставить ее следовать за мной. Думаю однако, что мое глубокое уважение к ней и любовь, которую конунг питал к своей дочери, оказали свое действие.

Мы направились к усадьбе.



В усадьбе Рафнаберг нас приняли не очень дружелюбно, ее хозяин не раз сражался среди тех, кто оказывал сопротивление конунгу Сверриру. Его звали Дагфинн, а его бедную жену — Гудвейг. Про Дагфинна было известно, что он далеко не отважный человек, а вот Гудвейг считалась весьма смелой женщиной. Поэтому я ударил ее по лицу кожаным поясом и сказал:

— Протяни руки...

Она протянула, я больно ударил ее по одной руке и задумался на мгновение, правильно ли будет ударить и по второй, потом я застегнул пояс и спросил, где ее дочь. Дочь звали Торил. Она пришла, это была молодая, еще незамужняя женщина, может, она вообще еще не познала мужчин, она была не очень красива. Я сказал, что мои люди не тронут ее без моего на то позволения.

— А дам ли я его, зависит от тебя и твоих родителей.

Когда-то конунг Сверрир и я побывали в Рафнаберге. На двух небольших кораблях мы зашли во фьорд для разведки, там на нас

* Берген

напал конунг Магнус и нам пришлось искать спасения на суше. Мы взяли лошадей в Рафнаберге и в соседних усадьбах. Взяли и парнишку, которого звали Свейн, единственного сына Гудвейг и Дагфинна. Я передал Дагфинну волю конунга:

— В благодарность за то, что конунг хочет сам воспитать твоего сына, ты должен сложить у себя на усадьбе костер и зажечь его, если увидишь, что корабли конунга Магнуса входят во фьорд. Зажжешь костер, парнишка будет жить, не зажжешь — умрет.

В тот раз я убедился в необыкновенной силе Гудвейг. Когда мы на лошадях увезли ее сына, она пошла за нами пешком. Несколько раз мы пытались прогнать ее, но она все равно шла за нами, она не плакала. В конце концов мы ускакали от нее. Больше года Дагфинн верно служил нам — из его усадьбы открывался вид на весь фьорд до самого Осло.

Однажды Свейн убежал от нас и вернулся домой.

Теперь он был здесь, в Рафнаберге.



Я взял с собой в Рафнаберг только четырех человек и еще Малыша, несчастного горбуна, который был моим личным слугой и всегда спал у моей постели. Но тут, в Рафнаберге, я встретил человека, с которым часто пересекался мой путь. Он не жил в этой усадьбе, его звали Гаут, и он строил церкви. Гаут был однорукий. Куда бы я ни приехал, с конунгом или без него, там всегда появлялся Гаут. В рваном плаще он ходил по дорогам из усадьбы в усадьбу, Гаут был всюду — в селениях, городах, в трактирах среди пьяных, но сам он при этом всегда оставался трезвым. Если мы подходили к какой-нибудь строящейся церкви, там, склонившись над камнями, неизменно стоял Гаут. Его топор всегда точно попадал в дубовый ствол, когда на какой-нибудь усадьбе возводился дом Божий. Но он был однорукий.

О том, как Гаут потерял руку, — это уже другой рассказ. Он попал в плен к каким-то воинам. Гаут не знал тогда, не знает и теперь, занимались ли они разбоем или служили конунгу и действовали по его воле. Воины сочли, что Гаут оскорбил их. Они схватили одну женщину. Не имея другого оружия, кроме своего мужества и веры в

Бога, Гаут выступил вперед и сказал, что они не должны трогать ее. Они отрубили ему руку.

С тех пор он ходит по стране, ищет того или тех, кто совершил это злодеяние, и если встретит их, то простит. Гаут твердо верит, — и эта вера внушает мне уважение, хотя иногда возбуждает и злобу, — что если он встретит и простит своих обидчиков, у него на месте обрубка снова вырастет рука. Может, он слышал историю об одном святом, которому Господь вернул отрубленную руку. Гаут верит, что святая милость распространится и на него, и в этом его единственная гордыня. Он бывает повсюду.

Он здесь.

Сегодня вечером он пришел ко мне и сказал:

— Господин Аудун, я скиталец, я видел всю страну, и людей, и женщин, которые плакали. Разрешешь ли ты мне пойти и попросить у нее прощения?

— Не понимаю, о ком ты говоришь?

— Ты ударил ее, но я чувствую, что она готова простить тебя...

Я посмотрел на него, потом плюнул ему в лицо: у него странное лицо, на нем видны следы многолетних страданий и в то же время — горячая готовность принять на себя чужое горе. Я взял обрубок его руки и поцеловал его:

— Ступай к ней и попроси у нее прощения, — сказал я.

Усадьба Рафнаберг лежит на горе, отсюда виден весь фьорд. Сейчас осень, прошло восемь дней после праздника Перстня*, который отмечается в честь того события, когда кровь Господа нашего Иисуса Христа была привезена в перстне из Йорсалира** в Нидарос***. До ближайших соседей отсюда далеко, нас окружает лес, но кто скрывается там в лесу? Кроваво-желтым кольцом окружает он Рафнаберг, по вечерам хорошо сидеть у очага, попивая понемногу из моего кубка, и кожаный мех, который сопровождает меня во всех поездках, постепенно пустеет.

* Праздник Перстня отмечается 12 сентября. В средневековье был местным Нидаросским праздником, отмечавшимся в память о том, что в 1165 г. в церковь Христа была привезена капля Христовой крови, очевидно, в капсуле, имевшей форму перстня.

** Иерусалим.

*** Трондхейм.

Тогда она пришла ко мне в плаще, накинутом на нижнюю рубашу, босиком, с негнувшимися плечами, но такая мягкая...

— Я приказываю тебе рассказать мне о моем отце...

Этого слова она еще никогда не употребляла в разговорах со мной. Наверное, я улыбаюсь в глубине своей многое испытавшей души, но я приглашаю ее сесть и спрашиваю, спит ли йомфру Лив в ее опочивальне. Да, она спит. Я слышу шаги над головой. Это фру Гудвейг, запертая на чердаке. Она не спит.

Я бросаю в Малыша башмаком, он посапывает на полу рядом с моей постелью. Малыш просыпается и вскакивает. Я велю ему идти спать в хлев. Он уходит. Мы остаемся одни.

Да, йомфру Кристин, правда о твоём отце не безоблачна, но для меня она все равно полна ослепительного света и блеска, жара и пленительной красоты, и мне кажется, будто я вхожу в дом Божий, когда остаюсь один на один со своими воспоминаниями о конунге, моем добром друге.

Ты хочешь знать правду, и ты узнаешь ее. Я думаю, что для молодой женщины мечты о любви прекраснее, чем сама любовь, такой была и жизнь твоего отца — она другая, не та, которая известна тебе. Но в Священном писании сказано, что правда освобождает человека.

Пока мы ждем, я попробую позволить правде освободить нас, йомфру Кристин. Пригуби этот кубок, когда-то его касалась рука твоего отца.

Многим довелось испытать на себе его кулак, в том числе и мне. Но, видишь ли, йомфру Кристин, когда я смотрю на звезды над Рафнабергом, я вижу там в вышине его лицо, исполненное жестокой силы, присущей конунгам, и нежности, на какую только способно сердце человека.



ЛЮДИ В КИРКЬЮБЁ

В глубине моего беспокойного сердца я храню образ бедного маленького селения, которое для меня свято, — дом, сложенный из камня на серой полоске берега, где я впервые увидел свет Божий. Думаю, после света, проникавшего к нам сквозь волоковое окно и подобного красоте, подаренной Божьим оком, первое, что я увидел, была переменчивая поверхность моря. А после моря — обнаженные, неприветливые заливки гор, то окутанные туманом, то умытые проливным дождем. А в темноте зимних ночей я видел серебристый звездный покров, который Господь Бог раскидывал надо мной и над горами.

По тропинке, ведущей от моря в горы, всегда ходил мой отец, пригибаясь от ветра. Таким я вспоминаю его теперь — точно плащ, он нес на своих плечах бураны и штормы и вместе с тем был исполнен глубокого покоя, в своих воспоминаниях я вижу его старым, теперь он давно уже мертв. Его звали Эйнар, а прозвище у него было Мудрый, я до сих пор горжусь им. Мою мать звали Раннвейг. О ней я могу сказать только то, что она часто смеялась и я любил ее. У них было много детей, но все они умерли в младенчестве, и для толкователя снов Эйнара Мудрого и его жены Раннвейг я стал единственным, кто должен был нести дальше свет и мечты, которые когда-то жили в их сердцах.



Вокруг нас было море и горы, и в центре всего, точно жемчужина в кольце, лежала усадьба епископа. Тяжелые здания из камня и дерева казались Божьей крепостью, стоявшей между горами и морем. Церковь на берегу дарила всем жителям Кирккюбё, и мне в том числе, свет в темноте зимы и сливалась в одно с сиянием летнего неба. Я знал, что на кладбище закопаны останки мертвых, а их души живут у Бога на небесах и прилетают к нам, словно ветер с моря. В епископской усадьбе жил епископ Хрои — посредник между Богом и людьми — его постоянно окружал народ, мужчины и женщины, одни приходили, другие уходили. Среди них были и рыбаки с уловом, взятом в рукавах фьорда или в открытом море, и пастухи, пасшие в горах овец, иногда какой-нибудь охотник на соколов предлагал купить у него сокола с шапочкой на голове. Приходили в усадьбу также священники и монахи из разных стран, и даже посланцы конунга из Норвегии. Когда-то пришел сюда и мой отец, он, толкователь снов, мечтал служить епископу. Приходили в Кирккюбё и странники с посохами и нищенки, шедшие по дороге из Тинганеса, насквозь мокрые после перехода вброд через Сандару и другие реки. Из многолетних скитаний вернулся сюда и странный человек — оружейник и гребенщик, брат епископа. Звали его Унас.

Когда Унас покинул Фарерские острова, епископ Хрои еще не был епископом, и кто мог знать, куда занесет оружейника Унаса за годы службы у норвежцев. Он искал по свету женщину, но нашел ее здесь. Звали ее Гуннхильд. В юности, когда во мне расцвела вера в человеческое зло и мое понимание людей было меньше, чем оно стало потом, я слышал, как про Гуннхильд говорили, будто ее женский опыт намного превосходит тот, что необходим для жены и матери. У нее был сын. Это и был Сверрир.

Это его сагу я рассказываю тебе, йомфру Кристин, рассказываю на свой лад, и не исключено, что во время этого рассказа я оскорбляю имя конунга и память о нем. Но знай, о своей дружбе с конунгом я могу сказать так же, как сказано в Священном писании о любви Бога: она длится вечно.

Мы вместе выросли, вместе учились в латинской школе епископа Хрои и одновременно приняли сан священников нашей святой церкви. Много лет спустя я причастил на смертном одре конунга Норвегии, по моим изможденным щекам, изрытым морщинами от горя,

причиненного мне и моими и его грехами, текли слезы. Протяни мне кубок с вином, йомфру Кристин. Видишь, как у меня дрожат руки?

Не знаю, кому я служил с большим рвением и восторгом, небу или земле? Но знаю, что в те редкие разы, когда конунг позволял мне самому делать выбор между земным и небесным, я неизменно выбирал земное, ибо именно там проходил путь конунга. И я понимаю, что если бы я воспрепятствовал его воле, он обрек бы меня на смерть, пусть даже с глубокой скорбью, и никто, никто не остановил бы его.

У тебя тоже дрожат руки, йомфру Кристин?



Позволь мне для начала обрисовать тебе тех двух братьев, которые так сильно повлияли на нашу со Сверриром судьбу — Хрои и Унаса. Про них говорили, будто однажды в детстве они пришли к своему отцу и попросили подарить им пергамент. Их отец владел усадьбой Сандертьерде недалеко от Тинганеса, в тот день он был в добром расположении духа и подарил сыновьям пергамент. Мальчики разрезали его на четыре части. С этим еще чистым пергаментом, который Хрои спрятал в свой пояс, они через горы отправились в Киркьюбё, не спросив разрешения у отца, как предписывал им их долг. Мальчики хотели просить епископа Матеуса, возглавлявшего тогда епископство, оказать им милость и обучить их грамоте. Чтобы попасть туда, им нужно было перейти вброд Сандару.

Течение Сандары подхватило и понесло Унаса, потом он рассказывал, что Хрои спас пергамент, но не его, спасся сам, но не помог спастись брату. И отправился дальше к епископу с просьбой обучить его грамоте, что теперь было особенно важно, ибо у его отца остался только один сын, который мог стать ученым человеком. Однако Унас не погиб.

Это маленькое недоразумение между братьями объясняло и то, почему один брат держал другого мертвой хваткой, и слабость епископа перед оружейником. Этим же объяснялся и как будто невидящий взгляд епископа, когда он смотрел на посещающих его людей, его доброжелательность, но не сердечность, его любовь к книгам и

вместе с тем — сомнение в том, что изучение их может принести пользу. Внешне братья были даже похожи. Но там, где Унас проявлял твердость, Хрои выказывал слабость, и если ладони Унаса были покрыты мозолями, руки Хрои были белые и холеные. Братья не любили друг друга.

Но оба любили женщин, говорили даже, что в этом епископ сильно превосходил своего брата. Еще будучи дьяконом в усадьбе епископа Матеуса, Хрои нашел путь к обеим его дочерям, и к одной и к другой. Хрои тогда был красивый мужчина. До конца жизни он сохранил присущее ему обаяние, которое часто делало женщину слабее его.

Хрои умел, если его благополучию угрожала опасность, проявлять силу воли и твердость, о которых почти не говорится в воспоминаниях о нем. Однажды в Кирккюбё прошел слух, что священники Норвегии намерены на другой год собраться у раки святой Сунневы, чтобы воспротивиться требованиям папы в Ромаборге*, который хотел, чтобы и в нашей стране священники и епископы давали обет безбрачия. Хрои, тогда еще молодой священник, уговорил старого епископа позволить ему поехать туда. Он поехал в Норвегию и сделал все возможное, чтобы требование папы было отвергнуто. Со временем он женился. Много сирот кормилось за его столом и находило приют в его усадьбе, он воспитывал их, как полагал нужным. Одну из приемных дочерей епископа звали Астрид. Потом она стала женой Сверрира.

— Йомфру Кристин, я позволил себе свободно говорить о тех двух людях, которые были близки моему отцу, и о женщине, которая стала его женой, но не была твоей матерью. Думаю, до сих пор ты не слышала ничего похожего на то, что я намерен тебе рассказать, если только ты позволишь мне продолжать.

— Господин Аудун, когда я приказала тебе рассказать мне правду о моем отце конунге, я понимала, что для этого тебе потребуется изрядная смелость.

— Йомфру Кристин, мой опыт, приобретенный дорогой ценой, учит меня, что проявляющий смелость получает за это похвалы, но редко его любят те, с кем он говорит открыто.

* Рим

— Господин Аудун, мне хотелось бы также узнать твое мнение и о моей доброй бабушке, фру Гуннхильд, о ней при дворе моего отца говорили так, что этому могла бы позавидовать мать любого конунга.

— Йомфру Кристин, мой тяжкий долг заставит меня говорить и о ней, а твоя участь — слушать меня.



Гуннхильд была норвежского происхождения, но в те годы, когда в Норвегии правил конунг Сигурд Рот, она покинула Норвегию и приехала в Тинганес. Она была на сносях. Оттуда через горы она пришла в Кирккюбё. И там в хлеву, который принадлежал епископу, родила того, кому потом суждено было стать бичом для своей страны и светом для тех, кто близко узнал его. Мои родители могли бы сказать тебе, что по ней ничего не было заметно, и никто ни о чем не подозревал, пока не увидел новорожденного в постели его матери в хлеву, сама же Гуннхильд встала и вернулась к своей работе.

Гуннхильд, безусловно, была и страстная мать и много испытывавшая женщина. В супружестве она не состояла, что для женщины куда большее несчастье, чем для мужчины. Я узнал ее уже много лет спустя — мало женщин так открывались передо мной и с таким мужеством являли мне и свою слабость и свою силу. В первые годы, когда Гуннхильд жила в Кирккюбё простой служанкой, отвергнутая отцом своего ребенка, самая, быть может, презренная из презренных в том мире, какой являет собой епископская усадьба, она дарила Сверриру не только свою волю и истинную материнскую любовь, но и горячую потребность самоутвердиться, которая сжигала ее самое. Разум ее был не вполне здрав. Однако и ослепленный он безошибочно находил то, что могло перевесить чашу весов в любом деле, даже скрытом от посторонних глаз. Но красивой она не была.

Не думаю, что кто-нибудь из ваятелей, которых я узнал потом, приехав в Нидарос и увидев величественный собор архиепископа Эйстейна, выбрал бы ее лицо, высекая из камня ангела. Нет. Внешне она была сильна, как вол. А силу воли, какая была у нее, я встречал лишь у одного человека — у Сверрира. Здесь, в Рафнаберге, когда мое старое сердце полнится воспоминаниями и страхом, я должен признаться, что любил ее. Не так, как мужчина любит женщину, но так, как один недостойный любит другого, любовью, берущей свое

начало в духе, а не в плоти. Но вместе с тем я испытывал к ней и глубокое презрение. И боялся ее, как никогда, ни раньше ни потом, не боялся ни одной женщины, не говоря уже о мужчинах.

Почему она покинула Норвегию и приехала на Фареры, эти голые острова, заброшенные далеко в море? Уж конечно не потому, что должна была родить ребенка, не имея при этом мужа. Не больно-то это было почетно, но ведь другие женщины, куда более высокого происхождения, переживали этот позор и потом становились уважаемыми женами, имеющими твердое мнение о том, что такое порядочность.

А теперь, йомфру Кристин, доброй тебе ночи.

— Доброй ночи, господин Аудун, и спасибо за твой умный, ученый рассказ о том, что такое порядочность.



Сегодня ночью, йомфру Кристин, я расскажу тебе побольше о том человеке, который долгое время считался отцом твоего отца, об оружейнике Унасе, пьянице с головой беззубого дракона. Унас в раннем возрасте уехал с Фарерских островов в Норвегию и вступил там в дружину конунга Сигурда. Он был замечательный кузнец, а гребенщик такой, что мало кто мог с ним сравняться в этом искусстве. Но когда конунг был убит в Бьёргуне, Унас поспешно покинул Норвегию, где у него были враги и его жизнь была в опасности. Он вернулся в Киркьюбё и встретил там Гуннхильд. Когда-то они были обручены, а теперь оказалось, что у них есть и сын. Сверрир. Но все годы, что я знал Унаса, в его отношении к Сверриру было что-то, чего я не мог понять. Какая-то отчужденность с примесью обиды, что ли, горячая и произвольная отцовская любовь к мальчику могла вдруг обернуться бессмысленной жестокостью. И между ними, между отцом и сыном, всегда стояла Гуннхильд — женщина, которая и духом и волей намного превосходила своего мужа.

Я бы сказал, что Унас не отличался большим умом. Хотя и глупым он тоже не был. Ему была свойственна крестьянская хитрость, он был мелочен, легко обижался и долго таил обиду, скрывая ее с большим искусством и обнаруживая тогда, когда обидчик меньше всего ждал этого. Он был воин, но не рвался в битву впереди других, а появлялся, когда враг уже отступал. Однако в темноте или смер-

тельно напуганный, мог проявить смелость и вцепиться в горло своему недругу, подобно ласке или лисице.

Благодаря Унасу Гуннхильд со временем тоже попала в близкое окружение епископа. Этот благочестивый слуга Божий, который не всегда был таким добрым, каким хотел казаться, порой, поддавшись ненависти и злобе, произносил в неприглядном помещении, где проходили наши занятия, слова, почерпнутые им отнюдь не из Священного писания. Епископ, как я уже говорил, хорошо знал женщин. И все-таки я убежден, что Гуннхильд едва ли была среди тех родников, которые утоляли его жажду. Он слишком уважал отношения между братьями и к тому же знал, что слухи и сплетни в епископской усадьбе распространяются, как огонь по сухой траве. Жажда епископа, какой бы жгучей она ни была, никогда не побеждала его страх перед людской молвой.

Сверрир вырос в епископской усадьбе. Путь от дома епископа до дома, сложенного из камня, с открытым очагом в одном углу и хлебом в другом, где обитали Сверрир, Гуннхильд и Унас, был коротким. Рано выяснилось, что Сверрир обладает такими способностями, какие и не снились другим детям. Разгневавшись однажды, что епископ задумался, углубившись в неясные места Псалмов Давида, и не сразу смог вспомнить его имя, Сверрир в праведном гневе осмелился ударить епископа по лицу. И епископ, этот несчастный человек, всегда предпочитавший сделать шаг назад, нежели вперед, удовлетворился тем, что чертыхнулся, как кормчий при встречном ветре, вытер лицо и ушел.

— Йомфру Кристин, позволь мне напомнить тебе, что здесь в Рафнаберге нам угрожает опасность, и если сюда придут люди, в которых играет мужская сила, боюсь, они захотят обойтись с тобой неподобающим образом...

— Господин Аудун, я надеюсь, что те люди, которые придут сюда, не станут приветствовать женщину так, как ты приветствовал фру Гудвейг, хлестнув ее кожаным поясом по лицу...



Когда Гуннхильд узнала, что ее сын ударил епископа, она решила наказать мальчика. Но вмешался Унас — должно быть, ему понравилось, что Сверрир в таком возрасте уже может постоять за свою

честь, дав пощечину даже епископу. Он схватил свой молот и хотел ударить Гуннхильд. Но не попал, она перехватила у него молот, ударила им Унаса по уху и содрала ему кожу. Оружейнику приходилось и раньше видеть кровь, однако не свою собственную, он взвыл от обиды, как побитая собака. Вокруг них бегал Сверрир, похожий на щенка, кусающего за ноги дерущихся лошадей. В это время к ним пришел мой добрый, богобоязненный отец. Он закричал на них — это было все равно, что писк воробья, кружащего над полем боя. Обезумев от гнева, оружейник сунул руку в очаг, схватил горящий торф и швырнул его в лицо Гуннхильд. Она упала навзничь, волосы у нее вспыхнули, Сверрир бросился на нее и голыми руками потасил огонь. Запахло палеными волосами и кожей. Гуннхильд вскочила, не замечая прижавшегося к стене Эйнара Мудрого, и надавила большими пальцами Унасу на глаза, при этом она, как безумная, что-то кричала в его ободранное ухо, и ее крик заставил его замолчать.

Она сбила его с ног — оружейник из дружины конунга был повержен на землю женщиной. Сверрир стоял на краю очага и быстро затапывал горящий торф. Эйнар Мудрый хотел взять мальчика за руку и увести его прочь, но тот зашипел на него, как лисица, на которой загорелась шерсть. Вскоре Гуннхильд заплакала, потом заплакал и Унас. Между короткими всхлипами он жалко вопрошал:

— Он ведь мой сын, правда?..

Так Унас явил всем свое ничтожество. Но Гуннхильд не отвечала ему. Мальчик стоял рядом, Гуннхильд не отвечала, и на этот раз Эйнар Мудрый не знал, как ему поступить, уйти или остаться. Он остался. Любопытство победило в нем скромность, которая в обычные дни так его украшала.

Все проходит, море успокаивается даже после самого свирепого шторма. Однако в сердце Гуннхильд осталось чувство победы, а Унас в своем сердце затаил жажду мести — чувство, всегда придающее мужчине силу.

На другой день Унас изрядно выпил для храбрости. Потом схватил Сверрира и по праву сильного избил его, Сверрир дважды тыкал пальцами ему в глаза и исцарапал лицо, прежде чем отец скрутил его и заставил стать на колени. Эта схватка происходила в горной пещере над усадьбой епископа, там Унас явил сыну свое мужское превосходство и свое благородное сердце. Когда он ушел, Сверрир остался лежать в пещере.

Несколько лет спустя Сверрир ввел меня в эту пещеру. Мы хорошо знали ее еще с детства, но теперь я говорю: Он ввел меня в эту пещеру. Он сказал, что Гуннхильд прятала его там от всего мира, когда он был маленький и все преследовали его, что именно там Унас нашел их, отвел к своему брату епископу и попросил его защиты и расположения. Когда мой отец вошел в пещеру, меня окружало сияние, но последнему я не очень верю, сказал Сверрир, ему всегда было присуще чувство меры, заставлявшее людей безоговорочно верить его словам.

Не помню, улыбался ли он, рассказывая мне эту историю, и не знаю, верил ли он сам тому, что говорил. Но теперь я понимаю: его глубоко несчастная душа, более тонкая, чем души прочих людей, обладавшая мало кому доступной нежностью и испытывавшая потребность проявлять ее, — которую он, правда, держал в узде благодаря своей исключительной воле — все это смешалось в нем, заставило его ввести меня в эту пещеру и сказать то, что он сказал.

Унас редко бил его.

Сверрир ничего не рассказал Гуннхильд, он сам говорил мне об этом, ибо знал, что страх Унаса перед безудержным гневом Гуннхильд — достаточно тяжелое наказание для этого слабого человека.

Много лет спустя, йомфру Кристин, я слышал, как люди, никогда не бывшие близкими к конунгу, рассказывали друг другу трогательную историю о том, как сын конунга был вскормлен в пещере.



Сегодня ночью, йомфру Кристин, я расскажу тебе лживую сагу, сагу о вымышленных событиях, которую мой добрый отец Эйнар Мудрый в свое время рассказал епископу Хрои. В детстве я целый год был у епископа в услужении и спал на полу рядом с его постелью. Так получилось, что в ту ночь я не спал, а только притворялся спящим, и слышал, о чем мой отец и епископ говорили за рогом доброго пива. Оба знали приличия и потому рог между ними передавался не чаще, чем это было принято. Эйнар Мудрый был умнее епископа. Но епископ еще больше, чем мой отец, любил хорошую лживую сагу. К тому же обоим хватало смелости смеяться над тем, что их забавляло, будь то вещи благородного свойства или не очень.

Отец рассказывал об одном воине в Бьёргюне, который три ночи подряд приходил к своей невесте, но был не в состоянии дать ей то, что она имела право требовать от него. Ему не раз приходилось видеть, как текла кровь в схватках между мужами, и он не выносил вида крови. На третье утро женщина поднялась со своего ложа и ушла, презирая его всей душой.

В Бьёргюне было много домов с продажными женщинами, но был один, весьма уважаемый, куда приходили только хёвдинги и самые знатные горожане. Ее приняли там с почитительностью, достойной дочери конунга. Она пробыла там три ночи — ровно столько, сколько он приходил к ней, но не мог дать ей то, чего она ждала. На третье утро она ушла оттуда и вернулась к своему жениху.

Говорили, что ни одна женщина во всем богатом Бьёргюне не могла сравниться с ней, и слух о ней рос от ночи к ночи. На третью ночь к ней пришел человек, претендующий на самое высокое звание в стране. Он не просил, он брал и, уходя, был очень доволен. Но с того дня ее жених окончательно перестал выносить вид крови.

Вот такую лживую сагу рассказал мой отец, и эти двое людей, один из которых был толкователь снов, а другой — епископ, как мальчишки, веселились над рогом с пивом. Когда отец отправился домой, епископ приказал одному из своих учеников светить ему факелом до самого дома, но отец отказался — он знет дорогу, знает на ней каждый камень, любит темноту и шум моря считает лучшим из спутников.

— Но если ты кого-нибудь встретишь? — спросил епископ.

— Его?

— Нет, ее. — Епископ засмеялся.

Они оба засмеялись, и отец сказал, что, пожалуй, все-таки будет лучше, если ученик епископа проводит его до дому, на двоих она не посмеет напасть.

Потом пришел ученик епископа, и отец ушел вместе с ним.



Три женщины долго царили в нежном сердце твоего отца. Первая — его добрая матушка, фру Гуннхильд, вторая — его жена, Астрид из Киркьюбе, и третья — это ты. Ты уже знаешь, что Астрид

была приемной дочерью епископа, и сегодня я расскажу тебе о твердой воле твоего отца, которая помогла ему одержать много замечательных побед в тех битвах, что ему пришлось вести и с женщинами и с мужчинами.

Думаю все-таки, что мысли епископа Хрои были заняты вовсе не темными местами в Псалмах Давида в тот день, когда он не мог вспомнить, как зовут Сверрира и тот ударил его. Мне кажется, он скорей думал о цене на рыбу, а может, и о том, сколько стоит женщина. И скорей всего — теперь я уже в этом уверен — он прекрасно помнил имя мальчика, но хотел унижить его, указать ему его место, оскорбить и сделать так, чтобы Сверрир забыл дорогу к его дому. Но в тот день епископ потерпел поражение, столкнувшись с волей, которая превосходила его собственную.

Вскоре после того — я считаю тот день примечательным, ибо именно с него мужество Сверрира и его ум стали действовать заодно, и это превратило его в противника, с которым мало кто мог тягаться, — так вот, вскоре после того Сверрир явился к епископу и потребовал, чтобы тот взял его учеником в школу священников. Он уже давно поставил себе целью достичь высшей учености и таким образом служить нашей святой церкви. Время для этого он выбрал самое подходящее. Он понимал, и не ошибся, что епископ захочет исправить свою оплошность, проявив доброту могущественного человека и ответит да. Но епископ не благословил Сверрира, когда они расстались.

Сверрир просил епископа также и за меня, он просил, чтобы и меня приобщили к сонму ученых мужей. Сам я не посмел бы высказать отцу столь дерзкое желание — я, сын пастуха и толкователя снов. Я говорил об этом Сверриру.

Так началось наше долгое странствие по ученым книгам, иногда мучительное, но чаще — радостное. Раньше мы плыли, как рыбы, по течению, теперь в глубоких раздумьях сидели над ждущим наших слов пергаментом. Мы были пастухами по своей природе, нам были знакомы и ветер и дождь, нас, закаленных и бесстрашных, не пугали ни горы, ни пропасти. Теперь мы склонились над книгами. Но рядом с нами была Астрид.

Рядом с нами была Астрид, молодая женщина, жившая в усадьбе епископа, бесстрашная в тех играх, к которым мужчины относятся

без должного уважения, особенно, если женщина занимается ими на пиру у других. Сегодня мои воспоминания горьки, но истина часто бывает горькой: я больше, чем Сверрир, любил Астрид. Но мне не хватило смелости, а у него хватило, я думал, он догадывается, что и мне тоже снится по ночам ее тело. Но я тянул. А он — действовал. Он всегда мог то, чего не мог я: действовать, когда этого требовали обстоятельства. И она досталась ему.

Я потом еще расскажу об Астрид, она много лет обжигала мои мечты, даже после того, как он дал ей то, о чем женщина больше мечтает до того, как получит. Есть одна сага, которую я ни разу не рассказал Сверриру, но часто терялся в догадках, не рассказала ли ее ему Астрид? Один единственный раз мы с Астрид встретились как мужчина и женщина. Один раз и никогда больше.

Она получила суровое воспитание в доме своего приемного отца, и, как послушный ребенок, жила, соблюдая строгие правила, до того лета, когда ее охватил жар зрелости и выполнять правила стало уже трудней, чем раньше. Она так и не заняла своего заслуженного места рядом с конунгом, но я знаю, — и я единственный, кто это знает, — что чем дальше он отдалялся от нее, тем сильнее ему ее не хватало, и что в тот день, когда он заключил брачный союз с твоей матерью, дочерью шведского конунга, мысли его были полны женщиной из Киркьюбё.

Она была красива, йомфру Кристин, такой я запомнил ее и такой — это было тяжелейшее бремя нашей длившейся до его смерти дружбы — запомнил конунг Норвегии первую женщину в своей жизни.



Некоторые дни сверкают в моей памяти, подобно серебряным монетам на грязной, испачканной кровью ладони. И когда ты составишься, йомфру Кристин, перед тобой будут также сверкать самые значительные дни твоей жизни. Я надеюсь, — прости эту болтовню старого человека, как Гаут мечтает простить своего обидчика, — что в их число войдут и эти несколько дней, проведенных нами в Рафнаберге, где нас окружала опасность, а также ночей, когда я сплетал правду и ложь, чтобы передать волны холода и жара, пробежавшие по лицу конунга Сверрира. Но твою любовь, йомфру Кристин, в

свои сети печали и серебра поймает другой, благослови тебя Бог и будь проклята память о нем.

Я сегодня немного пьян и потому должен рассказать о том дне, когда распятие, образ великого Христа, вырезанный из дерева, прибыл на корабле в Киркьюбё с Оркнейских островов. Все мы, жившие в усадьбе епископа, бонды и их жены из соседних селений, вышли на своих лодках в море и окружили чужой корабль, мы пели *Kyrje eleison* — Господи, помилуй*! Епископ Хрои стоял на коленях с двумя зажженными свечами в руках на носу своей лодки. С моря дул легкий, как дыхание, ветер, и пламя свечей даже не колыхалось. Мы обмотали кожей весла и уключины, чтобы ни один звук не нарушал нашего глубокого умиления. Высоко на корме чужого корабля возвышался Спаситель на кресте, созданный тем, кому, должно быть, была оказана милость Всевышнего, дабы он сумел показать нам, смертным, всю боль и непобедимую силу Сына Божьего. Я греб левым веслом, Сверрир — правым. Я видел лицо моего друга между собой и распятием, видел, как оно сияет, казалось, одна сильная воля встретила другую и они слились воедино. Белый, непонятный свет исходил от этого распятия, от искаженного мукой лица Спасителя. Этот свет освещал нас и наши лодки, когда мы плыли назад по темным волнам. На берегу мы образовали шествие.

Впереди шел хор мальчиков с горящими восковыми свечами и маленькими звенящими колокольчиками, потом — молодой каноник, медленно помахивающий кадилом, дым от которого был почти не виден в ярком осеннем свете. За ним шел епископ в митре, в ниспадающем складками облачении, с посохом в руке и в башмаках, сшитых из белоснежного сафьяна. За епископом, впервые по нашей бедной земле, несли образ Христа. Его несли самые старые священники нашего епископства, они возносили его над митрой епископа, высоко к небесам, казалось, Христос победоносно возвращается из царства мертвых, чтобы остаться с нами и в жизни и в смерти, навсегда.

Я шел сразу за распятием, мы со Сверриром несли Священное писание нашей старшей. Над берегом волнами катилось пение, эти волны захлестывали меня, но сам я петь не мог, меня слишком пере-

* Католическая молитва

полняла радость. Сверрир пел. У него был странный, трогательный голос, так умел петь только он, и его голос всегда повиновался его воле. В нем звучала сила, заставлявшая людей подчиниться ему, и устремленность ввысь, позволявшая чувствовать близость Бога. Сверрир пел громче других.

Мы три раза обнесли распятие вокруг епископской усадьбы, епископ опустился на колени и на коленях вполз в каменные ворота церковной ограды. Мы все опустились на колени и ползли на коленях, миновав ворота, священники снова высоко подняли распятие и пение этого длинного шествия слилось в мощный хор. Мы три раза обошли вокруг церкви, последний раз в молчании, и епископ, снова на коленях, вполз в церковь. Потом распятие внесли внутрь.

Люди заполнили маленькую церковь, и образ Христа подняли на его место над хорами. По щекам Сверрира текли крупные слезы, я первый раз видел, чтобы он плакал. Я знаю, Сверрир встречал Бога не один раз в своей жизни, но, думаю, что это была его первая встреча с Ним, посвящение и обещание, союз между Всевышним и тем, кто потом обрел столь большую власть. Знаю, что Сверрир нес в себе Бога, Бог всегда давал ему силу и веру в победу, Сверрир никогда не был одинок в борьбе против своих врагов, с ним был Тот, кто был сильнее их. Однако его воля и воля Божья не всегда совпадали. Когда им случалось разойтись, он оставался кающимся грешником, но тем не менее никакое раскаяние не могло помешать ему идти своим путем. Теперь он плакал перед распятием, потом он говорил мне, что чувствовал себя распятым на кресте Сыном Божиим.

Мы вышли из церкви.



Когда наступил вечер и кончился пир в честь Сына Божьего, мы со Сверриром снова вернулись в церковь, чтобы помолиться. В открытые оконные проемы сочился свет с моря, один луч осветил лик страдающего на кресте. Я видел, что он шевельнулся. Это не испугало меня, но я преклонил колени и заметил, что Сверрир тоже упал на колени рядом со мной, закрыв лицо руками. Я не молился и встретил Божественное без слов. Уходя из церкви, мы держались за руки.

Сверрир предложил:

— Давай сходим на могилу чужеземца?

Я не знал тогда и не знаю теперь, почему мысль сходить на могилу чужеземца пришла ему в голову именно в тот вечер. Мы пошли к могиле у церковной стены, в которой его похоронили год назад, Сверрир нагнул голову и прочел короткую молитву за убиенных. Этот чужеземец попал в Киркьюбе́ на корабле, принесенным к нам невиданным в наших местах штормом. Половина команды умерла еще до того, как корабль достиг берега, остальные скончались в первые дни после спасения. Но один выжил, это был их предводитель, он оказался сильнее, чем его люди, он прожил всю зиму. На корабле был ценный груз: дорогие кожи, которые можно было высушить и они снова обрели бы свою цену, золотые украшения и небольшой мешочек с пряностями, купленный, должно быть, у паломников из Йорсалира. Епископ Хрой позаботился об этих вещах, чтобы какой-нибудь разбойник или вор не впал в соблазн и не погубил бы тем самым свою душу.

Но они с чужеземцем не понимали друг друга. Никто в Киркьюбе́ не понимал ни слова из языка чужеземца, а то немногое, что он пытался сказать по-латыни, не понимал даже епископ. Одно было ясно: если бы к чужеземцу вернулось здоровье и силы, он смог бы набрать людей, которые в погоне за славой осмелились бы рискнуть жизнью и повести корабль в далекую гавань. А если бы он умер, он так и остался бы для всех чужеземцем.

Он умер, последние восемь ночей епископ провел с ним, как и положено доброму пастырю, он принес чужеземцу святыне дары и заботился о спасении его чужеземной души. Три последние ночи больному было так плохо, что к нему пустили даже Эйнара Мудрого, знавшего свойства любого растения и бывшего искусным целителем. Чужеземца похоронили по всем правилам. И, изучив подробно наш закон и закон Божий, епископ пришел к заключению, что все, принесенное сюда штормом, должно принадлежать епископству. Ибо где искать наследника или наследников усопшего? Епископ Хрой хотел, чтобы это богатство было использовано во славу Божию и помогло воспитанию в людях богобоязненности. Он знал, что в соборе Святого Магнуса в Киркьювоге на Оркнейских островах есть распятие, которое оркнейский епископ согласился бы отдать в другой дом Божий. Распятие привезли туда из Ромаборга, путь был не-

близкий, и стоило оно дорого, за него нельзя было расплатиться ни овчинами, ни сырым серебром. И вот после долгих переговоров расплате прибыло к нам в Кирккюбё.

Епископ Хрои был рассудительный человек и умел за покровом красивых слов искусно скрывать свои мысли. Наедине с собой он обретал и то мужество, которое требовалось для того, чтобы идти своим путем, прекрасно понимая, что любой другой путь приведет его к гибели. Сверрир сказал, когда мы с ним покидали кладбище:

— Думаю, что этому чужеземцу было отказано в целебных зельях.

Он повернулся и посмотрел мне в глаза, словно беря меня в свидетели. Теперь я был повязан с ним, я первый раз заглянул в бездну, и только его сильная воля не дала мне сломаться от отвращения. Не думаю, что Сверрир уже той ночью имел беседу с епископом. Но это произошло в одну из ближайших.

Вскоре после того епископ позвал Сверрира и меня в свой покой, чтобы дать нам дополнительные уроки латыни. Старый брат Эрленд, который ежедневно вел с нами занятия, не так хорошо знал ученые книги, как епископ. Позволю себе сказать, что грамматика Донатуса раньше не всегда доставляла нам удовольствие. Теперь же мы прочитали заново и научились любить Псалмы Давида и пять книг о святых, которыми располагал епископ. Но лучше всего из этих занятий с епископом Хрои я помню необузданную потребность Сверрира выхватывать из потока какое-нибудь место, проникать своим цепким умом в его смысл и пронзать им чужое мнение, как острие иглы пронзает дохлую муху на камне очага. Епископ был достойным соперником, когда сталкивались мысли. Он обладал изрядной ловкостью в спорах и проявлял изворотливость, если противник слишком теснил его. Но слово Сверрира рубило слово епископа так же, как меч рубит молодое тело.

Теперь по праздничным дням, когда мы ели за столом епископа, Сверриру прислуживала Астрид, его приемная дочь. Начали ходить первые слухи о том, что она оказывает ему услуги куда большие, чем причисляет сестре оказывать любимому брату. Однако Сверрира не изгнали из школы священников, и меня тоже. До конца своей жизни он сохранил глубокое уважение к епископу Хрои, и никогда не удивлялся тому, что в сердце человека может зародиться грех.

Мы часто по ночам ходили в церковь и в темноте смотрели на распятие. Однажды ночью Сверрир спросил:

— Ты знаешь, что я родился в хлеву?..

Я знал об этом, но не понял, что было у него на уме. Из церкви мы вернулись в молчании, а Тот, который был рожден в яслях, смотрел нам вслед и лицо Его, искаженное болью, слегка светилось.



Я уже говорил тебе, что в Кирккюбё к епископу Хрои приходили из наших бедных селений, потрепанных штормами, и убогие, и непокорные, и тщеславные, и растерянные. И плачущая женщина с ребенком, муж которой погиб в море, и молодой человек, жаждущий обременить себя ученностью, и старец, ищущий перед смертью слова Божьего. Епископ направлял их и следил за ними, каждое слово, слетавшее с его губ, весило больше, чем все слова, которые этим людям могли сказать мы. Но некто был могущественнее епископа и поднимался над ним, как мысль в полете поднимается выше летящего сокола.

Вернее, двое были выше епископа: прежде всего Господь, а потом конунг Норвегии, его рука дотягивалась и до нас. Мы были прикованы к этой руке, боялись ее, преклоняли перед ней колени, когда она простиралась к нам, и склонялись в глубокой благодарности, если она швыряла нам свои жалкие дары. Раз в году, в тот день, когда посланец конунга ступал на наш берег, все наши разногласия словно смывало морем. Мы, как братья, встречали корабль посланца и потом снова провожали его.

Епископ Хрои всегда хранил молчание, когда разговор заходил о норвежцах. Но мой добрый отец Эйнар Мудрый не лез за словом в карман, тем более, если разговор касался наших братьев в Норвегии. Два года отец был толкователем снов в дружине ярла Эрлинга Кривого. Так мы со Сверриром немало узнали о норвежцах, таящих в своих сердцах горечь, злобу и даже ненависть, а порой и глубокое почтение, которое непостижимым образом соединялось у них с ненавистью и злобой. Когда я потом лучше узнал норвежцев, я как будто отведал вина, вкус которого уже знал, или встретил знакомого, бывшего мне в одно и то же время и другом и недругом.

Тяжелая голова ярла Эрлинга криво сидела на его плечах после того, как он получил удар мечом, возвращаясь из похода в Йорсалир... Маленькие, прищуренные глазки казались старческими, даже когда ярл был еще в расцвете сил. Они скрывали острую мысль и хитрость, подобную которой мало кто встречал в своей жизни. Злоба его не знала предела, и он охотно давал ей волю, но в случае нужды прибегал к лести и угодливости, которые тоже помогали ему править людьми. Он был тугодум, привычки у него были скромные, люди почти не знали его, а уж до конца точно не знал никто. Так говорил о нем мой отец.

Мой добрый отец Эйнар Мудрый был свидетелем, когда короновали конунга Магнуса, молодого сын ярла. Он был свидетелем и того, как ярл приказал повесить сына своей жены, мальчишку Харальда. Харальд был слабый человек, он плакал перед лицом смерти. Кристина, дочь конунга, мать конунга Магнуса, родила Харальда от конунга Сигурда по прозвищу Рот. Это случилось в те годы, когда ярл Эрлинг, ее муж и повелитель, ходил с походом в Йорсалир. Кристина была подходящей женой для того, кто хотел стать первым человеком в стране, но никто не сказал бы, что она была покладистая женщина, готовая подчиниться жестокому и суровому ярлу. Для ярла этот мальчишка был все равно, что песчинка в глазу, ежедневное горькое напоминание о неверности, которой славилась его жена. Но было кое-что поважнее неверности: ярл знал, что любой сын конунга может оказаться опасным соперником для его сына Магнуса, котрого с родом конунгов связывала только кровь матери. А потому Харальд был пойман, привезен в Бьёргюн и там повешен.

В Бьёргюне соорудили высокую виселицу, и возле нее собралось множество знатных мужчин и женщин. Слова и желание ярла невозможно было истолковать двояко: у народа, пришедшего на казнь, должно хватить ума, чтобы покориться воле своего повелителя и выразить больше сочувствия судье, нежели осужденному. Говорили, будто конунг Магнус просил пощадить своего малолетнего брата. Но ярл был непреклонен — эта непреклонность свидетельствовала об его уме, а жестокость — о глупости. С того дня в стране не было никого, кто не трепетал бы от страха перед ярлом Эрлингом. Он же, со своей стороны, стал бояться всех и каждого, как боится тот, кто знает, что может заставить повиноваться себе всех, кроме Бога.

Кристина, дочь конунга, мать мальчика и жена ярла, была в тот день в отчаянии, на нее страшно было смотреть. Ее связали ремнями из тюленей кожи, и говорили, что ярл хотел заставить жену смотреть, как будут вешать ее сына от человека, которого она втайне любила. Кристина же будто сказала на это: ты можешь вырвать глаза своему недругу, но не можешь заставить его смотреть на то, чего он не хочет видеть! Она не плакала и плюнула ярлу в лицо. Это было тупое оружие, но сильное. После казни она уехала из страны.

Мальчик не был трусом. Пастор утешал и поддерживал его, пока его не увели вешать, говорили, будто страх перед гневом епископа заставил ярла разрешить это. Мальчику не завязали глаза. Но не для того, чтобы не мучить его понапрасну. А для того, чтобы все люди, а их было много, могли видеть смертельный ужас в его глазах и представили бы самих себя на его месте. Мальчика медленно вели к виселице. Последнюю часть пути он плакал. Он был такой маленький и не получил того воспитания, которое позволило бы ему держать себя в таких обстоятельствах, как подобает сыну конунга. Когда на шею ему накинули петлю, женщины зарыдали, и один монах с почерневшим, искаженным болью лицом начал громко молиться в толпе. В этом заключалась особая хитрость ярла — таким образом он мог выяснить, кто позволил себе не согласиться с его волей. Потом мальчика вздернули на виселице.

Он умер не сразу, не так умирают на поле брани от смертельной раны. Его смерть не была похожа и на смерть от тяжелой болезни. Тело его дергалось, он умирал медленно, без крика, этому мешала веревка, сдавившая его шею. Смотреть на это было страшно. Я с тяжелой душой ушел оттуда.

Эйнар Мудрый сказал:

— Я с тяжелой душой ушел оттуда, и я истолковал ярлу Эрлингу только один сон. Но думаю, что в тот день я проявил больше мужества, чем за всю свою жизнь. Ярлу приснилось дерево. Вы знаете, все, кому снятся сны, видят во сне деревья. Деревья растут, становятся высокими, и толкователю снов следует сказать, что это означает растущее величие человека и его рода. Вполне возможно, что многие из них действительно видят во сне деревья. Они слышат о таких снах с детства, самые умные заставляют себя видеть во снах то, что нужно. Я сказал ярлу Эйнару: этот сон обещает тебе и твоему роду новую

славу! Я сказал это в гриднице. И очень громко. Там собралось много народу, ярл полагался на меня, он всегда заставлял толковать свои сны в присутствии многих людей.

А нагнувшись к ярлу, я прошептал ему: но похоже, что в корнях дерева есть какой-то изъян...

Потом я низко поклонился ярлу и ушел. В его глазах мелькнул страх. И я понял, что меня больше никогда не пригласят толковать сны ярла Эрлинга.

Тем же летом на Фареры шел корабль, и на нем я вернулся домой.

Так говорил Эйнар Мудрый, тихо и медленно, мы со Сверриром, сперва мальчишки, потом уже молодые люди, всегда молчали. Помоему, услышав рассказ о том, как ярл Эрлинг повесил мальчика Харальда, Сверрир молчал несколько дней.

Таковы были мои первые встречи с норвежцами, йомфру Кристин, со временем мне довелось лучше узнать их. И сегодня ночью мне хотелось бы понять, правильно ли я поступил, покинув наше маленькое Киркьюбё, где мы жили куда беднее, чем мне потом приходилось жить в Норвегии, но зато в большей безопасности. Не знаю, правильно я поступил или нет, я мало что знаю и мои знания становятся все меньше.

Думаю, что конунга Сверрира тоже порой одолевали сомнения, но он не говорил мне о них, у него были свои тайники, где он хранил и обиды, и сомнения. Знаю только, что и он, и я нуждались в том прощении, которым так донимает меня Гаут, строитель церквей, и единственное, что меня спасает в такие ночи, как эта в Рафнаберге, — это моя вера в милость Божью. Но и она не безгранична.

Доброй ночи, йомфру Кристин.



ПОЕЗДКА НА ОРКНЕЙСКИЕ ОСТРОВА

Сидя этими ночами в усадьбе Рафнаберг и возвращаясь мысленно к тем годам моей жизни, которые имели привкус дикого меда, я вижу одну женщину и двух мужчин, идущих через горы из Тинганеса в Кирккюбё. Они ходили туда, чтобы рассчитаться и разобраться с привезенным на корабле грузом, который епископу Хрои прислали богатые торговцы из Бьёргюна. Среди груза были бочки с вином, наполненные в более жарких странах, чем Норвегия, был воск и хмель, дорогая одежда и железо, из которого оружейник Унас мог теперь выковать мотыги, мечи и топоры. Те трое, что шли через горы, были Астрид, Сверрир и я, Астрид и Сверрир шли впереди, я — за ними. Я уже знал, что они любят друг друга, — они были похожи на пару чаек, играющих в воздухе, на жеребца и кобылу, тянущих друг к другу морды и ржущих теплым весенним днем.

Над нами плыли легкие голубоватые облака, они плыли с моря, преодолевали горы и долины и снова уплывали в море. Стояла весна, зеленели склоны и на них, словно маленькие агнцы Божьи в мечтах женщины, белели овцы. Тяжелые зеленоватые волны накатывали на берег, у них был цвет кошельков с серебром или долго пролежавших в воде трупов. Над нами и вокруг нас носились птицы, полчища



кричащих птиц, они до сих пор гомонят в моих проклятых воспоминаниях об этом дне. Я уже знал, что эти двое любят друг друга...

Мы подошли к Сандаре, течение было очень сильное. Сверрир подхватил Астрид на руки, быстро, легко, бесстрашно вскинул ее на плечо и побежал. Волосы у него тут же намокли от брызг, он смеялся, делал вид, что падает, она вскрикивала, и вот уже, насквозь мокрый, он стоит с ней на том берегу. Она — сухая, как хворостинка, и готовая вспыхнуть, подобно факелу, что вот-вот запылает небесным огнем в том аду, который Сверрир мог предложить ей. Я плелся за ними, во мне не было ни его силы, ни его легкости, хотя за плечами у меня висела лишь корзина с едой. Я с трудом дотащил ее до берега... И увидел презрительную улыбку Астрид, в которой было безразличие ко мне, было презрение к тому, кто не обладал его мужеством и ловкостью, что легкостью и силой дикого жеребца, его злой способностью напасть и на друга и на недруга в промежутке между двумя ударами сердца.

У меня и сейчас навертываются на глаза слезы, они, словно падающие звезды, летят по темному вечернему небу. Теперь-то я понимаю, что давно предчувствовал это, я через силу улыбнулся и сказал, что Сверрир прыгнул в воду жеребенком, но вышел на берег мокрым жеребцом. Нельзя сказать, что ему не понравились мои слова. Он всегда любил похвалу, даже если знал, что она сильно преувеличена. Но я никогда не видел, чтобы он лишился способности прикинуть на весах своей мысли, сколько серебряных монет ему дали. Он снова поднял Астрид и сделал вид, что хочет бросить ее в воду, — она закричала, он не отпускал ее, и она перестала кричать.

Я отвернулся от них.

Вот какой была тогда Астрид:

Крупное, сияющее лицо, дерзко вздернутый нос, легкий румянец, ее щеки не пылали свежестью, их жар только угадывался, как угадывались бутоны сосков, стянутые тугим лифом. Голубые глаза, иногда с зеленоватым отливом, пышные волосы, одинаково красивые и в ведро и в ненастье, и в снег и в мороз. И плечи. Один раз я видел их обнаженными — с тех прошло много лет, теперь ей уже не повредят ни мои слова, ни злые слухи, ни песня, подхваченная ветром. Я видел их обнаженными — круглые, сильные, сочные, словно яблоки из страны франков, белые и девственно-прекрасные — моим словам не хватает силы, хотя обычно уважение не сковывает мою речь. Грудь

хватает силы, хотя обычно уважение не сковывает мою речь. Грудь под рубахой торчали, точно головы двух козликов, готовых к прыжку, — однажды они прыгнули у меня на глазах.

На берегу мы сделали привал. У нас с собой была баранина, и я развел огонь, чтобы зажарить ее на углях. Я сидел к ним спиной, кровь грохотала во мне, как грохочет река по каменистому руслу. Я знал: сейчас они уйдут; склонившись над искрой, выбитой кресалом, я старался раздуть ее, капнувшая слеза упала на искру и маленький, красный огонек погас. Пришлось снова высекать огонь. Вскоре костер разгорелся, я больше не плакал, но приподнявшись над большим камнем, что был у меня за спиной, — он был выше человеческого роста, — старался увидеть их. Но их нигде не было.

Вот какой была тогда Астрид:

Она никогда не смотрела на меня, не взглянув сперва на него, она не заметила бы меня и в том случае, если бы я обладал его мужеством и его яркими способностями. Позже, в тот несчастный для нее день она обратила на меня внимание лишь потому, что он находился вне поля ее зрения. Все ее помыслы были о мужчине, которого она получила и от которого потом отказалась, но и в добрый и в недобрый час она все равно принадлежала ему. И потому я чувствую, как нынче ночью по моей щеке — более грубой, чем она была тогда, — бегут старческие слезы, бегут, как в тот день на берегу Сандары, когда они погасили высеченную мной искру.

Вот какой была тогда Астрид:

Ее поступки диктовались и порывами женщины, и холодной волей мужчины. Ей была свойственна мудрость, которой обладал ее приемный отец, — в далеком прошлом они принадлежали к одному роду, — но также и его суровость ко всем, кто проявлял слабость. Думаю, она никогда не обращалась к Богу с надлежащим смирением, а только в буйном порыве или в опьянении любовью. И если бы Дева Мария позволила ей дать имя нашему Спасителю, она нарекла бы его именем своего любимого. И все-таки он покинул ее.

Вскоре они вернулись... Мы пошли дальше в Киркьюбё.

По пути домой я пытался убедить себя, что люблю всех, — раз ее любовь досталась другому, я должен любить всех. В тот день, идя позади них, я питал любовь к своим родителям, Эйнару Мудрому и Раннвейг. Я чувствовал также глубокое уважение к епископу Хрои,

растущее любопытство к многогранной душе Гуннхильд и некоторое почтение к оружейнику Унасу. Но каковы были мои чувства к Сверриру?

Думаю, его сострадание к проигравшему было искренним, и он выражал его молча. В этом чувстве не было ни презрения, ни торжества. Поэтому я не завидовал Сверриру. Когда мне пришлось отказаться от той, которую я любил, я оказался накрепко связанным с тем, на кого пала ее любовь. Гордость, а в ней у меня никогда не было недостатка, заставила меня следовать за человеком, получившим то, чего не получил я. Но заговорили мы с ним об этом лишь много лет спустя.

В начале осени епископ Хрои, приемный отец Астрид, обвенчал их, и на другое лето Астрид родила сына, которому при крещении дали имя Унас. В то же лето мы со Сверриром отправились на Оркнейские острова, чтобы от имени епископа рассчитаться за большое распятие, ставшее гордостью Киркьюбё. Там, на Оркнейских островах, мы должны были завершить свое образование и начать служить церкви, свет которой сиял и в тайниках наших душ и на всей Божьей земле.



Мы покинули Фареры под предводительством Свиного Стефана, это был наш со Сверриром первый поход в мир лжи и счастья, который оказался совсем не таким, каким мы его себе представляли, и, главное, не таким добрым. Свиной Стефан был наш друг, про него говорили, что на море в тумане он носом чует землю и что в двенадцать лет он умертвил быка, задушив его голыми руками. Свиной Стефан отличался не благородством, но силой, и проявлял жестокость, когда все крутом были жестоки, он был полезен конунгу, и мой конунг часто потом прибегал к его помощи.

Когда наш корабль собирался выйти из гавани Киркьюбё, на берегу столпилось много мужчин и женщин. Среди них была и Астрид, в этот день она не выглядела красивой и была больше похожа на наказанного ребенка, чем на счастливую молодую мать. Она была не в силах выразить своему мужу преданность, которой он ожидал, уезжая от нее. Но Сверрир отнесся к ее холодности со спокойствием,

похожим на ледяной шквал, долетевший со студеных морей. Мое уважение и преклонение перед его силой было тогда сильнее, чем потом. Но, думаю, каждый мужчина, ставивший дружбу выше любви, поймет меня, если я скажу, что в тот день моя верность Сверриру была больше, чем мое сочувствие Астрид.

Епископ Хрои поднялся на борт, чтобы перед отъездом благословить нас и всю команду. Мы все стояли на корме и пели: Господи, помилуй! Два золотых кольца, последний взнос за большое распятие, хранились у Сверрира. Только мы с ним знали, что у него есть еще одно кольцо, которое тоже было частью нашего долга, но его Сверрир хотел сохранить, если представится такая возможность. Провожжающие махали нам, мы — им, и корабль вышел в море.

Мы все были привычны к морю, и ветер был попутный. Над морем раскинулось высокое летнее небо, мы со Сверриром, ставшим потом конунгом Норвегии, сидели на корме. В первый вечер, когда острова и горы у нас за спиной скрылись в море, он говорил мне с большой убежденностью, но также и со скрытым гневом, о праве мужчины идти своим путем и испытать свою судьбу. Он говорил с такой силой и страстью, предел которой может поставить лишь воля Божья, или смерть. И я понял, а он этого и хотел, что за всеми его словами о праве мужчины кроется нежность к ребенку и женщине, всколыхнувшаяся в нем, когда их разлучило море.

Молчанием и едва уловимым холодом Сверрир пытался отгородиться от всех, кто был на борту. От Свиного Стефана, когда тот пробирался между скамьями гребцов и от любого из команды, если кто-нибудь вдруг приходил к нам на корму. Его голос обрушивался на человека, как шквал, в нем слышался приказ, и пришедший уходил. Об Астрид он не проронил ни слова. Но сказал, упомянув Унаса, которому было пять недель и который, по мнению отца, был умный и сильный мальчик, что и мне было бы хорошо иметь близкого человека, способного поддержать меня в трудную минуту, какую-нибудь женщину из хорошего рода, обладающую силой, свойственной лишь преданным душам. Потом он замолчал.

Этот обычно молчаливый человек выбрал своим слушателем меня, должно быть, потому, что я умел слушать, мои уши в такой же степени обладали способностью слушать, как его уста — говорить. Море несло нас, безбрежное, открытое море, птицы и звезды указы-

вали нам путь, а штормы были где-то далеко. Наш груз тревог и грехов был укрыт так надежно, что нам ничего не стоило делать вид, будто его вообще не существует. Через некоторое время я сказал, что безграничная преданность — тяжелое бремя для того, кто несет ее, и тот, кому она предназначена, должен платить за нее. Однако мужчины не пристало оспаривать свое мужское право, ему лучше отвернуться и промолчать. Вообще-то, я только повторил слова Сверрира — запомнил, сократил и вернул их ему в подтверждение того, что я понял сказанное им мимоходом и согласился с его мнением. Он заговорил о другом и, мне показалось, повеселел.

А вокруг раскинулось море, и птицы со звездами указывали нам путь.



Как я уже говорил, йомфру Кристин, Сверрир вез на Оркнейские острова золотые кольца, которыми епископ Хрои должен был погасить долг за большое распятие. Но было у нас и еще одно поручение, о котором на корабле не знал никто, кроме нас. В Киркьюбё ходили слухи, что там на Оркнеях, в доме каноника в Киркьювоге, есть книга содержащая истину, открывшуюся когда-то женщине в Ромаборге.

Епископ Хрои не знал, как звали ту женщину, но, будучи сам епископом, был убежден, что она состояла в близком родстве со многими могущественными епископами, служившими в городе папы. Опасная и суровая истина была явлена этой женщине в откровении. Истина о главном и неглавном, внутренняя и внешняя, а также ответ на то, что не имеет ответа. Были основания полагать, что никто, без помощи Господа Бога, не смог бы постичь эту истину и найти столь точные слова, дабы выразить то, что другим лишь приоткрывается. В Киркьюбё считалось, будто этот священный пергамент с пламенными глаголами Господа, написанными на языке, известном лишь немногим и содержащий сведения о смерти и безднах ада, с которыми предстояло познакомиться нашим недругам, был когда-то привезен в Киркьювог на Оркнейские острова.

Думаю, йомфру Кристин, что где-то должна быть такая книга. И если она еще не написана, ее непременно кто-нибудь напишет, пусть даже и не я. Но если несколько сотен душ в нашем крохотном Кир-

кьюбе верили, что она находится в Киркьювеге на Оркнейских островах, то объясняется это той же завистью и невольным почтением, которые заставляют вшивого бонда из Сельбу верить, будто улицы в Нидаросе, где живет архиепископ, вымощены жемчугом и чистым золотом.

Мы со Сверриром должны были выяснить, хранится ли в Киркьювеге этот священный пергамент и постараться выменять его на какие-нибудь ценности. В качестве первого залога мы должны были воспользоваться золотым кольцом, которое Сверрир носил на шнурке на шее, об этом кольце знали только он и я. В уплату за этот пергамент епископ собирался следующей осенью отправить на Оркнейские острова два корабля с полной командой. Так он сказал нам. Люди, приплывшие на тех кораблях, должны были без какого-либо вознаграждения пять лет служить оркнейскому ярлу. Поэтому нам надлежало молчать об этом, ибо кто захочет отдать пять лет своей жизни за книгу, которую он не может прочесть и которая даже ученых людей способна повергнуть в страх, не принесет им радости? Не сомневаюсь, что епископ Хрои придумал бы, как отправить корабли на Оркнейские острова, чтобы люди не заподозрили, что их там ожидает. А дальше уже ярл Харальд должен был заботиться о том, как внушить любовь и повиновение тем, кого ему отдали в уплату за слово истины. Мы плыли семь ночей, пока впереди не показалась земля.

Однако лик истины, йомфру Кристин, не всегда светит там, куда направляется корабль.



Я буду краток. В Киркьювеге мы посетили старшего священника, служившего в красивейшей церкви, какую я до того видел. Церковь была еще не закончена, но уже освящена в честь святого Магнуса. Нас приняли в школу священников, и мы быстро поняли, что для завершения своего образования должны остаться в Киркьювеге на всю зиму. За большое распятие мы отдали на одно кольцо меньше, чем было обещано. Сверрир утаил его, сказав, что епископ Хрои, должно быть, неправильно понял условия сделки и дал понять, что в последнее время епископ полюбил золото куда больше, чем слово

Божье. Он предложил, чтобы мы помогли оркнейским священникам отправлять заупокойные службы по покойникам, умершим от чумы, которая зимой свирепствовала на островах. Чужая смерть не очень огорчала служителей церкви, готовых за жалкие гроши провести души умерших через чистилище к Богу. Так получилось, что мы, еще ученики, ничем не выделявшиеся среди сонма ученых людей в этом богатом епископстве, смогли оплатить словом то, за что должны были заплатить золотом. Однако священного пергамента со словами истины мы там не нашли.

Жили мы в тесном, неприбранном помещении для учеников. Мы со Сверриром делили одну постель на двоих. Нам было непривычно оказаться там, где нас не знали, где никто не видел в нас ближайших людей епископа и где мы были вынуждены ходить строем и молчать, когда говорили другие. Это была полезная школа, и чувство недовольства, мучившее нас весь тот год, сблизило нас еще больше. Наши фарерцы работали на причалах, занимались ловлей рыбы под началом Свиного Стефана и, так же как мы, должны были перезимовать на островах.

В ту осень в Киркьювоге стояли два корабля из Норвегии. Хёвдингами на них были сборщик дани Карл и его сын Брюньольв. Карл приехал за данью, положенной норвежцам, — рука конунга Магнуса и ярла Эрлинга дотягивалась и сюда. Этот сборщик дани не пользовался тем уважением, на какое мог бы рассчитывать посланец конунга. Однако к его чести надо сказать, что мало кто из людей, вызывающих такую неприязнь, выполнял свою задачу лучше, чем он. Сборщик дани намеревался вернуться в Норвегию до начала зимних штормов. Поговаривали, будто Харальд, оркнейский ярл, не от чистого сердца, надеясь на отказ, просил сборщика дани остаться на островах до следующего лета, дабы заручиться его расположением прежде, чем тот уедет. Сборщик дани не знал удержу в своем рвении, когда дело касалось дани. Сын тоже, но его рвение касалось только женщин. Оба требовали то, что принадлежало им по праву. В Киркьювоге сильно поубавилось серебряных колец, и злые языки говорили, что число чаш в усадьбе епископа во время осеннего пересчета не совпадет с прежним.

Для нас, уже знавших многое о норвежцах из рассказов Эйнара Мудрого, это не было новостью. В Киркьювоге норвежцы захватили

бой в Норвегию, и обещали, что ему будет оказана честь, ибо воспитываться он будет в дружине конунга Магнуса. Он станет дружинником конунга, если только оркнейский ярл не соберет против конунга войско, чтобы, отправившись за море, объединиться там со многими противниками конунга Магнуса. Буде такое случится, молодому человеку не удастся усовершенствовать свое воинское искусство. Тогда ему суждено совсем другое.

В тот вечер, когда глубокое уважение норвежцев к жителям островов было недвусмысленно подтверждено тем, что юного заложника увезли на корабль сборщика дани, мы со Сверриром лежали спиной друг к другу, и не могли заснуть. Вдруг он повернулся ко мне и тихо сказал на ухо так, чтобы никто не слышал:

— Я думаю, мы не найдем здесь книгу истины... Зато я нашел человека, которого зовут Сигурд.

Йомфру Кристин, как только он произнес эти слова, над морем и островами воцарилась странная тишина. Так мне кажется теперь. Тогда я впервые услышал имя человека, который впоследствии назвал Сверрира хёвдингом берестеников* и конунгом Норвегии.



Мы встали и вышли из нашего тесного жилища, где храп молодых будущих священников был похож на сердитый рокот моря перед штормом. Сверрир привел меня к молодому норвежцу, его звали Сигурд, он был из Сальтнеса в Трёндалёге. Сюда Сигурд прибыл на корабле сборщика дани. Сигурд был новый друг Сверрира, но где и когда они познакомились, я не знаю. Он сидел в одном из каменных лодочных сараев, что стояли на берегу, и терпеливо ждал нас. У них со Сверриром была назначена там встреча. Сверрир обладал удивительной способностью, — я плохо понимал ее тогда и совсем не понимаю теперь — он, точно стрела, всегда находил нужного человека. Наверное, ему помогало то, что проходя сквозь толпу, он слышал каждое слово, умел подмечать в лицах людей и малейшие признаки

* Прозвище, данное повстанцам, сторонникам конунга Эйстейна Девчушки, они скрывались в лесах, обувь у них изнашивалась, и они заворачивали ноги в бересту.

недовольства и любой намек на радость. И копил это, как скряга, который копит серебряные кольца в железной укладке. А когда наступало время, он безошибочно отыскивал того, кто был ему нужен. Сам же человек даже не подозревал, что Сверрир явился к нему не случайно.

Вот и Сигурд сидел в каменном сарае и ждал нас. В сарае лежала лодка, на балке под потолком висели сети, Сигурд встал и приветствовал нас. Вид у него был неопрятный и невеселый. Как только мы сели на принесенные морем бревна, что лежали в сарае, Сигурд снова встал, подошел к дверям и прислушался.

— Там никого нет, можешь положиться на нас, как возница полагается на своих лошадей, — сказал Сверрир.

— Случалось, что лошадь лягала своего хозяина, — заметил Сигурд.

— Тогда доверься нам, как кормчий в непогоду доверяется своему кораблю!

— Случалось, что корабль подводил кормчего в непогоду, — ответил на это Сигурд.

— Тогда верь нам, как Дева Мария верила Спасителю, а если мы обманем тебя, тебе останется плакать, как она плакала у креста.

Сигурд сказал:

— Когда Дева Мария плакала, Иуда говорил.

Сверрир промолчал.

— Я верю вам, — сказал тогда Сигурд.

Сверрир спросил, верно ли, что завтра они отправятся домой. Сигурд усмехнулся:

— Что мне делать дома, если меня, наследника усадьбы, вытащили из собственной постели, и я даже не успел схватиться за меч? Меня сделали заложником за двух моих братьев. Они теперь служат людям ярла в Трёндалёге, хотя сердца наши отданы другому господину. Зачем я здесь? Разве здесь можно чем-то разжиться? Теперь мы возвращаемся в Бьёргюн к ярлу Эрлингу. Мне предстоит сражаться за него и слушать похвальбу его людей. Но я трэнд*. А трэнды не хотят подчиняться ярлу Эрлингу. Запомните это! Однажды ему придется обогреть свое оружие нашей кровью. Или нам — его.

Молодой, рыжебородый, Сигурд кипел злобой и ненавистью. Я

* Житель Трёндалёга, теперь Трённелэг.

Молодой, рыжебородый, Сигурд кипел злобой и ненавистью. Я подумал, что не хотел бы встретиться в битве с таким противником, а если такой встречи было бы не избежать, мне было бы уместнее молиться за свою душу, чем за его. Сверрир спросил, правда ли, что ярл Эрлинг со своими людьми взял в плен предводителя трэндов Фрирека и убил его? Сигурд сказал, что это правда. Он был тогда с людьми ярла, его самого взяли в плен гораздо раньше.

Он рассказал нам:

— Я был заложником на корабле, и меня посадили на весла, корабль шел против моих трэндов. Я бранился, как мог, но это не помогло. Люди ярла взяли Фрирека, он узнал меня — мы с ним познакомились, когда был жив мой отец и Фрирек гостил у нас в Сальтнесе. Он узнал меня и плюнул мне в лицо. Это был поступок настоящего мужа — ведь он думал, что я предатель, перебежчик, бесчестный человек. Люди ярла закричали, что вздернут Фрирека на мачте, — пусть болтается там, как коровья туша под потолком на усадьбе конунга. Но ярл сказал: Нет. Он сказал: Принесите якорь. И люди принесли якорь. Потом Фрирека привязали к якорю и четверо самых сильных людей бросили якорь за борт вместе с Фриреком. После этого трэнды не стали сильнее любить ярла Эрлинга...

В сарае пахло пивом, видно, Сигурд пил уже долго. Сверрир выпил немного, я — еще меньше, в этом Сигурд из Сальтнеса превосходил нас. Сверриру хотелось узнать, о чем думают люди, и он начал расспрашивать Сигурда. Но не в Трёндалёге, это нам было уже ясно, а по всей стране. А что думает сам Сигурд? На это Сигурд ответить не мог. Но одно он знал точно:

— Тот, кто противится желаниям ярла, обречен на смерть. У норвежцев только два пути. Но я трэнд! Помните это!

Мы долго сидели с Сигурдом, потом ему пришло время идти на корабль. Он сказал:

— Мне бы хотелось, чтобы Фрирек перед смертью понял, что я бесправный заложник, а не бесчестный предатель. Это жжет мое сердце, у Фрирека есть сыновья, и я не знаю, что им известно обо мне. Не знаю также, живы ли мои братья.

Такова была жизнь норвежцев, теперь мы это знали, мы, жители далеких островов, которых не уважали люди, прибывавшие на кораблях из Норвегии в Тинганес или Кирккюбё. Сигурд встал, сказал,

что разговор с друзьями приносит облегчение, но иногда лучше бывает промолчать.

— Не говорите никому то, что узнали от меня. У ярла Эрлинга повсюду есть свои люди, им платят за то, чтобы они слушали, и слышат они лучше, чем многим кажется. Эти люди долго упражнялись, чтобы запоминать услышанное, и многие из них могут даже читать. Пусть через пять, шесть или семь лет, но так или иначе ярл все равно узнает все, что я сказал, если вы не будете держать язык за зубами. Тогда вы умрете. И я тоже. Многие говорят, что ярл — ловкий человек. И я думаю, они правы. В молодости он ходил в Йорсалир и видел там Бога. Но видел ли Бог его?

Тогда пришел Гаут.

У Сверрира было качество, которое я уважал тогда и еще больше уважаю теперь: он умел каждому внушить, что он любит своих друзей. Впоследствии это увеличило круг его друзей. И он умел каждому внушить, что он ненавидит своих недругов. Впоследствии это сильно уменьшило их число.

Тогда пришел Гаут.

Сигурд сказал:

— Это мои друзья, Гаут, можешь им доверять.



Гаут был небольшого роста, и вместо одной руки у него был обрубок. Он тоже приплыл сюда с людьми сборщика дани Карла. Гаут почтительно поздоровался с нами, его доброжелательность и открытость произвели на нас со Сверриром приятное впечатление. Сигурд совсем опьянел от пива, мы проводили его к причалу и пожелали доброго пути. Гаут повез его на лодке, а когда Сигурд уже заснул на своем месте в палатке на палубе, Гаут вернулся и спросил, нельзя ли ему пойти с нами в церковь? Ему бы хотелось там помолиться. Мы не возражали и вместе пошли в церковь, было полнолуние, на море не было ни одного барашка, чуть поодаль темнели дома Киркьювога, там спали люди. Птицы молчали.

Гаут простился с нами у входа в церковь, сказав, что ему все-таки не хватает душевного покоя и смелости, чтобы молиться нынче но-

чью. Во мне нет Бога, сказал он. А еще он сказал, что ему не нравится человек, который взял здесь заложника и собирается силой увезти его за море.

— Я езжу по свету только затем, чтобы обрести то, что дается немногим, — мир, и еще чтобы найти и простить своего обидчика. Однажды много лет назад мне отрубили руку. Это было ночью. Теперь я знаю, что это сделал кто-то из спутников сборщика дани Карла, но не знаю, кто именно. Я верю, что, если найду и прощу своего обидчика, у меня вырастет рука. Как вы думаете?

Я стоял и смотрел на Гаута, у него было лицо сильного человека, но неожиданно в нем появилось что-то болезненное. Я не ответил ему, Сверрир тоже, по-моему, я перекрестился, Сверрир, наверное, тоже. Мы расстались с Гаутом.

Он крикнул нам вслед:

— Не забывайте, люди должны прощать своих обидчиков, если хотят, чтобы Господь простил их самих!..

Его громкий, хриплый голос прокатился по кладбищу среди могил, Гаут скрылся, но голос его еще дрожал в светлом воздухе. Потом мы ушли.

Мы не спеша возвращались в тесное жилище, где жили ученики школы, но подойдя к нему, не смогли заставить себя войти внутрь и пошли дальше. Из Киркьювога, в гору... Было полнолуние, за нами шла овца, она переливалась, словно кусок белого шелка.

Сверрир сказал:

— Если Сигурд из Сальтнеса простит своих обидчиков, он не обретет мира, нельзя обрести в душе мир, склонив голову перед ярлом Эрлингом. Однако люди должны жить. И жить с миром в душе.

Он выразил это гораздо короче, мне пришлось прибавить свои слова, чтобы понять, что он имел в виду. Понял я также, что Сигурд и Гаут уже выбрали каждый свой путь. И оба пути были не из легких. В ту ночь мы так и не легли спать. Мы стояли на горе над Киркьювогом и смотрели, как с первым проблеском дня два корабля сборщика дани вышли на веслах в море. На борту были и тот, кто хотел простить, и тот, кто не мог этого сделать, и заложник, которого насильно увезли из дома.

Сверрир сказал:

— У меня есть, что сказать оркнейскому ярлу, но может ли известный ученик священника говорить с ярлом?

Я сразу понял, что Сверрир из Киркьюбё мог бы легко этого добиться. Он мог бы сказать, что у него есть для ярла сообщение от епископа Хрои, который, разумеется, не передавал с нами для ярла никаких сообщений.

Но что он хотел сообщить ярлу и зачем? Слова Гаута о прощении или гордые слова Сигурда о недовольстве, царящем среди норвежцев в Трёндалёге? Будущий священник Сверрир еще не знал, что он скажет. Но хотел пойти к ярлу.

Йомфру Кристин, наши сердца были лишены таланта прощать.



Теперь я думаю, что Сверрир не знал, что он скажет ярлу, если ему будет оказана милость и ярл примет его. Но понимаю, что молодой Сверрир страстно хотел встретить этого самого могущественного на островах человека, увидеть его лицом к лицу, обменяться словами. Он хотел ощутить величие этой встречи и сказать что-нибудь, что поразит ярла, останется с ним и будет тревожить его, когда Сверрир уже уйдет. Но что он собирался сказать? Слова прощения или непрощения, слова Гаута или слова Сигурда?

Шли дни, а мы все не могли найти подходящего предлога, чтобы просить ярла Харальда поговорить с нами. Но тут старый епископ Вильяльм тяжело занемог и слег в постель. На островах он, единственный, был близок Богу своей мудростью и своей порядочностью. Когда-то епископ был лихим воином — шестерых людей он лишил жизни и семерым дал жизнь. Однако ходили слухи, что, когда дело касалось сердечной боли и душевных страданий, епископ проявлял слабость.

Говорили, что когда сборщик дани Карл уехал и перед епископом выставили серебряные чаши, оставшиеся в усадьбе, его пришлось поддерживать ремнями, скрыв их под облачением, чтобы он не рухнул на колени не вовремя. Другая же лживая сага, любимая людьми, рассказывала, что после того, как сборщик дани Карл увез епископское серебро, епископ так ослабел, что двум молодым каноникам с крепкими зубами, сыновьям местного кузнеца, приходилось разже-

вывать для него пищу. И все-таки у епископа не хватило сил это пережить.

В тот день, когда по Киркьювогу прошел слух, что епископ занемог, Сверрир сказал:

— Если помнишь, Аудун, мы с тобой должны передать больному епископу Вильяльму сообщение от нашего епископа Хрои. Но можем ли мы, молодые и недостойные, явиться к нему в покои, когда он лежит на смертном одре, страшась вечных мук и подводя честный итог своей смиренной жизни? Наверное, будет лучше, если мы обратимся к ярлу и попросим его выслушать сообщение, которое, на взгляд молодых и неискушенных людей, имеет большое значение и для наших островов и для Оркнейских?

Он говорил хорошо, я молчал, — в тот же день он пошел к писцу ярла, молодому тонкогубому священнику, этот тощий пес был готов всадить зубы не только в жалкую кошку. Священник не мог ничего обещать ему.

Вечером епископ Вильяльм умер.

Добрый старый епископ и при других обстоятельствах был бы погребен с большими почестями. Однако, мне кажется, не с такими, каких он удостоился тогда. Я часто думал, йомфру Кристин, — прости, мне не хочется досаждать тебе своими нечистыми мыслями, — что время и обстоятельства, при которых человек умер, имеют большое значение для тех почестей, какие оказываются ему при погребении. Епископа Вильяльма отправили прямо в царство небесное, при чем с такой поспешностью, что холод смерти не успел сковать его старую тленную оболочку. Он был еще на пороге, отделяющем жизнь от смерти, когда его, словно серебряную монету, уже вложили в руку Господа Бога. А на какие весы Всемогущий потом бросил эту монету, этого мы уже не узнаем.

Был в Киркьювеге один человек, который обладал талантом, присущим самому дьяволу. Это был ярл. Он хотел, чтобы жители островов забыли норвежцев и нанесенное ими оскорбление. Большая радость охватила жителей Киркьювога, когда они узнали, что поминки по епископу будут длиться три дня и три ночи. В трактирах расхватывали горячительные напитки, и у порогов продажных женщин, живших в маленьких каморках на чердаках, стояла очередь молодых охваченных горем людей. Ярл вернул себе часть бывшего ува-

жения, утраченного им оттого, что ему пришлось уступить сборщику дани из Норвегии.

Однако, йомфру Кристин, был в Киркьювоге еще один человек, обладавший талантом, присущим самому дьяволу. Это Сверрир. Он сразу понял значение случившегося, и, думаю, проникся глубоким уважением к ярлу, который, не раздумывая, извлек для себя пользу даже из смерти епископа. Теперь Сверрир еще больше, чем раньше, хотел встретиться с ярлом Харальдом.

Но какие слова он собирался сказать ему — слова прощения или слова непощения, слова Гаута или слова Сигурда?

— Йомфру Кристин, я знаю, что мое легкое презрение к людям для тебя все равно, что несколько капель дождя, упавших на рубашку девушки. Но и нынче я намерен оказать твоему отцу конунгу ту честь, какой он заслуживает и какую я всегда оказывал ему, пока он был жив.

— Господин Аудун, прежде чем ты продолжишь повествование о своем уважении к моему отцу конунгу, я хочу спросить тебя, знаешь ли ты, что трое твоих людей здесь, в Рафнаберге, увели йомфру Торил из ее каморки на чердаке и, думаю, обрели у нее больше радости, чем мы с тобой от нашей беседы.

— Йомфру Кристин, ты поступаешь благородно, говоря о другой молодой женщине столь же почтительно, как говорят о тебе самой. Но твоя светлая вера в ее целомудренность весьма удивила бы не только тех мужчин, но и ее самое.

— Господин Аудун, нынче ночью меня печалит и не дает покоя одна мысль. Мне хотелось бы знать, доставила ли ей эта встреча такую же радость, как тебе мысль об этом?

— Йомфру Кристин, могу утешить тебя тем, что ее радость была не меньше твоей боли, а уж велика ли она или мала, судить тебе.

— Господин Аудун, прежде чем я уйду, чтобы разделить свое ложе с моей служанкой йомфру Лив, позволь сказать, что твое легкое презрение к людям куда легче, чем ты сам полагаешь. И за это я благодарна тебе.

— Йомфру Кристин, я тоже благодарен тебе, что ты позволила свету своей души упасть и на меня в эти ночи в Рафнаберге, пока корабли посошников рыщут по фьорду в поисках дочери конунга Сверрира и его людей.



Носилки с покойником проносили десять шагов, после чего их опускали на землю, благословляли и несли следующие десять шагов... Но с каждым новым шагом шествие приближалось к собору — величественному, прекрасному, незабываемому, посвященному святому человеку Магнусу, бывшему некогда ярлом этих островов, а теперь нашедшему свое место у престола Господня. Покойника внесли под высокие своды, мы, будущие священники из Киркьюбё, молодые и недостойные, проникнутые торжественностью этой минуты, стояли в соборе. В широких плащах, с зажженными свечами мы преклонили колени, коснулись лбом пола и потом медленно выпрямились, когда мимо нас в гробу из золотистого кедрового дерева пронесли священные останки епископа.

Священные останки пронесли мимо нас в гробу из золотистого кедра, омытого водами Иордана и привезенного паломниками из Йорсалира. Воду для обмывания привезли в мехе, сделанном из желудка осла, которому перерезали горло на рассвете под деревьями Голгофы... Шел день третий.

Шел день третий — пели коленнопреклоненные священники, плакали горюющие женщины, смеялись и кричали дети, звонили колокола и медленно раскачивались кадила. И тут появился ярл, он явился из дыма ладана перед алтарем храма, в воинских доспехах, но смиренный и без головного убора, в руке у него была свеча — это был и воин и слуга Божий. Он заговорил. И сразу стал самим собой — сильным, значительным человеком, превосходившим здесь всех и силой и достоинством. Он говорил о великих людях из своего рода, теперь уже ушедших из жизни, о святом Магнусе, в честь которого был выстроен этот собор и который покоился тут под главным алтарем, где отныне будет покоиться и епископ Вильяльм.

А потом ярл поведал, что в последний день, когда душа епископа Вильяльма еще не покинула его брэнного тела, ему было видение, и мне показалось, будто сильная рука вырвала меня из моей земной оболочки и вознесла в Богу. Святой Олав, самый близкий Богу человек, явился к ярлу и говорил с ним. Он сказал, что епископ Вильям отныне тоже станет святым и сядет на небесном престоле рядом с Богом в качестве его помощника и заступника всех нас, кто еще чис-

лится в живых. И потому у этих островов будет не один святой заступник, а два, и это благословение Божье! Святой Олав, избранный среди людей, взял двоих из нас себе в оруженосцы — мы живем в кругу избранных, и в этом — наше благословение, наше величие, давайте же опустимся на колени и вознесем к Богу свои молитвы... И ярл опустился на колени.

Я видел лицо Сверрира, оно сияло, он стоял на коленях и молился. И вдруг, тогда я не понял этого, а теперь понимаю, меня охватило неприятное чувство, подобное мутному потоку, несущемуся в море.

В ту ночь мы не спали, йомфру Кристин, думаю, в Киркьювоге вообще никто не спал в ту ночь. Мы попытались пробиться к главному алтарю и помолиться там, но в церкви было столько народу, что нам это не удалось. Вместо этого мы ушли из селения в луга, мы вдвоем. Над вершинами гор и над островами светила луна, ветер ласково гладил наши лица. Но мы молчали.

Потом Сверрир сказал, что, когда ярл говорил о своей встрече со святым Олавом, он сам тоже увидел святого Олава. Это не мог быть никто другой, перед лицом Сверрира возникло его лицо, их губы почти касались, глаза смотрели в глаза, казалось, отец целует сына. Губы зашевелились, святой что-то сказал, но что именно покойный конунг сказал Сверриру? Когда Сверрир смотрел на меня, лицо его светилось.

Это лицо, йомфру Кристин, до сих пор живет в моей памяти — честное, осиянное светом всемогущего Бога. Грешное и в то же время нежное лицо умного человека, умевшего так безошибочно выбирать нужное время, что все похвалы умирают у меня на языке прежде, чем я успеваю произнести их.

Мы пошли обратно в Киркьювог, но потом повернули и снова пошли в луга, где блеяли овцы, и ветер с моря принес нам успокоение. Сверрир сказал:

— Его губы говорили мне!.. Я и сейчас слышу их шепот, он словно поет у меня в ушах. Можешь помолиться вместе со мной?

Мы опустились на колени среди вереска и мха и стали молиться, и когда мы поднялись и молча стояли в лучах лунного света, Сверрир сказал:

— Я снова увидел его... Он сказал: Я умею выбирать своих людей...

Йомфру Кристин, Олав Святой умел выбирать своих людей. Мы со Сверриром вернулись в Киркьювог. На другой день тонкогубый

священник передал нам, что ярл Харальд готов оказать нам милость и принять нас для короткой беседы на следующее утро. Мы должны помнить: в нашем распоряжении будет мало времени, и мы поступим разумно, если хорошо продумаем каждое слово.

Сверрира обрадовало это известие, но особого удивления оно у него не вызвало. Я же, йомфру Кристин, был удивлен им, но радости оно мне не принесло.



Тонкогубый священник ввел нас в большой покой, мы склонились в почтительном поклоне — голова была чуть повернута в сторону, руки отведены за спину. Мы долго упражнялись, отвешивая этот поклон, я — перед Сверриром, он — передо мной. Но когда мы кланялись, ярла в зале не было. Мы этого не заметили, и в узких глазах священника мелькнула презрительная усмешка. Мы выпрямились, во мне клокотал гнев, лицо у Сверрира стало пунцовым. Наконец вошел ярл.

На этот раз мы поклонились со страхом и трепетом, которые являются неотъемлемой частью каждого поклона слуги своему господину. Мы выступили на три шага вперед, и священник назвал наши имена, все молчали, первым должен был заговорить ярл. Он оказалась молодым человеком, немногим старше нас, вблизи он выглядел не так хорошо, как вчера в церкви, когда вдруг вынырнул из дыма курильниц и говорил с людьми. Он коротко спросил, что мы хотим ему сообщить и почему считаем, что ему необходимо это узнать.

И больше ни слова, холодный, как лед, он смотрел на нас, это был его излюбленный прием, помогавший ему определять способности своих подчиненных. Слева от ярла стоял тонкогубый священник, который, похоже, знал все. Больше никого в покое не было, ни одного стража, но по пути сюда мы прошли сквозь строй воинов. Плащи наши были распахнуты, скрыть под ними оружие было бы невозможно, я помню, что сложил руки на животе, словно хотел защититься от строгого молчания ярла.

И тут заговорил Сверрир:

— Как ты уже знаешь, государь, у нас есть сообщение, крайне важное для этих островов, и мы полны сожаления, что не смогли

передать его покойному епископу Вильяльму, пока он был еще жив. По причине, с которой мы скоро тебя познакомим, мы сочли неподобающим передавать сообщение епископа Хрои, пока сборщик дани Карл оказывал тебе, государь, и всем нам честь своим посещением...

Глаза ярла сверкнули, ярл Харальд обладал быстрым умом и редким чутьем. Он открыл было рот, но Сверрир опередил его, отважно бросившись в неведомое. Он сказал:

— Государь, я не могу открыть свое сердце, пока мы не останемся только троим...

Тонкогубый священник слегка пожал плечами и с легким презрительным поклоном повернулся к ярлу. Ярл, привыкший никогда не показывать, что у него на уме, постоял немного, закрыв глаза, словно опустив крышки на два темных колодца, уходящих в глубину неведомой земли. Может, он прикидывал, как ему поступить, а может, просто привык с помощью молчания держать людей в повиновении. Я увидел, как у него на шее пульсирует жилка, маленькая жилка над тяжелой серебряной цепью, висевшей между шарфом и бородой. Потом он слегка шевельнул рукой — у него были красивые руки, — священник почти незаметно поклонился и вышел, даже по его спине было видно, что он обижен. Мы остались.

— Теперь, государь, позволь мне говорить, я буду краток. У нас есть сообщение от епископа Хрои к епископу Вильяльму, в котором его старший друг и брат во Христе просит о том, чтобы и на Оркнейских островах возносились молитвы за ярла Эрлинга и его правление в Норвегии. У нас на Фарерах мы каждый день молимся за ярла Эрлинга и за его сына конунга. Нам известно, что здесь не все их любят, хотя они, больше чем кто бы то ни было, заслуживают всенародной любви. Известно нам и то, что люди, не достойные предстать перед очами Господа Бога в Судный День, угрожают жизни и ярла и конунга.

— На Оркнейских островах тоже от всего сердца молятся за ярла Эрлинга... — сказал ярл Харальд и что-то в его голосе напомнило об искрах, тлеющих в золе.

— Я, государь, говорю не об обязательных молитвах, которые возносятся исключительно из чувства долга за того или тех, кто правит страной и по справедливости господствует в ней! Я говорю о горячих, сердечных молитвах за того, кто является нашей опорой в

борьбе, нашей надеждой на всеобщее благополучие и здоровье! Позволь сообщить тебе, государь, что в прошлом году из Норвегии на Фареры прибыл корабль, шторм и ветер принесли его к нам в Киркьюбё. На том корабле были злые люди, но один из них был не злой, он не чуждался нас. Он встретился с епископом Хрои наедине, и они долго разговаривали. Прибывший сказал, что по всей Норвегии собираются люди, чтобы свергнуть ярла. Но что мог сделать епископ Хрои? Он мог только молиться... И настойчиво просить всех тоже возносить молитвы за ярла Эрлинга и его сына конунга Магнуса, которые правят нашей страной. Говорят, будто особенно настроены против них жители Трёндалёга. Один бесчестный человек, восставший против своего государя, был за это наказан — его привязали к якорю и бросили за борт, — но в Трёндалёге у него остались могущественные родичи, которые хотят отомстить за него. Другой человек — из тех святых людей, что ходят по стране, чтобы прощать, — попал к бунтовщикам и они отрубили ему руку только за то, что он призывал этих разбойников пасть на колени и молить Всемогущего помочь ярлу Эрлингу. Вот что творится сейчас в Норвегии, государь! Это мы и должны были передать покойному епископу.

Сверрир говорил хорошо. Постепенно плечи его распрямились, вначале его голос звучал смиренно, но потом он с трудом сдерживал гнев, наконец он склонил голову, показывая, что ему больше нечего сказать. Я, слегка склонившись, стоял на полшага сзади Сверрира и смотрел на ярла и, вместе с тем, мимо него, это было то особое двойное зрение, каким слуга должен смотреть на своего господина. В лице ярла не дрогнул ни один мускул. Но не исключено, что в набрякших от бессонных ночей глазах зажегся огонек радости, искра понимания, свидетельствующая о способности человека слышать невысказанное. Сперва ярл уронил несколько слов, выражавших его глубокое уважение к епископу Хрои, которого он никогда не встречал, но знал по дружеским рассказам епископа Вильяльма. Ярл медленно произносил эти слова, подыскивая другие, более весомые, более нужные, мы не двигались и ждали, давая ему время, но он так и не нашел их. Он сказал, что благодарен нам за наше сообщение и пока не назначен новый епископ и жизнь церкви, больше чем когда бы то ни было, вселяет в нас тревогу, мы должны каждый день возносить горячие молитвы за наших правителей, ярла Эрлинга и за его

сына конунга. Да хранит их Всемогущий. Он может их сохранить, сказал ярл, а мы не можем...

Он сделал почти незаметный знак, мы глубоко поклонились и, не знаю уж каким образом, тонкогубый священник снова оказался в покое. Мы еще раз поклонились и, не поворачиваясь к ярлу спиной, пошли прочь, у порога мы остановились и снова поклонились ярлу уже в последний раз.

Больше мы его не видели, впрочем, через много лет, йомфру Кристин, ярл пересек море и склонился перед твоим отцом конунгом Сверриром.

Слова прощения или слова непращения, слова Гаута или слова Сигурда?..



Мы вышли от ярла с тяжестью на душе, нас как будто обманули. У меня было такое чувство, словно под церковными сводами божественный гимн разодрали на части, не дав ему взлететь в небеса. Однако помню, я преисполнился глубокого уважения к Сверриру за его способность излагать правду так, что на ней появлялся как бы легкий налет неправды. Такие слова лучше защищали и того, кто получил весть, и того, кто ее принес. Ветер с моря дул сильнее и резче, чем до нашей встречи с ярлом.

Тонкогубого священника мы встретили в тот же вечер. Мы зашли в церковь помолиться, он был там. Он с восторгом приветствовал нас и поблагодарил за то, что мы передали ярлу сообщение, которое должен был получить покойный епископ Вильяльм. Наверное, у этого человека был превосходный слух — он знал все, о чем говорилось в покое ярла после того, как его попросили оттуда уйти.

— Я думаю, — сказал он, — что ярла особенно порадовало великодушное пожелание, чтобы мы возносили молитвы за наших правителей в Норвегии. Ярл всегда предпочитает молитву мечу, и за это ему уготовано место на небесах. Если он берется за меч, этому предшествуют долгие раздумья, в которых и проходит большая часть его жизни...

Кроме того, он сказал, что когда-то считалось, будто книга, содержащая истину, находится здесь, в Киркьювоге, и что написана она на дорогой ослиной коже письменами, которые мало кто разбирает.

— Когда я приехал сюда еще совсем молодым человеком, я верил этому, теперь уже не верю, но мне известно, что многие изучали непонятные буквы с большим рвением и покинули Оркнейские острова, унеся в своем сердце большую ученость...

Его тонкие губы растянулись в улыбке, он благословил нас и слегка вперевалку пошел из церкви. Он обладал более острым умом, чем все остальные, и вдруг, без всякой причины, заговаривал о самых необычных вещах.

В большом портале он остановился, задумавшись о чем-то, потом повернулся и снова подошел к нам.

— Простите, что я отрываю вас от вашего благородного дела и от изучения Священного писания. Я, недостойный слуга ярла, буду счастлив, если два молодых человека, отдадут немного времени ежедневной молитве за ярла Харальда. Он очень добр, но у него есть один недостаток, в котором Всемогущий при Его способности проникать в человеческое сердце увидел бы величие. Нам же, людям, видно, что чувствительная и нежная совесть ярла доставляет ему страдания. Сейчас у него тяжело на душе от того, что он сам — имея на то полное право и даже не зная ярла Эрлинга — пожелал, чтобы его родич, сын его брата, был увезен за море. Этот молодой человек, как вам, должно быть, известно, по своему рождению имеет больше прав носить титул ярла, чем сам ярл. Однако ему не хватало ума и смирения, которые молодой должен оказывать старшему. А посему поминайте ярла Харальда в своей ежедневной горячей молитве, и, может, сердце его тогда обретет покой, которого он так заслуживает.

Тонкогубый священник поклонился и ушел, мы тоже поклонились и остались в церкви — это было редкое мгновение, и я навсегда запомнил его, думаю, что и Сверрир всю жизнь помнил его. Думаю также, что Сверрир, твой отец конунг, извлек урок из этих встреч с ярлом и его священником, и даже знаю, какой именно.

А ты знаешь?

Когда началось лето, мы уехали обратно на Фарерские острова и там приняли решение. Это были тяжелые дни, и с тех пор радость была редкой гостьей в жизни твоего отца, и в моей тоже.



ГУННХИЛЬД

Ты сошли на берег в Тинганесе, потому что должны были доставить туда груз зерна. Там мы встретили Унаса. Унас постарел за тот год, что нас не было на Фарерах. Он сказал:

— Сюда приехали норвежцы.

Мы не долго разговаривали с ним и в тот же день отправились через горы в Киркьюбё. Унас пошел с нами, он сказал, что приехавший на Фареры сборщик дани Карл привез с собой своего сына, его зовут Брюньольв. Мы промолчали и продолжали идти вперед, но теперь в горах было уже не так светло, как утром, когда мы причалили к берегу.

Наконец внизу мы увидели Киркьюбё. У берега стояли корабли, один из них был нам знаком. Мы торопились изо всех сил, что-то заставляло нас спешить, но редко путь давался мне с таким трудом. Унас отстал от нас, он всегда уступал своим желаниям и не отличался сильной волей. В воротах епископской усадьбы стоял незнакомый нам страж. Раньше у нас стражей не было. Мы встретили епископа Хрои. Он сказал быстро и громко:

— Сверрир, твоя мать тяжело больна, идемте к ней.

Он ввел нас в покой, где обычно занимался делами, обнял, прижал на мгновение свое бледное, умное и ус-



талое лицо к плечу Сверрира и заплакал. Потом выпрямился и сказал:

— Добро пожаловать домой! Приветствую вас, сыны мои, у нас здесь все живы. Когда норвежцы уедут от нас, они возмут с собой заложника.

Первое, о чем я подумал: я недостаточно знатного рода. Сверрир сказал:

— Епископа они заложником не возьмут, им приходится оказывать церкви больше уважения, чем они хотели бы.

Епископ помолчал, потом медленно проговорил:

— В эти дни меня сильнее, чем прежде, заботили мысли о моем добром брате Унасе, ведь я горячо люблю его. Думаю, я невольно дал это понять сборщику дани, наверное, Унас догадался об этом. Он бродит тут, как неприкаянный. И в нем нет радости, подобающей каждому свободному человеку.

Твоя мать, Сверрир, занемогла в неподходящее время, но вряд ли Бог сейчас призовет ее к себе. Я поставил Астрид ухаживать за ней. Я тут заботился о твоей молодой жене, Сверрир, потому что норвежцы не оставили бы ее без внимания. Она одевается, как простая служанка. А наши требовательные гости особенно падки на хорошо одетых женщин.

Мне епископ сказал, что мои родители чувствуют себя хорошо, в их сердцах нет зла, но они полны тревоги. Он помолчал, на долю этого человека выпало много испытаний, от рождения ему была дана добрая душа, и, думаю, он обрел частицу своего бывшего благородства, когда горе посетило его дом. Он сказал нам:

— Вы увидите, что в церкви и в усадьбе кое-что изменилось. Не горюйте из-за этого и не удивляйтесь, но примите все радостно и благодарно. Случается, мы слишком привязываемся к своей земной собственности, из-за чего можно подумать, будто мы любим ее больше, чем Бога. Иногда даже хорошо лишиться вещей, которые могут ввести нас в искушение.

Пока епископ говорил, в комнату вошла невысокая, неряшливо одетая женщина, легко и красиво она подошла к нам. Я узнал ее и отвернулся, однако от моего внимания не укрылось то, что происходило в комнате. Я видел эту встречу между мужем и женой. Во мне всколыхнулась нежность, о которой я не подозревал, и горечь, какую

мне случалось испытывать в жизни всего несколько раз. Почему-то я думал, что когда Сверрир и Астрид встретятся снова, они будут холодны друг к другу, как обожженные корни на месте старого костра. Но все было не так.

Мы с епископом отвернулись и продолжали разговаривать, он подробно расспрашивал меня о нашей поездке. Узнав о смерти епископа Вильяльма, он осенил себя крестным знамением и похвалил меня за то, что мы посетили оркнейского ярла и попросили, чтобы в его церкви возносились молитвы за ярла Эрлинга и его правление в Норвегии. Епископ сказал, что нам следует смириться с происходящим и не закрывать кошелек, если от нас потребуют, чтобы он был открыт. Мужчины и женщины будут жить на этих островах и после того, как норвежцы уедут обратно за море. Мы должны молить Всевышнего, чтобы он сохранил их корабли, — ведь их груз будет тяжелее, чем они могут нести.

Теперь мы уже могли снова обернуться к Сверриру и его молодой жене.

Тут нам сообщили о приходе сборщика дани Карла и он быстро вошел в комнату. Этот норвежец умел, как никто, напускать на себя вид хозяина даже там, где он был только гостем. Его сопровождал сын. Оба жили в епископской усадьбе и были нынче приглашены на трапезу к епископу Хрои. Мы учтиво приветствовали этих влиятельных мужей, и епископ назвал им наши имена и объяснил, откуда мы прибыли. Сборщик дани не выказал никакого радушия. Последнее нас встревожило, поэтому мы поклонились и ушли.

Невеселый, полный дурных предчувствий, я пошел со Сверриром к Гуннхильд, она тоже состарилась за то время, что нас не было в Кирккюбё.



Я недолго пробыл у постели больной Гуннхильд, Сверриру нужно было поговорить с матерью наедине. Но в тот же вечер за мной прислали и просили, чтобы я как можно скорее пришел к Гуннхильд — она хочет мне что-то сказать, медлить нельзя. Охваченный тревогой, я шел по пригоркам из каменного дома, где жили мои родители. Никто не попался мне по пути. Норвежцы, наверное, валялись пья-

ные на своих кораблях, и я полагал, что Сверрир и Астрид в этот поздний час нашли друг у друга то, чего жаждали. Вечер был красив, над Кирккюбё зажглись первые маленькие звезды. Море обмывало берег, где-то лаяла собака, помню, у меня было такое чувство, словно моя душа приподняла мою земную оболочку над землей, скалами и мхом. Однако сердце мое стучало тяжелее и тревожнее, чем до того, как я узнал, что в Кирккюбё прибыли норвежцы.

В тесной каморке Гуннхильд я сразу понял, что что-то случилось. Ее черные глаза на бледном лице тлели, как утасаживающие угли. В них светилось безумие и ненависть, казалось, ей хочется вцепиться кому-то в глотку и задушить его голыми руками, но сил для этого у нее уже не было. Она была одна. Ни служанки, ни священника, она была наедине с тем, что жгло ей душу, и со смертью, которая словно приблизилась к ней, — так багряная красота звездного неба следует за ненастным днем. Гуннхильд поманила меня к себе. Что-то прошептала, и мне пришлось склониться к ее губам.

— Этот сборщик дани... — проговорила она.

Я знал, что сборщик дани Карл обошел сегодня все дома и закоулки епископской усадьбы, дабы оказать честь тем, кто был немощен, и порадовать каждую захворавшую служанку или бедного ребенка, лежавших в хлеву или в конюшне. Так, во всяком случае, говорили, но все знали, что сборщик дани предпочитает общаться с земными созданиями, а не с душами, чей путь лежит на небеса. Стало быть, Гуннхильд видела его.

— Этот сборщик дани!.. — сказала она.

Я молчал, в комнате прямо пахло целебными травами, Эйнар Мудрый, навещавший Гуннхильд, имел обыкновение заваривать и легко и тяжело пахнущие растения. Я наклонился к ее губам.

— Этот сборщик дани когда-то надругался надо мной, — проговорила она.

Железные тиски сдавили мне сердце, она приподнялась на своем ложе, положила голую ногу на край кровати и громко сказала, не боясь быть услышанной:

— Этот сборщик дани Карл надругался надо мной в монастыре на Селье! Сегодня он заходил сюда, теперь он стал важным человеком, куда важнее, чем был в те времена, и обладает куда большей властью над людьми. Но, может, его способность взять

женщину силой стала меньше? Большой живот, должно быть, мешает ему быть ловким в делах с женщиной. Тогда-то в нем было достаточно силы и жестокости, он был неприятный человек, но сильный. Он надругался надо мной.

Сегодня он не узнал меня! Нет, нет, он давно забыл ту испуганную женщину, то бедное животное, что когда-то билось под ним, и потому не очень-то вглядывался в мои черты. К тому же на наших лицах давно заросли те некрасивые царапины, что я получила от него, а он — от меня. Его люди смеялись на другой день, увидев, как он исцарапан. Нет, он меня не узнал.

Сегодня он обратился ко мне достойно и дружелюбно, я смотрела на него с нескрываемым удивлением и ненавистью. Я все расскажу тебе, Аудун...

Должно быть, я отступил от нее на шаг, пока она говорила, я не понимал тогда и не понимаю теперь, только ли жажда мести заставила ее говорить. Кроме жажды мести, жило в ней, наверное, и стремление избавиться от зла, чувство, что ей нужно очистить все тайники своей души прежде, чем она встретит смерть. Ей хотелось рассказать правду, а вот почему она выбрала своим слушателем меня, я узнал уже потом.

Она сказала:

— Я попала в монастырь на Селье на маленьком судне, шедшем в Нидарос. Со мной был мой добрый жених, господин Унас. Мы не спешили, стояло позднее лето, совсем как сейчас, — светлые дни и теплые вечера. С севера туда прибыли воины, но я не знаю, какому конунгу они служили. Мы хотели укрыться от них в монастыре, однако вскоре поняли, что это нам не поможет. Тогда мы смело вышли им навстречу, я принесла воинам пива и еды, а монахи тем временем разделились на две группы. Одни пытались незаметно спрятать серебряные сосуды, что были в монастыре, а другие пошли в церковь и молили Всевышнего смилостивиться над нами. В монастыре на Селье была только одна женщина, не считая больной старухи, такой же, как я сейчас. Моя судьба была решена.

Он захотел взять меня. Я уже сказала, что была обручена. Девственницей я не была, но до тех пор считалась честной и богобоязненной женщиной. Я не ложилась с кем попало, тем более по приказанию. Но вот пришел он и захотел взять меня силой. С ним пришли его люди.

Все они были пьяные. Они увели меня с собой, втащили по каменным ступеням в пещеру на горе, в которой в прежние времена нашла пристанище, а потом и смерть святая Суннева, когда пришедшие воины хотели надругаться над ней. Теперь я могла проверить, не подобрел ли Господь Бог со времен святой Сунневы. Они втащили меня в пещеру, он бросил меня на землю, я брыкалась и царапалась, тогда я была сильная, мне удалось ударить его ногой в пах и он с криком согнулся пополам, потом ударил меня, я вскочила и вцепилась ногтями ему в лицо. Его люди смеялись. Теперь для него было делом чести овладеть мной именно там, в двух шагах от священной раки, где покоился ее прах, недалеко от алтаря, перед которым набожные мужчины и женщины молятся этой святой женщине. И он овладел мной.

Но сперва случилось нечто неожиданное. В монастыре работал человек по имени Гаут, кажется, он строил там церковь. Он услышал мои вопли, прибежал и крикнул, чтобы они отпустили меня. Они держали меня, пока сборщик дани — тогда он еще не был сборщиком дани — взял то, что осталось от меня, взял, как собака, которая лижет дерьмо. Я лежала истерзанная и избитая, лишенная и сил и чести, они же тем временем решили, что Гауту надо отрубить ногу. Потом переменили свое решение: Лучше мы отрубим тебе руку, сказали они. С отрубленной рукой ты будешь умирать долго, а с отрубленной ногой умрешь сразу. Вот только кто это сделает?

Один из них сказал, что надо заставить кого-нибудь из монахов. Но монахов они не нашли, зато нашли моего жениха Унаса. Он был пьян и еле держался на ногах, потом уже я догадалась, что он был поблизости, когда я боролась с ними и потерпела поражение, но у него не хватило мужества, чтобы броситься мне на помощь. Они привели его и сказали: Твоя рука или его! Была звездная ночь.

Гаут не оказал сопротивления. Наверное, он понял, что это все равно не поможет, и полагал, что только его мужество способно заставить их почувствовать обиду, нанесенную ими другому, как свою собственную. Но подобные чувства были чужды этим людям. Итак, там был Гаут. И там был Унас. Я прекрасно видела, что ему хотелось бы уйти, сбежать, он притворялся более пьяным, чем был на самом деле, его ударили по лицу, он упал, потом ему сунули в руки меч и он снова оказался перед тем же выбором.

Все было именно так. Чем больше они угрожали Унасу, тем более пьяным он притворялся, один воин ударил его, он упал на колени и остался лежать, двое других подняли его на ноги. Третий протянул ему меч. Он не хотел его брать. Они сказали: Твоя рука или его! И смеялись, Аудун, как страшно они смеялись! Гаут стоял перед ними, я лежала и старалась не смотреть на то, что происходит. Но они повернули мое лицо и заставили смотреть на руку Гаута, я закрыла глаза, они пальцами надавили мне на веки и мне пришлось открыть глаза. Гаут стоял перед ними, вытянув руку, словно опознавательный знак на ветру, под звездами, на берегу моря, меня трясло. И Унас, этот несчастный, поднял меч.

Он нанес удар, Гаут упал, потом поднялся, защищаясь обрубком руки, и пополз вниз по лестнице из пещеры святой Сунневы.

Думаю, он выжил. Я потом видела в Бьёргюне однорукого человека. Должно быть, Гаут остановил кровь, перетянув ремнем обрубок руки, он был силен в молитве. С тех пор я их не видела.

Ни сборщика дани Карла, ни его воинов я не видела до нынешнего дня. Уже на другое утро его корабль покинул Селью, воины уплыли вместе с ним. Унаса я потом тоже долго не видела.

Он уплыл на том же корабле, оставив меня с моим позором. Зимой того же года я приехала в Бьёргюн. Там он нашел меня. Есть мне было нечего, беспомощная, покрытая позором, я стала совсем другой женщиной, не той, какой была до того дня, когда сборщик дани Карл взял то, что ему не принадлежало. Тогда пришел Унас.

Я приняла его, но мужской силы у него уже не было. Господь Всемогущий! Жалкий и немощный, он лежал рядом со мной и плакал. И я ушла от него.

Но это еще не все, Аудун. Скоро во имя Всевышнего я расскажу тебе остальное. А сейчас ступай к моему сыну Сверриру и расскажи ему то, что ты узнал от меня, скажи также, что он узнает и остальное!

Гуннхильд встала, она стояла передо мной, положив руки мне на плечи, худая, суровая, смертельно больная, неистовая, исполненная ненависти и непреклонная в своей жажде мести. Я склонил перед ней голову:

— Я все расскажу ему...

И ушел. Звезды над Киркьюбе еще не погасли, они отражались в море, я смотрел на них, но они меня не радовали.



Когда я вышел из дома, где лежала больная Гуннхильд, в усадьбе епископа не было видно ни одного человека. Слышались только пьяные крики с корабля сборщика дани. Но и они вскоре замерли, тысячи птиц на камнях и скалах молчали, и море, омывавшее берег тяжелыми волнами, лишь подчеркивало тишину, затаившуюся между каменными и бревенчатыми стенами. Я стоял под звездами, точно соляной столп, луна безмолствовала над горами, и в сердце у меня не было мира.

Через некоторое время я пошел к одному из жилых домов усадьбы и остановился под оконным проемом чердачной каморки, где, как я знал, устроились на ночь Сверрир и Астрид. Но вскоре я ушел оттуда, так и не позвав его, — у меня не хватило смелости, твердости и силы, необходимых тому, кто собирается воткнуть нож в сердце ближнему. Я покинул усадьбу и поднялся в гору, потом вернулся, подошел к церкви на берегу и хотел войти в нее. Но не посмел. Первый раз у меня не было в душе мира, а без него я не мог предстать перед ликом Спасителя, висевшего на кресте; кончилось тем, что я упал на одну из могил у церковной ограды и заплакал. Вскоре я узнал этот клочок голой земли — здесь был похоронен тот чужеземец, что прибыл к нам с кораблем два года назад. Я долго плакал.

В эту мою Гефсиманскую ночь ко мне пришли мертвые, как иногда они приходят и являются живым. Мертвые, которых я помнил, потому что они жили среди нас, лица, знакомые с детства, — старший брат Эйнара Мудрого, моя бабушка, еще кое-кто. Я узнал их, они шли в своих серых одеждах, склонив головы, кое-кто распрямлялся, проходя мимо меня, и я видел его лицо, они были совсем рядом, и я тихо молил их: Просветите меня на своем пути! Но они молчали.

Потом пришли более старые, знакомые мне по сагам и преданиям Эйнара Мудрого, которые он рассказывал, сидя у очага долгими зимними вечерами. Это были епископы, учившие слову Божьему здесь в Кирккюбе задолго до того, как епископ Хрои поднялся на церковную кафедру. Это были воины и бонды, первые поселенцы, прибывшие сюда через море из Норвегии, за их кораблями тянулись связанные из бревен плоты, матери, которых унесла чума, и дети,

последовавшие за ними, когда в питавших их грудях не осталось больше молока. Все они прошли мимо меня, склонив головы к влажной осенней земле, их просветленные лица говорили о том, что по ту сторону смерти они увидели великий свет, и они снова возвращались туда. Я крикнул им: Просветите меня на своем пути! Но они молчали.

И я понял: в час испытания в Гефсимане у тебя не остается ни друзей, ни недругов, в тот час лишь воля делает тебя человеком или нелюдью. Ты бросаешь на стол свое живое сердце и сам выбираешь между правильным и неправильным, между честью и бесчестьем, только ты сам! Я уверен, что мертвые, когда они приходят, могут передать нам мужество, которым они обладали при жизни, и мудрость, которую мы не замечаем из-за будничных дел. Но выбор мы должны сделать сами, и нам все равно придется его сделать.

Я поднялся и покинул кладбище.

Что-то нас ждет? В Кирккюбё был сборщик дани Карл, в Кирккюбё был Сверрир, его умирающая мать, когда-то изнасилованная этим сборщиком дани тоже была в Кирккюбё. Я знал твердость Сверрира, его безудержный гнев, его хитрость и злопамятность. Знал также, что все это он до поры до времени сдерживал железной волей, позволявшей ему выбрать подходящую минуту. Я знал его мстительность и обостренное отношение ко всему, что входит в понятие чести.

Я бродил до утра, небо было скрыто облаками, звезды исчезли в серой дымке тумана, приползшего с моря. Прибежала собака и всю ночь ходила за мной, я не знал ее и хотел прогнать, ударил ногой, бросил камень, но она залаяла и глаза ее молили, чтобы ей позволили остаться. Я позволил ей ходить за мной. У дома моих родителей я стал бить в стену кулаками, я плакал и прижимался лбом к холодной каменной стене, чтобы остудить голову, потом крикнул родителям, чтобы они пошли и помогли Гуннхильд. В доме завопились. А я опять убежал в горы.

Рано утром я снова подошел к оконному проему каморки на чердаке, где спал Сверрир. Наконец он проснулся и вышел из дома, отдохнувший, веселый, насладившийся женщиной, бесстрашный, молодой, сильный, готовый мужественно встретить все, что его ожидало. Астрид с ним не было. Она, наверное, еще спала.

— Идем, — сказал я.

Он глянул на меня, и, ни о чем не спросив, последовал за мной, я направил шаги к нашей церкви и теперь уже вошел внутрь. Сверрир открыл рот, чтобы задать вопрос, но сдержался. Мы стояли перед большим распятием, свет струился через маленькие оконца и исполненное муки лицо Спасителя медленно оживало. По-моему, слова, которые я хотел сказать, произнесенными передались из моего сердца в его. Я еще не успел заговорить, как его лицо сделалось старше и суровой, оно выражало боль, ставшую невидимым прологом к его жизни, проведенной в многолетней борьбе. Но собака уже убежала.

Я повернулся к нему, взял его руки в свои и тихо сказал:

— Я пришел от Гуннхильд, твоей матери.

— Я это понял, Аудун.

— Вот, что она мне рассказала...

Я говорил, и он не прерывал меня, мы стояли лицом к распятому Христу, но когда я закончил, Сверрир не упал на колени, чтобы молиться. Он не плакал. И не говорил. Время шло, мы видели, как в маленькие оконца церкви вползает день, потом мы ушли, И Сверрир был уже не тем человеком, каким пришел сюда.



Сверрир пошел к Астрид и сказал ей:

— Перестань выдавать себя за служанку и одеваться, как пристало только рабыне. Ты — жена свободного человека, и пусть все смотрят на тебя, сколько хотят.

Это был его первый поступок, такая гордость была небезопасна для него. Потом он решил пойти к матери и попросил меня пойти с ним, но по пути мы встретили Эйнара Мудрого. Он сказал, что Гуннхильд сейчас в забытии, может быть, смерть уже коснулась ее, а может, это всего лишь сон. Если это сон, жизнь и силы вернутся к ней, если же — смерть, с нею вместе умрет не одна сага.

Время шло, Гуннхильд спала. Нам стало известно, что сборщик дани Карл в этот вечер устраивает пир в усадьбе епископа, на пир были приглашены все знатные люди нашей округи. И мы, ученики епископа, только что вернувшиеся с Оркнейских островов, тоже получили почетное приглашение. Но меня мало обрадовало, что меня

пригласили на пир к человеку, которого сам я не попросил бы быть моим гостем, если б мог устроить подобный пир.

Еще меньше меня обрадовал вид Сверрира и Астрид, собравшихся на пир, на Астрид было ее лучшее платье, в волосах — гребень. Она никогда не была так прекрасна, и редко — так весела. Вся ее сущность, позволившая ей остаться в памяти мужчины звездой, сверкающей над ночным морем, полностью раскрылась в тот вечер. Много дней она ходила в золе, одетая, как последняя рабыня, страшась мужчин, не имея ни твердой мужской руки, которая защитила бы ее, ни собственной постели, ни тепла. Теперь же она стала самой собой.

Я почти не говорил с ними, потому что на сердце у меня было тяжело от горя.

Мы вместе вошли в праздничный покой, там нас приветствовал сборщик дани и его сын. Они встретились лицом к лицу, сборщик дани Карл и Сверрир, злодей, надругавшийся над Гуннхильд, и ее сын, мститель. Но Сверрир усилием воли сохранял спокойствие.

Я никогда не забуду быстрые и легкие слова, сказанные им тогда. Его улыбку и обходительность с этим человеком, почти безупречное почтение, какое молодой должен оказывать старшему и более знатному человеку. Но я знал, что за тяжесть лежала у него на сердце.

Брюньюльв был молод и глуп. Он был похож на отца, но не обладал его жизненным опытом, на нем было нарядное платье, серебряные кольца и тяжелые, не подававшие ему украшения. Весь его ум легко уместился бы в роге для пива. В праздничном покое было много народу, почти все люди, прибывшие со сборщиком дани, наши фарерские священники и самые зажиточные бонды*, с соседних усадеб. Сигурда из Сальтнеса не было среди людей Карла. Наверное, Сигурд не приехал с ним на Фареры. Не было здесь и однорукого Гаута, который в прошлом году служил своему палачу, когда тот был на Оркнейских островах. Вскоре гости развеселились, Брюньюльв был так глуп, что сел рядом с Астрид. Сверрир сел рядом с Брюньюльвом. Лицо Брюньюльва выражало грубую, низкую похоть, лицо Сверрира — с трудом сдерживаемое спокойствие. Астрид была благосклонна к ним обоим.

* Свободные земледельцы.

Сборщик дани сидел на почетном сиденье, он был уже пьян, рядом с ним сидел епископ Хрои, он часто подносил рог к губам, но пил мало. Один человек — норвежцы называли его Оттар — был пьян и повторял без конца:

— Они отрубили руку моему брату... — Он обычно донимал этим всех, когда напивался.

Брюньольв неожиданно обратился к Сверриру:

— Ты, наверное, знаешь, что наш конунг не сын конунга? Он сын дочери конунга, и многие в Норвегии считают, что ему не пристало носить корону, которую ему дала церковь. Как священник, ты обязан повиноваться церкви, но повинаясь ей, ты идешь против закона... Что ты скажешь на это?

Брюньольв смеется, видно, он уже не раз говорил такие слова своим гостям, дабы насладиться их смущением и показать, что сам-то он может свободно болтать все, что хочет. По-своему, Брюньольв даже красив. Губы его способны покорить любую женщину, и борода у него торчит вперед, словно меч. Я бы сказал, что ему свойственно мужество труса. Оно позволяет тому, кто им обладает, ударить более слабого, причем, ударить сильно, ибо сострадание не сдерживает его удар. Руки у него холеные. Они привычно держат рог с пивом. Он не возражает, когда ему снова и снова наполняют рог, насмешливо смотрит на Сверрира и не собирается отводить глаза в ожидании ответа.

И Сверрир отвечает:

— По-моему, избранный Богом больше достоин звания конунга, чем рожденный от конунга, но не избранный Богом. Отец Магнуса — не конунг, но это еще не порок. А вот если он не обладает необходимым конунгу мужеством и умом и не имеет в себе того, что дает конунгу только Бог, тогда его власть продлится недолго. И сам он умрет.

Брюньольв поднял и снова опустил свой рог, он утратил свою самоуверенность, неожиданный ответ лишил его дара речи.

Сверрир говорит:

— Не мое дело решать, кому служит конунг Магнус, Господу или дьяволу, и не моего ума это дело, выбран он Богом или людьми. Но я верю, что только Бог дает человеку призвание, делающего его достойным быть конунгом над людьми.

— Даже если он сын бонда?

— Даже если он сын раба, — отвечает Сверрир.

Брюньольв, сын сборщика дани, сейчас пьян, этот пьяный заяц с зубами волка поворачивается к своему отцу. Но епископ Хрои с его всевидящими глазами и всеслышащими ушами как раз заводит глубокомысленный разговор со сборщиком дани. Он кладет на стол руку, разделив ею отца и сына. Брюньольв пытается повысить голос, но его перебивает Оттар, совсем пьяный, он бросает с порога, словно угрозу:

— Я не знаю, кто отрубил руку моему брату!..

С этими словами Оттар покидает праздничный покой, лицо его искажено болью. В покой входит Эйнар Мудрый, я вижу его точно сквозь дымку. Вижу я и лицо Брюньольва, на нем написана наглость и ненависть. Он поворачивается к Астрид, она вся сияет. Сверрир повторяет свои слова, если он и настороже, то это по нему не заметно. Он хватается за руку Брюньольва, снимает ее с плеча Астрид и повторяет:

— Даже если он сын раба...

К нам подходит Эйнар Мудрый и громко обращается к Сверриру:

— Твоя мать проснулась, она слаба и хочет поговорить с тобой.

Сверрир встает и слегка касается плеча Астрид, она тоже встает. Он кланяется Брюньольву, Астрид приседает, может, и не очень охотно — ведь ее заставили прервать едва начавшуюся игру. Эйнар Мудрый уже ушел, он спешит. Я тоже кланяюсь Брюньольву. И мы уходим.

Моросит дождь, кругом темно, после пива и пьяных разговоров ночной воздух приятно освежает нас. Нам навстречу идет человек, это Оттар, он рыгает и кричит, что никто не смеет покидать пир, пока сборщик дани не позволит гостям разойтись. И хватается за руку, тот вырывается. Сверрир в ярости, таким я его еще не видел. Он хватается за волосы, приподнимает и швыряет на землю, лицо Сверрира, слабо освещенное луной, выглянувшей из-за облаков, некрасиво и не предвещает добра. Потом он бьет Оттара, и тот снова падает.

Все это как гром среди ясного неба, Астрид лучше меня знает, что такое гнев Сверрира, она дрожит и прижимается ко мне. Но Сверрир уже успокоился, он провожает Астрид в каморку над амбаром и запирает ее там. Потом выходит и просит меня пойти с ним к Гуннхильд.



Мы вместе идем в маленький и темный дом для больных, где лежит Гуннхильд. Эйнар Мудрый уже у нее, теперь он уходит, я произношу несколько вежливых слов и тоже хочу уйти, потому что мать и сын должны поговорить наедине. Но Гуннхильд просит:

— Останься, Аудун! Ты будешь свидетелем моего сына, когда меня не станет и люди ополчатся против него. Они с сомнением отнесутся к его словам. Тогда ты подтвердишь мой рассказ!..

Я сажусь на скамью в изножье постели. У изголовья на табурете сидит Сверрир. Он тяжело дышит.

Некоторое время Гуннхильд молчит, она ближе к смерти, чем в прошлый раз, когда я видел ее, но в ней есть скрытые силы и теперь она черпает из этого источника. В лице Гуннхильд угадывается суровая, дикая красота, которой она когда-то славилась. Эта красота таится в глубоких морщинах, в их тонком переплетении, в высоких скулах и в сохранившемся слабом блеске волос. Гуннхильд отличают спокойствие и достоинство, которых я не заметил у нее в прошлый раз. Слово сознание приближающейся смерти придает ей эти свойства. А может, они говорят о том, что она приняла важное решение, — решение открыть нам свою тайну. Охваченная почти предгрозовым спокойствием, она начинает рассказывать о том, что для многих послужило причиной немирья.

— Я принадлежу к хорошему роду... — Гуннхильд говорит немногословно, но все-таки настолько подробно, что мы легко представляем себе, как она бегает ребенком, окруженная родичами и друзьями, отец, мать, братья и сестры находили радость в труде и легко тянули эту лямку. Но явились воины, ночи стали тревожными, братья ушли, трёнды сражались против людей из Вика, бонды против горожан. Она стала взрослой.

Кое о чем я раньше мог только догадываться, теперь мне все становится ясно. Ее горячая страсть к мужчинам, отказ слушать советы старших, радость при виде желавшего ее мужчины, собственные желания... И тут появляется сборщик дани...

Правда, сперва явился Унас, каким образом он стал ее суженным, этого я так и не понял. Но думаю, именно нелюбовь к жениху заставила Гуннхильд, несмотря на пережитый позор, испытать и каплю

удовлетворения оттого, что ею воспользовался другой. И эту радость, испытанную в унижении, она сочла, наверное, своим самым большим грехом, когда снова увидела Унаса, уже опозоренная, растерзанная, окровавленная, презираемая теми, кто принудил его отрубить руку единственному человеку, который хотел помочь ей, строителю церкви Гауту. И вот он, поднявший меч, лежал рядом с ней в постели и плакал.

Гуннхильд сидела, прислонясь к изголовью, голос у нее был тихий и хриплый. Если ей и было стыдно, то она этого не показывала, что-то в ней было сильнее стыда. Лицо ее выражало боль и благодарность, что она наконец-то может сбросить с плеч тяжкую ношу.

— Снова я встретила Унаса уже в Бьёргюне. Я пошла в то место, где любая женщина может встретить любого мужчину. У меня было много мужчин...

Меня охватило глубокое уважение к Гуннхильд. Я не смел поднять глаза на Сверрира и все-таки видел его, он положил руки на колени и крепко сжал кулаки, его трясло, хотя он пытался это скрыть.

— Я пробыла там три ночи, и многие приходили ко мне. Я рассказываю об этом потому, что вы должны знать все, я хочу встретить смерть без лжи, ибо имею право на признание и на правду! Знайте также, что когда пришел *тот*, единственный, кто был мне мил, я приняла его, как первого и последнего. Существовал только он и я, но наступил день и он уехал. Больше он никогда не вернулся ко мне.

В те дни я поняла: у меня будет ребенок. Запомните хорошо, что я говорю: я поняла это в те дни. Не в тот день, не в тот час, а в те дни, те часы. Он уехал, потому что должен был уехать, я не знала его, он не говорил мне учтивых слов, он был как истомившийся по весне жеребец, в нем было что-то, чего не было в других. Я не знала, кто он.

Кто был отец моего ребенка? Я этого не знала. Нам всем снятся сны, и я тоже видела сны. У нас у всех есть свои желания, и я всегда знала, какого отца я желала бы тебе, Сверрир. Но кто был он на самом деле? Некоторые ночи были такие, что я никому не пожелала бы их, даже недругам, которые развлекались, заставляя меня брать горящие угли голыми руками. С этой мукой может сравниться лишь то, что скоро придет ко мне.

Я спрашивала у всех, кто был тот человек, но никто этого не знал. Наконец один сказал: Это был конунг...

Гуннхильд замолчала, я не успел встать, Сверрир тоже. Я лишь прикрыл рукой глаза, их жгло, как огнем. Она продолжала:

— Это был конунг! Тогда говорили, что конунг Сигурд Рот, недавно уехавший из Бьёргюна в Нидарос, был там убит. Я так и не знаю, кто приходил ко мне. Конунг, который по ночам ходит в такой дом, не оповещает об этом.

Я поглядел на Сверрира, во время ее рассказа его мучили боль и стыд. Теперь он вскочил и склонился над Гуннхильд, и то, что он произнес, вырвалось из самой глубины его сердца, думаю, он давно таил в себе эту догадку, которую только теперь облек в слова:

— Скажи мне правду, кто мой отец?..

И она ответила:

— Я не знаю правды.



Гуннхильд сказала, что не знает правды, я стоял и переводил взгляд с нее на Сверрира. Неужели он сын конунга? Неужели Гуннхильд была женщиной конунга? Я сделал шаг к ее ложу, несколькими словами она изменила судьбу своего сына и той страны, где ее сын стал конунгом. Она заговорила снова:

— Сверрир, с тех пор, как ты родился, я все годы пыталась искупить свой грех. Я молила Бога по ночам и при свете дня, я больше не спала с тем человеком, который стал моим мужем, я прогоняла его и отказывала ему в его законном праве. Но грех пылал во мне, как угли под пеплом. Я мечтала пойти босиком в Ромаборг через горы и веси и исповедаться в этом святом городе. Но это мне не удалось. Каждый раз, когда я смотрела на тебя, Сверрир, я видела перед собой другое лицо. Когда я слышала твой голос, я слышала голос конунга! Но точно я ничего не знаю. И это самое трудное: жить в неведении. Должна ли я была раньше рассказать тебе обо всем, наделить тебя тем же неведением, открыть свой позор, заставить и тебя нести этот крест? Вот если б я знала точно! Я слышала, что ярл Эрлинг и его сподвижники в Норвегии убили всех сыновей конунга Сигурда, я догадывалась, какой будет твоя судьба, если я откроюсь тебе. Я мо-

лила Господа Бога и святую Деву Марию помочь мне, но они мне не ответили.

И вот сюда приехал этот сборщик дани, человек, который взял меня силой и обрушил лавину, этот низкий человек, послуживший причиной всего, что случилось потом. Когда он вчера ушел из дома, где я лежу, я впала в забытие от стыда и бессилия. И тогда мне приснилось, что папа в Ромаборге пришел ко мне и сказал: Ты должна исповедаться!

Я исповедалась ему во сне и он сказал: Ты должна все открыть своему сыну! И вот наконец я это сделала.

Гуннхильд падает на постель и лежит молча, и я не знаю, сколько проходит времени. Я слышу собственное дыхание, слышу шум моря, бьющегося о берег. Она лежит с закрытыми глазами, Сверрир стоит, склонившись над ней, я вижу его лицо рядом с ее, на их лицах написано страдание, но на его — больше.

Теперь все стало другим.

Гуннхильд нужен покой, вскоре она засыпает. Мы долго сидим у ее ложа, нам нечего сказать друг другу, может, она, все рассказав нам, станет крепче. Я поддерживаю ее голову, мне хочется быть добрым к ней после того, как она обрушила на нас столько тяжелого. Я поворачиваюсь к нему. И в первый раз вижу его.

Что-то изменилось и уже никогда не будет так, как раньше. Наша дружба сохранилась, но прежнего равенства между нами уже нет. Наша долгая совместная жизнь не кончилась на этом, скорее, она только началась. Но все стало иным. У Сверрира несчастное лицо, он постарел за эту ночь, но в нем появился какой-то неистовый огонь, какого я никогда не видел в глазах ни одного человека.

Гуннхильд спит. Мы уходим.

Утро еще не наступило, но праздник в усадьбе уже кончился, людей не видно. Я иду за Сверриром — теперь я обдумываю свои слова тщательнее, чем раньше, — он покидает усадьбу епископа и поднимается в горы. С первыми проблесками света мы видим внизу Киркьюбё и море.

Сверрир вдруг теряет над собой власть, он падает и кричит: — Она не должна была этого говорить!

Потом он плачет, я никогда не видел, чтобы Сверрир плакал, плечи у него вздрагивают, он бьет кулаками в землю, вскакивает, бежит,

возвращается, я молчу, ему надо излить свой гнев. В гневе он похож на Гуннхильд, мне кажется, что я понимаю его, лицо у него в слезах и в земле, но он не замечает этого и кричит, что ей не следовало ничего ему говорить, ей следовало унести все с собой в могилу.

Однако, несмотря на отчаяние, им руководит четкая мысль. Я вижу это по искоркам в его глазах, понимаю из обрывков слов. Он произносит:

— Папа в Ромаборге?..

И умолкает, и я не знаю, о чем он думает, может, о том, что во сне папа может явиться даже недостойной женщине, дать ей совет, что-то пообещать. Сверрир раздавлен и в то же время его переполняет ликующая радость, а также холодная решимость, кажется, будто одна часть его души плачет, другая — гневается, третья — молит об избавлении от ноши, которую, по словам его матери, он отныне будет нести.

Вскоре он успокаивается. Я до сих пор не произнес ни слова. Он встает, день уже вступил в свои права, Сверрир стоит молодой, стройный на фоне светлого неба и моря. Таким я видел его в то утро, таким он сохранится во мне до моего последнего, трудного часа.

Он смотрит мне в глаза и говорит с ледяным холодом в голосе, испугавшем меня:

— Я понимаю, это еще не значит, что я сын конунга.

Потом поворачивается и идет к усадьбе епископа, я тоже поворачиваюсь и иду за сыном конунга.



В тот же день, когда тень от гор уже сползла в море, я шел через двор усадьбы. Навстречу мне попался старый работник, сын вольноотпущенника, его звали Арве. Он сказал:

— Они нашли Оттара. Он лежал мертвый между конюшней и хлевом.

Мне сразу все становится ясно: Сверрир ударил Оттара, и тот, падая, ударился головой о камень, в беспамятстве он хотел доползти до дома, но по ошибке оказался между хозяйственными постройками, где и испустил дух. Теперь его нашли — он один из тех, кто приехал сюда со сборщиком дани Карлом, его убили в усадьбе епископа.

В глазах старого Арве был страх, я быстро отвернулся от него. Выбор у меня был небольшой — остаться и принять то, что ждало всю усадьбу, или бежать. Я пошел к воротам церкви. Там стоял страж. У ворот усадьбы тоже стоял страж. Я медленно и спокойно шел через двор, а в голове стучало одно: где Сверирр? В верхние ворота вошли двое, я не решился пойти им навстречу и побежал к домишке, где лежала Гуннхильд, чтобы укрыться там.

Она не отозвалась на мой зов... Я долго смотрел на нее, лицо ее было отмечено достоинством смерти, она умерла во сне, рядом с ней никого не было, даже ее сына не было здесь, когда сюда пришла смерть. Я подошел к двери и стал прислушиваться. Пока все было тихо. В доме царила странная, завораживающая, невозмутимая тишина: сумерки, мертвая женщина, одна, мать сына конунга.

Но кто-то здесь побывал... На столе зажжена свеча, темнота уползла в щелястые стены. Горит свеча, Гуннхильд лежит, подняв лицо, величественная, спокойная, я прячусь за нее. Постель большая, на ней лежат овчинные одеяла для трех человек, одно — на покойнице, завернувшись в два других, я прячусь за Гуннхильд и прижимаюсь к стене. Выглядываю и вижу горящую свечу. Она отбрасывает тень. Когда я пришел, по белому лицу Гуннхильд я сразу понял, что она умерла, тот, кто здесь был, должно быть, тоже.

Однако сейчас здесь никого нет. Гуннхильд уже остыла, ее холод сковал и меня. Я касаюсь ее груди, там, где билось сердце, и мне кажется, что ее кожа еще хранит жар жизни. Мое дыхание как будто передается ей, я молюсь, лежа там, но молюсь не Всевышнему и не святой Деве Марии, а мертвой матери Сверрира. Я верю, что она слышит мою молитву — я молю о милости и о жизни, молю спасти меня от мстителей, которые, я уже знаю, рыщут по всей усадьбе. Я уверен, что она передаст мою молитву Всевышнему, рядом с которым она, обремененная грехами и все-таки безгрешная, сейчас пребывает. И тут приходят они.

Трое, я слышу это по их шагам и по голосам, я лежу неподвижно, Гуннхильд тоже. Пламя свечи колыхается от сквозняка, когда они отворяют дверь, один из них вбегает в дом и останавливается, оторопев. По-моему, они крестятся. Я так и вижу их: воины, не особенно храбрые и не такие жестокие, какими кажутся самим себе. Они останавливаются перед мертвой женщиной, склоняют головы и пальцы их творят крестное знамение.

Потом они уходят. Один за другим, их трое, я плачу.

Здесь нельзя оставаться, но у меня нет выхода. Гуннхильд не гонит меня, однако я дрожу, холод ее тела сковывает и меня, а мой жар передается ей. Я прислушиваюсь, снаружи слышны крики, они удаляются, я встаю. Наклоняюсь над ней и падаю, запутавшись в овчине, мои губы случайно касаются ее губ, я вскрикиваю от страха. Снаружи кто-то кричит, я снова забиваюсь туда, где лежал, пытаюсь не дышать, быть такой же мертвой, как Гуннхильд.

В дом кто-то бесшумно входит, живой пришел к мертвому. Это Унас. Я понимаю: это он был здесь незадолго до моего прихода, может, даже присутствовал при смерти Гуннхильд. Зажег свечу и ушел, а теперь вернулся к той женщине, с которой прожил жизнь, полную боли и горечи. Он тоже не видит меня. Охваченный стыдом, я лежу рядом с ней и слушаю, как он молится за нее. У него хриплый и измученный голос, Унас не владеет собой, голос его часто срывается, в нем — горькая обида и... любовь, которую он, оказывается, питал к ней. Я вижу другого человека. Вернее, не вижу, но все-таки он стоит у меня перед глазами — бедный, измученный, молящийся за свою жену, несмелый и робкий. Когда-то он отрубил руку невинному человеку и потом всю жизнь не мог забыть этого.

Унас молится долго, пламя колышется, свеча догорает, он уходит, наверное, он пошел за новой свечой. Теперь я знаю, что мне делать. Я встаю посреди комнаты. Унас должен сразу увидеть и узнать меня, а то он решит, что я явился из царства мертвых. Я скажу ему, что пришел, пока его не было. В комнате полумрак, лицо Гуннхильд слабо белеет. Я жду. Наконец он приходит.

— Унас! — говорю я тихо. — Унас! — Он вздрагивает, и я быстро продолжаю: — Ты должен помочь мне, моя жизнь в опасности...

Он сразу все понимает, закрывает за собой дверь и прислушивается, но снаружи все тихо.

— Так это вы? — спрашивает он.

Я киваю, приняв на себя половину вины за тот удар, который оказался для Оттара роковым.

— Тогда твоя жизнь и правда в опасности, — говорит он.

Унас садится на край постели рядом с покойницей, но прежде, чем повернуться к ней, осеняет себя крестом. Он говорит, что если найдет человека, готового помочь ему, он спасет меня.

— Ты рискуешь жизнью, Унас.

— Не больно-то много она стоит. — Он тихо смеется, потом смотрит на Гуннхильд и снова крестится.

— Ложись за ней, — говорит он мне.

И я снова лежу между Гуннхильд и стеной, теперь я боюсь ее. Мне кажется, что она ожила и прижимается ко мне, один раз она как будто отзывается на крик, донесшийся сюда из усадьбы.

Я слышу шаги и прячусь за нее. Это Унас и с ним еще один человек. Старый Арве, у них с собой носилки. Я встаю.

Потом ложусь на носилки, и они выносят меня из домика для больных. Я — мертвая женщина, они прикрыли меня овчиной, я не дышу. Они проносят меня мимо стража, кажется, он крестится, и несут к церкви, чтобы поставить носилки перед алтарем. Но в темноте за стеной они сворачивают и несут меня вверх по склону. Им тяжело, и я слезаю с носилок.

— Что ты будешь делать, когда они обнаружат, что она по-прежнему лежит, где лежала? — спрашиваю я.

— Стража все время меняется, — отвечает Унас.

Арве остается, а мы с Унасом идем дальше. Он приводит меня в пещеру, в которой когда-то вздул Сверрира. Я заползаю внутрь. Начинается дождь. В такие ночи овцы ищут в пещерах прибежища, они сбились у входа и загораживают его. Унас обещает на другую ночь принести мне еды. И уходит.

День тянется долго, идет дождь, овцы набились в пещеру, и это утешает меня. То одна, то другая подходят и обнюхивают меня, у меня с собой овчина, я лежу на ней. Если я услышу шаги, я заберусь под овчину и, может быть, меня примут за овцу. Из трещины в потолке сочится вода. Время от времени я тянусь языком к каплям, пью и не могу напиться. В пещере никто не появляется.

Опять наступает ночь, и приходит Сверрир.



У него с собой сырая рыба, он поймал ее, когда бежал сюда. Мы делим рыбу и съедаем ее. Он говорит, что Унас не мог прийти, — ему надо ночью перенести Гуннхильд в церковь.

— Я знаю, что она умерла, Аудун.

От него пахнет паленым, и я спрашиваю, что случилось. Он говорит, что был у Астрид и собрался спуститься вниз, чтобы попросить Эйнара Мудрого побыть с Гуннхильд.

— Тогда я увидел воинов. И услышал, о чем они говорили. Я побежал к Раннвейг и Эйнару, Раннвейг спрятала меня в печи, где пекут хлеб, и закрыла печь заслонкой. Слава Богу, она печет хлеб для всей усадьбы и ее печь достаточно велика, чтобы в ней мог спрятаться человек. В очаге у Раннвейг горел огонь, она бросила несколько горящих углей на шесток и положила на них поленья. Сначала мне не было жарко, я сидел за заслонкой, когда они пришли.

Первым делом они выгнали ее из дома... Она кричала, не знаю, может, они били ее, их было двое или трое, огонь трещал и мне становилось все жарче. Я слышал, что они искали меня в постелях, они управились быстро — в маленьком доме не так-то много мест, где можно спрятаться. Ну, а в огне никто прятаться не станет...

Я понимаю, что воинов двое, и кто-то еще. Это была Астрид.

Они не уходят. Больше я ничего не слышу, я уползаю вглубь печи, съезживаюсь и жар пылающим облаком обволакивает меня, я в аду, я закрываю лицо руками и дышу огнем. Они не уходят. Может, они говорят что-нибудь, может, она кричит, я не знаю, я могу отбросить заслонку, выскочить и убить их или сам оказаться убитым. В дом входит еще кто-то.

Я горю, но все-таки не кричу, я слышу, как потрескивает огонь, мне кажется, что это горят мои волосы, и понимаю: когда на мне загорится одежда, мне конец. И тут они уходят.

Я выскакиваю и падаю, обливаю себя водой из кадки, на столе миска со скиром*, я выливаю на себя и его. Потом падаю и уже ничего не помню. Когда я пришел в себя и провел рукой по голове, в руке у меня остались волосы.

Вскоре я встаю и выглядываю в дверь, но никого не вижу.

Астрид тоже нет на тропинке, что ведет к дому епископа.



Время шло, и под шум дождя Сверрир говорил, что нас может спасти только чудо, — если норвежцы найдут труп какого-нибудь

* Молочнокислый продукт кремообразной консистенции.

человека, они могут подумать, что это он или я. Я слушал его вполуха. Уже тогда я питал неприязнь к мечтателям, любившим лживые саги, ибо спасти человека может только его собственная воля и мужество. Я не спал три ночи и смертельно устал. И потому не сразу удивился, что Сверрир размечтался именно тогда, когда никакие мечты, кроме слова Божьего и нашей собственной силы, не могли спасти нас. Он сидел у входа в пещеру и на него падал свет — брови у него были опалены, волосы и борода в золе, он был худой, усталый и некрасивый, каким, по моему мнению, не пристало быть сыну конунга. И он ни слова не сказал про Астрид.

И про Гуннхильд, свою умершую мать, и про того человека, который был конунгом Норвегии и, как оказалось, мог быть его отцом. Он не произнес ни одного проклятия норвежцам, ни одной молитвы за этого неловкого Оттара, сделавшего его убийцей. И ни одного даже самого маленького словечка о душе, неважно чьей, Оттара или своей, — все, что он говорил было, по моему мнению, лживой сагой, мечтой.

Днем я, должно быть, заснул, а когда проснулся, он по-прежнему сидел с невидящим взглядом, витающими где-то мыслями, погруженный в свои раздумья, небольшой, замерзший, накуксившийся. Я снова заснул. И снова проснулся. Сверрир сидел, как прежде, он молчал, я подошел к нему. Думаю, он даже не заметил меня, пока я не заговорил с ним. И снова настала ночь.

Но о чем он думал? Этого он мне не сказал.

В ту ночь Унас принес нам поесть, хлеба и рыбы. Пива он не принес, но мы напились воды, и к нам вернулись силы и мужество. Унас сидел с нами, пока мы ели, первый раз за двое суток. Он рассказывал, что до сих пор норвежцы никого не убили в Кирккюбё, но говорят, будто сборщик дани знает, кто убил Оттара, и не уедет, пока не найдет нас. Унас не без гордости сказал, что молится за Гуннхильд. И еще он сказал:

— Надеюсь, они возмут меня заложником.

Мы промолчали, я пытался разглядеть в темноте его лицо. Он сказал, что таково было желание епископа с первого дня, когда приплыли норвежцы, сам он этого не хотел.

— Но теперь, когда она умерла, я с радостью поеду с ними. Только об этом надо молчать, а то они возьмут кого-нибудь другого.

Унас как будто вырос за эти дни. Нелегкая жизнь с женщиной опалила и состарила его, теперь он освободился от Гуннхильд и в его сердце появилось место для тепла.

— Если норвежцы заберут меня с собой, мне хотелось бы с вами проститься, потому что вряд ли мы еще когда-нибудь увидим друг друга. Я знаю, что был не самым достойным человеком и тебе, Сверрир, часто бывало стыдно за своего отца. Но еще более стыдно станет после того, что я расскажу тебе.

Однажды я отрубил человеку руку. Его или моя рука все равно была бы отрублена, я выбрал его руку, но вынести это бремя у меня не хватило сил. Думаю, этот человек еще жив. И если меня увезут в Норвегию, я надеюсь встретить его там. И тогда я скажу ему: Отруби мне руку или прости меня! Не знаю, что он ответит мне. Но и я тоже могу быть бесстрашным, и это испытание вернет мне достоинство. Думаю, он простит меня.

Гуннхильд говорила мне, когда между нами был мир: Я знаю, он простит тебя! Я благодарен ей за это. Она часто повторяла эти слова, ведь мы нередко жили в ладу, я помню дни, когда между нами не было сказано ни одного недоброго слова. А теперь она у Господа на небесах. Я туда никогда не попаду. Если бы мне было дано выбрать место для ее души и для моей, зная, что мы попадем не в одно место, я отдал бы ей в дар небеса, а сам пошел бы в ад. Не знаю, имеет ли она право находится на небесах. Но думаю, она достаточно красива, чтобы ее оправдали, и достаточно сильна, чтобы потребовать то, что принадлежит ей по праву. Я не такой. Разве что он помолится за меня, тот, кому я отрубил руку, тогда я попаду на небеса. Не уверен, но иногда я так думаю, и надеюсь, что норвежцы возьмут меня в заложники.

Мы едим рыбу и хлеб, а он говорит, видно, все это давно наболело в нем, и он пользуется последним случаем, чтобы сказать нам, что и ему, недостойному, свойственна тоска по достоинству и уважению.

— Ты хороший сын, Сверрир, — говорит он, повернувшись к Сверриру. — Но мой ли ты сын, этого я не знаю. Иногда она клялась, что ты не мой сын. Но одно я знаю: ты слишком хороший сын для своего отца, кто бы им ни был. И если твой отец я, прости ее за то, что она выбрала меня.

И он уходит.

Я окликаю его, мне нелегко говорить, но я хочу сказать, что мы со Сверриром встретили Гаута, однако у меня не хватает сил произнести эти слова. Я только говорю, что когда-то он сделал мне парусный кораблик и подарил моей матери гребень. У нас улыбается и пожимает мне руку, он даже красивый и куда более смелый, чем я думал.

— Я буду молить Бога, чтобы он не оставил тебя, отец, — говорит Сверрир.

Отец и сын стоят под дождем перед входом в пещеру, и я слышу, как Сверрир говорит:

— Попроси Свиного Стефана прийти сюда.

Сверрир возвращается в пещеру, по-моему, он чуть не плачет. Но зачем говорить об этом, мужчина тоже имеет право плакать, как женщина или как ребенок.

Пришел Свиной Стефан. Я тогда спал.



Прошло три ночи, мы больше никого не видели. Склоны и пустоши были скрыты туманом, море тоже. Овцы теснились у входа в пещеру, загораживая его, мы спали по очереди, и тот, кто не спал, слушал, как сочится вода по стенам пещеры, и в темноте ему чудились человеческие голоса. Еды у нас не было. Мы подумывали, не уйти ли нам горами в Тинганес или еще дальше, в какие-нибудь рукава фьорда, там тоже живут люди и можно найти друзей. Но мы знали, что, пока мы остаемся здесь, нас никто не найдет. Однажды на рассвете туман поредел, и ветер унес прочь его последние клочья. Мы увидели море.

Из пещеры мы следили за тем, как три корабля сборщика дани Карла на веслах вышли из Киркьюбё. Мы лежали среди овец, чтобы нас не увидели чужие глаза, такие же зоркие, как наши. Сверрир сказал, что, может быть, это просто уловка норвежцев — теперь мы вернемся, мол, в Киркьюбё, а тут они и нагрянут. Но, может, сборщик дани боится задерживаться на Фарерах и хочет вернуться домой до начала зимних штормов. Корабли уходили на веслах все дальше и дальше, они шли тяжело, потом на них под-

няли паруса и корабли стали набирать скорость. Над морем еще плавали хлопья тумана, вдали угадывались берега Сандея, через некоторое время корабли взяли курс на Хьяльтланд* и Норвегию. Тогда к нам пришла Астрид.

Она была босиком, мы услышали ее шаги, когда она была уже у самой пещеры. Одета она была легко и шла быстро, сказала, что у них все в порядке — мы живы, все. Она повернулась к Сверриру:

— Твой сын жив, — повторила она.

Астрид рассказала, что на каменной россыпи по пути к Тинганесу был найден мертвый человек. Нашел его Свиной Стефан, это был старик Арве, сын вольноотпущенника, он заблудился в темноте, упал и расшибся. Свиной Стефан сделал то, что и следовало сделать: он вернулся в Кирккюбё и взял там одежду Сверрира. Потом переделал труп в эту одежду, испачкал ее кровью и до неузнаваемости камнем разможил голову Арве. После этого он прибежал к сборщику дани и сказал:

— На россыпи лежит тот, кого ты искал, Всевышний опередил тебя. Но где же Аудун?

— Тогда они перестали искать, они считали, что Оттара убил Сверрир, и все в Кирккюбё решили, что он погиб. Правду Стефан сказал только мне и еще епископу Хрои. Вот все, что я знаю, но я не знала тогда, что епископу пришлось уплатить за тебя, Аудун, большую виру**. Сегодня корабли сборщика дани покинули Кирккюбё.

Она говорила быстро и не смотрела на нас.

Мы слушали молча, Астрид и Сверрир стояли далеко друг от друга, я был не в силах смотреть на них и отвернулся к морю. Астрид сказала, что возблагодарила Бога за то, что Сверрир остался жив, но была не в силах поблагодарить его за смерть Арве.

В ее голосе звучали жесткие нотки, она была очень красива, в волосах у нее был гребень, вырезанный для нее Унасом, этот гребень точно небесная лестница, поднимался у нее над ухом. Она вся покраснелась, пока бежала сюда в гору, грудь у нее ходила ходуном. Астрид принесла нам поесть, она знала, что мы давно не ели.

— Поешьте, — сказала она.

* Шетландские острова.

** Выкуп, штраф.

Мы начали есть, но кусок не лез мне в горло, и еда не прибавила мне силы.

Сверрир и теперь не подошел к ней — можно ведь подойти к женщине так, чтобы присутствующий при том посторонний не считал это нескромным. Он же только жевал и не говорил с ней, похоже, и ему тоже еда не доставляла особой радости. Она сказала:

— Прости меня, что я не смогла поблагодарить Бога за смерть Арве. У него не было жены, но остались сын и дочь, теперь у них нет отца.

— Они уже взрослые, — заметил Сверрир.

— Наверное, эта мысль утешила Арве перед смертью, — проговорила Астрид.

Он не смотрел на нее.

— Арве разбился насмерть, так говорит Свиной Стефан, — сказала она, — а уж он-то знает. Но кто знает, успел ли Арве помолиться до того, как умер? Было бы хорошо, если бы Свиной Стефан помолился за него, но он этого не делает, никто не молится Богу за Арве.

— Бог призвал его к себе, — сказал Сверрир.

— Да, но только его, — откликнулась Астрид.

Он повернулся к ней и произнес медленно и тяжело:

— Я молился. Но слышала ли ты мою молитву?

Они смотрели друг на друга, я — на них.

— Когда сидел в печи...

— Я тоже молилась, я тоже! — вдруг крикнула она. — Когда они хотели убить моего сына. Слышишь, они хотели убить моего сына! Поэтому я и ходила с ними повсюду, пока они искали тебя!..

Они оба вскочили, я тоже встал и покинул их, я спускался вниз к Киркьюбё, а они что-то кричали мне вслед.

Астрид догнала меня:

— Норвежцы взяли двух заложников, Аудун, Унаса и твоего отца, Эйнара Мудрого.

Я ушел от нее.



В Киркьюбё я первым делом пошел в церковь, чтобы помолиться Всемогущему и попросить его помочь Эйнару Мудрому в его нелег-

кой судьбе. Там я обнаружил, что большое распятие исчезло. На том месте, где оно висело, был прибит простой деревянный крест. Я отправился к епископу и вошел к нему, не постучавшись. У меня было такое чувство, что вместе со мной через порог к нему вошли гибель и смерть. Епископ Хрои сидел за большим столом, он о чем-то думал, состарившийся, с посеревшим от бессонных ночей лицом. Он поднял на меня глаза.

И не сразу приветствовал меня. Я понял, что все изменилось. По-своему я был епископу ближе, чем Сверрир. Я был более послушный ученик, чем он, и потому мне казалось, что епископ любил меня больше, чем его. Епископ сказал, что Свиной Стефан поступил правильно, выдав мертвого Арве за Сверрира, таким образом ему пришлось платить виру только за одного убийцу.

— За тебя, Аудун, пришлось отдать распятие. Ничего более дорого у меня не было. Я считаю, что отдал больше, чем получил. А как считает Бог, нам понять не дано.

Мне нечего было сказать ему на это. Он продолжал:

— Когда выбирали второго заложника — в отношении первого все сразу было ясно, — выбор пал на твоего отца, и ты понимаешь, почему. Поверь мне, я сочувствую твоей матери и тебе. Но пойми также — мой долг быть пастырем не только вам. Теперь у нас все изменится.

Я поднял на него глаза, он пристально смотрел на меня:

— Люди в Киркьюбё уже не будут любить вас так, как любили.

И я тоже, Аудун.

В Священном писании сказано, что мы должны любить своих врагов, но Сверрир и ты не враги мне и никогда ими не будете. Вы мои друзья и молодые братья, мои ученики, я сам учил вас. Но любить вас я больше не могу.

Пусть Бог судит меня, но Он осудил бы меня и в том случае, если бы я сейчас не сказал правду. Не знаю, о чем вы говорили между собой, и не знаю, на что ты не возразил Сверриру. Если ты не виноват в том, что случилось с Арве, скажи мне об этом. Или молчи и прими на себя свою часть вины.

Я промолчал и взял на себя свою часть вины.

На епископе было старое, потертое облачение. В нем он часто занимался стрижкой овец или по утрам, после первой службы, тас-

кал с берега принесенные морем бревна. Он был простой человек, когда требовалось, честный, когда требовалось, мужественный, но, вспоминая теперь о епископе Хрои, я понимаю, что с того утра я стал думать о нем, как о благородном человеке.

Он наклонил голову: мне следовало уйти.

Перед уходом я попросил его благословить меня, и он благословил.



После этого разговора мне нелегко было прийти к матери, но она оказалась более сильной женщиной, чем я мужчиной.

— Христос не покинет твоего отца, Аудун, — сказала она. — Он с ним на этом корабле. Думаю, твой отец провидел будущее яснее, чем когда-либо раньше, — он прибежал проститься со мной до того, как его увели на корабль в качестве заложника. Сегодня мне приснился сон, сказал Эйнар, Христос забрал меня отсюда и на обломке дерева отправил за море, а потом вернул обратно уже под надутым парусом. Когда он это сказал, я посмотрела на море: они несли на борт распятие.

Он также сказал: Передай Аудуну привет, я знаю, он будет жить и после моей смерти.

Обычно моя добрая матушка Раннвейг говорила мало, но, когда требовалось, умела сказать единственно верные слова. Вот и теперь, когда я, взрослый мужчина, превратился в ребенка и нуждался в ее утешении, она нашла, что сказать, чтобы отвлечь мои мысли от отца, которого по моей вине увезли заложником за море. Потом она стала говорить об Астрид.

Я вижу мать перед собой: старая, седая женщина с изможденным лицом и натруженными руками, она пекла хлеб для всей усадьбы и прожила жизнь с толкователем снов, который редко приносил домой серебро. Теперь она сидела и сердечно говорила об Астрид, которой здесь пришлось тяжелее всех.

— Они повсюду таскали ее за собой, она ходила с ними не по своей воле! Они водили ее из дома в дом, из одного покоя в другой и говорили: Найди своего мужа или мы убьем твоего сына. Она отмахивалась от них, они не били ее, только смеялись и говорили: Твой сын спит, хочешь, мы разбудим его перед тем, как убьем?.. Они тас-

кали ее из дома в дом, из покоя в покой и заставляли кричать: Сверрир, ты здесь? Выходи, Сверрир!.. Его нигде не было. Она молила, чтобы ее отвели к епископу Хрои, ее отвели. Она упала перед своим приемным отцом на колени и взмолилась: Найди моего мужа, тогда сын мой останется жить! Но епископ не знал, где скрывается Сверрир. Всю ночь они таскали ее за собой, но так никого и не нашли, в конце концов они оставили ее, чтобы использовать ее и мальчика, когда придет время. А потом нашли Сверрира, они приняли за него окровавленный труп Арве, на котором было платье Сверрира.

— Но хуже другое, — продолжала моя мать, — хуже то, что Сверрир не поверит ей. Он ей не поверит! Разве что на время, когда будет искать ее близости, но потом его одолеют сомнения и он решит, что она ходила с норвежцами, потому что желала его смерти. Епископ попытается образумить его. Сверрир наговорит ему всяких слов и поклянется, будто верит Астрид так же, как верил до того, как чуть не сгорел в печи для хлеба. Но ему не хватит благородства, необходимого для того, чтобы справиться с подозрениями. Доверие, которое должно существовать между мужчиной и женщиной, делящими постель и кусок хлеба, навсегда умерло в нем. И никто этого не исправит.

Я сказала Эйнару Мудрому: Если бы на их месте были ты, я и Аудун, я бы оставила тебя на произвол судьбы ради Аудуна! И поступила бы правильно, сказал он. Твой отец был мудрый человек, Аудун. Когда требовалось, он достигал истинного величия. Сверрир умнее многих, но есть люди, обладающие большим величием, чем он.

Из всех жителей Киркьюбё, Аудун, ты должен молиться только за Астрид и просить Бога не отказать ей в своей милости!

Она наклонилась и поцеловала меня, это был единственный чистый поцелуй, какой я получил за свою жизнь.



В ту же зиму нас рукоположили в священники, это было через две недели после Крещения. Епископ не первый раз благословил нас после отъезда сборщика дани, но и в тот день его слова и обращение были лишены сердечности и тепла, какими отличались его благословения до того, как зло посетило Киркьюбё. Великий день моего руко-

положения, которого я ждал со смирением и радостью, был отмечен пустотой, напоминавшей холод, идущий от глаз покойника. Из-за этого, покинув церковь уже священником, я чувствовал, что душу мою грызет сомнение, как мыши грызут стену кладовой, где хранятся припасы. Хватит ли у меня душевных сил, необходимых человеку, чтобы выполнить то, что на него возложил Всевышний? Я не мог сладить с собой, тлевшее во мне зло превратилось в пламя и заставило меня ненавидеть идущего рядом со мной брата — Сверрира, убийцу и новоявленного священника.

Должно быть, он понял, что творилось во мне.

Он стал избегать меня, мы уже не так часто и не так охотно молились вместе, как раньше. Люди в Кирккюбё относились к нам без прежнего доверия, а если и разговаривали с нами, в их слова уже не было прежней сердечности. В ту зиму меня окружала пустота, да и Сверрира тоже. Мы привыкли видеть не лица, а спины, почти никто не стремился исповедаться именно нам. Стол епископа Хрои, за которым мы всегда ели, теперь казался пустыней. Я понимал, что Бог отвернулся от нас, и в своем беспощадном прозрении видел в этом кару за то, что Сверрир, выбирая между жизнью Арве и своей собственной, выбрал свою.

В Кирккюбё говорили, что сборщик дани Карл вернется на Фареры следующим летом. Он уехал в сомнении — да, он узнал окровавленный плащ Сверрира, но чья разбитая голова лежала под камнем? Люди в Кирккюбё понимали, что мы со Сверриром представляем для них опасность, поэтому они холодно встречали нас и желали бы, чтобы нас здесь не было. Я понимал их желание. Они искали повода избавиться от нас, а я, со своей стороны, искал повода избавиться от Сверрира.

Однажды вечером он пришел ко мне:

— Аудун, думаю, ты хочешь изменить мне...

Он держал меня за горло сильнее, чем я его. Я все отрицал — Иуда перед лицом Спасителя. Он сказал:

— Я чувствую, Аудун, что тебе хочется последовать примеру всех и повернуться ко мне спиной. Конечно, я, а не ты, виноват в смерти Арве. Но помни, его смерть спасла жизнь нам обоим.

Так кто из нас виноват перед Богом, а кто — нет?

Разве ты не догадался, зачем я просил, чтобы Свиной Стефан пришел к нам в пещеру, разве ты не молчал, разве ты или я нашли в

себе силы сказать то, что следовало, и пройти тот единственный путь, который нам оставался?

Он говорил хорошо. Он говорил хорошо потому, что читал в моем сердце лучше, чем в своем собственном. И я ответил ему:

— Мы с тобой братья во Христе.

— Я не прошу тебя, чтобы ты объявил всем: Я тоже виновен, — сказал Сверрир. — Но мне было бы невыносимо больно, если б ты заявил: Я невиновен! — Он повернул ко мне суровое, но светящееся странной нежностью лицо. — Я думаю, что меня могут убить...

Я вздрогнул, он продолжал:

— Ты знаешь, Свиного Стефана ничего не стоит купить, он ведь тоже не без вины в этом деле. Откуда нам знать, кто предложит ему серебряное кольцо за то, чтобы он убил меня? Если меня убьют, людям здесь будет легче, когда вернется сборщик дани. Как думаешь, Аудун, меня убьют?

Теперь нас с ним связывали более крепкие узы, чем раньше, и это дало мне мужество и силы выносить присутствие Свиного Стефана в эту зиму. Он всегда был с нами и возле нас, такой же отверженный, как мы, человек, позволивший нанять себя, чтобы убить другого. Он искал дружбы там, где надеялся ее найти, — у таких же грешников, как и он сам, но я и раньше недолюбливал Стефана, а теперь и того более. Он не понимал вечных истин, его молитвам не доставало жара, он был беспокоен и некрасив и лицом и в словах. Но я вынужден был терпеть его. Это был первый человек — потом их появилось много, кого я не выносил, но вынужден был терпеть, идя от сражения к сражению, в глубине души я проиграл им всем.

В эту зиму Сверрир почти не вспоминал, что он, может быть, сын конунга.



Однажды вечером епископ прислал за мной. Я сразу пошел к нему и на дворе усадьбы встретил Сверрира — епископ посылал и за ним. Епископ сидел за столом, он не встал и не пошел нам навстречу. Он даже не поднял головы, его слабые руки лежали на недописанном письме. Он провел рукой по глазам, уставшим от того, что ему слишком часто приходилось читать слова, написанные на пергаменте.

— Я желаю вам добра, — сказал он.

Мы молчали.

— Как вы знаете, есть отношения между Богом и людьми, в которых человеку не дано быть судьей, — снова заговорил он. — Но есть также отношения между духовным пастырем и людьми, которые ищут его помощи, и тут епископу приходится быть единственным судьей. Вы знаете, что умирающие в Кирккюбё отказываются причащаться у вас, знаете также, что роженицы не хотят, чтобы вы крестили их детей. И знаете почему.

Мы молчали, он продолжал:

— Поэтому я хочу, чтобы вы уехали в Исландию и оставались там три года. Я посылаю письмо епископу в Хоуларе, моему брату во Христе, и говорю ему, что отдаю вас в его руки. Весть о вашем поступке еще не достигла Исландии. А если достигнет, вы должны все отрицать. Можете сказать, что сборщик дани Карл по злобе оговорил служителей церкви, потому что они любят Бога больше, чем он когда-либо сможет полюбить своих ближних. Астрид поедет с тобой, Сверрир. Я снаряжу для вас корабль задолго до дня Йона*, вы уедете на нем.

Он склонил голову, это был знак, что мы должны уйти. Однако, увидев наше отчаяние, он подошел и благословил нас.

— Знайте, никого из своих учеников я не любил так, как вас. Другие тоже доставляли мне огорчения и заставляли страдать мою душу, но епископ несвободен, он должен считаться не только с судом Божиим, увы, он зависит и от людского суда, а потому он слаб. Словом, я должен нести свою службу: быть пастырем всем, кто здесь живет. Поэтому вы должны уехать.

Он удалился, мы тоже ушли.



Ночью Сверрир позвал меня, и мы пошли вдоль берега, он был взволнован, я тоже. Не думаю, что уже в ту ночь Сверрир видел отчетливо тот путь, который Гуннхильд указала ему перед смертью и которым отныне он должен был следовать. Это была тяжелая ночь, у

* День святого Йона — 24 июня (Иванов день).

меня как будто отобрали мою душу. Была весна, с моря неслись черные облака, вода в темноте ощеряла белые зубы. Сверрир собрал свои мысли и выстроил их клином, как воинов перед битвой. Он выглядел так: сильный, крепко скроенный, с суровым лицом, по которому пробегала тень. Его хриплый голос то поднимался, то падал, то срывался в крик, иногда Сверрир умолкал и холод сковывал его черты. Никогда раньше он не внушал мне страха. Теперь же мне было страшно. Я понимал, что мы с ним находимся на распутье жизни, где нас ждут и Бог и дьявол, оба одинаково безжалостные, и каждый надеется заполучить нас себе.

Сверрир сказал:

— Я отправлюсь в Норвегию. Вовсе не обязательно, что мы встретим там сборщика дани Карла и его людей. Норвегия — большая страна, да они и не узнают нас, если мы с ними столкнемся. Там мы будем носить облачение священников, а здесь одевались, как обычные люди. Доберемся до Нидароса и окажемся под защитой архиепископа. Я хочу увидеть страну, которая принадлежала тому, кто, по словам матери, мог быть моим отцом. Хочу узнать, что думают люди, когда-то подчинявшиеся тому, кто, по словам матери, мог быть моим отцом! Хочу быть там священником, а со временем, может быть, и епископом, но, Аудун, если Бог внушит мне, что моя мать сказала правду, я изложу свое дело архиепископу и попрошу его совета.

Не только исполинская сила Сверрира, открывшаяся мне в ту минуту, заставила меня принять участие в его планах, но безумная отвага его мысли. Меня несло к нему, как море несет к берегу плавучие бревна. Мне тоже всегда хотелось увидеть Норвегию. Я знал, что где-то там находится мой отец Эйнар Мудрый, если только он остался в живых после такого пути; и еще внутренний голос сказал мне: Там находится и распятие, перед которым ты здесь молился, и, кто знает, может, ты снова сможешь преклонить перед ним колени.

Однако я ничего не сказал об этом. Я не уверен, но думаю, что, если бы тогда сказал Сверриру, что отправлюсь с ним, но по другой причине, он бы не понял меня. Он сжал руками мои плечи и сказал:

— Я осмелюсь на это, Аудун, осмелюсь во имя Бога!

И я знал, что последую за ним, — во имя Бога и во имя Сверрира.

Этой зимой Астрид родила еще одного сына, его окрестили Сигурдом. В первое воскресенье после Обретения Креста Господня епископ прислал за нами.

— Как вам известно, корабль уже осмолен и оснащен парусами. Я жду от вас, что вы будете готовы отправиться в путь за три дня до дня Йона.

Сверрир сказал:

— Я сын конунга.

В рабочем покое епископа воцарилась мертвая, недобрая тишина, епископ огляделся по сторонам, потом встал и закрыл ставнем одно из окон, которое было приоткрыто, вернувшись к столу, он поднял лицо к Сверриру:

— Говори!

Сверрир сказал:

— Моя добрая матушка Гуннхильд умерла, когда здесь был сборщик дани, она прожила жизнь с грехом на душе, который только Всемогуший может простить ей. Грешница она или нет, я все равно любил ее, и знаю, что она сказала правду, она не стала бы лгать родному сыну перед лицом вечности. И Аудун был свидетелем ее слов.

— Что сказала твоя мать?

— Она сказала: Ты сын конунга. Между мной и моим женихом были нелады, я отдалась другому, но я не знала его. Потом говорили, что это был Сигурд, конунг Норвегии. И потому ты сын конунга.

Епископ онемел, мне было жалко его, а Сверрир продолжал:

— Не думаю, что кто-нибудь знает об этом, кроме нас двоих, епископ Хрои. Но, возможно, еще одному человеку известна тайна моей матери — Унасу. Трезвый он не болтлив, когда же выпьет, в его словах бывает больше силы, чем ума. Я не уверен, что в Норвегии он станет трезвенником. И тогда норвежцы вернуться сюда.

— Ты уедешь отсюда, — медленно проговорил епископ.

— Да.

— Я уже сказал тебе, что корабль будет готов уйти в Исландию за три дня до дня Йона.

— Я не поеду в Исландию, — сказал Сверрир. — Я еду в Норвегию.

Это были слова конунга, в них было что-то, не позволявшее возражать ему.

— Это не только мое желание, но и мое право, хотя я еще не знаю, потребую ли я то, что принадлежит мне по праву, все в руках Господних. Знаю только, что не отступлю, я не создан для уступок. Я еду в страну, где правил тот, кто, по словам матери, был мой отец.

Епископ молчал.

Сверрир сказал:

— Я виноват в смерти старика Арве. Но у меня было право убить его. Для нас с Аудуном это была единственная возможность спастись — я ухватился за эту возможность и убил Арве. Это тяжелая ноша, и каждое убийство, которое мне впредь придется взять на себя, мне будет также тяжело нести. Но мои плечи выдержат эту ношу.

Епископ молчал.

Сверрир сказал:

— Я не могу взять с собой Астрид и моих сыновей, о них придется позаботиться тебе, епископ Хрои. В Норвегии они будут мне обузой. Но обещаю, что через два года либо вернусь сам, либо пришлю за детьми и Астрид корабль. Тогда я уже буду знать, чего хочу: буду или не буду требовать то, что принадлежит мне по праву. Если же я умру до истечения этого срока, Бог даст знать тебе об этом.

Епископ молчал.

Сверрир сказал:

— Товар, который мы должны были продать в Исландии, нам будет легче продать в Норвегии. И если ты пошлешь с нами письмо архиепископу Эйстейну, он возьмет нас служить в своей церкви. Я могу пойти к архиепископу и сказать: Я сын конунга Сигурда! Но я не требую того, что принадлежит мне по праву, я хочу только служить Богу и быть священником в Норвегии. Думаю, архиепископ мог бы убедить ярла Эрлинга, что ему выгодно, чтобы у него в стране один из священников был сыном конунга. Тогда в Норвегии воцарился бы мир.

— Ты неглупый человек, Сверрир, и ты умеешь преподносить правду так, что лишь самые умные способны понять, что кроется за твоими словами.

Мы ушли.

Теперь мне предстояло пойти к матери и сказать, что я отправляюсь со Сверриром в Норвегию. Это было нелегко, я утешал ее, гово-

рил, что надеюсь найти там отца и, возможно, наше большое распятие, изображавшее сына Божьего на кресте.

— Преклони колени перед этим большим распятием, Аудун, тогда и я преклоню колени перед сыном Божьим...



Через три дня мы должны были покинуть Кирккюбё. Ночью я встретил Астрид, жену Сверрира, она сказала:

— Скоро ты уедешь отсюда, а когда мы снова встретимся?..

За день до того Сверрир ушел в Тинганес, жители Кирккюбё в это время года собирали в горах птичьи яйца. Астрид попросила меня пойти с ней и посмотреть ее младшего сына, он тяжело дышал, думаю, в ту ночь он был не совсем здоров. Я остался с ней в их со Сверриром жилище, младший сын спал, старший тоже. Астрид была легко одета, теперь я это заметил, мне стало больно при мысли, что скоро я отсюда уеду. Кирккюбё никогда не казалось мне таким красивым, как в эти дни, склоны были покрыты зеленью, тяжелые, темные волны набегали на берег. Она взглянула на меня:

— Уговори Сверрира взять меня с собой... Ты можешь...

Астрид не всегда была послушна своему мужу, поэтому ее слова не очень удивили меня. Но то, что она выбрала посредником меня и хотела, чтобы я попросил Сверрира изменить свое решение, заставило меня замолчать и внимательно посмотреть ей в лицо. Она стала еще красивее, чем была. Спокойнее и полнее, двое детей часто не давали ей спать по ночам, она утратила свою необузданность, но стала как будто глубже, чем была в юности. Мы никогда не находились так близко друг от друга. Она усмехнулась:

— Прежде ты не приближался ко мне так близко, Аудун. Он теперь редко приходит ко мне. И не станет приходить чаще, даже если я поеду с вами в Норвегию. Но ты...

Она словно поднесла мне серебряный кубок, меня пронизала дрожь — ведь я знал, что человек, о котором мы оба думали, не вернется домой сегодня ночью. Астрид была права. Никогда я не стоял так близко от женщины, во мне была пустота и слышался отчаянный вопль. В свои одинокие ночи я часто призывал Бога, но чье лицо я видел в облаках среди звезд, когда обращал глаза к небу? Что

заставляло меня молиться часами? Тоска по неведомому? Я думал, что меня заставляет молиться мысль о Всемогущем, но, может быть, я тосковал больше по женщине в темноте, чем по свету Господню? Она снова поглядела на меня, теперь она не смеялась — красивая, в легкой одежде, горячая, молодая. Вдруг она сказала:

— Или ты боишься?

И прибавила:

— Если ты скажешь Сверриру: Возьми с собой Астрид, ваше дело только выиграет. Если рядом с ним будет жена, это будет означать, что он приехал в Норвегию с миром, и все это сразу поймут. Ярла не встревожит человек, приехавший с женой, другое дело, если этот человек придет один. Если ты объяснишь это Сверриру, он послушается тебя! Скажи ему это завтра утром, когда он вернется в Кирккюбё!

Сегодня ночью он не вернется.

Она замолчала, я тоже молчал, я был во власти дьявола, он искал меня, она — тоже, но ее молитва была, должно быть, не так горяча, как моя мольба избавить меня от неизбежного. Она сказала:

— Сверрир заслуживает твоего осуждения...

Лучше бы она этого не говорила, потому что даже тогда я был не в состоянии осудить его. Ведь я понимал: он меня и слушать не станет. Сделает так, как решил, — Астрид останется здесь, потому что в Норвегии она будет ему обузой. Если я нынче ночью осушу этот серебряный кубок, моим уделом будет пить всю жизнь из чаши горечи.

Она стояла передо мной.

Я ушел.

В ту же ночь я пошел к дочери Арве и дал ей серебряное кольцо. Многие ходили к ней, в любом месте есть женщина, к которой мужчина может пойти в любое время. Я впервые был у женщины.

Но когда я покинул ее, мужество мое окрепло, и презрение тоже. Я снова пошел к Астрид и получил ее. Она щедро одарила меня своей молодостью, это была моя единственная победа над человеком, который всегда брал надо мной верх. Я обещал ей поговорить с ним, чтобы он взял ее в Норвегию. Но не сдержал своего обещания.

Через три утра наш корабль вышел из Кирккюбё. Мы заранее поднялись на борт, Астрид тоже пришла на берег, на меня она не смотрела.

— Я желаю тебе удачи, — сказала она Сверриру. — И если нам не суждено больше увидеться, знай, что ты отец обоих моих сыновей.

— Я в этом не сомневался, — сказал Сверрир.

— А хоть бы и сомневался. Твое сомнение — это твое дело, меня оно не касается. Я знаю то, что знаю, но, возможно, мне хотелось бы, чтобы все было иначе.

— До сих пор я был уверен в тебе, но теперь у меня не будет этой уверенности.

— Ты всюду найдешь утешение, как священник ты встретишь много женщин, но как сын конунга, ты скорее всего встретишь смерть.

— Если я встречу смерть, значит, я встречу Бога, — ответил он.

— Бога или дьявола, — сказала она. — Каждая встреча бывает горькой или сладкой. Когда я встретила тебя, это была для меня сладкая встреча.

— И для меня тоже. Но печь, в которой пекут хлеб, горячее тебя.

— И люди сборщика дани тоже, — сказала она. — Прощай, Сверрир.

— Да утешит тебя епископ, — отозвался он.

— Он и сын Арве. Арве умер не бездетным, и пусть это утешит того, кто его убил. И меня тоже.

— Я вернусь через два года, Астрид.

— Это недолго, но по мне так можешь задержаться и дольше.

— Утешайся с кем хочешь, — сказал он, и лицо у него потемнело.

— Дети Арве утешали до меня и других. — Она отвернулась от него и ушла, даже не взглянув на меня.

Свиной Стефан тоже плыл с нами, мы взяли за весла. Епископ Хрои и моя добрая матушка стояли на берегу. Епископ осенил нас крестом, упал на колени и воздел руки к небу. Мать плакала.

Астрид мы не видели.

День выдался ясный, мы взяли курс на Норвегию, больше мы уже никогда не вернулись в Киркьюбё.



ОСЕННИЕ ДНИ В МОНАСТЫРЕ

С перва из моря поднялись лиловые горы и зеленые холмы, потом мы увидели Бьёргюн. В Бьёргюне мы задержались недолго и повернули на север, наш путь лежал к архиепископу, в славный Нидарос. Мы знали, что нам необходимо заручиться его покровительством прежде, чем мы встретимся со сборщиком дани Карлом. Мы мало разговаривали, пока наш корабль шел вдоль берега, и потому я почти не знаю, чем в то время были заняты мысли Сверрира. Мы успели добраться до монастыря на Селье раньше, чем начался шторм. Подул встречный ветер. Сперва мы собирались переждать там непогоду, но непредвиденные события заставили нас задержаться на Селье дольше, чем мы рассчитывали. Прошло много времени, прежде чем мы увидели Нидарос, о котором слышали столько рассказов, и увидели великолепный храм, выстроенный архиепископом Эйстейном.

Йомфру Кристин, позволь мне рассказать тебе, как выглядел Сверрир, когда прибыл в страну, которую потом подчинил себе. Которую поставил на колени и за которую молился. Он полюбил ее, и жар этой любви опалил его душу и души многих близких ему людей. Сверрир был небольшого роста, широкоплечий и скуластый. Он тща-



тельно ухаживал за своими волосами еще до того, как стал конунгом, хотя тогда ему следовало думать больше о голове, чем о волосах. У него был необычный взгляд — отсутствующий и вместе с тем внимательный, я ни у кого не встречал этой способности — от его глаз ничто не могло укрыться. А глубину его голоса я так никогда и не измерил. Мало у кого в голосе слышалась такая сила, а звучащая в нем нежность часто радовала меня. Он хорошо владел оружием, но его нельзя было назвать выдающимся воином. Он был силен, однако не настолько, чтобы поднять человека и швырнуть его за борт. Но в наших бесконечных походах, ночью, в непогоду, в горах или на веслах при встречном ветре ему не было равных. И он это знал. Хотя ни разу не упоминал об этом. Спал он мало, меньше, чем кто либо из нас, и сон у него был легкий, он часто молился, даже на глазах у людей, но чаще, когда его не видел никто. Он обладал беспощадной ясностью мысли, какую я больше не встречал ни у кого. Беспощадной ясностью мысли и мужеством видеть суть дела. Но красивым он не был.

В нем еще оставалось немного детской радости, он часто смеялся, но главным образом для того, чтобы показать, что и он может быть веселым. Он всегда с удовольствием слушал хорошую лживую сагу. Сверрир вообще любил слова, они были нужны ему и чтобы говорить, и чтобы молчать, он мог годами хранить какое-нибудь слово, а потом употребить его в нужное время, — например, в разговоре с тем, кто был не на его стороне, в разговоре, когда его окружали и друзья и недруги. Нельзя сказать, чтобы он был пристрастен к чарке, но мне случалось видеть, как он выпивал с веселыми людьми, правда, всегда меньше, чем они. Одежда его почти не интересовала. Но потом, уже став конунгом Норвегии, он одевался, как того требовало его достоинство, — без пышности, просто, но красиво и тщательно.

Он был одинок, когда приехал в Норвегию. Я знаю, йомфру Кристин, ты можешь сказать, что с ним рядом был я. Можешь также сказать, что с ним был Свиной Стефан и все остальные. Можешь спросить: Разве вместе с вами он был одинок? Да, он был одинок, когда прибыл в страну, где его мать когда-то встретила человека, подарившего ей радость и проклятие деторождения. И таким же одиноким он отправился на вечный покой. Я знаю, йомфру Крис-

тин, ты можешь сказать: Не может быть, чтобы он был одинок. Можешь также сказать: Его окружало столько народу — дружина, знатные люди, верные священники, жена королева, моя мать. Неужели он был одинок? Но я знаю, что он был одинок.

Лишь одного человека, да и то очень редко, он допускал в тайники своего беспокойного и полного раскаяния сердца. Это меня. И теперь я хочу попытаться показать тебе то, что мне виделось в тех тайниках. Я знаю, конунг разрешил бы мне показать тебе это.

Он прибыл в Норвегию бедным и преследуемым человеком, в его кожаном мешке был только сборник проповедей да стола. Священная стола, которую он получил, когда его рукоположили и на которой его жена Астрид вышила красной нитью три креста. У него не было своей церкви, и встреча со сборщиком дани Карлом стоила бы ему жизни. Он приехал, не зная, кто был его отцом, — он и надеялся и боялся, что его отцом был конунг Норвегии. Больше он ничего не имел за душой, когда без оружия и без дружины плыл вдоль берега Норвегии к могущественному и великолепному архиепископу Эйстейну. Но какой прием ждал его там? У него были наготове слова. Он хотел встретиться с архиепископом и сказать: Я сын конунга! Или мог им быть, но я не требую своего права на престол, я требую только безопасности и содержания для себя и своих людей. Больше ничего. Я требую, чтобы мне было позволено быть тем, кто я есть, — священником на Божьей земле, отрекшимся от житейской суеты и от собственной славы. Главное во мне, что я пришел с миром.

Это он собирался сказать архиепископу.

Уверен, что то же самое он говорил и самому себе. Не знаю, слышал ли он другие голоса, таящиеся в глубинах его души, думаю, слышал, думаю также, что он заглушал их, сдерживал, убеждал себя в своей правоте, но заглушить их совсем было нельзя, нельзя заглушить голос человека, живущего в глубинах твоей души.

Мы приехали в монастырь на Селье и там узнали, что человек по имени Эйстейн, а по прозвищу Девчушка, объявил себя конунгом и поднял людей против Эрлинга Кривого и его сына. Архиепископ был на стороне ярла. Он был его безусловным сторонником и поддерживал решительным словом, проклятиями его врагам и даже мечом. Зиму мы провели в монастыре на Селье.



Я помню все, словно это было вчера, наш первый счастливый день в монастыре на Селье. Над морем сияло солнце, очертания колокольни было похоже на черный, сжатый кулак, за ним высилась гора. Царившую там тишину не могли нарушить даже крики птиц, и ни один человеческий голос с его человеческими страстями и суетой не вторгался в этот священный покой. Мы поднялись к монастырю, за спиной у нас остался наш корабль, мы еще ощущали в себе волнение моря и оно заставляло волноваться нашу кровь. Походка наша не была твердой. Мы никого не встретили, здания монастыря казались вымершими. Был жаркий тихий полдень, в монастырском саду никто не работал, мужчины и женщины спали. Наверху на склоне горы за всеми зданиями мы различили вход в пещеру, где некогда скрывалась святая Суннева. На каменном уступе, словно птичье гнездо, прилепилась маленькая церковь, построенная покойным конунгом Олавом сыном Трюггви. На этом острове сборщик дани Карл надругался над Гуннхильд, и на этом острове его люди отрубили руку Гауту.

Мы со Сверриром молчали, у нас не было слов, мы видели, что красота и святость слились здесь в объятии, как сливаются в объятии мужчина и женщина. Неожиданно мы заметили старика, который полз по тропинке нам навстречу. Он тяжело дышал, несколько раз поднимал голову и оглядывался, потом снова опускал голову. К нему подбежала овца, радостно заблеяла и убежала опять. Старик отдохнул и пополз дальше, к церкви. Мы подбежали к нему.

— Не помогайте мне, друзья, — проговорил он добрым голосом. — Пусть мои члены страдают во имя нашей возлюбленной Девы Марии.

В его голосе звучали нездешние нотки, должно быть, он приехал сюда из какой-то далекой страны. Когда старик понял, что мы тут люди новые и в монастыре нас не знают, он приподнялся:

— Теперь меня не удивляет, что вы испугались при виде ползущего человека, вы молоды, вам радостно ходить в полный рост и быстро достигать цели. Я же стар и уже близок к смерти, и я готовлюсь к ней. Каждый день я дважды проползаю тот короткий путь, что отделяет мое ложе в доме для стариков от церкви, чтобы помолиться там Богу. И я никому не разрешаю помогать мне.

Мы сели рядом с ним. Это была наша первая встреча с людьми в этой стране — мы представляли ее себе не такой, но ведь старец был не норвежец. Он поведал нам, что очень давно приехал сюда из Ирландии, чтобы увидеть своими глазами место, где святая Суннева встретила смерть и перешла в царствие небесное.

— Путь мой был долг, и от каждой церкви, мимо которой я проходил, я отламывал маленький камешек, чтобы принести его сюда. Наконец я оказался здесь. Но долгая дорога и тяжесть, которую я нес, надломили меня. С тех пор я могу только ползать, и за это я люблю Бога. Но дни мои уже сочтены.

Он улыбался счастливой улыбкой, и пока мы сидели рядом с ним, он преподавал нам урок тайного учения о доброте. Оно зиждилось на том, что он называл скрытой камеркой, уголком в сердце, о котором знает только Сын Божий. Но даже Он не может открыть его без твоей помощи. Однако, раз открывшись, этот уголок не закроется уже никогда. Там пребывает суть доброты. И эта суть, вырвавшись из своего тайника, сделает сильной руку уже другого и волю его нестигаемой, и тогда он, этот другой человек, будет способен открыть уже и свой собственный тайник. Я умру счастливым, если моя скромная помощь — да простит мне Господь мою гордыню — если моя скромная помощь поддержит вас, когда однажды и вы откроете скрытые уголки своих сердец.

Он улыбнулся и пополз дальше, постанывая от боли, но он полз к церкви и радовался. Обернувшись к нам, он сказал:

— Тут на Селье, я нашел последователя. Он — мой духовный сын, его зовут Гаут, когда-то ему здесь отрубили руку. Видите под горой маленькую церковь, это случилось там. Гаут ходит по всей стране, чтобы найти своих обидчиков и простить их. Узнав об этом, я словно прозрел и сказал: Не дай, Боже, Гауту найти своих обидчиков! Пусть ходит и ищет их и прощает тех, кого встретит. Многие нуждаются в том, чтобы им напомнили о силе прощения и помогли открыть тайники, где прячется доброта. Гаут сейчас здесь, в монастыре.

Он пополз дальше, потом мы узнали, что его зовут Бенедикт. Мы решили подождать и не заходить в церковь, чтобы поблагодарить Бога за то, что благополучно приплыли сюда, — Бенедикт заслужил, чтобы ему не мешали молиться. К нам стали подходить люди, они уже отдохнули после дневной жары. Пришел и Гаут, он был весел и

благодарен судьбе, что ему довелось снова встретиться с нами. Он жил на Селье и пристраивал новое помещение к дому для стариков, что был при монастыре.

Пришел и Сигурд из Сальтнеса, мы и с ним встретились на Селье. Он рассказал, что человек по имени Эйстейн Девчушка поднял людей против ярла Эрлинга. Он сын конунга, его отца тоже звали Эйстейн, его отец и конунг Сигурд Рот были братья.

Я сразу подумал, и Сверрир, должно быть, тоже, что в таком случае Эйстейн и Сверрир — близкие родичи. Их отцы были братья, если то, что сказала нам Гуннхильд, правда.

До сих пор воспоминание о нашем первом дне в монастыре святой Сунневы, о встрече со старым ирландцем Бенедиктом дарит мне и радость и боль. Его мудрых слов о Гауте, который должен ходить и прощать, я уже не забывал. Поэтому я не сказал Гауту, кто отрубил ему руку, хотя знал это с того дня, как Гуннхильд рассказала нам правду о сборщике дани Карле. Я так никогда и не сказал этого Гауту. И он встречал многих людей, и многим напоминал о тайниках добра в наших сердцах и о силе прощения.



Когда я вспоминаю те далекие солнечные дни на Селье, то первым вспоминаю все-таки не Бенедикта, того святого человека, который ползал по земле, подобно ужу. Нет, я вспоминаю женщину в лохмотьях и с волосами, посыпанными золой, у нее была такая светлая душа, что она могла хоть сейчас предстать перед святой Девой Марией. Женщину звали Рагнфрид.

Рагнфрид была молодая, но некрасивая и низкого происхождения. У нее был сын, но не было мужа. С сыном на руках, сосавшим большой палец, Рагнхильд носила в дом для стариков хлеб, молоко и воду. Каждое утро и вечер она заново посыпала голову золой. От этого голова у нее чесалась, и она долго не могла заснуть по ночам, зато у нее было время раскаиваться в своих грехах. Она была первая молодая женщина, да и вообще первый человек, какого я видел, который по своей воле и от чистого сердца раскаивался в своих грехах. Она дала обет, что пять лет будет посыпать голову золой и мазать волосы конским навозом.

С золой и конским навозом в волосах она ходила по зеленым пригоркам, вдоль церковной ограды, дышавшей покоем, в прохладном полумраке дома для стариков. Спускалась к морю за рыбой, когда рыбаки возвращались с уловом, таскала из ручья, бегущего под горой, тяжелые ведра с водой. И никогда не случалось, чтобы она по будням напилась воды из животворного источника святой Сунневы. Он был для нее святыней, лишь по большим праздникам Рагнфрид разрешала себе пить ту благословенную воду. Говорили, что она мучится жаждой от одного праздника до другого.

Как-то раз — это случилось в один из первых дней, что мы жили в монастыре на Селье, — я поднимался с берега к церкви, теперь я уже не помню, что у меня было за дело, и неожиданно услышал женский крик. Сперва тихий, потом более громкий, зловецкий, полный боли и страха, он ножом резанул меня по ушам, заставил вскрикнуть, сжать голову руками и бежать, но я не знал, куда мне бежать. Обычно так кричит мужчина, в которого всадили нож, но тут кричала женщина, и я сразу догадался, кто это. Наконец я увидел ее. Она билась в траве, словно раненый воин, ее сын стоял рядом с ней. Он плакал.

Я вспоминаю тот день, словно собираю воедино кусочки разломанного серебряного украшения, они как будто плавают у меня перед глазами, я не вижу их все одновременно, но тем не менее они складываются в единую картину. Помню, кто-то сказал: Убейте ее!.. Должно быть, Свиной Стефан. Он тоже был там, и это была единственная помощь, какую, на его взгляд, можно было оказать попавшему в беду человеку: его надо убить!.. Другой голос, более суровый, более умный и потому более опасный сказал: Убейте ее сына!.. Он принадлежал Симону, одному из священников монастырской церкви. Убейте ее сына, тогда она замолчит!

Но пока я, Симон и Свиной Стефан стояли, подобно соляным столпам, напутанные зловецкой силой и ненавистью, звучавших в этом крике, к Рагнфрид ползком направился человек. Я знал, что этот ползущий на животе человек исцелит ее боль, — нет нужды говорить, кто это был. Но он не успел доползти до Рагнфрид. Первым, как всегда, прибежал Гаут, он обхватил ее и хотел поднять на ноги, она отбивалась от него, он что-то сказал ей, прикрыл ее голову.



После говорили, будто Рагнфрид открылось, что ярл Эрлинг Кривой скоро прибудет на Селью. Ярл плывет вдоль берега, чтобы разбить людей, поднявшихся против него, он пристанет на Селье и надругается над всеми женщинами, что тут есть, позволит своим воинам надругаться над ними, а потом поплывет в другое место. Поэтому она и кричала.

У нее были на то основания. Когда-то ей уже случилось видеть, как ведут себя люди ярла. Рагнфрид была служанкой у Сесилии, дочери конунга Сигурда. Сесилия воспитывалась в Трёндалёге, однажды ночью на них напали, Сесилию сбили с ног и связали, над ней не надругались, просто завернули в овчину, связали ремнями и куда-то увезли. Потом стало известно, что неслыханное внимание, какое проявили к Сесилии нападавшие, объяснялось тем, что ярл Эрлинг обещал ее в жены шведскому лагманну* Фольквиду, дабы таким образом обеспечить себе мир с его стороны и избавиться от женщины, которая могла бы родить сыновей, наследников конунга. Плачущую служанку Сесилии прогнали в лес.

После этого Рагнфрид пришла в женский монастырь в Нидаросе, пришла в слезах и в крови, и там, в мирной обители сестер, нашла кров и хлеб. Через год она стала послушницей, страх перед ярлом Эрлингом и его людьми привел ее к Богу. Правда, она отвечала не всем требованиям, какие настоятельница имела право предъявить молодой послушнице, но того единственного, чего ей не хватало, ее лишили мужчины, преклонявшие колени перед женщиной только в том случае, если собирались овладеть ею. Знавшие душу Рагнфрид говорили, что она прекрасна, как цветок в начале лета, и благоухает, словно крылья ангела, парящего над нами ночью накануне Обретения. Однажды к ней пришел мужчина.

Сигурд бежал от людей ярла Эрлинга, его жизни угрожала опасность. Он хотел найти тех, кто взбунтовался против ярла, и его приняли в монастыре. Воины ярла в поисках беглеца явились туда, но умиротворенным тоном настоятельницы с несвойственной им покорностью покинули монастырь. Сигурда они не нашли.

А Рагнфрид нашла, и он ее тоже, может быть, в райском уголке

* Уважаемый человек, знавший все законы и следивший на тинге за их выполнением.

А Рагнфрид нашла, и он ее тоже, может быть, в райском уголке монастырского сада, где цвели и наши северные цветы и цветы разных далеких стран. Они нашли друг друга и со временем тело ее налилось тяжестью не только от сильной тревоги, но и от великого восторга. Тогда ее с позором изгнали из монастыря. Потом она как простая служанка попала на Селью.

Он приехал следом за ней, Сигурд из Сальтнеса, теперь он был изгоем и искал ее и тех людей, с кем мог бы объединиться. Но она ходила с волосами, посыпанными золой. Перед лицом святой Сунневы — на том месте, где стояла ее рака, пока ее не увезли оттуда в Бьёргюн, — Рагнфрид обещала искупить свой грех, проходя пять лет с головой посыпанной золой и измазанной конским навозом. А потому она должна была отказать ему.

Этим объяснялась его горечь и часто вспыхивавший гнев, нежность к мальчику, его сыну, и тоска по той, которой он обладал один раз и не мог обладать теперь. И вот наступил тот вечер, когда в ней проснулся старый страх и ее крик вознесся между морем и горами, страшный крик, пронзивший меня, словно железный прут. Я вспоминаю то время, и этот крик снова бьется во мне.

Йомфру Кристин, эта Сесилия, дочь конунга, насильно отправленная к человеку, которого она не любила, была, как ты знаешь, неизвестной сестрой твоего отца, до поры до времени неизвестной. Потом они встретились, и я еще расскажу тебе, как она выглядела и о чем думала, о ее жизни и о ее судьбе, о ее боли и ее радости.

Йомфру Кристин, ты дочь конунга Сверрира и мое единственное утешение в эти мучительные ночи в Рафнаберге! Позволь мне сказать, что за всей своей холодностью я прячу нечто, к чему, думаю, даже Господь Бог отнесется благосклонно. Он бросит на это благосклонный взгляд, а потом, хоть и неохотно, объявит своим ангелам, что, вопреки моим явным достоинствам, я все-таки должен пройти сквозь муки чистилища. У меня еще есть слезы, и они выступают на глазах, когда я меньше всего жду этого, это моя слабость перед воспоминаниями и перед людьми, которые прошли по дорогам своей жизни на сбитых в кровь ногах.

Но я знаю, йомфру Кристин, что из всех людей здесь в Рафнаберге не больше двоих понимают, что, несмотря на мою суровость, у меня нежное сердце. Один из них это Гаут. Вторая, может быть, ты.



Когда мы в монастыре на Селье снова встретились с Сигурдом из Сальтнеса, он больше не носил воинских доспехов, как два лета назад в нашу первую встречу в Киркьювоге. Теперь он носил грубую рясу монастырского работника, но под ней он скрывал пояс и ножны с мечом. Меч был не длинный и не подошел бы для открытого боя. Но лезвие его было так остро, что с легкостью перезало волосок, который он, вырвав из головы, к нему прикладывал. По ночам Сигурд спал, подложив под себя меч. Сигурд чинил каменные ступени, ведущие к церкви святой Сунневы, оттуда, насколько хватал глаз, ему открывалось море. Оттуда ему были видны корабли, заходившие в гавань, и ему бы ничего не стоило укрыться в горах, если б он заподозрил, что его жизни угрожает опасность. Было ясно, что на Селье он скрывался от своих недругов. Также ясно было и то, что Сигурд приехал в монастырь не в поисках Бога. Священник Симон знал его тайну, да и остальные священники тоже. Мы со Сверриром сразу поняли, что тут собрались люди, не любившие Эрлинга Кривого, здесь вынашивались планы, которые со временем могли дорого стоить и ярлу и его сыну конунгу Магнусу. Здесь же были и мы.

Был ли это толчок в сердце или ветер как будто вдруг надул паруса и понес наш корабль в море? Не знаю. Но я неожиданно почувствовал себя воином на поле сражения, и рядом со мной был Сверрир. Помню, его лицо стало даже светиться, походка сделалась легкой, мрачность, часто посещавшая его с тех пор, как Гуннхильд рассказала ему о своих страданиях и их последствиях, исчезла с его лица, как ночь исчезает при первых лучах солнца. Однажды утром мы поднялись туда, где Сигурд перекладывал ступени, ведущие к церкви святой Сунневы. Мы пришли, чтобы он рассказал нам правду, и он рассказал ее.

Я бы назвал это *первым днем*, и он таил в себе нечто, ставшее для многих предупреждением об их последнем дне. Мы сели на одну из многих сотен ступеней, что вели от большой церкви вниз к маленькой, стоявшей в ложбине у подножья горы. Ты сама ходила по этим ступеням, чтобы смиренно, с покрытой головой, встретить своего Бога и его верную служанку, святую Сунневу. Мы со Сверриром поднимались по этим ступеням с помыслами, не похожими на твои, волнение наше было не чета твоему, оно несло в себе незнакомую

волнение наше было не чета твоему, оно несло в себе незнакомую тебе ненависть. Сигурд увидел, что мы поднимаемся и приветствовал нас, раскинув руки, как брат приветствует братьев.

Мы сидели высоко над маленькой церковью и над монастырем, внизу брат Бенедикт полз на свою первую ежедневную молитву в дом Божий. Там же Гаут клал камень на камень, чтобы дом для стариков стал больше и лучше служил тем, кто искал в нем приюта. Море было гладкое, без единой морщинки, и птицы те же, что в нашем родном Киркьюбё. Но свет тут был другой. Зелень травы на пригорках, словно отражалась в воздухе, все было окутано зеленой дымкой и дарило радость. Здесь не было слышно голосов людей, звучал только голос Сигурда.

Он говорил:

— Мы вернулись в Норвегию с Оркнейских островов. Однажды вечером все двери дома, где жили воины в Бьёргуне, оказались закрыты, у всех входов и выходов стояли дружинники конунга. Нас заставили встать с лавок, на которых мы спали, вошел конюший конунга и прочитал нам сообщение конунга и его отца ярла. Человек, которого он называли Эйстейн Девчужка, поднял людей против ярла и конунга, на страну обрушилась война, и мы должны были принять участие в сражении.

Я не боялся сражения, да и остальные тоже. Но мне хотелось бы сражаться на правой стороне, как подобает свободному мужу, а не на неправой, что достойно только раба. В ту же ночь я выбрался через окно. Я рисковал жизнью и знал это, еще до рассвета я покинул Бьёргун. Я хотел вернуться домой в Трёндалёг, чтобы предупредить своих братьев и отдать этому делу свою жизнь и состояние. Мне удалось выбраться без помех.

Я шел по неизвестным тропинкам, это долгая сага и вряд ли у меня когда-нибудь будет время рассказать ее вам. На север шли корабли, и один из них пристал на Селье, здесь я встретил священника Симона. Он тоже ни питал любви не к конунгу, ни к ярлу. Я отправился дальше, меня обнаружили и стали преследовать. Мне удалось добраться до Нидароса, но я не знал, какими достоинствами обладает этот Эйстейн и хватит ли у него воли, чтобы рискнуть всем. Люди ярла преследовали меня и в Нидаросе. Там всем заправлял хёвдинг ярла Эрлинга, звали его Николас. Жестокий и глупый, глупее быче-

го хвоста, к тому же ему не хватало мужества. Я скрылся в женском монастыре, монахини помогли мне, и я пробыл там долго. Одна из сестер понесла от меня.

Но Эйстейна Девчушки все не было. Говорили, что первым делом он собирался взять Нидарос, это было необходимо, если он хотел, чтобы его объявили конунгом по норвежским законам. У меня были в Нидаросе добрые друзья. Не зря я все-таки трэнд. Некоторое время я ночевал в трактире в Скипакроке, переодетый рабом, хотя и был свободным. Был там человек по имени Хагбард Монетчик — забудьте сразу же его имя, вы его не знаете, и я тоже, — так вот, мы с Хагбардом Монетчиком ходили по вечерам из трактира в трактир и беседовали с людьми. Одно слово здесь, два — там, где нужно посмеяться, похлопаем по плечу, пожмем руку тому, от кого услышали дельное слово. Так можно создать невидимый круг друзей и помощников. Однажды в трактире, где я жил, остановился один бонд из Сельбу. Он развязал свой кожаный мешок, в нем, по его словам, лежало одеяло, которое он намеревался продать, — и то сказать, содержимое его мешка могло помочь не одному человеку забыться крепким сном. Там было шесть добрых топоров, два меча и три копья. Он сам их выковал, и красотой они не отличались, зато были остро наточены, и жала их алкали человеческой плоти. Я попросил бонда прийти еще раз с полным мешком.

Он так и сделал. С ним пришел еще один, этот торговал хмелем, хе-хе, и его самого и его клячу аж перекосило от этого хмельного груза. Кузнецы в Сельбу знают свое дело. Там много болот, есть где черпать железную руду тому, у кого хватает на это и мужества и силы. Оружие мы припрятали. Зарыли его в землю. Когда же собрали подходящих людей, мы его выкопали. Каждый что-нибудь получил — дать больше мы не могли — и должен был поклясться, что расплатиться за него не меньше, чем двумя жизнями наших недругов, если не хочет потерять свою собственную. И прослыть бесчестным.

В те дни я скрутил из бересты рожок, и этот рожок мог быть почище любого пьяного. Вы знаете, звуки берестяного рожка постепенно набирают силу, дрожат, разливаются и замирают, точно плач, подхваченный ветром. Звук моего рожка начинался оглушительным, хриплым боевым кличем, потом он затихал и, набрав силу, снова

потрясал всех своей мощью. Я умею мастерить рожки и много переделал их в детстве.

Но шли дни, а этого Эйстейна все не было.

Николас, хёвдинг ярла в Нидаросе, поставил в городе виселицу. И велел повесить двоих человек. Я знал их обоих, я стоял рядом и смеялся, когда их вывели, на их лицах я видел страх, мольбу и проклятья, их пытали и били, прежде чем они оказались здесь. Но я должен был стоять на площади и принимать участие в общем ликовании. Этих двоих истязали, чтобы они сказали все, что им известно, но они молчали, и вот теперь перед лицом виселицы они могли купить свою жизнь, назвав противников ярла. Но они молчали. Они видели меня, и я не сомневаюсь, что они знали и меня и то, чем я занимаюсь. Думаю, они понимали, что я — пусть в одежде раба, но горящий ненавистью свободного бонда, — был вынужден прийти на эту Голгофу и радоваться вместе со всеми, дабы меня не заподозрили в измене и не казнили, как их. Они умерли, как подабает мужественным воинам.

Но дни шли. В городе, где полно врагов, дни тянутся медленнее, и все-таки они шли быстро, — я не успевал делать все, что хотел бы. Однажды ко мне пришел неизвестный человек. Мне это не понравилось, кто-то мог заподозрить, что я вовсе не безымянный бродяга, за кого выдаю себя. Этот человек, по его словам, пришел с юга, но кто знал, можно ли было верить его словам? Он был молод и назвался Иваром. Как бы случайно он упомянул одного из моих братьев. Ивар сказал, что он сын вольноотпущенника из Тунсберга, там его отец держит трактир. У Ивара была с собой доска.

Эта доска была покрыта воском, на котором были начертаны молитвы, которые Ивар собирался прочесть за здоровье и благополучие своей матери у раки святого конунга Олава. Ивар был из тех парней, что всем нравятся, и к тому же хорош собой. Он стер с доски воск и показал ее мне. Под воском было сообщение, которого я ждал.

За три ночи до Успенья, если позволят ветер и море... Так было написано на доске, я сжег ее. Ивар сказал:

— В Тунсберге тоже не все поддерживают ярла Эрлинга!

Потом он пошел к священной раке, чтобы там помолиться, он так ловко хромал, что никому и в голову бы не пришло, что это идет молодой воин.

За три ночи до Успенья — времени у меня оставалось не много... Однажды утром, когда я раздумывал, что еще следует сделать и как распорядиться товаром, доставленным из Сельбу и окрестных селений, — утро было безоблачное, но меня мучила тревога, — снаружи раздались крики. Я выбежал из дома. Оказалось, пришел корабль.

Именно так и должен был прийти боевой корабль — он явился из утреннего тумана, весла его поднимались и опускались почти беззвучно. За первым кораблем я различил еще несколько, они шли к берегу. Я уже видел людей на борту. И знал, что если ошибся, то это означает мою гибель. Однако я бросился в конюшню, отгреб в сторону сено и сдвинул доску, закрывавшую вырытый мной тайник. Там лежал мой рожок. И меч. Я схватил их и выбежал из конюшни. Я приложил рожок к губам, и его чудовищный, зычный вопль заставил нужных мне людей повернуться на бегу, остановиться на полпути, оборвать речь на полуслове и броситься за оружием. А оно было у всех.

Когда прибывшие на кораблях оказались на берегу, их встретили люди Николаса. Но за спиной у Николаса уже стояли мы. Мы были безжалостны, нами владело безумие, на какое способен лишь пленник, знающий, что к нему идет свобода. Я никогда прежде не убивал. Но в этом было — да простит мне Бог мои слова — блаженство, как в глотке доброго пива. Ясное дело, мне было страшно. Но страх только подгонял меня. Я выбрал человека впереди себя, он стоял ко мне спиной, но тут обернулся, потому что их уже теснили воины, сошедшие с кораблей. Я ударил его мечом. Рука у меня дернулась, словно я, не рассчитав силы, рубанул по маслу, и куда-то провалилась — я до сих пор помню это ощущение. Брызнула кровь, я увидел его лицо, потом он упал к моим ногам, и я дернул меч на себя.

Тогда я понял то, что мне пригодилось потом, и вам тоже пригодится, если вы меня выслушаете. Как только ты зарубил человека, сразу отпрыгивай назад. Отпрыгивай шага на два и будь начеку, потому что на тебя тут же нападут другие. Пригнись и прикройся щитом, если он у тебя есть, а меч отведи в сторону, чтобы легче было взмахнуть, когда понадобится. И вопи во всю глотку.

Вопить очень полезно, запомните это. Крик пугает противника, ошеломляет его, и этим можно воспользоваться. А если он тоже вопит, то пользы ему от его крика, заглушенного твоим, будет меньше.

Но не стой на месте, а то окажешься хорошей целью, в тебя будет легко попасть из лука. Найди нового врага, рубани его и снова отскочи на два шага назад. Запомните это.

Люди с кораблей пробились к нам, они рубились, как одержимые, это были истинные дикари, я впервые увидел берестеников, этих прославленных, но здесь никому неизвестных невидимок, разбойников милостью Божьей, неудержимых поджигателей и живодеров из далеких лесов, бесценной силы конунга. И город пал.

Этот жалкий Николас заперся на чердаке амбара в одной усадьбе возле церкви святого Йона. Берестеники кричали, что ему сохраняют жизнь, если он попросит пощады, но они сами не верили своим словам. Потом говорили, будто Николас ответил им: Мне не нужна ваша пощада, я предпочитаю смерть! Но это, конечно, ложь. Смелым он никогда не был. Когда с него стянули чулки и нижнюю одежду, оказалось, что он обделался, пришлось позвать двух нищих старух, чтобы они обмыли его. Потом эти чулки Эрлингова наместника в Нидаросе отдали нищему старику, который за чарку пива охотно раздевался и показывал людям, каким толстым слоем дерьма был вымазан хёвдинг. Такой была память о Николасе Бесстрашном, наместнике ярла Эрлинга.

Многие тогда пали, и у архиепископа Эйстейна горела земля под ногами — он бежал, как заяц, Нидарос стал нашим городом. Когда битва закончилась, я упал ничком на землю, потом перевернулся на спину и увидел над собой облака, мигнула первая звезда. Я никак не мог отдышаться. Думаю, битва длилась от заутрени до обедни, долго. Я убил четверых и рубанул пятого, но, может, он был убит еще до этого. Я лежал на земле, словно загнанный конь. Вы знаете, наверное, что почти в каждом сражении случаются промежутки между схватками, можно спрятаться за деревьями, перевести дух и собраться силами. Даже сражаясь в городе, можно оказаться в проулке, где нет врагов, и отдышаться. Но в тот раз мне не удалось передохнуть и силы мои были на исходе. Разрази меня гром, если я отдыхал между заутренней и обедней. Я лежал на земле и не мог пошевелиться, и вдруг увидел конунга.

Тогда я с трудом поднялся на ноги, конунг шел в великолепный храм архиепископа, чтобы поблагодарить Бога за победу. Он был совсем юный, лицо у него было белое, как у женщины, многие нахо-

дили его красивым, однако ему, по-моему, не хватало воли. Впрочем, всем было известно, что за спиной у него стоят сильные люди. И он был умен. Я вошел за ним в церковь, и тоже помолился, не знаю, за что, наверное, за то, чтобы мои братья остались живы и не потеряли мужества.

Я встретил их в тот же вечер. Случалось ли вам испытать на себе, что святая Дева Мария, проворно, как ласка, отыскивает тех, с кем ты просил встречи, и приводит их к тебе с рогом пива в руках? Да, Вильяльм и Йон, оба были людьми конунга Эйстейна, недавние изгои, как и я, они вернулись в Нидарос дружинниками конунга Эйстейна. От радости мы и бранились и плакали.

Послушайте меня, Сверрир и Аудун. Вы здесь чужие и, наверное, не совсем понимаете, о чем я говорю. У нас была своя усадьба, было право карать рабов, если нужно, и заниматься трудом, достойным людей чести, если мы того хотели. Мы не были богаты, но владели землей и сила у нас все-таки была, и еще серебро. Мы смотрели на других сверху вниз и считались гордостью своей округи, отец каждый год ездил на тинг во Фросту и говорил там не меньше трех раз. После каждой поездки он хвастался так долго, что мы уставали его слушать, нарочно уходили к служанкам и забавлялись с ними. Мы точно знали, что у нас есть, и не были расточительны, и странники с нищенками, что приходили к нам, получали ровно столько, чтобы им хватило сил добраться до следующей усадьбы. Но однажды ночью к нам пришли воины дьявола.

Вы меня понимаете? Однажды ночью к нам пришли воины дьявола. Отец к тому времени уже умер. Они забрали меня. С тех пор я был гребцом на корабле, который принадлежал не мне, потом я был удостоен чести стать воином, но свободы я не обрел. Если бы мои братья не подчинились им, мне на шею в знак благодарности за службу надели бы не серебряную гривну, а пеньковую петлю. Чужие люди получили право орать на наших работников и пересчитывать овец в нашей овчарне. Этот проклятый Николас, который обделался перед смертью, послал своих людей в Сальтнес пересчитать наших овец. Нечего и говорить, как я был счастлив, когда он умер.

Через пять дней после битвы на тинге в Эйраре Эйстейн был назван конунгом. Конечно, он еще ребенок, однако опыта у него было побольше, чем у конунга Магнуса, этого молокососа, что был назван

конунгом, даже не будучи конунговым сыном. Я стоял рядом, обнажив меч, когда Эйстейна провозгласили конунгом, и мои братья тоже. Мы подняли мечи и присягнули ему. Мы дали клятву и конунгу и закону, а вечером мы ели хлеб, испеченный нашей матерью и ее моченую морошку. И то и другое она привезла из Сальтнеса.

Она приехала в Нидарос и успела в самый раз, чтобы увидеть, как ее сыновья обнажают мечи в честь конунга. И она плакала. Мы втроем несли ее на плечах, она была горда, но ей было неловко и она бранилась на нас и мне, воину, закатила такую оплеуху, что я и сейчас ее помню. Не позорьте себя, парни! — кричала она, когда мы подняли ее и понесли в трактир. Йон бросил на стол кусок серебра и крикнул: Подайте нам всего самого лучшего! Мы с Вильяльмом сделали то же самое, а Вильяльм метнул в стену меч, острие его вошло в бревно и меч долго дрожал. Это у Вильяльма здорово получалось. Потом мы расспросили мать о новостях, и Йон, младший, почти ребенок, однако уже обогривший меч кровью пятерых человек, как он говорил, хотя думаю, что троих он прибавил и убитых было только двое, спросил у матери, стыдясь своего вопроса, как поживает дома его щенок. И мать ответила ему с гордостью: Он уже взрослый пес!

Потом конунгу Эйстейну пришлось покинуть город. Вы знаете, ярл Эрлинг могущественный человек. Правда, теперь Эйстейн был объявлен конунгом, город был в наших руках и взять его обратно было бы не так-то просто. Конунг Эйстейн со своими людьми ушел через горы Доврафьялль, и мои братья ушли вместе с ним. У меня же было другое дело, более важное, но о нем мне нельзя говорить...

Или все-таки можно?..

Он внимательно поглядел на нас. На чьей мы стороне в этой борьбе, готовы ли сражаться или ищем только тишины и покоя?.. Мы со Сверриром с удивлением поглядели на него. Кто мы, на их ли мы стороне в этой борьбе или просто люди, стремящиеся к тишине и покою? Кажется, я кивнул, и Сверрир тоже. Сигурд сказал:

— Я знаю, что вам можно доверять. Конунг Эйстейн и его войско сейчас в Упплэнде. к нему стекается все больше людей, которые ненавидят конунга Магнуса и Эрлинга ярла. Трёнды — те, как один, поднялись на защиту Нидароса. Я тут не зря, мимо Сельи идут корабли. Отсюда я подам весть, когда ярл Эрлинг двинется на север.

Здесь найдется не один быстроногий священник, готовый повысить подвязать свою рясу и пуститься в путь, все уже наготове. Но я жду гонца.

Сюда должен прибыть человек, от него я узнаю, отправится ли конунг Эйстейн в Конунгахеллу или в Тунсберг. Тогда мне станет ясно, когда он собирается ударить, и останется перейти через горы и пустоши Теламёрка к человеку, которого зовут Хрут, он тоже ненавидит ярла Эрлинга. Хрут соберет теламёркцев, и мы нападём на ярла с запада в то же время, как конунг Эйстейн нападет на него с севера.

Теперь вам ясно?

Сигурд замолчал, мы тоже молчали, потом он развел небольшой костер и сказал:

— Я каждый день развожу костер, мне нужна зола.

Мы сидели и смотрели на огонь, тяжел путь мужчины, тяжелы произнесенные им слова. Сигурд сказал, что, когда ярл Эрлинг и его сын падут, он снова вернется на Селью. И заберет этих двоих.

— Она не любит меня, и все-таки любит, тогда, в монастырском саду, я взял ее не силой, она сама этого хотела, вот почему этот грех кажется ей еще большим, чем он есть на самом деле, и она так недобра ко мне. Но я каждый день готовлю для нее золу. Ей каждый день нужна свежая зола. Ведь зола должна быть теплой, а у нее на руках ребенок и работу она тоже должна выполнять, вот я каждый день и ношу золу в дом, где живут женщины, и стучу в дверь. И она благодарит за это двумя молитвами, утром и вечером, одна молитва обращена к святой Сунневе, другая — к Деве Марии.

Он умолк, костер догорел, наступил вечер. Сигурд поднялся, собрал теплую золу в деревянную миску и, больше ничего не сказав, начал спускаться от церкви святой Сунневы к запертым дверям дома для женщин.

Йомфру Кристин, за долгую жизнь мечтам человека тоже легко превратиться в золу.



Лето на Селье сменилось осенью, каждый день был ясен и светел. Каждый миг был полон спокойного дыхания людей, добротой их

друг к другу, в глубине своих сердец они встречали Бога один на один. Я вспоминаю эти дни, как последние в моей жизни, когда в душе у меня еще царил мир. Но я знал, что по всей стране, в далеких долинах, за хребтами видимых нам гор, в гордом Нидаросе и далеком Вике люди сжимают кулаки и точат мечи, готовясь к сражению. Тогда пришел Гаут.

Гаут был расположен к нам, ведь мы давно знали друг друга, встречались в Киркьевоге на Оркнейских островах. Наверное, не ошибусь, если скажу, что Гаут полюбил нас, Сверрира и меня. У него была странная способность излучать тепло, это многих смущало. Но вдруг его как подменили. Он сказал:

— Я узнал, что убили моего брата...

Лицо Сверрира мгновенно напряглось, стало волевым и равнодушным, и вместе с тем, на нем было написано сочувствие Гауту, потерявшему брата.

— Он тоже строил церкви? — спросил Сверрир.

Он подошел к Гауту и прикоснулся к его обрубку, но Гаут тут же отдернул руку, словно к нему прикоснулись раскаленным железом.

— Нет, он был воин. Его убили в Киркьюбе на Фарерских островах.

Нас словно пронзила молния, я чуть не вскрикнул, но Сверрир быстро спросил:

— В Киркьюбе? После нашего отъезда?.. Неужели это был?.. — Он обернулся ко мне и, несмотря на тревогу, я был доволен, что мы с ним одинаково отнеслись к словам Гаута.

— Неужели это был?.. — воскликнул Сверрир.

— Его звали Халльвард! — вмешался я.

— Нет, Аудун, его звали Оттар, — поправил меня Сверрир. — Теперь я все вспомнил. Мы узнали об этом, когда вернулись домой, после сбора яиц. Его звали Оттар.

— Твоего брата звали Оттар? — спросил я у Гаута.

Теперь уже я, а не Сверрир, прикоснулся к его обрубку. Помолчав, Сверрир сказал:

— Мы можем только молиться за тебя, Гаут. Ты прав, Оттара убили. Мы не знали, что он твой брат. Когда ты сам узнал о его смерти?

Я не мог понять, откуда Гауту стало известно об этом убийстве, теперь в его лице уже не было готовности прощать.

— Нам неприятно, что его убил фаререц, — сказал Сверрир. — После убийства он бежал в горы и не понес заслуженного наказания. Но у епископа Хрои длинные руки — этот убийца либо умрет в горах от голода, либо вернется к людям, а тогда...

— Я не уверен, должен ли этот человек понести наказание, — сказал Гаут. — Но я знаю, что мой брат мертв. Знаю также, что я привык прощать причиненное мне зло. Но простить того, кто причинил зло моему брату? Убил его? Я мог бы простить убийцу своего брата, если бы все дело было только в моем прощении. У Оттара была усадьба в Вике, и он жил там, когда не ездил со сборщиком дани Карлом. Там у него осталась жена и трое детей. Простят ли они? Может, я поступлю несправедливо по отношению к ним, если прощу убийцу Оттара? Его можно заставить заплатить виру. Это было бы справедливо по отношению к жене и детям Оттара. Но будет ли это справедливо по отношению к Сыну Божьему? Не знаю.

Гаут еще рассуждал о тайнах прощения, а Сверрир уже действовал, как кормчий, схвативший кормило во время шторма. Он сказал:

— Я тоже часто думаю о силе прощения. Правильно ли в каждом случае прощать того, кто причинил нам зло? Ты, Гаут, считаешь, что это правильно, если дело касается только тебя и твоей чести. Но правильно ли это, если ущерб нанесен твоему роду? И чего ждет от нас Бог? Хочет ли Он, чтобы мы всегда прощали? Этого я не знаю.

В тот день Гаут был непривычно мрачен, он не позволил себе утешиться чужими словами. Мы сказали, что пойдем в церковь, чтобы помолиться за душу убиенного Оттара, и он пошел за нами. Когда я шел по тропинке впереди Гаута, мне было не по себе — спина у меня была открыта, как у воина, взятого в плен после битвы и еще не знающего, получит ли он пощаду.

— Если убийцы объявят, что они убили Оттара, — сказал Гаут, — мне будет легче простить их от его имени. Но если они не возьмут на себя это убийство, я не смогу простить их от имени детей моего убитого брата.

Мы подошли к церкви, Гаут остановился перед нами и сказал:

— Я буду смотреть на ваши лица, пока вы молитесь.

Он так и сделал. Я молился с закрытыми глазами, Сверрир, думаю, с открытыми. Во мне и сейчас еще живо то чувство скольжения в бездну. Мы согрешили перед искаженным мукой лицом Сына Бо-

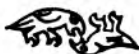
жьего, осквернили ложью его уши. Через некоторое время мы поднялись с колен, и Гаут сказал:

— Три дня я буду приходить сюда и смотреть в ваши лица, пока вы молитесь.

— Ты единственный человек, Гаут, который достоин смотреть в лицо человека, когда он молится, — сказал Сверрир. — Только избранным дано такое право — их взгляд не оскорбляет молящегося. Но даже ты, Гаут, не всегда имеешь право на это. Надеюсь, Дева Мария исполнит все, о чем ее просил в свое время твой покойный брат Оттар. Однако, если ты хочешь прийти и помочь мне обрести честность в моей молитве, я благодарен тебе за это. Приходи завтра к заутрене.

Мы расстались, он долго смотрел нам вслед.

— Нам надо собрать фарерцев, — сказал Сверрир.



В тот же вечер мы собрали фарерцев, их было не так много, и все они работали в монастыре. Двое ловили рыбу, другие были заняты на огороде, Свиной Стефан помогал Гауту, строившему новый дом для стариков. Вечер выдался на диво красивый, синело море, ветер напоминал еле слышный шепот ребенка. Мы встретились на берегу у причала, нас было человек десять или двенадцать. Сверрир сказал:

— Завтра утром вы отправитесь в Нидарос.

Я думал, что он будет говорить по отдельности с каждым и просить, чтобы они молчали о том, что им известно об убийстве Оттара. Так он сделал, когда мы находились в открытом море на пути в Норвегию. Но теперь он сказал:

— Как вам известно, у нас на корабле больше китового сала, чем нужно для такой небольшой команды. А китовое сало добрый товар, и к зиме цена на него вырастет. К тому же, большинство из вас неплохие корабельные плотники, и вы легко найдете себе работу в Нидаросе. А я останусь здесь. И Аудун тоже. Нам еще рано являться к архиепископу Эйстейну, чтобы просить у него приходы, на которые мы, по нашему мнению, имеем право. Не исключено, что мы поедem в Бьёргюн и изложим там свою просьбу ярлу Эрлингу. Но вы отправитесь на север уже завтра утром.

Я слушал Сверрира и смотрел на Свиного Стефана, теперь мне все стало ясно. Последнее время Стефан мучился раскаянием, что помог Арве отправиться в лучший мир. Разговоры Гаута о прощении, должно быть, переплавили что-то в его сердце. Это новое, более чувствительное сердце мешало Стефану считать себя другом Сверрира, каким он всегда был. Ведь убить Арве велел Стефану Сверрир. Пытаясь искупить зло, Стефан, наверное, рассказал Гауту об убийстве Оттара, не подозревая, что Оттар его брат. Однако назвать убийцу все-таки не решился.

Должно быть, он сказал примерно так:

— Не все такие святые, какими прикидываются.

А может, еще что и похуже, я понял это по его лицу. И Сверрир, наверное, тоже. Мне показалось, что вот-вот произойдет что-то необычное — налетит шторм, упадет с неба ястреб или в вереске послышится писк зайчонка. Но Сверрир только сказал:

— Стефан?..

— Да?

— Слушай, Стефан и вы все из Кирккюбё! Вы знаете, что народ Норвегии взбунтовался против ярла Эрлинга, и никому неизвестно, что нас здесь ожидает. В Нидаросе вас примут за обычных торговцев из Кирккюбё, нас с Аудуном вы не знаете. Но если вы получите весть, — она будет такова, что вы безошибочно поймете: это от Сверрира! — вы сделаете все, что вам скажет гонец. Так будет лучше и для вас и для нас.

— Я знаю, Стефан, на тебя можно положиться, как ни на кого другого! — сказал он Стефану.

И Стефан снова стал человеком, на которого можно положиться. Слабость и предательство чуть не одолели его, но слова Сверрира поддержали его дух и слабость обернулась силой, Сверрир связал Стефана с собой, а потом позволил ему уйти.

На другой день корабль ушел на север.

Но на Селье все изменилось. Священник Симон улыбался нам, как, наверное, улыбается рыба, съевшая наживку с крючка. Сигурд из Сальтнеса стал нам, по-своему, ближе. А вот Гаут отдалился, он не сказал нам ни одного недоброго слова, но и доброго тоже. День за днем он приходил в церковь и смотрел нам в лица, пока мы молились. Бенедикт, который по-прежнему ползал в церковь, больше не

улыбался нам, он полз, уткнувшись носом в траву, словно что-то искал в ней.

— Йомфру Кристин, я чувствую, что не ошибся в тот день, когда смотрел в лицо Свиного Стефана и угадал в нем злой дух.

— Когда я смотрю в твое лицо, господин Аудун, я, может, и не вижу в нем злого духа, но не вижу и доброго.



Настоятель монастыря на Селье занемог незадолго до нашего приезда в Норвегию. И так случилось, что умный черноволосый священник Симон, принявший обет монашества еще в юности, с языком, острее, чем лезвие ножа, с насмешливой улыбкой и таким выражением лица, точно у него постоянно болел живот, немного кривобокий, отчего казалось, будто он ходит на цыпочках, дабы его не услышала его собственная совесть, получил наказ от архиепископа исполнять обязанности настоятеля, пока старый настоятель не сможет к ним вернуться. Нам стало известно, что Симон брат тонкогубого священника в Кирьквоге, приближенного оркнейского ярла. Их родство сразу бросалось в глаза. Но я редко встречал братьев, в которых было бы так мало любви друг к другу, составляющей горячее ядро каждого братства.

Однажды вскоре после нашего приезда на Селью, Сверрира и меня спросили, не желаем ли мы оба разделить вечернюю трапезу со священником Симоном. Мы отправились к столу Симона с чувством, будто в трапезной наши головы должны были пасть под ударом меча. Симон выглядел пьяным. Не знаю, был ли он пьян на самом деле или у него были причины прикинуться пьяным. Прислуживавший работник молча покинул трапезную, и Симон встал со скамьи, на которой сидел. Он подошел к нам, сперва он обеими руками пожал руки мне, потом — Сверриру. Движения его были преувеличенно точные, из-за некоей почтительной раскованности он выглядел более красивым, чем обычно. Широким жестом пригласив нас к столу, он засмеялся и сказал:

— У нас прекрасная страна!

Он смеялся долго, мы тоже засмеялись, но не так громко и легко, как он. Я подумал: Симон такой же злой человек, как и его брат, но он не столь утонченно и ловко проявляет свою злобу.

— У нас прекрасная страна! — повторил Симон.

Потом он налил вина и пустил чашу по кругу. Мы пили очень умеренно, он — более свободно. Наконец его узкое, худое лицо словно подернулось дымкой, она скрыла его глаза и мысли, теперь он мог позволить себе говорить, не чувствуя ответственности за свои слова.

Но сперва, йомфру Кристин, позволь описать тебе трапезную, где состоялась наша первая встреча с Симоном. Ты, выросшая в роскоши, какая пристала дочери конунга, назвала бы эту трапезную бедной. Но на взгляд того, кто привык спать в хлеву или воевать всю жизнь, пока его не пронзит копьё врага, она выглядела большой и богатой. И опрятной, если сравнить ее с тем неприбранным помещением, где спали работники. И даже с маленькими кельями монахов, скорее похожими на стойла для рабов, чем на обиталище служителей Господа Бога. Это была единственная палата в монастыре, где человек имел право остаться наедине со своими мыслями, зная, что никто не посмеет вторгнуться к нему и нарушить его одиночество. Теперь здесь сидел священник Симон.

Вот как он выглядел:

Он был в расцвете сил, лицо его редко озарялось радостью, оно выражало лишь властолюбие, обжигающее душу, как горящий уголь обжигает ладонь. Господь наградил его недюжинным умом, позволявшим ему проникать в любую тайну. Лишь одна тайна была ему недоступна — тайна доброты, тут он становился как бы слепым. Он не различал благородства человеческих сердец и потому не видел мира в его цельности. Думаю, Симону стало бы не по себе, если бы однажды, с Божьей помощью, ему открылось то, что обычно было от него скрыто: человеческое горе и страдания, радость, счастье, любовь, страсть и невыразимое желание простить и получить прощение. Что он мог знать о Боге? Он понимал справедливость закона, суровую точность букв, строгий суд псалмов, но не одухотворенность, вложенную в их слова. Что он мог знать о Боге?

Что знал он о радости прощения, составлявшую суть Господа нашего, о красоте сада в середине лета, о безбрежном просторе моря и о наслаждении плыть под звездами? Что он мог знать о Боге? А вот о смерти он знал почти все и сумел бы встретить ее с холодным мужеством, но, думаю, без надежды, потому что надежда требует от человека смирения. О Боге он знал мало. О людях — все.

А если и не все, то достаточно, чтобы чувствовать к ним глубочайшее презрение, и в этом он был прав. Но доброты людей, той редкой доброты, которая свойственна не всем и не всегда и которая бывает сильнее меча, он не понимал.

Симон заговорил.



Он сказал так:

— Аудун и Сверрир, вы полагаете, что монастырем на Селье управляют люди, несущие в сердце своем доброту и величие Божье, смиренные души, чуждые лукавства и сокрушенные тяжестью своих грехов. Нет, это не так! Вы полагаете, что этот монастырь управляется настоятелем, а над ним стоят архиепископ, конунг и папа, которыми движет Божья доброта и величие? Нет, это не так! Вы полагаете, что народ Норвегии живет в почтительном страхе перед ярлом и конунгом, исполненный любви к их единственному справедливому суду? Нет, это не так! Вы полагаете, что всемогущий Сын Божий вмещается, если зло слишком разрастется и станет невыносимым, полагаете, что исполненные скверны норвежцы преклонят колени перед небесным светом? Нет, это не так!

Он говорил тихо, но в голосе его вдруг прорывалась горячность, сперва он сдерживал себя усилием воли и тогда его сухой голос не мог увлечь меня за собой. Но он обретал силу в речах о ненависти. Темнел, как море перед бурей. За дымкой хмеля я угадывал в этом священнике бездонную личность, видел могучую, горячую и дикущую силу, заставившую меня отступить перед ним и прижаться к стене.

— Аудун, — сказал он, обращая ко мне острие своих слов, — Аудун, ты приехал из счастливой страны, где грех — это грех и где он не дает грешнику спать по ночам. А попал в страну, где грех перестал быть грехом и где грешник спит сном праведника!

Симон долго и раскатисто хохотал, нагибаясь к столу, и пил, уже не сдерживаясь и не совсем понимая, что делает.

Мы тоже отхлебнули, но совсем немного. Симон продолжал:

— Вам известно, что когда-то монастырь на Селье был Божиим местом. Известно и то, что здесь, где некогда обитала святая Суннева, мужчины и женщины преклонялись перед святыней и обретали

душевный покой. Но когда власть ярла Эрлинга усилилась, он пожелал, чтобы люди обращались к Богу там, где присутствуют ярловы воины, так ему было легче держать паломников в повиновении. Тогда он перенес мощи святой Сунневы в Бьёргюн. Это произошло несколько зим назад. Я был уже здесь. Ярл приказал перенести ее святые мощи, сославшись на разрешение и благословение архиепископа. Суровые люди ярла унесли отсюда ее раку. Меня тоже попросили ее нести. Но я отказался. С тех пор меня вынуждают оставаться здесь, где больше нет ее раки и ее святых мощей. Я, каждый день поднимавшийся по этим ступеням и преклонявший перед ней колени, видевший ее и мечтавший о ней по ночам, вынужден оставаться здесь, когда ее здесь уже нет.

Вы понимаете, что это был просто грабёж? Святая Суннева пребывала здесь, здесь жила, здесь умерла, здесь боролась с грехом и грешниками и предпочла смерть надругательству грабителей. И они украли ее раку! Ярл, отец конунга Магнуса, сделал это с разрешения и благословения архиепископа Эйстейна и, думаю, с благословения самого папы. Но почему? Чтобы усилить свою власть! Понимаете? Понимаете, что я ненавижу, ненавижу, ненавижу! — Он громко выкрикнул последние слова, потом посмотрел на нас и опять засмеялся.

— Сверрир, — быстро проговорил он, и теперь острие его слов было обращено к Сверриру. — Сверрир, у меня была женщина, ее звали Катарина. Когда они украли раку с мощами святой Сунневы, они украли и Катарину...

Теперь он был сильно пьян и не скрывал этого, лицо его изменилось, слова и мысли текли, как молоко в воде. Но тем не менее он заставлял нас сидеть за столом, как наказанных детей.

Он продолжал:

— Сверрир, у меня здесь была женщина! Я говорил всем, что она моя сестра, больная аббатисса, да оно так и было! Она была аббатисса и потому моя сестра во Христе. Мы должны были так говорить. Она была смыслом всей моей жалкой жизни, мы вместе поднимались к пещере святой Сунневы и вместе молились, чтобы Господь простил мою аббатису, и Он простил ее. Мы обладали друг другом, я знаю, это был грех, грех, грех! Но знаю также, что нам было дано тихое чудо прощения, мы испытали счастье там, наверху, возле святых мощей Сунневы. Аббатисса! Мы вместе молились, днем она ра-

ботала на огороде, это было полезно для ее слабого здоровья и для моего тоже. Откуда она приехала сюда? Из монастыря на острове Гримсей. Чья она была дочь? Говорили, будто ее отцом был конунг Сигурд Рот.

Да, Сигурд Рот, но уверенности в этом у нее не было. У конунгов бывает много сыновей и дочерей, и не все они записаны в церковных книгах. Никто, кроме нее и меня, не знал, что она, возможно, дочь конунга. Но потом люди ярла приехали за ракой святой Сунневы и я отказался нести ее, тогда они забрали с собой в Бьёргюн и Катарину. Ее заставили сопровождать раку. А я остался, без разрешения архиепископа я не мог уехать отсюда. Кто знает, где она теперь? Мне это неизвестно. Она на коленях молится в Бьёргюне перед ракой святой Сунневы, но сила ее молитв не достигает меня, потому что мы молимся врозь. Они принудили меня остаться здесь!

Настоятель!

Архиепископ!

Конунг!

Архиепископ Эйстейн владеет половиной страны, он получает подарки, провозглашая конунгом того, кто не является сыном конунга! Ребенок, зачатый человеком, повесившим сына своей жены, носит корону конунга! Друг архиепископа и его брат во Христе, меч и слово, золото и Бог!

— Аббатиса, — продолжал он, — Аббатиса... Хрупкая труженица на огороде, пламенная в грехе и прекрасная в смирении, как хороша она была, когда ночной свет падал на ее тело и отражался от него. Как хороша она была в этом слабом ночном свете, как хороша она была, когда шла по земле, оскверненной впоследствии Бендиктом, который отвергает помощь, когда ползет в церковь молиться, и тем самым являет свою гордыню. Они забрали ее у меня.

— Аббатиса... аббатиса... — Он засмеялся, из углов рта у него текла слюна, он был пьян, но голова у него была ясная.

Через некоторое время он сказал:

— Вы хотите отправиться в Нидарос, чтобы заручиться советом и поддержкой архиепископа Эйстейна и получить приходы в этой стране. Возможно, вы их получите. Будете читать слово Божье в каких-нибудь диких краях, окруженные бондами, и никто, кроме случайной служанки, не поможет вам там, вам придется работать как

простым бондам, ваши руки почернеют от земли, у вас не будет книг и ваша паства будет глуха к словам Священного писания. Кто поддерживает престол архиепископа в этой стране? Отпрыски богатых родов! А кто сидит в епископствах этой страны? Отпрыски богатых родов, отдавшие все свое имущество, дабы ярл Эрлинг получил власть, которой так жаждал. Они возглавляют епископства нашей страны! Поймите же, что вас ожидает. Вы попросите себе приходы и получите их, самые бедные, конечно, где со временем и сгините. Или архиепископ шепнет кое-что на ухо ярлу...

Архиепископ Эйстейн видел много грехов, они как некрасивые бусины рассыпаны в его душе. Поэтому он не терпит чужих грехов, от них ноша его собственных становится еще тяжелее. Если он заподозрит, что какой-то священник пришел к нему с обгаренными кровью руками, с незамоленным грехом на душе и убийством на совести, он безжалостно отдаст его в руки ярла.

— Аббатиса... — Симон засмеялся. — Аббатиса, где ты?

Он снова выпил и продолжал:

— Вы слышали о твердости трёндов? Вам понятна ненависть человека, у которого на глазах его отца, брата или дядю силой заставили следовать за ярлом Эрлингом? Известно ли вам что-нибудь о людях, которые не подчинились ярлу? Знаете ли вы, к примеру, что земледельцы Упплэнда не всегда подчиняются приказам конунга? И, кто знает, может, жители Вика тоже устали уже от ярла Эрлинга? Но конунг Эйстейн Девчушка слишком слаб. Он еще ребенок. Правда, у него есть люди...

Симон поднял голову и засмеялся.

Он встал, нетвердым шагом подошел к двери, а потом повернулся к нам. Он понимал, что не сумеет помешать нам, если мы захотим уйти. Но знал, что, стоя таким образом, он придает своим словам особый вес. Он сказал:

— Сверрир и Аудун, нам нужны люди! Нам нужны два молодых священника, которые явятся к ярлу Эрлингу и попросят помочь им получить здесь приходы. Священники, глаза и уши которых всегда будут открыты, которые запомнят все, что они видели и слышали, а потом исчезнут. Нам нужны такие священники.

Это небезопасно. Когда свергают ярла, когда неправому конунгу приходится отступать перед правым, тому, кто имел мужество идти

впереди остальных в этой справедливой борьбе, всегда грозит опасность. Олав Святой тоже шел по опасному пути.

Симон стоял перед дверью, раскинув руки в стороны, суровый, темный лицом, непримиримый. Сверрир сказал:

— Отойди в сторону!

Симон отошел. Сверрир сказал:

— Прежде чем действовать, человек должен знать, к чему это может привести. А я еще не знаю. Молчишь, Симон? — Симон кивнул: — Не говори ни слова, пока я не разрешу тебе говорить!

Симон снова кивнул, на этот раз более решительно, впервые он был слабее того, кто пришел к нему. Неожиданно стало ясно, кто из них главный, так с тех пор и повелось, и так было всегда и всюду, где присутствовал твой отец конунг.

В ту ночь, йомфру Кристин, твой отец конунг проник в свои тайники, и только благодаря сильному желанию услышать песню человеческого сердца я могу представить себе, что проник туда вместе с ним.



Я, Сверрир из Киркьюбё, сын гребенщика, или конунга...

В черной адской ночи, подобной этой, когда кажется, будто острые когти рвут мое бедное сердце и швыряют на ветер его окровавленные куски, я знаю, что она была здесь. Здесь лежала она, здесь они валились на ее распростертое тело, на ее плоть, на камни... Зачиная меня, они оскверняли всемогущего Сына Божьего и его святую мать... Или я был зачат не здесь? Не здесь и не тогда, когда Гаут протянул им руку и они отрубил и ее, когда высохшие моци святой Сунневы плакали кровавыми слезами, а горы и море смеялись? Разве не здесь я был зачат?

Или я был зачат в тот святой час, когда он, избранный среди людей, конунг и сын конунга, пришел, преклонил колени перед моей матерью и подарил ей бремя материнства? Когда она понесла меня? Что жжет меня, что опалает мои мысли, что сияет в них? Кто я? Не знаю. Сын конунга, кому по праву наследства принадлежит эта страна, избранник зла или добра? Не знаю.

И никогда не узнаю. Но во мне зреет вера, что я тот, кто есть, — человек, который одним словом, одним взглядом, движением пальца, жаром или холодом голоса может заставить других прийти или уйти. Заставить их опуститься передо мной на колени и умереть за меня, солгать ради меня — произнести последнюю ложь перед лицом Господа и отправиться ради меня на вечные муки. Я знаю, так поступит каждый настоящий мужчина.

А я? Что могу я? Я могу уловить голос ветра и услышать в нем сказанные слова, могу читать таинственный язык звезд, видеть мысли людей. Я не могу успокоить море, но плыть по нему я могу, и находить в темноте землю, и заставляю людей мчаться по волнам, переходить через горы и следовать по дороге, которую указал им я. Это в моих силах. Я силю и не силю, вскакиваю и мгновенно оказыва-

юсь там, где мне надлежит быть, мгновенно вижу то, что мне надлежит видеть. Я вижу путь, по которому идут другие, вижу их мысли, слышу удары их сердец. И заглушаю удары собственного.

Она лежала здесь, стеной от боли и похоти, проклятая и благословенная, охваченная и жаром и ненавистью. Неужели я был зачат здесь? Неужели мой отец сборщик дани Карл? Нет, я этому не верю, но ведь такое возможно? Кто я, сын безымянного воина или сын Унаса, бедного, робкого Унаса, не переносящего вида крови? Сын Унаса? Не знаю. Не знаю также, сын ли я конунга. Но знаю, я — это я, человек, способный заставить людей идти, куда мне надо, заставить их, голодных, отказаться от куска мяса, когда смерть склонилась над их трапезой, отказаться и сказать: Нам оно не нужно! И взяться за оружие... Но я не предводитель воинов, не проводник, ведущий их через горы, не конунг. Хотя, может быть...

Есть или нет у меня право наследства на эту страну? Я бедный священник в потертой рясе, у меня нет своего прихода, безымянный, я стремлюсь попасть к архиепископу Эйстейну, к которому, как я теперь знаю, бесполезно обращаться с моей просьбой. Неужели до конца жизни я проживу среди бедных бондов, буду отправлять службу в какой-нибудь затерянной церкви, отряхивать с рук землю и бежать, чтобы успеть благословить какого-нибудь старика, который боится без причастия предстать перед последним судом? Неужели встреча с великолением Бога обернется для меня встречей со зловонными стариками, без причастия отправляющимися на последний суд? Служить там и знать, что я сын конунга, чувствовать, что я сын конунга, и молчать об этом?

И вместе с тем знать, что однажды это станет известно всем. Однажды ярл Эрлинг узнает, что какой-то сельский священник в Норвегии — сын конунга. Он пошлет ко мне своих людей и, чтобы спокойно спать по ночам, прикажет вздернуть меня на дереве. И зловонием моего трупа будет отмечена встреча с великолением Бога уже для другого сельского священника. Но я знаю, что, стоит мне захотеть, я могу все!

Стоит мне захотеть, я могу все! Это дано мне свыше и изменить это не в моей власти! Я вижу то, чего не видят они. Я вижу грех и могу подняться выше его. Могу, если надо, убить, могу дать греху торжествовать, если это необходимо, и вместе с тем чистосердечно

раскаиваться в своих грехах. Я мог бы спалить усадьбу, если б так было нужно, сжечь в ней людей, если б так было нужно, допустил бы, чтобы мужчины, женщины и дети сгорели в ней, если б так было нужно. Если нужно, я готов на все, ибо власть конунга требует этого, эта власть необходима ему, чтобы сделать добро законом в его стране. Ради добра, ради справедливости я способен взвалить себе на плечи бремя зла, поступить несправедливо ради справедливости. И оплакать свою несправедливость. И пойти дальше.

Я это знаю. Я понимаю, что делаю. Но это не мешает мне делать то, что я считаю нужным. Я велю, и люди исполняют мою волю. Я беру вину на себя, свою и чужую, я — хёвдинг, который скрывает свои мысли, но берет на себя чужую вину. Но нет того, у кого бы я согласился быть хёвдингом.

Сыне Божий, всемогущий на небесах, таков я, и Ты направляешь мои шаги! Ты направлял и шаги святого Олава, ты позволил святой Сунневе умереть на этом острове, а потом — грешным людям увезти отсюда ее прах. Ответь мне, кто я? Не отвечаешь? Молчишь, потому что твое молчание поддерживает во мне сомнение, а сомнение дает мне и стремление, и силы грешить ради добра, необходимые немногим избранным. Ради добра? Я грешу ради огня, горящего во мне, пылающего в моем сердце и направляющего меня на моем пути. Но я не закрываю глаза на свои грехи, вижу их и признаюсь в них Тебе.

Или не вижу? Как я могу их видеть, если не знаю, сын я конунга или нет? Ибо, если я сын конунга, я согрешу, не пойдя путем конунга. Когда я вижу несправедливость, творимую в стране этим низким, проклятым человеком, и знаю, что я тот избранный, который мог бы, который мог бы... Но хватит ли у меня мужества? Сыне Божий, Ты всемогущ и нынче ночью я требую: Скажи мне, кто я?

Но ты молчишь, как море, рокочешь, как море, шепчешь, как море, ни кто может истолковать Твой голос? Ты возлагаешь на меня тяжкую ношу, ношу сомнения, я буду нести ее, но я скажу людям: Во мне нет сомнения! Я скажу людям: Во мне нет сомнения, сомневается тот, кто раздумывает, а я знаю! Знаю, ибо Он открыл мне истину.

Он, Всемогущий, и она, грешница, открыли мне, кто я. Я верю в это, потому что это сказала она. Я верю в это, потому что это сказал Он! Я чувствую, как нынче ночью сквозь рясу в мою плоть врезается камень, чувствую, как пальцы мои намокают от крови,

когда я провожу рукой по коленям. Но это не светлый час чистой молитвы, который мирный, спокойный и полный надежд человек проводит наедине с Богом. Это мой час, час беспощадного, я хочу заставить Его прийти, но Он не приходит. И тем самым принуждает меня к решению. Ибо дает мне силы понять: Я тот, кем хочу быть!

Есть люди меньше, чем я, и больше, чем я. Они обладают даром молчать, когда говорит другой, поэтому они молчат и тогда, когда говорит Бог. Мне же дана способность говорить так, что меня слушают люди, однако не так, чтобы меня слышал Господь. Но если Господь молчит, то лишь для того, чтобы говорил я, в его беспощадном молчании — призыв мне: Иди и собери всех, кто готов пойти по моим стопам, и по твоим. Господи Всемогуций, по твоим стопам и по моим!

Иногда мне чудится, что Олав Святой стоит у меня с одной стороны, а святая Суннева — с другой и одновременно что-то кричат мне в уши, а я прохожу мимо. Они идут за мной, я их не вижу, но они здесь. Почему они со мной? Может, они посланцы Всемогущего Сына Божьего? Но что они говорят мне, что шепчут, почему я ухожу от них? Уж не потому ли, что боюсь того, что услышу от них?

Хотят ли они, чтобы я узнал то, чего не знаю, а потом заставил и всех в это поверить? Ибо, если сердце мое узнает правду, почему не вложить правду и в мои уста? Правду конунга Олава Святого, человека, сражавшегося за Божье дело?

Я думаю: был ли грешником и конунг Олав Святой? Лгал ли он, явиешись из греха, был ли он грешным? Знал ли, что делает, лгал ли своим близким, преклонял ли колени перед теми, кто видел его лицо, когда он молился, управлял ли игрой своего лица так, что сумел обмануть смотрящих? Разве не светился он светом Божьим, разве не расцветали лилии Божьи там, где ступала его нога? Разве следы его не были полны крови, убитых им людей?

Был ли он человеком?

И рабом Божьим, не имеющим власти над Богом, послушно гнуцимся под Его кнут, человеком, который, часто против своей воли, шел путем, указанным Богом? Разве не взывал он к Богу: Это ты сделал меня грешником! А Бог отвечал ему: Я сделал тебя грешником, ибо только грешник может идти указанным мной путем.

Так молчи, Боже, молчи теперь и пошли мне час покоя, ты измучил меня своим молчанием. Если бы она была здесь, та женщина, которую я оставил, если бы Астрид была здесь, если бы Гуннхильд, моя мать, была здесь нынче ночью и отерла бы пот с моего лба, как добрые люди отерли пот со лба Спасителя. Если бы Астрид и Гуннхильд были здесь нынче ночью!

Если бы я мог, как ребенок, припасть к одной из, как слабый человек, — к другой, укрыться в их тепле и найти там покой. Но я не могу. Во мне пылает костер, и этот костер не дает мне ни мира, ни отдыха.

Так приди ко мне, Боже, благослови меня, наставь на Свой путь. Но позволь моим мыслям править мной, пусть сменяются времена года и день и ночь исчезают, словно большое колесо под небесным сводом, пусть мои мысли направляют меня, когда я пойду указанным Тобой путем.

Господи Всемогущий, это наша с Тобой тайна.



Однажды вечером, в сумерках, к Селье подошли два корабля, мы слышали, как на борту перекликались люди. Мы со Сверриром поднялись со скамьи в трапезной и укрылись за стенами церкви. Сигурд тоже услышал их крики. Он вышел из дома, где спали монастырские работники, я разглядел меч, который он нес под рясой. Мы прошли по тропинке через березовый лес, за нами слышались удары весел. Мы могли бы укрыться вблизи от монастыря, но мы перевалили через гору и с той стороны нашли пещеру, в которой легко могли укрыться три человека. Наступила ночь, теплая осенняя ночь, в вереск упали несколько капель дождя, ветер напомнил мне добрые осенние дни в Киркьюбё.

Сюда мог приплыть кто угодно, — и воины и торговые люди. Сигурд сказал, что утром он проберется в монастырь и все разузнает. Но на рассвете мы услышали, что по овечьей тропе идет человек. Сигурд обнажил меч, однако вскоре мы поняли, что идет тот, кому нечего скрывать. Это был Гаут. Он нашел нас и принес нам еды, сказал, что на Селью прибыл сборщик дани Карл, направляющийся дальше на север, в Нидарос. Долго он здесь не задержится, но душа у этого человека не так хороша, какой он норовит выставить ее перед людьми.

— В этом ты прав, Гаут.

— Это его люди отрубили мне руку, но кто именно, я не знаю.

Мы сели, теперь уже вчетвером, у каждого из нас был свой шрам после встречи со сборщиком дани Карлом. То, что Карл направляется в Нидарос, сделало этот город для нас со Сверриром уже не таким привлекательным, как раньше. Шел дождь, пещера служила нам укрытием, в рассветных сумерках овцы на склонах казались белыми клочками дыма, я сидел и думал, что Гаут знает не так мало, как показывает. Мне даже пришло в голову, что его прислал сюда сам сборщик дани, — мол, Гаут найдет нас и уговорит остаться в пещере, а потом придут воины и испытают своими мечами прочность наших кольчуг. Вдруг Сверрир спросил:

— Ты видел что-нибудь в моих глазах?

Он смотрел Гауту в лицо, и я впервые увидел, как Гаут отвел глаза, говоря с человеком:

— Нет, ничего! — ответил он. — Я просил святую Деву Марию помочь мне увидеть в твоих глазах грех, и в твоих, тоже, Аудун, убедиться, что вы убили Оттара. Но я ничего не увидел.

— Почему же ты молчал о том, что ничего не увидел?

— Это мой грех. Мне было стыдно смотреть в ваши лица, и я был разочарован! Теперь я прошу у вас прощения!

Сверрир кивнул, я тоже, Сверрир сказал:

— Ты знаешь, Гаут, сборщик дани Карл плохой человек. Ты, наверное, слышал, что он сделал в Киркьюбё после того, как там был убит твой брат? Он искал убийцу, но этого ему было мало. Уезжая, он взял с собой двух заложников. Впрочем, он взял бы заложников, если б твоего брата и не убили. Он взял двух заложников: моего приемного отца Унаса и отца Аудуна, его зовут Эйнар по прозвищу Мудрый. Мы тоже, Гаут, встречались со сборщиком дани Карлом.

Гаут сказал:

— Я хожу, чтобы прощать, но мало преуспел в этом. Зато я встречаю людей, чья ноша оказывается тяжелее моей. И они прощают меня.

— Я понимаю, Гаут, ты подозревал нас в убийстве твоего брата! Кажется, я знаю, кто повинен в этом убийстве. Знаю также, что мне не следовало бы называть его имя. Ведь я могу и ошибаться. В Киркьюбё есть вольноотпущенник по имени Арве. Он горячий человек и часто выпивает лишнего. Твой брат тоже, наверное, немало выпил в тот вечер. В убийстве твоего брата я обвиняю Арве, у меня нет на это права и пусть святая Дева Мария простит меня, если я поступаю неправильно. Но ведь кто-то же убил Оттара?

— Он будет прощен, — сказал Гаут.

Он ушел, на другой день он снова пришел к нам — сборщик дани Карл и его люди покинули Селью и уплыли дальше на север. Мы вернулись в монастырь. К берегу подходил торговый корабль, паруса были уже спущены. Это были мирные торговцы и паломники, желавшие посетить святыни монастыря. Мы познакомились с ними, среди них были два брата, Эдвин и Серк из Рьодара в Мёре. Еще одного человека звали Хагбард по прозвищу Монетчик. Он носил на плечах маленького мальчика. Это был его сын, он был калека, его звали Малыш. Все они были добрые и приветливые люди.

Симон отвел нас в сторону:

— Сборщик дани Карл, как вы знаете, уплыл на север. Он сообщил, что последние люди Эйстейна Девчушки оставили Нида-рос. Еще он сказал мне, когда мы были наедине: Я выполняю волю конунга, но, кроме того, у меня есть и другие дела: я ищу двух фарерцев, которые, как я думаю, убили в Киркьюбё одного из моих людей. Говорили, будто они оба уже умерли, но недавно их видели тут в стране. У меня на корабле есть человек, его зовут Унас, он у меня в заложниках. Напиваясь, этот Унас болтает, как все пьяные. Он говорил, что один из этих двоих — его сын. Его зовут Сверрир.

Симон засмеялся, мы тоже, но в нашем смехе не было веселья. Наступила ночь, звезд не было.

— Йомфру Кристин, позволь спросить: ты ненавидишь меня за то, что я держу тебя в плену здесь в Рафнаберге?

— Господин Аудун, большую часть своей жизни я была пленницей — пленницей отца, пленницей матери. Теперь я пленница человека, который на одном плече несет ношу добра, а на другом — зла.

— Йомфру Кристин, я тоже пленник воли твоего покойного отца. Я выполнял его волю, когда приказал моим людям увезти тебя от твоей матери королевы.

— Господин Аудун, всю жизнь меня, пленницу, окружали тоже пленники, мужчины и женщины, они беспрекословно и ради моего же блага выполняли волю моего отца. Ради меня сжигали усадьбы и убивали женщин. Ради меня, — потому что в будущем я могла родить сына, в жилах которого текла бы кровь конунга, — убивали других детей.

— Йомфру Кристин, воспоминания о великом конунге так же прекрасны, как печаль в глазах женщины.

— Господин Аудун, помнишь, ты однажды подарил мне щенка? Но когда ты уехал, щенок убежал за тобой. Я надавала оплеух стражам и пнула ногой в живот свою мать. Она утатила меня в женский дом и там наказала. Я плевалась в нее и кричала, что хочу щенка, которого мне подарил господин Аудун. Трех человек отправили искать щенка, хотя охраны у нас и так было мало и это было безответственно с моей стороны. Теперь я это понимаю. Их отправили искать щенка. Они встретили тебя. Ты поймал щенка

и понял, что я буду плакать, потеряв его, ты был умный человек с добрым сердцем. А потом этот щенок полюбил меня так же, как я любила его.

— Йомфру Кристин, когда пес отдает пса, это скорее говорит о любви, чем о покорности.

— Господин Аудун, я понимаю, что в один прекрасный день, — если только я доживу до него, — мне придется лечь на супружеское ложе. Случается, что в одинокие ночи, — присутствие йомфру Лив не избавляет меня от чувства одиночества, — я лежу без сна, размышляю и стараюсь вообразить себе то, что считается главным долгом жены, хотя и не всегда приносит ей радость. Моя мать, королева, внушила мне, что умная жена должна одаривать мужа своими дарами с жаром, но не слишком часто. Это мудрое правило помогло ей направлять руку своего мужа по своему желанию. Но любви ей это не принесло.

— Йомфру Кристин, я часто думал, и прости, что я делюсь с тобой своими мыслями: Если бы Господь Всемогуший сделал меня лет на двадцать моложе, чем я есть...

— Господин Аудун, возраст не имеет значения между друзьями, но хорошо бы Господь Всемогуший научил тебя скрывать свои дурные стороны, а меня — хорошие. Ты не святой человек, я тоже никогда не стану святой женщиной. Нынче ночью, господин Аудун, лицо моего отца сливается с твоим, и я люблю вас обоих, моих стражей, вы оба владеете моим сердцем больше, чем им будет владеть тот, которому когда-нибудь достанется в собственность мое тело.



Братья Эдвин и Серк из Рьодара в Мёре были ополченцами и направлялись в Бьёргюн, чтобы присоединиться там к войску ярла Эрлинга. Обычно в это время года ополчения не созывали. Можно было догадаться, что ярл загодя собирает войско, которое могло бы пустить кровь разрозненным отрядам берестеников. Оба они не хотели вступать в войско ярла, но говорили:

— А что мы можем поделать? Желания такого у нас нет, но голова дороже, а ярлу Эрлингу, чтобы сохранить свою, нужны чужие.

Братья были похожи, как два топора, выкованные в одной кузнице, но вид у них был безобидный. Они ничего толком не знали ни о ярле Эрлинге, ни о его сыне конунге Магнусе. Конунг помазан на престол церковью, этого достаточно, чтобы служить ему. Ярл — человек умный, сообразительный и самый могущественный в стране. Братья не были бунтовщиками. Они были готовы выполнить то, что им прикажут, — убивать людей или резать овец, — и потом отправиться домой. У обоих были жены, и они хотели вернуться к ним. Может, они и станут искать утешения у других женщин там, куда их закинет судьба, но ведь это дозволено любому мужчине. Они были богобоязненны, но тоже в определенных пределах. Общение с братьями не доставляло особой радости, и, расставаясь с ними, люди испытывали удовлетворение, словно отсидели долгую церковную службу.

Хагбард Монетчик был человек другого склада. Умелец и весельчак, он когда-то чеканил деньги для конунга Магнуса и с тех пор гордо носил свое прозвище. Но Хагбард умел не только плавить серебро в тигле. Говорили, будто он может так раскрыть глотку, что ему под силу проглотить не слишком широкий меч, может зажать в кулаке серебряную монету, взмахнуть рукой и показать ладонь уже без монеты. Еще умел он играть со словами — произносил их без передышки задом наперед, и ему ничего не стоило на одной ноге перепрыгнуть через большой камень. Он был веселый, никогда не унывал и поносил всех, но так, что люди понимали — он ни на кого не таит зла. На плечах Хагбард всегда носил своего сына, калеку, которого звали Малыш.

Мать в младенчестве уронила Малыша, и в нем что-то повредилось. Отец сразу же отнес мальчика в Нидарос к раке Олава Святого, но святой в тот день был в дурном расположении духа и не захотел помочь мальчику. Хагбард вернулся домой, он жил в горах Доврафьялль, и заставил жену, не отличавшуюся сильным здоровьем, пойти с ним в Нидарос. На этот раз они оба шли босиком, жена по пути умерла, он похоронил ее и пошел дальше один с мальчиком на плечах. Но и на этот раз Олав Святой был не в духе и не захотел помочь мальчику.

Так Малыш и рос, ползая, точно улитка, по двору усадьбы, ему стукнуло семь зим, потом восемь, а отцу приходилось по-прежнему

носить его на плечах. Малыш почти не разговаривал, но по его глазам было видно, что разум его намного перерос тело. Ему довелось увидеть многие столкновения, где мужчины сражались с мужчинами. И он выжил.

Мы со Сверриром поняли, что Хагбард Монетчик привез Сигурду из Сальтнеса долгожданную весть. В тот же вечер Сигурд рассказал нам, что Хагбард приехал из Боргунда в Нижнем Мёре. Он заплатил за место на корабле Эдвина и Серка и сказал, что ему нужно попасть на Селью, чтобы там помолиться. Потом он собирается отправиться в Бьёргюн и побывать на службе у раки святой Сунневы. Если и после этого Малыш не начнет расти, он поедет дальше, в монастырь святой Марии в Осло. Однако у него было и другое дело, о котором никто не знал: в стране ярла Эрлинга он переносил вести от одного человека к другому.

— Он принес нехорошую весть, — сказал Сигурд.

— Какую, Сигурд?

Мы сидели на ступенях лестницы, ведущей к маленькой церкви святой Сунневы, море было гладкое, как доска.

Сигурд сказал:

— Хагбард говорит, что об Эйстейне Девчушке и его людях почти ничего не слышно. Люди Эрлинга ярла оттеснили их в леса Эйдаског. Когда они намерены напасть на Вик или Тунсберг, Хагбард не знает. Но так или иначе, я должен отправиться в Теламёрк и найти там хёвдинга Хрута. Здесь мне больше нечего делать.

Это была плохая новость, мы помолчали, потом Сверрир сказал с жаром в голосе, я уже слышал у него этот жар и еще не раз услышу его в будущем:

— Эйстейн Девчушка — ребенок, стоящий по главе войска! Похоже, люди, которые окружают конунга, не могут дать ему дельных советов. Во всем случившемся я не вижу ни воли настоящего мужа, ни мысли, ни дельного руководства — это детская игра, детская игра со смертью.

Сверрир умолк, я поглядел на него, Сигурд — тоже, впервые я заметил в глазах Сигурда блеск той страсти и огня, какой я часто видел потом и у него, и у других, когда они смотрели на твоего отца конунга.

Наступила ночь, мы почти не спали.



В ту же ночь мы со Сверриром беседовали наедине со священником Симоном. Думаю, Симон прятал нож под своим облачением. Он не спускал с нас глаз, на столе перед ним лежали шесть книг о святых, которыми располагал монастырь. Симон сказал:

— Нам надо поговорить! Я скажу правду вам, а вы — мне.

Он подошел к оконному проему и выглянул, мы заметили, что ему неприятно поворачиваться к нам спиной, закрыв проем ставней, он снова сел, но долго не мог найти нужных слов. Наконец он заговорил, с трудом, словно человек, поднимающийся по крутому склону, глаза его перебегали со Сверрира на меня, наконец они остановились на Сверрире и впились в него, как овод в кровавую рану. Симон сказал:

— Вас обоих ищут, а про тебя, Сверрир ходит молва, — Свиной Стефан знал, что говорил, — будто ты называешь себя сыном конунга. В Норвегии такие слова дорого стоят. Не одного человека проводили на виселицу, и он поперхнулся этими словами. Вам известно, что я человек незнатный. Но я влиятельный, и это все знают. Я могу пустить слух, что вас видели в монастыре на Селье. А могу и промолчать.

Сверрир сказал:

— Ты влиятельный человек, хотя и незнатный. Но и про меня тоже можно сказать, что я не из слабых. О знатности сейчас говорить не будем. Нам ясно, что ярл Эрлинг может воздвигнуть лишние виселицы, чтобы повесить нас с Аудуном. У нас с ним хватит сил нести дальше то, что мы знаем. Но хватит и ума, чтобы промолчать об этом.

Симон сказал:

— Ну вот мы и заговорили о том, о чем я хотел: отныне мы вынуждены жить вместе или умереть вместе. Первое нам больше по душе, второе — меньше. Ты, Сверрир, сказал, что знаешь о Сигурде и обо мне достаточно, чтобы нас повесили. Хочешь узнать кое-что и о Хагбарде Монетчике? У него на поясе висит пузырь с ядом.

Сверрир сказал:

— Пузырь с ядом полезно иметь тому, у кого недругов больше, чем может достать его меч.

Симон сказал:

— Вы, конечно, знаете, что Хагбард направляется в Бьёргюн, там собрались люди, которые никогда не займут почетного сиденья на

наших пирах. Хагбард обладает сильной волей, и это хорошее качество. Но он неумен. А это порок для того, кто захочет воспользоваться столь опасным оружием.

Сверрир заговорил, задыхаясь, теперь и он поднимался по крутому склону:

— Я еще не видел, как воины умирают от меча, но, думаю, этот день придет и без моей просьбы. Однако я просил бы всемогущего Сына Божьего избавить меня от того дня, когда я увижу, как человек умирает от чарки с ядом.

— Те люди, которых Эрлинг ярл отправил на смерть, тоже просили Господа пощадить их, но Господь не внял им, — возразил Симон. — Думаю, дочь конунга Сесилия, — перевезенная, как телка, из одного хлева в другой, — тоже молила Господа пощадить ее, прежде чем досталась человеку, который в насилии смыслил больше, чем в любви. Если Бог выбирает своим оружием недостойного, люди не в праве противиться Его воле.

— Не дело Монетчика отравлять конунга, — сказал Сверрир.

— Но сын конунга может отравить ярла? — спросил Симон.

Мне редко случалось видеть Сверрира растерянным, он отошел от Симона и словно застыл, не спуская с него глаз. С трудом взяв себя в руки, он снова сел и заговорил, заикаясь, и на этот раз в его словах не было мудрости. Потом заговорил Симон, тихо, равнодушно и сухо, он словно указывал пальцем на каждое слово, приглашая нас обратить на них внимание.

— Вы оба священники, — сказал он. — Как я понимаю, вы не могли рассчитывать получить приходы на Фарерских островах. Вы хотели получить их у архиепископа Эйстейна, но, надеюсь, вам ясно, что и здесь вы тоже не получите приходов. В Нидаросе сейчас находится сборщик дани Карл, если вы попадетесь ему на глаза, считайте, что ваши шеи отвели его топора. Не надейтесь, что вам поможет, архиепископ Эйстейн. Он проявляет мягкость, когда она окупается, но сколько серебра или добрых услуг вы можете предложить, чтобы архиепископ счел выгодным для себя защитить двух священников, поссорившихся со сборщиком дани ярла? Я не хочу мучить вас. Хочу только, чтобы вы видели все, как есть. Что вам надо в Норвегии? А если не в Норвегии, то куда вы теперь направитесь? Есть лишь один путь, и он не легкий, но я иду этим путем, и Сигурд из Сальтнеса

идет этим путем, и Хагбард Монетчик тоже идет им, неся на плечах сына-калеку. Много людей в Норвегии идут этим путем. Он опасный. Хотя для вас он не так опасен. Любой другой путь легко может привести к тому, что каждое слово, произнесенное здесь, достигнет ушей сборщика дани или ярла... Теперь я сказал все, — закончил он.

Сверрир ответил:

— Еще не все, правда заключается в том, что если мы откажемся следовать твоим путем, никто не помешает нам рассказать о людях в монастыре на Селье прежде, чем Эрлинг ярл вздернет нас на виселице. Ты, Симон, умный человек. Друзьями мы никогда не станем, но уже случилось и раньше, что люди, которых не греет тепло дружбы, идут вместе и мерзнут вместе. И это лучше, чем вместе умереть. У тебя здесь пузырь с ядом?

Симон вытащил пузырь с ядом, пузырь был небольшой. Сверрир сказал:

— Было бы правильно, Симон, если бы ты, отведал этого напитка до того, как люди с более возвышенной душой, чем твоя, отправятся на Великую Встречу.

Усмехнувшись, Симон заметил, что если он дал Сверриру плохой напиток, пусть Бог даст ему хорошую совесть. Сверрир развязал пузырь и капнул на стол каплю яда.

— Осмелишься лизнуть, чтобы узнать вкус яда? — спросил он у Симона.

Потемнев лицом, но владея голосом и словом, как и подобает сильному человеку, Симон ответил:

— Свою жизнь я всегда ценил выше, чем жизнь другого.

Сверрир сказал:

— Ты честный человек, и вместе с тем в тебе полно лжи. Как человек ты не нравишься ни Богу, ни мне, но мы оба глубоко уважаем священника Симона. — Он стер локтем каплю и спрятал пузырь с ядом под одеждой. — Приведите сюда Сигурда из Сальтнеса и Хагбарда Монетчика, — велел он.



Я привел Сигурда и Хагбарда, потом мы поднялись по ступеням к маленькой церкви святой Сунневы. Наверху Сверрир остановился, над морем висела луна, ветра не было. Все, кроме нас, давно спали.

Тень от горы мешала нам видеть лица друг друга. Сверрир повернулся к нам и медленно заговорил, не прибегая к высоким словам или жестам. Вот его речь, как я ее помню:

— Эйстейн Девчушка — ребенок, он не годится. Люди, которые его окружают, имеют, похоже, больше мужества, чем трезвого соображения. Трезвость они обретут, когда люди ярла порубят их своими мечами.

Власть в этой стране принадлежит ярлу Эрлингу, каждый лендрманн* — его человек, и все ополченцы вооружаются по первому его слову.

У ярла есть серебро и боевые корабли, а если он их потеряет, у него достаточно людей, чтобы построить ему новые. У него есть и торговые корабли, они ходят вдоль берега, есть люди в городах, в Нидаросе, который он взял обратно, в Тунсберге, в Бьёргуне, в Осло. Здесь в стране правит ярл Эрлинг.

Но он не правит мыслями людей, живущих в этой стране, не правит сердцами людей, не пользуется у них любовью.

Однако не забывайте, что и у нас тоже нет их любви.

Ярлу Эрлингу противостоит кучка людей, и, наверное, теперь их будет меньше, чем раньше. Эти люди знают, чего хотят, но не знают, что нужно делать, чтобы их желания сбылись. Если они отступят, это смерть, если пойдут вперед, это может стоить им жизни. Так что в любом случае лучше идти вперед.

У меня еще есть путь к отступлению, я могу уехать прочь из страны, могу наняться на корабль, идущий в Йорсалир. Если я пойду с вами, то только по собственному желанию. Я не слушаю никого и никому не подчиняюсь. Но сперва я хочу узнать всю правду об этой стране и о людях, живущих в ней.

Однажды я молился здесь у церкви. Тогда Он пришел ко мне и стал рядом, Он наклонился надо мной и прошептал что-то мне на ухо. Это был конунг Олав Святой.

Но что он прошептал мне?

Сверрир замолчал, подошел к нам и каждому в отдельности пожал руку. Последним он подошел ко мне. Он смотрел каждому в

* Знатный человек, который получил от конунга землю или другие привелегии и поклялся ему в верности.

лицо, теперь мы привыкли к темноте, он был ниже всех и глаза его слабо светились. Он сказал:

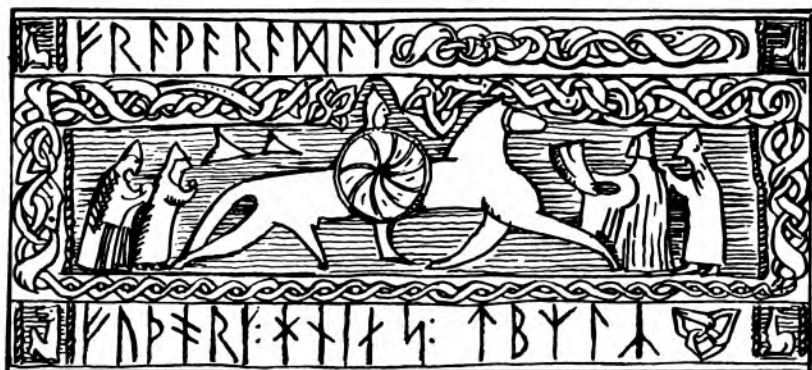
— Конунг Олав Святой явился мне здесь на горе. Тогда я не знал ни того, что знаю теперь, ни того, что потом рассказал Сигурд, ни того, что сказал Симон. Но конунг Олав Святой говорил со мной.

И он сказал:

— Я умею выбирать своих людей.

Мы спустились из церкви святой Сунневы, на рассвете на камне возле церкви мы нашли мертвого Бенедикта. Когда наступил день, его отпели. Мы все были в церкви: Сверрир и я, Сигурд и Симон, Хагбард с Малышом на плечах, однорукий Гаут и Рагнфрид с волосами, посыпанными золой. Я стоял на коленях и слушал, как молодой священник читает молитвы над Бенедиктом, испустившим дух на той дороге, на которой ему и хотелось умереть. И я подумал, йомфру Кристин, должно быть, умереть на этой дороге и есть последняя радость.

На другой день наш корабль отправился на юг, в Бьёргюн, на борту были мы со Сверриром, Хагбард, калека Малыш и двое братьев из Рьодара, Эдвин и Серк.



ЯРЛ В ТУНСБЕРГЕ

Рорький и тяжелый год пережили мы со Сверриром после того, как покинули монастырь на Селье. Тот, кому предстояло стать конунгом Норвегии, еще не обрел силы и ясности мысли. Еще не обнаружил в себе твердость и волю великого человека, еще не бросил свою волю на весы Господа Бога и не сказал: Власть конунга или смерть!

Мы колесили по всей стране, Сверрир и я, священники, ищущие два бедных прихода. Мы говорили с каждым, в ком подозревали такую же ненависть к ярлу Эрлингу, какая горела в нас обоих. Нередко случалось, что молодые люди приходили к нам под покровом ночи и говорили: Твой путь или смерть! Куда бы мы ни являлись, мы находили и страх перед ярлом, и уважение к нему, где бы мы ни были, мы всюду находили больше недовольства, чем мужества. Мы видели кровавые раны и сожженные усадьбы, одиноких женщин, сыновей которых бросили в битву, едва они успели отпустить материнскую юбку. Это была сожженная, кровоточащая страна, поработенная сильным человеком, желавшим в последние годы жизни обеспечить своему сыну власть конунга.

Мы пришли в Тунсберг. Ты сама, йомфру Кристин, поднималась по этой тропинке в гору в своих легких ту-



фельках с сопровождавшей тебя служанкой. Мы со Сверриром тоже поднялись туда, стояла прекрасная осень, нигде больше я не встречал такой красоты. Крутые горы, которые часто видели, как люди сражались и умирали, величественная церковь святого Михаила, тогда еще не заврешенная, по ее стенам ползали крохотные, как муравьи, люди, заставляя это великолепное строение подниматься ввысь. Одним из них был Гаут. Под нами раскинулся торговый город. Не очень большой, Бьёргюн куда оживленнее и шумнее Тунсберга, в нем много измены, смерти, отваги и недугов. Тунсберг же похож на невинную девушку, что, глубоко вздохнув, отдается жестким объятиям, которые раз и навсегда положат конец ее сладким ожиданиям.

Внизу пестрели крыши домов, было еще очень рано, служанки только что раздули огонь под котлами с кашей. Усадьба Аслеява на северном склоне была самая большая в городе, дом со всех сторон был обнесен галереей. Этим летом в нем жил конунг Магнус и его люди. На юге виднелся Хаугар и Гуннарсбё, выше — Россанес и на севере — Сэхейм, где всегда останавливался ярл, когда приезжал в Тунсберг. Это был красивый торговый город с красивыми окрестностями. Мы видели бондов, идущих из Сэхейма и Рэ, — им было велено доставить в город продовольствие перед приездом ярла. Внизу у причалов, недалеко от церкви святого Лавранца, стояли боевые корабли конунга и корабль с людьми, собиравшимися в Йорсалир.

Я всегда любил Тунсберг, йомфру Кристин. Одно из главных огорчений моей жизни состоит в том, что я так и не получил там тех почестей, которых всегда жаждал с присущей мне склонностью к суетной славе. В моей жизни есть и еще одно огорчение — именно там твоего отца конунга никогда не чествовали так, как в других городах этой страны. Но из этого вовсе не следует, что жители Тунсберга любили конунга Магнуса и ярла Эрлинга. Или пососников, когда пришло их время. Но и Тунсберг и Вик были в их руках, что весьма осложняло дело, когда твой отец конунг хотел подчинить себе эту часть страны. И именно в Тунсберге, когда он одержал последнюю свою победу, к слову сказать, самую значительную, его свалила болезнь.

Мы стояли так далеко от каменщиков, строивших церковь, что они не могли нас слышать, утренний свет падал на лицо Сверрира —

оно стало более суровым, чем было год назад, когда мы покинули монастырь на Селье. Я понимал, что его гложет сомнение, не дающее человеку покоя даже в тихие ночные часы. Мы уже почти год ездили по следам Эрлинга ярла, и до сих нам не посчастливилось встретиться с ним. Я понимал: мы должны поговорить с ярлом в Тунсберге или уже никогда. Не поговорив с ним, Сверрир не мог бы вырваться из круга людей, которые в последнее время все более жестко требовали, чтобы он открыто вступил в борьбу с ним на стороне конунга Эйстейна. Правда, вырваться из их круга можно было и обеспечив себе место на корабле, идущем в Йорсалир. Вступить же в борьбу с ярлом Эрлингом Сверрир мог также, прибегнув к пузырю с ядом, который носил под платьем.

Мы стояли на горе и любовались дивным утром, на другой день в Тунсберг ожидали прибытия ярла. Мы знали, что его встретят с колокольным звоном и с большой пышностью. Я смотрел на монастырь Олава с его тяжелыми крышами и чудесным садом и знал, что мой добрый друг монах Бернард будет там сейчас служить мессу. Я видел отсюда и крышу трактира, который держали сын вольноотпущенника Ивар и его жена, трактир стоял позади усадьбы Аслейва. Пока мы были в Тунсберге, я часть времени проводил в монастыре, а часть — в трактире, дабы испытать недостойную радость, какую дарит рог с пивом. От этой радости, йомфру Кристин, твой отец конунг отказывался легче, чем я.

Мы стояли там, два молодых безымянных священника с далеких островов, принадлежавших Норвегии, которой ярл Эрлинг правил твердой рукой. Сверрир заговорил.



Лицо у Сверрира в то утро было отмеченно суровостью, за которой угадывалась нежность. Голос его мог звучать мягко, как летний ветер, но в нем таился и рык бури. Сверрир привел меня на уступ, обрывававшийся в море. Под нами лежали корабли, за спиной у нас каменщики строили церковь. Утро было прохладное, и они развели костер, свет костра освещал и людей и скалы и, отражаясь в море под нами, снова возвращался к нам. Здесь никто не мог нас слышать. Сверрир заговорил:

— Ты знаешь, Аудун, что дома нас не больно-то жалуют, жители Киркьюбё потеряют сон, если мы с тобой вдруг вернемся обратно. Епископ выпроводил нас оттуда, и мы не оказали ему должного по-виновения, отказавшись ехать в Исландию. У тебя в Киркьюбё есть мать, она, конечно, обрадуется, если ты приедешь. Но отца у тебя там нет, его взяли в заложники по твоей вине. Кто знает, где он сейчас? У меня там жена, о которой я не скажу ни одного недоброго слова, но с кем она там спит, пока меня нет дома? Есть у меня и два сына, но они не знают своего отца. Для нас с тобой мало чести вернуться домой. Мы уехали оттуда убийцами, а вернемся неудачниками и перед Богом и перед людьми. Нам лучше остаться здесь и забрать сюда наших близких, когда придет время. Вот только придет ли оно, Аудун?

Мы, священники, у нас нет ничего, кроме наших ряс и сборников проповедей. Мы ходим по стране, где каждый шаг может привести нас к человеку, который послужил причиной того, что нам пришлось уехать из дома. Говорят, будто сборщик дани Карл сейчас в Нидаросе, может, это и так. Ну, а если мы все-таки встретим его в Тунсберге? Ты хорошо спишь по ночам, Аудун? Я плохо, мне снятся сны и они не всегда добрые, по ночам я больше бодрствую, чем днем. Кто дает нам пищу и кров в наших странствиях по этой стране? Те, что выступают против конунга Магнуса, против ярла Эрлинга, те, лишенные голоса люди, которые собирают оружие для битвы и дают советы, более доброжелательные, чем умные. Эти люди предоставляют нам кров и пищу.

Это и священник Симон, и Сигурд из Сальтнеса, и Хагбард Монетчик, и этот монах Бернارد, обещавший помочь нам увидеться с ярлом. Мы переносим весть от человека к человеку. Запоминайте все, что видите, говорят они нам. Запоминайте все, что слышите, говорят они нам, доставьте в Осло эти доски, покрытые воском, на которых записаны наши молитвы. Но что скрывается под тем, что может прочитать каждый? Мы уже запутаны в эту сеть и не знаем, сможем ли освободиться, если захотим. Что шепнет ветру Симон, если мы осмелимся пойти своим путем? Намекнет на то, что случилось в Киркьюбё?

Как думаешь, что может перевесить желание вырваться из этой сети? Говорят, будто ярл повесил моего брата. Говорят, будто ярл

повесил маленького мальчика только за то, что тот был сыном конунга Сигурда. Этот мальчик мог быть моим братом. Кто я? Не знаю. Правда ли, что я сын конунга? Думаю, да. Тогда, значит, я не получил от людей, выступающих против конунга Магнуса того, что принадлежит мне по праву и чего требует мое достоинство. Но если я выступлю и потребую власти, которая, как мне кажется, принадлежит мне по праву, я расколю то единство, которое уже провозгласило своим конунгом Эйстейна Девчушку. Следует ли мне наблюдать творимую в стране несправедливость, молчать обо всем и позволять этому кривошеему ярлу вешать всех, кого он хочет, будь то моя сестра или брат? Он изгнал мою сестру Сесилию в Швецию и отдал ее в наложницы знатному человеку. Я никогда не видел ее. Но я собственной плотью чувствую боль, которую она испытала, когда жестокий любовник опрокинул ее на спину и лишил того, что свободная женщина дарит своему супругу. За всем этим стоит ярл! Неужели я как трус должен преклонить колени перед несправедливостью, безмолствовать и за все благодарить? Получить приход и дожидаться там, пока ярл и его люди не узнают, что я выдаю себя за сына конунга? И прочесть свою последнюю молитву, пока они ходят за веревкой? Как мне следует поступить?

Но если я вступлю в борьбу, мне придется вести ее, подчиняясь конунгу, который не в состоянии быть предводителем воинов! Конунг Эйстейн — мальчик, а не муж. Незрелый и душой и умом, не умеющий заглянуть в будущее, любящий, как говорят, женщин и спящий тогда, когда нужно бодрствовать. Где, скажи, все его люди? Разбежались по лесам и затаились? Почему они не приходят? Если верно, что наши отцы были братьями, значит, мы с конунгом Эйстейном — близкие родичи и в наших жилах течет одна кровь. Значит, у нас с ним одинаковые права. Но следует ли мне расколоть его и без того небольшое войско, следует ли сказать тем, с кем он связан, что он не годится в предводители? Аудун, ты уже немного знаешь эту страну. Помнишь Бьёргюн и дни, что мы провели на том побережье? Помнишь, мы видели людей, которые ехали к ярлу Эрлингу, они везли дань, которую ярл требовал с них. Они все были под его пятой. И благодарили его за это, мечтая об одном — жить в мире. Согбенные мужчины и женщины тянулись по дорогам, благослови их, Господи, на их пути, этих людей с рабскими душами, хоть они и

родились свободными. А люди, собранные в ополчение и в дружину, послушные каждому слову ярла Эрлинга Кривого, его мечу и его воле? Ты осмелишься выступить против них? Многие ли последуют за нами, если мы выступим против ярла?

Кое-кто, конечно, последует, и это прежде всего священник Симон и Сигурд из Сальтнеса. Я думал, Аудун, что если бы я все бросил и нанялся на корабль, что идет в Йорсалир, я мог бы вернуться оттуда со славой и добром. Тогда потом я мог бы заявить жителям этой страны, что требую признать меня конунгом и что я имею на это право. Но что-то говорит мне: Ты должен остаться, Сверрир.

Что-то говорит мне: Ты должен остаться в этой стране. Часто мне кажется, что это говорит Олав Святой, а он умел и говорить и действовать. Но я не всегда уверен, что со мной говорит именно он. Часто мне кажется, что я слышу голос своей глупости, своей страстной жажды стать великим и что этот голос обманывает меня. Я не знаю. А ты?

Скоро сюда прибудет ярл Эрлинг. Если мне повезет и я встречу с ним лицом к лицу и не опущу перед ним глаз, значит, я для него более опасен, чем он для меня. А пузырь с ядом, Аудун, я ношу под одеждой на всякий случай.

Не думаю, что я окажусь так близко от кубка ярла, что смогу подмешать в него яд. И я не настолько глуп, чтобы просить незнакомых людей капнуть яду в кубок ярла или конунга. Нет, Аудун, я мог бы воспользоваться ядом лишь в том случае, если б поступил к ярлу на службу, познакомился бы с какой-нибудь его наложницей, овладел бы ею и избил ее, зажег бы в ней страсть и покинул ее со словами: Я или смерть! Моя любовь или моя ненависть! Вот тогда ей удалось бы капнуть этого опасного яда в нужный кубок.

Но что это даст? Разве за ярлом и конунгом не стоят люди, не такие ловкие, как ярл, но все-таки закаленные в борьбе и умеющие владеть оружием? Разве они не подхватят меч, выпавший из его рук? Мне не нравится намерение Симона отравить ярла. Это детское и непродуманное решение. Тот, кто хочет стать конунгом в этой стране, должен доказать, что он умеет сражаться. Должен пользоваться тем оружием, которое уважают настоящие мужчины. А отравить ярла и сказать, что отныне страной будет править конунг Эйстейн, это все детские игры, Аудун.

Я хочу встретиться с ярлом, чтобы померяться с ним взглядом, чтобы убедиться: этот человек повесил моего брата, но повесить меня ему не удастся. Я знаю, что уйду от ярла либо одержав тайную победу, либо проиграв у всех на глазах, и пузырь с ядом, что я ношу под одеждой, заставит меня принять правильное решение.

Я уже думал, что они, наверное, обыщут меня, прежде чем допустят до ярла. Именно поэтому я должен взять пузырь с собой и суметь спрятать его. Вполне возможно, они находили кинжалы и другое оружие у людей, которые шли к ярлу. И эти люди наверняка сами отведали той стали, что припасли для него. В этом ярл Эрлинг прав, и я не осуждаю его. Но именно поэтому я хочу иметь при себе смертоносное оружие и одержать свою первую победу над ярлом, не прибегая к нему, — или же умереть.

А после этой встречи, если я останусь в живых, я решу, уеду ли я из страны или вступлю в борьбу с ярлом.

Аудун, ты уже выбрал свой путь? Пойдешь ты со мной? Или?..

Он умолк, нас никто не слышал, возле строящейся церкви пылал костер, кто-то пел. Я сказал:

— Сверрир, я всегда последую за тобой твоим путем. На счастье или на несчастье я всегда последую за тобой твоим путем.



Мы стояли на горе в Тунсберге и смотрели, как корабли на веслах входят в гавань, их было много. Было еще рано, над фьордом и над землей лежала легкая пелена тумана, дым, поднимающийся из волоковых окон, несло к нам наверх. Мы слышали пение гребцов и крики людей, мы видели их, но знакомых лиц среди них не было. Над боевыми кораблями, раскинув крылья, кричали любопытные чайки.

Вдруг Сверрир схватил меня за руку:

— Кажется, я знаю того человека!..

Я взглянул туда, куда он указывал, — на корабле ярла стоял молодой человек, это был Серк из Рьодара, с которым мы познакомились на Селье. Рядом с ним стоял его брат Эдвин, теперь они оба скинули с себя шкуру бондов и стали воинами. Потом мы увидели ярла Эрлинга.

Длинный корабль подошел к горе, на которой мы стояли. Ярл поднялся на кормовое возвышение и занял свое место. Теперь его могли видеть не только мы и люди, работавшие на горе, но и все собравшиеся на причалах, чтобы встретить ярла. Я видел его в первый раз. Он был не высокий, но широкоплечий, голова у него сидела криво, так что ошибиться было невозможно. Потом я видел ярла Эрлинга, когда он был уже мертв, тогда в радостном опьянении победой, забыв о подобающем почтении, я хотел повернуть его голову так, как было задуманно Богом. Но даже после смерти голова ярла опять приняла прежнее, кривое положение.

Рожок на корабле ярла подал свой сильный и властный голос, ему ответили рожки с берега. Это был знак, что шествие может начаться, шествие в честь прибытия ярла Эрлинга в Тунсберг. В этом городе ярл тоже выиграл не одно сражение и видел, как текли реки крови. Шествие двигалось с юга, от Стрэтета, и мы побежали вниз, чтобы встретить его.

Кажется, я уже говорил, что конунг Магнус прибыл в Тунсберг еще в начале лета. Он собирался найти берестеников и перебить их. Но не преуспел в этом. Его истинной страстью были женщины. Мелкие отряды бунтовщиков, осевшие в той округе, так и не отведали его меча. Таких же людей, как Сверрир и я, тайно живших в Тунсберге, никто не искал, дабы накинуть им на шею петлю, украшавшую каждую добрую виселицу. Теперь конунг Магнус считал уместным устроить своему отцу пышную встречу, чтобы смягчить справедливый укор, который мог сорваться с губ ярла, и заставить этот укор звучать, подобно пению ангелов.

Первой шла дружина, это были только молодые воины. Кое-кого из них я уже видел за те недели, что мы прожили в Тунсберге. Большею частью это были сыновья знатных людей страны, сыновей простых бондов среди них почти не было. Все они были обучены учтивости и умели убивать, не обнаруживая ни чувств, спрятанных в сердце, ни дрожи в руках. Все они были на одно лицо — одинаково подстриженные и ухоженные бороды, одинаково причесанные волосы. Они и говорили одинаково твердыми, громкими голосами, и пили одинаково, и одинаково отличались выносливостью. Ноги их часто бывали стерты в кровь во время долгих походов. Они спали со всеми девушками, с какими хотели, и не заботились о том, что дарят

стране сыновей и дочерей, не знающих своих отцов. Но о чем они думали? Почти ни о чем. Они были воины и научились жить, не думая. Их заставляли много упражняться в воинском искусстве, в том числе и в том, чтобы научиться жить, не думая. Они существовали только для конунга и ярла, чтобы защищать их и их славу, а конунг и ярл снабжали их пивом и девушками. Иногда случалось, что кто-то из дружинников вдруг выбивался из общего числа и вел себя неподобающим образом, говоря или думая то, чего другие никогда раньше не говорили и не думали. Но это случалось редко. Конунг и ярл славились своей дружиной.

Теперь дружинники спускались от Стрэтета к причалам, они били мечами по щитам, приветствуя старого, заслуженного отца своего конунга. Позади них на высоком коне ехал их молодой господин, сын ярла, конунг этой страны, провозглашенный конунгом еще в детстве. На плечи Магнуса был накинута тяжелый пурпуровый плащ, завязанный на груди белой лентой, конунг был красив, одет роскошней, чем требовалось от мужа, и с присущим женщинам тщеславием. Он был великолепен, ловко сидел на лошади и на губах у него играла добрая улыбка, которая нравилась мужчинам, но еще больше женщинам. Должно быть, конунг прибыл из Рэ нынче ночью, так, во всяком случае, говорили. Он считал полезным для себя увидеть поле битвы, где его отец одержал победу над бунтовщиками, когда сам конунг был еще ребенком. И лишь когда конунгу доложили, что корабль его отца вошел в устье фьорда, он сумел заставить себя оторваться от рога с пивом и покинуть дом, где жили женщины. Он не выпался и чувствовал себя разбитым после долгого пребывания в седле. Ходили слухи, что он прихватил с собой из Рэ двух девушек.

За конунгом опять шли воины, за ними — длинная вереница служителей церкви, неся на плечах груз своей очевидной святости. Возглавлял их преподобный Бьярни. Я познакомился с ним здесь в Тунсберге. На серебряном блюде преподобный Бьярни нес старинную Библию, которую ярл Эрлинг подарил церкви святого Лавранца, когда вернулся домой из Йорсалира. Преподобному Бьярни было обещано, что, если он переживет ярла, он получит собственный алтарь в церкви святого Лавранца и его долгом будет молиться там за душу покойного ярла. Эрлинг Кривой не исключал, что ему, возмож-

но, придется неожиданно, без предупреждения встретить смерть. А потому, не скупясь, заблаговременно побеспокоился обо всем, что помогло бы ему при встрече с Богом. Преподобный Бьярни уже получал доход с трех усадеб, которые не всегда принадлежали ярлу. Он считался личным священником ярла, и достоинство, сопутствующее этому положению, окружало его голову слабым нимбом.

За преподобным Бьярни шел монах Бернард. Он нес щепку от святого креста Господня, счастливым обладателем которой был монастырь Олава в Тунсберге. Правда, злые языки говорили, будто это обычная сосновая щепка, принесенная течением и ветром. За эти недели в Тунсберге я узнал и полюбил монаха Бернарда. В молодости, получив образование в монастырской школе в Премонтре, он приехал сюда из прекрасной страны франков. Орден премонстрантов наложил на Бернарда тяжелейшее наказание. Раз в неделю он истязал себя кнутом, а во время поста — и каждый день. Но Бернард не слишком усердствовал в этом. Он обладал искренностью, которую я всегда ценил в людях, и мужеством, какого эта искренность требовала от человека. Бернард отличался глубокомыслием, но без громких слов, и в душе его было тепло, которого я никогда не забуду. Не одну ночь мы провели с ним за чаркой вина, и он поведал мне и о своих сомнениях в слове Божьем и о своей вере в него. Позже он присоединился к войску Сверрира и часто сказывал мне песни и предания своей страны. Бернард любил их, и я тоже полюбил их благодаря ему. Порой мне приходило в голову, что я неправильно поступил в юности, выбрав для себя путь служителя церкви. Я никогда не отличался горячей верой в слово Божье. И не обладал способностью преклонять колени перед неразгаданными тайнами. Но еще более несправедливо по отношению к себе я поступил, когда стал воином. Ибо хорошим воином я никогда не был. Я был слишком мягок, когда от меня требовалась твердость. Если мне приходилось сжечь усадьбу, я не мог потом забыть этот пожар, если я позволял убить человека, я не мог потом забыть это убийство. Нет, йомфру Кристин, мне следовало стать скальдом, может быть, скальдом в прекрасной стране моего друга Бернарда, если бы Бог в своей неизъяснимой милости позволил мне увидеть ее. Но этого не случилось.

Прости старого человека, йомфру Кристин, что он забыл на время о праздничном шествии в Тунсберге и вместо этого позво-

лил своим мыслям вернуться к длинной череде жалких дней своей жизни!

За монахом Бернардом шла длинная вереница служителей церкви, все они хотели приветствовать ярла, этого воинственного и сильного человека. Хор мальчиков в плащах со звенящими колокольчиками, с благовониями, миррой и зажженными свечами. Священники с крестами, поющие и молчащие. Все было очень хорошо задумано и очень благолепно, но прости, йомфру Кристин, что со временем во мне зародились сомнения: а правильно ли было нести эти святыя знаки перед человеком, так мало похожим на святого? За церковными служителями шла женщина, одна молодая женщина, я знал, кто она. Это была аббатиса, о которой нам говорил священник Симон, его прекрасная возлюбленная, которую мучило раскаяние в содеянном ею грехе. Теперь она была здесь. Только два человека в во всем Тунсберге знали, что она дочь покойного конунга Сигурда. И оба молчали об этом.

Потом шли горожане, веселые, доброжелательные, хотя, может, они и не всегда выражали это, как подобает. Среди них я увидел человека, который в последние недели продавал в Тунсберге мед, у него был изуродован нос. Полноса он потерял в битве, в которой ярл Эрлинг одержал одну из своих славных побед. Теперь этот человек торговал медом и надеялся, что приезд ярла оживит его торговлю. Счастливый и веселый, он шел навстречу могучему ярлу. Но мало кто знал, что в своих крынках с медом он переносил вести, посланные одними людьми другим. Для ярла и конунга это были далеко не сладкие вести.

За торговцем медом шел глашатай и рожечник из Рэ. Он мечтал стать рожечником ярла и долгие годы упражнялся в своем искусстве. Я познакомился с ним, сидя по вечерам в трактире Ивара. В тот день рожечник выкрикивал вести громче обычного. Он объяснил мне, как должны работать грудь, зубы и язык у того, кто хочет кричать и трубить в рожок громче всех остальных. Потом я видел этого рожечника с его рожком над застывшим телом ярла Эрлинга Кривого, лежавшем в соборе в Нидаросе. Таким образом можно считать, что Рейольв из Рэ стал все-таки рожечником ярла.

За рожечником шел человек, которого все называли Вешальщиком. Ты знаешь, наверное, йомфру Кристин, что в этой стране нет

недостатка в добрых вешальщиках. Как некоторые другие властители, — в этом деле он были умнее, чем твой отец, — ярл Эрлинг понимал, что уважение к закону не уменьшится от того, что тот, кто вешает преступников, будет хорошо знать свое ремесло. Обычно ярл и его воины обходились своими силами, когда кто-то, угрожавший жизни ярла, должен был заплатить за это своей собственной. Но в Тунсберге один молодой человек несколько раз добровольно помогал вешать воров и прочих негодяев, опозоривших себя и свой род. Его прозвали Вешальщиком. Сага об этом Вешальщике была недлинна, йомфру Кристин.

За Вешальщиком шел человек, который отличался тем, что лучше других поджаривал мозги из говяжьих костей. Он был дан, истинный скальд, колдовавший над кучкой горящих углей, поджаренный им мозг так же сладко обжигал кончик языка, как белая грудь девственницы, когда ты касался ее в первый раз. Прости меня, йомфру Кристин, что я нынче употребляю слова, каких обычно не употребляю, если только не лишился рассудка от вина или от женщины. За ним шли продажные женщины. Их было много. У них была осанка молодых кобылиц, широкий зад и похотливые движения, они знали хорошие времена, но теперь их ждали времена еще лучше прежних. В стране, где господствует война, где воины приходят и уходят, где мужчины плачут и истекают кровью, вопят и пьют, где их отрывают от родных полей и домашних очагов, поднимают с постелей и увозят из усадеб, — в такой стране ремесло продажной женщины скорей всех других ремесел наполняет кошелек серебром. Быть продажной женщиной — все равно что быть воином. И те и другие расплачиваются своим телом, и те и другие надеются на удачу, некоторые выходят из сражения победителями, но многие не возвращаются вообще. Во времена моей молодости, йомфру Кристин, я испытывал такое же отвращение к продажным женщинам, как теперь ты. Мне казалось, будто я прикоснулся к чему-то непотребному, от чего невозможно отмыться. Но со временем — и это одна из радостей моего недоброго сердца — я узнал, что душа человеческая гораздо глубже, чем мы думали в молодости. И что та женщина, которая продает себя мужчине, нисколько не хуже мужчины, который ее покупает. Но знай также, что в тайных уголках моей души, — обычно закрытых, но нынче ночью открытых перед тобой, —

живет женщина, которой не касался еще ни один мужчина. И ее страстность лишь угадывается, как угадывается легкий румянец под тонкой кожей.

Ты, кажется, покраснела, йомфру Кристин?

Да, потом шли продажные женщины, они все шли и шли, Тунсберг во времена ярла привлекал продажных женщин, он и сейчас их привлекает. Шли горожане, шли торговцы, шли жены торговцев и всякий другой люд, все шли и шли. Почтенные матери семейств с покрытыми головами, которые всегда осуждали своих ловких веселых сестер, забывших о женском долге, шли теперь с ними в одном шествии, приветствуя ярла Эрлинга! В нем шли все мужчины и женщины Тунсберга, многие бонды из окрестных селений тоже явились сюда, дабы приветствовать самого могучего в стране человека, Эрлинга Кривого.

Наконец он сошел на берег.

Мы со Сверриром стояли совсем близко, он прошептал мне:

— Ты не видишь здесь никого из людей сборщика дани Карла?

— Нет, — ответил я. — Разве они не в Нидаросе?..

Мы снова поднялись на гору и там остались. Время шло, никто нами не интересовался, не спрашивал о нас, у нас не было ни имен, ни известности. В начале вечера мы решили пойти в монастырь Олава, надеясь встретить там монаха Бернарда.

— Йомфру Кристин, мой добрый друг, монах Бернард из Тунсберга, научил меня, что душа человека гораздо глубже, чем нам кажется в юности, и мой суд над людьми со временем стал мягче того, каким я сужу самого себя.

— Господин Аудун, я радуюсь, что эти ночи в Рафнаберге позволят мне позаимствовать немного от твоей мудрости. И мягкость, с какой ты относишься к людям, смягчит мое отношение к тебе.



Я, Бернард, — монах из Премонстрэ, настоятель монастыря Олава в Тунсберге...

В далекой юности, когда жажда женщины еще терзала мою земную плоть, я чаще, чем следовало, принадлежал к тому дивному сосуду, прекрасным носителем которого является каждая женщина. Тогда я еще не знал, что окажусь здесь, в стране норвежцев, и буду возносить свои молитвы в этом жалком Тунсберге. Однажды утром у себя на родине я подлил яда в чашу моего брата и вышел из комнаты. С бьющимся сердцем я ждал, что он осушит ее. Тогда-то Бог и наказал меня. Мой брат не осушил чашу, он заснул прежде, чем успел поднести ее к губам. Так он стал счастливым обладателем женщины, которую любили мы оба, а я — братоубийцей, хотя мой брат не умер, но остался живым мне укором, даже не подозревая, какой опасности он подвергался. Тогда-то Бог и наказал меня.

У меня на родине есть монашеские ордена менее строгие, чем тот, который я выбрал. Но я испытывал радость, когда кнут ласкал мое обнаженное тело. Я не спал последние ночные часы перед рассветом, а потом вставал со своего ложа и позволял страданиям приблизить меня к Богу. Иногда меня охватывало буйство, я кричал, истязая себя, кричал и истязал, пока не падал в беспамятстве и меня не уносили мои братья во Христе. Но Бога я не обрел.

Потом я приехал в Тунсберг. Здесь должны были строить церковь и монастырь, и выбор пал на меня, потому что я был самый твердый и строгий в моем ордене. Я был храбрее других, когда сек в наказание свою обнаженную спину и казнил суровыми словами каждого, кто уступал мне по возрасту и достоинству. Я приехал сюда и научился говорить на этом странном, певучем языке, узнал людей, тишину их сердец и некрасивые желания, которые порой одолевали их. Но кто знал меня, всегда скрывавшегося за покровом тяжелого спокойствия?

Меня, монаха Бернарда, истязавшего себя кнутом каждую неделю и каждый день поста хлеставшего себя так, что братьям приходилось на руках уносить меня в мою келью. Они не подозревали, что в моей келье, отгороженный от недостойных, в одиночестве с тем, что они принимали за слово Божье, я читал красивейшие песни и прелестнейшие предания, которые рассказывали не столько о небесной любви, сколько о земной.

В этом небольшом торговом городе в стране норвежцев что-то пришлось мне по душе. Гора, что отвесно встает над морем, откуда мне видны люди и их жизнь на этой земле. Когда между соотечественниками и братьями снова и снова вспыхивают раздоры, все победившие в сражениях приходят ко мне, чтобы услышать мои слова и получить мою поддержку, а часто мою руку и мой меч. Но я отказываю всем. У меня хватает для этого силы. За мной стоит церковь, за мной стоит моя могучая страна, лежащая далеко от Тунсберга.

Я хорошо помню тот вечер, когда меня позвали к ярлу Эрлингу, уже немолодому отцу конунга Магнуса. Я пошел, но не преминул сказать, что счел возможным покинуть свой монастырь и посетить его, человека мирского, исполненного зла, лишь из почтения к его преклонному возрасту. По отношению к Богу и ко мне с стороны ярла, человека, привязанного к земле, крови и оружию, было бы пристойней явиться с повинной головой в молельню монастыря. Ярл поднял голову и посмотрел на меня. Он не опустил глаз, но часто моргал, он не ударил меня и не позвал стражу. Он обуздал свой гнев, молчал, но ему явно было не по себе. Я без приглашения сел за стол напротив него.

Ярл был немногословен, некрасив, голова у него сидела криво, он заслуженно получил свое прозвище. Он начал рассказывать мне о походе в Йорсалир, о своем желании увидеть места, где жил и страдал наш Спаситель. Я позволил себе прервать ярла и спросил, много ли добра он привез домой. Он опять взглянул на меня, лицо его вспыхнуло огнем, я был бледен, глаза наши встретились, у меня за спиной была сила, у него — тоже. Я быстро сказал, чтобы опередить его:

— Как ты знаешь, государь, церковь тоже имеет много добра, на мой взгляд, даже слишком много. В этом смысле мы все одинаковые грешники, и мы, живущие в тиши монастыря, и ты, живущий среди шума сражений и мирской суеты.

Лицо у него смягчилось, он глубоко вздохнул и осенил себя крестным знамением. Я не стал повторять его жест. Наконец он сказал:

— Я уже старый человек.

— И тебя ждет смерть, — согласился я.

Он вздрогнул, лицо у него снова вспыхнуло, одно мгновение казалось, что он вскочит и вцепится в меня. Но он опять обуздал себя и сказал:

— Ты прав, дорогой Бернард, и кто может знать, где воин, подобный мне, встретит смерть, которая приведет его на строгий суд Бога?

— Мягким этот суд не будет, государь.

С каменным лицом он сказал:

— Я могу встретить смерть и на море и на суше, могу утонуть в волнах, и никто не узнает, где лежит мой прах. Но в любом случае душа моя пойдет на Великую Встречу с Богом и вознесенные за меня молитвы могут сделать мою судьбу легче или тяжелее. Поэтому до того, как умру, я должен найти людей, которые станут молиться за меня. Хочу, чтобы за меня молились все священники во всех торговых городах Норвегии. В Нидаросе уже есть такой, как только я умру, он начнет молиться за упокой моей души. В Бьёргуне тоже есть, а теперь я хочу, чтобы такой человек был и в Тунсберге. Будешь молиться за мою душу, Бернард? Я дам в дар тебе и твоему монастырю три усадьбы, одну в Сэхейме и две в Рэ. И когда я умру, в церкви святого Лавранца здесь в Тунсберге у меня будет отдельный престол. И там ты будешь молиться за мою душу.

Он замолчал, я вперил в него взгляд, словно вбил гвоздь в киль корабля. Теперь я видел, что его переполняет что-то более сильное, чем тревога, я бы назвал это страхом. Страхом не перед клинком и, главное, не перед болью, которую испытывает человек, когда клинок входит в его плоть. Нет, это был страх перед тем, что он удивительно точно определил словами — Великая Встреча. Он боялся.

— Государь, — сказал я, — твои слова мало подействовали на меня, а на Бога и того меньше.

Он вскочил, я протянул руку и заставил его сесть. Сказал, что священника он, конечно, найдет, и даже хорошего священника, который будет рад получить свой алтарь и знать, что его дело — всего лишь молиться за умершего ярла. Но мои молитвы не продаются за

его землю. И если я когда-нибудь и продам их, то уж никак не за награбленное добро.

Теперь он сидел неподвижно.

— Мое время не безгранично, государь, — сказал я. — Оно мне нужно не только для того, чтобы молиться за свою собственную душу, но и за тех, кто страдает по твоей милости. Я не называю их безгрешными жертвами твоих грехов. Они тоже виноваты, безгрешных людей нет. Но есть женщины, оставшиеся беспомощными после того, как их мужья пали в сражениях по твоей милости, есть дети, умирающие там, где прошел ты, есть бонды, лишившиеся крова, потому что ты и твои люди сожгли их усадьбы. Я буду молиться за них.

Теперь он уже не вскочил, он принял удар, как подобает мужчине. Как я сам, научившийся терпеть удары своего кнута, научившийся терпеть правду о своей жизни, когда ее говорит тот, у кого хватает на это силы и мужества. Он наклонил голову, перекрестился и сказал:

— Благодарю тебя, дорогой Бернард. Ты суровый судья, я принимаю твой суд. Мне придется найти в Тунсберге другого священника.

— Тебе будет легко найти многих, — сказал я.

Он нашел преподобного Бьярни, этому настырю будет легче нести новую ношу, чем Спасителю — свой крест.

А я остался в Тунсберге в монастыре Олава, и постепенно душу мою отравила горечь. Ибо, кто не разочаруется в спасительной силе самоистязания, если, истязая себя полжизни, больше не находишь в этом удовлетворения? Я перестал спать по ночам. Я почти не видел открытых лиц у тех, кто приходил ко мне в монастырь. Большинство людей при виде меня испытывали не любовь, а страх. Людям стало известно, что я отказал ярлу в его просьбе, и, боясь ярла, они предпочли его мне. Я знал, что никогда не смогу выйти из строгого ордена премонстрантов, если только не предпочту судьбу изгоя. Я был осужден оставаться в этом монастыре до самой смерти. Книги, которые я тайно читал, мои любимые книги, я знал уже наизусть от начала и до конца. И жаждал прочитать новые. Но где бы я мог достать их?

И тут ко мне пришла одна женщина.

По-моему, рассудок у нее был поврежден, она прибыла на корабле, пришедшем с Сельи. Я устроил ее в усадьбе бонда Аслейва, здесь, в монастыре, ей нельзя было оставаться после вечерни. Она кое-что

принесла мне, не книгу, нет, а покрытую воском доску, дар от священника, которого я некогда знал. Симон — горячий человек, теперь он настоятель монастыря на Селье. На воске было написано приветствие от одного слуги Божьего другому. Но когда я стер воск и обнажил дерево, на нем было нацарапано ножом: К тебе придут два молодых человека.

Снова борьба, идущая в этой стране, коснулась меня, вытянула в свой водоворот, одна сторона — другая сторона, я опять оказался в том мире, который ненавижу, люблю и презираю, который требует моего времени, требует, чтобы я стал его частью. И потому, что я отказал ярлу, я обрадовался тайному посланию священника Симона, которого никогда особенно не любил, но тем не менее глубоко уважал.

Об этой женщине надо сказать, что она называет себя дочерью конунга. В этой стране и среди окружавших нас людей это были опасные слова. Я предупредил ее об этом. Я понял, что она была любовницей Симона. Однажды она пришла, чтобы исповедаться мне, со страстью и гордостью, явно не от Бога, она говорила мне о красоте того, что было между нею и Симоном. Я умышленно назвал это красотой. Пусть меня осудят за это при Великой Встрече. Ибо то, что испытала она, всегда жаждал испытать и я и уже никогда не испытаю, и никакое самоистязание не поможет мне это забыть. Но ей нет обратного пути к священнику Симону. Теперь она полна греха и раскаяния, и новой страсти к мужчинам. Ее лицо, когда-то, наверное, красивое, искажено желанием, которых не мог бы удовлетворить даже Симон. Думаю, на свой гордый лад она ищет смерти.

А потом ко мне явились те два молодых человека. Священники с Фарерских островов, красивые и ученые молодые люди. Младшего из них, Аудуна, я полюбил. Я понял, что он относится к тем немногим, кто любит скальдов, песни и висы* и испытывает радость от тяжелых, горячих слов саг. Мы долго беседовали с ним после того, как он исповедался мне. Мы не молились вместе, обычно это мало помогает. Но в те ночные часы, что мы проводили вместе, я пересказывал ему прекрасные песни и предания, которые читал и которые стали моей искупибельной исповедью. И его, думаю, тоже.

* Вид скальдического стихотворения.

Аудун не сильный человек и, может быть, даже не добрый. Он очень уязвим и слаб во многих отношениях, но душе его присуща красота, которую можно найти лишь у того, кто выбрал неправильный путь и уже до смерти не может свернуть с него. А потом пришел Сверрир.

Я встречал в жизни разных людей, но Сверрир не был похож ни на кого из них. Я встречал людей, о коих легко мог бы сказать свое мнение, быть может, не без капли яда, которая однако не разгневала бы человека, но от которой он стал бы мне дороже. Тем не менее, должен признаться, у меня не хватало слов, чтобы выразить свое мнение о Сверрире. Ему был свойственен внутренний жар, какого я не встречал ни у кого. Сверрир подавлял его своей волей, и я скорей угадывал эту волю, чем чувствовал ее. Он был достаточно умен и не пытался обмануть меня. И у него достало мужества исповедаться в своих грехах, ничего не скрыв. Он сказал:

— В своих поездках по этой стране я вожу с собой горький напиток. И не знаю, правильно ли я поступлю или нет, подмешав его кое-кому в пиво. Однако, отец, позволю сказать, что я, а не ты, буду решать, воспользуюсь ли я этим ядом...

— Зови меня Бернард, — сказал я.

— Встань! — сказала я ему, и он поднялся, исповедь была закончена.

Я не читал молитв, не сотворил крестного знамения, как предписывает церковь. Я привел Сверрира в свою келью, усадил его там, закрыл все окна и спросил:

— Когда ты говорил о горьком напитке, который носишь с собой, ты имел в виду человека не низкого происхождения?

— Ты не ошибся, — сказал он.

— Расскажи мне о своей жизни, Сверрир, — попросил я.

Он говорил медленно и кратко, но слова его были точны, скромный, спокойный, он, — сын конунга или нет, у него были сомнения на этот счет — обладал могучей волей и сильным духом. Когда он пришел в монастырь, он был слабее меня, теперь стал сильнее. У меня было тяжело на душе оттого, что он втянул меня в этот кровавый круг, от которого я так долго старался держаться в стороне, и вместе с тем во мне росла радость оттого, что я наконец-то попал в этот круг, стал одним из них, не забытым человеком, хотевшим бы так и остаться забытым, но тем, в ком нуждались люди, бывшие сильнее меня. Я сказал ему:

— По-моему, тот, о ком ты думаешь, заслуживает смерти. Но, мне кажется, за твоей попыткой убить его таким образом скрывается желание бежать.

Я знал одного человека, прибавил я, который пытался таким же образом убить другого...

Он быстро поднял голову, чуть улыбнулся и заметил, что нуждался именно в этих словах.

— Я не из тех, кто бежит, — сказал он, — запомни это.

— Мы все можем оказаться беглецами, — сказал я. — Но в таком случае, Сверрир, сын неизвестного человека, давай станем беглецами вместе.

Сверрир тоже стал моим другом. Он ушел.

Я позабочусь, чтобы Аудун и Сверрир встретились с ярлом Эрлингом, раз он теперь находится в Тунсберге. Это довольно опасно, но и избежать этой встречи тоже небезопасно для них. Выбирая между двумя опасностями, следует выбирать ту, которая честнее и которая дальше продвинет тебя по твоему пути. Сегодня я не стал истязать себя кнутом.

В прошлое лето моя встреча с ярлом, — когда я увидел в его глазах страх, — заставила меня отложить кнут. А теперь вид молодого Сверрира, обладающего тем, чем никогда не обладал ярл Эрлинг. Отныне я буду поддерживать тех людей в этой стране, которые, несмотря на свои грехи, ведут добрую борьбу. Я опять стал человеком, который нужен жизни, а смерть пусть придет, когда настанет ее час. Я больше не боюсь ни жизни, ни смерти.



Ярл Эрлинг остановился в Сэхейме недалеко от Тунсберга. В тот день, когда он сошел на берег, стало известно, что конунг и ярл окажут местным жителям милость, устроив для избранных большой пир. Монах Бернард, разумеется, входил в число приглашенных, и благодаря ему мы со Сверриром тоже попали в их число. Все вместе мы отправились из Тунсберга в Сэхейм. Мы шли босиком и осенняя холодная земля приятно ласкала наши ступни. По пути Бернард читал нам песни о любви на своем странном языке, где за словами угадывались ветер, дождь и солнце, и наши еще не оформившиеся мысли трепетали, не находя слов. Впереди у нас был целый день, и мы часто отдыхали, Бернард вытаскивал из-под широкой рясы небольшой кожаный мех с вином, привезенном из более теплых краев, чем наш, и великодушно позволил нашим губам прикоснуться к нему. День был ясный, по небу скользили легкие облака. Но волнение, владевшее нами перед встречей с ярлом и конунгом, жгло нас внутренним огнем. Предстояла не просто встреча. Мы, посвященные, знали, что это будет встреча двух конунгов.

По дорогам, ведущим к Сэхейму, шли люди. Тут были и бонды из окрестных селений, которым было велено доставить туда масло и другую снедь к столу ярла. И любопытные жены, сбегавшие из дому, чтобы хоть одним глазком взглянуть на важных господ во всем их великолепии. По возвращении домой их, наверное, ждала хорошая взбучка от мужей. Стекались в Сэхейм и старики, и больные, покрытые язвами и всякой паршой, и женщины, потерявшие мужей в сражениях, которые вел ярл Эрлинг, и надеявшиеся вымолить себе хоть какое-нибудь вознаграждение. Кое-кто шел в Сэхейм в церковь, надеясь встретить там Бога. Эти, верно, думали, что Сын всемогущего Бога и Дева Мария скорее услышат об их страданиях в то время, когда человек, обладающий столь безграничной властью, собирает в Сэхейме большой пир. Во многих местах на дороге была выставлена стража. Ярл был умный человек, он не ложился в постель, не убедившись, что может спокойно предаваться радости с той из наложниц, с которой попытается быть мужчиной. Нам троим было не легче миновать эту стражу, чем всем остальным. Мы подробно объясняли, кто мы такие, — стражи получили строгий на-

каз относиться с подозрением даже к людям, облаченным в одежды служителей церкви. Один дружинник дважды ощупал наши ряссы, он хотел убедиться, что мы не прячем под ними оружия. Но мы трое только послушно смеялись, а Бернард помахал мехом с остатками вина и страж тоже засмеялся. Мы принесли ему удачу.

Когда мы шли уже дальше, Сверрир сказал:

— Я тоже несу с собой мех...

Я сказал:

— И у тебя в нем не молоко, но ты обещал не утощать ярла своим напитком.

Бернард сказал:

— Если тебя разденут догола, тебе придется умереть голым.

Сверрир сказал:

— Ярл не труслив, но мне надо убедиться, что я не трусливее его.

Я сказал:

— Все, кому следует, Сверрир, знают о твоём бесстрашии. Нести оружие, которое не собираешься пустить в ход, значит отягощать себя ненужной ношей.

Бернард сказал:

— Высокомерие не всегда бывает заметно людям, но оно хорошо видно Богу. В твоей игре со смертью, Сверрир, есть нечто, что ставит тебя выше ярла, но ниже конунга.

Сверрир сказал:

— Вы оба любите слова и не прикрываете их никакой дымкой. Я благодарен вам за добрый совет, но умно ли я поступлю, если последую ему?

Бернард сказал:

— Добрый совет — не тяжелая ноша, горькое питье куда тяжелее.

Я сказал:

— Но смерть будет еще тяжелее.

Сверрир сказал:

— Многие несут такую же ношу и не согласны отказаться от нее. Моя жизнь — это моя жизнь, больше мне нечего нести.

Я сказал:

— Высокомерие может сделать человека сильным, а ты и так не слаб.

Бернард сказал:

— Свою смерть ты можешь нести, если хочешь, но понимаешь ли ты, что несешь и нашу?

Сверрир сказал:

— Никто не имеет права презирать великое испытание, которому жизнь подвергает мужчину, особенно, если тот, кто его презирает, не так смел, как он.

Я сказал:

— Сын оружейника может, конечно, рисковать и своей жизнью и жизнью других, даже если в этом нет надобности. Но сын конунга, Сверрир, имеет право требовать, чтобы его люди приняли смерть, только когда он к этому вынужден.

Сверрир сказал:

— Сын я конунга или нет, во мне есть сила конунга, если не его кровь. Конунг должен иметь право испытывать смелость своих людей, а также и собственную смелость.

Бернард сказал:

— Конунг должен иметь мужество признать собственную смелость, и не подвергая ее испытанию. В стране норвежцев много подходящих болот и озер, и в любом из них хватит места для твоего пузыря с ядом.

Сверрир сказал:

— Но здесь вокруг люди, и если я сейчас отвяжу свой пузырь и вылью его содержимое, это непременно заметят. Многие способны удивляться увиденному и сообщать о том, что видели.

Бернард сказал:

— Мне тоже надо опустошить пузырь, но я не могу его отвязать.

Мы отлили из своих пузырей, как это делают мужчины, Сверрир стоял между нами, он вытащил из-под одежды небольшой пузырь, развязал его и вылил содержимое.

— Если я сейчас проявил трусость, я отнесусь к этому как храбрый человек, — сказал он. — Теперь мой пузырь пуст, как голова дружинника, и менее опасен, чем она. Спрячь его, Аудун, и лучше бы больше не наполнять его, хотя нужда может заставить сделать и это.

На последнем посту перед Сэхеймом стояли наши друзья с Сельи, братья Эдвин и Серк из Рьодара. Мы обрадовались друг другу, они рассказали, что последнее лето всюду сопровождали ярла, они собирались прослужить у него еще зиму или две, а потом вернуться до-

мой в свою усадьбу. Оба теперь выглядели старше и были не такие веселые, как на Селье. Впрочем, горячности ничего стоило вспыхнуть в них, но и горечи тоже. Сверрир сказал:

— Я всегда рад встретить друзей.

Они ответили:

— Мы знаем тебя, Сверрир, как верного друга!

Дома в Сэхейме сверкали свежими бревнами, их только недавно срубили после пожара, случившегося тут несколько зим назад. Церковь была каменная и прочная, как слово Господне, она была небольшая, стройная, ее окружало кладбище и невысокая ограда. Мы зашли в церковь, чтобы помолиться. Там было несколько человек, перед Девой Марией лежала расprostертая женщина, видно, ноша ее была тяжелее, чем могли выдержать ее хрупкие плечи. Пожилой человек сидел на лавке у стены с таким видом, будто дожидался смерти и Божьего суда. Когда мы вошли туда — три служителя Божьих, в рясах и с торжественностью на лицах, не соответствующей тому, что чувствовали их сердца, — этот человек сделал движение встать и подойти к нам. Неожиданно Бернард спросил:

— Это ты, Бьярти?

— Да, — ответил он и слегка поклонился Бернарду, — это я, но хотелось бы мне, чтобы это был другой человек.

Бернард сказал:

— Я был священником в Рэ, и у меня там есть друзья, Бьярти был работником в Линустадире. С тех пор он мой друг.

— Сейчас мне требуются друзья, — сказал Бьярти.

Казалось, боль и горе на мгновение исчезли с обветренного лица человека, стоявшего перед нами. При виде своего доброго друга Бернарда он как будто даже помолодел. Бернард достал свой мех с вином. Бьярти истомился от жажды — мало радости досталось бы тому, кто приложился бы к меху после него.

— Мы не покинем тебя, пока ты не вернешь нам полученную радость, — сказал Бернард и засмеялся.

Бьярти сказал:

— Радости я не могу предложить тебе, только горе, но оно ее вряд ли заменит. Эта женщина — моя дочь, ее зовут Гудвейг, сегодня — она еще непорочна, завтра — уже нет. Она идет к конунгу Магнусу.

Мы помолчали, пряча глаза, потом Сверрир сказал:

— Пузырь, что у меня был, теперь пуст. А то я мог бы угостить конунга его содержимым.



Лицо Бьярти исказилось от муки, он был бедный человек. Его одежда заскорузла от пота и грязи. Глаза его стали бездонными от тяжелых мыслей, и, я думаю, он хорошо знал, что подобает, а что не подобает настоящему мужу. Он подвел нас к молодой женщине, которая молилась, стоя на коленях, и сказал:

— Это моя дочь Гудвейг, через две ночи ее отдадут в наложницы конунгу Магнусу. Конунг выбрал не ее. Конунг выбрал другую, но отец той девушки потребовал, чтобы вместо его дочери пошла моя.

Пока Гудвейг стояла на коленях перед Девой Марией и молилась голосом, напоминавшем журчание ручья в ночное время, он рассказал нам ее историю. Конунг Магнус ездил, чтобы взглянуть на поле сражения, где его отец одержал победу, когда сам Магнус был еще ребенком. Его это не больно интересовало, мало он там увидел и мало хотел увидеть. Но возвращаясь в Тунсберг, чтобы приветствовать своего отца ярла с приездом, он остановился в усадьбе Линустадир. Хозяин усадьбы не успел велеть своим дочерям изодрать платья и измазаться сажей, чтобы они стали похожи на дочек рабов. Не успел он и запереть их до того, как гости нагрянули в усадьбу. Конунг столкнулся на дворе с одной из дочерей. Она была красива, и он дрогнул. Утолив жажду, он собрался ехать дальше и велел одному из своих людей приказать бонду, чтобы он отправил свою дочь в Тунсберг через четыре ночи. Конунг уже не первый раз таким образом выражал людям свое расположение. И бонд знал: если через четыре ночи его дочь не придет к конунгу сама, на пятую ночь ее приведут туда силой.

— Хозяин Линустадира, у которого я живу в работниках, рассудил, что будет лучше, если к конунгу отправится моя дочь, — продолжал Бьярти. — Девушки немного похожи друг на друга, а там их соберется много. Говорят, конунг к ночи бывает хмелен от пива, и уже не думает о своем мужском достоинстве. Хозяин сказал мне: Твоя дочь или твой сын.

Вы же знаете, ярлу и конунгу всегда не хватает воинов. Бондам приходится отдавать им своих сыновей, но не думайте, что они делают это с радостью, нам в усадьбе нужны люди и для работы и для того, чтобы охранять усадьбу и от путников и от грабителей. Если я откажусь послать Гудвейг вместо дочери хозяина, он отдаст конунгу моего сына вместо своего. Не знаю, что и делать? Если они отправят моего сына на войну, он не вернется с нее живым. Тела его я тоже не получу, для этого он слишком низкого происхождения. Уж лучше отдать конунгу Гудвейг. Она, может, еще и вернется обратно. Конечно, цена ей будет уже не та, побывав в наложницах у конунга она потеряет привлекательность для сына какого-нибудь бонда. Но что поделаешь...

Бьярти был человек трезвый, и сердце у него было доброе. Думаю, его рана не заросла до последнего дня. Но она была бы еще глубже, если б он поступил иначе. У него не было выхода, и он понимал это. Он не плакал там в церкви. Дочь его молилась, теперь громче, чем раньше, и мы, трое мужчин в рясах с капюшонами, были слишком потрясены, чтобы прибегнуть к нашему обычному оружию: мы даже не сотворили крестного знамения.

Бьярти спросил:

— Получит ли Гудвейг прощение за грех, в котором она не повинна? И который ее принуждают совершить, как обычную рабыню?

— Да, — ответил Бернارد, старший из нас троих, и прибавил: — Я сам исповедую ее, если это утешит тебя, Бьярти, и она тоже, может, найдет в этом утешение.

Бьярти сказал:

— Гудвейг всегда была робкой и в словах, и в чувствах, ей тяжело оттого, что люди знают, через что ей придется пройти. Она помнит тебя, Бернارد, с тех пор, как ты был нашим священником в Рэ. Она всегда почитала тебя, это правда. Но именно поэтому ей было бы тяжело исповедаться тебе теперь, когда для нее, как для непорочной, это будет последняя исповедь.

Бернارد сказал:

— Так может говорить только очень заботливый человек, Бьярти, и это не умоляет достоинства Гудвейг. Поэтому я попрошу одного из моих друзей — Аудуна, он лучше других поймет чувства молодой женщины — исповедать ее и дать ей отпущение грехов.

Так мы и сделали.

Они трое вышли из церкви, и я поздоровался с Гудвейг. Она была красивая девушка. Мне и потом в жизни приходилось здороваться с Гудвейг, йомфру Кристин, но тогда она уже не была так же красива, как раньше.



Гудвейг опустила передо мной на колени, ее лицо в сумерках казалось мне проблеском луны над беспокойным морем. Я попросил ее рассказать мне все, что наполняло ее сердце. Тихо и односложно она говорила о своих проступках перед родителями, о недобрых словах, брошенных ею братьям и сестрам, о горячности, в которой теперь раскаивалась. Это было мягкое раскаяние молодой женщины в своих незначительных грехах. Меня охватило доброе чувство к ней и ненависть к конунгу, который уже на другую ночь получит от нее то, что имеет право получить лишь супруг и пылкий любовник. Она стояла передо мной на коленях, и ее голос долетал до моих ушей, словно голос далекого берега, я невольно вспомнил оставшуюся дома Астрид и мою тайную любовь к ней. Вдруг Гудвейг сказала:

— У меня есть жених...

Я уже знал об этом от ее отца. Женихом Гудвейг был сын бонда из Ботны, его звали Дагфинн, это нам сказал Бьярти. На другую весну они собирались сыграть свадьбу, и время от времени Дагфинн проделывал долгий путь из Ботны в Рэ, чтобы повидать Гудвейг, но они соблюдали все приличия.

— Я жду Дагфинна, он должен скоро прийти... — сказала Гудвейг. — Но... — Я вдруг насторожился, ее лицо выступило из сумерек и приблизилось к моему. — Я таю в сердце грех, о котором знает Господь и теперь должен узнать ты! Меня сжигает страсть к конунгу, и она гораздо сильнее той, что я чувствую к своему жениху, когда он приходит в усадьбу...

Прежде чем я успел что-либо сказать, она горячо проговорила голосом взрослой женщины:

— Я должна исповедаться тебе во всем, в каждой своей мысли, в каждом желании, какое смущает меня. Я испытываю к конунгу боль-

шую страсть, чем когда-либо испытывала к Дагфинну. И нынче ночью, когда я лежала без сна, во мне затеплилась надежда, что, может быть, конунг воспылет ко мне такой же страстью, какой я пылаю к нему. Ведь раньше уже случалось, что дочь простого бонда становилась единственной женщиной в жизни конунга.

— Это случалось, но нечасто, и я не верю, что это случится с тобой.

— Твое недоверие украшает тебя, — сказала она. — Да, мысль о том, что ожидает меня, причиняет мне боль, однако радость моя больше этой боли.

Я молчал, она тоже умолкла. Через некоторое время я сказал:

— Гудвейг, ты не больше грешница, чем я и все остальные грешники, и по дороге из Сэхейма в Тунсберг читай все молитвы, какие знаешь. А в Тунсберге, прежде чем пойдешь к конунгу и найдешь там радость или горе, ступай в церковь святого Лавранца и помолись там, но молись долго и горячо. Я отпускаю тебе твои грехи, так велит мне мой долг, и я знаю, что Господь простит тебя так же, как он прощает людей с сердцами куда более низкими, чем твое. Но Дагфинн, Гудвейг, никогда не простит тебя.

И я ушел.

Гудвейг тоже ушла. Сегодня я в первый раз за свою жизнь нарушил тайну исповеди, йомфру Кристин, открыл то, что было достоянием только моего сердца. Я сделал это потому, что перестал быть священником, а стал воином, и еще потому, что знаю: ты сохранишь эту тайну лучше, чем я. Я открыл тебе это, ибо хочу, чтобы дочь конунга Сверрира увидела бездну человеческого сердца и поняла, что вид их доставляет мало радости. Гудвейг ушла, а дальше случилось вот что:

Утром пришел Дагфинн. Я расскажу тебе об этом сейчас, хотя до того в Сэхейме и Тунсберге случилось и многое другое. Дагфинн пришел в Линустадир, ему сказали правду и он отправился за Гудвейг в Тунсберг, она была уже в доме у конунга. Дагфинн сидел в трактире Ивара, бранился и плакал. Он умолял воинов — один из них был Эдвин из Рьодара — помочь ему проникнуть в усадьбу Аслеива, где конунг остановился и в этот раз. Но воины только смеялись. Они безжалостно насмеялись над ним, и Эдвин из Рьодара, должно быть, совсем озверевший за тот год, что провел с ярлом Эр-

лингом, оказался самым подлым из всех. Он вытащил меч и глубоко воткнул его в земляной пол, он стоял над ним, втыкал все глубже и глубже, и смеялся:

— Вот так, Дагфинн, вот так и именно сейчас, ты только смотри... Ха-ха-ха!

И все смеялись над мукой Дагфинна.

Тогда пришла Гудвейг. Конунг выгнал ее из усадьбы.

Он запомнил ту женщину, которую велел прислать к нему, и сразу увидел, что Гудвейг не она. Он выгнал ее, но не бил, стража видела, как полуодетая Гудвейг выбежала из покоев конунга, глупая, она даже плакала, что осталась нетронутой. Потом конунг послал двух человек в Линустадир, но это уже другой рассказ. Итак, Гудвейг пришла в трактир в Тунсберге, в тот самый трактир, который и по сей день держит Ивар. Там сидели пьяные воины и среди них ее жених Дагфинн.

Тогда все узнали, что конунг прогнал ее.

Этого смеха не снес бы ни один мужчина, йомфру Кристин, а Дагфинну и до того уже пришлось вытерпеть немало. Он убил Эдвина из Рьодара, зарубил одним ударом, Эдвин упал, и его кровь хлынула на земляной пол. Воины сбили Дагфинна с ног и посадили его в подземелье в усадьбе Аслейва. Дело было простое, они могли бы и сразу зарубить его, но им хотелось позабавиться с Дагфинном прежде, чем он встретит смерть. Потом я узнал, что о случившемся доложили ярлу и он сказал: Повесьте его.

В ночь перед тем, как Дагфинна должны были повесить, пятнадцать воинов надругались над Гудвейг. В благодарность они отпустили Дагфинна — у многих из них было незлое сердце, а держать язык за зубами они умели. Ярл не был помехой. У него были другие дела и было недосуг проверять, повесили или пощадили какого-то бонда. В ту ночь я спал в монастыре, утром ко мне постучали.

Это пришли Гудвейг и Дагфинн. Они покидали Тунсберг. На одной щеке у Гудвейг был багровый шрам. Дагфинн сказал:

— Я не смог простить ей, что ее познали другие мужчины, и поэтому ударил ее...

Оба были уже не те, что раньше, да и я тоже. Я склонил голову и благословил их, они ушли. Они пошли в Рафнаберг, где ты и познакомилась с ними, йомфру Кристин.



Когда наступил вечер, мы узнали, что большой пир в Сэхейме отложен на другой день. Какая-то женщина пыталась проскользнуть мимо стражей к ярлу, сидевшему за чаркой пива. Женщину звали Катарина, она была монахиней на Селье, а теперь.— пришла в Тунсберг. Ее обыскали, обнажив тело, к которому, по обету, данному ею в юности, не должен был прикасаться ни один мужчина, между грудями у нее нашли пузырь с ядом. Ее привезли в Тунсберг и бросили в узилище.

Эта новость не могла нас обрадовать, и умный Бернард сказал, что эту монахиню уже ничто не спасет. Ни епископ, ни кто-либо другой не станет просить за женщину, намеревавшуюся приподнести ярлу смертельное зелье. Бернард обычно хорошо владел собой. Однако теперь он достал свой кожаный кнут. Он взял его в руку, словно хотел защитить себя этим знаком своей святости.

— Никому не дано знать, кого подозревает ярл и как он решит использовать этот случай. Большой любви ярл ко мне не питает. Моя защита в том, что многие считают меня скорее святым, чем чувствительным.

Он коротко усмехнулся, мы тоже. Потом мы снова пошли в сэхейскую церковь, там мы чувствовали себя в большей безопасности. Даже ярл Эрлинг не посмел бы захватить служителей Бога в помещении церкви.

Сверрир сказал:

— За ней стоит священник Симон.

Бернард сказал:

— Может быть, это и неплохая мысль считать, что за каждым, у кого есть пузырь с ядом, стоит Симон священник. Но возможно также, что у Эйстейна Девчушки в Тунсберге больше друзей, чем мы думаем.

Сверрир сказал:

— Да поможет нам Бог, да не позволит Он ярлу узнать о них.

Бернард сказал:

— Будет плохо, если он узнает о каждом не расположенном к нему священнике. Но еще хуже, если он узнает о сыне конунга.

Сверрир ничего не сказал на это, но потом заметил, что тот, в чьих жилах течет кровь конунга, или он только так считает, поступит умно, если будет молчать об этом, пока сила его оружия не сравняется с силой его слова. Потом он спросил, когда должны повесить эту женщину с Сельи, и посмотрел на Бернарда.

— Или отрубить ей голову, — сказал Бернард. — Говорят, теперь, в старости, ярл предпочитает не вешать своих врагов, а отрубать им головы. Так он являет людям свою доброту. Умереть в петле более позорно, чем от меча.

Сверрир спросил:

— Кажется, у конунга Сигурда здесь в стране много сыновей и дочерей?

— Хо-хо! — засмеялся Бернард. — Старые люди, сохранившие о нем память, могут рассказать, что в этом конунг Сигурд не имел себе равных. Он был молод, красив и неутомим по ночам. Он был настолько неучтив, что покидал ночное ложе, даже не спросив имени той, что делила его с ним. Ты думаешь, что, может быть, она твоя сестра? — Он поглядел на Сверрира.

Сверрир не ответил, лицо его потемнело, и Бернард понял, что слова его не принесли Сверриру радости. Начался дождь, мы стояли на пороге церкви, в Сэхейме было тихо. Стражи укрылись от дождя в домах и сараях. Ничто не говорило о том, что ярл намерен проверить, не прячет ли кто-нибудь, кроме Катарины, под платьем пузырь с ядом.

Бернард сказал:

— Хороший совет мы дали тебе по дороге сюда. Сейчас было бы тяжело нести этот пузырь.

Сверрир сказал:

— Ярлу пришлось бы тяжелее, если бы у меня хватило смелости прийти сюда с ним.

Мы увидели идущего к нам человека.

Да, по кладбищу под дождем к нам кто-то шел, может, у этого человека был острый слух и он слышал, о чем мы говорили? Облик его был мне знаком, это был мой отец. Да, да, это был мой добрый отец Эйнар Мудрый, которого я не видел с тех пор, как его увезли заложником в Норвегию. И вот мы с ним встретились в церкви в Сэхейме, здесь, в стране норвежцев.



В присутствии Бернарда и Сверрира мой добрый отец Эйнар Мудрый обнял меня и положил голову мне на грудь. С волнением и со слезами на глазах он сказал, как было бы хорошо, если бы здесь была и моя мать. Но он был стойкий человек и не собирался донимать других своей болью, я тоже. Он спросил, не можем ли мы с ним вместе поесть.

Бернард сказал, что думал о том же.

— У монастыря Олава есть тут поблизости усадьба, она называется Аули, мы можем пойти туда.

Мы поблагодарили его и пошли в Аули. Бедная хозяйка выставила на стол лучшее, что у нее было, и покинула нас. Говорил Эйнар Мудрый. Он рассказал, что Унас, приемный отец Сигурда, сейчас в Нидаросе, он оружейник у сборщика дани Карла. Рассказал он и о том, как получилось, что он сам теперь уже не заложник, а может называть себя свободным человеком, хотя это слово не много значит для тех, кто живет в стране ярла Эрлинга Криво-го. Так вот, Карл и его люди встретили конунга Магнуса в Бьёргюне. Эйнар Мудрый пошел со всеми в гридницу конунга, но его туда не пустили. Тогда он сказал конюшью конунга: Нынче ночью я видел тебя во сне.

И ушел.

Этого конюший не мог вынести, он велел вернуть Эйнара и грозно спросил, что же ему приснилось. Эйнар Мудрый ответил, что свои сны ему легче истолковать, чем чужие, и что предупреждение порой нести тяжелее, чем многие думают. Но раз уж он видел во сне конюшью, он все-таки расскажет ему при свете дня то, что увидел в ночной темноте. Во сне конюший сидел за столом конунга. Его отделили от конунга три человека, конунг толкнул одного из них и велел освободить для конюшью место рядом с собой.

Конюший не мог устоять перед таким сном. Он дал Эйнару Мудрому большой кусок серебра, а серебро всегда легко носить, сколько бы оно ни весило. Но Эйнар Мудрый потребовал более высокую плату. Он сказал: Еще я видел во сне конунга.

— Что тебе приснилось о конунге?

— Об этом я могу сказать только ему самому.

На другой день Эйнара Мудрого позвали к конунгу. Конунг явил ему свою милость, но сам он был мрачен после бессонной ночи и похмелья, смущен и немного встревожен тем, что скажет ему этот толкователь снов. Эйнар Мудрый сказал конунгу:

— Не знаю, пристало ли мне рассказывать о том, что мне приснилось, потому что я видел во сне не только конунга.

— Все равно, говори, что ты видел.

— Я видел орешник, что растет по всей Норвегии. Деревья были усыпаны орехами, конунг шел и срывал орех за орехом. И щелкал один за другим, одни он щелкал пальцами, другие ногой, и из каждого ореха появлялась молодая женщина и падала перед конунгом на колени.

Конунг Магнус засмеялся, и его мрачное лицо осветилось радостью. Он сказал, что толкователь снов — мудрец и умеет развеселить человека. Если хочешь, можешь сопровождать меня и мою дружину, когда мы поедem в Вик, сказал он. Так и случилось. И вот Эйнар Мудрый здесь.

Мы все смеялись, на столе было пиво, но в глубине души меня мучило, что молодой любовнице Симона очень скоро придется положить голову на плаху на глазах у толпы. Я гнал от себя эти мысли, ни я сам, ни другие не хотели говорить сейчас о своих тревогах и огорчениях. Наступила ночь, дождь не утихал, Сверрир сидел молча, погруженный в свои думы.

— Мы здесь одни? — спросил Эйнар Мудрый.

Бернард сразу понял его, встал и осмотрел дом, в доме никого не было. Хозяин, его бедная жена, работницы и работники ушли спать в хлев, предоставив дом в наше распоряжение. Эйнар Мудрый сказал, что однажды к нему пришел некий человек:

— Я не имею права назвать его, но знаю одно: когда он ушел, он был и доволен и недоволен. И я обещал передать дальше весть, с которой он приходил ко мне.

Эйнар Мудрый говорил тихо, мы молчали. Он продолжал:

— Конунг Эйстейн, которому дали прозвище Девчушка, стоит со своими людьми в Упплэнде, сопредельном со Швецией, и он легко может получить там прибежище, если ярлу Эйнару удастся изгнать его из страны. Он не самый великий конунг, думаю, были конунги и посильнее его. Но все, на кого он не навлек позора бесчестия, тем не

менее глубоко уважают его. Он собрал немалое войско, ведь есть много людей, чьи отец или брат были убиты ярлом Эрлингом. Есть в его войске и чистые разбойники, ведь всем нужна и пища и одежда. Поэтому не все жалуют его берестеников. Однако многие смотрят на молодого конунга с большой надеждой. В Трёндалёге люди ненавидят сборщика дани Карла и весь тот сброд, что ярл и его сын конунг Магнус отправили туда. Они только ждут своего часа. В Теламёрке бонды поклялись в верности некоему Хруту. Люди ярла, требовавшие с него дани, сожгли его усадьбу. И Хрут дал клятву, что прольет либо свою кровь, либо кровь ярла. Хрута поддерживает первый человек в стане берестеников — некто Сигурд из Сальтнеса. Ходят слухи, и, думаю, это правда, что отряды из Упплэнда и Теламёрка должны встретиться зимой южнее Осло и оттуда направиться в Тунсберг.

Эйнар Мудрый говорил медленно и тихо, как всегда. Теперь его голос звучал мрачно, но мы не могли бы неправильно истолковать его слова.

— Я должен исхитриться и предупредить всех добрых людей в Тунсберге. Людей, которые будут молчать, пока не настанет день, а тогда мы соберем горожан и вцепимся ярлу в загривок. Это небезопасно. И для них, и для меня. Мне называли в Тунсберге только одного человека: монах Бернард. Надеюсь, ты на меня не в обиде, что я знаю о тебе больше, чем тебе хотелось бы?

Бернард сказал, что он ждет того дня, когда люди будут размахивать мечами с большей силой, чем он своим кнутом, когда истязает себя. Для меня нет иного пути, чтобы потом ни случилось.

— Я тоже терпеливо тебя слушал, Эйнар, — сказал Сверрир. — Но скажи: ведь ты не случайно не назвал Аудуна и меня в числе людей, которых ты намерен собирать в Тунсберге? Или я ошибаюсь?

Эйнар Мудрый помолчал, потом сам задал вопрос:

— Зачем я поступаю так, а не иначе? На этот вопрос нет ответа, вернее их много. Думаю, прежде всего, потому, что однажды видел, как ярл Эрлинг Кривой повесил сына своей жены. Возможно также, в тот день, когда они увезли меня заложником из Киркьюбё, я поклялся горячее, чем было угодно Богу, отомстить моим обидчикам. Я знаю одно: для меня нет иного пути, что бы потом ни случилось!

Я заметил, что он мрачен. Эйнар Мудрый понимал: куда пойдет Сверрир, пойду и я. Эйнар Мудрый понимал: скажи он слова, которые заставят Сверрира ринуться в борьбу, те же слова заставят ринуться в борьбу и его собственного сына.

— Кто-то вас здесь знает, — сказал он. — Мне сообщили, что вы в Тунсберге. Я не имею права называть говорившего. Это сильный, суровый и непримиримый человек, он священник, как и вы, священники нынче поднимают меч с тем же рвением, с каким раньше поднимали щепки от святого креста Господня. Он прибыл с Сельи и имеет здесь большие связи, даже с конунгом Эйстейном, который сейчас прячется в лесах Упплэнда. Один церковный служка босиком прошел туда через горы с молитвой на устах и тайным сообщением. Говорят, он нашел конунга. Так конунг узнал о вас.

Эйнар Мудрый встал и снял с себя чулки, в одном из них было письмо, написанное на пергаменте.

— Конунгу нужны люди, — сказал он. — Он полагается на слова Симона, который утверждает, что ты, Сверрир, обладаешь многими талантами, которых нет у других. Вот письмо от конунга.

Сверрир прочитал письмо, сперва про себя, потом вполголоса, мы склонились к нему. Конунг писал, что он приветствует молодого друга и брата во Христе. Ты должен отправиться в Швецию к моему родичу ярлу Биргиру Улыбке и попросить его отправить в Вик помощь, которая нам потребуется, если Всевышний не лишит нас своей милости.

Эйнар Мудрый объяснил нам, что ярл Биргир Улыбка женат на сестре конунга Сигурда. Таким образом она находится в родстве с конунгом Эйстейном, и ее муж уже оказывал Эйстейну хорошую помощь.

— Видишь ли, Сверрир, конунг Эйстейн посылает вести не только ярлу в Швецию, — продолжал Эйнар Мудрый. — В другие концы страны тоже отправлены люди. Или, — он взглянул на Сверрира, — ты отказываешься идти путем конунга?

Сверрир встал.

— Теперь достаньте мне иглу с ниткой, — сказал он, — я хочу пришить письмо конунга к платью как можно ближе к телу. Но сперва, Эйнар, я отвечу тебе на твой вопрос: Я пойду и своим путем и путем конунга.



Когда мы шли в Сэхейм на встречу с ярлом Эрлингом и конунгом Магнусом, нас всех переполняла тревога. Мы шли гуськом, как корабли: первым шел Бернард, за ним — я, замыкал шествие Сверрир. Мы видели людей из Тунсберга и окрестных селений, идущих на ту же встречу: бондов и горожан, пасторов и монахов. Рясы на многих были сильно потерты, некоторые несли с собой священные сосуды, принадлежавшие их церквам. Чаще всего это были бедные, изготовленные тут же вещи, отполированные руками, привычными к земле и навозу, а не к пергаментам и Священному писанию. Двор усадьбы охраняли воины, среди них был и конюший конунга. Он с достоинством, но без сердечного тепла приветствовал нас и показал нам дорогу.

Никогда прежде я не видел таких богатых палат, и Сверрир тоже. В большом переднем покое, куда нас проводили, стены были завешаны коврами. Там ждали два отрока с горящими факелами, чтобы проводить нас дальше. Наверное, это были сыновья наложниц и лучших из дружинников, теперь их взяли в услужение к конунгу. Большой чан с водой стоял наготове — вдруг кто-нибудь из слуг по недомыслию подожжет бревенчатую стену или уронит огонь на покрывавшие пол шкуры. Мы были босиком, все трое, медвежьи шкуры были мягкие и приятные, мы шли словно по свежему снегу. Но этот снег таил в себе жар, ощущение удовольствия и почтения поднималось по ногам и передавалось всему телу. Мы ждали, выстроившись в ряд, от факелов в покое было жарко, от окружавших меня мужей разило потом. Через некоторое время нас ввели в другой, еще больший покой.

Такого покоя я тоже не видывал, его можно было сравнить только с церковью, возведенной в честь Господа Бога. Здесь пол тоже был устелен шкурами, и нога долго искала кусочек голой земли. Покой был огромный, мне казалось, что нас троих выставили напоказ в середине, так далеко было от нас до стен. Нас окружали люди, тоже словно выставленные напоказ. Здесь нас уже никто не приветствовал.

Двери распахнулись, и вошли восемь молодых служителей с горящими факелами, за ними в два ряда — молодые служанки, каждая несла в руках рог. Я даже не успел заметить, как у каждого из нас

оказался в руках рог. Это был мед, тяжелый и крепкий, как рука врага, сжавшая твоё горло. Бледное и худое лицо Бернарда медленно налилось краской. Сверрир пил осторожнее, чем мы. Я же быстро осушил рог, позволив питью опуститься, а мужеству подняться, беспокойства и страха как ни бывало. Мне слышалось, а может, чей-то голос и в самом деле позвал: Катарина?..

Двери снова распахнулись, мы сразу расправили плечи, двое священников перекрестились. Сам я склонил голову и согнулся, чтобы приветствовать конунга и ярла с почтением, на какое они имели право. Но это был не ярл, и не конунг. Это были два крепких человека в воинских доспехах с рожками в руках, мы, не видевшие чужих стран и не знавшие чужих обычаев, называли их рожечниками. Но с тех пор, как ярл вернулся домой из Йорсалира, он называл их герольдами. Герольды затрубили в рожки, громкий, всепроникающий звук вознесся к потолку, проник сквозь стену торжественности и беспокойства, окружавшую нас, и достиг наших сердец. Казалось, будто ярл и конунг собственной рукой прикоснулись к нашим сердцам, чтобы проверить, не перестали ли они биться. И пока мы так стояли, и пока герольды отдавали рожкам весь воздух, который наполнял их легкие, двери опять распахнулись, но я не видел, кто их распахнул. Однако никто не вошел. Мы замерли с открытыми ртами — ведь никто не вошел, и двери снова медленно закрылись. И опять я не видел, кто их закрыл.

Наконец герольды кончили трубить и опустили рожки, они стояли подобно каменным столпам, никто не произнес ни слова. Лишь колебалось пламя факелов, в зале их было не меньше двадцати — двадцать неподвижных факельщиков с пылающими факелами в руках. И ни одного слова. И вдруг нас, словно удар кулака, оглушил глас рожков, я даже не заметил, когда герольды снова поднесли их к губам. Двери распахнулись. Вошел конунг.

Он был красивый и одет красиво, как женщина, у него была легкая поступь, веселое лицо, широкие плечи, в глазах еще сохранилось что-то детское, приветствие его было учтиво. Он отвесил нам легкий поклон, мы ему — глубокий. Когда же я распрямлялся, я, словно мертвец, лежащий на земле, снизу, увидел седого, пожилого человека в сером платье, его голова криво сидела на плечах, медленно, мелкими шажками он шел к нам. Это был ярл.

Мы опять отвесили поклон, еще более глубокий: я не дышал, пока у меня хватило на это сил. Чуть не задохнувшись, я стал шумно хватать ртом воздух — это был обиженный, громкий, обжигающий вздох, но кругом каждый старался справиться с собственным дыханием и никто не обратил на меня внимания.

Теперь я видел только двоих, конунга и ярла. Между факелами и воинами они медленно переходили от группы к группе. Священники, монахи и бонды по очереди называли свои имена. Конунг обращался к каждому с приветливыми словами, ярл ограничивался внимательным взглядом. Говорили, что, пока ярл молчит и подозрительно смотрит на человека, тому нечего опасаться. Если же ярл нарушал молчание и рассыпался в дружеских уверениях, можно было не сомневаться, что вскоре воины ярла схватят и повесят того человека. Пока ярл шел к нам, он почти все время молчал. Я осмелел и не спускал глаз с конунга, который шел впереди.

Йомфру Кристин, разреши мне рассказать тебе о конунге Магнусе и его отце ярле Эрлинге Кривом, сын был слабый человек, отец — сильный. Сын питал слабость к женщинам, в их присутствии он расцветал, и пиво предпочитал оружию, что не могло нравиться ярлу, любившему сына с такой страстью, которая даже его заставляла совершать опрометчивые поступки. Конунга строго воспитывали в детстве, он больше доверял мечу, чем слову, не очень сообразительный, он мало на что был способен, если рядом с ним не было умных людей. Тем не менее почти все любили его. В нем не было той бездны, какая была в его отце и из-за которой мало кто в стране питал к нему добрые чувства. Ярл был способен повесить ребенка и годами преследовать какого-нибудь недруга, он был безжалостен, но умел ловко скрывать свою неспособность к милосердию, а если требовалось, показывал и силу. Сын получил корону и гордо носил ее, однако права на нее не имел. Отец его никогда не был коронован, хотя и обладал всеми качествами, необходимыми тому, кто носит корону. Ни лицо его, ни душа красотой не отличались.

Теперь они приближались к нам.

Впереди шел сын, я уже слышал его голос, приятный, очень подходящий для того, чтобы произносить безразличные слова.

Он говорил с священником из Рэ, преподобным Магнусом, конунга развеселило, что они со священником тезки. Преподобный Магнус смиренно заметил, что это имя слишком хорошо для священника и что его неумным родителям на Судном Дне еще попеняют за их высокомерие. Конунг громко засмеялся, видно, ему понравились эти слова.

За конунгом шел ярл.

Эрлинг Кривой умел смотреть на людей, молча, не мигая, казалось, будто его сердце переставало биться. Тот, к кому ярл обращался, начинал заикаться, однако ярл не спешил помочь бедняге оправиться от смущения. Он только стоял и смотрел, не враждебно, не раздражаясь из-за того, что чья-то неспособность произнести нужные слова задержала его. Он стоял, смотрел и все слышал — и молчал, а потом двигался дальше, оставив за спиной перепуганного на смерть человека.

Бернард приветствует конунга. Они уже встречались раньше, и Бернард напоминает ему об этом, потом он поворачивается к нам и говорит конунгу, что мы его молодые друзья с Оркнейских островов. Они хотят получить приходы в Норвегии, говорит он, и как все, вынуждены досаждают тебе, государь, дабы заручиться твоей помощью и поддержкой. Конунг милостиво улыбается и кивает, мы низко кланяемся. Бернард говорит, что мы год провели на Фарерских островах, надеясь получить приходы там, но епископ Хрои в Киркьюбё не мог взять к себе двух молодых священников сверх тех, что у него уже были. Конунг находит это справедливым и говорит, что будет рад, если Бернард найдет для нас какую-нибудь подходящую церковь.

— Много священников умирает, и потому хорошо, что у нас есть новые, — говорит он.

К нам подходит ярл.

Конунгу Сверрир сказал только то, что было строго необходимо, я тоже. Теперь перед нами стоит ярл. Бернард опять полуоборачивается к нам и говорит тихо, но с достоинством. Он спокоен и самоуверен, но держится с подобающей случаю обходительностью. Он снова произносит те же слова:

— Это молодые священники с Оркнейских островов, одну зиму они провели на Фарерах, теперь приехали сюда...

Вдруг Сверрир говорит:

— Государь, я хочу поздравить тебя с тем, что тебе удалось избежать смерти...

Мрачное лицо перед нами дернулось, что-то в нем дрогнуло — какой-то неизвестный осмеливается навязать ярлу свою волю? Старик поворачивает голову к Сверриру, словно хочет, как старая лошадь, оскалиться в улыбке. Однако в его глазах мелькает одобрение и признание, слабый блеск. Сверрир чуть-чуть распрямляется, хотя в его позе еще ощущается поклон, и говорит без малейшего признака подобострастия, но подчеркивая свое глубокое уважение:

— Государь, поздравления, которые ты, должно быть, получил от людей более высокого происхождения, чем я, дороже для тебя тех слов, какие лежат у меня на сердце. Но ты знаешь: если люди и молчат, они все равно радуются, что их ярл избежал смерти. Я осмелился напомнить тебе о том, что случилось, лишь потому, что мой друг и я, слышали об этой женщине, когда несколько лет назад были в монастыре на Селье. Ее изгнали оттуда, настоятель монастыря, священник Симон не мог выносить ее непочтительных речей о конунге и ярле. Хотя, возможно, все это не имеет для тебя, государь, никакого значения.

Ярл все еще молчит, но теперь в его строгих глазах появляется жизнь. Под кожей загорается огонь, и вскоре пылает уже все лицо.

— Однако, — продолжает Сверрир, — то, что хочу сообщить тебе я, по моему разумению, государь, не может быть для тебя безразлично. На Селье говорили, будто Катарина, которая находится сейчас там, где ей и положено, всегда хвасталась тем, что у нее есть добрые друзья среди людей сборщика дани Карла. Не знаю, правда ли это. Хотелось бы верить, что неправда. Меня возмущает мысль, что женщина, пытавшаяся убить самого ярла, могла иметь добрых друзей среди окружения сборщика дани Карла и его сына Брюньольва, я этому не верю. И мне больно, если я несправедливо очернил человека, заслуживающего уважения. Но, государь, если на одной чаше весов лежит твоя жизнь, а на другой — всего лишь опасность очернить честного человека, я должен выбрать ту чашу, которая тяжелее.

Сверрир умолкает.

Теперь говорит ярл:

— Ты поступил правильно, — произносит он.

Ярл немногословен, но никто не сомневается в том, что у него хорошая память. Мне кажется, что теперь Сверрир, Бернард и я можем чувствовать себя в относительной безопасности.

Тогда пришел Гаут.

Эту часть праздника в конунговой усадьбе в Сэхейме, йомфру Кристин, я вижу словно через синеватую дымку. Конунг и ярл направились к дверям. Мы было немного распрямылись, а потом, проводжая их, склонились еще ниже, чем раньше, все — священники, монахи, безоружные гости, герольды и факельщики с гордой осанкой. Тогда вдруг пришел Гауте. Не знаю, откуда он взялся, он просто вдруг возник в покое. Должно быть, как-то пробрался сюда. Я так и вижу, как кто-то безуспешно пытается остановить его, но он неожиданно оказывается рядом с ярлом и кричит:

— Ты должен простить ее!

Гаут поворачивается к нам, стоящим в зале, потом опять к ярлу — теперь ярл окружен воинами с обнаженными мечами, значит, он не такой беззащитный, каким только что выглядел. Но вот ярл шевельнул большим пальцем и воины отступают на два шага. Гаут говорит высоким, чистым голосом:

— Ты должен простить ее, ярл! У тебя есть власть, эта женщина хотела убить тебя, государь, и это ее грех, но если ты теперь убьешь ее, твоих грехов не убавится!..

Конунг с равнодушным видом смотрит на Гаута и отворачивается, чтобы идти, но ярл не уходит, он говорит с Гаутом. Потом уже я догадался: ярл понимал, что именно в такие мгновения рождается посмертная слава человека, и хотел защитить свое имя. Он говорит — я приблизительно помню его слова, — что, конечно, мог бы простить ее, но закон — есть закон, и даже ярл должен его уважать.

— То, что ты говоришь, — возражает Гаут, — это лишь слова, но не правда. Если ты хочешь, ты можешь. Если она умрет, то свершится это по твоей воле.

Ярл говорит:

— Бывает, что одной воли ярла еще недостаточно, но знай, Гаут, в моей воле поблагодарить тебя за то, что ты пришел сюда. Ты больше, чем кто бы то ни было, думаешь о моей душе, даже больше, чем

я сам. Отпустите с миром этого человека! — говорит он окружающим его воинам. — И помни, Гаут, если я что-то могу, я это делаю. Поверь мне.

Ярл уходит. Все кончено.

Мы тоже уходим, мы молчим, над усадьбой Сэхейм раскинулось темное небо, усыпанное яркими звездами. Я слышу за деревьями голоса, взволнованные и мягкие, суровые и горячие. Имя Гаута у всех на устах, его произносят чаще, чем имена конунга и ярла. Я вижу его...

На одно мгновение. Он проходит мимо молодого факельщика; словно в промежутке между двумя ударами сердца, я вижу его сильное, страдающее лицо, лицо волевого человека, подчиняющегося иной воле, более сильной, чем его собственная. Красивым его назвать нельзя. И все-таки, йомфру Кристин, я никогда не видел более красивого лица.

Мы идем обратно в Тунсберг.

— Господин Аудун, позволь мне сказать, что лицо Гаута до сих пор хранит и ту красоту, о которой ты говорил, и то страдание, что он испытывал.

— Йомфру Кристин, позволь ответить тебе, что между твоим лицом и его есть сходство. Оба ваши лица красивы, но твое красивее, оба полны страдания, но его страдание глубже твоего.



По дороге в Тунсберг я сказал Сверриру:

— Вполне может быть, что монахиня с Сельи дочь конуга Сигурда так же, как ты его сын. В таком случае, вы брат и сестра, но тебя нельзя назвать хорошим братом, ведь ты помогаешь тем, кто хочет лишить ее жизни.

Сверрир сказал:

— Сестра она мне или нет, я мало могу для нее сделать. Ни спасти ее, ни погубить я уже не могу. Монахиня с Сельи находится в руках ярла, а их мягкими не назовешь. И мы все — ты, Бернارد и я это знаем. Но у сборщика дани Карла после моего разговора с ярлом, будет меньше причин спокойно спать по ночам.

Бернارد сказал:

— Большие жертвы радуют Бога, но человеческая жертва — чещесчур велика.

Сверрир сказал:

— Мы с Аудуном отправимся в Швецию, чтобы встретиться там с ярлом Биргиром Улыбкой и попросить его помощи в борьбе против ярла Эрлинга. А ты, Бернард, должен сдержать слово, которое дал Эйнару Мудрому, и найти побольше друзей среди горожан.

Бернард сказал:

— Я это сделаю, но никто не объяснит почему, и я меньше всех. Я знаю об опасностях и знаю ярла. А теперь понемногу узнаю и того человека, что противостоит ярлу. Но я к нему испытываю не только любовь.

Сверрир сказал:

— Нас мало и мы слабы, и наш противник не глупее нас. У него много хорошо вооруженных мужей, смелых и жестоких, они пускаются бегом, когда ярл хочет, чтобы они бежали, и рубят мечами, когда им приказывают рубить. Это с ними мы будем иметь дело.

Людей у нас немного, и большинства из них мы не знаем. Надеюсь, недовольство народа окажется нам на руку, но это еще неизвестно. Поэтому пока мы должны рассчитывать только на свои силы. И пусть их будет как можно больше.

Бернард сказал:

— С нами твоя твердость, Сверрир, против нас твердость ярла, а значит, мы равны. Я благодарен за это Господу, но радости мне это не доставляет.

Я сказал:

— Там впереди идет Хагбард Монетчик с Малышом на плечах. Ускорим шаг, словно души, спешащие из чистилища, тогда мы его догоним.

Хагбард сказал:

— В Сэхейме я был в церкви и молился за сына. У Бога много церквей, но помогает Он мало.

Бернард сказал:

— Богу служат разные люди, и я — один из них, а Сверрир — другой. Все мы ничтожны перед Богом, но Малыш велик перед Ним.

Хагбард сказал:

— Если Малыш велик перед Богом, но силы и здоровье к нему не вернутся, я бы просил тебя помолиться о том, чтобы он мог стать шутом в дружине конунга Эйстейна, когда конунг и его берестеники получат власть в этой стране.

Бернард сказал:

— Я буду молиться за Малыша и за всех шутов. Бог не считает хорошего шута безумцем, он ценит его больше, чем сына конунга.

Сверрир сказал:

— Ты, Хагбард, должен остаться здесь, в Вике, и попробовать поднять бондов против ярла, когда берестеники нападут на него.

Хагбард сказал:

— Долгий путь я прошел ради конунга Эйстейна, и это, быть может, последняя часть пути.

Сверрир сказал:

— Бог воздаст человеку по делам его, и если ты не получишь награды, ее получит Малыш. Нынче мне приснился сон и, думаю, Хагбард, этот сон касается тебя. Мне приснился орешник весь усыпанный орехами, тяжелые ветви гнулись до самой земли. Я пришел и стал щелкать орехи, один за другим, и из каждого ореха выскакивал человек, и каждый смеялся. Но знаешь, кто смеялся громче всех и был самым счастливым? Твой Малыш.

Бернард сказал:

— Ты умно толкуешь сны, Сверрир, но Эйнар Мудрый толкует их лучше, чем ты.

Сверрир сказал:

— Возможно, Хагбард, ты поможешь конунгу Эйстейну либо победить, либо погибнуть, когда он прибудет сюда, чтобы захватить весь Вик. И зависит это от твоего похода по селениям, твоих умных речей и твоей твердости. Помни, ты должен быть таким твердым, что, если потребуется, ты, не задумываясь, убьешь даже такого человека, как Гаут. Нет, нет, не возмущайся и не бойся, я вовсе не сказал, что ты должен его убить. Но у тебя должно хватить твердости сделать это, если другого выхода не будет. И еще, Хагбард, у тебя должно хватить ума, чтобы найти окольный путь, и смелости, чтобы пойти по нему. Я не сомневаюсь в тебе.

Он умолк, мы тоже молчали, молчал Хагбард, молчал и Малыш. Сверрир сказал:

— Ты должен быть нем, как могила! Помни, никто не должен узнать о том, что ты таишь в сердце, даже если над тобой будет занесен меч. Иначе, Хагбард, тебе гибель.

Мы шли в Тунсберг, город ярла Эрлинга, где монахиня с Сельи должна была встретить смерть.



Я, Эрлинг ярл, повелитель Норвегии,

мои когти более цепки, чем у сокола, и клюв более тверд, чем у него... Никто не может, подобно мне, одним словом послать человека на смерть, никто не знает, о чем я думаю, я говорю часто, но всегда о чем-нибудь постороннем, и никому не доступно заглянуть в глубину моей души. Я хотел стать повелителем этой страны и стал им. Если я сплю, у меня спит только один глаз, если стою, то всегда на обеих ногах. Я узнаю дорогу прежде, чем отправляюсь по ней, узнаю каждый поворот на ней и ставлю своих людей там, где нужно. Я не трачу лишних слов на того, кому на шею уже накинутая петля. У меня есть друзья, но я понимаю, что круг этих друзей соединен моим мечом. Точат мой меч другие, но богатство достается мне, у меня достаточно силы, чтобы заставлять людей делиться со мной своим добром.

Когда я был молод, обо мне говорили, что я стар, и теперь, когда я состарился, говорят то же самое. Я слышу все, что говорят про меня, нанимаю ловких соглядатаев и посылаю их смотреть и слушать. Потом они приходят и рассказывают мне все, что узнали. Я хочу, чтобы меня считали больным и старым. Из-за этого мои противники теряют осторожность, и это дает мне преимущество, необходимое для победы, когда один отряд воинов сталкивается с другим. В молодости я обращал мало внимания на одежду, и если надевал дорогое платье, то лишь затем, чтобы произвести впечатление на князей, которых я встречал в чужих странах. Меня больше волновала власть, чем одежда, меч, чем золото, но на золото можно купить и мечи и людей, пускающих их в ход. Женщины доставляли мне большую радость, но, как правило, только на одну ночь. Они не мешали мне спать, если я знал, что на другое утро меня ждет сражение. Моя жена Кристина, мать конунга Магнуса, не любила меня, а я — ее. Мы с ее

отцом конунгом договорились, как договариваются между собой торговцы, ее согласия мы не спрашивали. А вот сын, вырвавшийся из великого жара ее лона, пустил корни в моем сердце, когда эти корни освободились от нее. Он — моя последняя сила и моя последняя слабость, моя несвобода в этой жизни и путь, которым я вынужден идти. Ради него я и молюсь и проклинаяю, ради него я веду борьбу, даже когда не считают это разумным и справедливым. Ради него вступаю в жестокие распри с людьми церкви и отдаю больше, чем получаю. Ради него требую все или ничего и получаю все.

Я не видел той женщины, что пришла сюда с пузырем яда между грудями. Кто знает, может, мои люди ради шутки сказали, что у нее был пузырь с ядом. Но слово сказано и я должен убить ее. Никто не смеет думать, будто я готов мягко обойтись с тем, кто собирался покуситься на мою жизнь или на жизнь моих близких. Хуже, что она говорит, будто она дочь конунга Сигурда. Время от времени у нас появляются люди, говорящие, что они сыновья конунгов. Они собирают отряды, и я их убиваю, случается, что в сумерках они приходят ко мне и просят пощады, а то приходят в сопровождении пышной свиты и клянутся мне в верности. Но я вынужден убивать их. На том пути, которым я следую, — а у меня давно все продумано, — иначе нельзя. Мне приходится платить за каждый шаг. Только слабый может считать, будто есть путь, на котором не нужно платить за каждый шаг. Но мой путь — самый надежный. Для меня и для моего сына необходимо, чтобы я убивал всех, кто идет против меня. Впервые моим врагом оказалась женщина с ядом между грудями, к тому же она выдает себя за дочь конунга. Люди говорят, что я уже стар. Если я пощажу ее, они скажут: Он совсем одряхлел, и голова у него сидит еще кривее, чем раньше. Он не в силах выпрямить ее, его когти больше не пахнут кровью, скоро ему придется нюхать только собственную кровь, а не чужую. Поэтому я должен убить ее.

Гаут ходит повсюду и всех прощает, и пусть прощает. Он мне не опасен, сила моего ума в том, что я щажу людей, которые много говорят и требуют прощения для других. Глупо убивать его. У меня даже была мысль взять его к себе на службу. Пусть бы ходил и прощал, я бы сказал ему: Если ты будешь приходить ко мне и рассказывать все, что слышал, обещаю каждый год в день святого Олава прощать трех моих недругов. Но, я знаю, он не станет покупать прощение, продавая без-

опасность других. Он ответит, что я несправедлив к нему, думая, будто он может быть несправедлив к другим. Нет, надо извлекать выгоду из того, что есть. Гаут здесь, он жив, он такой, а не иной, его не купишь. Если я убью его, я получу мало, но потеряю много. Поэтому пусть себе ходит и кричит, что ярл, и вообще каждый, должен прощать.

Суть в другом. Но сегодня ночью я еще не знаю ее. Неужели я все-таки слишком стар? Что-то ускользает от меня, что-то важное, слова, которые я слышал, лица, которые видел. Они исчезают из моей памяти.

Против меня поднимаются люди, но это неважно, постепенно я расправляюсь с ними. Этот Эйстейн, которого они зовут Девчушкой, человек слабый, мне он не опасен. Пусть приходит, я жду его, по всей стране мои люди ждут его вместе со мной. Молодые парни станут на лыжи и пробегут через всю страну, чтобы предупредить меня, если придут отряды Эйстейна Девчушки. Или задымят сигнальные костры, и тогда молодые женщины, что сняты с его воинами, сообразят, что надо бежать через горы и, пока есть время, предупредить меня и моих людей. Иначе я передую их детей, по ребенку за каждое несказанное ими слово. Я не боюсь Эйстейна Девчушку.

Один из моих людей — Бьярти из Рэ, он не любит меня, и все-таки я могу на него положиться, потому что он трус. Говорят, будто мой сын прогнал его дочь. Ничто не укроется от моих глаз. Не боюсь я и своих людей. Совсем не боюсь слабых, но боюсь ли я сильных, которые хотят быть такими же сильными, как я? Например, сборщика дани Карла и его сына Брюньольва? Я назначил Карла предводителем тех людей, которых послал защищать Нидарос. Но этот священник — кажется, он с Оркнейских островов, уже не помню, — этот священник сказал, будто у той женщины, что пришла с пузырем яда между грудями, есть друзья среди людей сборщика дани Карла. Да, да, священник сказал, что о сборщике дани ходит слух, будто он ее друг. Так говорят всегда. Приходят и говорят, всю жизнь мне передают разные слухи обо всех и о каждом. Правда, обычно они предпочитают передавать слух кому-нибудь безымянному из моих людей, тот передает это дальше, дальше и так слух доходит до меня. Но этот священник говорил, глядя мне в глаза. Я слышал, что у нее есть друзья в окружении сборщика дани Карла, сказал он...

Сегодня ночью я не усну, этот сборщик дани в своем далеком Нидаросе не даст мне заснуть. Или это не он мешает мне спать? Думаю, я могу полагаться на сборщика дани. И в то же время знаю, что нельзя полагаться ни на кого. Я понимаю, что мои люди не говорят мне правды, иначе и быть не может, и мой долг знать это, иначе мне не выжить. Я понимаю, что могу вызвать из Нидароса сборщика дани, держать его у себя под боком и таким образом обезопасить себя, но можно еще отправить ему двусмысленное письмо, напугать его, выразить недоверие его уверениям в дружбе и преданности. Знаю, знаю. Но заснуть нынче ночью я не смогу.

Говорят, что я стар, и нынче я чувствую, что это правда. Я могу убить ее. А могу и не убивать — у меня достаточно власти, чтобы не делать этого. В молодости я долго думал, прежде чем приказывал кого-то убить. В последние годы я уже не раздумываю, ведь я знаю, чего добиваюсь. Однако нынче ночью я поймал себя на том, что подготавливаю звено к звену, слово к слову в длинной цепочке мыслей, которая все равно кончится так: Будет лучше, если ты убьешь ее...

Что-то случилось. Моя несчастная жена швырнула мне в лицо проклятия перед тем, как я велел повесить ее сына, она крикнула: Есть то, чего ты не понимаешь!.. Нынче ночью я вспомнил ее слова. Чего же я не понимаю?..

Кто же тот человек, что смотрел мне в глаза, когда говорил со мной? Как бы там ни было, нынче ночью я не усну, и мне не поможет, даже если я заставлю тысячу людей бодрствовать вместе со мной.

А спит ли тот человек, что смотрел мне в глаза, когда говорил со мной?

Спит ли монахиня Катарина?



Я, Катарина,

монахиня нашей святой церкви, та женщина, которая любила священника Симона в монастыре на Селье... Детства у меня не было, потому что не было родителей. Про мать говорили, что она утопилась в колодце, чтобы не попасть в руки воинов, про отца — что он был конунг. Вообще-то у меня был приемный отец, если только он заслуживает того, чтобы его так называть. Он подарил меня женскому монастырю на Гримсее, там я и выросла. В благодарность за этот дар монахини после его смерти молились за упокой его души. В монастыре меня наказывали не больше, чем было необходимо, там я постигла многие тайны пергаментов, которые и теперь составляют радость моей жизни. До меня дошли слухи, будто я была зачата конунгом. С тех пор я ненавидела слова: дочь конунга. Они лишали меня покоя. Монахини призывали меня и всем показывали, пока для них было безопасно держать в монастыре девочку, про которую говорили, что ее отец конунг. Но когда началось немирье, а с ним и охота на тех, в ком текла кровь конунгов, мне наказали молчать об этом.

Во мне расцвела женщина, и я спрятала ее под широким плащом, какие носили все монахини. Заточила свои желания за крепкую решетку молитв Деве Марии, такой же нетронутой, как и я. Вместе с сестрами по монастырю я плыла в Нидарос, но нашему кораблю пришлось сделать остановку на Селье. Там я и встретила его. Мы вместе молились, и молитвы наши были так сильны, что сломали преграды между нами. В тот день я была способна разорвать в клочья свое одеяние и бросить его на ветер, с которым унеслась и моя девственность, подарив мне наслаждение, какого я не испытывала даже во время молитвы. Господь всемогущий услышал мои мольбы в монастыре на Селье. Я заболела и там осталась, а корабль ушел дальше, в Нидарос.

Страсть Симона окружала меня огненным кольцом. Темными ночами его желание полыхало, как пламя, при свете дня его лицо горело огнем. Мы ненавидели одних и тех же людей, из-за которых моя мать утопилась в колоде и которые убили моего отца, а вместе с ними и тех, кто заставил меня дать обещания, которых я давать не хотела. Он обладал мной перед ракой святой Сунневы. Я сказала ему, что и она испытала бы любовь, если б встретила желанного человека. А он, охваченный страстью, покоем, наслаждением и болью, ответил, что святая Суннева покинула родину из-за того, что человек, которого она любила со всей силой грешной земной страсти, оставил ее. Перед алтарем, возведенным в ее честь, Симон бросил меня на землю и вознес к небесам, он держал меня, как знамя, и опустился на меня, точно на живую скамеечку для молитв, с которой он мог приветствовать Бога. Но когда наступил день, меня охватил страх.

Страх проник в меня из всех тайников, страх перед теми, кто боролся с людьми, защищавшими моего отца. Страх перед моими данными и нарушенными обетами, перед рукой церкви, перед святым гневом Господним. И чем сильнее был этот страх, тем больше я укреплялась в вере, что я дочь конунга. И слушала Симона, некрасивого, с замкнутым, суровым лицом, на котором мука ненависти оставила свои уродливые следы, но которое я любила и буду любить до самой смерти, говорившего мне про убийц моего отца, про то, что по закону Бога они должны умереть от того оружия, которым мы, бессильные, еще располагаем...

Возьми этот пузырь, Катарина...

И он любил меня, и поднимал на руки, и шептал:

— Спрячь этот пузырь между грудями, ты — женщина, подмешай это зелье в его питье, в их питье, ты — женщина, я могу поднять тебя к небесам и могу опуститься на тебя, как на скамеечку для молитв.

И он обладал мной перед ее святой ракой.

Потом они увезли оттуда раку святой Сунневы.

И тогда я поехала следом за ними, спрятав между грудями пузырь с ядом, и с ядом в груди, с любовью к одному мужчине и ненавистью к остальным. В Тунсберге меня схватили, они били меня, как мужчины обычно бьют женщин, а потом бросили в подземелье. Мне не холодно, на лбу и на щеках у меня выступает испарина, когда я вижу перед

собой ту последнюю скамью, где мне вскоре предстоит преклонить колени...

Но в тот день я не стану на нее коленями, а положу на нее голову, и не знающий жалости палач разрежет на моей шее и откинёт в стороны девственный клобук, который я когда-то носила по праву. И пока я буду читать Отче наш, он поднимет к сияющим небесам свое оружие и все, кто там будет, — а их будет много, — затаят дыхание, потом молодой рожечник поднесет к губам рожок, раздастся хриплый звук, и... Но последние мои мысли будут о Симоне и о моей любви к нему.

Стражи крикнули мне в подземелье: Хочешь пить? Да, ответила я. Они спустили мне на веревке рог, а когда я хотела осушить его, в нем оказалась моча. Потом они снова крикнули: Хочешь пить? Нет, ответила я. Тогда они спустили ко мне какого-то человека, они смеялись там наверху, и он тоже смеялся, но был испуган, я плюнула ему в глаза, один раз, потом другой, он отвернулся, и я ударила его по лицу. Он тоже ударил меня. И они подняли его наверх.

Вскоре подняли наверх и меня, конюший ярла подошел ко мне и спросил, правду ли говорят, будто я дочь конунга Сигурда? Мне показалось, что в его глазах мелькнуло сочувствие и молчаливое предупреждение. Я еще никогда не осознавала так остро своего королевского достоинства. Оно никогда не было мне так очевидно, я и подумать не могла о том, чтобы отречься от него. И потому сказала упрямо, сгорая от ненависти к ним: Да! Я дочь конунга Сигурда!

Меня увели и снова бросили в подземелье, теперь мне дали воды, но я не стала пить. Охваченная ненавистью, я отказалась от воды, пусть она стоит, я хочу победить и голод и жажду. Я знаю, что далеко отсюда, на Селье, он сейчас молится обо мне, не о моем небесном блаженстве, а о Божьем чуде, о том, чтобы Божий ангел перенес меня к нему и чтобы он мог любить меня там. Он не знает, что я жду смерти.

Страшно мне или нет, весело или нет, но я знаю, что умру не смелой дочерью конунга и не кающейся монахиней, а женщиной, которая когда-то любила мужчину.

И ненавидела тех, кого ненавидел он. И я буду ненавидеть их, пока смерть не освободит меня.

Вот они пришли.



Стояла темная осенняя ночь, в монастыре Олава в Тунсберге было холодно, шел дождь. Я знал, что каждый удар моего сердца приближает тот час, когда Катарина встретит смерть. Мы со Сверриром спали на одной постели в ночлежке, которую монастырь держал для путников, в ту ночь там не было никого, кроме нас. Но спать мы не могли. Сверрир встал и сел на табурет, стоявший в изголовье. Его сильное лицо посерело от страдания и недостатка сна. Он тихо заговорил:

— Аудун, даже ты думаешь, что во мне нет сострадания к этой женщине, которая, быть может, приходится мне сестрой и которая скоро умрет! Но давай сложим все наши мысли и взвесим их, как взвешивают на ладони кусок серебра. Что изменится, если я стану плакать по ней? Что изменится, если я даже схвачусь за нож или украду меч, если ты последуешь за мной, если я заставлю Бернарда отбросить четки, тоже взяться за меч и пойти с нами? Предположим, мы перебьем стражу. Предположим, мы спасем ее. Предположим, мы достанем лошадей, уедем под покровом ночи, украдем лодку и уплывем на ней до наступления дня. В лучшем случае мы на полдня опередим погоню, посланную за нами ярлом. Но в этой стране каждый человек слушается приказа ярла и дружина бросится по нашим следам, словно стая голодных псов. Ее поймают, и нас тоже. Разве это ей поможет? Это не поможет и нам.

Я предусмотрительный человек, Аудун, такую предусмотрительность некоторые называют трусостью. Я действую только тогда, когда твердо знаю, что мне будет сопутствовать удача. И никогда, если знаю, что удача не улыбнется мне. Вот и все. Я знаю, что спасти ее может только Бог. И знаю, что Бог этого не хочет. Но не знаю почему — потому ли, что в нем тоже нет сочувствия к людям, или потому, что у него есть свой, неведомый нам, жалким, умысел. Мне бы хотелось верить последнему. Но в любом случае, что бы я ни сделал, это ей не поможет. Поэтому я должен отказаться от мысли спасти ее.

Возможно, она — моя сестра, кто знает! Но если и нет, неужели по этой причине я не должен испытывать боль за нее и вообще за всех, кого ярл посылает на смерть? Неужели я должен помогать только тем немногим, кого можно считать моими сестрами? Но если я должен помочь всем, мне следует продвигаться осторожно, шаг за

шагом, оглядываться и остерегаться, чтобы не споткнуться там, где споткнулись они. Тот, кто хочет выступить против ярла, должен держаться в тени и заявить о себе лишь тогда, когда будет готов ударить внезапно, как гроза в ясный день. Пойми, Аудун, я весь горю, но принуждаю себя к спокойствию. Мне кажется, будто я куда-то плыву, к какому-то водопаду, который вот-вот подхватит меня. Этот водопад гораздо сильнее, чем я. Меня несет веред, я не хочу и вместе с тем хочу... Должен... Вот так, Аудун. Но все, что горит во мне сейчас, весь жар и ненависть — к ярлу, к его дружине и ко всем принесенным ими несчастьям — все это я должен сдерживать силой воли. Ты понимаешь?

Он замолчал, по-моему, он плакал, говорил он тихо, ведь в этом городе ярла и стены имели уши.

— Нынче ночью я думал: если бы страна норвежцев была счастливой страной, мы с этой женщиной могли бы встретиться как брат и сестра. В детстве могли бы вместе играть, в юности — вместе молиться и поддерживать друг друга. Но не теперь. Теперь мне придется смотреть, как ей отрубят голову, иначе кто-нибудь из людей ярла заметит, что меня нет на месте казни, побежит и доложит об этом ярлу. Мне, сыну конунга, придется заставить себя спокойно смотреть, как казнят мою сестру! Аудун, я сын конунга! Понимаешь ли ты ту ненависть... — Голос его окреп и зазвучал громче, но он взял себя в руки, заставил успокоиться и долго молчал, он даже охрип от ненависти и скрытого жара. — Я, сын конунга, должен заставить себя смотреть, как моей сестре отрубят голову!.. Но, Аудун, мой день придет...

Он назвал себя сыном конунга, это были опасные слова. Первый раз он произнес эти слова, ясно сознавая их смысл. В нем не было сомнения, страха или радости, он просто заявил об этом, принял на себя эту ношу и понес ее дальше. Ему не нравилась эта ноша, но он понимал, что избран нести ее. Не без гордости, но с глубокой печалью сказал он эти слова, что переполняли его сердце и стали его судьбой, и других тоже.

Тут пришел Бернард.



Надо было собраться и идти, над городом серели предрассветные сумерки, но дождь был не такой сильный, как ночью. Мы плотнее

закутались в рясы, Бернард взял факел, но когда мы вышли в монастырский двор, было уже достаточно светло, и он погасил его. Мы шли вдоль озера к горе, вдали трубил герольд. Он созывал людей на место казни. Из волоковых окон поднимались дымки. Это работницы раздували спавший в углях огонь прежде, чем натянуть на себя платье, закутаться в фуфайки и выйти под холодный осенний дождь, чтобы увидеть, как умрет женщина. Жителей города оповестили, что они должны собраться на место казни, где женщина, пытавшаяся отравить ярла, понесет заслуженное наказание. И люди собирались, не без охоты, раздували тлевшие под золой угли и шли.

Последняя встреча Катарины с дневным светом должна была состояться к северо-востоку от горы, на небольшой площади. Там уже толпились люди, молодые, старые и даже малые дети, сонно висевшие на руках у матерей. Ивар и его родители, державшие трактир у причалов, объявили людям, что когда все будет кончено, их ждет в трактире доброе пиво. У хозяина трактира был еще один сын, его звали Гуннар, он добровольно предлагал свою помощь при совершении казни. Это его называли Вешальщик. Оба сына были ловкие и работающие парни. Их мать сбежала домой еще до появления Катарины, она должна была все приготовить в трактире к приему гостей. Мы увидели Хагбарда Монетчика.

Он направился к нам с Малышом на плечах. Малыш был не в духе — ему хотелось спать. Отец утешал его и обещал дать медовую палочку, если он будет хорошо вести себя. Малыш немного подбрел, но все еще был утрюм, отец, как всегда, оживленно болтал и говорил сыну нежные слова. Он поправил на нем башмаки, наклонился ко мне и тихо спросил:

— Нынче вечером?

— Да, — также тихо ответил я.

Пришел Серк из Рьодара и с ним еще несколько воинов, они принесли большую колоду. Бросив ее на землю и отдышавшись, они стали искать углубления в земле, чтобы колода стояла прочно и не шаталась. Площадка была наклонная и скользкая от дождя. Серк обругал одного из своих подручных за то, что тот не догадался прихватить с собой лопату. Какой-то старик, который не мог ходить без посторонней помощи и опирался на сына, вытащил старый ржавый

нож и спросил, не согдится ли он. Серк взял нож и вырезал кусок дерна, получилось углубление, теперь колода стояла надежно. На нее было удобно положить голову тому, кто должен был стоять перед ней на коленях последний раз в жизни. Все было готово.

Пришел и мой добрый отец Эйнар Мудрый, в последние дни мы с ним почти не виделись. Мы оба решили, что будет лучше, если никто не узнает о нашем родстве. Тем не менее он подошел и поклонился нам, но ведь мы были священники, а он — простой прихожанин. Отец обращался ко мне, как к чужому, опасаясь, что кто-нибудь посторонний услышит наш разговор. Сперва мы поговорили о погоде, зима была уже на носу, потом он сказал несколько добрых слов о справедливости ярла и выразил радость, что виновная понесет наказание. Когда он наклонился, чтобы потуже затянуть ремни своих башмаков, его губы коснулись моего уха:

— Нынче вечером? — спросил он.

Я молча кивнул. Нынче вечером уходил торговый корабль, который должен был доставить нас в Конунгахеллу. Кормчий был другом Бернарда, он собирался пройти фьорд в темноте.

Эйнар Мудрый сказал, что накануне вечером истолковал сон Гуннару Вешальщику, тому парню, который должен был помочь отрубить голову приговоренной к смерти монахине. У Гуннара на душе было тревожно. Ему приснилось, что его окружила стая рыб, у одной из них были длинные волосы. Гуннар схватил ее за волосы, и она утащила его на дно.

— Я так истолковал этот сон, — сказал Эйнар. — Кто-то с длинными волосами утащит тебя в глубину.

Он коротко и холодно засмеялся, повернулся спиной к ветру и стал снова тем мудрым и сильным человеком, который умел справляться с любыми обстоятельствами. Герольды затрубили опять.

Люди с уважением говорили о ярле, который решил отрубить женщине голову вместо того, чтобы повесить ее. Воров и разбойников обычно вешали, если только никто из воинов не выражал желания поработать мечом. Во время своего похода в Йорсалир ярл видел, как в других странах казнят важных преступников, и понял, что человек с петлей на шее выглядел не так внушительно, как, положивший голову на плаху. Поскольку Катарина была женщина, он явил ей свою доброту. Серк из Рьодара снова подошел к колоде и проверил, крепко ли она стоит на месте. Колода стояла крепко.

Тогда явились они, первым шел преподобный Бьярни, личный священник ярла, которому был обещан отдельный алтарь в церкви святого Лавранца в Тунсберге, где бы он молился за душу ярла, когда того самого уже не будет в живых. Преподобный Бьярни читал на ходу молитвы и время от времени оборачивался к Катарине, идущей позади него. Волосы у нее были распущены, подхваченные ветром, они окутывали ее, словно плащ. Рыжеватые, когда-то красивые, теперь они поблекли, но серый рассвет, дождь и ветер как будто вернули им прежнюю красоту. Катарина шла выпрямившись, с поднятой головой, но глаза у нее были опущены, одета она была легко. Ходили слухи, будто ярл приказал сорвать с нее одежду, как только ее поднимут из подземелья, — нагая, словно только что явившаяся из лона матери, она должна была пройти по улицам Тунсберга. Но в этих слухах была не правда, а лишь тайные желания людей. Ярл был слишком умен, чтобы не делать того, в чем не было необходимости, — как монахиню, Катарину должны были оградить от бесстыдства. При виде одетой Катарины толпа выразила свое недовольство. Преподобный Бьярни запел псалмы. Бернард наклонился ко мне и прошептал:

— Она заслужила лучшего пения...

Нас отделяло от Катарины всего несколько шагов, я наблюдал за ней. Она подняла голову, глаза ее смотрели вдаль, на вершины гор, на хлопья тумана, летящие над Тунсбергом. На щеках у нее виднелись следы слез, теперь она не плакала. Сложив руки и погрузившись в себя, она молилась, губы ее не шевелились. Она не была связана. Волосы ее развевались на ветру, как плащ.

Тогда пришел Гаут. Он протиснулся через толпу и подбежал к ней. Один из воинов хотел отшвырнуть его и схватил за руку. Но Гаут вырвался и спросил у преподобного Бьярни:

— Можно мне поговорить с ней?

Вокруг них сгрудились люди, один воин обнажил меч, другой крикнул, чтобы все отступили.

— Прогоните этого человека! — крикнул он.

Но что-то в Гауте подействовало даже на преподобного Бьярни. Он отстранил воинов и спросил у Гаута, что ему надо.

— Я хочу, чтобы она простила, — громко ответил Гаут.

Все слышали его слова, потом он обратился к Катарине:

— Сестра, я почти не знаю тебя. О тебе ходит столько слухов, но ведь люди часто лгут, я не знаю, что ты совершила, а чего не совершала, читать в твоём сердце может только Бог. Но я был у ярла и сказал ему: Ты должен простить ее! Он этого не сделал. У него нет мужества, необходимого, чтобы прощать. А ты можешь простить его?

Они стояли друг против друга — женщина, идущая на встречу с Богом, и однорукий Гаут. Он обнял ее своей единственной рукой, они склонили головы и вместе молились. Немало осталось глаз, которые не увлажнились бы слезой, но шел дождь и потому даже у мужчин были мокрые лица. Гаут и Катарина молились недолго. Она первая подняла голову и тихо сказала:

— Я всем прощаю, даже ярлу, если это может тебя обрадовать.

Он осенил ее крестным знамением.

Потом она поцеловала его, это было так красиво, наверное, Гаута в первый раз поцеловала женщина, а Катарина в последний раз поцеловала мужчину. Он снова обнял ее и прошел с ней несколько шагов. Наконец они остановились у плахи, там он склонил голову и отошел назад.

Преподобный Бьярн пел псалмы, но его голоса было почти не слышно. Властным жестом Катарина отослала его прочь. Гуннар Вешальщик, который должен был помогать во время казни, связал ей волосы веревкой. Она даже помогала ему — его непривычные к этой работе руки делали ей больно. Потом Катарина опустилась на колени, она молилась, я тоже, мне казалось, что мы вместе произносим одни и те же слова. Гуннар легонько потянул ее за волосы, на мгновение она как будто воспротивилась. Он потянул сильнее, тогда она наклонилась вперед и положила голову на колоду. Гуннар тоже встал на колени, иначе он не мог держать ее волосы. Теперь к Катарине подошел Серк из Рьодара в Мёре. Недавно в Тунсберге был убит брат Серка, и говорили, что Серк добровольно взял на себя эту работу, ибо пребывал в мрачном расположении духа. Он поправил голову Катарины, лежавшую на плахе. Из древесины торчал сучок, и Серк немного отодвинул ее голову в сторону, чтобы сучок не царапал ей щеку. Тело Катарины вздрогнуло и напряглось, Гуннар крепко держал ее за волосы. Она затихла.

Теперь преподобный Бьярни должен был читать молитвы, и опять его голоса было почти не слышно. В тихом чтении не было

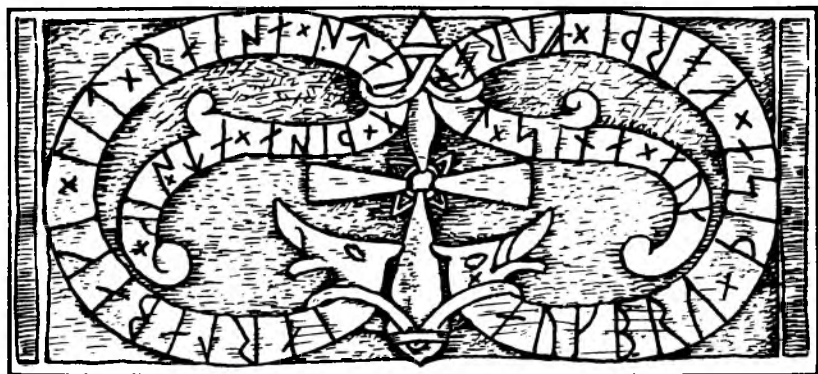
толку, к тому же нельзя было заставлять Катарину долго ждать в таком положении. Серк из Рьодара схватил топор — недавно наточенный, блестящий боевой топор, который какой-то добрый горажанин угодливо держал наготове. Топорище было удобное и не скользило в руке. Серк поднял топор и прицелился. Гуннар, державший волосы Катарины, дрогнул и слишком сильно натянул их. Серку пришлось опустить топор, наклониться и снова поправить голову Катарины. Он что-то сердито сказал Гуннару, и парень покраснел, получив выговор на глазах у толпы. Колода оказалась низка, Катарине было неудобно и шея у нее напряглась, а это могло помешать Серку, он был слишком высок. Серк пошире расставил ноги, нашел удобное положение и снова поднял топор.

Потом он опустил топор и осторожно, чтобы не поранить, прикоснулся острием к шее Катарины. Катарина не издала ни звука. Серк снова поднял топор и в промежутке между двумя порывами ветра изо всей силы опустил его на шею Катарины.

Потеряв опору, Гуннар опрокинулся на спину, и кровь казненной женщины залила его одежду.

Так умерла Катарина, монахиня святой церкви, возможно, дочь конунга, возлюбленная священника Симона.

Когда настала ночь, наш корабль вышел из Тунсберга.



ЧЕЛОВЕК С ДАЛЕКИХ ОСТРОВОВ

Утро было морозное, наступало Рождество. Мы ехали по глубокому снегу навстречу ветру. Лошадей мы наняли, заплатив за них серебром, и Сверрир и я привыкли ездить верхом еще в Киркьюбё. Правда, сидеть на этих лошадях было не так удобно, как на наших фарерских лошадках, зато эти были крупнее, тяжелее и более выносливы. Держась за хвост лошади Сверрира, бежал парнишка, которому предстояло вернуть лошадей в Конунгахеллу их владельцу, когда они нам будут уже не нужны. В лицо ему из-под копыт летели комья снега, но парнишка только ниже наклонял голову, он обещал вырасти настоящим воином. Когда мы проезжали мимо жилья, откуда нас могли видеть, мы прогоняли его и ему приходилось бежать, уже не держась за хвост лошади. Сверрир считал, что нас скорей примут за людей высокого происхождения, если мы не позволим слуге беречь силы, держась за хвост лошади. Как только мы снова оказывались в пустынном месте, — а часы шли и рассвет сменялся сумерками, похожими на ледяное дыхание ночи, — Сверрир снова разрешал парнишке повиснуть на лошадином хвосте. Перед собой, точно защищаясь от ветра, Сверрир держал крест.

Это был простой крест, сложенный из двух веток, перевязанных ивовым прутьем. Но Сверрир сказал, что в



метель, да еще на ходу, никто не заметит, какой крест он держит в руках. Он полагал, что, если мы поедем по чужой стране с большим крестом, это придаст нам вес и охранит от беды. Если мы видели в усадьбах людей, он поднимал крест над головой. Несколько раз к нам подходили люди и заговаривали с нами, но мы не отвечали и ехали дальше — я творил крестное знамение, а он поднимал крест. Так мы беспрепятственно миновали весь Гаутланд, Сверрир не ошибся, считая, что крест защитит нас лучше, чем меч.

Мы ехали по проезжей дороге, в некоторых местах она была так широка, что мы свободно ехали бок с бок, на замерзших болотах были положены гати. День за днем мы ехали по этой дороге через большие леса и бескрайние пустоши. Эта земля была непохожа на ту, откуда мы когда-то приехали, да и на Норвегию тоже. Дикие животные нам не попадались, лишь изредка — люди, нас сопровождали сменявшие друг друга день и ночь, снег, ветер и темнота. У нас было немного еды и много мыслей, но слов мы почти не произносили. Ветер не давал нам открыть рот.

Перед наступлением темноты мы остановились, чтобы поесть и подыскать место, где можно было бы развести костер и переночевать. Никаких усадеб нам не попало, да мы и не были уверены, что с нашей стороны было бы умно остановиться на ночлег у незнакомых людей. Ночевать было бы удобнее в ночлежках для путников, если бы они нам попались. Однако поблизости не было видно вообще никакого жилья, только снега и леса, и мы решили сложить из веток шалаш. Я должен был развести костер. Но оказалось, что воск, которым была залита берестяная коробка, где я хранил сухой трут, расплавился от тепла моего тела. Трут стал влажным. Поэтому в тот вечер мы не смогли развести костер и согреться у огня. Мы со Сверриром забрались под брюхо одной лошади, парнишка — под дружку, его быстро занесло снегом. Мы поели вяленого мяса.

Сверрир сказал:

— Ярл Биргир Улыбка женат на моей тетке Биргитте. Она была сестрой моего отца конунга Сигурда...

Ветер подхватил его слова, я слишком устал, чтобы слушать, что он говорит. Однако эти слова запали в меня и когда лошадь, под которой мы сидели, стала мочиться и в меня ударила струя, я, занятый своими мыслями, не сразу вскочил. Значит, все эти дни, пока

мы ехали по Гаутланду, мысли Сверрира невольно вращались вокруг одного и того же... Если я явлюсь к ярлу безымянным и неизвестным, он не примет меня, выгонит в каменный хлев, убьет... Письмо, что мне дал конунг Эйстейн Девчушка, немного поможет, но этого мало. В письме конунг обращается ко мне, а не к ярлу. Но если я явлюсь к ярлу как представитель того же рода, что и его жена, он меня выслушает, — поверит или не поверит, это другое дело, — и тогда я смогу поговорить с ним. Поэтому я должен явиться как сын конунга...

Я не спускал глаз со Сверрира, мы съезжились под брюхом лошади. Вокруг нас выросли снежные сугробы. Сверрир был неухожен и неказист, в своей поношенной рясе он мало походил на сына конунга. Я думал: о чем он хочет говорить с ярлом, о том, что конунг Эйстейн нуждается в помощи? Или хочет получить помощь для своего дела?..

Сверрир сказал:

— Может статься, что конунг Эйстейн огорчится больше, чем следует, когда до него дойдет слух о моем родстве с конунгом Сигурдом. Но этого не избежать. — Он усмехнулся.

Мы затемно отправились дальше, считая, что лучше загнать лошадей и на оставшееся у нас серебро нанять новых, только бы как можно скорей покинуть эти пустоши. Парнишка все еще висел на хвосте лошади, он весь заоченел и был уже без башмаков, иногда он что-то кричал нам, но мы погоняли лошадей, не обращая на него внимания. Время от времени мы теряли дорогу в густом лесу, но она делала крутой поворот и мы снова оказывались на ней. Неожиданно мы столкнулись с группой людей.

Их было семь или восемь, рядом была небольшая усадьба, в оконных проемах мигал свет. Один человек поднял факел и спросил, кто мы. Сверрир поднес к факелу крест и заявил:

— Я отвечу ярлу Биргиру, а не тебе. Если ты человек ярла, тебе можно доверять, если же ты не его человек, то у тебя нет права находиться на его земле.

Растерявшись от такого ответа, человек проговорил, что он-то служит ярлу Биргиру, но вот кто поручится за нас? Я наклонил голову, осенил себя крестом и вполголоса забормотал молитву, чтобы произвести на них впечатление, а Сверрир сказал, что не собирается

препираться с человеком более низкого происхождения, чем он, однако готов ответить на все вопросы, которые ему зададут под крышей ярла. Свое же дело он откроет только самому ярлу. Швед замолчал, он был упрям, но, видно, недостаточно упрям. На бороде у него висели сосульки, лицо покраснело от мороза, двух зубов не хватало, в грубой, задубевшей руке он держал факел.

Из дома к нам подошли еще двое, должно быть, здесь располагалась охрана ярла. Мы поняли, что где-то недалеко находится и усадьба Бьяльбо, где, по слухам, ярл собирался встретить Рождество. Человек с факелом приказал нам спешиться — он сам позаботится о наших лошадях, а мы можем пройти в дом и подождать там, пока не рассветет. Тогда Сверрир высоко поднял крест и, не отвечая шведу, запел молитву, какую поют при освящении церкви. Он пел один, но у него был сильный и приятный голос, и, хотя эта молитва звучали здесь, возможно, впервые, мы как будто оказались внутри церкви. Ветер уносил большую часть слов, и шведские стражи понимали не много. Однако они все-таки перекрестились, Сверрир все пел и пел, а тот, с факелом, стоял на ветру и светил нам:

*Terribilis est locus iste;
hic Domus Dei est et porta coeli,
Quam dilecta tabernacula tua,
Domine virtutum!
Concupiscit et deficit anima mea
in atria Domini...**

Неожиданно Сверрир оборвал пение на полуслове.

— А теперь проводи нас к ярлу, — коротко бросил он факельщику.

Тот повиновался без слов, он ехал впереди, мы — за ним, а за нами — остальные воины. Парнишка висел на хвосте моей лошади, он был еще жив, но от холода не мог говорить.

* Ужасно место сне;
Здесь Дом Божий и врата небес,
о, сколь возлюбленны скинии Твои,
Господи добродетелей!
Вожделеет и изнемогает душа моя
обитателей Господних... (лат.)

В полночь мы подъехали к усадьбе Бьяльбо, где ярл Биргир собирался этой зимой встретить Рождество.



Всю жизнь я с гордостью вспоминаю, как мы со Сверриром за один короткий зимний день сумели проникнуть к такому могущественному человеку, как ярл Биргир Улыбка. Мы остановились у высоких ворот, ведущих в покои ярла. Измученные бессонной ночью, в мокрой от растаявшего снега одежде, спавшие с лица, грязные, мы были похожи на двух нищенствующих монахов, а уж никак не на сына конунга и его соратника по борьбе. Сверрир, словно защищаясь, держал перед собой книгу проповедей, полученную от епископа Хрои в Кирккюбё. Она была завернута в кожу и вполне могла сойти за важное послание к такому могущественному человеку, как ярл. Иногда мимо нас проходили обитатели усадьбы, я всем низко кланялся и, выпрямляясь, осенял всех крестным знаменiem. Это выглядело странно, и о нас уже пошел слух по всей усадьбе. Сверрир не кланялся. Но каждому проходящему он протягивал завернутые в кожу святые слова и заявлял:

— Я буду говорить только с ярлом!.. Только ярлу я передам свою весть!..

Усадьба была большая, в снежных вихрях темнели тяжелые строения. Сквозь метель мы видели и церковь — стройное каменное здание, окруженное высокими деревьями, гнувшимися от ветра. Днем несколько человек хотели прогнать нас прочь. Среди них был и факельщик, который остановил нас накануне и в конце концов привез в эту усадьбу. Ему было приказано сообщить нам, что до Рождества ярл не собирается никого принимать. Сверрир громко и звонко рассмеялся, как смеется взрослый над неразумными речами ребенка. Я поклонился и осенил их крестом. Сверрир протянул им святые слова, потом прижал их к груди и воскликнул:

— Я передам свое послание только самому ярлу!..

Нас окружала стена молчания, за нами наблюдали, но с нами не заговаривали. Мимо сновали люди, одни выходили из покоев ярла, другие заходили туда, время шло, наступил тот час, когда короткий зимний день сменяется вечером. К нам подошел человек — потом

оказалось, что он писец ярла, — он отворил двери и впустил нас в передний покой. Писец был старый, одно плечо у него было ниже другого, словно все несчастья мира придавили к земле это плечо. Серые, пронизательные глаза писца сперва впились в меня, потом в Сверрира. Нельзя сказать, чтобы наш вид внушил ему уважение. Неожиданно он выхватил из рук Сверрира проповеди епископа Хрои и повернулся к нам спиной.

— Я сам передам ярлу это послание.

Сверрир хватается писца за плечи, поворачивает к себе и со всей силы надавливает на его более высокое плечо. Потом, словно подумав, быстро отпускает плечо писца. Оба молчат, еще никто из них не обнаруживает своего гнева. Сверрир забирает у писца завернутые в кожу святые слова, поднимает их над головой, вскрикивает негромко, но проникновенно, а потом, согнувшись, точно от боли, жалобно стонет и произносит нараспев:

— Сын Божий поможет мне, Он поможет мне, на этот раз я не позволю дьяволу ввести меня в непростительный грех...

— Ты писец ярла! — кричит он.

— Да, — отвечает тот, он еще не опомнился, чтобы тоже повысить голос, сейчас он похож на согнутый посох. Но скоро он нанесет ответный удар.

Сверрир кричит:

— Как писец ярла, ты не можешь быть низкого происхождения, как писец ярла ты обличен доверием, ты слышал многие тайны и видел послания, предназначенные не для твоих глаз. Но ты молчал обо всем?

— Да! — теперь кричит писец.

— И все-таки, — продолжает Сверрир, — все-таки ты не достоин этих посланий, все-таки не достоин. Ты мог осквернить их! — Сверрир поднимается на цыпочки, потом падает на пятки, склоняет голову и громко молится.

Он опять читает молитву, которую читают при освящении церкви:

*Terribilis est locus iste;
hic Domus Dei est et porta coeli.
Quam dilecta tabernacula tua,
Domine virtutum!*

*Concupiscit et deficit anima mea
in atria Domini...*

Я глубоко кланяюсь и осеняю писца крестным знаменiem.

Он стоит, забыв закрыть рот, но из его открытого рта не вылетает ни звука. Потом писец медленно отступает, не поворачиваясь к нам спиной, я бы не сказал, что он похож на побежденного, скорее на человека, которому вдруг довелось заглянуть в потусторонний мир. Наконец он убегает, чтобы рассказать то, что видел.

Мы ждем.

В тот же вечер нас допускают к ярлу.

Сверрир гордо выпрямляется перед этим могущественным человеком и говорит:

— Твоя жена, господин ярл, сестра моего отца конунга Сигурда. Я прибыл сюда с сообщением и просьбой от твоего друга конунга Эйстейна.



Покой, куда нас привели, был большой и богато убранный. Ярл стоял посреди покоя, широко расставив ноги, — крепкий человек с грубым лицом. Одет он был нарядно: на плечи был накинут голубой плащ, на поясе блестела серебряная пряжка. К одному плечу была прикреплена роза из сверкающих камней. Такое украшение я видел впервые. За ярлом стояли два мужа. Мечи их не были обнажены. Но руки свободно лежали на животе, эти суровые и ловкие на вид воины, без всяких раздумий пустили бы в ход оружие. За ними стояли еще двое. Все четверо, не отрываясь, смотрели на нас. Мне было не по себе от их взглядов, и мои глаза все время невольно останавливались на них. Хотя я знал, что мне больше пристало с достоинством смотреть в лицо ярла.

Вспомни, йомфру Кристин, мы со Сверриром очень устали. Мы проделали большой путь, у нас было с собой не слишком много еды, мы замерзли и почти не спали. В последнюю ночь мы не спали совсем, если не считать того, что подремали, прислонившись головами друг к другу в конюшне, где стояли наши лошади. С раннего утра мы, словно два нищих, уже стояли под дверьми ярла со своей вестью

от конунга Эйстейна. Нас без конца гнали, но мы снова и снова обращались со своей просьбой, с завидной выдержкой мы обращались ко всем, кто проходил мимо. Сломить Сверрира было невозможно, меня тоже.

Наконец Сверрир сказал:

— Твоя уважаемая жена, господин ярл, приходится мне тетушкой, и я был бы глубоко благодарен, если бы мне было позволено повидаться с ней.

Может быть, те четверо и были удивлены, но по ним этого не было заметно. А ярл, даже если ему и было неприятно, имел силы подняться выше этих речей, которые были для него не больше, чем капля грязной воды в серебряной чаше. Видно, он много встречал за свою жизнь и святых людей, и нищих, и монахов, и подозрительных посланцев, и негодяев, скрывавших под плащом меч, и храбрых воинов, готовых умереть за одно доброе слова. Он невозмутимо молчал.

Но протянул руку, чтобы взять завернутое в кожу послание, приняв за него проповеди епископа Хрои, которые Сверрир держал в руках. Но Сверрир крепче прижал их к груди и сказал:

— Это не слабое слово конунга и не слабое слово ярла! Это слово Божье, и ничего сильнее его у людей нет...

По лицу ярла скользнула тень гнева, но он сдержался, ему, наверное, показалось, что его просто дурачат. Он хотел было что-то сказать, однако Сверрир опередил его:

— Тебе должно быть известно, господин ярл, что конунг Эйстейн ведет войну с конунгом Магнусом. Эйстейн каждый день благодарит тебя за помощь, которую ты оказал ему. Но ему нужно еще больше людей и оружия.

Ярл сказал:

— Расскажи о конунге Эйстейне.

Сверрир сказал:

— Я никогда не видел его.

Ярл сказал:

— Мне кажется странным, что конунг посылает ко мне человека, который называет себя сыном конунга Сигурда, и не менее странно, что этот посланец никогда не видел конунга, которому служит.

Сверрир сказал:

— Позволь заметить, господин ярл, что твой укор больше относится к конунгу, чем ко мне.

Ярл сказал:

— А на мой взгляд, он относится к вам обоим.

Сверрир сказал:

— Зато, господин ярл, я встречался с его противником, с Эрлингом Кривым, человеком, который мучает норвежцев и которого ненавидит вся страна. С ним я встречался. И видел творимые им злодеяния. Я даже говорил с ним. И могу о нем рассказать.

Ярл сказал:

— Я тоже встречался с ярлом Эрлингом Кривым. Он далеко не глупый человек. Он хитер и у него длинные руки.

Сверрир сказал:

— У него длинные руки, они тянутся даже к Дании. У него там хорошие друзья, господин ярл. Но ведь ты воюешь с данами?

Сверрир подошел к сути дела, он расправил плечи, я тоже, но нам показалось, что ярл не хочет говорить о своих недругах данах и о войне, которую ведет против них.

— По-моему, — сказал он, — конунг Эйстейн — какой частью Норвегии он владеет, я так и не знаю, да и ты, наверное, тоже, — так вот, похоже, что конунг Эйстейн предпочитает посылать людей, а не письма. Однажды мои воины привезли замерзшего человека, которого нашли в лесах Эйдаског. Перед смертью он сказал, что должен был передать мне сообщение от конунга Эйстейна. Однако никакого письма у него не было.

Сверрир сказал:

— Тебе известно, господин ярл, что у Эрлинга Кривого острые зубы. По Норвегии спокойнее ездить, не имея при себе написанных слов. Хотя у самых бесстрашных из людей конунга Эйстейна есть с собой письма, вот мое.

Сверрир протянул ярлу письмо, полученное им от конунга Эйстейна, то, которое Эйнар Мудрый привез ему в Тунсберг. Ярл прочитал письмо, помолчал, потом сказал:

— Ты странный человек, и ты не глуп, сын ты конунга или нет, но любой конунг выиграл бы, если б ты был на его стороне. И любой ярл тоже.

Он засмеялся, и люди, стоявшие за ним, тоже засмеялись. Ярл сказал, что собрать дополнительную помощь конунгу Эйстейну дело

не из легких. Ему надо как следует поразмыслить над этим, но не теперь. Теперь Рождество, и пока оно не кончится, мало что можно сделать.

— Есть и еще кое-что, — сказал он и снова засмеялся, на этот раз громче, чем прежде.

Четверо телохранителей у него за спиной тоже засмеялись, они смеялись так же долго, как их повелитель, и так же отрывисто и жестко.

— Уже случалось, — сказал ярл, — что добрый Эрлинг Кривой посылал сюда людей, чтобы подшутить надо мной. Они выдавали себя за посланцев конунга Эйстейна. У многих были с собой грамоты, они были хорошо написаны, но только не конунгом Эйстейном. Эти люди были весьма красноречивы, когда приезжали сюда, но еще красноречивей они становились перед смертью. Особенно красноречивы были их опаленные брови и раны от ожогов, которых на них было больше, чем зубов в волчьей пасти.

Телохранители опять засмеялись точно так же, как ярл.

Потом нас увели, два человека шли впереди нас и два — позади.



Нас ввели в помещение, где все стены были сложены из камня, но оно показалось нам приятным. В нем стояла большая печь для хлеба, она была теплая и нас сразу же повело в сон. Был тут и стол, но постелей не было. Стол ломился от яств и пива, такого крепкого, что оно ударило мне в голову. Мы набросились на еду. Наверное, от голода и недостатка сна мы вдруг заметили, что каменные стены начали качаться и менять цвет у нас на глазах. Там, где они были серые, они стали синими, а там, где были черные и некрасивые, стали красными. Помню, что я смеялся. Сверрир тоже смеялся. Он смотрел на меня и смеялся, и я сказал, что мне нужна постель, потому что я хочу спать. Но постелей тут не было.

— Мы что, пленники в этом каменном стойле? — спросил Сверрир и опять засмеялся.

— Конечно, мы пленники в каменном стойле, — повторил я и тоже засмеялся.

Мы продолжали есть, я обмакнул палец в чашу с медом и облизал его. Выпил рог пива и снова наполнил его, отрезал ножом кусок

мяса, поднял его вверх и крикнул Сверриру, хотя он сидел рядом со мной:

— Ты со своим Ярлом!..

— Ну и что, я с Ярлом!.. — тоже крикнул он.

— Конечно, я пленник в этом каменном стойле, — вдруг равнодушно сказал Сверрир, таким я его никогда не видел. Я встал, чтобы подойти к нему, обнять и заверить, что я тоже пленник в этом каменном стойле, но споткнулся и упал прямо на печь. Она была теплая, но не горячая, я словно обнял молодую, крепкую женщину, разгоряченную и страстную, не коварную и неприступную, а податливую, пригожую и добрую. В это время к нам втолкнули нового узника.

Он был некрасив, но на вид неопасен. Получив пинка под зад, он немного скулил. Нога, давшая ему пинка, быстро скрылась за дверью. Мы успели заметить лишь носок башмака, но человек скулил схватившись рукой за зад. Помню, я засмеялся и сказал, что намажу ему зад медом, хе-хе! Сверрир тоже крикнул хе-хе, и сказал, что и он намажет ему зад медом. Но мы быстро успокоились. Я лакомился медом, а Сверрир обнаружил на столе белый хлеб. Такого хлеба у нас во рту еще не бывало. Брошенный к нам узник лежал на полу и стонал. Я предложил ему кружку пива, он оттолкнул ее и сказал:

— Они выбили мне зубы...

Свет в этом каменном стойле то появлялся, то исчезал. Он перемещался, скользил по стенам и по чудесной теплой печи, которая становилась то красной, то синей. Неожиданно из этого красно-синего скольжения возник человеческий голос, слова приобрели смысл, в них звучала жалоба, она походила на крюки в стене, на которых ничего не висело, но постепенно что-то появилось...

Узник сказал:

— Я по глупости посмеялся над ней, только по глупости! Ведь я знал... От ярла милости не жди...

Он перевернулся на спину и уставился в потолок, я тоже посмотрел в потолок и поднял к нему рог с пивом — потолок медленно начал кружиться, он кружился, кружился и превратился в прекрасное лицо Астрид из Кирккюбё. Потом я увидел, что Сверрир плачет. Я редко видел, чтобы он плакал. И я понял, чье лицо он увидел перед собой в этот миг. А узник на полу продолжал повторять: Я по глупости посмеялся над ней...

— Я по глупости посмеялся над ней, когда она шла в церковь... Спать... Потаскуха, говорили про нее люди, жена ярла потаскуха!.. И я сдуру посмеялся над ней, да еще сделал вид, будто бросил в нее дерьмом, когда она проходила мимо. Хорошо, что меня не хлестали кожаными ремнями... Я был пьян...

— Но люди правы! — продолжал он. — Правы, когда говорят, что жена ярла потаскуха. А те, что пришли сюда и выдали себя не за тех, кто они есть, пусть уезжают обратно к Эрлингу Кривому и скажут ему, что она потаскуха. Пусть и Эрлинг Кривой узнает, что Биргир Улыбка не уважает свою жену, что она распутничает, когда ее муж сражается...

Он лежал на полу, плакал и смеялся, потом уткнулся лицом в пол, подергал ногой, всхлипнул и сказал, что его жизнь все равно пропала — топор рано или поздно найдет его шею и потому теперь ему можно говорить все, что он хочет. Больше нет смысла лгать... Хе-хе...

Мы со Сверриром уплетали за столом мед, потом я встал, чтобы собрать овец, потому что был дома в Кирккюбе, но упал на пол рядом с узником. Теперь мне было лучше слышно, что он говорит. Он сказал, что согласен с ярлом.

— Пришельцам спалили волосы и тогда они заговорили. Хе-хе, спалили волосы. Если б у них хватило ума солгать, когда следовало, если б они признались, что их заставили пойти к нему: Ступайте, мол, к ярлу Биргиру Улыбке и разнюхайте, чем он там занимается, или голова с плеч! Тогда бы ярл Биргир пощадил их. А вот я свою голову потерял зазря!

Он плачет, я протягиваю ему пиво, он делает большой глоток, или не такой уж большой? Может, он нас боится? Не знаю, он плачет все громче и роняет рог с пивом. Закрывает лицо руками. В это время Сверрир вскакивает и бьет меня по уху.

— Конунг Эйстейн дерьмо!.. — кричит он.

Таким я его еще не видел. Голова у меня гудит. Сверрир снова бьет меня, но теперь я отвечаю ему, правда, мой кулак лишь слегка задевает его лицо. Узник на полу переворачивается на спину, и мне почему-то кажется, что ему теперь не так больно, как раньше. Сверрир кричит:

— Конунг дерьмо! Все они дерьмо, эти могущественные! Эйстейн называет себя конунгом, а он просто дерьмо. Отправил нас сюда в

этот мороз и метель без должной свиты, заставил проделать такой путь по чужой стране, чтобы вымолить для него помощь. Почему он не оставил нас в покое? Почему заставил просить помощи для человека, который, может, и не имеет права называться конунгом...

— Ты бесчестишь конунга!.. — кричу я.

— Я бесчещу не конунга, а дерьмо! — кричит Сверрир, и мы налетаем друг на друга, я быстро подминаю его под себя, но он хватается меня за горло, а потом вскакивает. Я бью его ногой в живот. Он сгибается, я валю его на пол, узник рядом откатывается в сторону и наблюдает за нами.

— Это ты дерьмо, ты! — кричу я Сверриру и отталкиваю его от себя.

Он прыгает, как собака, и вцепляется мне в загривок, трясет меня и кричит, чтобы я вспомнил, как сам называл конунга Эйстейна дерьмом.

— Я не желаю больше таскаться по этой стране нищенствующим монахом! — кричит Сверрир. — И не желаю возвращаться в тот ад, я остаюсь здесь...

— Из-за тебя мы вернемся с пустыми руками! — ору я. — Не получим ни войска, ни оружия, мы зря проделали весь этот путь!..

И я плачу. Сверрир бьет меня по лицу, потому что и ему хочется плакать. Но ему плакать нельзя, посланец конунга Эйстейна должен быть сильным. Хотя конунг Эйстейн и дерьмо.

Мы трое лежим на полу, узник рядом с нами уже спит, по крайней мере мне так кажется, и я тоже почти засыпаю, но тут поднимается Сверрир, он стоит на коленях, молится или бранится, теперь я отчетливо его вижу, меня прошибает пот, болит щиколотка и запястье. Сверрир стоит на коленях, словно молится, а может, он в гневе проклинает кого-то... С жаром и с ненавистью, но сознавая свою правоту, он говорит:

— Конунг Эйстейн дерьмо... Но мы служим ему. И должны к нему вернуться.

Я киваю, я с ним согласен.

Только что я ощущал тайную радость, и Сверрир тоже, мы были полны дерзости и веселья, как герои лживых саг. Теперь это прошло. Мы поняли, что человек, которого заперли вместе с нами, вовсе не узник, он должен был выяснить, правда ли, мы

посланцы конунга Эйстейна или нас прислал сюда Эрлинг Кривой. Теперь он, видимо, убедился, что мы люди Эйстейна Девчушки.

Вскоре этот человек засыпает, или мне это только кажется. Мы же со Сверриром в эту ночь спим по-очереди и потому с наступлением дня не чувствуем себя отдохнувшими. Утром два стража уводят узника. И мы больше не видим его. Потом нас отводят в другое помещение, более пристойное. Там мы тоже получаем и пиво, и пищу.



Через день нас снова приводят к ярлу Биргиру, на этот раз он выглядит иначе, куда лучше, чем раньше. Теперь он похож на старого доброго настоятеля и тепло приветствует нас. Нас усаживают за стол напротив ярла и приносят пиво. Кроме нас, в покое ярла присутствует еще один человек, возможно, телохранитель, он перебирает какие-то послания и не глядит в нашу сторону.

— Я понимаю, что вам хотелось бы получить мой ответ еще до Рождества. Ваше желание как можно скорее доставить весть конунгу Эйстейну заслуживает уважения. Я слышал, что Эйстейн очень умен, хотя, на мой взгляд, он еще слишком молод, я слышал, что он мужественен в бою и его окружают храбрые люди. Но я воюю с данами и сам нуждаюсь в своих воинах и оружии. Я уже оказывал помощь Эйстейну и, быть может, в будущем окажу еще. Но собрать для него войско, чтобы помочь ему завладеть Виком, у меня, увы, нет возможности. Если он окажется в большей опасности, чем сейчас, если удача отвернется от него, тогда мы снова поговорим об этом. Ответить ему иначе сейчас я не могу.

Ярл Биргир оказался честным и добрым человеком, мне он понравился, он прямо сказал свое мнение и назвал причины, почему должен был ответить отказом. Сверрир согласился: пусть так и будет, мы благодарим ярла за гостеприимство и просим разрешения вернуться к нему, если конунг Эйстейн снова будет нуждаться в его помощи. Ярл ответил, что всегда с радостью примет нас. Он также сказал:

— Я думаю, Фольквид, лагманн в Хамаре в Вермаланде, мог бы дать вам оружие. Он человек могущественный и его нельзя назвать

другом Эрлинга Кривого. Вы, конечно, слышали про него. Его жена Сесилия дочь моего шурина.

Ярл ни слова не упомянул о том, что Сверрир претендовал на родство с его женой. Сверрир выслушал совет ярла с каменным лицом. Ярл пригласил нас остаться на Рождество в Бьяльбо и быть его гостями на большом пиру, который он устраивает для своих людей. Мы поблагодарили его за приглашение, но попросили разрешить нам отправиться в Хамар, как только кончится первая часть праздника, если, конечно, погода и дорога позволят нам это сделать. Ярл сказал, что желает нам удачной поездки.

Мы поклонились и ушли, он проводил нас, такой учтивый человек не мог мне не понравиться. Проходя через двор мы увидели знатную женщину, которую сопровождали две служанки, они шли в церковь, стоявшую поблизости. Это была жена ярла Биргитта, тетушка Сверрира, если только они оба действительно были из того рода, на принадлежность к которому претендовали.

Близко они так никогда и не познакомились.

Мы прожили в Бьяльбо до Нового года, а потом сразу отправились в Хамар в Вермаланде.



Когда мороз вгрызается тебе в сердце и кровь цепенеет в жилах, ты начинаешь ненавидеть того, кто идет впереди тебя... Он идет и идет, несмотря на бешеный ветер, ты видишь его темные, широкие плечи, они излучают силу, которую ты ненавидишь, заставляют тебя зажмуриваться, чтобы не видеть их, но ты все равно видишь. Он идет впереди, вынуждая идти и тебя, наступает ночь, потом — день, и он заставляет тебя идти сквозь буран. Ты уже не различаешь дороги, он тоже, вы долго идете берегом большого озера, которое еще не замерзло. Кто-то сказал, что оно называется Вэнэрн. Волны омывают берег, но теперь озеро исчезло, и дорога, и тропа — все исчезло. Исчезло в метели, темноте и ветре, который вынуждает тебя согнуться. На тебе были башмаки, теперь их нет, на тебе был плащ, его унес ветер. Ты жевал кусок мяса, он замерз у тебя во рту, ты что-то сплюнул, что, слюну или лед? Ты сплюнул кровь. А плечи идущего впереди застав-

ляют идти вперед и тебя — нет ни усадьбы, ни людей, а теперь нет и дороги. Но надо идти дальше.

Ты думаешь: можно напасть сзади и всадить в него нож... Эта мысль соблазняет тебя, ты идешь позади и ты зарежешь его, ты идешь за ним до вечера, слышишь, что он что-то кричит, но не разбираешь слов. Он кричит что-то о ночлеге, но здесь негде найти ночлег, плечи идут, идут, и над вами воет и вопит ветер, вас прижимает к земле сплав ветра, снега и темноты. Ты уже не видишь плечей идущего впереди. Глаза замерзли, ты не видишь больше ни человека, ни его плечей. Но ты угадываешь впереди темную фигуру и знаешь, что этот человек заставляет тебя идти вперед, несмотря на буран. И ты хочешь крикнуть ему, задыхаясь от ненависти: Сын конунга, ты дерьмо!.. Сын конунга, ты дерьмо!.. Пламя святой Девы Марии горит у тебя перед глазами, заставляет идти вперед, обжигает лицо и не дает закрыть глаза. Ты падаешь и встаешь, падаешь и, шатаясь, бредешь дальше за человеком в буране. Он больше не человек. Может быть, он Бог? Нет, нет, не Бог, он дьявол, заставляющий тебя идти сквозь буран. На землю падает дерево, оно могло бы раздавить вас, его сокрушил ветер, но всемогущий Бог пощадил вас. О святая Дева Мария, святая Матерь Божья, избави нас от этой ночи! Но человек идет дальше. У тебя был кусок мяса, теперь его нет, ты глотаешь кровь, потом уже и не глотаешь ее, у тебя во рту она превратилась в лед. Но ты идешь дальше.

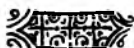
Брезжит день, вы идете вперед, стужается ночь, вы идете вперед. Где-то же должна быть усадьба, но ее нет, ни человека, ни волка, который мог бы растерзать вас и избавить от страданий. Но плечи впереди тебя продолжают идти навстречу ветру. Это не твои плечи и не Бога, это плечи дьявола, в этих сильных, широких, сердитых, негнущихся и несдающихся плечах дьявола воля человека. И она заставляет его идти вперед, несмотря на буран.

Ты ползешь, и он тоже ползет, ты падаешь, и он тоже падает. Но поднимается и идет дальше, ползет дальше, дальше, скоро уже рассвет, только бы перестал снег. Нет больше дня, нет ночи, лишь кровавый свет перед глазами и одна мысль в голове: всадить нож в плечи, идущие впереди. Но у тебя нет ножа. А ветер такой, что сильнее уже и не бывает, в твоей крови, в груди, в сердце воет ветер, и даже Дева Мария не может подарить покой страдальцам. Он падает.

И снова поднимается, и трясет тебя, чтобы ты проснулся, он ползет дальше, и ты ползешь за ним. Он поворачивается и что-то кричит, но никто, ни ты, ни Дева Мария не можете разобрать, что он кричит, обращаясь к ночи. Потому что день уже кончился. Он падает.

И ты падаешь, тогда он подползает к тебе и нажимает большим пальцем тебе на глаз, ты кричишь, вскакиваешь и бьешь его, вы боретесь в снегу, ты чувствуешь, как лед начинает таять, ты тратишь последние силы. Он подхватывает тебя, и вы рядом бредете дальше. Дальше, рядом, ты плачешь и говоришь, сам этого не сознавая: Конунг дерьмо! Он тоже кричит: Конунг дерьмо! И смеется — это конунг смеется над дерьмом, а дерьмо — над конунгом. Вдруг он вырастает перед тобой и хочет тебя раздавить, но это не он, а его плащ, которым он укутывает тебя, лед в тебе тает и замерзает снова. И вы идете дальше, все дальше. Но теперь он молчит.

Больше нет ни ночи, ни дня, нет ничего, только воющий над землей ветер. И ноги, они идут, идут и идут. Наступает утро, и вы находите постоянный двор.



В низком очаге горит огонь, перед огнем, согнувшись, сидит женщина, она молится... Я открываю глаза и вижу, что она похожа на святую Деву Марию, снова закрываю глаза и мне чудится, что она похожа на Рагнфрид из монастыря на Селье, которая посыпала волосы золой и носила на руках сына, точно щит. На меня капает что-то теплое, к моим губам прикасаются чьи-то пальцы и раздвигают их. Чей-то голос кропит мои уши словами, слова капаят и капаят, словно вода с сосульки. Я прошу поесть. Встаю на колени и прошу поесть. А голос каплет, каплет: Ты получишь поесть, но надо подождать, подождать, подождать. Теплые руки опять прикасаются ко мне и заставляют открыть рот. Что-то каплет мне в рот, и я млею.

Тут есть еще кто-то, я это чувствую, но не знаю кто. Если у женщины, что согнувшись молится перед горящим очагом, в волосах зола, значит это Матерь Божья, святая Дева Мария. Если она лежит, распростершись, под мужчиной, если она его страстная возлюбленная, значит, это Рагнфрид из монастыря на Селье. Она кропит меня словами, ласковыми и теплыми, они полны смирения грешницы и

жара женщины, Она наклоняется надо мной и что-то вливает мне в рот. Раньше на мне была одежда, теперь ее на мне нет. Кто-то поворачивает меня, закутывает в овчину, нагретую у огня. И я засыпаю. Но сквозь тепло и сон каплет ее нежный голос, я ловлю отдельные слова, и они, как жемчужины, остаются в моем ноющем сердце, прощенном теми, кого я любил, но обидел...

Женщина говорит о Сесилии, она смеется... О какой Сесилии она говорит? Еще она произносит имя Святой Девы, и эти имена сливаются воедино, как солнце и ветер сливаются воедино жарким днем, и можно лениво дремать под высоким, поющим деревом. Ее голос полон нежности и светлой сдержанной силы, он полон доброты, идущей от Бога, которая не может иссякнуть. Здесь есть еще один человек, я не знаю его, он бьется в бреду, она ласково обнимает его и он успокаивается. Погружается в забытие, как и я, а когда я вскоре просыпаюсь, — днем или ночью, не знаю, — во мне опять поет ее голос:

Сесилия...

Теперь я лучше вижу ее, чем раньше: волосы у нее в золе, когда-то она, наверное, была хороша собой, теперь — нет. Она кропит меня словами, которые я знаю, от них пахнет знакомыми воспоминаниями: Сигурд, Сигурд из Сальтнеса... Ее голос опять пропадает в темноте, и я забываюсь. А когда прихожу в себя, она все еще поет о Сигурде и Сесилии, своей прежней повелительнице и хозяйке, о мире в стране и о людях, которые явились в монастырь на Селье. В меня текут красота и мед. Двумя пальцами она открывает мне рот и вливает в него молоко с медом. Она поет мне о Сигурде, который отправил ее с сыном в более безопасное место, о пути странницы по дальним лесам, о страданиях, о дорогах, пройденных в страданиях по этим лесам. И о Сесилии. О Сесилии, несвободной жене могущественного человека и о ее великодушном молодом сердце, об этой изгнаннице и рабыне, величавой, как Бог. Она поет и об этом постоялом дворе, жалком прибежище путников, о постоянно горящем огне, о молящемся сердце, о пути к женщине, которую принудили стать наложницей могущественного человека, о рабыне высокого происхождения. И она поет о Боге.

Здесь есть кто-то еще, я его не знаю.

Она поет о Деве Марии, о Сесилии и о Боге.



Я, Сесилия, дочь конунга Норвегии, глубокоуважаемая наложница лагманна Фолькvida, подаренная ему ярлом Эрлингом...

Люди, посланные ярлом, похитили меня из Гьёelmi в Оркадале, они загнали меня в угол, накинули на голову овчину, завязали в другую и утащили, словно зарезанную телку. Ярл Эрлинг велел им увезти меня, ведь я могла родить на свет мальчика, в чьих жилах текла бы кровь конунгов. Меня подарили лагманну Фолькvidу, я была одной из многих его наложниц, но красивей всех, теперь я его жена. Ярл Эрлинг подарил меня в те времена, когда власть его была еще не так прочна, чтобы у него хватило смелости убивать дочерей конунгов. Я красива и достаточно сильна, чтобы пнуть лагманна ногой в живот и прижать его к полу, если мне не хочется давать ему то, на что у него никогда не было прав. Пнуть голой ногой в голый живот, в пах, вложив в этот удар всю свою ненависть и одиночество, услышать, как он взвывает. И дерзко засмеяться в его искаженное болью, пьяное лицо, плюнуть, отвернуться и вдруг снова посмотреть на него — как раз в то мгновение, когда его ненависть будет настолько сильна, что он мог бы пырнуть меня ножом. Посмотреть и снова пнуть ногой в его обнаженные чресла, чтобы он откатился в сторону.

Меня, молодую и красивую, привезли сюда недостойным образом, Я была растрепанная, грязная, оборванная. Лагманн сорвал с меня одежду, его служанки вымыли, причесали и нарядили меня, приготовив к услугам, которые раньше оказывали ему сами. Но одному я научилась здесь: Держи свое при себе... Позволь ему иногда отведать меда, пусть иногда насладится красотой твоего сверкающего тела. Но не позволяй ему пресытиться этим медом.

Так я жила и повелевала, так я стала тем, что я есть. Положение жены лагманна дает мне власть, моя ненависть не остыла, воля —

сильна, я красивее многих женщин, которые моложе меня, но я понимаю, что моя красота не вечна. Я живу с неутолимой тоской по тому, от чего меня оторвали, никто не может избавить меня от моего одиночества, я безгранично люблю своих детей, но почти все они умерли. Мною владеет еще одно чувство, и оно сильнее ненависти к человеку, ставшему моим мужем и сделавшему меня, дочь конунга, своей рабыней. Сильнее мужа я ненавижу ярла Эрлинга, лишившего меня всего, что принадлежало мне по праву. Ярла и его присных в Норвегии.

Моя смиренная служанка Рагнфрид пришла ко мне и сказала, что на постоялый двор для странников пришли два обмороженных человека... И какой-то голос шепнул мне: Это не обычные люди. Их привели ко мне, и я сразу поверила им, мой муж уехал к конунгу и нашел себе там новую любовницу. Я упала на колени, поцеловала своего брата и сказала: Я буду любить тебя всю жизнь...

Я верю ему, он мой брат. Я верю ему, и если он не мой брат, я готова вырвать свое сердце и бросить его на ветер или съесть, как собака поедает свои вырванные внутренности. Я выколю ему глаза — и себе тоже, — если тот, кому принадлежат эти прекрасные, горящие глаза, свидетельствующие о силе мужа и мудрости Бога, не мой брат.

Если он не мой брат, я зарежу его и изжарю на медленном огне, я раздеру свои одежды и, нагая, буду плясать перед этим медленным огнем. Я сброшу с себя все одежды и, отказавшись от чести, нагая буду плясать на глазах у дружинников моего мужа. Каждого из них я возведу на свое ложе, пройду, нагая, по всем покоям нашей усадьбы, преклоню колени в церкви перед святым образом Девы Марии и вознесу к небесам свой вопль: Он не мой брат!

Но если он мой брат, я преклоню колени перед святым образом Девы Марии и посыплю свои волосы золой, как Рагнфрид посылает свои, я откажусь делить ложе с моим мужем и вообще с кем бы то ни было. Или напротив, если будет на то воля Божья, впервые смиренно буду служить своему мужу, радуясь, что он мой муж. Я сделаю все потому, что этот человек мой брат. Во мне поет голос: он мой брат! Он тоже дитя конунга Сигурда, брат мой по плоти и по духу, брат перед Богом и перед людьми, перед ветрами небесными, перед ночной тьмою, перед жарким светом лета! Он мой брат!

Он имеет право быть конунгом, и я подтверждаю это. Я потребую, чтобы он объявил себя конунгом, заставлю его, я плюну в него, зарежу, прикажу убить, вздернуть на дереве, закопать в землю, если он не потребует того, что принадлежит ему по праву. Он будет конунгом и моим братом, конунгом и моим братом, будет так или не будет ничего, будет так или ему смерть. И я сказала ему это.

Я стояла перед ним, и мне хотелось упасть на колени. Многих мужчин я познала — мой муж часто уезжает из дома — многих мужчин я познала, и мой муж не знает об этом. Но я впервые вижу такого красивого, сильного, горячего, мудрого, нежного мужчину, с таким неземным лицом и глазами, к которому я равнодушна как женщина, но которого готова любить как сестра.

И я сказала ему это.

Пресвятая Дева Мария, я так и сказала ему, он стоял передо мной в бедном платье, с обожженным морозом лицом, и я сказала ему: Ты сын конунга! И увидела, что он плачет. Потом я тоже плакала в его объятиях, только мы двое, только мы, у меня не было потребности обладать им, как женщина обладает мужчиной, мне хотелось любить его только, как сестра любит брата.

И я сказала ему это.

Он подарил мне нежность, какой я не знала, разбил мое одиночество, которое никто был не в силах разбить. Он увезет меня отсюда, где меня сделали наложницей, туда, где я жила в юности и где меня почитали как дочь конунга.

И я сказала ему это.

И он сказал мне: Я увезу тебя туда как дочь конунга.



Было серое холодное утро, до начала поста оставалось два дня. В Хамар в Вермаланде пришла ватага воинов, вид у них был жалкий. Это были берестеники, разбитые в сражении при Рэ, конунг Эйстейн пал в этом сражении. Часть его людей бежали в Теламёрк, часть — сюда. Возглавлял отряд Сигурд из Сальтнеса.

Сигурда рубанули по лицу, нос у него был изуродован, рана болела. Голос тоже изменился от удара дубиной по шее. Раньше у него был красивый голос, теперь — словно надтреснутый, все это сломило Сигурда, его поддерживала только ненависть. Башмаков на нем не было, он не сделал себе башмаков даже из бересты, которая часто выручала берестеников. Но на морозе береста становится хрупкой и сломалась бы, если бы ее сейчас стали гнуть. Он ходил босиком, в рваной одежде. Вид его был страшен.

Скупыми словами Сигурд рассказал о сражении.

— Нас было немало, но мы многого не учли. Снег был глубокий, люди ярла утрамбовали его и им было удобно биться. Мы же увязали в снегу.

Сигурд сплюнул кровью. В его голосе на слышалось особенного горя, когда он сообщил, что конунг Эйстейн пал. Зато он оживился, и лицо его исказилось от ненависти, когда он сказал, что конунг Магнус не понес большие потери.

— Чести нам это не прибавит, — сказал он.

Сигурд был уже не прежний, но все-таки он остался в живых, и мы сказали, чтобы утешить его:

— Не все твои враги смогут хвалиться этой победой.

С ним в отряде были его младшие братья, Йон и Вильяльм. Я их увидел впервые. Вообще-то они были красивые парни, но теперь вид у них был жалкий. Вильяльму проткнули мечом живот, он обмотал его тканью и походил на брюхатую женщину. Его мучила жажда, и он молил дать ему воды еще до того, как мы внесли его в дом. Думаю, он был не в себе и уже давно шел, не понимая, что происходит. Вильяльм не узнал своих братьев, когда они хотели помочь ему. Он отбивался от них, ему казалось, что он все еще сражается при Рэ, его пришлось скрутить, он плакал.

Йон побывал к смерти ближе, чем его братья. Он бежал с поля сражения. Люди конунга Магнуса преследовали его, и он забрался в

колодец, где во льду была прорубь. Ему удалось спуститься под лед — к счастью, вода стояла низко и подо льдом хватало воздуха. Йон стоял на цыпочках на дне, высунув над водой только рот и нос. Он весь заledenел, наступила ночь, потом рассвело. Один из его преследователей увидел свежие следы на снегу возле колодца и наклонился посмотреть. Ему захотелось пить, он нашел ковш, зачерпнул воды и напился. Йона он не заметил, но уходить не спешил. К колодцу подошли несколько воинов, они привели с собой пленника. Пленник кричал, что он не берестеник, а напротив, сражался на стороне конунга Магнуса. Какие у тебя доказательства, спросили они. Отведите меня к конунгу Магнусу, он сохранит мне жизнь. Этого мы не сделаем, ответили воины и зарубили его. Йон, стоя в колодце, слышал, как они препирались, не зная, что делать с трупом. В конце концов они спустили его в колодец, чтобы оставить жителей усадьбы без питьевой воды. В колодце стало тесно.

Теперь их тут было двое, одинаково скованных морозом, но когда наступил вечер, Йону удалось выбраться из колодца, опираясь на покойника. Он не смог прочесть над ним молитву, и это мучило его, когда он бежал из усадьбы. Он бежал долго, сил у него оставалось мало, а мужества и того меньше. В темноте он заблудился и снова вернулся к своему колодцу. От ужаса он закричал, но воины уже ушли и его никто не слышал. Он подбежал к дому, толкнул дверь ногой и вошел внутрь. В доме была только старая женщина. Она крикнула ему, что ее дочери тут нет, решив, что этот воин в заледневшей одежде — охотник до девушек. Женщина кричала, что ее дочь Гудвейг ушла к своему жениху в Рафнаберг, а потом прибавила, что ее мужа убили и бросили в колодец, а ей одной его не вытащить. Его зовут Бьярти.

Йоуну пришлось убить ее, уж слишком громко она кричала, потом он раздел ее и разделся сам. Она была крупная женщина, и он кое-как натянул на себя ее юбку и теплую кофту, нашел он и еды, но немного. На другой день он встретил отряд берестеников. Многие из них погибли.

Среди оставшихся в живых и пришедших в Хамар оказались и другие наши знакомые, но мы не сразу узнали их. Был среди них и мой добрый отец Эйнар Мудрый. Одежда на нем была изорвана, лицо обморожено, он подошел ко мне и сказал:

— Богатым я никогда не был, а теперь стал и того беднее.

— Наследство после тебя будет небольшое, но для меня оно дорого, — сказал я ему.

— Добрый сын делает человека богатым, — сказал отец.

В Тунсберге Эйнар Мудрый пытался набрать сторонников из горожан, но ему не повезло. Большинство хотели подождать сражения и уже потом решать, кто им друг, а кто недруг. Наверное, конунг Магнус заподозрил, что на Эйнара Мудрого не следует полагаться, поэтому он взял его с собой, когда отправился из Тунсберга в Рэ, где должно было состояться сражение. Эйнар Мудрый не принимал участия в битве, но находился поблизости, когда берестеников оттеснили к церкви и они бросились в церковную ограду, надеясь спасти там свою жизнь. Однако люди Магнуса заперли церковные ворота и порубили всех берестеников прямо во дворе церкви — более подходящего для себя места не мог бы пожелать себе ни один покойник. Конунг Магнус проезжал в это время мимо церкви, но и пальцем не шевельнул, чтобы воспрепятствовать такому злодейству. Эйнар Мудрый дождался сумерек и покинул Рэ.

— Лучше уж всю жизнь скрываться, чем жить рядом с человеком, который не уважает святости церкви, — сказал он.

Эйнар Мудрый редко говорил о Боге и святых мужах. Священников он тоже не слишком жаловал. Но им всегда руководило желание судить по справедливости тех, кто просил об этом. Он бы пощадил каждого, если б только эта пощада не затрагивала чести. Теперь он был беднее, чем когда-либо в жизни, и вместе с тем — богаче.

Среди берестеников был и мой верный друг Бернард. Он тоже был вынужден сопровождать конунга Магнуса, когда тот отправился в Рэ. Бернард рассказал, что преподобный Бьярни, личный священник ярла Эрлинга в Тунсберге, заподозрил, что Бернард и Эйнар Мудрый относятся к тем людям, которые говорят о конунге без должного уважения. И довел это до сведения конунга. Бернард держался в стороне от битвы, но ему пришлось подойти, чтобы дать последнее благословение раненному берестенику — тот, умирая в снегу, громко звал мать, ему казалось, что он снова стал ребенком. Подоспевшие люди конунга Магнуса хотели зарубить Бернарда. Он бежал, спасая свою жизнь, и присоединился к берестеникам. Утром он решил, что дорога в Тунсберг может ока-

заться для него слишком тяжелой. С тех пор он шел дорогой конунга Сверрира.

Бернард пожал мне руки, мы обнялись, и он сказал с улыбкой, которую я никогда не забуду:

— Нам с тобой следовало бы сидеть в монастыре в Премонтре и беседовать о мудрости книг.

Лицо у него было уже не такое белое, как раньше, теперь и обликом и одеждой он больше походил на раба. Но голос был по-прежнему глубок, и в глазах еще таилась сила ума.

Был среди берестеников и Хагбард со своим сыном. У Хагбарда было тайное поручение — он должен был встретить в Хове берестеников, направлявшихся в Рэ, и сообщить им, сколько людей у конунга Магнуса и как они настроены. По обыкновению он нес на плечах Малыша, с ним он никогда не расставался, этот жалкий калека словно оберегал его. Хагбард нашел там конунга Эйстейна и его войско, и ему мало понравилось то, что он увидел. Конунг не умел держать в повиновении своих людей. Одни пили, другие не могли дождаться конца битвы, когда они окажутся в селении, где есть женщины. Хагбард сказал конунгу правду, какой он видел ее. В Тунсберге много сотен воинов, и если там нет самого ярла, это ничего не меняет. У конунга Магнуса есть и другие неплохие советчики, и он достаточно умен, чтобы следовать их советам. Кажется, ты трусишь, сказал ему конунг Эйстейн. Тот, кто не может слушать правду, трусит еще больше, ответил Хагбард. Эйстейну не понравился такой ответ. Он спросил, что за мальчишку Хагбард таскает на плечах. Это мой сын, ответил Хагбард, у меня на плечах он и тебе приносит пользу, потому что охраняет меня. Этих слов конунг Эйстейн не понял, он помрачнел и отослал Хагбарда прочь.

Хагбард пошел с берестениками в Рэ, где стояли люди конунга Магнуса. Его спас Малыш. Хагбард шел в третьем ряду, он размахивал топором и громко кричал, чтобы прибавить мужества себе и другим, но Малыш от страха описался и теплая моча потекла Хагбарду на шею. Тогда Хагбард выбрался из битвы, не из-за себя, а из-за мальчика. Когда берестеники побежали, он был уже так далеко, что опасность больше не угрожала его жизни. Меня спас Малыш, говорил он.

Малыш тоже поморозился и жалобно скулил, но теперь он был в доме и им занялись женщины. Несколько человек умерли уже на дворе в Хамаре в Вермаланде. Теперь, когда их жизнь была вне опасности, пережитое напряжение оказалось для них роковым. Один из умерших был Гуннар Вешальщик, тот парень, что держал монахиню Катарину за волосы, когда ей отрубили голову. Он был брат Ивара, сына вольноотпущенника из Тунсберга, с которым мы познакомились в трактире у причалов. Хагбард уговорил Гуннара уйти к берестеникам, сказав, что люди смеются над ним из-за того, что он свалился на землю от страха, когда отрубленная голова Катарины упала ему на колени. Это была правда, парня дразнили за это, и многие считали, что достойного мужа из него не выйдет. Гуннар возненавидел прежних друзей, и они с Иваром покинули Тунсберг, отправившись навстречу конунгу Эйстейну и его людям. Потом они вместе пришли в Хамар.

Но Гуннар был тяжело ранен. Он дрался на совесть, теперь Катарина была не единственная, кому он помог перебраться в другой мир. С холодным расчетом он выбирал самых слабых и старых в войске Магнуса и от всего сердца опускал на них свой топор. Гуннар ранили, и во время бегства Ивар тащил брата на санках, которые смастерил из лыж. Потом один берестеник, оказавшийся сильнее Ивара, стал отнимать у него сани, а Сигурд из Сальтнеса, возглавлявший оставшихся в живых берестеников, был сам слишком слаб, чтобы разнять дерущихся. Ивар остался со своим раненым братом, а все пошли дальше, тогда он взвалил брата на плечи и потащил его. Гуннар был еще жив, когда они добрались до Хамара, но умер во дворе усадьбы, его не успели даже внести в дом.

Я впервые увидел берестеников.

Среди них был также и священник Симон.

Симон покинул монастырь на Селье, не дожидаясь, пока люди ярла Эрлинга доберутся до него. Он прошел через горы на восток, нашел в Упплэнде конунга Эйстейна и присоединился к нему, но не как священник, а как воин. Он хорошо колот и хуже рубил, и умел пускать в ход яд, который хранил и в свином пузыре и на кончике языка. Симон не был среди людей, близких к конунгу Эйстейну. Видно, своим недобрым умом он предугадал, что тому уже недолго осталось жить. Но в битве при Рэ, впервые оказавшись перед конунгом

Магнусом и его людьми и уже не обязанный изображать дружеские чувства, которых он не испытывал, Симон дрался, как настоящий воин, не щадя никого, кто попадался ему на пути. Он вышел из сражения без единой царапины, залитый только чужой кровью. Без единой царапины пришел он и сюда. Но Сверриру он был не по душе.

Его злая усмешка по-прежнему была опасна для тех, кому она предназначалась, в ней не было радости. От этой ледяной усмешки мороз казался еще сильнее и жестче. Симон попросил напиться. Больше он ни о чем не просил. Он похудел еще больше. Я знаю, что Катарина умерла, сказал он..

Но Сверриру он был не по душе.

Таковы были эти люди, мало кто не был ранен, всех вместе их было меньше сотни. Часть берестеников бежала в Теламёрк, но говорили, что таких было немного. Тело конунга Эйстейна осталось лежать на полях Рэ, и ярл Эрлинг Кривой стал теперь еще сильнее, чем был.

Сигурд из Сальтнеса сказал Сверриру:

— Теперь у нас один выбор: ты или смерть.



Сигурд сказал Сверриру:

В Сальтнесе в Бувике есть старая женщина, ее зовут Гудрун, это моя мать. Я хочу к ней вернуться! Вернуться, ведя за руку Рагнфрид и неся на плечах своего сына. Никто не умеет печь хлеб так, как Гудрун, никто не сбивает масло, как она. Я берестеник, мне приходилось убивать и мужчин и женщин. Я видел кровь и знаю ее вкус. Я жесток и меня трудно заставить плакать, но я плачу, когда ем масло, сбитое моей матерью. Я хочу, чтобы мой сын вырос в Бувике. Отец мой уже умер, но мой сын должен расти там, где жил он. Я хочу вернуться домой. Но я не хочу пробираться туда тайком. Хочу вернуться днем, открыто, увидеть усадьбу и почувствовать, как мое сердце раскроется, все принимая в себя. Я не умею говорить так, чтобы люди прислушивались к моим словам, но ты не из простых, ты первый из первых и ты поймешь меня. Я хочу вернуться домой! Я никому не говорил об этом, даже братьям, я боялся заплакать, а взрослый муж не должен плакать перед своими братьями. Я чувствую на губах вкус меда, дикого меда с холмов вокруг Сальтнеса. У нас в огороде рос хмель, на поле голубел лен, у нас было все, что нам нужно. Я хочу вернуться туда.

Или ты, Сверрир, или смерть, ты — единственный, кто в состоянии помочь мне вернуться домой.

Говорят, что ты сын конунга, и, если не ошибаюсь, ты сам тоже так говоришь. Но сын ты конунга или нет, ты должен помочь мне вернуться домой, неся сына на плечах.

Или ты, Сверрир, или смерть!



Священник Симон сказал Сигурду:

Ты зря говоришь, что хочешь вернуться домой, неся на плечах сына. Лучше скажи Сверриру так: Или ты станешь нашим конунгом и поможешь нам с честью вернуться домой, или мы убьем тебя и с позором отвезем домой твою голову. Сын ты конунга, — или только говоришь так, — мы сможем купить себе жизнь, вернувшись к ярлу Эрлингу с твоим трупом. Хотя я этому и не верю. Не верю, что ярл Эрлинг сохранит нам жизнь в обмен на труп Сверрира. Его труп ничем не будет отличаться от наших. Но напугай Сверрира, скажи, что если мы вернемся назад с его трупом, мы купим у ярлу Эрлинга свою жизнь.

Скажи ему: Или ты, Сверрир, или смерть!



Бернард сказал Сверриру:

Ты знаешь, Сверрир, что у меня есть выход: я прибыл сюда из чужой страны и могу вернуться туда. Я долго лелеял мечту наняться на какой-нибудь корабль, идущий в Йорсалир, и там смиренно пройти по дорогам Христа. Мне кажется, что, если бы я попал туда, не увидев, как люди убивают друг друга, я был бы счастлив умереть там, где умер Он. Я вижу перед собой не один путь. Но знай, я пойду тем путем, каким пойдешь ты. Не знаю, почему. Если на то и есть причина, то, думаю, она в том, что только ты можешь помочь Сигурду из Сальтнеса и его сыну вернуться домой. Только ты можешь дать Хагбарду и его сыну мир, который им так нужен. Только ты несешь в себе свет, который заставляет людей идти, когда идешь ты, и молчать, когда молчишь ты. Я не люблю сражений. Но уже пролилось столько крови, что настало время дать мир людям, видевшим, как умирают их близкие. Они имеют право вернуться к своим родным и жить дома, ничего не опасаясь. Ведь только ты, Сверрир, сын конунга.

Или ты не сын конунга?

Думаю, или ты объявишь себя конунгом или смерть.



Сесилия сказала Сверриру:

В детстве мне говорили, что у меня был другой брат, его звали Эйрик, я никогда его не видела. Он тоже был сын конунга Сигурда, говорили, что он уехал в Йорсалир. Но когда он вернется обратно — полагаю, с честью, — возможно, он по праву объявит себя конунгом Норвегии.

Вот я стою перед тобой, я сильная женщина, и по мнению многих, красивая, но радости я не знала. Я — твоя сестра, ты — мой брат, единственный мой брат, все эти годы, пока ты не пришел, я была одинока.

Но ты должен знать, Сверрир, что у меня есть еще один брат, его зовут Эйрик, и когда он вернется из Йорсалира, он может по праву объявить себя конунгом Норвегии.

Почему мне важно, чтобы ты это знал?

Что ты скажешь, мне Сверрир? Неужели скажешь, что твое сердце жаждет покоя?

Нет, Сверрир, конунг Норвегии, у тебя один путь: или объяви себя конунгом или смерть.



Сверрир сказал мне:

Не думаю, что они смогут купить себе жизнь, убив меня и посплав мой труп Эрлингу Кривому. Я знаю, что путь, по которому нам предстоит идти, будет залит кровью, возможно, и моей тоже. И я мог бы поступить так, как хочется Бернарду: наняться на корабль, идущий в Йорсалир. Может, я добыл бы там славу и богатство, и тогда, по возвращении, мне было бы легче потребовать то, что, как я думаю, принадлежит мне по праву. Но могу ли я уехать от этих людей? Я чувствую себя сыном конунга, значит, так оно и есть, но если я уеду от этих людей, которые сейчас нуждаются во мне, значит, я перестану быть сыном конунга. Тогда меня всю жизнь будет мучить вопрос: сын я конунга или нет? Если я изменю людям, которые нуждаются во мне, значит, я брошу в море то, что составляет долг и честь конунга. Брошу свое будущее, свое право объявить себя конунгом Норвегии. Вернуться к этому я уже не смогу. Норвегию не назовешь богатой страной, и благополучной тоже, люди здесь редко видят масло и не каждый день приносит им кусок хлеба. Бернард говорил, что у него на родине вина больше, чем когда-либо было пива в Норвегии. Так неужто я должен уехать отсюда, чтобы пить много вина?

Вернуться на Фарерские острова я не могу, люди ярла Эрлинга найдут меня там. Найдут меня и в Исландии, и на Оркнейских островах, я должен либо покинуть владения ярла Эрлинга Кривого, либо вступить с ним в борьбу, и пусть судьба решает: он или я. Но и это еще не все.

Есть еще одно, Аудун, и только ты узнаешь об этом. Это горит во мне, я уже сделал свой выбор, еще в начале жизни. Но не мог выразить его словами и потому слова не подкреплялись действиями мужа. И вот день настал. Я хочу повелевать людьми. Я люблю власть, но, может, люблю ее лишь потому, что нечто другое, более важное, люблю еще больше. Может, заставляя людей подчиняться моему слову —

это лишь главные условия для выполнения чего-то другого, более важного? Но что оно, это другое и более важное?

Я хочу, помочь Сигурду из Сальтнеса вернуться домой к матери, неся на плечах сына.

Это так, но есть и что-то еще, более важное, чем это. И я смутно это угадываю. За Сигурдом и его сыном, за Хагбардом с Малышом на плечах мне видится нечто другое и более важное. Это глас Божий, который я слышу в себе, я — мститель, я должен отомстить человеку, который творит несправедливость против норвежцев, я приду не с миром. Или меня опьяняют мои собственные слова и я лгу самому себе? Неужели я лгу себе, и все, кроме меня самого, знают, что я лгу?

Нет, я уверен, что я настоящий муж, то, что могу я, не может никто, а что могут другие, могу и я. Он избрал меня, и Он меня не покинет. Он призывает меня. Он требует этого от меня. Или меня зовет только моя собственная жажда власти?

Нет, меня зовет не только мое властолюбие. Меня зовет Всемогуций, на счастье и на несчастье. Он наделил меня своей силой, и я иду, ибо должен. Еще можно остановиться! Я сижу здесь, снаружи царит ночь и стужа, кричат раненные из Рэ, и мне кажется, что этот покой и острая боль в сердце говорят мне, что еще можно остановиться.

Кровавым и неправедным путем пойдет мое сердце, путем одиночества. И этот мой путь закончится лишь тогда, когда я отправлюсь на великий покой. А ты, Аудун, мой единственный друг, останешься, быть может, моим другом и после моей смерти. Или, может, тогда ты предпочтешь стать моим недругом?

Дай мне напиться, Аудун, и позволь спокойно подумать, пусть тишина снизойдет на мое сердце, которое больше уже никогда не будет знать покоя. И пусть ко мне придет Симон.

У меня нет выбора, Аудун, или я объявлю себя конунгом или смерть.



В следующее воскресенье Сверрир собрал тинг в Хамаре в Вермаланде и обратился к своим людям, ветер нес с севера снежные хлопья и ерошил волосы Сверрира. Небольшого роста, крепко сбитый, он держался просто и слова его сперва не были значительными. Он не позволил себе говорить в полный голос с самого начала, был погружен в себя и словно терзался сомнением, но сила его росла по мере того, как он говорил. Он говорил о тяжелом для Норвегии правлении ярла Эрлинга Кривого, о том, что его сын Магнус не имеет права на звание конунга, ибо его отец происходит не из рода конунгов. Он говорил о пути, пройденном берестениками, о том, что они храбры в сражениях, выносливы и стойки во время переходов по лесам и пустошам, по которым до них не ступала нога человека. Он восхвалял их простыми словами. Сказал, что отряд без предводителя, все равно что корабль без кормчего, и что путь в Норвегию им прегражден мечами ярла Эрлинга Кривого и его жестоких воинов.

Он говорил долго, иногда сильно волнуясь, держа людей в напряжении и внушая им уважение к самим себе. Вид у берестеников был жалкий — обмороженные, оборванные, они мало знали о человеке, говорившем с ними, а сам он ничего не сказал о себе. Но сказал, что надо послать двух человек к ярлу Биргиру и попросить у него оружия, — он полагает, что ярл согласится помочь им: в последний раз, когда он говорил с ярлом, конунг Эйстейн был еще жив и вряд ли кто-нибудь успел сообщить ярлу о поражении берестеников при Рэ и об их бегстве в Хамар в Вермаланде. Если ярл Биргир хочет, чтобы они были его друзьями, ему придется заплатить за эту дружбу, а с оружием ярла Биргира берестеники смогут снова начать борьбу.

Эти простые слова мог сказать, кто угодно, но мало кто мог произнести их таким голосом. Наверное, Сверрир не без умысла не стал говорить людям того, что они хотели бы услышать. Надежды этих людей были разбиты, и на их исхудавших лицах особенно проступала усталость. Но вот Сверрир возвысил голос, этот голос словно ястреб упал на людей, впился когтями в их измученные души и уже до самой своей смерти они не могли забыть его. Сверрир приподнялся

на носках и поднял руки, как будто уперся в небо двумя мечами, площадь тинга окружали высокие скалы. Потом он опустился и сжался, словно придавленный к земле непосильной ношей. Наконец он снова выпрямился и крикнул людям:

— С Божьей помощью мы одолеем все, я отдаю себя Его власти, осененный Его светом, я осмеливаюсь обратиться к вам и сказать: Мой путь или смерть!

Именно эти слова конунг Олав Святой сказал во сне моей матери: Мой путь или смерть! Она долго скрывала от меня их и все, что ей было сказано, когда она была в Ромаборге и исповедалась там самому папе. Мой сын — сын конунга, сказала она первому священнику, которому исповедалась. Только там, в святом городе, она осмелилась признаться святой церкви в грехе своей молодости. Но священник не решился сам принять ее исповедь и отвел ее к тому, кто имел более высокий сан. Он отвел ее к епископу, а уже тот, в свою очередь, к самому папе, и этот святой отец отпустил смиренной женщине ее грехи и сказал: Поезжай домой и открой правду своему сыну. Но тогда он начнет сражаться, заплакала она, тогда он покинет меня и уже никогда не вернется ко мне.

Ты должна поехать домой к сыну и открыть ему правду, сказал папа и в гневе отвернулся от нее потому, что она, простая женщина из бедной Норвегии, осмелилась усомниться в справедливости и мудрости его слов. Но она осмелилась, ибо знала: путь сына конунга легко может оказаться кровавым. Она осмелилась, ибо знала: неутодная Богу война между братьями всегда бывает кровавой. Она осмелилась, ибо как мать не хотела, чтобы ее сын вел сражения.

Но тогда к ней явился тот, кто был святее самого святого папы в Ромаборге. Святой конунг Олав явился к ней от самого престола Господня. Он сказал моей матери: Мой путь или смерть! И она поняла, что это будет не смерть, а бессмертие. Пойти его путем — означало последовать за ним к своему сыну, чтобы рассказать ему правду о его отце. И она последовала за конунгом Олавом Святым, который привел ее ко мне.

И когда она, стоя передо мной, открыла мне правду, я почувствовал его присутствие. И когда она наклонилась, поцеловала меня и сказала, что это материнский поцелуй и материнское благословение перед тем, как я обращусь за благословением к Господу Богу, я по-

чувствовал, что Олав Святой тоже наклонился и поцеловал меня. И он сказал: Мой путь или смерть!

Мой путь или смерть! Не смерть в жалком доме земного царства, но бессмертие. Ступай моим путем или прими смерть! Ступай моим путем, сын конунга, с голых норвежских островов, лежащих на западе! У тебя есть право наследства, Бог дал тебе особый дар, и, если ты изменишь, этому дару, будешь во искупление грехов гореть в вечном огне! Мой путь или смерть!

Сегодня ночью мне приснился сон. До этого я долгие дни и годы мучился сомнением, не зная, должен ли я потребовать то, что в этой стране принадлежит мне по праву. Я понимал, что мне придется пройти через кровь. И эта кровь может оказаться моей собственной. Понимал, что мне придется пожертвовать также и кровью своих друзей, пожертвовать правдой и прибегнуть к обману, если я хочу одолеть бесчестного врага. Я думал, не лучше ли мне отправиться на корабле в Йорсалир и там преклонить колени перед могилой Спасителя, а уж потом, вернувшись домой, спросить у Бога, должен ли я объявить себя конунгом этой страны или нет? До нынешнего вечера меня мучили сомнения.

Тогда они все пришли ко мне. Мой добрый друг Сигурд пришел и сказал: Или ты, Сверрир, или смерть! Мой добрый друг Симон, священник с Сельи, обладающий глубокой мудростью и огненной волей, пришел ко мне и сказал: Или ты, Сверрир, или смерть! Все они пришли ко мне, пришел Аудун, мой друг, родившийся на тех же островах, что и я. Он прижался ухом к моей груди и сказал: В твоём дыхании я слышу дыхание конунга Олава Святого, я слышу, как в твоём сердце бьется его сердце. Или ты, Сверрир, или смерть!

Они все пришли ко мне, пришла Сесилия, моя любимая сестра, изгнанная из своего дома в Оркадале человеком, который, не имея на то права, повелевает Норвегией. Она пришла и сказала: Объяви себя конунгом, Сверрир, или смерть! Все они явились ко мне, один нес на плечах ребенка, его зовут Хагбард, он уже очень давно носит своего сына по пустошам и полям, обогранным кровью. Он сказал: Объяви себя конунгом, Сверрир, или смерть! И Бернард из прекрасной страны франков, человек редкой мудрости и редкой доброты, истинный ученик Иисуса среди нас, слуга того Духа, которого наш бедный дух даже не в силах постичь, пришел ко мне и сказал: Или ты, Сверрир, или смерть!

Но я молчал. Я еще сомневался, правда еще не набрала силы в моем сердце, я колебался. Но сегодня ночью правда открылась мне. Пришел старый Самуил, пророк из Священного писания, пришел и повел меня вперед, меня, недостойного, неопытного, слабого, не обладающего божественной мудростью. Он пришел и повел меня вперед. И еще один пришел и повел меня вперед, это наш конунг Олав Святой, он подвел меня к престолу, от которого исходил свет, я закрыл глаза, упал на колени и сказал: Я, Сверрир, объявляю себя конунгом или смерть!

Теперь я знаю свой долг и свой путь, я иду с вами. Сегодня я ваш предводитель, завтра я ваш конунг.

Я, Сверрир, объявляю себя конунгом или смерть!



ЭПИЛОГ

Уомфру Кристин покинула меня, чтобы разделить ложе со своей служанкой йомфру Лив, а я остался сидеть, глядя в глубокую темноту, выползшую из углов, после того как дочь конунга унесла с собой свечу.

Я видел только свои руки, белые на фоне красных углей очага, — когда-то это были руки священника, теперь — руки воина, на них шрамов больше, чем следует, и напоминают они о крови.

Мороз, ночь, идет снег, зима уже началась, и, думаю, это хорошо. Ни один корабль не станет заходить во фьорд в такую погоду, да и воины, как пешие, так и конные, не отправятся в леса и на пустоши искать следов, оставленных мной и моими людьми. Я надеюсь, мы сможем пробыть в Рафнаберге до начала весны.

За свою долгую жизнь я научился сидеть на одном месте и ждать, как нынче ночью, как этой зимой.

Меня радует йомфру Кристин, ее беззаветная любовь к отцу и ее детское уважение к красоте его сердца.

Если у меня и были женщины за мою долгую жизнь — пусть не всегда я обладал ими с их согласия и редко на ложе, застланном полотном, — ни на кого из них у меня не было такого права, ни к кому из них я не относился с



таким сердечным жаром, с таким страхом и такой жгучей радостью, как к ней, которой никогда не обладал и не буду обладать.

В покой с очагом, где я сижу, приходит Гаут, и я понимаю, что на сердце у него что-то есть.

Вид у него усталый и мрачный, сломить Гаута невозможно, но тем не менее сил у него уже меньше, чем было раньше.

Я беру чарку с вином и делаю почти незаметный глоток. Предлагаю и Гауту смочить губы. Он благодарит, но отказывается.

— Это ты, господин Аудун, — говорит он, — чей тяжкий долг наблюдать за всем, что здесь происходит, и на чьих плечах лежит ответственность за жизнь и безопасность дочери конунга, нуждаешься в небольших радостях.

— Хорошо сказано, Гаут, — говорю я и допиваю вино.

Оно доставляет мне горькую радость и оставляет во рту привкус ушедшего лета.

Я спрашиваю:

— Ты хочешь что-то сказать мне?

— Да, — отвечает он. — Я хочу кое-что сказать тебе, господин Аудун. Ты, наверное, помнишь, что в далекой молодости, когда мы встретились в монастыре на Селье, я смотрел тебе в лицо, пока ты молился, чтобы заставить тебя сказать правду. Всю жизнь я мечтал об этом: заставить людей говорить правду. Но мне этого не удалось. И ты тоже не открыл мне правды. Именно это я и хотел сказать тебе нынче ночью.

— Мне кажется, Гаут, — говорю я, — что когда-нибудь ты потеряешь и вторую руку.

Он отвечает:

— Все, что у меня есть, к твоим услугам.

— Скажи, — прошу я, — ты все еще веришь в силу прощения? Тебя гнали палками, ты потерял руку, мало кто слушал тебя и никто не поступал так, как ты хотел. Неужели ты до сих пор веришь в силу прощения?

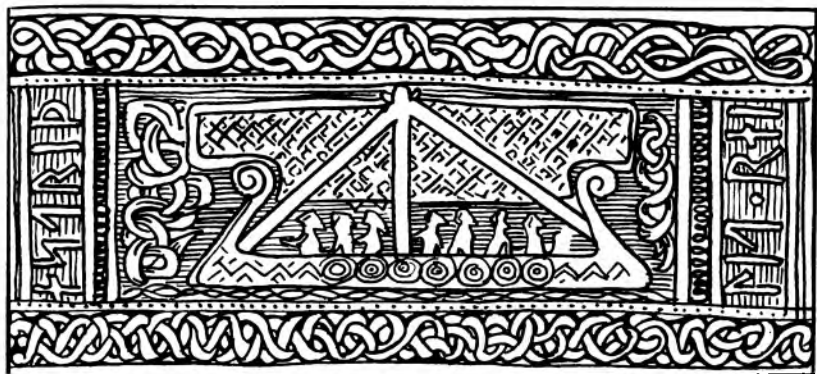
— Да, — отвечает он. — Всей болью моего живого сердца я еще верю в силу прощения. Разве ты не знаешь, господин Аудун, что того, кто не прощает, бояться только его враги, меня же бояться и враги и друзья.

Я склоняю голову и говорю, что в моей жизни и в жизни конунга Сверрира плохих дней было бы меньше, а хороших — больше, если бы мы верили в силу прощения.



Конунг. Изгой





ПРОЛОГ

Я Аудун с Фарерских островов, верный спутник конунга Сверрира и в добрые и недобрые времена. Я все еще сижу в Ботне в усадьбе Рафнаберг, темнота плотно окутала это забытое Богом и людьми жилье, прилепившееся на высоком уступе обрывающемся в море. Прошло три ночи со дня святой Люции*, свирепствует зима с морозами и северным ветром. Не думаю, что кто-нибудь из посошников проложит себе путь к этой усадьбе по глубокому рыхлому снегу, этот снег нас спасает.



Со мной в Рафнаберге дочь покойного конунга Сверрира, йомфру Кристин, и ее красивая служанка йомфру Лив. На пути из Осло в Бьёргюн мы увидели в устье фьорда смутные очертания корабля посошников, это заставило нас сойти на берег и продолжать путь по суше. Было бы хорошо, если б мы могли пробыть здесь, в Рафнаберге, до начала весны. А тогда мы уедем отсюда, на корабле или на лошадях, и только Сын Божий и Дева Мария знают, удастся ли нам добраться до Бьёргюна.

Посошники в Тунсберге, посошники в Осло. Они дорого оценили мою голову, но это не имеет значения, — я

* День святой Люции — 13 декабря

священник и воин, единственный свидетель всех тайных подвигов и злодеяний конунга Сверрира, всегда следовавший за ним. Хуже то, что они столь же дорого оценили и йомфру Кристин, не ее голову, а ее юное, нетронутое лоно. Только один человек может спасти ее от позора и бесславного надругательства. Это я.

Будь, что будет, со мной и с горсткой моих воинов, готовых умереть за дочь своего конунга. В светлые мгновения я верю, что сын Божий и Дева Мария всегда со мной, но в мрачные мгновения я в этом сомневаюсь. Поддерживает меня и воля покойного конунга, моего близкого друга с незапамятных времен. Трудно сказать, сколько дорог мы прошли вместе по этой стране, пешком, на лошадях, на кораблях, шум скольких битв оглушал нас и сколько тихих часов проговорили мы друг с другом — конунг и единственный свидетель всей его жизни.

Со мной несколько живых и один мертвый.

Против меня посошники.



Я взял с собой в Рафнаберг только четверых из моих людей, и еще Малыша, несчастного калеку, который много лет был слугой конунга Сверрира, теперь он служит мне. Два человека стоят в дозоре на западной опушке леса, оттуда на нас могут напасть посошники. Их обоих отличает качество, которое всегда высоко ценилось в войске конунга: между сражениями они не спешат смыть с себя кровь. Двое других сидят в засаде на берегу под крутым уступом, обрывающемся в море. Оттуда в усадьбу ведет тропа. Если посошники нападут с моря, один из них сразится с ними и погибнет, тем временем как дургой побежит в усадьбу, чтобы предупредить нас. Эти двое тоже сопровождали конунга из одного конца страны в другой, мы берестеники, ноги у нас обернуты берестой и мы сражаемся, как одержимые, даже если в желудках у нас пусто.

Хозяина усадьбы зовут Дагфинн. Я не совсем доверяю ему, но и недругом его тоже не назовешь. Он относится к тем людям, которых Господь одарил прозорливостью больше, чем мужеством. Его бедную жену зовут Гудвейг. Ей я тоже не доверяю. Но оба они здесь необходимы — молча и неохотно, они все-таки кормят и поят моих

людей и меня. Лучшие куски баранины я приказываю Малышу отнести йомфру Кристин и ее красивой служанке йомфру Лив.

Есть в Рафнаберге еще один человек, это однорукий Гаут. Он один из тех редких людей, что несут на своих плечах ношу прощения. Гаут ходит по стране, чтобы прощать людей. Он верит, что в тот день, когда он простит всех, у него на месте обрубка снова вырастет рука. Разум твой никогда не был велик, Гаут, и кошелек, что ты носишь на поясе, был бы слишком жалкой добычей для уважающего себя грабителя. Тем не менее нынче, в эту холодную ночь, когда мороз, словно лезвие стального клинка царапает кожу, надо признать, что в твоей единственной руке тепла больше, чем в моих двух, и что твое старое изболевшееся сердце выше многих церквей в этой стране.

Но и в верности Гаута у меня есть сомнения, которые скорей свидетельствуют о неблагодетельстве моей души, нежели его.

Мы пришли в Рафнаберг на восьмой день после праздника Перстня, который отмечается в честь того, что кровь господа нашего Иисуса Христа была привезена в перстне из Йорсалира в Нидарос. Дни тянутся долго, а ночи еще дольше, я коротаю их, выполняя желание йомфру Кристин: рассказываю ей суровую и вместе с тем прекрасную сагу об ее отце конунге. В своем рассказе я дошел до того дня в далеком прошлом, когда Сверрир выступил на тинге в Хамаре в Вермаланде и с гордо поднятой головой взял на себя предводительство над горсткой изгоев. Через год тяжелой борьбы он был провозглашен конунгом Норвегии.

Пока я рассказывал по вечерам йомфру Кристин правду об ее отце, мне не давала покоя одна мысль. Что еще я должен сделать, чтобы защитить ее жизнь и честь? Сквозь кровавое немирье, царящее в этой стране, начинают пробиваться хрупкие ростки другого соперничества. Скупые на слова люди ходят по неизвестным тропинкам между враждующими станами. Рано или поздно это приведет к миру, посошники и берестеники перестанут воевать друг с другом.

Я знаю, и не я один, хотя мы и не говорим об этом, что самое дорогое, что мы, сторонники конунга Сверрира, можем отдать за мир — это его дочь, которую он любил больше всего на свете, правда, за одним исключением: свой долг он любил еще больше. Как конунг он должен был добиваться мира в стране. Чтобы достичь этого,

он был готов пожертвовать всем, кроме права своих людей и своей мужской чести.

Йомфру Кристин этого не знает.

Для нее будет лучше, если до поры до времени я ничего не скажу ей об этом.



Все-таки я не совсем уверен, что посошники не найдут нас здесь, в Рафнаберге, хотя зимние дни коротки, а снег глубок и рыхл. Если они нападут из леса, я схвачу йомфру Кристин, спущусь с ней по тропинке к фьорду и мы уплывем на утлой лодчонке, что привязана у нас на берегу. Если же нападение будет с моря, моим людям придется сразиться с посошниками и пасть, тогда как мы с йомфру Кристин бежим лесом на лошадях, невзирая на снег и мороз.

Нынче ночью, пока в очаге пляшет огонь и Малыш спит на полу возле моей постели, мне кажется, что мой умысел можно улучшить одной хитростью, достойной самого дьявола. Если нам придется отсюда бежать, я не смогу взять с собой йомфру Лив. Но нам поможет, если посошники решат, что в руках у них оказалась йомфру Кристин, а не ее служанка. Ведь они не видели дочери конунга, только слышали рассказы о ней, о ее гордой осанке и не бьющей в глаза красоте. Те люди, что ищут сейчас дочь конунга и меня, не имели возможности бывать при дворе ее отца.

Если мне удастся придумать, как убедить их, что они нашли именно йомфру Кристин, это поможет нам спастись. Мне пришло в голову — я давно привык находить выход из любого трудного положения, — что девушки похожи друг на друга и лицом и статью. Они одинаково гордо вскидывают голову, и в качестве служанки конунговой дочери йомфру Лив одевается так, как подобает одеваться женщине знатного происхождения.

У них есть только одно отличие — маленькое красивое распятие, которое конунг когда-то подарил своей дочери. Теперь она всегда носит его на шее на серебряной цепочке. Об этом распятии я мог бы рассказать целую сагу. Когда конунг Сверрир первый раз увидел свою новорожденную дочь спящей на руках у королевы Маргрет, он сказал:

— Она должна носить на груди распятие с изображением Спасителя, оно защитит ее.

Я тогда посоветовал конунгу, чтобы он велел изготовить маленькое распятие, похожее на то большое, перед которым мы с ним, молодые священники, молились дома в Киркьюбе на Фарерских островах. Конунг согласился со мной. Сперва такое распятие сделал Хагбард Монетчик, но оно оказалось непохожим. Конунг в гневе сломал его и тут же отправил корабль в Ирландию за известным мастером. Мастер изготовил красивое маленькое распятие, с тех пор оно украшало шею молодой йомфру Кристин и хранило ее от всех несчастий. В глаза страдающего Сына Божьего были вставлены два синих блестящих камешка. Они смотрели на всех, кто смотрел на дочь конунга.

Такое украшение могла иметь только дочь конунга. Если посошники обнаружат распятие на шее у йомфру Лив, они примут ее за йомфру Кристин. Откуда бы на нас ни напали, с моря или с суши, я, перед тем, как бежать с йомфру Кристин, сначала убью йомфру Лив и брошу ей в лицо горящие поленья, а терпящий муку Сын Божий с двумя блестящими синими камешками вместо глаз пусть смотрит с укором на воинов, которые, вторгшись сюда в поисках дочери конунга, нашли ее мертвой.

Они перекрестятся в страхе, а дочь конунга Сверрира и я будем уже далеко.



Я бросаю в Малыша башмаком, и он вскакивает. Я прошу его позвать фру Гудвейг. Она приходит с заспанными глазами, рубашка бьет ее по худым ногам. Я велю ей привести сюда йомфру Кристин и ее служанку. Вскоре они приходят, тоже заспанные, я отсылаю прочь Малыша и фру Гудвейг. Молодые женщины стоят передо мной, стройные, с испуганными глазами, они полны ко мне доверия, которому трудно найти отклик в моем злом сердце. В лице йомфру Кристин есть нечто, чего нет у ее служанки. Это ум и надменность, она несет свое происхождение, как дорогое серебряное украшение. Все детство, проведенное в покоях матери, ее учили вести себя так, как положено дочери конунга.

Не утруждая себя объяснениями, я говорю им, что йомфру Кристин должна отдать своей служанке серебряное распятие, которое она носит на шее.

— Это необходимо, — говорю я. — Мой долг твоего защитника, йомфру Кристин, заставляет меня сделать ради твоей безопасности все, что сделал бы на моем месте сам конунг.

Они не задают мне вопросов.

Йомфру Кристин послушно снимает распятие и протягивает его йомфру Лив.

Йомфру Лив послушно надевает его себе на шею.

Потом я их отпускаю.

Я смотрю на свои руки: в те годы, что я следовал за конунгом Сверриром, не только руки бывали у меня крови. Но я знаю, что если бы Сын Божий позволил мне вернуться на первое распутье в моей жизни и сказал: Выбирай снова, по какому пути ты пойдешь, моему или конунга? Я и тогда — с меньшей радостью, чем в первый раз, но без колебания — опять пошел бы за конунгом.



Когда йомфру Кристин оставила меня в тот вечер, чтобы вернуться на ложе, которое она делит со своей служанкой йомфру Лив, я еще долго сидел у очага. Была полночь, в Рафнаберге не слышалось ни звука, кроме шороха ветра, летящего над лесом и морем. Наверное, я задремал, прикрыв усталые глаза рукавом рубахи. Почувствовав, что кто-то стоит у меня за спиной, я вздрогнул и очнулся.

Сзади стоял Гаут. Однорукий старик с изможденным, страдающим лицом и глазами, глубину которых я не мог постичь никогда. На плечи у Гаута был накинута его старый, потертый плащ, он как будто куда-то собрался. Я не успел открыть рот, как он сказал:

— Господин Аудун, нынче ночью мне показалось, что ты замыслил зло против йомфру Лив?..

Я вздрогнул, он заметил это и продолжал, словно рубанул топором:

— Какой-то голос сказал мне, что ты хочешь ее убить?..

Он подошел ко мне ближе и, будто защищаясь, поднял свою единственную руку. Тяжелую руку, и вместе с тем необъяснимо нежную. Сколько церквей в нашей стране он поставил этой рукой! Я

никогда не видел Гаута таким. Несмотря на мое уважение к нему, он часто внушал мне неприязнь, часто, благословляя его добрым словом, я произносил ему в сердце своем злые проклятия. Но нынче ночью он, по-моему, хотел вцепиться мне в глотку, как лисица в глотку ягненку. Я отступил на шаг. Гаут последовал за мной.

Он сказал:

— Мне показалось, что ты хочешь убить ее?..

Я сказал:

— Ты Божий человек, Гаут! Помни об этом и не обвиняй ближнего в том, что он готов пролить чью-то кровь.

Он сказал:

— Не думаю, что эта кровь будет заметна среди той, что ты уже пролил.

Я сел, не глядя на него, и жестом пригласил его сесть на табурет рядом с очагом. Но он остался стоять. Мысли летели в моей голове, как сухие листья, подхваченные ветром. Откуда Гаут мог узнать о моем злом умысле против йомфру Лив? Ни она сама, ни йомфру Кристин, если и догадались, что я задумал, не могли рассказать этого Гауту. Они ушли спать в свой покой. Ни Малыш, ни Гудвейг не могли слышать моего разговора с йомфру Кристин и ее служанкой. Кто же сказал об этом Гауту?

Бог?

Я боролся со своими мыслями, чтобы обрести ясность. Передо мной стоял Гаут, лицо его было утрюмо, не слышалось ни звука, кроме шороха ветра, летящего над лесом и морем. Я вдруг подумал: может, это Дева Мария услышала мои слова? Может, моя жестокость к йомфру Лив заставила ее уронить слезу, может, она пошла к Гауту и попросила его о помощи? Или это свет всемогущего Бога проник в мою мрачную тайну и открыл ее Гауту?.. В молодости я был священиком, но теперь это не могло помочь мне.

Что ему от меня надо?

Ведь это еще не все.

Гаут не заставил меня долго ждать:

— Господин Аудун, — сказал он, — я знаю, что ты злой человек, но, может быть, твоя доброта все-таки больше моей. Кто-то разбудил меня нынче ночью, когда я спал в хлеву, и сказал: Встань и иди! Я повиновался. Идя по двору, я понял: жизни йомфру Лив угрожает

опасность. Я поднял глаза. Я видел только звезды и слышал только ветер. Но кто-то шепнул мне: Ты можешь спасти ее...

Я знаю: ты со своими людьми... Ты, я и все остальные продолжим эту братоубийственную войну в нашей стране! Она унесет и наши жизни. Жизнь йомфру Лив и жизнь йомфру Кристин тоже унесет война. Позволь мне пойти в Тунсберг к посошникам, господин Аудун. Позволь сказать им: Хватит с нас этой проклятой войны между братьями! Мы сейчас в Рафнаберге, с нами дочь конунга Сверрира. Ступайте туда и убейте нас, если посмеете! Мы не обнажим мечей, чтобы защитить свою жизнь! Предстаньте перед Всевышним с кровью дочери конунга на руках. Убейте нас или дайте нам мир...

Я знаю, ты и твои люди хотят отдать дочь конунга в жены тому, кто больше за нее предложит. Думаю также, что жизнь йомфру Кристин не такая уж высокая плата за сладость Божьего мира. Но готов ли ты заплатить за это и своей честью?..

Он говорил хорошо. Освещенный светом очага, он стоял передо мной, протянув свою единственную руку, точно меч. Я дрожал под его напором, может быть, самым сильным из всех, каким я подвергался за свою долгую жизнь воина. Он сказал:

— Господин Аудун! Мне бы хотелось пойти в Тунсберг с твоим добрым напутствием. Но, если понадобится, я пойду и без него.

Я мысленно спросил себя: Ты можешь убить его? Но я понимал: нас здесь слишком мало, и мы не сумеем скрыть убийство этого доброго человека. Если и не все любили Гаута, то многие боялись его тягостной доброты. Убить его было бы небезопасно. А далеко ли простирается моя власть над людьми, подумал я. Убьют ли они меня, если я убью Гаута?

Конунг Сверрир был умный человек и был куда хитрее многих. Его способность скрывать свое лицо за дымом очага со временем передалась и мне. Я хотел выиграть время и сделал вид, будто размышляю над тем, что сказал Гаут. Он сидел на табурете рядом со мной. Мне казалось, что от его широкоплечей фигуры исходит неистовая сила.

Неожиданно я встал и сказал, глядя в его страдающие глаза:

— Ты слишком высокомерен, Гаут! Ты веришь, что Всемогущий позволит твоей руке вырасти снова, если ты простишь всех своих недругов. Тебе кажется, что ты избранный, этаким новым Сын Бо-

жий. Тот, который установит мир между братьями в этой стране и заставит недругов забыть о своей вражде. Ха-ха! На самом деле ты просто убогий старик, над которым мужчины смеются, а женщины исходят жалостью! Ты собачье дерьмо, и Всемогущий не прикоснется к тебе даже кончиком пальца. Ты хочешь противопоставить свой ум моему, свой ум — уму всех людей. Ты готов рисковать жизнью йомфру Кристин, — и жизнью йомфру Лив тоже, — ублажая себя мыслью: именно я постучусь в дверь посошников и предложу им мир. Но от них ты получишь только немирие.

— Нет! — крикнул он.

— Да! — крикнул я. — Знаю я таких, как ты. Вы трусливы и высокомерны, вам не доступна правда, которой руководствуются люди. У нас только один путь — мой! Конечно, мы хотим мира. Но сперва мы должны одержать победу в немирье.

— Нет! — крикнул он.

— Молчи! — заорал я на него.

В это время пришел Малыш. Я обернулся и закатил ему оплеуху. Это помогло всем — и Малышу, которому нечего было сказать, и мне. Думаю, это помогло и Гауту. Он застыл с открытым ртом. Потом встал. Я указал ему на табурет. Он сел.

— Молчи! — снова крикнул я, он закрыл рот и не сказал ни слова.

Я повернулся к Малышу:

— Приведи всех сюда! Всех до единого! Стражей, что стоят в дозоре, хозяина усадьбы с семьей, йомфру Кристин с ее служанкой.

Я снова ударил его, и он ушел.

Я молчал, не спуская глаз с Гаута.

Он опустил капюшон плаща на лицо.



Они пришли все, первым пришел Дагфинн, несчастный хозяин этой усадьбы. Мне было жаль этого человека, ему всегда хотелось есть, но, как правило, еды было мало. Он держал в руке дубовую палку. Это было его оружие, но даже его, если б пришлось, Дагфинн пустил бы в ход нерешительно и без должной силы. За ним пришла Гудвейг, его жена. Широкобедрая, худая, она была похожа на рабыню, но страха она не ведала. Пришла и их дочь Торил. Она была

босиком и в нижней сорочке. Я знал, что мои люди неплохо знакомы с ней. Но я не испытывал зависти к ним — меня не привлекали места, где многие уже побывали до меня.

Потом пришли дозорные, в эту ночь нас не охранял никто. Это все были берестеники, суровые, молчаливые, с помороженными руками. Я назову по имени только Сигурда, он был сыном того Сигурда из Сальтнеса, который сражался на стороне конунга Сверрира во многих кровавых битвах. Пришедшие стали полукругом перед очагом.

Наконец пришла йомфру Кристин со своей служанкой, разбуженные второй раз за эту ночь. Глаза у йомфру Лив были испуганные, йомфру Кристин, напротив, выглядела смелее, чем в прошлый раз, когда была здесь.

Я сказал:

— Вам известно, что мы останемся в Рафнаберге до наступления весны?..

Вам известно, что вы останетесь здесь, пока я не скажу своего слова?..

Я знаю, что могу доверять вам, как Спаситель доверял своим апостолам. Но если среди вас найдется Иуда, он заплатит за свое предательство так, что Божья Матерь заплачет кровавыми слезами. Я отрублю ему руку!

Посмотрите на меня! Тот или та, кто предаст меня, протянет руку и я отрублю ее, я или кто-нибудь из моих людей. Вам понятно? Понятно, что тот, кто шел путем конунга Сверрира, видел, как умирают люди, слышал, как они хрипят перед смертью, видел, как насилуют, а потом убивают женщин, не остановится перед тем, чтобы отрубить человеку руку, если он будет к этому вынужден. У каждого из вас две руки. Тот, кто предаст меня, останется с одной.

А теперь ступайте.

Они повернулись, чтобы уйти.

— Пойдите! — крикнул я.

Они неохотно остановились. Я подошел к Гауту, схватил его за грудки и одним рывком поднял с табурета. Потом заставил его повернуться так, чтобы свет от очага упал ему на лицо, теперь оно было хорошо видно всем. И тогда я сказал тихо, но отчетливо, так чтобы все слышали каждое слово:

— У тебя, Гаут, только одна рука. Но ты потеряешь и ее, если изменишь нам.

Он шумно дышал. Я оттолкнул его.

Взяв меч у ближайшего воина, я ударил им по столу и указал на дверь.

Все ушли. И Гаут тоже.

Я остался один.

Слышался только шорох ветра, тяжелый шорох ветра в его бесконечном полете над лесом и морем.



Часы шли, я сидел у очага и изредко делал глоток вина, которое Малыш раздобыл для меня две ночи назад. Кожаный мех, с которым я пришел в Рафнаберг, был уже пуст. Но Малыш относится к тем людям, кто угадывает желания своих хозяев и умеет выполнять их. Он узнал, что у священника в Ботне есть богатые родичи, которые живут в Тунсберге. Говорили, что священник получил от них в подарок вино, привезенное из прекрасной страны франков. Теперь у священника больше не было этого вина.

За свою долгую жизнь я часто невольно проникался уважением к Малышу. Он почти не знает Божьих заповедей, но если двери царства небесного окажутся заперты перед ним, он как-нибудь ночью, когда святой Петр задремлет на своем высоком сиденье, сумеет отмычкой открыть их.

Неожиданно ко мне входит Малыш.

— Гаут исчез, — говорит он.

Я вскакиваю, в маленьких хитрых глазках Малыша я вижу страх и презрение. Он достает мне только до пояса, я готов ударить его, и он уже поднимает руку, чтобы прикрыться. Я понимаю, что бить его глупо, и опускаю руку. Гаут исчез?.. Значит, моя угроза не испугала его. Он не вернулся в хлев, где спал. Он покинул Рафнаберг.

Я быстро соображаю и говорю:

— Сигурд должен пойти по его следу! На снегу должны остаться следы, пусть Сигурд приведет его обратно! Гаут упрям, но Сигурд упрямей его. Он успеет догнать Гаута до того, как Гаут достигнет Тунсберга.

Я могу послать за Гаутом только одного человека. Их у меня слишком мало.

Малыш уходит, чтобы передать мой приказ Сигурду, и я знаю, что этот молчаливый, суровый воин будет гнать Гаута, как собака зайца. Я снова сажусь и пригубливаю кубок, который мне когда-то подарил конунг Сверрир.

Но тяжелая тревога не покидает меня, время от времени я встаю и хожу перед очагом.

Малыш уже вернулся и теперь спит возле моей постели.

Я сажусь и слушаю шум ветра. Делаю глоток вина и замечаю, как меня охватывает жар, от которого дрова в очаге загораются еще сильнее.

И опять кто-то появляется у меня за спиной.



Я медленно оборачиваюсь: это йомфру Кристин в своем синем плаще, накинутом на нижнюю сорочку. Кожаные башмаки надеты на босу ногу, ей холодно. Раньше, когда она приходила ко мне по ночам, чтобы слушать кровавую, но тем не менее прекрасную сагу об ее отце конунге, ее юное лицо выражало надменность и мягкую скорбь. Теперь оно побелело от страха, руки у нее дрожат. Она не в силах справиться со своим голосом:

— Мое распятие больше не охраняет меня, господин Аудун!.. Не можешь ли ты найти кого-нибудь, кто помолился бы за меня?..

Я подхожу к ней, скрещенными руками она прикрывает грудь.

— Распятие больше не охраняет меня, теперь оно у йомфру Лив! — говорит она. — Не ведь ты можешь попросить Гаута молиться за меня?.. Сегодня ночью ты сделал его своим недругом, и моим тоже. Но моя добрая матушка учила меня, что если за нас будет молиться наш недруг, его молитва скорей дойдет до Бога.

— Гаута нет больше в Рафнаберге.

— Нет в Рафнаберге?.. — Она широко открывает глаза, еще немного и она начнет кричать от ужаса.

Я подбегаю к ней, чтобы поддержать, потом подвожу ее к табурету, стоящему у очага, и прошу сесть.

— Гаут скоро вернется, — лгу я. — Мы найдем кого-нибудь другого из твоих недругов и попросим его молиться за тебя. Хотя, йомфру Кристин, найти твоего недруга не так-то просто.

Я быстро соображаю — надо заставить кого-нибудь из обитателей усадьбы непрерывно молиться за безопасность и здоровье дочери конунга. Но кого? Фру Гудвейг? Она не питает ко мне теплых чувств и к йомфру Кристин тоже. Можно заставить ее молиться на чердаке, где она спит. Но тогда я не буду знать, выполняет ли она свой долг, как положено, и к тому же, заняв чердак, я помешаю Торил вдохновлять моих людей, когда они не стоят в дозоре.

— Мы велим фру Гудвейг молиться за тебя.

— А если она не захочет, господин Аудун?

— Она захочет, йомфру Кристин.

Можно заставить фру Гудвейг молиться, стоя на коленях у очага, но ее вид не доставит мне радости — ведь я буду сидеть тут же с кубком вина, которое Малыш раздобыл для меня. Ее тихое бормотание нарушит мой покой. Нет, пусть лучше молится на каменном крыльце, в темноте, на ветру. Тогда она будет в то же время и последним стражем, охраняющим дверь, ведущую к йомфру Кристин и ко мне.

Я поднялся на чердак и разбудил фру Гудвейг, она спустилась вниз вместе со мной.

— Стань на крыльце на колени и молись за безопасность и здоровье йомфру Кристин, — велел я и дал ей овчину, чтобы подложить под колени, фру Гудвейг с благодарностью взяла ее. — Читай Аве Мария, эта молитва помогает лучше всех других, какие ты знаешь. Будешь молиться, пока я не приду. Наверное, мне понадобится твоя помощь и в предстоящие ночи.

Фру Гудвейг послушно опускается коленями на овчину, в темноте я не вижу ее глаз, но, думаю, особой радости я бы в них не увидел. Потом она начинает бормотать.

Я оставляю ее и возвращаюсь в покой, где у очага сидит йомфру Кристин.

В ней больше нет ее обычной надменности, только мягкая скорбь.



Йомфру Кристин сказала:

— Господин Аудун, с тех пор, как мы пришли в Рафнаберг, ты был так добр, что много ночей подряд рассказывал мне суровую, но и прекрасную сагу о моем отце конунге. Дочерний долг велит мне знать правду о моем отце. Я высоко ценю твой рассказ — может, ты питаешь излишнюю любовь к словам, но нередко находишь именно те, что нужны. Я была бы благодарна тебе, если бы ты продолжил эту сагу, которую прервал несколько ночей назад.

Я сказал:

— Йомфру Кристин, твои добрые слова радуют недоброе сердце старого человека.

— Господин Аудун, я знаю, что правда, которую ты мне рассказываешь, это только твоя правда и она никогда не станет правдой для кого-нибудь другого, кроме тебя. Ты говоришь о том, что видели твои глаза и вспоминает твое сердце. Но ведь ты единственный человек, который был рядом с моим отцом от дней его юности и до того мгновения, когда он прошел через ворота смерти. Никто, кроме тебя, не имеет права рассказывать правду о конунге, — и меньше всего аббат Карл, которому было поручено написать сагу о нем.

Она сидела у очага, сложив на коленях руки, молодая, красивая, такая учтивая, что находила нужные слова даже сейчас, когда ее сердце было переполненно горем, страхом и грустью. И я сделал то, чего не делал никогда прежде: быстро коснулся рукой ее щеки.

Потом отошел к волоковому оконцу и взглянул на небо. Там в вышине, выше ветра и темных бегущих облаков раскинулся покров из зимних холодных звезд. И на мгновение, пока у меня за спиной слышалось легкое дыхание йомфру Кристин и бормотание молитв на крыльце, где молилась фру Гудвейг, мне показалось, что между звездами и облаками я различил два лица. Они смотрели друг на друга с горечью, уважением и непримиримой враждой.

Одно лицо принадлежало Гауту. В другом я узнал черты конунга Сверрира.

Я сказал:

— Наш добрый Гаут покинул нас, чтобы посетить посошников, стоящих в Тунсберге, и Сигурд, как собака, идет сейчас по его следу.

И твоя и моя судьба, йомфру Кристин, зависит от того, кому из этих двоих Господь явит свою милость. Но помни, что фру Гудвейг уже молится за нас.

Она наклонила голову, я видел, что она тоже молится.

Я сказал:

— В Священном писании говорится, что правда делает человека свободным. В ближайшие ночи, пока мы будем ждать, кто вернется сюда, Сигурд с Гаутом или Гаут с посошниками, моя сага о конунге подарит нам немного свободы, которая должна быть благородным грузом в сердце каждого человека. Мне мало известно о тайных помыслах Господа Бога, йомфру Кристин. Сердце конунга я знаю гораздо лучше.

Мы со Сверриром стояли на холме тинга в Хамаре в Вермаланде, где он в первое воскресенье семинедельного поста взял на себя предводительство разбитым войском берестеников. С большого озера тянулись хлопья тумана, и луна, словно корабль из белого серебра, плыла среди облаков. Мы стояли и смотрели на обширную равнину с редким березовым лесом и тяжелыми одинокими елями. Среди деревьев горело полсотни костров.



ИСХОД

Вокруг пляшущих языков пламени на снегу сидели люди, неистовые и тихие, здоровые и раненные, у многих в крови были не только руки. До нас долетали гудящие, ворчливые, встревоженные, гневные и хриплые голоса суровых, продрогших и усталых людей. Иногда, словно крик ворона над воющей стаей волков, проносился женский вопль. Где есть воины, всегда есть и женщины, пришедшие к ним по заснеженным тропинкам из домов и затерянных усадеб в надежде, что после того, как они выполнят то, чего от них ждут, они разживутся серебряной пуговицей. Слышалось ржание лошадей, брань и грубый хохот и где-то, — а может, то был только ветер, не знаю, старая память начала изменять мне, — где-то в высоте, в темноте, в тумане, в ночном снежном свечении кто-то пел: Господи, помилуй!

Эти люди потерпели поражение при Рэ. С ними был Сверрир — их новый предводитель и будущий конунг, и я — его друг. Воинам было велено собраться вечером на равнине у холма тинга. Завтра утром конунг хотел говорить с ними. До того вечера воины жили на соседних усадьбах. Время было не из легких и для воинов, и для бондов, и для Сверрира, и для меня.



Ко мне без конца приходили люди, которые с моей помощью хотели попасть к конунгу, я их не знал, и они требовали больше того, что я мог дать им. Среди них были люди с тяжелыми ранами и легкими царапинами, их изможденные лица были покрыты черными морщинами боли, многие были полуголые, их голени и ступни едва прикрывала береста. Эти дни остались в памяти, как самые тяжелые дни моей жизни. Разве я не был близким другом конунга? Разве не гордился тем, что мой долг служить всем? Я часто чувствовал себя загнанным и до смерти усталым зверем. Где целебные снадобья, которые мы обещали простившим на морозе людям? Где человек, который должен был варить отвары из целебных трав, где женщина, которая могла бы перевязать их раны? А где пиры, где забитый скот, где одежда, где лошади, где оружие, которое конунг поклялся достать своим людям? Скоро ли оно будет у нас? Когда мы получим оружие, чтобы можно было вернуться и отомстить за свое позорное поражение при Рэ? Где конунг? А ты-то сам кто?

Случалось, я убегал от них, чтобы получить хоть небольшую передышку. Я научился кричать: Один из наших умирает!.. Я должен бежать к умирающему!.. Повсюду были люди, раны, стоны, мороз, смущение, брань и беспорядок. Я мало спал в те ночи.

А конунг, человек с далеких островов, который должен был отныне возглавить этих людей, не померкла ли его звезда, так и не успев загореться? Ошибся я или нет? Не обманулся ли в способностях этого человека? Того, которого они приветствовали на тинге громкими криками и бряцанием оружия всего несколько дней назад? Теперь они не приветствовали его.

Берестеники крали все подряд, как вороны в нашем родном Кирккюбё, ни одно серебряное кольцо на их пальцах не было добыто честным путем. Приходили угрюмые отцы семейств, с топорами, висящими на локте, готовые прибегнуть к оружию, чтобы вернуть то, что по праву принадлежало им. Они рассказывали одну и ту же недобрую сагу, которую мне больно теперь вспоминать, о похищенных дочерях и забитых овцах. Что я мог предложить им взамен?

Немного радости было нам и от того, что под начало конунга стали стекаться новые люди. Это правда, у нас было мало воинов. И

Сверрир говорил: Наше войско должно быть больше! Но что к нам по всем тропинакам начнут стекаться именно такие люди, не предполагали ни он, ни я.

Раненные и обмороженные остались лежать на дорогах, ведущих сюда из Рэ. Выжившие, хромая, приходили к нам и приводили с собой других. У ярла Эрлинга Кривого и его сына конунга Магнуса оказалось много недругов в лесах Борга и Ранрики. По всей стране шла молва о новом конунге, она достигла всех недовольных и преследуемых. Они стремились сбиться в стаю, чтобы им было легче заниматься грабежом. Один из наших воинов ушел, чтобы вернуться с братом, а вернулся с четырьмя. Это были сомнительные люди, часто пьяные, слово конунга не значило для них ничего. Оружия у них почти не было. То, что имелось, может, и сошло бы для грабежей, но не могло принести пользу войску, которое ждали кровавые сражения.

Старые берестеники косо смотрели на вновь пришедших. Теперь всем стало труднее находить и женщин, и пиво. Они приходили ко мне и жаловались друг на друга. Мне приходилось разговаривать с этими недовольными людьми, отгородившись от них длинным столом. Я стучал по столу, на глазах у меня выступали слезы. Как-то раз один из них вспрыгнул на стол и хотел вцепиться мне в горло. Я отбросил его руку. Тогда пришел конунг...

Его голос покрыл шум:

— А ну прочь отсюда!..

Они вышли. Их брань долго висела в воздухе, как запах обожженной плоти.



Однажды вечером ко мне пришел молодой человек, наверное, он был бонд, в руке у него было коровье копыто.

— Мне надо поговорить с конунгом, — сказал он.

— Сейчас нельзя, — ответил я.

— Я не уйду, пока не увижу его, — заявил он.

— Но конунг сейчас спит! — крикнул я.

— А мне сказали, не спит!

— Проваливай в преисподнюю!

— Все в свое время, — ответил он.

— Скорей бы пришло твое!

— Думаю, Господь будет милостив к нам обоим, — сказал он.

— Конунг ничего не должен тебе!

— Его люди должны запалатить мне за корову, которую они у меня забрали.

Я не сводил с него глаз — вообще-то я не из робких, но при мне не было оружия. Смахнув с глаз усталость, я подвел его к табурету, что стоял у очага и попросил сесть. И велел подождать, пока я ищу конунга.

— Я знаю, что ты мне лжешь, — сказал он.

— Я лгу почти всем, — согласился я.

— В таком случае ты мало отличаешься от других.

— Для бонда ты слишком упрям.

— Я священник, — сказал он. — И слышал, будто вы с конунгом тоже были священниками.

— Видно, Бог не очень разборчив, — сказал я и ушел.

Была ночь, на небе светила луна, кругом толпились люди, многие были пьяны, некоторые дрались. Кое-кто узнал меня, и мне вдогонку, словно комья дерьма, полетела брань. Я встретил двух стражей, тоже пьяных, и спросил, не знают ли они, где конунг,

— Я видел, как он шел мимо, — сказал один. — Может, пошел на холм тинга искать свою корону.

— Долго же ему придется искать ее, — подхватил второй.

Я пошел на холм тинга. Сверрир был там.

Мы смотрели оттуда на равнину, на костры, на людей, что-то сдавило мне горло. Я поглядел на Сверрира, моего друга детства, за которым я всегда следовал, и ничего не сказал.

Но я знал: мои мысли передаются ему. Ему передалось и мое горячее желание вырваться отсюда, украсть лошадей, вскочить на них и ускакать в темоте прочь. Мы могли бы скрыться в бескрайних лесах, снег запорошил бы наши следы. Мы могли бы пробраться к берегу, найти лодку, ведь где-то же был залив, где мы могли бы жить, промышляя ловлей рыбы.

Я знаю, что он читал мои мысли. Знаю, что и он думал о чем-то подобном. Он долго молчал. Мы стояли на холме.

Потом он сказал:

— Конунг не должен быть в подчинении у своих людей, этому не бывать!

И продолжал, повернувшись ко мне:

— Я конунг, и это для меня главное. Отныне у меня нет сомнений в том, что я конунг. Я избран конунгом и рожден конунгом. Если я раньше сомневался в этом, то больше не сомневаюсь. Я отрицаю все сомнения. Я сын конунга, сам конунг и мои сыновья со временем тоже будут конунгами в этой стране. Тот, кто скажет иное, лжец, тот, кто не склонится перед словом конунга, склонится перед его мечом.

Я конунг, и потому прав. Я конунг, и мой долг повелевать людьми. И никогда не наступит день, чтобы они повелевали мной.

Мы идем в Нидарос. Но пока об этом не должен знать никто.

Мы с ним еще недолго постояли на холме. А потом вместе вернулись в усадьбу Хамар, которая виднелась в тумане.

Сверрир сказал:

— Мы должны отправить послание ярлу Биргиру Улыбке и попросить его прислать нам необходимое оружие.

Когда мы вернулись в покой, где был очаг, молодой священник спал там на табурете. В руке он держал коровье копыто.

Нам требовалось место, чтобы мы могли писать при свете и тепле очага, священник мешал нам. Мы осторожно вынесли его на снег. Он не проснулся.

Мы вернулись в покой, и я приготовил письменные принадлежности. Снаружи разавались пьяные крики. Была полночь.

— Сверрир?.. — Я взглянул на него.

— Что, Аудун?

— Как тебе нравится быть конунгом? — спросил я.

Не уверен, йомфру Кристин, но мне кажется, чей-то голос в темноте среди пьяных криков пел: Господи, помилуй!



Вот что я помню о том послании ярлу Биргиру Улыбке:

Мы сидели за длинным столом перед огнем очага, широкое сильное лицо Сверрира было повернуто ко мне.

— Не надо скупиться на добрые слова и похвалы, Аудун, — сказал он. — Ярл умный человек, он не обидится на наше многословие.

Но он также и хвастлив, вспомни, на нем тогда был синий шелковый плащ с серебряной пряжкой на животе.

Я сказал:

— Если будешь чересчур хвалить человека, он почувствует к тебе неприязнь.

— Не почувствует, Аудун, ни один честный человек не почувствует неприязни к тому, кто его хвалит, не говоря уже о бесчестном! Но хвалить ярла еще мало, мы должны представить наше дело так, чтобы он понял: ему выгодно оказать нам помощь. Ярл Биргир воюет с данами, ярл Эрлинг Кривой, напротив, — друг данов. Поэтому ярл Биргир должен дать нам оружие, в котором мы нуждаемся. Тогда он будет нашим оружием, а мы — его. У нас с ним общий враг — Эрлинг Кривой. Общий враг — это основа любой дружбы. Об этом мы и должны напомнить ярлу Биргиру.

Я сказал:

— Мне кажется, нам почти нечего сказать ярлу, чего бы он не знал сам.

— Но мы должны сказать ему, что и мы знаем это. Мы должны сказать ему, но только в самых вежливых выражениях, Аудун, что, если он не поможет нам оружием, в котором мы нуждаемся, мы станем грабить его страну тем оружием, какое у нас есть. Наши похвалы должны выглядеть честными. Тогда и наши угрозы не вызовут у него сомнения.

Я сказал, что ярл должен быть очень сообразительным человеком, чтобы понять последнее.

Тем временем я положил перед собой дощечку для письма, покрытую воском. И начал писать по воску острой деревянной палочкой, я писал, стирал написанные слова и искал более верные. Сверрир стал вмешиваться в мое письмо. Сперва я делал вид, что не слышу его, и продолжал писать, потом вдруг повернулся к нему без всякой учтивости и уважения, какие пристало оказывать конунгу.

— Пишу я, — произнес я холодным голосом.

— А думаю я, — так же холодно возразил он.

Я чуть не вспыхнул, но овладел собой и сказал:

— Так сиди и думай про себя, это твое право, и я не лишаю тебя этого права. Но я уже знаю твои мысли, конунг. А слова будут мои.

Ведь я знал, что находчивый Сверрир, с голосом изменчивым, как Божий ветер, великий мастер вести беседу, умеющий придавать своему лицу выражение, напоминающее одновременно о Боге и о дьяволе, не относится к тем избранным, которые умеют записывать свои слова на пергаменте. В наших пререканиях я часто напоминал ему об этом. Нельзя сказать, чтобы это его радовало. Но тем не менее он всегда прибегал к моей помощи, когда требовалось. И получал ее. Я не просил за это платы. Но твердо отстаивал свое право на каждое слово, которое писал на пергаменте.

Он взял себя в руки и сказал:

— Далеко не безразлично, что будет написано в послании к ярлу.

— Поэтому позволь мне самому написать это послание, — заметил я.

Сверрир вскакивает, хватает дощечку для письма и тут же, овладев собой, снова кладет ее на стол, он тяжело дышит. Ведь он понимает, что именно сейчас он, как никогда, зависит от меня, зависит, как упрямый работник зависит от своего бонда. Он тяжело вздыхает, отворачивается и говорит:

— Ты прав. Послание должен писать ты.

Я пишу, медленно и тщательно выводя буквы, ночь принадлежит мне, и я не позволю никаким конунгам мешать мне. Я даже позволяю себе раза два встать и пройти перед очагом, — если конунг и здесь, я его не замечаю, видал я этих конунгов. Несколько раз он вскакивает, сжав кулаки.

Но молчит, как покойник.

Послание готово, и я читаю его вслух.

Он коротко заявляет:

— Так не годится.

Я спокойно кладу дощечку для письма на стол, хотя лицо у меня пылает, и спрашиваю, почему он не верит, что Всемогущий милосливо позволил мне выбрать слова, которые ярлу будет приятно услышать.

— Спрева их тебе сказал конунг, — коротко бросает он. Потом берет дощечку и пытается читать, но не понимает моего письма, смысл которого иногда напоминает темный смысл звездного неба, и просит меня снова прочесть ему послание.

Я великодушно и торжественно читаю еще раз. Он согласно кивает, чтобы задобрить меня. Потом тычет в дощечку пальцем и говорит:

— Здесь смысл должен быть яснее. Когда мы говорим о своей силе, слова должны быть твердыми, как медвежий коготь! И мягкими, как шелковый башмак, когда хвалим его.

Я говорю:

— Тебе мало известно об искусстве писать пером по пергаменту, Сверрир. Не думаю также, чтобы ты понимал все, заглядывая в сердце человека.

— В таком случае наши судьбы схожи, — холодно говорит он, хочет взять у меня палочку, которой я писал, и что-то исправить в написанном.

Я прижимаю дощечку к груди, как щит, и говорю:

— Возьми, если хочешь! Но тогда тебе придется найти другого, кто будет твоим писцом.

Он бледнеет — людей, владеющих искусством письма не так много. И говорит мягко:

— Аудун, ты помогал мне всякий раз, когда требовалось написать послание. Конунг больше зависит от писца, чем от воинов.

Это уже другое дело, я победил и милостиво снова принимаюсь за работу. Заливаю дощечку новым воском, в покое тепло, и воск стал гораздо мягче, чем был. Он плавится и течет. Мне надо взять из берестяного туюска еще воску. На это требуется время. Снаружи к нам долетают пьяные крики. Сверрир теряет терпение. Я тоже, провожу рукой по лбу, в глаз мне попадает воск, я сержусь:

— Лей воск! — кричу я ему. — На что мне конунг, если он не в состоянии помочь мне? Смотри!

Он повинуется — быстро и ровно заливает дощечку воском.

Я снова хватаю палочку и пишу в мрачном молчании. Но я вынес урок из того, что случилось. Теперь я вполголоса произношу слова, которые пишу, и знаю, что он их слышит, — он делает вид, что дремлет, но удовлетворенно хмыкает, когда ему кажется, что я нашел удачное слово. Или обиженно молчит, если оно ему не нравится.

Я пишу долго, наконец послание готово. Оно написано на воске — послание нашему другу ярлу Биргиру, который должен понять, что ему выгодно прислать нам оружие. Я читаю послание вслух. Сверрир —

человек широкий и умный. Он хвалит меня чуть больше того, что я заслуживаю. И мне приходится напрячь все силы, чтобы стерпеть это.

Теперь послание нужно переложить на пергамент, этим искусством тоже владеют немногие. Я хожу по покою и трясую рукой, чтобы она, скованная ожиданием и нетерпением, стала гибче и мягче, так молодая невеста бывает скована перед встречей со своим женихом. Мысль сделала свое, способность человека находить нужные слова сделала свое. Теперь рука, кисть, пальцы должны показать свое искусство на пергаменте.

Я уже у стола, но тут он вскакивает и кричит:

— Нет!.. Подожди!.. Мы с тобой кое-что забыли! Надо похвалить и его проклятую супругу. Ведь она может увидеть это послание.

Я встаю и говорю холодно, как ветер, дующий зимой с открытого моря:

— Сверрир, если ты хочешь потребовать от меня новых усилий, если ты не можешь одобрить того, что я уже сделал...

— Нет! Не могу, — говорит он.

Я комкаю пергамент и швыряю его в угол. В глазах у меня слезы, я тут же бегу за пергаментом и начинаю его разглаживать. Сверрир хватет пергамент:

— Так нельзя! — кричит он. — Нельзя! Разве ты не понимаешь, что эта чертова баба может увидеть наше послание? Мы должны похвалить и ее.

— Кто из нас его пишет, ты или я? — кричу я.

— Кто из нас конунг, ты или я? — отвечает он.

Мы опускаемся на лавку, скоро утро, мы долго молчим. Вскоре он говорит:

— Напиши о ней коротко, но выразительно, Аудун. Коротко, но выразительно. Она, кажется, некрасива? Мы ведь видели ее, когда были у ярла. Напиши, что она прекрасна. Напиши, что она сверкала... напиши что хочешь... о ее сверкающей красоте...

— Надо не так, — возражаю я. — Образ твоей прекрасной жены, господин ярл, смягчил наши сердца и радовал нас всю дорогу от твоей усадьбы до Хамара.

— Замечательно! — кричит он.

И я снова пишу, теперь уже на пергаменте.

Мы стараемся не дышать, пьяные крики снаружи умолкли, ветер стих.

Наконец послание готово.

За порогом уже наступил день. Кто-то стучит в дверь и хочет зайти к нам. Это священник, которого мы вынесли на снег.

Сверрир говорит:

— Аудун! У меня есть только один друг. И это не ярл Биргир.

— Я знаю, — говорю я. — И других у тебя не будет.

Теперь надо отослать письмо.



Вот что я помню об этом святом семействе:

Мы зашли в конюшню, где они трое спали, в Хамаре было раннее утро. Ночью сильно подморозило, снег покрыла тонкая ледяная корка, она хрустела у нас под ногами. Я поднял голову, над конюшной еще стояла одинокая звезда — теперь в предрассветных сумерках она поблекла, день почти стер ее с неба. Лошади встретили нас ржанием, те трое спали.

Суровый воин с шрамом на переносице вскакивает и хватается за меч. Светловолосая молодая женщина трет заспанные глаза — на мгновение выражение боли исчезает с ее лица, а потом снова искажает ее черты. У нее темные, сильные и мягкие руки, она целительница. Его зовут Сигурд. Ее — Рагнфрид. Рядом спит их сын.

Слегка презрительно, но не без зависти, мы зовем их Святым семейством.

Мальчик еще спит, и Рагнфрид прикладывает палец к губам, чтобы мы не разбудили его. Из овчины, в которую он укутан выглядывает детское личико. Мальчик спит на руках у матери. Вот он зевнул и проснулся, вернувшись в царство дня с далеких просторов, где бегал ночью, словно жеребенок во сне Господа Бога. При виде конунга Рагнфрид заподозрила недоброе и у нее тихо потекли слезы.

Первый раз мы увидели Рагнфрид в монастыре на Селье, потом она проделала долгий путь сюда, неся ребенка на спине. Здесь жила ее прежняя хозяйка, Сесилия, сестра Сверрира, умная, суровая хозяйка Хамара в Вермаланде. И здесь же Рагнфрид снова встретила свое-

го жениха, отца ее ребенка, Сигурда из Сальтнеса, — в сражении при Рэ ему перерубили переносицу.

Я мало что знаю про этих двоих — что мы вообще знаем о гордых сводах человеческого сердца и о звучащих там гимнах? Они так и не повенчались в церкви, и он не купил ее за серебро или землю, как пристало бы почтенному бонду. Про нее говорили, будто над ней надругались воины Эрлинга Кривого, это потом уже она встретила Сигурда в саду женского монастыря в Нидаросе, это там над ними раскинулось ночное небо, и ветер смеялся.

Сверрир говорит:

— Я должен просить тебя, Сигурд, отвезти это послание ярлу Биргиру Улыбке.

Письмо следует зашить в штаны, там оно будет в надежном месте. Сигурд усмехается, а Рагнфрид начинает зашивать письмо. Сигурд смеется, и мальчик смеется, но вскоре начинает плакать — ему тоже хочется зашивать письмо. Тогда за шитье берется Сверрир, руки его движутся не так ловко, как у Рагнфрида. Он шьет торопливыми, большими стежками. А я нашел кусочек кожи, и Рагнфрид с Сельи, когда-то послушница в святом кругу монахинь, а после встречи с Сигурдом, изгнанная оттуда как грешница, зашивает его в одежду сына.

Потом она поворачивается к Сигурду:

— Я буду молиться за тебя! Каждый день в полдень и каждую ночь в полночь я буду молиться за тебя.

Он говорит:

— Я тоже буду молиться за тебя, Рагнфрид. За тебя и за мальчика, если только не буду сражаться, не буду находиться среди людей, которые станут смеяться над моей молитвой, или в неизвестных горах, где опасно опускаться на колени и терять из виду небо.

— Тогда мы будем молиться вместе, ты — там, где ты окажешься, а я — здесь. В полдень и в полночь мы будем как будто рядом. Я буду слышать твой голос, как бы далеко в лесах ты ни находился.

— Не знаю, услышу ли я твой голос, — говорит он. — Бог не так милостив ко мне, Он не дал мне такого хорошего слуха, как тебе. Но я буду слушать. Может, я и услышу тебя.

— Значит, мы будем вместе.

К ярлу Сигурда должен сопровождать молодой парень, Эрлинг сын Олава из Рэ. Он уже ждет. Мы со Сверриром прощаемся с ними и уходим.

Рагнфрид занялась сыном.

Тех двоих уже поглотил береговой туман.

Сына Рагнфрид тоже звали Сигурд; когда он вырос, он стал повсюду сопровождать конунга Сверрира. Нынче ночью он следует за Гаутом по заснеженным дорогам, по лесам и пустошам.



А вот что я помню об одном воине, над которым все смеялись:

У нас был воин, которого звали Вильяльм из Сальтнеса, он приходился Сигурду братом. Веселым его нельзя было назвать, в сражении при Рэ он был ранен мечом в пах. Когда Вильяльм пришел к нам в Хамар, низ живота у него был обмотан полотном, это полотно ему пришлось украсть по пути в одной из усадеб. Полотно пропиталось кровью, и кровь замерзла. Помню, Вильяльм на дворе сорвал с себя повязку, вскрикнул от боли и упал, из раны снова потекла кровь.

Но рана Вильяльма оказалась не смертельной, как мы сперва опасались. Он быстро оправился, однако что-то с ним было не так. Пошел слух, что он перестал быть мужчиной. Слух быстро передавался от одного к другому, Вильяльм стал более известен, чем ему хотелось бы даже при его тщеславии. Говорили, что однажды вечером ему пришлось отбиваться от любопытных, он кричал:

— Это неправда!.. Приведите сюда женщину, и я докажу вам!..

К нему привели женщину, но ничего доказать он не смог.

Смех, который теперь преследовал Вильяльма, стерпеть было трудно. Судьба оказалась немилостивой к нему, как и ко всем остальным.

Тогда Сверрир пришел к Вильяльму и сказал:

— Тут слишком много продажных женщин. Их надо прогнать.

Вильяльм отправился выполнять приказание конунга. Мы стояли на холме тинга и следили за ним. Он подошел к устью реки, где в овчарне расположились женщины. Перед входом в овчарню горел костер. Возле него на колоде сидел какой-то парень.

Вильяльм бьет его, потом хватает и поднимает в воздух — от страха и удивления парень смеется. Вильяльм ревет, как разъяренный бык, из овчарни выбегают две женщины. Вильяльм бросает парня, швыряет обеих женщин в снег, вбегает в овчарню и тут же возвращается оттуда. Перед собой он гонит еще двух женщин, они бегут, спотыкаясь, он хватает одну из них и бросает в костер.

Два воина с криком кидаются к нему, у одного в руке топор. Вильяльм выбивает у него топор, потом хватает его и замахивается на воинов, воины убегают. Одна из женщин вцепилась ему зубами в шею. Он отрывает ее от себя — рот у нее в крови. Подняв ее за волосы, Вильяльм точным движением отрубает ей волосы и, согнувшись, хохочет. Потом налетает на уходящего парня. Волосы женщины в руке у Вильяльма похожи на черное знамя, он запихивает их парню в рот. Костер еще горит. Вильяльм раскидывает его по снегу и кричит, словно раненный конь:

— Собери угли в кучу!..

Парень ползает по снегу, Вильяльм ставит ногу ему на шею, вдавливая его голову в снег и снова кричит:

— Собери угли в кучу!..

Парень вскакивает и выплевывает волосы изо рта, из двери хлева выглядывает еще одна женщина, она полуодета, в присутствии мужчин в таком виде не показываются. Вильяльм подбегает к ней и срыгает с нее остатки одежды. Голая женщина переминается на снегу, он поднимает ее и сует головой в сугроб, ноги женщины торчат из сугроба в разные стороны. Низ живота у Вильяльма окрашивается кровью. Он не замечает этого и выдергивает женщину из сугроба, его кровь капает на снег.

Он кричит женщине:

— Собери угли в кучу!..

Из-за кустов и деревьев выглядывают растерянные воины, они не знают, что делать, — в сражении при Рэ они доказали свою храбрость, а теперь боятся. Их привлек сюда истошный крик женщин, но ярость Вильяльма удерживает их на расстоянии, и еще конунг, наблюдающий за происходящим с холма тинга.

Вильяльм опять налетает на парня и женщину, пинает их ногами, орет:

— Соберите угли в кучу!..

Они пытаются сгрести угли ногами.

— Нет, руками! — орет он.

Схватив горящий уголь, он, словно дар, вкладывает его парню в руку. Парень вскрикивает и роняет уголь, Вильяльм снова всовывает уголь ему в руку и заставляет отнести его в костер.

Еще раз, и еще, костер был большой, раскиданного угля много. Парень и женщина носят угли голыми руками, пахнет паленым мясом...

— Хе-хе, не торопитесь, идите медленно, у нас много времени!

Поднимается зловоние, кажется, что в костре спалили старую шкуру, женщина кричит, словно ей проткнули ножом ноздри. Если она призывает Бога или Деву Марию, ей это не помогает: здесь командует оскотенный Вильяльм. В конце концов он сует парня головой в костер. И уходит.

Воины расступаются, давая ему дорогу. На Хамар опускается тишина.



В тот же день конунг послал за Вильяльмом. В покое никого не было, кроме них, и еще я. Конунг сказал:

— Мы должны собрать войско. И нам нужна дружина, а в ней должно быть ядро — это ближние дружинники. Ты будешь их хёвдингом. Выбери тех, кто, по твоему мнению, больше для этого подходит. Они должны будут не только сражаться, но также слушать и запоминать все, что говорят другие, и приходить с этим ко мне. Конунг должен знать все, это его долг.

У нас нет серебра, чтобы купить все необходимое. Твоя задача доставать нам необходимую пищу. Но помни, нельзя забирать из хлева сразу всех коров. Лучше сходить за недостающими в соседнюю усадьбу. Убивай только в крайнем случае. Если нужно жечь, жги. Но не убивай женщин. Это легко запомнить. Будь осторожен. Постарайся быть веселым. Все, что ты забереешь, ты забереешь от моего имени, обещаю за это серебро. Мы выполним это обещание, когда придет наш час. Но если тебе случится выбирать, кого обречь на голод, моих людей или бондов, пусть тебя не мучат сомнения...

Вильяльма и раньше не мучили сомнения.

Рана его все еще кровоточила. На земляной пол капала кровь.

Сверрир сказал:

— Ступай к Рагнфрид и попроси ее перевязать тебе рану. Но полностью ты никогда не исцелишься.



На каменном крыльце кто-то стряхивал с себя снег, пришли новые люди. Первым вошел Йон из Сальтнеса, брат Сигурда и Вильяльма. Это был молодой, среднего роста воин, я часто видел на его бороде ледяные сосульки, а иногда и кровь. Разговаривал он мало. Из трех братьев он нравился мне меньше других. Наверное, из них он был самый выносливый, он искусно владел оружием и был сдержан в отношениях и с людьми и с конунгом. Но была в нем какая-то брюзгливость, из-за которой в его присутствии всем становилось не по себе. Йон должен был командовать всеми воинами, пока Сигурд не вернется от ярла Биргира.

Потом пришел Эйнар Мудрый, мой добрый отец, увезенный заложником из Кирккюбе людьми Эрлинга Кривого. Мой умный и веселый отец, толкователь снов, не всегда придерживающийся правды в своем нелегком искусстве, тоже бежал из Рэ. Он состарился, но еще хранил в себе огонь молодости, он был прочен, как медвежья шкура, и всегда улыбался тому, с кем говорил, да и всем остальным тоже. Я знаю, что он постоянно думал о нашем доме в Кирккюбе и о моей матери, фру Раннвейг. Знаю, что он тревожился обо мне. За его обычной веселостью скрывалась тревога.

Пришел и Хагбард Монетчик с сыном. Малыш постоянно сидел на плечах у отца, это была тяжелая обуза, но без этой обузы жизнь Хагбарда была бы еще тяжелей. Прозвище Монетчик прилипло к нему с тех пор, как в юности он был учеником монетчика при дворе конунга Магнуса в Бьёргюне. Хагбард бежал оттуда и уже до конца жизни следовал за конунгом Сверриром.

Монах Бернард из Тунсберга тоже пришел к нам и учтиво приветствовал всех присутствующих. Он сохранил добрые обычаи своей родины Нормандии. В монастыре Олава в Тунсберге он был аббатом строгого ордена премонстрантов. Каждый день по двенадцать часов он истязал себя, чтобы эта боль напоминала ему о страданиях Спасителя на кресте. Однако Бернард не стремился укрепить

свою славу среди горожан, истязая себя на глазах у всех, — увы, он истязал себя в недоступном для чужих глаз помещении. Был у него и еще один недостаток: сомнения во всемогуществе Бога порой так сильно одолевали его, что он откладывал в сторону Священное писание и запирался у себя в келье, чтобы погрузиться в песни и предания своей родины, которые привез с собой в дубовом ларце. После конунга, Бернард был моим лучшим другом, пока смерть не забрала его. Он был красив лицом, слова и мысли его тоже были прекрасны. И он научил меня видеть дальше того, до чего Сверрир мог дотянуться мечом. Думаю, что и Сверрира он тоже научил видеть намного дальше.

Потом пришел Симон, священник из монастыря на Селье. Среди людей, взбунтовавшихся против ярла Эрлинга Кривого и его сына конунга Магнуса, он был один из самых суровых и хитрых. О Симоне я не могу сказать ни одного доброго слова. Когда мы оставались наедине, он нагонял на меня уныние, при людях я защищался от него молчанием. Во время наших многочисленных походов по стране мне иногда приходилось делить с ним постель. По утрам я чувствовал себя больным.

Пришел и рожечник Рейольв из Рэ, умный, молодой, он сел в дальнем конце стола. Пришел и Кормилец — когда-то у него, как у всех, тоже было имя, но мало кто знал его, не знал его и я. Он был непревзойденный умелец во всем, что касалось приготовления пищи, огня и котлов, свой долг он видел в заполнении чужих желудков. Кормилец не принадлежал к берестеникам: на морозе он дрожал, в сражении — трусил. Но мы не могли бы обойтись без него и он с полным правом носил данное ему прозвище: Кормилец. Это было почетное имя.

Последним пришел Кольфинн, молчаливый, тихий, он бежал из Рэ, потеряв там все, что имел. Кольфинн был весь в шрамах и с трудом переносил мороз. Вильяльм выбрал его своим первым помощником.

Конунг взял слово.



Конунг взял слово и сказал:

— Нам и нашим людям придется жить изгоями много лет, для этого нужно и мужество и сила! Те, кто раньше бунтовал против

ярла Эрлинга Кривого, не понимали, что должны смириться с жизнью изгоев, и в этом их ошибка. Взять Нидарос, как взял его Эйстейн Девчушка, было нетрудно, но Эйстейн не понял, что, выведя оттуда свои войска, он опять становится изгоем. Он должен был оставаться изгоем до того дня, пока не накопит силы, чтобы встретиться с ярлом Эрлингом и конунгом Магнусом, выставить свое войско против его войска, своих воинов против его воинов, разбить их и победить. Эйстейн Девчушка не понял этого и потому пал.

В Норвегии есть один повелитель — это ярл Эрлинг. У него в руках дружина и ополчение, у него в руках боевые корабли, у него в руках усадьбы. У него в руках серебро. Его сын конунг Магнус, этот слабый отрок, тоже у него в руках. По всей Норвегии сидят люди ярла. Они спешат к нему по первому его зову и покидают по мановению его руки. Их силе мы должны противопоставить свое коварство, их оружие — свою хитрость. Мы должны нападать там, где они меньше всего ждут этого, и снова скрываться в горах и на пустошах. Но наш день придет. И для них это будет недобрый день.

Мы должны использовать те средства, какие у нас есть, в том числе и малопривлекательные. Мы должны собирать продовольствие, чтобы выжить, и чаще всего нам придется добывать его силой. Нам это может нравиться или не нравиться, но выбора у нас нет: мы должны жить как бесчестные люди или умереть как честные. Твое дело, Вильяльм, находить все, в чем мы нуждаемся, и забирать это. Мало кто, а скорей никто, не станет благословлять тебя после твоего ухода.

Твое дело, Йон из Сальтнеса, держать войско в повиновении. Когда Сигурд вернется, это будет его обязанность, и ты станешь помогать ему. Легко вам не будет. Плохо то, что наше войско слишком велико. Оно было бы слишком велико и в том случае, если бы безоговорочно подчинялось нам. Мы не сможем доставать столько продовольствия, сколько требуется такому войску, не восстановив против себя всех бондов. И нам не хватит сил, чтобы подавить их бунт. Потому мы должны создать небольшое, сильное войско из тех, кто может мерзнуть, голодать и сражаться, кто спокойно взглянет на последний догоревший костер, встанет и пойдет, не думая о буране, о пустом желудке и о стертых ногах, обмотанных берестой, пойдет

сражаться и победит. Кто не смает с себя кровь, пока наш последний враг не истечет кровью.

Не беда, если из всех людей, пришедших сюда, найдется мало подходящих, есть достойные берестеники и кроме нас. Теламеркцы, сражавшиеся при Рэ, бежали после битвы к себе домой. Надо послать гонца в Теламерк. Ты, Хагбард, пойдешь туда. Малыш поможет тебе. Трудно принять за берестеника человека с сыном-калекой на плечах. Скажешь, что ходишь по всем церквам Олава Святого и молишься, чтобы Господь вернул здоровье твоему сыну. Ты получишь грамоту с молитвой. Если кто-нибудь захочет отнять ее у тебя, не надо жертвовать ради нее жизнью. Заплачь и скажи: Это молитва, чтобы Господь вернул здоровье моему сыну! Они прочтут ее, если смогут, и поверят тебе. Но настоящее послание будет храниться в твоей памяти, Хагбард. Хёвдинга теламеркцев зовут Хрут. Ты передашь ему особый знак.

Бернард, мы с тобой друзья с Тунсберга, чего хочешь ты? Хочешь стать воином и последовать за нами или хочешь остаться здесь и ждать, когда придет день победы? Мы все грешники, но ты — святой, так говорят люди. Нам нужен человек, близкий Богу, это придаст нашим людям уверенности в себе. Но хватит ли у тебя сил, чтобы разделить нашу участь?

Бернард ответил:

— У меня достанет сил, чтобы последовать за тобой, государь, но святые ли это силы или грешные, не знает никто.

— Эйнар Мудрый, ты тоже в таком возрасте, что я не вправе требовать, чтобы ты пошел с нами. Но чего хочешь ты сам? Ты киваешь, значит, идешь с нами. Пусть твоим делом и твоим долгом будет толковать сны конунга. Чаще всего мне снится конунг Олав Святой. Поэтому уже завтра утром ты скажешь нашим людям: Конунгу приснился Олав Святой... Олав Святой явился конунгу во сне и сказал: Я иду с тобой и твоими людьми...

Мой добрый отец Эйнар Мудрый кивнул со своей обычной улыбкой:

— Государь, я последую за тобой, хотя я и не всегда следовал за Олавом Святым...

— Симон, — говорит Сверрир, — могу я потолковать с тобой с глазу на глаз?

Они вышли в маленький покой, где по ночам мы со Сверриром делили одну постель на двоих. Вскоре они вернулись оттуда.

Сверрир сказал:

— У нас еще нет оружия! Вы должны сказать людям: ярл Биргир даст нам оружие! Я убежден, что он так и сделает. Но если нет, есть другой путь, не такой благоприятный для нас, но тогда он будет единственный. Мы покидаем Хамар с тем оружием, что у нас есть, по пути грабим бондов и забираем у них топоры, проходим через Эйдаског в Норвегию и там пытаемся отнять оружие у людей Эрлинга Кривого.

Если же ярл Биргир даст нам оружия столько, сколько нам нужно, мы идем в Нидарос! Но это между нами. До поры до времени никто не должен этого знать. Вы скажете людям: Мы идем в Вик. Но правды никому не говорите. Кто-нибудь непременно проговорится. Пусть думают, что мы идем в Вик. Но пойдем мы в Нидарос.

Мы пойдем не по Норвегии. Сперва мы пойдем по Швеции, а потом уже свернем в Норвегию. Этим путем шел конунг Олав Святой перед тем, как пал в битве при Стикластадире. Мы пойдем по его стопами. Напоминайте людям о нем. Постоянно напоминайте. Но помните, у каждой палки есть два конца. Олав Святой пал, мы не падем. Не старайтесь выжать слишком много сока из старого яблока. Скажите только: Мы пойдем по стопам Олава Святого! И он поддержит нас.

Хагбард, вот тебе знак. Это глаз Христов, блестящий камень, который был вделан в глаз Спасителя на распятии в монастыре на Гримсее недалеко от Скидана. Хрут видел его в монастыре. Там Бернард познакомился с Хрутом. Бернард говорит, что хёвдингу из Теламёрка можно доверять. Хрут узнает этот камень, который Бернард привез сюда. Он поверит тебе, когда ты скажешь, что пришел с посланием от Бернарда и от меня.

Ты скажешь ему:

— За четырнадцать дней до дня святого Йона ты должен встретить конунга Сверрира между горами Доврафьялль и Нидаросом.

У тебя в запасе мало времени, Хагбард. Этот путь не для слабого человека. Да хранит тебя и Малыша Сын Божий и Дева Мария. Сам выбери, по какой дороге ты пойдешь в Теламёрк, они тебе все известны.

Через несколько дней Сигурд должен вернуться от ярла Биргира.

А до тех пор, — но и потом тоже, — каждый человек должен упражняться в воинском искусстве. Всех же слабых и несогласных, упрямых и непригодных, думающих только о наживе, я прогоню.

Благодарю, что вы пришли ко мне.

Все поднялись и ушли.

Я остался.

Сверрир сказал:

— Я сказал Симону, когда мы вышли: Я не полагаюсь на всех этих людей! Но на тебя, Симон, я полагаюсь.

Я должен был так сказать.

Но я на него не полагаюсь.



Нынче ночью, йомфру Кристин, я хочу рассказать тебе о Сесилии, суровой хозяйке Хамара, сестре твоего отца. За свою долгую жизнь я не раз удивлялся, действительно ли их зачал один и тот же отец. Я не сомневался, что Сесилия была дочерью конунга Сигурда, но не всегда верил, что Сверрир был его сыном. Хотя что-то в них было общее, говорящее о том, что они принадлежат к одному роду: лица, которые свидетельствовали о душевной силе, горящий взгляд, осанка, что-то в их речи. Но главное, они оба обладали способностью казаться искренними, хотя на самом деле были себе на уме, они умели скрывать свою суть, прятать когти в мягких лапках, а зубы — за добрыми словами.

И я никогда не слышал, чтобы они когда-нибудь препирались друг с другом, несмотря на то, что оба были горячи и остры на язык, и это многие испытали на собственной шкуре. Я знаю, что Сверрир иногда беззлобно подшучивал над Сесилией, слышал в его голосе насмешку или легкое пренебрежение, когда он обращался к ней. Но это было внешнее. Я знаю, что ее страсть к мужчинам, как и умение удовлетворять эту страсть, давали повод для разных слухов и редко эти слухи были необоснованы. Но я никогда не видел любви, подобной той, что загоралась в глазах Сесилии при виде конунга Сверрира.

В них была тоска, тепло и любовь, но не та, о которой ходили слухи и которую она щедро дарила всем мужчинам, кроме собственного мужа, хотя порой, благослови ее, Господи, создавший ее все-таки доброй женщиной, даже ему.

Люди ярла Эрлинга похитили Сесилию, связали и привезли сюда. Это был щедрый дар одного повелителя другому, лагманну Фольквиду, чтобы она, дочь конунга, не родила бы своих сыновей в Норвегии. Такова была ее история. Когда мы пришли в Хамар, муж Сесилии был у конунга Швеции. Поэтому мы его не видели. Возможно, это было хорошо и для него, и для нас.

Но верили ли они сами в свое родство, в котором многие сомневались? Я думаю, верили. О чем они говорили, оставаясь с глазу на глаз? Думаю о том, что были зачаты одним и тем же отцом. Думаю, что в глубине своего одиночества они чувствовали себя братом и сестрой. Сесилия до конца жизни оказывала Сверриру глубочайшее уважение, какое сестра должна оказывать своему брату конунгу. Но жить с ней рядом было трудно.

Сесилия предоставила в распоряжение брата силу и богатство Хамара. Но для войска, состоявшего из трех сотен человек, этого было недостаточно. Она сказала:

— Когда мой муж вернется обратно, он будет рвать на себе волосы.

Ей нравилось говорить так, и она повторяла эти слова в присутствии многих. Иногда она говорила так:

— Волосы у него не очень густые, часть я уже выдрала, теперь будут выдраны и остальные...

И заливалась долгим смехом, потом умолкала и спрашивала, могут ли у него потом снова вырасти волосы?

— Я буду заходить к нему и гладить по волосам, вернее, по голове, гладить, целовать, греть и говорить: Не забывай, у меня есть имущество в Норвегии! Не забывай, я получу его от моего брата конунга, когда он вернет себе страну, которая принадлежит ему по праву. Неужели я дала моему брату и его людям больше, чем дал бы им ты сам? Не забывай, мне обещано многое! Я получу сторицей, когда мой брат вернет себе страну...

Говорили о том, что муж Сесилии, вернувшись в Хамар, накажет ее кнутом. И о том, что она покорно примет наказание. Когда же он на супружеском ложе повернет к себе свою избитую жену, чтобы

получить то, что положено мужу, она изо всей силы ударит его коленом в пах, а когда он закричит, вцепится зубами ему в шее, и он закричит еще громче. Потом она плюнет в него и уйдет.

Не знаю, много ли правды было в таких словах, но знаю, Сесилия была способна укусить любого, кто поднял бы на нее руку. Но знаю я и то, что она умоляла Сверрира позволить ей последовать за ним. Он ответил:

— Это может привести тебя к гибели! Ты будешь жить здесь, пока страна не станет моей. А тогда я пришлю за тобой своих людей. И твой муж лагманн поклонится тебе, провожая тебя из дома.

Она засмеялась:

— Я отдам тебе мой ларец с серебром и все оружие, какое у нас есть, но это немного. Вы съели уже тридцать быков и коров, пятьдесят бондов отныне стали из-за тебя моими врагами. Но я хочу вернуться обратно в Трёндалёг!

И долго смеялась.

Сесилия была красивая. Однажды вечером мы с ней сидели у очага, только мы вдвоем, я захмелел и потерял осторожность, и она тут же это почувствовала. Она приоткрыла рот и засмеялась...

— Йомфру Сесилия... — проговорил я, заикаясь.

— Я давно уже не йомфру! — Она смеялась.

— Уважаемая фру Сесилия... — Язык мой заплетался, я был в нерешительности: может, надо вскочить, сорвать с нее платье, поднять на руки и, как знамя, с криком: Опустите глаза, мимо вас несут обнаженную женщину!.. — пронести ее через всю усадьбу?..

И тут вошел Сверрир.

Он не сказал ни слова, он не был бы против, если б его сестра и я насладились сладким мгновением. Мне удалось взять себя в руки и сказать с достоинством:

— Я сейчас позову Бернарда... Ведь ты его искал?..

Сесилия поглядела мне вслед. Не думаю, что в ту минуту она любила меня или своего брата конунга.

В последний вечер перед нашим отъездом из Хамара она положила голову мне на плечо и сказала:

— Тебя не назовешь храбрым, господин Аудун! Твоя сдержанность для меня более мучительна, чем дерзость других. Но ты хороший человек и ты друг моего брата. Будешь ли ты охранять его ради меня?

— Да, — ответил я.

— Я знаю, что он мой брат! — сказала она.

Я часто потом думал: наверное, она была права.

Однажды я зашел в покои Сверрира, он и Сесилия стояли на коленях перед изображением Девы Марии и вместе молились. Я тихонько вышел.

Она была хорошей матерью, и ее служанки говорили, что она почти не бьет своих детей, тем более, палкой. Лошади тянули к ней морды, и она, проходя мимо, ласкала их.

Никогда, йомфру Кристин, — прости мне сегодня мои дерзкие речи, — я не видел сестру твоего отца в ее истинной красоте: сбросившей шелковые одежды, белой, словно свеча в подсвечнике. И никогда эта свеча не пылала для меня.

Однако я до сих пор чувствую ее жар.



Я помню маленькие щипчики Сесилии. Однажды конунг Сверрир и я встретили в красивом покое Сесилии одного из людей ее мужа. Забыл, как его звали, а может, никогда и не знал. Он был уже в возрасте, весь в шрамах, как правило он ездил по стране с поручениями своего господина. Не зная, как подобает себя держать, он держался с льстивой почтительностью. Однако он сел без приглашения, положил локти на стол и не смотрел в глаза тому, к кому обращался.

Сесилия сказала:

— Мой муж посылает тебя с поручениями по всей стране, верно?..

Гонец стал долго рассказывать, где ему довелось побывать. Она прервала его и сказала, что ее брату конунгу нужно знать самые надежные пути, что ведут через Швецию в Трёндалёг.

— Я хочу, чтобы ты проводил его туда. Сообщи ему все, что тебе известно об этих дорогах, и вообще все, что может пойти на пользу ему и его войнам.

Гонец снова заговорил, и снова Сесилия прервала его, обратившись к Сверриру:

— Этот человек знает много полезного... Знает он и то, что нужно держать язык за зубами. До сих пор он был достоин моего доверия. Мало ему будет радости, если он нарушит свою верность.

Смущенно и горячо гонец стал уверять Сессилию, что никто не умеет держать слово, как он. Сессилия снова повернулась к конунгу:

— Используй этого человека, как найдешь нужным. Он — твой, можешь беречь его, а можешь и не беречь, можешь прислать его обратно, если хочешь, а можешь зарубить, если он станет тебе бесполезен. Но только не забудь вознаградить его за труды.

Она достала из мешка, что носила на поясе, маленькие щипчики. Видно было, что их изготовил искусный кузнец, они были длинные и острые. Потом она достала другие щипцы, тоже красивые, но побольше, для чего-то они, конечно, предназначались, но для чего именно, я так и не понял. Сессилия сказала:

— Случалось, мои люди говорили больше, чем я им разрешала. Одни держали язык за зубами, другие — нет. У одних язык был слишком длинный, у других — нет. Как видишь, эти щипцы не совсем одинаковые. Можешь идти, — сказала она гонцу.

Он ушел.

Она спросила, не разделим ли мы с ней вечернюю трапезу, мы вежливо поблагодарили ее. Пришли служанки и накрыли стол.



Мы стояли под дождем на равнине перед холмом тинга, сюда должны были собраться все воины. Они пришли, многие с ворчанием, грязные, забыв об уважении, какое должны оказывать своим предводителям. Сигурд из Сальтнеса еще не вернулся от ярла Биргира. Еще никто не знал, будет у нас оружие или нет. Но конунг приказал: собрать всех! В руках у всех были дубинки, с которыми они упражнялись в воинском искусстве. В глазах большинства я видел усталость и злость, в нашу сторону летела брань, люди еле шевелили ногами, многие были пьяны, а один спустил штаны, изобразил собаку, которая оправилась и побежала дальше. Все засмеялись.

Я видел, как наши предводители, Вильяльм, Йон и Кольфинн бьют непокорных. Они били в полную силу, и я слышал брань. Но этот презрительный смех, непокорство, усталость, неуважение... И этот парень, изобразивший собаку... По лицу Йона из Сальтнеса текли слезы. Кольфинн в безудержном гневе налетел на парня, люди защитили его, три человека взяли Кольфинна в кольцо, он онемел и

начал заикаться, кто-то сзади ударил его ногой. И опять этот смех. А парень, вырвавшись из круга, с презрением мочится в сторону проводителя, который посмел ударить его.

Мне холодно под дождем.

У меня тоже в руках дубинка, и я тоскую по своему дому в Киркьюбё.



Я помню, как Сверрир учил своих людей, послушавшихся его приказа:

Он сидит верхом и гонит перед собой трех человек, наезжает на одного. Поворачивает коня, оставив поверженного на снегу, и подъезжает к другим, готовым разбежаться. Громовым голосом он останавливает их, ветер подхватывает его слова, которые, точно меч, рассекают непогоду:

— Три наших человека опозорили нас всех, ограбив местного священника!..

Он направляет коня на тех троих, сперва шагом. Один из них оборачивается, поднимает дубинку и бьет коня — конь взвизывает на дыбы, конунг сидит без седла, без уздечки, держась одной рукой за гриву. Он отпускает руку, и грива, словно рыжее знамя, летит по ветру. Так мы обычно ездили на маленьких, крепких лошадках в нашем родном Киркьюбё. Когда ноги коня снова касаются земли, Сверрир пускает его вскачь, парень с дубинкой падает в снег, конь перепрыгивает через него. Конунг ждет, чтобы парень поднялся на ноги, и гонит его дальше.

Упрямые, непокорные, пьяные, люди ждут, в глазах у них и ненависть и почтение. Сверрир гонит тех троих по мокрому, рыхлому снегу. Не быстро. Они просто идут, но скорым шагом, он — на два шага позади них. Конь гонит их по кругу. А за пределами этого круга, преследуемых и преследователя, стоят уже присмирившие и молчаливые воины.

Конунг гонит троих по кругу, один из них опять оборачивается и замахивается дубинкой. Конунг кричит, конь делает прыжок — парень роняет дубинку и падает, и конь всей тяжестью обрушивается на него. Копыто бьет парня по спине, он кричит от боли. Вскрикивает

и ковыляет, конунг снова неторопливо, но и не медленно, гонит их по кругу.

Теперь они идут по снегу, утрамбованному их ногами. Но конунг выгоняет их на рыхлый снег. Они проваливаются по пояс, стонут, плюют кровью. Старший из них падает. Конунг оставляет его лежать. Делает еще один круг с двумя оставшимися и снова подъезжает к лежащему. Он должен подняться.

Три сотни человек безмолвно смотрят на это зрелище. Это урок, и милости тут не жди. Конь с длинной гривой громко ржет. Те трое бегут и падают, молят, кричат, поднимают руки и плачут, но конунг неумолим.

У меня перед глазами все сливается: дождь и серый снег, холм тинга, деревья и люди с дубинками в руках. Три темные фигуры, идущие по снегу, и человек на коне. Один из идущих снова падает.

Теперь он уже не может подняться. На снегу под ним растекается кровавое пятно, конунг направляет на него коня. Упавший кричит, пытается встать, раздается хруст, он вопит от боли, призывая на помощь Сына Божьего и Деву Марию. Но конунг неумолимо снова пускает на него коня. И лишь когда он со сломанным позвоночником перестает двигаться и над мокрым от дождя Хамаром несется его дикий вопль, конь Сверрира снова гонит по снегу двух оставшихся.

Теперь уже воины стоят молча. Никто не поднимает дубинку для защиты или нападения, никто не спешит с дружеской поддержкой к тому, на кого пало проклятие. В снегу кричит и корчится темная фигура, конунг на коне по-прежнему преследует людей. Тогда падает второй.

Конь топчет его. Снова и снова он топчет лежащего человека, копыта бьют по спине, сквозь одежду проступает кровь. Копыта бьют по голове, и человек умолкает, он еще шевелится, но лежит, точно брошенное на снег платье.

Третий останавливается, смотрит и вдруг бросается бежать. Но конь и конунг тут же оказываются рядом и снова гонят его по кругу. Это совсем молодой парнишка. Я вижу его лицо, но черты размыты дождем и слезами, текущими от страха перед тем, что его ждет. Первый еще шевелится в снегу. Конунг пускает на него коня, и тот перестает шевелиться. Конунг снова медленно едет за парнем, который, шатаясь, бредет по снегу.

Три сотни человек молчат.

Тогда конунг придерживает коня и поворачивается к людям, парень тоже останавливается. Голос конунга звучит громко и отчетливо, его слышат все. Конунг благодарит воинов за то, что они пришли, и говорит:

— Младший несет меньшую вину за содеянное, он может вернуться к остальным.

Парень, шатаясь, занимает свое место. Он нашел свою дубинку и тащит ее за собой.

Конунг уезжает.

Он говорит Вильяльму:

— Сегодня не выставляй стражу.

На другой день половина войска исчезла. Тех, что остались, слабыми не назовешь.

Сегодня, йомфру Кристин, я вдруг вспомнил, что у одного из затоптанных, должно быть, была собака. Во всяком случае, рядом с одним из них сидела и выла собака. Я всегда любил собак, и они меня тоже. Я взял себе этого пса. И назвал его Бальдр — красивое имя для красивого пса. Бальдр долго сопровождал меня по всей стране.



Однажды на рассвете Сигурд из Сальтнеса и его спутник Эрлинг сын Олава из Рэ вернулись от ярла Биргира. К нашей радости их сопровождали шесть человек — ярл послал нам в дар шестерых воинов в полном вооружении. Они вели лошадей, тянувших тяжелые сани, это было оружие, завернутое в овчины. Лезвия кликов были смазаны жиром, чтобы не заржавели, если на них попадет влага. Люди жиром похвастаться не могли.

Из ближних усадеб стали стекаться наши воины, им было любопытно и каждый желал ухватить оружие получше. Конунг велел пересчитать оружие, прежде чем раздать его людям. Это были добрые боевые мечи и топоры, а также щиты, судя по вмятинам, уже побывавшие в сражениях, но еще годные на то, чтобы в схватке защитить человека. На одних санях горой лежали самострелы.

В моей юности самострелы были оружием только знатных людей, их и теперь редко встретишь в войске, состоящем из бондов.

Паломники, ходившие ко Гробу Господню, научились пользоваться самострелами на святой земле Иисуса Христа. Это был один из тех даров Божьих, который позволил многим людям испытать на себе те же страдания, какие испытал Спаситель, распятый на кресте. Я видел, как лицо Сверрира вспыхнуло от радости, когда Сигурд сказал ему, что ярл послал самострелов больше, чем для тридцати войнов. Но кто удостоится чести получить это дорогое оружие?

Сперва конунг захотел осмотреть все оружие, хорошее или плохое, какое было у его воинов, независимо от того, кому оно принадлежало. Другими словами, если кто-то не по праву владел оружием и не лишил им жизни ни одного врага, это оружие передавали более достойному, тому, кто мог употребить его более удачно. Не всем воинам это пришлось по душе.

Потом конунг, я, Сигурд, Йон, Вильяльм, мой добрый отец Эйнар Мудрый и монах Бернард встретились и обсудили, кто из наших воинов на что способен. Конунг выслушал нас, оставив за собой право на последнее слово. Однако надо сказать, что, когда мы выстроили наше войско, разбитое на небольшие отряды с одним ударным отрядом, во главе вооруженным самострелами, честь в его создании принадлежала нам всем. Кое-кто был не доволен доставшимся ему оружием. Тех конунг похвалил. Тех же, кто остался доволен, он строго предупредил: Употребите его с честью или вам придется отдать его с позором.

Некоторым достались только дубинки. Тем конунг сказал:

— Каждый, кто отнимет у врага меч, будет владеть им всю жизнь, а после него меч перейдет его сыну.

Нас было немного. Недостаточно, чтобы завоевать всю страну и установить в ней свое господство. Но мы должны были завоевать страну конунга Сверрира, и мы завоевали ее.

Йомфру Кристин, до тех пор мы с твоим отцом всегда делили одну постель на двоих. Теперь он пришел ко мне и сказал:

— Конунгу не пристало ни с кем делить постель.

Я сказал:

— Господин конунг, твоя постель принадлежит тебе, и твое одиночество тоже.

Он взглянул на меня и промолчал, я тоже больше ничего не сказал.

Мы расстались и пошли к своим одиноким ломам.



Вот что я помню о Сверрире, конунге Норвегии:

Позади меня идет темноглазый человек, днем он — моя злая тень, по ночам — мой добрый светоч. Я чувствую его дыхание и его зычный голос, удары сердца и стук крови. Стоит мне отойти от людей, чтобы недолго побыть в одиночестве, заглядеться на далекие берега большого озера, которое тут называют Вэнерн, или постараться отыскать тех же птиц, что кричали у нас в горах над Киркьюбё, как он оказывается у меня за спиной. Стоит мне углубиться по мокрому снегу в лес, в сторону от тропы, чтобы смыть с уставшей души шум, брань и заблуждения, он тут же появляется у меня за спиной. Не сильный муж, но слабый, не конунг, но человек. Отец двоих детей, оставшихся дома с матерью, он полон сомнений и страха, но все сомнения и страх покорны его твердой воле и сдерживаются огнем его мысли. Случается, он подходит ко мне в темноте и говорит:

— Кто знает, есть ли там дорога?..

Случается, он зовет меня, но он ли это или только зов его одинокого сердца достигает меня в ночной темноте или в предрассветном тумане?

— Кто знает, есть ли там дорога?..

Дороги нет, но в этом вопросе — передышка, встреча с другом, утешение. Снится ли ему маленькая лодка, и мы с ним в этой лодке, снится ли ему птичий крик у нас над головами, снятся ли высокие крутые берега, спертый воздух нашей латинской школы дома в Киркьюбё? Снится ли ученость, которой мы пытались овладеть, тихая боль человеческой души и те, кто нуждаются в утешении? Поднимает ли он кубок прежде, чем поднять меч, прячет ли он в сердце непроизнесенную молитву, которую не смеет обратиться к Богу? Он подходит ко мне и спрашивает:

— Ты можешь исповедать меня?..

— Конечно, я могу принять твою исповедь, опустись на колени и говори!

Он опускается передо мной на колени и говорит:

— Я должен был так поступить!.. Как бы иначе я подчинил людей своей воле?.. Я должен был затоптать конем тех двоих!..

Я отвечаю:

— Конечно, ты должен был затоптать их конем! Я знаю, твоя безжалостная мысль и впредь будет вести тебя путем конунга. Я знаю, твоя воля заставит тебя и твоих людей, идти вперед. Но в глубине сердца тебя больше радует крик тысячи птиц, чем крик тысячи воинов.



Вот что я помню о Сверрире, конунге Норвегии:

Вечером мы вместе парились в бане, мы тихо дремали и были голые, не только в прямом смысле этого слова. Я часто видел Сверрира голым: его короткое, крепкое тело обладало лошадиной силой. Красивым он не был, однако движения у него были ловкие и он мог, как коза, карабкаться по горному склону. Его глаза обжигали, особенно, когда он был без одежды, а представлял таким, каким мужчину создал Творец. Тогда в их глубине я видел загадку, ответ на которую знал только Господь Бог и редко — я.

Он сказал:

— Аудун, я конунг и потому не так свободен, как ты.

— Я знаю.

— Я часто думаю о пути конунга Олава Святого... Как думаешь, он всегда был одинаково свят?

— Если б я в это не верил, я бы не обрел света веры, — ответил я.

Он сказал:

— Во мне борются добрые и злые мысли, и слабость моя в том, что они часто идут одним и тем же путем. Но в этом же и моя сила. Я понимаю, что нередко заставляю злодейство служить правому делу и ложь — правде. Но есть кое-что, Аудун, чего ты не знаешь.

— Чего, Сверрир?

— По ночам, во сне, я возвращаюсь домой в Кирккюбё. Клянусь, я заберу их сюда! Перед лицом Бога клянусь, что заберу в Норвегию Астрид и наших сыновей, как только смогу.

— Я знаю, что ты выполняешь свои обещания, как только тебе представляется такая возможность.

— Ты веришь, что я сын конунга?

Я ответил:

— Во мне сильна потребность верить, что ты сын конунга. Но и сомнения мои тоже сильны.

Он помолчал, потом сказал, и я помню каждое его слово:

— Я ведь знаю, что я не сын Божий. И все-таки Всемогущий мне отец.

Мы задремали в жару бани, потом вышли и облили себя холодной водой. Сверрир сказал, что священник, которого ограбили наши люди, получит обратно все, что они забрали. Но вернуть ему корову не в наших силах.

— У меня есть книга проповедей. Священником мне уже не бывать, Аудун. Пожалуй, я отдам ему единственную книгу, какая у меня есть. Для меня это дорогой подарок.

— И для него тоже, — сказал я.

Мы оделись и разошлись. После этого он немного повеселел.

Йомфру Кристин, твоему отцу конунгу в удел досталось горе и потому он так часто давал пощаду своим врагам.



Серым утром, когда все небо было обложено облаками, мы покинули Хамар. Озеро уже вскрылось, и под ногами ручьем бежала вода. Обитатели усадьбы вышли, чтобы проститься с нами. Вот кого я помню:

Сесилия, сестра Сверрира, еще молодая женщина, в меховом плаще, накинутом на нижнюю сорочку, на ногах у нее низкие башмаки. Ее сопровождают служанки. Она обнимает Сверрира за шею и говорит:

— Ты мой брат и в жизни и в смерти.

Она тихо плачет, он отворачивается, потом смеется и гладит ее по щеке.

— Скоро придут мои люди и увезут тебя домой в Трёндалёг! — говорит он.

Она тоже смеется и уходит, потом возвращается и машет нам рукой.

Помню Рагнфрид с маленьким мальчиком на руках — жена, данная Сигурду Богом, мать его сына. Она остается здесь и, если будет на то милость Божья, летом вместе с паломниками придет в Нида-рос, чтобы помолиться у раки святого конунга Олава. Рагнфрид тоже плачет. Сигурд бегом возвращается к ней — борода у него чис-

то вымыта, что случается редко, — и сует в рот сыну комок меда. Лицо мальчика светлеет и расплывается в робкой улыбке. Сигурд опять убегает.

Я помню местного священника — имени его не знаю, — того, у которого украли единственную корову и который получил за это от конунга книгу проповедей. Он пришел, чтобы пожелать нам удачи:

— Не знаю, на вашей ли стороне Бог, но Бог часто бывает на стороне тех, кто еще более убог, чем вы.

Странное напутствие священника уходящим людям, я потом часто вспоминал его слова.

Мы уходим.

Мой добрый отец Эйнар Мудрый уже стар, он едет верхом, однако он еще крепче многих, не говоря, что умней. У моего друга монаха Бернарда из прекрасной страны франков к седлу приторочен неизменный ларец с книгами. Симон, недобрый священник, в воинском одеянии выглядит, как раненый волк, он и опасен не менее, чем волк. За ним идут Вильяльм, Йон, Эрлинг сын Олава из Рэ, рожечник Рейольв, Кольфинн и Кормилец, который бежит вокруг и кричит:

— Соль!.. Соль взяли?

Мы все здесь, теперь мы уходим отсюда. Длинной была дорога сюда, отсюда будет еще длинней. Нелегкой поступью мы разными путями пришли в Хамар, но еще более тяжелой поступью уходим отсюда.

Бальдр, черный пес, которого я подобрал, не отстает от меня, когда мы покидаем Хамар в Вермаланде.



ПУТЬ В НИДАРОС

Уногда, йомфру Кристин, с зоркостью, присущей лишь птицам, я вижу пройденные мною дороги. Высоко над лесами и озерами летит на ветру, расправив крылья, моя несчастная память. Внизу люди, они либо сражаются, либо идут, это конунг, я сам, наши друзья, мы безостановочно идем по стране. Мы не думаем о цели нашего пути. И о горе, оставшемся у нас за спиной, и о завтрашних ожесточенных, кровавых сражениях, и о пепле, остывающем после красного пламени снов и запорошившем наши сердца. Но птица с зоркими глазами летит высоко на ветру и видит все.

Небольшой отряд быстро идет на север вдоль реки, текущей на север. Предводителя зовут Вильяльм. Он едет верхом, отряд идет молча, Вильяльм приказывает своим людям поднимать и опускать руки. Главный отряд отстал от них на полдня пути, он движется медленнее, почти все идут пешком. Ловкие и сильные, как звери в горах, они тоже идут в суровом молчании. Человек шесть замыкают шествие. Они прикрывают главный отряд от неожиданного нападения сзади.

Между этими тремя отрядами бегают гонцы, они не пользуются рожками, поджидают на распутьях и ведут отряды по тайным лесным дорогам в обход больших селе-



ний. Конунг следует с главным отрядом, иногда верхом, но чаще отдает свою лошадь тому, кто выбился из сил и, тяжело дыша, упал на подъеме. Лошадей столько, что семь или восемь человек всегда могут передохнуть в седле. Это позволяет идти быстро. С наступлением вечера, люди разбивают лагерь.

Вильяльма и его дружинников ведет проводник. С проводником всегда идут двое, и он знает: ему нельзя ошибиться. Нарочно он ошибится или нечанно, но если отряд окажется не там, куда идет, жизнь проводника будет недолгой. Проводник должен также отыскивать места для привалов, по возможности скрытые от любопытных глаз местных жителей. Помнит он и об острых щипцах фру Сесилии и старается изо всех сил, чтобы спасти свой язык.

Конунг приказал Вильяльму не быть без нужды суровым. Брать лишь по одной овце на каждой усадьбе и не уводить у бонда двух коров. Но Вильяльм живет своим умом, отличным от ума конунга. Он знает, что каждый, расставшийся с овцой, будет всю жизнь ненавидеть того, кто ее забрал. А вот бонд, шея которого избежала знакомства с топором, будет испытывать трусливую благодарность, узнав, что этого топора не избежал его сосед. К тому же, отряд распылится и станет более уязвимым, если каждый день ему придется собирать скот на разных усадьбах. Лучше выбрать какую-нибудь одинокую усадьбу, затерянную в глухом лесу. Налететь на нее всем скопом, перебить мужчин, а лучше и женщин, они только поднимают крик и пользы от них никакой. Перебить всех, взять все, что нужно, и продолжать путь.

Когда найдено место для привала — вдали от несуществующей больше усадьбы, — уже дело Кормильца развести огонь и насадить мясо на вертела. Ему помогают два парня. Разводить огонь непросто — стоит весна, и днем часто идет дождь. Едкий дым стелется над лагерьем. Кормилец и молится и клянет все на свете. Он знает, что отряд уже близко, слышит тяжелые шаги людей и конское ржание, он должен быстро накормить более сотни человек.

Соль у него есть. Вот что я помню о мешке с солью:

Перед нашим уходом из Хамара Кормилец бегал и кричал своим парням: Соль взяли? Взяли, отвечали ему мрачные и сонные голоса. Он не поверил и стал шарить в узлах, навьюченных на одну из лошадей, но он ошибся лошадью, она вскидывается на дыбы и ржет. Кор-

милец бьет ее, подходит Вильяльм, он бранится, Кормилец грозит ему кулаком и кричит: Где мешок с солью? Его нет!.. Но мешок есть. Он приторочен к другой лошади. Волнение стихает.

Вечером на вертелах жарят баранину, горят костры, под деревьями дремлют усталые люди. Конунг приказывает — ни один человек не должен отходить от отряда. Расставлены дозоры. Дозорные сменяют друг друга, они вглядываются в туман и в темноту. В руках у них топоры.

Наконец люди засыпают — у костров, под деревьями, под открытым небом. Старая лошадь спит стоя, две молодые легли. Мой пес Бальдр спит у меня в ногах и греет меня.

Я лежу без сна и слушаю мужской храп, поднимая глаза на небо, чтобы найти звезды над лесом, но бегущие облака и туман скрывают их. Потом я вспоминаю о своем добром отце Эйнаре Мудром, который тоже идет с нами. Я встаю, Бальдр идет за мной, мой отец спит под дождем. Я показываю на него, и Бальдр ложится рядом и греет его.

Я возвращаюсь на свое место и ложусь на хвойные лапы.

Через некоторое время ко мне подходит конунг.

— Я замерз, — говорит он.

Мы ложимся спина к спине, но я знаю, что он тоже не спит.

Утром каждый получает по куску мяса, мы снимаются с места и идем дальше.

Всю свою жизнь, йомфру Кристин, я снимался с места и шел дальше.



Мы идем через Эскихерад, потом густым лесом к месту, которое наш проводник называет Молунг. Ночью морозит, на северных склонах лежит снег, мы предпочитаем идти ночью, пока держит наст, но лошади пробивают его копытами, проваливаются и режут ноги. Мы подходим к большой реке, лед уже тронулся, серые глыбы громоздятся друг на друга. Проводник говорит, что моста через реку нет, а есть ли где поблизости брод, он не знает.

Симон, священник из монастыря на Селье, говорит, что проводника следует прирезать. Дело свое он уже сделал, а дорога домой может оказаться для него слишком тяжелой. Другие считают, что

время для этого неподходящее, и это принесет больше вреда, чем пользы. Отряд разделяется на два лагеря, и они никак не могут договориться, какая судьба больше подходит человеку, который показывал нам дорогу. Проводник стоит тут же, он глуп и потому не скрывает своего страха. Подходит конунг и одним словом дарит проводнику жизнь. Спорившие умолкают. Конунг не слушает ни глупую благодарность, которая срыгается с языка проводника, ни недовольного ворчания Симона.

Жилья в этой долине почти не было. Мы разбили лагерь, всех страшила мысль о переправе через реку. К нам подошел Вильяльм со своими дружинниками и сказал, что они нашли несколько лодок, на которых можно переправиться на тот берег, если Всемогущий явит нам свою милость, как он делал часто, чтобы не сказать всегда. Взять с собой лошадей мы не сможем.

Лошадей все любили, и никому не нравилась мысль, что их придется прирезать. Конунг, который уже спускался к реке и смотрел течение, сказал:

— Мы оставим лошадей у местных бондов и возьмем в заложники двух парней. Переправимся на лодках и на том берегу возьмем лошадей у тамошних бондов. Когда же вода спадет, те бонды переправятся сюда и заберут себе наших лошадей. Здешние бонды получают назад своих заложников и без разговоров отдадут лошадей.

И прибавил:

— Легко быть справедливым, если у тебя есть для этого сила.

Все получилось, как сказал конунг: Вильяльм и его дружинники взяли двух заложников. Это были молодые парни, одного из них даже рвало от страха. Мы знали по опыту, что в таких случаях самое умное не мешать бедняге. Брань мало помогала, равно как и побои, которые в других случаях были не плохим целебным средством. Лошадей расседлали и поклажу перенесли в лодки. После этого два человека отвели лошадей в те усадьбы, откуда взяли заложников.

Лодок было мало, и все не могли переправиться за один раз. С первой лодкой поплыл Вильяльм. Он направил лодку наискосок к другому берегу, течение подхватило ее, но мы видели, что лодка благополучно достигла цели, только чуть ниже. Потом люди Вильяльма оттащили лодку выше по течению. На это ушло время. Наконец два

человека переправились к нам обратно. Они тоже добрались благополучно.

В Кирккюбё я с детства привык к лодкам, и не без гордости думал, что мы трое с Фарерских островов, мой добрый отец Эйнар Мудрый, конунг и я, будем чувствовать себя уверенно, переправляясь через реку. Во мне шевельнулось нечто вроде презрения и жалости к норвежцам, чувства, о которых я уже почти забыл, живя среди берестеников. Они мужественно вели себя и в горах и в лесах, не хуже нас. Но к лодкам они были непривычны.

Мы с конунгом переправляемся в одной лодке, мы стоим, лодку крутит в потоке, словно корыто, мы сохраняем равновесие, пружиня ноги в коленях. Вода перехлестывает через борт, во мне все ликует, я поворачиваюсь к конунгу, но встречаюсь глазами с одним старым берестеником. Сын Божий и Дева Мария помнят, должно быть, как его звали, он зарос бородой, как старая ель лишайником, и любил похвастаться, что на руках у него кровь не менее, чем полусотни человек, которую он в честь конунга смывает только на Рождество. Но теперь ему страшно. Я смотрю на конунга и смеюсь.

В лодке за нами переправляется мой отец, Эйнар Мудрый, он тоже стоит среди летящей пены и мягко покачивается, пружиня колени. Отец машет нам рукой. Э-эй! Течение подхватывает и несет нас, но мы выравниваем лодку, направляем ее, куда нужно, и противоположный берег стремительно приближается. Тут мы замечаем, что Кольфинн, шумный задира, что плывет в лодке позади нас, тянет за собой на поводке свою лошадь. Он называет ее своей и нежно любит, никто не умеет обращаться с лошадьми так, как он, любая старая кляча интересует его больше, чем молодая женщина. По ночам он спит под брюхом у лошади, и ему там теплее, чем нам на словых лапах. Кольфинн привязал к уздечке длинную веревку, лошадь плывет за его лодкой, как ялик за кораблем.

Голова лошади то скрывается под водой, то снова выныривает на поверхность, лошадь борется с течением, однако сил у нее хватает и она, похоже, доплывет до берега. Но тут налетает ветер. Лошадь отчаянно ржет, я смотрю на нее, даже грохот воды не может заглушить ее ржание. В одно мгновение течение переворачивает лошадь, ее ноги с большими копытами торчат над водой, как четыре обломленные ветки. Кольфинн, держащий веревку, чуть не падает в воду. Я

вижу, как мой отец хватается его за плечо. Кольфинну приходится отпустить веревку. Течение уносит лошадь.



Люди в лодках встревожены, гребцы гребут уже не так дружно. Сквозь шум воды слышится мощный голос конунга:

— Гребите! Гребите!

Наша лодка разворачивается кормой к течению, я бросаюсь к веслам, Сверрир тоже, стоя на коленях спиной к носу, он заставляет гребцов дружно работать веслами. Лодку, следующую за нами, несет течением. Кольфинн стоит одной ногой на борту лодки, словно хочет выпрыгнуть и плыть, чтобы спасти лошадь. Отец втаскивает его обратно и бьет. В это время их лодка налетает на какую-то корягу и получает пробоину.

Наша лодка упирается носом в берег. Я выскакиваю в воду, она доходит мне до пояса, за мной конунг, за ним один за другим наши люди, мы вытаскиваем лодку на сушу. Потом бежим по берегу: я поскальзываюсь на камне, падаю в воду и это едва не стоит мне жизни — течение подхватывает меня, я быстро переворачиваюсь на спину и несколькими сильными взмахами снова достигаю берега. И опять бегу по берегу и кричу, кричу, впереди небольшая бухта, кто-то черный встает из воды и, шатаясь, выходит на берег. Это мой добрый отец Эйнар Мудрый.

Подходит и Кольфинн, конунг тоже здесь, он не тратит времени на то, чтобы отчитать Кольфинна за лошадь. Мы бежим дальше по берегу, и одного за другим находим наших людей, им всем удалось выбраться на берег. Лошади Кольфинна не видно. Не видно и Рейольва из Рэ, рожечника, который был в одной лодке с Кольфинном.

До наступления темноты мы ходим по берегу и кричим, но Рейольва нигде нет. В темноте искать бесполезно, и мы собираемся к тому месту, где переправлялись через реку. Кормилец уже развел огонь. Остававшееся у него мясо он изжарил и разделил на маленькие кусочки. Конунгу он вежливо протягивает два куска, но тот с гневом берет один.

Один человек, похоже, уже покинул нас. Это Рейольв из Рэ, его, оставшегося в живых после сражении при Рэ, унесла шведская река, и

сейчас, ночью, он отправился в чистилище, что, быть может, не окажется для него слишком большой мукой. Он был молодой, приветливый, веселый и добрый, умней, чем можно было подумать, глядя на его лицо, и никто не умел извлекать из рожка такие красивые и сильные звуки, как он.

В тот вечер у костров мы испытываем новое чувство, я бы назвал его братством. До сих пор мы были толпой, каждый по отдельности, как костяшки на счетах, многие не знали даже имен друг друга и полагали, что так лучше. И вдруг, когда река унесла Рэйольва и спустилась ночь, мы, много испытывавшие люди, сидя плечом к плечу, чувствуем себя уже не отдельными ветками, которые треплет ветер, а связанной воедино метлой. Мы молчим.

Конунг просит Бернарда отслужить службу по погибшему Рэйольву. Я никогда не забуду высокий голос Бернарда, который в отблесках костра окружает нас кольцом нездешнего благозвучия. В темноте грохочет река. Нам предстоит еще долгий путь.



Помню два лица, освещенные огнем костра:

Лицо Бернарда, красивое лицо чужеземца, когда-то чуть не убившего своего брата. Искупяя этот грех, Бернард стал служить церкви и покинул свою прекрасную родину. В Тунсберге он стал аббатом в строгом монастыре премонстрантов, но в темноте, украдкой, он, наверное, сомневался в Слове Божьем. У Бернарда странное лицо. Когда мир поворачивался ко мне спиной, я всегда вспоминал лицо Бернарда и черпал в нем силу. Оно было покрыто глубокими морщинами и освящено мудростью, словно Священное писание написанное на ветхом пергаменте.

И рядом с ним — лицо Симона, этого злого духа. Я всегда лъщу Симону, говоря сладкие, как мед, слова, потому что боюсь его, думаю, что и Сверриру тоже бывает не по себе в его пристутствии. Симон ни разу не причинил нам вреда. Однако он здесь, среди нас, и может дать волю своей злобе, когда мы не будем готовы встретить ее, он может заразить нас этой злобой и в один прекрасный день мы станем похожи на него. Что дает ему эту силу? Не знаю. Говорили, что в сражении при Рэ он бился храбрее многих. И тем не менее,

один из немногих, вышел оттуда невредимым. И пока Бернард у костра отпевает Рэйольва, меня вдруг осеняет: Симон продал свою душу дьяволу!

Да, да, теперь я знаю: в каждом отряде есть человек, который продал душу дьяволу, у нас — это Симон. Знаю также, что долг велит мне сообщить об этом конунгу, мы вместе должны все обсудить и решить, что делать, чтобы этот слуга дьявола не помешал нам. Но разве дьявол не предупредит его о моих намерениях? Может, лучше вообще ничего не говорить? Кому я должен хранить верность? Но кого я боюсь больше? Я замечаю, что у меня дрожат руки.

В свете костра Симон поворачивается ко мне, его улыбка полна злобы. И я понимаю, что он прочитал мои мысли.

И тогда в светлый круг от костра, шатаясь, вступает Рэйольв из Рэ.



Рэйольв из Рэ спасся из потока, но занемог. На другой день, когда мы двинулись дальше, его везли на лошади. Глаза у него блестели, руки были влажные, словно он не вытер их, выйдя на берег. Мы, как обычно, шли быстро. С утра светило солнце, но после полудня зарядил дождь, люди, одежда, лошади — все блестело от влаги. Мы шли через неприветливое селение. Нам не попался ни один человек, но время от времени мы чувствовали, что за нами наблюдают. Конунг подгонял нас. Наступил вечер, Рэйольв, с трудом дыша, лежал на шее лошади.

Ночь была не из легких. Вильяльм и его дружинники рассказали, что наткнулись на лучника, который из укрытия выстрелил в одного из них, но промахнулся. Они погнались за ним, поймали и повесели. Конунг не разрешил нам разводить костров. Для тех, кто стреляет из укрытия, мы оказались бы хорошей мишенью на фоне огня. Кормильцу было нечем кормить нас. В темноте стонал Рэйольв.

У меня мелькнула мысль, за которую мне стало стыдно: а нужен ли нам Рейольв?.. Не замедлит ли он наш поход по этой негостеприимной стране? Я знаю, что многие, а нас было больше сотни, думали сейчас: а нужен ли нам Рейольв? Кое-кто, и я в том числе, — не уверен, но думаю, что не ошибаюсь, — были полны сочувствия к

занемогшему человеку. Но все ли?.. Не разбились ли мы в ту ночь на два лагеря? И на чьей стороне конунг?

Мы потеплее укутали Рэйольва и почти не спали. Всем стало легче, когда конунг, еще до рассвета, приказал двум дружинникам тихо поднять людей. Мы оседлали лошадей. Глаза у Рэйольва были мутные, он больше не узнавал нас и у него не было сил держаться в седле. Эрлингу сыну Олава из Рэ пришлось сесть на лошадь позади Рэйольва и поддерживать его.

В путь мы двинулись уже на рассвете. Всем было невесело.

Эрлинг сын Олава из Рэ обладал странной способностью. Он всех передразнивал. Идя, например, за Вильяльмом, он передразнивал не только его голос, но и движения, и походку, и выражение лица. Перед нами был как будто Вильяльм. Передразнивал он и конунга. Сверрира это забавляло. Передразнивать Симона было небезопасно. Это-то больше всего и искушало Эрлинга — он передразнивал Симона, даже когда тот не давал ему для этого никакого повода, подражал его скрипучему голосу, изображал необычное, сердитое выражение лица и его манеру грозить кулаком. Но Симона это не забавляло.

Раньше я не замечал особой дружбы между Эрлингом и Рэйольвом, хотя оба они были из Рэ. Теперь они стали как братья. Лошади было тяжело нести двоих. Эрлинг что-то все время шептал Рэйольву, поддерживал его голову, ночью ему удалось украсть где-то козьего молока, он макал в него шерстяную тряпку и заставлял Рэйольва сосать этот животворный напиток.

Но к концу дня больной ослабел еще больше. Мы как раз пришли в селение, где к нам отнеслись лучше, чем в других местах. Люди, не боясь, выходили из своих домов. Там конунг прибегнул к средству, которым пользовался лишь в самых крайних случаях: он достал из ларца, подаренного ему его сестрой фру Сесилией, несколько тяжелых монет. С их помощью мы вечером легко получили все, что нам нужно. Но Сверрир не разрешает нам ночевать в усадьбах. Он все-таки не совсем доверяет этим людям. Дождь все еще льет. Рэйольву ладят шалаш из хвойных веток и согревают шалаш внутри горячими углями. Рейольва переодевают в теплое платье. Это помогает, но ненадолго. Он бредит в беспамятстве, говорит про всех плохо и ему кажется, что он опять сражается при Рэ. Иногда он зовет бабушку, которая когда-то, наверное, качала его на руках. Эрлинг

сын Олава из Рэ объясняет, что мать Рэйольва убили, когда он только родился.

Эрлинг разжевывает для больного кусочек мяса и кормит его, чтобы вернуть ему силы. Но Рэйольва рвет. Мой добрый отец Эйнар Мудрый тоже пытается помочь — больному требуется целебный отвар, но нужных трав здесь нет. Эйнар Мудрый хочет пойти с серебром к добрым людям и купить у них нужные травы. В это время прибегает один из дружинников: в него кто-то стрелял! Стрела застряла в рукаве, и ее кончик оцарапал ему кожу.

Мы жмемся друг к другу, конунг запрещает людям покидать лагерь, костры погашены. Рэйольв мерзнет и кричит в беспамятстве. И опять из злой глубины всплывают слова дьявола, брошенные среди нас: А нужен ли он нам?..



Мы рано снимаемся с места. У нас один выход: идти дальше. Но мы разделились на два лагеря и трудно сказать, какой из них сильнее. А нужен ли он нам?.. Если мы оставим Рейольва здесь, сколько человек откажутся следовать тогда за конунгом? И кто будет следующий, кого нам придется оставить?

Он лежит на шее лошади, позади него сидит Эрлинг сын Олава, в отчаянии он старается изобразить священника Симона, чтобы хоть немного развеселить больного. Но Рэйольв сейчас сражается при Рэ. За лошадью бежит Бальдр. За Бальдром идет мой добрый отец Эйнар Мудрый. За ним — я.

Среди бела дня конунг останавливается и говорит:

— Здесь мы разобьем лагерь.

Место открытое, мы выставлем дозорных, вражеским лучникам будет нелегко подкрасться к нам. Конунг собирает вокруг себя своих военачальников.

— Нам всем нужен отдых, — говорит он. — Завтра утром мы пойдем дальше.

И мы понимаем: к завтрашнему утру Рейольв должен поправиться, или он останется здесь. Разжигают большой костер, мой добрый отец Эйнар Мудрый руководит людьми. Жгут бересту, потом раскладывают овчинное одеяло и посыпают его горячей золой, оно чуть

не горит. Потом Рейольва раздевают до нага и заворачивают в эту овчину с горячей золой. Он кричит, но мой отец говорит, что жар золы должен очистить кровь от недуга. Козье молоко — ту каплю, что у нас еще осталась, — согревают горячими камешками, бросив их в сосуд с молоком. Отец зажимает Рейольву ноздри, откидывает голову и вливает молоко ему в горло. Он держит голову Рейольва, пока не иссякает последняя капля.

Костер пылает, приносят новую золу, Рейольва быстро разворачивают и заворачивают снова, свежая зола обжигает ему кожу. Он беспорядочно машет руками. Узнает нас, кричит, что мы черти и хотим сжечь его заживо. Вокруг больного и костра стоит кучка людей, все молчат. Эрлинг сын Олава из Рэ сидит в отдалении и плетет корзину из ивовых прутьев.

Я немного помогаю ему, он мне нравится и я не знаю, чем мне заняться. Но на сердце у меня тревожно, я оставляю корзину, зову Бальдра и мы уходим. Мне нужно увидеть конунга. Сказать ему мне нечего. Сверрир сидит один под деревом — сын скорби, тяжел твой удел. Подходит Бернارد и говорит конунгу:

— В таком случае я останусь с ним...

И больше ни слова, конунг кивает. Он знает, что любая строгость бессильна перед Бернардом.

— А теперь я пойду молиться, — говорит монах.

В темноте мы слышим его голос, он молится вслух. Нас охватывает странное, светлое нетерпение, вспыхивает надежда, крики Рейольва, когда его разворачивают и снова заворачивают в горячую золу, врываются в молитву. Мы слышим, что Бернارد начал истязать себя кнутом. Меня пугает, что благодаря истязанию можно обрести мужество. Я хорошо знаю Бернарда, теперь, годы спустя, я понимаю, что он верил, будто кнут способен выгнать из человека грех и заставить Всевышнего прислушаться к его молитвам. И он истязает себя. Значит, его снова мучает что-то, над чем он невластен: имени этому я не знаю. Многие назвали бы это страхом перед тем, что безжалостная рука дьявола окажется сильнее руки Бога. Бернارد ходит вокруг людей, которые следят за костром и заворачивают в золу больного Рейольва.

В хорошие часы голос Бернарда звучит приятно, теперь он почти кричит и кнут со свистом рассекает кожу на его обнаженной груди.

Мы сбились по несколько человек, кто-то закрыл лицо руками, старые, многоопытные люди прячутся под еловые ветки, чтобы хоть на мгновение обрести покой. Одна из лошадей, испугавшись чего-то вскидывается на дыбы. А Бернард из прекрасной страны франков взывает к Богу и, шатаясь, ходит в темноте вокруг нас, а кнут все свистит и свистит над его обнаженным телом. Бальдр начинает выть.

Моросит дождь. В костер подкидывают бересту, чтобы он не погас, нужна новая зола, снова и снова зола, усталые люди не спят всю ночь, и все время слышится голос и видится бледное, страдающее лицо человека, который в темноте ходит и ходит вокруг костра.

Конунг исчез. И я знаю, что он — конунг над этими изгоями, бывший священник, так и не закончивший курса латинской школы уважаемого епископа Хрои в Киркьюбё на Фарареских островах, — стоит сейчас где-то в темноте на коленях и молится, чтобы помочь Бернарду. О чем он молится? О силе? О способности ясно видеть и праведно судить? Или только молит Бога быть милосердным к Рейольву и ко всем нам? Не знаю. Но знаю, сегодня ночью конунг опять чувствует себя священником, слугой Божьим, тем Сверриром, которого я знал и который был намного счастливее этого.

Наступает утро. Конунг держит свое слово: мы собираемся покинуть лагерь.

Но Рейольву полегчало.

Настолько, что он сердится, когда Эрлинг сын Олава из Рэ приходит к нему с разжеванным мясом и говорит, что Рейольв должен его съесть. Рейольв ест мясо. Но ему стыдно, и он опускает глаза. Подходит конунг. Он говорит Рейольву:

— Ты сильнее многих из моих людей!

Легкий румянец гордости заливает бледное лицо недужного. Мы быстро седлаем лошадей. За ночь Эрлинг сын Олава из Рэ сплел корзину, которую вешает на спину лошади. В ней Рейольву будет удобнее сидеть, чем в седле. Вместе с Рейольвом должен сидеть Бальдр. Бальдр — умный пес. Он будет греть Рейольву ноги.

Нас ждет удачный день, в селениях, мимо которых мы проходим, нет лучников. Сверкает солнце, оно согревает и радует нас. Но мы почти не разговариваем друг с другом.

За лошадью с Рейольвом идут Эрлинг сын Олава из Рэ и мой добрый отец Эйнар Мудрый.

Последним идет Бернард. Он не смотрит на нас.



Вот что я помню о событиях в Ярнбераланде:

Я лежал на спине в сером весеннем вереске и не мог встать. Несколько дней и ночей мы шли по глухим шведским лесам, я ослабел от голода, каждый шаг давался мне с трудом. Сквозь забытие до меня донесся лай Бальдра, и я посмотрел в ту сторону.

Один из дружинников тащил какое-то бревно, найденное, по-видимому, в соседней усадьбе. Мне показалось, что это изображение Спасителя, и я приподнялся, чтобы приветствовать Сына Божьего. Но услышал голос своего отца:

— Тут живут язычники...

Измученный голодом, я не заметил разницы между языческим богом и Иисусом Христом, которому посвятил свою жизнь, когда епископ Хрои в Киркьюбё рукоположил меня в священники. Мне стало невыносимо стыдно, я снова опустился в вереск и почувствовал, как Бальдр лижет мне лицо, чтобы утешить меня.

Дружинники принесли еще несколько деревянных богов из тех, каким поклонялись жители Ярнбераланда. Они хотели сжечь этих идолов и предложили конунгу поймать несколько местных жителей и убить их. Конунг отказался:

— Мы возьмем только продовольствие, какое нам необходимо, и пойдем дальше.

Никто не возражал ему.

Из любопытства к нам подошел какой-то старик, должно быть, он был язычник и не верил в Сына Божьего и Деву Марию. Я встал и подошел к нему. Мне захотелось узнать поближе человека, которому вскоре предстояло сгореть в белом адском огне. Люди конунга один за другим подходили и рассматривали старика с чувством отвращения и страха. Он не понимал, что происходит, и, быть может, принимал все за выражение почтения к его возрасту и достоинству. Он приветствовал каждого, кто подходил к нему.

Кое-кто считал, что надо согнать всех местных жителей и крестить их, но конунг сказал, что на это у нас нет времени. Надо запастись продовольствием и идти дальше. Никто не возражал ему. Однако Бернард настоял, чтобы мы крестили хотя бы этого старика. Он сказал, что поход конунга через Ярнбераланд должен быть отмечен крещением хотя бы одного человека. Конунг с ним согласился. Как только старик был крещен и продовольствие собрано, мы снялись с места и пошли дальше. Один из дружинников рассказал нам историю, которую здесь услышал:

Много лет назад сюда пришел один священник и крестил здесь несколько бондов, но потом люди стали снова поклоняться своим старым богам. Один из крещенных священником был этот самый старик.

Я подумал:

А не смертный ли это грех крестить человека второй раз? Может, теперь Бернард и конунг будут гореть в белом адском огне, а этот старик, дважды крещенный и тем не менее хранивший у себя в усадьбе деревянного идола, будет сидеть у ног Спасителя? Кто мог мне ответить на этот вопрос? Я шел, погруженный в раздумья. Было пасмурно и туманно. Глухим лесам, казалось, не будет конца.

Но до сих пор мысль о том, что случилось в Ярнбераланде тревожит меня.



Вот что я помню о конунге и чуде:

Мы шли долго, еды у нас не было вовсе, в горах еще лежал снег, и те из нас, кто шел без башмаков, сдирали кору с берез, росших в долинах и распадках, и привязывали ее к ногам. От слабости мне по ночам чудилось, что луна начинает плясать по небу. Она плясала над горами так же, как Астрид плясала дома в Киркьюбё. Я никогда не видел, чтобы Астрид плясала нагая, но Сверрир-то должен был это видеть: Астрид была его любовницей и женой, он должен был это видеть. При мысли об этом у меня в душе шевелилась неприязнь к нему и когда кроваво-красная луна поднималась над горами, нагая и неумолимая в своей красоте, я видел, как Астрид, сбросив одежды, все до последней, нагая пляшет передо мной.

Мы спустились в долину и стали жевать там сосновые побеги. Никогда не забуду этот хруст — сотня или больше человек стояли на коленях в снегу или лежали плашмя и жевали сосновые побеги, а красная, нагая луна плясала над белыми горами.

Конунг подошел ко мне и сказал:

— Самое время, чтобы произошло чудо, правда, Аудун?



Вот что я помню о старой женщине и корове:

Высоко в горах нам попалась маленькая усадьба, мужчин в ней не было. На пороге дома стояла старая женщина, проходя мимо я осмелился взглянуть ей в лицо. Она смотрела на нас без ненависти, но в глазах у нее была глубокая скорбь, женщина была невозмутима, как деревянный идол, однако внутри у нее пылал огонь, от которого подрагивали уголки рта. Когда-то, наверное, она была красива. Она и сейчас еще была красива, в глазах ее блестела влага старости, на впалом животе были сложены большие руки, она молчала, исполненная достоинства.

Мы забрали ее корову. У нее была только одна корова.



Вот что я помню о первом человеке, которого мы потеряли:

В лесах водились лоси, и мы послали десять человек, чтобы они добыли мяса. Случайно я наткнулся на Кольфинна, в груди у него торчала стрела. Забросав его хвоей, я побежал к конунгу, он пришел, склонился над Кольфинном и выдернул стрелу. Это была наша стрела.

— Может, в него попали не нарочно, — сказал конунг.

— Конечно, не нарочно. Ведь застреливший Кольфинна не посмел заявить об этом убийстве.

Конунг сказал:

— Если мы скажем людям, что Кольфинн убил свой, все начнут подозревать друг друга.

— Можно сказать, что его задрал медведь, — предложил я. — И только убийца будет знать, что мы солгали.

— И будет нам благодарен, — подхватил конунг. — После этого мы сможем на него полагаться.

И он сделал то, о чем мне неприятно вспоминать до сих пор. Он несколько раз ударил труп топором.

Я привел двух дружинников, и они унесли труп Кольфинна. Когда люди собрались, конунг сказал, что мы нашли в лесу Кольфинна, его задрал медведь. Кольфинн был хороший человек, мы похороним его здесь, и Бернард отслужит по нем панихиду.

Больше я ничего не знаю о Кольфинне, берестенике, он тоже был из Рэ. Он был первый, кого мы потеряли.



Вот что я помню о конунге и чуде:

Нам предстояло перебраться через большое озеро, мы едва держались на ногах от усталости. Лошадей пришлось зарезать и бросить на берегу, взять их с собой мы не могли. Мы не ели уже два дня. Я думал: если бы это была не конина, если бы мы могли съесть всю эту гору мяса! Мы нарубили деревьев, связали несколько плотов и поплыли через озеро. Мы с конунгом плыли на одном плоту. Плот еле держал нас. Я стоял по щиколотку в воде и толкался шестом. По берегу кто-то бегал и кричал, это был парень, которого конунг пощадил, когда затоптал конем двух человек. Его звали Льот. Он кричал, чтобы мы взяли его с собой. Повернуть плот было невозможно, да он и не выдержал бы тяжести еще одного человека. Тогда конунг крикнул парню, чтобы он пустился вплавь. Тот так и сделал, но стал тонуть, конунг прыгнул в воду и втащил парня на плот. Он держал Льота за волосы. Когда Сверрир и сам забрался на плот, плот чуть не опрокинулся, я стоял уже по колено в воде. Конунг сидел на корточках и держал Льота за волосы, тот лежал на спине, так мы вместе с Льотом переправились через озеро.

На берегу лежали обессиленные люди, они были похожи на трупы, оставшиеся на поле сражения. Кое-кто отполз подальше в березняк, но ни у кого не было сил, чтобы собрать всех, развести огонь, срубить сосну и накормить людей хотя бы сосновыми побегами. Первый раз я видел, чтобы Сигурд из Сальтнеса так ослабел. Он ле-

жал на брата и грел его своим телом, Йон забрался в вереск, словно хотел в нем спрятаться.

Должно быть, я впал в забытье, когда я очнулся, рядом пылал костер. У костра стоял конунг. Мой добрый отец Эйнар Мудрый наклонился над двумя людьми, лежавшими в вереске и тихо шептал:

— Чудо!.. Случилось чудо!.. Мимо прошел конунг Олав Святой!..

Я снова заснул, и снова проснулся, услышав свист Бернардова кнута. Верхняя часть туловища у Бернарда была обнажена и вся в крови. Берnard кричал тем, кто лежал в вереске:

— Чудо!.. Чудо!.. Мимо прошел конунг Олав Святой!..

Люди стали передавать друг другу весть о чуде. Оказывается, плот с конунгом медленно тонул. Конунг стоял на коленях и держал Льота за волосы. Вдруг он поскользнулся и едва не упал в воду, и тогда все, кто был на плоту, утонули бы вместе с ним. И тут произошло чудо: конунг Олав Святой молча прошел по воде и вытолкнул плот на берег. И исчез. Как только конунг Сверрир ступил на берег, плот утонул. Конунг развел огонь, он нашел у Кормильца кресало. Сам Кормилец лежал в беспамятстве. Люди подползали к огню, силы возвращались к ним. Пришел Вильяльм и бросил нам охатку сосновых побегов, и все время, пока мы их жевали, мы слышали свист Бернардова кнута. Он ходил вокруг нас и кричал пронзительным голосом:

— Чудо!.. Чудо!.. Мимо прошел конунг Олав Святой!..

Сверрир, стоявший у костра, на фоне огня казался темным столпом. На другой день мы пошли дальше.



Вот что я помню о святом хлебе:

Мы пришли в маленькую усадьбу, там жил бобыль, он хорошо принял нас. Угостил лосятиной и хлебом, которого мы не ели уже давно. Хозяин рассказал, что он охотник: каждую зиму он забивал застрывших в снегу лосей, отвозил мясо на санях в селение и получал за него зерно. Муку он смешивал с корой. Прошлой зимой он остался один, умерла его проклятая жена. Она была не такой хорошей и послушной женой, как ему хотелось бы. Он отвез покойницу в селение, но не знал, заказать ли по ней панихиду и заплатить священнику лосятиной или лучше обменять лосятину на зерно. В конце кон-

цов он отдал священнику половину лося. Хозяин признался, что вскоре затосковал по жене, особенно потому, что хлеб у него никогда не получался такой вкусный, как у нее.

Мы похвалили его хлеб, и конунг сам проследил, чтобы каждому досталось понемногу. Первый раз за долгое время мы оказались в доме. Одни сгрудились у очага, другие пошли в хлев и устроились там. Вечером хозяин сказал, что ему всегда хотелось убить человека, и спросил у конунга, нельзя ли ему пойти с нами.

— Я часто убивал лосей, застрявших в глубоком снегу, — сказал он. — Я съезжал по склону на лыжах и всаживал в лося копье. Но теперь мне хочется узнать, есть ли разница между убийством лося и человека. А это я могу узнать только, если пойду с твоим войском.

Конунг сказал, что с радостью принимает его. Хозяина звали Халльвард. Мы дали ему прозвище: Губитель Лосей.

Пришел Кормилец и попросил, чтобы Халльвард объяснил ему, почему его хлеб такой мягкий и вкусный. Халльвард сказал:

— Кору надо нарезать тонкими полосками и высушить их на солнце или в бане. Потом нужно ее раздробить, смолоть и долго мочить в кадке. Многие не вымачивают кору достаточно долго, и в этом их ошибка. Когда кора вымокнет, ее надо снова высушить и уже тогда смешать с мукой, если она есть. Ну, а потом останется развести тесто и испечь хлеб на горячем камне. Но не забудь смазать камень бараньим салом.

— Это хорошо делала моя хозяйка, — сказал Халльвард. — И если уж говорить правду, мне ее не хватает. — Он огляделся по сторонам. — Мне и хочется уйти отсюда и попробовать, смогу ли я убить человека, только потому, что ее больше тут нет.

Кормильцу потом пригодилось все, чему его научил Халльвард.



Вот, что я помню о молодой женщине и ее сыне:

Мы подошли к маленькой усадьбе, она горела. Людей мы не видели, только следы лошадей, и мы поняли, что здесь побывали грабители, — они подожгли усадьбу и скрылись. Неожиданно из огня, качаясь, вышла молодая женщина с новорожденным ребенком на руках. На дворе она упала, показала нам на ребенка и умерла.

Должно быть, она хотела, чтобы мы взяли ребенка с собой, мы так и сделали. Мы не знали, есть ли у ребенка имя, но стали называть его Спасенным, потому что спасли его. Это был мальчик, мы оставили его у местного священника и наказали ему как положено воспитать ребенка.

Священник получил от конунга серебрянную монету и в благодарность благословил нас.



Вот что я помню о Сверрире, конунге Норвегии:

Священник благословил нас, и мы ушли. Сверрир на ходу напевал старинную шуточную песню, которую пели у нас дома в Киркьюбё. Я сказал ему:

— Я часто думаю о море, оно бывает такое спокойное и корабли легко плавают по нему, хотя оно и бесконечно. Мы не всегда помним о том, что море не разделяет, но соединяет людей, и мы забываем, что дорога домой короче, чем нам кажется.

— Да! — сказал он.

— Я знаю, ты хочешь привезти сюда Астрид и сыновей. Это правильно, Сверрир, и не думаю, что их ждет здесь опасность. Когда власть в этой стране будет принадлежать тебе, им ничто не будет здесь угрожать.

— Да! — сказал он.

Я сказал также, что, если он будет проявлять милосердие, когда возможно, это укрепит его славу доброго конунга и тогда никто не станет подстергать его в темноте с топором за углом дома.

— Ты прав! — сказал он радостно и благодарно.

Даже радуясь, Сверрир всегда оставался серьезным: ему в удел досталось горе и потому он часто давал пощаду врагам.



Нынче ночью, йомфру Кристин, когда темнота тяжело опустилась на снег и где-то там однорукий Гаут и Сигурд ведут каждый свою борьбу, мои мысли возвращаются к тем дням и ночам, когда конунг Сверрир вел своих людей из Хамара в Нидарос. У конунга

была одна цель: пройти незамеченным. Удача и неудача, жизнь и смерть зависели от того, сумеем ли мы неожиданно напасть и захватить этот город. Мы были выносливы и безжалостны, и темные дороги научили нас двигаться бесшумно. Среди нас было много умных людей. И самый умный был конунг.

Наконец мы пришли в Ямталанд. Норвежские конунги уже давно заявляли свои права на эту землю, но бонды там были упрямы и не желали платить дань конунгам, которых не считали своими. Проводник, шедший с нами из Хамара, предупредил нас, что скоро мы выйдем к большому озеру. Он так и называл его — Большое, там мы сможем раздобыть лодки и плыть целый день, чтобы дать отдых ногам. Мы поднялись на гребень холма, — день был ясный и земля изумительно красива, перед нами, насколько хватал глаз, тянулись леса и из редких усадеб в голубое небо поднимались дымки, словно тропинки, ведущие отсюда к Сыну Божьему, — но оттуда, сверху, мы увидели, что на берегах озера Большого какие-то воины жгут костры. Если мы и дальше пойдем той же дорогой, наши топоры скоро обогрятся кровью.

— Йомфру Кристин, помнишь я рассказывал тебе о горящей усадьбе и о женщине, выбежавшей из огня с ребенком на руках? Теперь мы поняли, кто поджег ее усадьбу. Это были люди Эрлинга Кривого.

— Господин Аудун, позволь спросить — ведь я всего только женщина и почти не видела схваток между мужами, но зато много слышала о них. Должно быть, ты в первый раз взялся за оружие, зная, что если не убьешь ты, убьют тебя? Что ты тогда чувствовал, господин Аудун?

— Йомфру Кристин, позволь сказать тебе, что, если в саге говорится только о мужестве мужей, мое уважение к правдивости рассказчика сильно уменьшается.

— Господин Аудун, мне кажется, что твое неуважение к тому, что уважают другие, часто выходит за рамки учтивости. И вместе с тем, тебя нельзя назвать неучтивым человеком.

— Это, йомфру Кристин, наверное, объясняется потребностью в правде, которую испытывает человек, всегда проявляющий учтивость. Правда — единственное, к чему я неизменно чувствую уважение.



Конунг Сверрир, Сигурд из Сальтнеса и я лежали на гребне холма и наблюдали оттуда за воинами, расположившимися на берегу озера. Возле мыса у них стояли три большие лодки, и мы поняли, что если нападём на них, они легко уйдут от нас на этих лодках. И тогда нам, быть может, придется сражаться с ними здесь в окрестностях много дней или даже недель. Поэтому сперва нужно было уничтожить лодки, а уж потом напасть и не оставить в живых ни одного человека.

Когда стемнело, Сверрир разбил людей на небольшие отряды. Он ходил от одного отряда к другому и тихо говорил с людьми. Каждый должен приготовить оружие и знать, что он сражается не только за себя, но и за весь свой род, и за Олава Святого, который не отделяет своего дела от нашего. Всем, кроме конунга, было запрещено разговаривать. Сто или больше воинов укрылись в вереске и молча молились, все, как один человек. Но нам было необходимо развести огонь. Мы выбрали южный склон, он смотрел не на озеро. Там стояла одна усадьба, мы загнали бонда и его семью в дом и заперли на засов. Теперь, увидев дым, наши недруги решили бы, что он поднимается из усадьбы. Мы взяли в доме большой котел, положили в него горящие угли и прикрыли их торфом. Сверху на котел положили щит. Наш новый друг Халльвард Губитель Лосей, отличавшийся недюжинной силой, вызвался нести его. В заплечном мешке у него была смола и хворост. С ним шел Сигурд из Сальтнеса. Они дождались полночи и ушли.

Конунг снова ходил от отряда к отряду и напоминал воинам, что между полуночью и рассветом люди спят особенно крепко, поэтому мы и должны бодрствовать. Я лежал на спине и смотрел на бледное звездное небо над лесом, мысли мои были в Киркьюбё. Время от времени в животе у меня что-то сжималось и меня начинало рвать. Тогда я быстро переворачивался на живот, прижимался ртом к вереску и старался не издать ни звука. Когда я снова поднимал глаза к звездам, мне казалось, что высоко в воздухе между Богом и мной я вижу лицо моей матери. Может быть, по щеке у меня скатилась слеза, не знаю, это было уже очень давно и, думаю, мне позволено умолчать о своей слабости, даже такой ночью, как эта. Помню только,

что мне хотелось оказаться далеко оттуда. Сильнее, чем когда-либо, мне хотелось быть вдали от путей конунга Сверрира. Лежа там, я жалел, что не отказался покинуть Киркьюбё, когда Сверрир уехал оттуда, что не остался там одним из священников при епископе Хрои. Но я был там, где был.

Сердце у меня громко стучало, и я пробовал считать эти удары, чтобы составить себе представление о времени и рассчитать, где сейчас Сигурд и Халльвард. Однако мне было трудно собраться с мыслями. Я никого не видел, я остался один в этой прозрачной темноте под звездным небом и со мной была моя судьба, моя удача или неудача. Пока еще ничего не произошло.

Я успел сказать себе: Ты не здесь!.. Ты дома, в Киркьюбё, ты спишь и еще не проснулся, встань, выпей доброго пива и плесни в лицо холодной водой...

Тогда послышался крик, и мы увидели: по воде плывет костер. Должно быть, это плыла горящая лодка. Снова послышался крик, мы вскочили и бросились к озеру.



Пока мы были далеко от врагов, мы молчали, а потом издали дружный вопль. Люди ярла Эрлинга кинулись к воде, чтобы спасти лодки, кто-то вбежал в воду, многие забыли захватить с собой оружие. Я вижу впереди спину недруга, прыгаю на него и тут же кто-то бьет его топором. На меня хлещет его кровь, я перешагиваю через него и бросаюсь в орущую толпу. Замечаю, что меня окружают. Я отскакиваю назад, кто-то с поднятым топором загораживает мне дорогу, я бью его в пах, он вопит и корчится. Теперь другой метит в меня топором, но топор свистит мимо, я вскидываю меч и чувствую, как он входит во что-то мягкое. Раздается крик, и на меня опять хлещет кровь, заливает мне глаза и я ничего не вижу. Я потерял направление, вокруг меня оружие враги, их гонят в озеро наши люди. Я бросаюсь за ними и оказываюсь по пояс в воде, передо мной в воде стоит человек и что-то кричит мне, я не слышу, может быть, он просит пощады, может быть, он ранен в живот, этого мне не видно. Я рублю его топором между глаз. Он погружается в воду, а я выскакиваю на берег.

Конунг на берегу. Он бежит и подбадривает людей. Всякий раз оказывается там, где больше всего нужно его слово, но он держится позади своих людей и дорога к отступлению ему все время открыта, он храбр, но мудрость велит ему проявлять сдержанность. По озеру плывут три горящие лодки. Передо мной мелькает покрытое копотью лицо Сигурда, он идет по кромке озера и тащит за волосы раненого. Сражение окончено. Многие утонули, многих зарубили. Но кто-то говорит, что двое сбежали.

В сером предутреннем свете мы видим двух человек, плывущих по озеру в маленькой лодке, они гребут так, что из-под носа лодки летят брызги. Должно быть, Сигурд и Халльвард не заметили в темноте этой лодки.

— Они попадут в Нидарос раньше нас, — говорит конунг.

Я кидаюсь в вереск, чтобы перевести дыхание. Не знаю, что я тогда испытывал, гордость или стыд, первый раз вокруг меня лежали убитые и, может быть, в последний раз мне было их жалко.

Вильяльм со своими дружинниками вытаскивает трупы на берег, чтобы пересчитать. Но считать умеют далеко не все.

Халльварду Губителю Лосей в тот день не было удачи. Как я уже говорил, он присоединился к нам, чтобы получить возможность убить человека, но это ему не удалось и он чувствовал себя обиженным.

Подошел Бернارد и начал отпевать покойников.

Двое из наших тоже погибли, в том числе наш проводник из Хамара, закончивший здесь свою бедную жизнь. Еще один получил рану в живот, он лежал на боку и мой добрый отец Эйнар Мудрый пришел узнать, нельзя ли ему помочь. Из живота у раненого висели кишки, это было страшное зрелище. Когда отец отвернулся, раненый схватил меч, приставил острием к себе и упал на него.

Пришел Бернارد и стал отпевать уже этого покойника.



Вот что я помню о человеке, который учился считать:

Я хорошо помню, как познакомился с загадками чисел в нашем сложенном из камня доме в Киркьюбё. Мой добрый отец Эйнар Мудрый научил меня цифрам — мы двигали по столу блестящие

камешки, а мать суежилась по хозяйству. Потом искусство считать я постигал на дощечке отца, покрытой воском, ведя борьбу иногда с кривыми, а иногда и с ровными рядами цифр. Тут вокруг груды тел ходил какой-то человек и пытался сосчитать их, мне он был неизвестен и почему он считал их, я тоже не знаю. Порой он ворошил мертвых, чтобы проверить, один труп там лежит или два. Но они были тяжелые, к тому же все время туда приносили новые тела и бросали в общую кучу, тогда ему приходилось считать заново. У него было крупное, немного глуповатое лицо, на котором было написано любопытство, грудь была залита кровью, скорей всего не его собственной. Сосчитав до десяти, он клал десять камешков на большой валун, лежавший на берегу.

Это были его счета и его костяшки на них. Я встал и пошел к озеру, чтобы помыться. Но ветер дул с озера и вода была грязная от ила и крови. Я не стал мыться, поднялся на берег и сел под елью.

Человек, считавший мертвых, подошел и сел рядом.

Я ушел от него.



В этой битве мы захватили несколько пленных, почти все они были сыновья бондов из Ямталанда. Их заперли в овчарне, и я решил взглянуть на них. Оружие у них отобрали, и наши дружинники заставили их обнажить верхнюю часть туловища. Многие из них были совсем юные. Один так и вовсе ребенок, он был ранен в шею и из раны у него текла кровь. Стражи забавлялись, бросая в пленных камни и заставляли их бегать по кругу. Пленные повиновались.

Я недолго смотрел на них, к овчарне все время подходили наши люди и мне не нравились их разговоры: все, как один, считали, что пленных следует зарубить прежде, чем мы пойдем дальше. Иначе они доставят нам много хлопот. Как правило, воины не любят убивать пленных, но некоторым это доставляет удовольствие.

Перед уходом я слышал, как один из пленных попросил воды. Он дал стражу свои башмаки, чтобы тот спустился к озеру и принес воды. Страж сбросил с ног бересту — теперь у него были башмаки получше.

Вокруг пленных собралось много народу, и я ушел оттуда. Одно слово конунга могло означать для этих несчастных жизнь или смерть, думал я.

Одиночество конунга тяжелее, чем нам кажется.



Вот что я помню о Вильяльме, предводителе ближней дружины:

Вечером после битвы на озере Большом пленные еще находились в овчарне, к ним приставили новых стражей. С соседних усадеб неслись пьяные крики, я знал, что бонды позапирали своих дочерей, но это им не помогло. На тропинке, ведущей вдоль озера, я встретил Вильяльма.

Он был пьян, это я сразу понял, глаза у него налились кровью, он презрительно смеялся надо мной за то, что я не добыл себе женщину. Надо сказать, йомфру Кристин, что касается женщин, моя добыча всегда бывала более чем скромной, запах крови, засевший в носу после сражения, лишал меня радости победы, которая делает мужчину сильным. Но Вильяльм с его ранением в пах был навсегда лишен радости, которую другие получали пусть даже и силой. Он остановил меня на тропинке и сказал:

— Ты трус.

Я согласился с ним по двум причинам: во-первых, в этом была доля правды, а во-вторых, я решил, что этот ответ заставит его уйти от меня. Но он не ушел. Он сказал:

— Вы оба трусы... Я знаю, о чем вы думаете...

Я взял его за плечо и повернул к себе:

— Идем со мной, Вильяльм, — сказал я. — Нам надо поговорить. Ты умеешь хранить тайны? После такого сражения, как это, я не в состоянии обладать женщиной. Понимаешь?..

Я хотел признаться ему в своем позоре, чтобы он перестал думать о своем. Хотел, чтобы он считал себя сильнее меня и чтобы это смягчило его отношение ко мне. Ведь я понимал ход его мысли, понимал, почему он обвинил конунга и меня в трусости.

Но он не дал провести себя.

— Их надо зарубить. — Он смотрел на меня с презрением и с ненавистью.

Он смотрел мне в глаза и злобно смеялся, я пошел дальше, но он не отставал от меня и не позволял мне говорить о чем-нибудь другом, кроме пленных.

— Даже если конунг скажет — нет, мои люди все равно зарубят их, — заявил он. — Я так хочу...

— Ты трус, — сказал он.

Я молчал.

Мы были недалеко от овчарни с пленными, он потянул меня туда. Некоторые пленные спали, лежа на земле, другие дремали, свесив голову между колен. Он крикнул им:

— Мы вас зарубим!..

Я ушел от него, чувствуя у себя за спиной запах пленных: злой запах страха и блевотины.



На другой день я увидел, что Бернард и мой добрый отец Эйнар Мудрый стоят перед конунгом и что-то говорят ему. Конунг сидел на пне, солнце светило ему в лицо, я был слишком далеко и не мог слышать, о чем они говорят. Я видел опущенные плечи Бернарда, его усталое лицо и прижатые к груди руки. Отец что-то чертил башмаком на песке. Они не спорили, но конунг выглядел смущенным и я понял: в это мгновение он жалел, что отказался от мысли уплыть в Йорсалир, а предпочел стать конунгом и отправиться в Нидарос. Я не стал прерывать их разговор. Когда они расстались, вид у всех был мрачный.

Тогда я подошел к конунгу и сказал:

— Тебе в удел досталось горе, и потому ты пощадишь их.



На другой день к нам пришли бонды, отцы, они хотели поговорить с конунгом. Я говорю отцы — они были пожилые, седовласые, некоторые хромали, опираясь на костыль. Наверное, многие приходились дедами тем парням, которых мы взяли в плен, они просили конунга пощадить их детей. Старики остановились невдалеке от усадьбы, где находился конунг, и размахивали белым полотнищем,

показывая, что намерения у них мирные. Дружинники хотели прогнать их, но конунг вышел и поговорил со стариками.

Он сказал им, что нельзя безнаказанно сражаться против конунга этой страны и что ничего обещать им он не может.

— Возьми вместо них наших работников, многим из них давно хочется покинуть эти места, они будут верно служить тебе. А сыновей верни нам.

Конунг поблагодарил их за такое предложение, но опять повторил, что обещать ничего не может.

— Приходите завтра в полдень и вы узнаете мое решение.

Они поблагодарили его и ушли. Поговорить с сыновьями им не разрешили.



На другой день Вильяльм пришел к конунгу и сказал:

— Выбирай, или я или пленные. — Обычно мы все разговаривали с конунгом стоя, Вильяльм же уселся на табурет и плюнул в очаг. — Им нет места в наших рядах, — продолжал он. — Ты знаешь, дружинников у нас мало, а дела у них много, неужто ты хочешь, чтобы они теперь еще и охраняли пленных и отвечали за них? И я и мои люди отказываемся от этого. Даже если пленные поклянутся тебе в верности, это ничего не изменит. Оставлять их здесь тоже нельзя. Я участвовал в сражениях задолго до того, как ты объявил себя конунгом, я знаю врагов лучше, чем ты. Если тыпустишь их на свободу, они прямиком отправятся в Нидарос и придут туда раньше нас. Я не боюсь встретиться с врагом в бою. Но мне не хотелось бы погибнуть из-за чужой глупости.

Конунг сидел в конце стола, я видел, что он устал. Он промолчал, выбирая перья для письма, потом начал точить их ножом. Вильяльм был красноречивый человек и рассудительный, хотя глубиной мысли не отличался, он был некрасив и упрям. Конунг был старше его.

Вильяльму не понравилось молчание конунга, он начал распалаться. Я не знал тогда, не знаю и сейчас, молчал ли конунг потому, что хотел как-то использовать гнев Вильяльма, или просто не знал, что ему ответить. Я знал Сверрира достаточно хорошо и не сомневался, что он мог бы найти достойный ответ. Он мог бы сказать:

Если мы сохраним им жизнь, они станут лучше к нам относиться! Молва о нашей доброте опередит нас, и многие еще подумают, прежде чем напасть на нас, и, может быть, откажутся от борьбы. И в темноте нас будут поджидать не затем, чтобы убить, а чтобы оказать нам дружескую встречу. А мог бы и просто сказать своим зычным голосом: Я пощажу их потому, что такова воля Божья. Но ничего этого он не сказал.

Я никогда не видел его таким усталым, спавшим с лица, сторбившимся.

Вильяльм тоже обратил на это внимание, он продолжал говорить. В его голосе, раньше дрожавшем от гнева, теперь звучало презрение.

— Вот оружие! Я хочу испытать его на пленных! — с торжеством сказал он.

Но конунг молчал.

В голосе Вильяльма опять послышалось сомнение и недовольство, которое вот-вот могло обернуться безудержным гневом. Заикаясь, он заговорил о трусости, правда, не глядя на конунга и не смея произнести вслух его имя. Моего имени он тоже не называл, но смотрел на меня. Он сказал:

— В окружении конунга есть люди, которым там нечего делать, и если ты, Сверрир, хочешь, чтобы на Эйратинге тебя провозгласили конунгом, тебе стоит последовать совету людей, которые легко переносят запах крови. Иначе мы уйдем от тебя, — заключил он.

— Уйдете?.. — спросил конунг. Он поднял глаза, спина у него ссутулилась еще больше.



Тут пришел Сигурд. Он всегда был приветливей брата, и я знал, что Вильяльм больше доверяет его суду, чем своему собственному. Мне стало ясно, что, если Сигурд согласится с конунгом, Вильяльм уступит, а вместе с ним и его дружинники. Если же Сигурд поддержит Вильяльма, то все воины пойдут за Сигурдом. Конунг лишится силы, как предводитель, оставшийся без войска, или же ему придется уступить своим людям и обречь пленных на смерть.

Сигурд сказал:

— Мы не можем взять их с собой. Ты должен это понять, государь!..

На губах Вильяльма появилась безобразная усмешка, он быстро повернулся к брату и засмеялся, бросив на Сверрира презрительный взгляд. Сверрир по-прежнему сидел спокойно. Я никогда не видел его более усталым и грустным.

Вильяльм спрашивает:

— Чья воля, конунг, твоя или наша?..

Тут конунг вскакивает, вопит и бросается на них, Вильяльм полуболаживает меч, Сверрир бьет его по лицу. Вильяльм падает, конунг топчет его ногами. Потом поворачивается к Сигурду, Сигурд отступает на два шага, он не хватается за оружие, открыв рот, он застывает перед конунгом и принимает то, что ему положено. Мне случилось видеть Сверрира в гневе, но таким — никогда. Вильяльм встает и отступает перед потоком слов, они несутся, как ручей в половодье в нашем родном Киркьюбё. Я с гордостью думал, что и в таком положении Сверрир сохранил ясность мысли. Он разил их, безжалостно разил презрением. Но он не противоречил самому себе. Думаю, что даже тогда его охваченная жаром душа хранила ледяной холод: он знал, что делает. Сперва он приказывает Сигурду встать у двери и никого не впускать в покой. Сигурд повинуется. Конунг срывает с себя меч и швыряет его на стол, потом приказывает Вильяльму отдать свой и забирает его. Препоясавшись мечом предводителя дружины, конунг продолжает кричать, с его губ слетают слова, горячие, словно раскаленные камни из глубины земли, о которых рассказывают исландцы и которые могут убить человека. Он взрывается:

— Вон! — вопит Сверрир.

Они отступают.

— Назад! — орет он.

Они возвращаются. Он берет себя в руки и тихо произносит:

— Это останется между нами, Аудун тоже будет молчать.

Я вижу в их глазах благодарность: проученные псы, теперь они не подадут голоса, пока хозяин им этого не позволит.

Конунг говорит, и его слова заставляют вздрогнуть даже меня:

— Я еще не сказал своего слова, останутся ли пленники жить или умрут. Но только конунг, только он один властен над жизнью и смертью. Ну?.. — орет он.

— Только конунг, — повторяют они.

И уходят. Теперь они выглядят иначе.

Тем временем два дружинника привели на двор нового пленника, найденного на кладбище. Он переоделся женщиной, решив, что женское платье спасет его. Это предводитель того отряда, который мы недавно разгромили. Мы смотрим на него и узнаем нашего со Сверриром недруга, человека, из-за которого нам пришлось покинуть Киркьюбё и отправиться в страну норвежцев — сборщика дани Карла.



Вот, что я помню о сборщике дани Карле:

В свое время он приехал в Киркьюбё и взял там заложников. Сверрир вступил в перебранку с одним из его людей и убил его, из-за этого нам с ним пришлось сняться с места и отправиться за море в Норвегию. Сборщик дани был плохой человек. В молодости он надругался над Гуннхильд, матерью Сверрира, и его люди отрубили руку самому кроткому человеку, какого я видел в своей жизни, — строителю церкви Гауту. Ты тоже знаешь его, йомфру Кристин.

Сборщик дани стоял во дворе усадьбы. Мы знали, что он главный из людей ярла Эрлинга в Нидаросе, теперь он ездил по Ямталанду и собирал с людей дань. Он являл собой нелепое зрелище в женском платье, натянутом поверх доспехов, руки у него были связаны за спиной, два зуба выбиты.

Он узнал Сверрира.

Радости ему это не доставило.

На дворе собрались все воины, они смеялись, вид сборщика дани развеселил их. Вчерашние старцы тоже стояли тут, они пришли в полдень, чтобы узнать ответ конунга Сверрира.

Я подошел к сборщику дани и заглянул ему в глаза. Сочувствия я к нему не испытывал, как и он добрых чувств ко мне.



Сверрир взошел на каменный приступок крыльца и обратился к людям, собравшимся на дворе. Он сказал, что человека, стоящего перед ними, не отнесешь к лучшим.

— Я мог бы привести вам много примеров, но хватит и одного: когда-то давно он надругался над моей матерью. Я говорю вам: он надругался над моей матерью. Он взял заложников в моем родном Кирккюбё и увез их в Норвегию. Вы знаете, что он и его люди сражались с нами. У этого человека не такая душа, какие Господь завещал нам беречь. Поэтому мы повесим его. А мужам, что сидят в загоне, нашим пленным, не знаю, можно ли называть их мужами, ибо у большинства из них еще молоко на губах не обсохло, мы сохраним жизнь, если они поклянутся конунгу никогда больше не поднимать против него оружия. Буде они нарушат свою клятву, мы порубим и их самих и всех их родичей.

Старые отцы подходят к конунгу, пожимают ему руку и благодарят его за эти слова:

— Мы сдержим свое обещание и пошлем взамен столько же наших работников, — говорят они. — Но сборщика дани Карла надо повесить, он плохой человек. Он повесил одного из наших сыновей возле церкви, теперь повесь там его самого.

Конунг обещал, что так и сделает, и велел Кормильцу угостить стариков пивом, которое мы у них же и забрали.



Сборщика дани Карла повели вешать, и все пошли смотреть на это. Пленных уже отпустили, и они тоже потянулись к церкви, хотя им было неприятно идти вместе с нами. Конунг поручил Вильяльму руководить казнью, это был правильный выбор. Вид у сборщика дани был угрюмый.

Возле церкви на дереве висел человек, он висел там уже несколько дней. Этот бедняк посмел усомниться в доброте сборщика дани, и сборщик дани приказал повесить его, дабы убедить в своей доброте. Наши люди немного повздорили из-за того, срезать ли повешенного перед тем, как они повесят Карла, или после. Но Вильяльм решил, что Карлу перед смертью будет полезно поглядеть на повешенного. Теперь его называли просто Карлом. Кто-то крикнул, что с Карла следует снять женское платье. С этим Вильяльм не согласился:

— Карл всю жизнь был трусом, пусть и умрет как трус, — сказал он.

Тогда из толпы выступил какой-то бонд и сказал, что платье принадлежит его жене. Наверное, Карл украл его, когда бежал с поля сражения

— Ты получишь платье после того, как Карл будет повешен, — пообещал Вильяльм.

— Случается, что повешенный обгадит платье, — сказал бонд. — Будет несправедливо, если моей жене вернут платье, обгаженное сборщиком дани.

С этим Вильяльм не мог не согласиться.

С Карла содрали платье, он не сопротивлялся, теперь он стал покладистым. Вильяльм сказал, что у берестеников плохо с одеждой и потому с Карла следует снять и мужское платье — его можно подарить тому, кто в сражении проявил большую храбрость. Это было хорошее предложение, я взглянул на конунга: он был в сомнении, но людям понравилось предложение Вильяльма и было бы глупо идти против этого. Карлу сообщили, что он окажет берестеникам честь, если отдаст и свое платье, чему он тут же повиновался. В конце концов он остался в исподних штанах — о существовании таких штанов берестеники знали только понаслышке, еще немного, он остался бы и без них. Все смеялись.

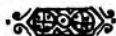
Конунг сделал знак, чтобы Карлу оставили исподние штаны. Через ветку дерева перекинули веревку, сделали петлю на глазах у Карла, и Вильяльм попросил его взглянуть на человека, который уже висел там. Наступило решающее мгновение. Вильяльм набросил на Карла петлю и сказал, что Карлу повезло — сейчас он испытает на себе то, что по его милости испытало столько хороших людей.

— Найдется среди вас два сильных парня? — крикнул Вильяльм людям.

Охотников нашлось больше, чем нужно, и Вильяльм выбрал двоих, на его взгляд, наиболее подходящих.

Карла вздернули. Он умирал медленно.

Ночью конунг пришел и лег спать вместе со мной.



Рано утром мы собирались покинуть озеро Большое в Ямталанде и продолжить свой многотрудный поход в Нидарос. В синем предут-

реннем свете мы седлали на берегу лошадей и собирали свое добро, брань и ругань смешивались с пением птиц. Мы с конунгом вышли на двор усадьбы, где провели ночь. Попрощались с хозяином и поблагодарили его за гостеприимство, оказанное нам в эти дни.

Тогда пришел Гаут.

Да, он появился и здесь, этот однорукий человек, с которым наш путь пересекался и на Оркнейских островах, и на Селье, и в Тунсберге. Наш друг, но в каком-то смысле и недруг, он всегда пробуждал во мне необъяснимую тревогу, над которой я был не властен. Его болезненное лицо требовало и призывало прощать всех, и конунга и раба он одинаково ставил ниже себя, и в то же время — выше. Лишь перед одним он тяжело склонял голову и молчал — перед Богом. Не раз я смотрел на Гаута и мне хотелось или поцеловать его или унижить, плюнув ему в лицо. Но никогда, йомфру Кристин, я не сделал ни того, ни другого.

Гаут стоял на дворе. Он сердечно приветствовал нас, а мы — его. Он сказал, что пришел в Ямталанд, чтобы поставить тут небольшую церковь, услышал о нас и пришел сюда. Он сказал:

— Благодарю тебя, Сверрир, что ты пощадил своих врагов!

Конунг ответил, что это не стоит благодарности:

— Как конунг, я имею право освобождать пленных, и мой долг, долг одной из малых свечей на алтаре Божьем, пытаться познать хоть частицу правды о всемогущем Сыне Божьем и Деве Марии.

— Ты сказал мудрые слова, государь. Но ты велел повесить сборщика дани Карла?..

Должно быть, Сверрир уже догадался, к чему клонит Гаут, Гаут был находчив, но и Сверрир не страдал отсутствием находчивости. Он дал себе время объяснить Гауту, почему пришлось вынести сборщику дани смертный приговор.

— Он был плохой человек, Гаут, ты это знаешь, и я тоже знаю. Но главное, что, останься он в живых, он принес бы еще больше зла. Я стоял перед выбором — таков долг конунга. И выбор был один: либо лишить жизни сборщика дани, либо допустить, чтобы лишились жизни многие люди. Я уважаю данный тебе Господом особый дар — умение творить добро, но одна из обязанностей конунга состоит в том, чтобы наказывать зло. Поэтому моя ноша тяжелее твоей.

Гаут поблагодарил конунга за эти слова и сказал, что острота честного языка полезна для нечестной души.

— Однако, государь, — продолжал он, — мне бы хотелось когда-нибудь увидеть, что ты не пожалел доброты для человека, который причинил тебе зло, — это было бы достойное испытание для величия конунга. Могу ли я высказать тебе одну просьбу, государь?

— Можешь, Гаут. Серебра, правда, у меня маловато, а оружие тебе ни к чему. Но скажи, чего ты просишь?

— Я прошу у тебя тело сборщика дани Карла. Я хочу забрать его и молиться за его душу, ибо никогда не встречал более злобной души.

Сверрир тут же ответил, что велит срезать тело Карла и отдать его Гауту. Но Гаут не согласился с этим — он должен сам срезать Карла, должен испытать все связанные с этим трудности, он увезет его на санях по голой земле, дабы испытать на себе, что значит молиться за душу врага.

— Ибо что такое молитва, государь? Разве достаточно преклонять колена и произносить высокие слова за здоровье ближнего, думая в то же время о своем собственном? Нет, нет, истинная молитва — это когда молящийся, будь это ты или я, готов пройти через страдания ада, ждущие того грешника! Позволь признаться в моем тайном умысле: я хочу получить награду, молясь за своего врага...

Мы со Сверриром понимали Гаута. Этот однорукий человек с измученным лицом, единственный, из всех, кого я знал, открыто излагал свою суровую правду перед всеми, в том числе и перед конунгом, — он мечтал, что его отрубленная рука однажды вырастет снова. Ведь он, как и все мы, слышал рассказы священников о том, что, если всемогущий Сын Божий захочет, Он протянет палец и заставит отрубленную конечность вернуться на свое место. Но кто этому верил? Гаут верил, он верил, что, если будет следовать своим путем без оглядки на силу и честь, если будет прощать всех, причинивших ему зло, его рука вырастет снова и станет прежней.

Когда мы тронулись в путь, мы прошли мимо дерева, на котором еще висел сборщик дани Карл. Гаут пытался снять его. Он махнул нам рукой.

Да, мы снова тронулись в путь!

— Господин Аудун, позволь спросить: кого ты считаешь из них более сильным: того однорукого человека или моего отца, у которого обе руки были целы?

— Йомфру Кристин, если бы я мог ответить на этот вопрос, я разрешил бы самую большую загадку, с какой сталкивается человек, и приоткрыл бы тебе частицу сердца Господня.



Немного сохранилось в моей бедной памяти о нашем походе из Ямталанда в Нидарос. Только то, что он был очень тяжел, ноги у меня отекали и во рту я чувствовал привкус крови. Дни без еды, ночи без сна, все вперед и вперед, мы шли наперегонки с временем, состояжаясь с молвой, которая, как мы знали, могла опередить нас и первой дойти до Нидарос, молвой о том, что туда идут воины.

Нас было немного, йомфру Кристин. Хагбард Монетчик ушел из Хамара в Теламёрк с вестью к тем берестеникам, которые бежали туда после поражения при Рэ. Конунг просил их встретить его между Доврафьяллем и Нидаросом за две недели до дня Йона. Но соберутся ли они и придут ли, когда их помощи просит новый конунг? Мы со Сверриром беседовали об этом. Он сказал:

— Люди приходят ко мне и спрашивают. И я говорю им: Я уверен, что теламёркцы придут! Конунг Олав Святой сказал мне это. Но, честно говоря, Аудун, я не знаю.

И тут мы увидели Нидарос.

Он лежал перед нами, этот город, о котором мы, из Киркьюбё, знали только понаслышке, город, где в Эйраре, местечке в устье реки Нид, собирался Эйратинг, на котором, руководствуясь законом и волей народа, провозглашались конунги Норвегии. Мы увидели церковь Христа, великолепную, огромную церковь, построенную архиепископом Эйстейном, она купалась в солнечном свете, подернутая легкой дымкой. Эта церковь была похожа на звезду Господню над нашей мрачной землей.

Сверрир сказал:

— Через Нид переправляются воины...

Мы стояли на гребне холма, солнце светило нам в глаза, мы смотрели на воинов, переправлявшихся через Нид. Их были сотни, много сотен, мы долго смотрели на них и молчали.

Нам стало ясно, что молва о конунге Сверрире и его людях определила нас. А также, что смерть, друзья и враги приблизились к нам.

В ту ночь среди наших людей прошел слух, который мог оказаться роковым для конунга и для всех нас. Потом я убедился, что подобные слухи возникали обычно, когда нам бывало особенно трудно и нас поджидала смерть. Этот слух передавался от человека к человеку, пока мы лежали в лесочке, укрывшись за ветвями, кочками, буреломом, усталые, измученные жаждой и обессиленные, и он гласил: Теламеркцы пришли!.. Но они перекинулись на сторону ярла Эрлинга!..

Один человек сказал, что это точно, это не слух, его знакомый узнал это от одного бонда... Но кто он, этот бонд? Я чуть не плакал от злости. Нельзя было ни кричать, ни повышать голоса, разносчик слухов стоял передо мной и я шепотом проклинал его.

— Ты лжешь!

— Это правда! — не уступал он.

Я понял, что, если мы сейчас не задушим этот слух, нам конец.

Тогда конунг сказал:

— Я сам пойду туда и все узнаю.



Конунг сказал, что с ним пойду только я. Двое из наших людей сбежали в ближайшую усадьбу и принесли нам оттуда крестьянскую одежду. Мы пошли без оружия, Сверрир — впереди, я — за ним, ночь была светлая. Мы измазали лица сажей: он — кузнец, я — его подмастерье. Мы идем из Сельбу в Нидарос, надеемся получить там работу в оружейных мастерских ярла Эрлинга. Мы шли открыто, людей нам попадалось мало, и никто не обращал на нас внимания. На восточном берегу Нида был разбит военный лагерь. Мы пошли прямо туда, стражи нас не зарубили. Сверрир сказал, что хочет поговорить с хёвдингом. Один из стражей засмеялся и сказал, что их хёвдинг нынче ночью тешится с женщинами, к тому же он пьян. Сверрир сказал, что ищет работу и хочет попасть в Нидарос, чтобы там ковать оружие для ярла Эрлинга.

— Подождите до утра, — сказали стражи.

Мы поблагодарили их и ушли.

Мы оба были достаточно наблюдательны и умели считать. На этом берегу реки мы насчитали две сотни воинов. Но было ясно, что большая часть войска стоит в Нидаросе. Эти две сотни означали, что в общей сложности войска здесь было не меньше десяти сотен. У нас была только сотня.

Придут теламёркцы или нет, мы не знали.



Когда мы вернулись к нашим, Сверрир собрал людей и сказал:

— Мы там были. Там нет ни одного теламёркца! Я знаю их говор, потому что много раз бывал в их краю. Ни один теламёркец не перешел на сторону ярла Эрлинга!

Тогда вышел Сигурд из Сальтнеса. Он сказал, что отправлял своих лазутчиков в ближайшие селения, они уже вернулись обратно. Они говорят, что бонды Сельбу собрались и стоят у нас за спиной. Они намерены гнать нас прямо на людей ярла Эрлинга.

Еще один день мы прятались в лесу, есть нам было нечего. Мне неприятно вспоминать тот день: что-то давило мне грудь и не давало дышать. Мы были почти окружены: впереди стояло войско ярла, за спиной — вооруженные бонды из Сельбу. Тогда Сигурд снова пришел к конунгу:

— Отсюда есть только один путь.

Когда надо было действовать, в Сигурде проявлялись его лучшие качества, и он знал Трёндалёг. Ночью через большие болота он вывел нас из клещей, в которых мы оказались, — мы шли гуском, один за другим. Моросил дождь, нам это было на руку. В самых опасных местах приходилось прыгать с кочки на кочку, многие падали и мы их вытаскивали. Я стоял на упавшем дереве и смотрел на идущих мимо людей. Меня оттеснили в сторону, и я не мог бы вернуться в ряд, не столкнув другого в болото. Передо мной проходили один за другим: Эрлинг сын Олава из Рэ, рожечник Рэйольв, Халльвард Губитель Лосей, Кормилец, священник Симон, монах Бернард и мой добрый отец Эйнар Мудрый. Все они были здесь. И всем было одинаково страшно.

Я и теперь еще слышу хлюпанье двух сотен ног. Слышу стоны, вырывающиеся из пересохших глоток, кое-кто наклоняется, пьет

гнилую болотную воду и хлопает дальше. Кто-то срывает со спины ношу и швыряет ее в болото. Кажется, что сейчас и другие последуют его примеру, — по безмолвной цепочке измученных людей проносится тревожный слух о случившемся. К парню, швырнувшему свою ношу, подходит Вильяльм, хватает его поперек туловища и сует головой в болотную воду. Потом он достает из болота его ношу и идет дальше уже с двумя.

Больше никто не бросает в болото свою ношу.

Вильяльм утопил в болоте Льота, того парня, которому конунг сохранил жизнь, наказывая людей в Хамаре.



Мы приходим к усадьбе, которая называется Дигрин, бонда зовут Виглейк. Он — враг ярла Эрлинга. Мы разбиваем там лагерь и получаем продовольствие. Мы съедаем все, что есть в усадьбе, но Виглейк нам не отказывает. Виглейк из Дигрина — первый друг, какого мы встретили в Трёндалёге, он тоже ненавидел ярла Эрлинга. Мне это было приятно. Виглейк был просто ослеплен ненавистью. Люди ярла отобрали у Виглейка усадьбу, которая была у него в Гаульдале.

— Усадьба была некудышная, — сказал Виглейк. — Я хотел подарить ее женскому монастырю в Нидаросе. Мне она была не нужна, я только тратил зря время, посылая туда работников, чтобы поддерживать там порядок. Но люди ярла отобрали у меня усадьбу. Поэтому я ненавижу его.

Первый раз в жизни, йомфру Кристин, ненависть была мне приятна. Она придала мне силы.

Мы больше не были в окружении, бонды Сельбу отправились в Нидарос. Виглейк советовал нам захватить их лодки, доплыть до Сельбу и расположиться на отдых в тех усадьбах, хозяева которых ушли в город.

Когда я вспоминаю те дни в Сельбу, мне кажется, что я вижу их через стекло дорогого сосуда, счастливым обладателем которого был конунг Сверрир. Эти дни, залиты золотым светом, солнцем и жаром, я вижу красивые усадьбы, лежащие на берегу озера, синие дымки над домами и скот на выгонах. Конунг строго наказал своим людям брать продовольствия не больше, чем требовалось. Он выставил

двойную стражу и предупредил всех, что тот, кто надругается над женщиной, будет тут же зарублен. Теперь мы могли отдохнуть и собраться с силами. Сам он остановился на острове на озере, где была старая каменная крепость, которую жители селения воздвигли когда-то для защиты от разбойников. Я был там с ним, мы ночевали вместе. Он все время молчал.

Не знаю, но мне кажется, что твой отец конунг в те дни последний раз взвешивал, не следует ли ему свернуть с того пути, который он выбрал. Ведь я слышал, как многие, идя через болота, где Льот бросил свою ношу, а Вильяльм утопил его и спас ношу, говорили: Кто знает, правда ли, что наш конунг сын конунга?..

Кто бы мог ответить на это? Одно дело приветствовать конунга военным кличем, когда нужен предводитель, следовать за ним, зная, что в ближайшем селении ждет богатое угощение, и совсем другое — верить, что он сын конунга, когда удача отвернулась от него. Слухи о том, что теламёркцы перекинулись на сторону ярла Эрлинга, кое-чему научили меня: в тяжелые дни люди звереют. Теперь я знал, что всякий раз, когда удача будет отворачиваться от конунга, злые языки будут шептать: Правда ли, наш конунг — сын конунга?..

А Сверрир, верил ли он сам, что он сын конунга? Не знаю. Но я знаю, йомфру Кристин, что каждый раз, когда он замечал в людях сомнение, равно как и в себе самом, он неизменно подавлял его и становился тем, кем был: избранным, человеком, провозглашенным конунгом. У него было два стремления, которые в равной степени делали ему честь: он обладал волей, чтобы повелевать людьми, и желанием позволить Богу повелевать собой. Но какое из этих стремлений было в нем сильнее?

В эти дни в Сельбу конунг был молчалив. Выступить открыто с сотней человек против тысячи было бы верной смертью. Остаться долго в Сельбу он не мог, возвращение в Ямталанд его не прельщало. Но мы все понимали: в течение лета Сверрир должен созвать Эйратинг, на котором бы его провозгласили конунгом. Или же отказаться от своего права на престол.

Мы переправились через озеро Селасьо в Тейген и поднялись на гору Ватнсфьялль, откуда опять могли наблюдать за Нидаросом. Там стояло войско ярла Эрлинга. Сигурд из Сальтнеса пришел к нам и сказал:

— Я посылал двух лазутчиков, они говорят, что в Гаульдале собрано ополчение, и скоро мы снова будем окружены.

Мы опять снимаемся с места и идем, мы — изгой, нас ведет Сигурд из Сальтнеса, знающий в этих местах каждую тропинку и каждый камень. Мы опять с трудом преодолеваем холмы, пробираемся по дорогам, клянем в душе всех и вся, и я чувствую, как в людях просыпается сомнение: Кто же он, сын конунга или нет?.. Бродяга и обманщик или человек, достойный своего высокого призвания?

Мы приходим в Сокнадаль, там на одной усадьбе мы зарезали весь скот, а потом убили хозяев. Никто не должен был оттуда бежать и предупредить, что мы здесь. Когда мы разбили лагерь и сели есть, прибежал один из дозорных.

— В долину по направлению к нам идут люди!..

Это могла быть или смерть, или помощь из Теламёрка.



ПОСЛАНЕЦ

Вот что рассказал Хагбард Монетчик, посланец конунга, когда мы потом сидели у очага:

Посланец идет через леса и пустоши, на плечах у него сидит сын, маленький мальчик, калека. Началась весенняя распутица, и каждый шаг дается с трудом, посланец предпочитает идти ночью, когда наст выдерживает его тяжесть. По этой дороге он шел зимой, тогда он бежал из сражения, в сугробах лежали мертвые, друзья дрались друг с другом из-за куска хлеба. Он узнает некоторые усадьбы: в этой они останавливались, ту подожгли — из снега торчат обгоревшие бревна. Никто не нападает на одинокого путника. На плечах он несет сына, и сын защищает его. Еще у него записана молитва, которую он должен читать в каждой церкви, поставленной во имя святого Олава, какая попадется ему на пути. Если он встречает людей, которые вызывают у него подозрение, он падает перед ними на колени, протягивает им свою дощечку с молитвой и жалобно просит:

— Покажите мне дорогу к церкви конунга Олава Святого, я должен помолиться там за своего сына!

Его не трогают, и он спокойно идет дальше. Котомка его давно пуста, он вынужден заходить в усадьбы и про-



сить Христа ради. Он просит для сына и все отдает ему, сам же полагается на свою выносливость, он, как собака в снегу. Однажды отряд воинов, искавший берестеников, спасшихся в битве при Рэ, берет его в плен. Он показывает им свою молитву, они отнимают ее у него, им кажется, что это важное послание. Приводят перепутанного священника, владеющего высоким искусством чтения, и узнают, что это всего лишь молитва конунгу Олаву Святому и Деве Марии. Они возвращают ему молитву и дают пинка под зад. Он идет за ними и просит:

— Люди добрые, покажите мне дорогу в Тунсберг к могучему ярлу! Хочу молить у него разрешения посетить все церкви святого Олава в этой стране и молиться там, чтобы Господь исцелил моего сына!..

Они снова дают ему пинка, а калеке — кусок хлеба.



Он идет синими ночами, под высоким утренним небом, на плечах у него сидит сын, мальчик плохо говорит, но разум его гораздо яснее, чем можно подумать, глядя на его жалкое личико. Посланец размышляет: я несу ненаписанное послание. Но смогу ли я найти того, кто должен принять его, и поверит ли он моему слову?..

Я видел Хрута до того, как началось сражение при Рэ. Но несправедливо требовать от Хрута, чтобы он запомнил меня, Хрут — хёвдинг, а я — бродяга, который ходит с сыном-калейкой. Никого другого из теламёркцев я не знаю. Они пришли в Рэ вечером накануне битвы. Вся моя надежда — блестящий камешек, что защит у меня в шве под медной пряжкой. Хрут узнает камешек и вспомнит монаха Бернарда, показавшего ему когда-то в монастыре на Гримсее это странное Христово око. А если Хрут подумает, что я убил монаха и ограбил его? Поверят мне или не поверят, убил или не убил, поднимутся ли люди Хрута на новую борьбу, когда я приду к ним со своим ненаписанным посланием? Этого не знает никто.

Он идет днем под высоким весенним небом, ночью — в лунном свете, наст скрипит под его ногами. Он договаривается с двумя рыбаками, и они соглашаются перевезти его на лодке через большой фьорд. Он несет на плечах сына, сын вызывает сострадание и, безусловно, помогает отцу.

Они выходят на берег под Рафнабергом и ночуют там в усадьбе. Хозяина усадьбы зовут Дагфинн, а его жену — Гудвейг. На другой день он идет дальше. Хозяева Рафнаберга благословляют мальчика, а отец благословляет их.

Потом он идет в Рэ. И по своей воле и вопреки ей он идет туда. Уже вечер, синее небо и солнце клонится к западу. Он стоит на холме над равниной и смотрит на утрамбованный снег. Должно быть, весной снег тут почти не шел, посланец различает следы, оставленные сражавшимися людьми. Снег уже не красный. От мороза и ветра он стал грязно-серым, как нестиранное полотно, затоптанное злодеями.

Он снова слышит крики, те крики, которые звучали здесь, когда он бежал... Внизу стоит церковь, люди конунга Магнуса заколотили ее двери. Берестеники пытались спастись в церковной ограде, но их всех порубили перед дверьми дома Божьего. Посланец стоит и смотрит. Видит новые могилы. Значит, покойников все-таки похоронили.

Он стоит, смотрит и вспоминает, а сын спит у него на плечах, уткнувшись головой отцу в волосы. Потом отец поворачивается и уходит. У него скользят ноги на подтаявших за день сугробах. Из одного сугроба торчит что-то темное. Посланец раскидывает снег ногой. Из сугроба показывается труп.

Это берестеник, молодой парень, к ступням и икрам у него привязана береста. Посланцу он незнаком. Парню лет восемнадцать, рот его искажен — может, он умер с проклятием на устах? Посланец пытается припомнить, не знал ли он этого парня, но не может. Даже мертвый ты никому неизвестен и лежишь здесь без благословения, думает он. И уходит.

На холме стоит усадьба, она называется Сольберг, посланец запомнил это название, здесь в то роковое утро строилось войско, и селение виднелось в холодном зимнем свете. Теперь жилой дом сожжен. Хозяин стоит в дверях хлева.

Посланец подходит к нему и просит приютить его на ночь. Говорит, что его больному сыну надо отдохнуть. Он несет его в монастырь на Гримсее, мальчика он подарит настоятельнице монастыря. Хозяин приглашает посланца в хлев. Оба избегают поворачиваться друг к другу спиной.

Посланец вспоминает, что ходили слухи, будто конунга Эйстейна Девчушку, когда он бежал после сражения, зарубил хозяин Сольберга. Хозяин думал, что спасет свою усадьбу, если приподнесет труп конунга его врагам. У гостя во рту появляется неприятный привкус. Ему не по себе, он не может спокойно сидеть в стойле, которое ему уступил хозяин.

— Это ты убил конунга Эйстейна? — спрашивает он.

Хозяин смотрит в сторону.

— Я не осуждаю тебя, но мне хотелось бы знать правду...

Хозяин кивает.

— Думал спасти своих, — говорит он, — но дом у меня все равно сожгли.

— Тогда мне лучше уйти, — говорит посланец. — Но я тебя не осуждаю.

Просыпается Малыш, и отец говорит ему:

— Ты умеешь благословлять и друзей и врагов, протяни руку и благослови его, хотя я и не знаю, что он за человек.

Малыш творит крестное знамение над хозяином.

Потом посланец вежливо благодарит за приглашение переночевать в хлеву, поднимает сына на плечи и по ночному насту идет лесом в Андебу. До Теламёрка, где изгои ждут послания, еще день пути.



Посланец с сыном-калейкой на плечах идет долго. Вечером он приходит в усадьбу Валебё на берегу озера Норсьо, там он пробирается в церковь, что стоит на усадьбе, и долго молится перед изображением конунга Олава Святого. Приходит священник и предлагает ему помощь в молитве. Посланец благодарит. И снова повторяет, что идет в Гримсей в Скидане, мальчика он несет в дар настоятельнице монастыря.

— Тогда ты идешь не в том направлении, — говорит священник. — Ты взял слишком на север, Скидан гораздо южнее.

Посланец вздыхает и просит разрешения на несколько дней задержаться в усадьбе, мальчику надо отдохнуть. Ему разрешают.

Усадьба большая, здесь живет много народу, посланцу и мальчику разрешают спать в пустом стойле. Но они в хлеву не одни. Работ-

ник по имени Гейрмунд из Фрёйланда и его жена тоже спят здесь. Жену Гейрмунда зовут Магнхильд, они делят одно стойло на двоих. Что-то в них вызывает у посланца недоверие, и он украдкой наблюдает за ними. За годы бродяжничества у него развилась способность наблюдать за людьми, самому оставаясь в тени. Но вскоре он замечает, что им тоже не чужда эта способность. Они почти не разговаривают друг с другом. И одеты они лучше, чем обычные работники, и держат себя учтиво, правда, их руки носят следы работы, однако на руки работников они все-таки не похожи. В усадьбе вообще подозрительно тихо. Люди либо молчат, либо говорят о чем-нибудь незначительном.

Поэтому посланец снова идет в церковь и молится, ему хочется, чтобы его видели как можно больше людей. Он тяжело вздыхает, объясняет, что сбился с пути и пошел на север вместо того, чтобы свернуть на юг. Вечером он с мальчиком устраивается в стойле, вскоре он говорит, обращаясь к соседнему стойлу, где лежат Гейрмунд и Магнхильд:

— Я сбился с пути и пошел на север...

Они не отвечают. В хлеву темно, тяжело дышат коровы, от них идет тепло и добрый запах. Малыш засыпает на руках у отца, отец освобождается от него, приподнимается в своем стойле и говорит:

— Я сбился с пути и пошел на север, а надо было идти на юг...

Они по-прежнему молчат, как будто все еще не верят, что он действительно идет в монастырь на Гримсее. Он нарочно долго говорит о Гримсее, чтобы они уверились, что он идет не туда. Потом спрашивает:

— Вы, наверное, не так давно стали спать в хлеву?..

Магнхильд испуганно молчит, через некоторое время Гейрмунд мрачно отвечает:

— У нас была усадьба у подножья Лифьялль. Но ее уничтожил огонь.

Теперь посланец знает: у них была усадьба у подножья Лифьялль, но когда дом сгорел, они оттуда ушли. Но почему они не отстроили дом заново? Посланец делает вид, что засыпает. Вскоре он тихо встает, чтобы никого не разбудить. Но те двое еще не спят. Тогда он спрашивает, сколько у них дочерей.

У них только одна дочь, голоса у них теплеют. Она добрая и хорошая хозяйка, замужем и живет у подножья Лифьялль, у нее все хорошо. Рассказывая о дочери, они оживляются. Говорят только о ней. Если у них есть сыновья, то они умалчивают об этом. Посланец говорит:

— А у меня только этот сын.

Помолчав, он повторяет:

— У меня только этот сын, он калека, вы сами видите. Я ношу его по всей стране. Не знаю, захочет ли настоятельница монастыря принять его. Я верю, что, если буду молиться за него во всех церквах святого Олава на севере и на юге, здоровье вернется к нему, и он вырастет, как все дети. Так мне сказал один священник. Но я побывал еще не во всех церквах.

— Кажется в Сельюгердире есть церковь святого Олава? — вдруг спрашивает он. — Если у человека только один сын, он пройдет, сколько угодно, лишь бы исцелить его.

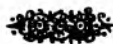
Посланец замолкает, теперь надолго, муж и жена тоже молчат. Через некоторое время Магнхильд говорит, — у нее нежный голос, он звучит, как колокольчик под дождем, — что нелегко, должно быть, носить больного сына по всей стране. Но у некоторых сыновья здоровы, говорит она. Красивые, добрые сыновья — радость для родителей.

Голос ее как будто светлеет, однако в ней словно ступают сумерки при воспоминании о каком-то горе. Уже полночь. Посланец говорит:

— Не знаю, куда сначала пойти, чтобы молиться об исцелении моего сына, в Сельюгердир или в Квитсейд?

Они не отвечают.

Наступает день, Норсье покрыто туманом.



Посланец просит Гейрмунда и Магнхильд:

— Не перевезете ли вы меня через озеро? Я еще не знаю, куда пойду, но за озеро мне надо попасть в любом случае, и хорошо бы сегодня.

Они охотно соглашаются, в лодке плывут трое взрослых и Малыш. Когда они достигают середины озера, склоны скрываются в тумане, они гребут на солнце. Голоса летят далеко над водой, поэтому посланец говорит тихо, почти шепчет:

— Посоветуйте мне...

Нет, они боятся и молчат, тогда он повышает голос и снова испуганно понижает, услышав, как его голос в тумане ударяется о берег:

— Вы должны дать мне совет!.. Я не знаю, где лучше молиться об исцелении сына, в Квитсейде или в Сельюгердире? Помогите мне! Дайте совет!..

Но они молчат, говорить они боятся. Посланец начинает снова:

— Один большой человек, сказал мне: Ступай и молись об исцелении своего сына! Тем самым ты будешь молиться за сыновей всех добрых людей в этой стране. У нас много хороших сыновей, преследуемых и изгнанных из родных домов, которые не смеют спокойно спать по ночам. Это мне сказал не конунг Магнус, нет, нет, другой большой человек, и еще он сказал: Помни, не каждый конунг стал конунгом по воле Божьей!

Гейрмунд все гребет и гребет, он молчит, Магнхильд тоже молчит. Посланец говорит:

— Я положу сына на алтарь Господа Бога...

Тогда Гейрмунд поднимает весла, быстро и испуганно взглядывает на Магнхильд, она смотрит на посланца. Лодка скользит сама по себе, а Гейрмунд тем временем произносит над ребенком проклятие. Он говорит медленно, подыскивая слова. Это слова дьявола, слова конунга Олава Святого переиначенные из благословения в проклятие. Как эти слова могли бы спасти тебя, они послужат проклятием тебе и твоему сыну! Гейрмунд говорит долго.

— Эти слова принесут несчастье твоему сыну, если ты идешь по стране как предатель.

Лодка скользит, в тумане уже виден берег. Теперь говорит Магнхильд. Она читает Отче наш и три молитвы к Деве Марии, потом произносит тихим, теплым голосом, тяжелым от горя:

— Только если путник хороший человек, эти слова будут благословением для его сына.

Они плывут дальше. Вскоре нос лодки врывается в берег.

Посланец с сыном на плечах идет по воде, потом оборачивается и благодарит и за благословение и за проклятие. Тогда Гейрмунд говорит:

— Ступай в Сельюгердир и молись там об исцелении своего сына.



В сумерках Хагбард подходит к церкви в Сельюгердире и заходит в ограду. Он знает, здесь лик конунга Олава Святого высечен на камне, вмурованном в церковную стену, как утешение верующим и угроза всем сомневающимся. Его высек человек, которого зовут Гаут, он однорукий и бродит по всей стране. Хагбард находит этот суровый и вместе с тем добрый лик на церковной стене и преклоняет перед ним колени. Малыш сидит на камне рядом с отцом.

Молясь, Хагбард чувствует на себе чей-то взгляд. Он уже давно его чувствует. И когда шел по проезжей дороге вдоль озера, и когда лесом огибал усадьбы, чтобы его не задержали люди, чье любопытство могло оказаться слишком назойливым, уже тогда он чувствовал на себе чей-то настороженный взгляд. Он знает, что слух о нем опрещает его самого. Поэтому он молится долго, делая вид, что ничего не замечает. Малыш начинает плакать и в конце концов засыпает, прижавшись головой к стене церкви. Тогда Хагбард встает с колен.

Он стряхивает со штанов землю и склоняет голову в последней молитве — неожиданно он перескакивает через ограду и хватается за руку молодого парня, который там прячется. Хагбард говорит:

— Ты должен отвести меня к Хруту.

Жребий брошен, и будь, что будет. Парень клянется, что не знает человека с таким именем. Хагбард отпускает его. Парень следует за ним, грозит, отвязывает висевший на поясе нож. Хагбард спокойно возвращается к Малышу, поднимает его и сажает к себе на плечи, потом поворачивается к парню и говорит:

— Я понимаю, ты не мог поступить иначе. Но и я тоже. А теперь ты отведишь меня к Хруту.

Парень подчиняется. Он приводит Хагбарда Монетчика в ближайшую усадьбу, там на дворе стоят два человека. С невозмутимыми лицами они говорят, что не знают человека по имени Хрут. Хагбард сожалеет, что попал не в ту усадьбу, и собирается уходить. Они не пускают его. Он спрашивает:

— Так вы все-таки знаете Хрута?

Они не обмениваются даже взглядом, видно, у них достаточно опыта в подобных делах. Хагбарду велют зайти в конюшню, и он подчиняется, чтобы не злить их. Его запирают.

Малыша они оставили у себя, мальчик плачет. Они кричат в конюшню Хагбарду, что он поступит разумно, если расскажет, зачем пожаловал в Сельюгердир.

— Охотно, — отвечает Хагбард, — но я буду говорить только со знатными людьми.

За дверью становится тихо, потом они куда-то уносят Малыша. Время идет. Наконец в конюшню являются гости.

Одного из них Хагбард знает: это Хрут, он был предводителем теламёркцев в сражении при Рэ. Хагбард говорит:

— Я буду говорить с тобой только наедине.

Хрут снимает меч и велит всем выйти из конюшни. Хагбард достает из шва под пряжкой Христово око, подносит его к свету, падающему в окно, и спрашивает.

— Узнаешь?

Хрут узнает камень.

— Первый раз ты видел его в руке монаха Бернарда, — говорит Хагбард. — Это было в монастыре на Гримсее. В трапезной были только вы двое. Вас объединяла нелюбовь к ярлу Эрлингу и его сыну конунгу Магнусу. Бернард сказал тебе: Этот камень хранит блеск Христовых очей. Когда-нибудь мы снова встретимся в его свете.

Хрут кивнул, но не сказал ничего.

— Ты веришь, что я посланец Бернарда? — спросил Хагбард.

— Ты мог и убить его, — заметил Хрут.

— Да, мог, — сказал Хагбард. — Но неужели ты думаешь, что Бернард стал бы делиться со мной своими воспоминаниями, перед тем как я зарубил его?

На это Хрут не отвечает. Он долго смотрит на блестящий камень, потом говорит:

— Это око Христово из распятия, которое люди ярла сбросили на землю и топтали ногами. Бернард вынул это око и сказал: Когда-нибудь Христос получит его обратно.

Хрут уже не молод. Он предлагает Хагбарду выйти из конюшни.



В Сельюгердире скрывается немало берестеников, человек восемьдесят или сто. К ним отправляется гонец, и после полудня все

они собираются у церкви. Среди них два брата из усадьбы Фрёйланд у подножья Лифьялль, Торбьёрн и Коре, сыновья Гейрмунда и Магнхильд, которых Хагбард видел в Валебё. Они пришли сюда искать безопасности, после того как люди ярла Эрлинга сожгли их усадьбу. Оба брата тоже участвовали в сражении при Рэ.

Хрут сказал:

— Летом сюда придут люди ярла! Тогда нам останется только уйти в горы и там скрываться до следующей зимы, если на то будет воля Божья, а потом искать убежища в селении и еще одну зиму спать с мечом под щекой. Мы должны либо всю жизнь прожить изгоями, либо снова начать борьбу! Нас ждет или смерть или победа. Но ты сам видишь, Хагбард, нас немного.

— Войско конунга Сверрира немногим больше, — сказал Хагбард.

Его просят обратиться к людям, он коротко рассказывает теламёркцам о конунге Сверрире и передает им его устное послание. После этого ему приказывают уйти. Два человека снова отводят его в конюшню и запирают на засов. Голоса собравшихся долетают до конюшни. Хагбард знает: сейчас решается его судьба.

Первым говорит Хрут:

— Этот посланец может оказаться и предателем, и честным человеком, точно мы этого не знаем. Он говорит, что новый конунг велит нам встретиться с ним между горами Доврафьялль и Нидаросом за две недели до дня Йона. Это путь не для слабых. Возможно, нас ждет ловушка. Возможно, этот человек убил монаха Бернарда, у которого был камень, возможно, он пыткой заставил его говорить перед смертью. Или же обманул его лживыми словами. Но я этому не верю. Я знаю одно: для нас лучше попытаться счастья в сражении, чем трусливо отсиживаться в горах, когда придет лето. Давайте снимем-ся и пойдем!

Коре сын Гейрмунда из Фрёйланда встает и говорит:

— Если посланец сказал неправду об оке Христовом, он за это поплатится жизнью. И пусть Господь поможет нам так же, как покарает его.

Его брат Торбьёрн встает и возражает ему:

— Не думайте, будто и оком Христовым нельзя злоупотребить, и злоупотребивший легко может избежать наказания. Неисповедимы

пути Господни, и когда Он карает и когда дарует благодать. Этот посланец может оказаться предателем из войска ярла Эрлинга. Но мы должны сделать выбор, и я говорю: Давайте снимемся и пойдем!

Человек, которого звали Гудлауг Вали, один из предводителей берестеников, сказал:

— Давайте снимемся и пойдем. Но сначала надо зарубить этого человека.

Многим понравились его слова, и Хрута охватили сомнения. Братья из усадьбы у подножья Лифьялль, которые не всегда были согласны друг с другом, тут выступили заодно:

— Возьмем его с собой, — предложили они. — Давайте поверим ему и сохраним ему жизнь, но если он окажется Иудой среди учеников Христа, он умрет.

Хрут сказал:

— Вот нелегкий для меня час.

Он был умный человек и у него было много усадеб, но люди ярла отняли их все. Он сказал:

— Я должен отомстить ярлу, даже если это будет стоить мне не только имущества, но и жизни. Но я не отомщу, если побегу от него, как сопливый мальчишка от розги. Мы снимаемся и снова начинаем борьбу. За две недели до дня Йона мы должны быть севернее гор Доврафьялль.

Хагбарда приняли в войско, но не все одинаково доверяли ему. В братях из усадьбы у подножья Лифьялль он нашел добрых друзей. Они помогали ему нести Малыша. Когда Малыш первый раз оказался на плечах у чужого, он даже описался от страха.

В горах еще лежал снег. Они шли через Гронингсдаль на запад и пришли в Хедаль, а оттуда — в Грансхерад и по плоскогорью Хросхейя в Лёг. И дальше.

Оружия у них было немного, но топоры острые, это были храбрые мужи. Они брали в усадьбах только то, в чем нуждались, и не грабили понапрасну, и большинство из них не обижали женщин.



СРАЖЕНИЕ ЗА НИДАРОС

В тот день, когда в Сокнадале мы встретили суровых теламёркцев, удача сопутствовала нам. После полудня небо затянулось тучами и пошел дождь, а дождь самая подходящая погода, чтобы красть лошадей. Лошади бегут с пастбищ под крышу в усадьбы и тогда ничего не стоит поймать их. Конунг велел говорить бондам, что своих лошадей они получают назад в предгории Доврафьялль, куда лежал наш путь. Мы нагнали спускавшийся в долину табун. Не очень большой, его гнали трое парней, они были гудбрандсдальцы и шли на север в Нидарос, чтобы обменять своих лошадей на девушек и серебро. Их пришлось убить, но это оказалось легко. Они и пикнуть не успели, как мы их зарубили.

Дождь усилился, склоны выглядели неприветливо, люди укрылись в домах, под открытым небом не осталось никого, кроме воинов. От селения, в котором ты забрал лошадей, всегда веет ненавистью. Никто не вступает с тобой в разговор, ты не видишь оружия, но ощущаешь враждебность, словно ядовитый ветер. А в такой серый ненастный день, когда дрожишь от холода, тебе тем более за каждым кустом мерещится недруг с мечом. Но нигде никого нет.



Еще не наступил вечер, а наши люди уже сидели в седлах, воинственно покрикивая, все торжествовали. Надо отправиться в Уплёнд и перебить там всех лендрманнов ярла Эрлинга Кривого, говорили мы. Лошадей на всех не хватило и потому за каждой лошастью, держась за ее хвост, бежал человек, так мы могли двигаться быстрее. У теламёркцев было меньше лошадей, чем у нас. Они недовольно ворчали, но я никогда не видел людей, которые бежали бы так легко, держась за хвост лошади. За моей лошастью бежал молодой теламёркец Коре из Фрёйланда. Наконец стемнело.

Стал погромоухивать гром, летний вечер сделался похож на осенний. Мы ехали вдоль реки, Сигурд из Сальтнеса, который хорошо знал здесь все дороги, привел нас к броду. Перебредить реку было небезопасно, вокруг покрытых пеной камней бурлила вода, противоположного берега мы почти не видели из-за дождя. Время от времени вспыхивали молнии, освещая темные, крутые склоны.

Сигурд перешел реку первый, в самых глубоких местах вода была ему по грудь, лошадь боялась идти в воду. Сигурд не бил ее, только тихонько уговаривал, надо было соблюдать тишину, чтобы никто из местных жителей не узнал, что мы перешли через реку. Странное это было зрелище: человек за человеком, лошадь за лошастью, а гроза все приближалась и молнии сверкали все чаще. И мертвая тишина — ни криков, ни брани, когда один человек поскользнулся на камне и его подхватил поток, никто даже не попытался спасти его. Дождь усилился. Он был нам на руку, в такую ночь люди неохотно выходят из домов. Я перешел реку сразу за конунгом. Чуть ниже реку переходили два человека с лошастью, они должны были спасти конунга, если б его вдруг подхватило течение. Я шел, боком рассекая воду, так было легче устоять против течения. На миг мне показалось, что дно ушло у меня из-под ног, и я повис на уздечке. Лошадь, которую я украл утром, твердо стояла в потоке, она-то и спасла меня.

Мы перешли реку, потеряв всего одного человека. Никто не жалел об этой потере — его почти не знали. Люди сгрудились на берегу. Усадеб тут не было, дальше река расширялась, нас окружал лес. Конунг ходил от одного отряда к другому и благодарил людей:

— Отныне нам нет пути назад, — сказал он. — Мы идем не в Уплёнд. Мы идем в Нидарос. Риск велик, каждый должен стараться

не отбиться от остальных. Тот, кто отобьется, погибнет, но может, и спасется, если ему повезет.

Мы снялись с места, на каждую лошадь приходилось по два человека. Мы двигались быстро, выжимая из лошадей все, что можно. Дорога шла вдоль реки. Непогода висела над нами, и тоже шла на север. Мы не обогнали ее, не свернули в сторону, она прикрывала нас, точно плащ из молний и дождя. Одна лошадь упала. Послышалось ее ржание, должно быть, она сломала ногу. В свете молнии я увидел двух бегущих воинов, потом их подхватили всадники и поход продолжался. Усадьбы мы объезжали стороной. Но это не всегда удавалось. Иногда приходилось ехать прямо через двор какой-нибудь усадьбы, ее обитатели прятались по домам. Проезжая, мы вопили во всю глотку и бряцали оружием — нас было две сотни. Между раскатами грома наши вопли неслись к черным тучам, нависшим над усадьбами. Местные жители, должно быть, принимали нас за духов. Мы сметали на своем пути изгороди и плетни, в одном месте даже затоптали стадо телят, укрывшихся от ветра. Дальше, дальше, теламёркец, сидевший на лошади позади меня, с такой силой вцепился мне в плечи, что несколько раз чуть не стянул меня с лошади. Я держался за гриву, но она была скользкая, тогда я обхватил лошадь за шею, а он держал меня за пояс. Но ему не повезло: большая ветка неожиданно сорвала его с лошади. Он упал.

Я не успел удержать его. Лошади стало легче, останавливаться было нельзя, я должен был следовать вместе со всеми, предоставив молодого Коре из Фрэйланда его судьбе. Где-то в гуще всадников едет конунг. Но где именно? Останавливать людей нельзя. И я не знаю, остался ли Коре из Фрэйланда жив после такого падения. Мы проезжаем новую усадьбу. И кричим. Сверкает молния. Крыша загорается, перед нами пылает дом. Я вижу вздыбившуюся лошадь и цепляющихся за нее людей. Огонь так близко, что моя лошадь шарахается в сторону. Я бью ее кулаком, она ржет, но подчиняется мне. Мы уже далеко, сзади горит усадьба.

Хлещет дождь. Он помогает нам, заглушая топот копыт. Гроза следует за нами, она висит над узкой долиной, молнии рубят воздух, подобно красным мечам, и между крутыми склонами гор тяжелые раскаты грома сталкиваются с собственным эхом. Вскоре я замечаю,

что рядом со мной скачет Сверрир. Я знаю, на что он надеется. И знаю также, чего он боится.

Если конунг Магнус и ярл Эрлинг сейчас в Нидаросе, нас ждет смерть. Но если там только один из них, — даже если это ярл, — у нас хватит сил, чтобы победить его. Если ярл падет и если, что для нас важно, мы возьмем в плен архиепископа Эйстейна, не исключено, что он перейдет на нашу сторону. И тогда конунг Магнус, человек слабый, может сам выйти из игры.

Конунг надеется, что все будет именно так. Боится он другого: если ни ярла, ни его сына конунга в Нидаросе нет, нам придется сразиться с их войском, оставленном в городе, это будет страшная битва, и, даже если мы победим и захватим город, наши главные враги останутся в Бьёргуне целыми и невредимыми. И тогда победа в Нидаросе будет только половиной победы, борьба продолжится до тех пор, пока в один прекрасный день те или другие не лягут на поле сражения.

Но я понимаю, что, даже если бы мы знали, что в Нидаросу нас разящими клинками встретят войска Всемогущего, конунг все равно не остановится. Он сказал свое слово. И он не отступит.

Ночью на дороге неожиданно появляется молодая женщина, она идет нам навстречу. Не знаю, что могло заставить женщину выйти в такую погоду одной без охраны мужчины. Теперь я скачу впереди всех. Впереди меня только Вильяльм. Он действует мгновенно, понимая, что если женщина доживет до утра, сразу вспыхнут сигнальные костры и весть о нашем приближении к Нидаросу опередит нас.

Вильяльм наклоняется с лошади и хватает женщину за волосы, она кричит, но ее крики тонут в раскатах грома. Молния выхватывает из тьмы ее бледное лицо, Вильяльм держит ее поперек седла, она свешивается с лошади, они столкнули человека, сидевшего позади Вильяльма, но он тут же вскакивает на свободное место позади меня. Мы подъезжаем к водопаду. Дорога идет вдоль реки, она очень крутая. Вильяльм выпрямляется в седле, поднимает женщину и, не останавливаясь, бросает ее в водопад. Больше мы ее не видим.

Непогода сопутствует нам до утра, это прекрасно. На рассвете мы уже далеко, потеряв всего двух лошадей и нескольких человек. Мы делаем короткий привал. Два воина приносят труп человека, которо-

го они взяли в плен. Он был ранен стрелой. Воины убили его, предупредительно не расспросив. Конунг выговаривает им за это.

Убитый лежит в траве у наших ног, мы молча стоим над ним. Стрела, посланная в человека в этих местах, не предвещает ничего хорошего. Немного развиднелось, но в горах еще погромыхивает отдаленный гром, лес отяжелел от влаги. Конунг отворачивается и говорит:

— По коням!

Мы вскакиваем в седла, лошади устали, но мы гоним их вперед. Нам опять везет, непогода возвращается и весь день мы скачем под дождем в раскатах грома. Больше тогда ничего не случилось, о чем стоило бы рассказать.

Мы достигли устья реки Гауль и разбили там лагерь, людям запрещено разговаривать и шуметь. Еды у нас почти нет.

Бальдр, мой пес, где-то потерялся.



Мы отдыхали в устье реки Гауль после тяжелого похода, погода была теплая и ясная. Конунг хотел ночью на украденных долбленках переправиться через устье, тихо и незаметно перевалить через хребет Гаулар и подойти к городу. А там встретить то, что судил нам Господь: победу или смерть, пролить кровь наших врагов или свою собственную.

Мы приехали в селение, из которого родом были трое братьев, Сигурд, Вильяльм и Йон. Их родовая усадьба лежала на холме над фьордом, оттуда открывался красивый вид. Многое пришлось пережить братьям после того, как они покинули свой дом и вступили в борьбу с ярлом Эрлингом и его сыном конунгом Магнусом. Какие чувства переполняли братьев, снова вернувшихся в родные места? Я знал, что утром они побывали в своей усадьбе и повидали мать, фру Гудрун из Сальтнеса, она была еще жива. Потом все трое вернулись в войско конунга. Их ждали сражения, еще не раз их мечам предстояло рассекать людскую плоть, прежде чем они могли бы снова вернуться домой.

Я лежал на спине в мокром вереске и смотрел, как облака, обгоняя друг друга, плывут по синему небу. Дикая скачка последней ночи нелегко далась мне. Мысли о молодой женщине, которую

Вильяльм швырнул в водопад, и Коре из Фрэйланда, молодом теламёркце, упавшем с моей лошади, не давали мне покоя. И тем не менее, йомфру Кристин, теперь я чувствовал себя настоящим воином. Я научился отгонять мысли о страданиях, поджидавших нас на следующем распутье. Я лежал в вереске, слушал пение птиц и время от времени бросал взгляд через широкое устье реки на другой берег, заросший густым сосновым лесом. Может, люди ярла, притаюсь, как и мы, поджидают нас там со своими наточенными мечами и топорами? Но эта мысль почти не тревожила меня. О Боге я тоже не думал. Ибо, йомфру Кристин, и прости, если мои слова покажутся твоим молодым ушам богохульством, мысли о радостях нашей земной жизни, пусть даже очень далеких от нас, приносят больше утешения, чем мысли о блаженстве, ожидающем нас в Царстве Божьем, потому что оно от нас еще дальше.

Тогда пришел конунг.

Он идет наклонившись, чтобы его не заметили из кустов на опушке леса, садится в вереск и переводит дух. Лицо у него грязное от пота и земли, летевшей из-под конских копыт, времени умыться у него еще не было. Прежде всего он выражает радость, что я остался в живых после ночной гонки. И говорит, что потерю пяти или шести человек мы даже не заметим.

— Я не уверен, правильно ли мы поступим, если начнем собирать в ближних усадьбах необходимое нам продовольствие. Конечно, люди хотят есть. Но главное, чтобы нас не обнаружили. Поэтому лучше один день поголодать. Завтра утром, коли будет на то воля Божья, мы наедемся из закромов ярла.

Он силен и спокоен, такое спокойствие свойственно человеку, знающему свой путь и не сворачивающему с него. Он повел бы нас и через ад, если б это понадобилось, и отступлению перед врагом предпочел бы смерть. У этого человека, который хочет, чтобы его провозгласили конунгом Норвегии, есть и еще одна особенность. Он не ест, если вместе с ним не едят и его люди.

Он говорит, что теламёркцы должны первыми переправиться ночью через устье. Здесь их не знают, если они встретят местных жителей, скажут, что едут в Нидарос, чтобы поступить на службу к ярлу Эрлингу. В нашей же войске много людей из этих мест. Их легче узнать.

К нам подходит один из стражей и докладывает, что Хрут, предводитель теламёркцев, хочет поговорить с конунгом. Хрута сопровождает Гудлаут. Хрут — старый, Гудлауга скорее можно назвать молодым. Хрут мне нравится — я немного знаю его, — он слепо ненавидит ярла Эрлинга, и это мне по душе. Мне он кажется честным. Правда, он не слишком умен. Конунг тоже расположен к Хруту. Но вид Гудлауга не радует ни конунга, ни меня.

Они сообщают неприятную весть. Теламёркцы отказываются первыми переправляться ночью через устье реки.

Мне уже случалось видеть, как конунг, сознававший свою силу, прогонял тех, кто не повиновался ему, я видел, как он убил человека, который ослушался его приказа, и затоптал конем двух других. Но нынче он не способен на такое. Мы сидим, скрытые лесочком, перед нами устье реки и фьорд. Нас никто не слышит. Хрут и Гудлаут застали конунга врасплох.

Он спокойно выслушивает их и спрашивает, по какой причине они отказываются первыми переправляться через устье. Причина проста: когда мы покинули Сокнадаль, у теламёркцев было меньше лошадей, чем у нас. Многим из них пришлось ехать не спереди, а сзади, четверо из них упали. Двое все-таки остались в живых, но двое погибли. Это Коре из Фрёйланда и — я только тут узнаю об этом — его старший брат Торбьёрн.

— Нельзя к одной несправедливости прибавлять другую, а именно так и будет, если ты пошлешь нас первыми через реку, — говорит Хрут.

Гудлаут гневно вскакивает, конунг быстро, но дружелюбно, заставляет его снова опуститься в вереск, чтобы нас не увидели с того берега, если там кто-нибудь есть. Гудлаут сжимает кулаки, он готов ударить конунга. Но конунг отталкивает его, он держит себя в руках, не позволяя себе даже покраснеть от гнева. Слегка склонив голову, он велит Гудлаугу сесть рядом.

Гудлаут подчиняется. Но ворчит.

— Значит, вы считаете, что я поступаю несправедливо по отношению к вам? — спрашивает конунг.

— Да, — отвечают они и хотят снова повторить то, что уже сказали.

Конунг прерывает их — он уже знает их доводы, а сейчас неподходящее время, чтобы высказывать свое мнение больше, чем один

раз. Он прикрывает рукой глаза, как будто думает, но, по-моему, он просто хочет выиграть время и сделать вид, что ищет справедливое решение. Когда Гудлаут — он некрасив, на подбородке у него шрам от меча — хочет заговорить, конунг опережает его:

— Я с вами согласен, — говорит он. — Отряд Йона из Сальтнеса первым переправится через реку.

Конунг умен: если он и теряет что-то, уступив требованию теламёркцев, то приобретает больше, проявив полное спокойствие и достоинство. Однако Гудлаут чувствует, что сейчас превосходство на его стороне и требует большего. Может, я ошибаюсь, но, мне кажется, Хруту не нравится поведение Гудлаута. Думаю, он считает такое поведение неумным и неуместным. Гудлаут говорит:

— У тебя, конунг, есть несколько самострелов, у нас — нет. Половину самострелов ты должен отдать нам.

Мне хочется вскочить, но я сдерживаюсь, глаза конунга темнеют. Я знаю, что случилось бы, если б мы находились в таком месте, где он мог бы свободно показать свою силу, собрать людей и покарать непокорных у всех на глазах. Но сейчас это невозможно. Поэтому он говорит Гудлауту, не стараясь изобразить дружелюбие, которого не чувствует, — он просто платит нужную цену, хотя радости ему это не доставляет, — он дает Гудлауту понять, что требование его глупо и что тот, кто вынужден платить, куда умнее его.

— Отнять у человека оружие, которым он уже владеет, не может никто, даже конунг. Он просто откажется отдать его, и будет прав. Другое дело, отнять оружие у того, кто не употребил его против врага. Нельзя отнять оружие у доблестных воинов, не восстановив одну часть войска против другой.

Но ты, я вижу, стоишь на своем. Говоришь, что уведешь своих людей, если мы не выполним твоего требования. Ты удачно выбрал время. Мы должны выйти отсюда до полуночи. Я это знаю. Ты — тоже. Потому ты и пришел сейчас ко мне. Но самострелов ты не получишь.

Зато я предлагаю тебе другое. Когда мы победим, — если победим, а это зависит также от твоих людей и от тебя, — наше войско будет вооружено куда лучше. Сейчас у нас есть ближняя дружина, но нет большой дружины. После победы в Нидаросе, — если мы победим, — у нас будет и большая дружина. В такой дружине должен

быть конюший. Ты будешь конюшьим, Гудлаут. А сейчас ступай. И живи с честью или погибни без позора.

Гудлаут ушел. Хрут тоже. Он был старше, и ему все это не понравилось.



Я спросил у конунга:

— Разве ты не обещал Йону из Сальтнеса сделать его конюшьим, когда настанет время собрать дружину?

— Обещал, но сейчас у меня нет выбора, — ответил конунг.

Вскоре пришел Йон.

— Это правда, что я слышал? Гудлаут говорит, что ты обещал сделать его конюшьим. Прежде ты обещал сделать конюшьим меня.

— Это верно, — сказал конунг.

— Я знал немного конунгов, но только одного, который нарушает свои обещания, — сказал Йон.

Он пошел от нас, но потом повернулся и сказал:

— Мои люди останутся с тобой. Но повиноваться они будут только одному человеку. Мне!

И он в полный рост пошел по дороге к родной усадьбе.

Конунг сказал:

— Есть два выхода. Можно заставить их повиноваться, но это будет слышно по всей округе. А можно действовать уговорами и мне кажется, что, каким бы твердым Йон ни был, в этом отношении он все-таки мягче Гудлаута. Но я — конунг, я не могу ходить от человека к человеку, просить и обещать, брать и молить, уходить и возвращаться и унижаться у всех на глазах. А ты можешь?

Я сказал:

— Если все дело в умении унижить себя, я более велик, чем ты.

Мы решили сначала поговорить с Сигурдом, братом Йона. Он пришел сам — он уже слышал о том, что случилось

— Я на все готов для тебя, государь, — сказал он. — Но Йон мне не подчинится, хоть я и его старший брат. Он очень упрям. И это может привести к беде. Он так упрям, что лучше треснет, как сухое дерево на солнце, чем позволит уговорить себя добрым словом. И хуже всего, если он обижен. Тут он, как женщина, раньше чем через

две недели не отгадывает. Я мог бы многое порассказать тебе об этом. Случалось, дома он обижался и не выходил из спального покоя со дня Йона до дня Олава Святого*. Мать ставила ему еду под дверь и умоляла его поесть. Но он наотрез отказывался. Тогда она вместо него наказывала за его проступок нас и не давала нам есть, пока не поест он. Проходила половина лета, и он понемногу оттаивал. Выходил к нам. И требовал, чтобы мы все забыли. А если мы забывали не сразу, он снова дулся и уже не разговаривал с нами целый год. Но брат он хороший!.. — Сигурд не скрывал своей гордости.

— Я понимаю, — сказал конунг и спросил у меня: — Может, ты все-таки попытаешься счастья?

— А больше и некому, — согласился я.

— Ты всегда отличался красноречием, — сказал конунг. — И я знаю мало людей, которые умели бы, как ты, обещать все от имени другого. Обещай ему все, только не то, что принадлежит Гудлаугу. Передай ему также и мое глубокое уважение в придачу. Тебе оно тоже принадлежит.

— Я еще не знаю, чего оно стоит, — сказал я и ушел.

День был прекрасный. Устье реки, через которое нам предстояло переправиться ночью, серебрилось на солнце.



Мне было тревожно, и вместе с тем я был преисполнен торжественности, когда шел беседовать с оскорбленным Йоном из Сальтнеса. Уже наступил вечер, и я понимал: если мы хотим выступить сразу после полуночи, времени у меня в обрез. Если Йон и его небольшой отряд откажутся идти с нами, наше поражение в предстоящем сражении будет более вероятным. Сможет ли наше малочисленное войско победить могущественного врага, если все не будут действовать, как один человек? Да и пойдет ли с нами Вильяльм, если не пойдет Йон? И как поведут себя теламёркцы, поняв, что их упрямство завело их из огня да в полымя? Конунг не благословил меня перед тем, как я отправился на эту важную встречу. Но, думаю, он молился,

* С 24 июля до 29 июля.

а я встречал мало людей, которые умели бы молиться так искренно, проникновенно и почти без слов.

На вершине холма я остановился и посмотрел на море и землю. Не часто случалось мне видеть такую красоту: летний вечер был юн, каким он бывает только после грозы. Лес был еще мокрый, его зеленый плащ был чисто выстиран, а фьорд напоминал синий платок, какой невесты набрасывают на плечи, торопясь на свидание с женихом. Над мной скользили легкие облака, ласточки носились за комарами, словно черные стрелы. Трава налилась влагой, я быстро промок и мне стало холодно.

Я миновал группу людей, лежавших в укрытии. Это был отряд Йона. Я знал каждого из них, мы вместе прошли трудный путь из Вермаланда сюда. Теперь они едва приветствовали меня, между нами возник холод. Я коротко кивнул им.

Мне вдруг стало страшно при мысли, что мой разговор может окончиться ничем. Я упал на колени и долго громко молился Сыну Божьему и Деве Марии. Влага с травы проникла сквозь плащ к моим коленям, голова охладилась и мне стало легче. Вскоре я поднялся и пошел дальше.

Усадьба Сальтнес в Бувике лежала на вершине холма, это было красивое родовое гнездо, но не очень большое. На дворе росли старые дубы. Я подошел к одному из них и помолился еще раз. Если за мной сейчас кто-нибудь наблюдал, пусть видит, что в усадьбу пришел серьезный человек. С гор спускались сумерки. Короткая летняя ночь на цыпочках впрохнула во двор и окружила меня. Я поднялся на крыльцо.

Тогда на порог вышел человек. Я хорошо знал его, он был близок Йону. Он коротко приветствовал меня.

— Меч можешь оставить здесь, — сказал он и показал, где положить меч.

Итак, у меня учтиво отобрали оружие прежде, чем я вошел к хёвдингу, которого мне следовало уговорить вернуться в войско конунга. Я повиновался.

— Разве мы с тобой никогда не ехали на одной лошади? — спросил я.

— Не в эту ночь, — ответил он.

Мы вошли в дом, там сидел Йон.

Это был большой и уютный покой с очагом, пол был устлан можжевельником, как будто в доме ждали гостей. В очаге горели несколько поленьев, красный свет огня смешивался с синими сумерками, струившимися через волоковое окно. На почетном сиденье сидел Йон. Он поднял глаза и кивнул мне, но не сказал ничего.

Я не спускал с него глаз: вид его не обещал ничего хорошего. Иногда Йон казался даже красивым, но это бывало редко. Ему не хватало спокойствия, каким отличался его брат Сигурд. Не была ему свойственна также суровая ожесточенность Вильяльма, который в то же время мог вдруг проявить и детскую доброту. Йон был брюзга. И я понял, что такой он всегда. Эта брюзгливость не была заметна с первого взгляда, но она, как некая сила, таилась в глубине его души и в любую минуту могла выплеснуться на поверхность. Что и случилось в тот день.

Я хотел заговорить с ним, но обнаружил, что мы не одни. У торцовой стены стояла женщина, высокая, худая, седоволосая. Это была высокочтимая матушка Йона фру Гудрун из Сальтнеса. Я кое-что уже слышал о ней, Люди, знавшие ее, рассказывали, что фру Гудрун любит приглашать в усадьбу гостей, но они редко задерживаются там надолго. Я приветствовал ее учтивым поклоном.

Она сухо кивнула в ответ и повернулась к сыну:

— Надеюсь, ты не продашь себя?..

— Нет, — ответил он.

И она вышла.



Теперь я знал, что воля Йона — это ее воля, они были вдвоем против меня одного. Я быстро подошел к Йону и сердито хлопнул его по плечу:

— Ты дерьмо... — сказал я. — Дерьмо потому, что слишком вспылал и не дал конунгу сказать всего, что он хотел. Неужели тебе не ясно, что конунг не может нарушить свое слово? Конунг Сверрир может умереть, не выполнив своего обещания, но нарушить его он не может, и потому он выполняет больше, чем нарушает.

Йон неохотно поднимает глаза, его брюзгливость усиливается.

— Пойми, он забрал обратно свое обещание сделать тебя конюшым лишь потому, что был вынужден привязать к себе человека, менее достойного, чем ты. Этот человек Гудлауг. Можем мы обойтись без войска из Теламёрка? Да или нет? Без них нам города не взять. А если мы его не возьмем, то и не бывать тебе там наместником.

По-моему эти слова были, как стрела, попавшая прямо в сердце. Быть наместником конунга в городе архиепископа Эйстейна, иметь право на четверть всей дани — это не могло не соблазнить бонда из Сальтнеса. Я тут же повысил его доход с четверти до трети.

— Не могу сказать, Йон, сколько это будет в серебре, но знаю, когда придет твой срок, ты ляжешь в землю не бедняком.

Он сказал:

— Я отказываюсь от этого предложения.

Я хватаю со стола рог с пивом — наверное, это был его рог — и быстро осушаю его. Брюзгливость Йона усиливается еще больше, можно сказать, что в покое теперь разит брюзгливостью.

— Срать я хотел на твоего конунга, — говорит он. — Конунг обещал мне, что я буду конюшым, я тогда не потребовал свидетелей, поверил его слову. Но больше я его слову не верю. Даже если он пообещает сделать меня лендрманном над всем Трёндалёгом, он все равно несправедливо обошелся со мной. Несправедливо, потому что нарушил свое слово. Предпочел мне менее достойного человека. Уязвил мою честь. И если теперь он погибнет, это будет его вина, а не моя.

Йон умолкает, он никогда не говорит лишних слов. По-своему, он сообразителен, обычно широкоплечий и статный, он вдруг сутулится, больше у него не будет ни одного светлого дня, сейчас это его единственная радость. Брюзгливость написана у него на лице. Она как будто проступает сквозь кожу и, мне кажется, я заражусь ею, если притронусь к нему рукой. У меня начинают гореть губы. Ведь я пил из его рога. Мне нечего сказать ему. Мои слова увянут и упадут на земляной пол, если попробуют пробиться через броню брюзгливости, которой он сковал свою жизнь.

Надо выбрать, остаться или уйти. Я отворачиваюсь от него и на мгновение закрываю глаза, чтобы дать им отдых.

Тут он говорит:

— Мы сможем прийти к согласию и лучше, чтобы это было сегодня ночью.

Я вздрагиваю и быстро оборачиваюсь к нему. Он говорит тихо и невнятно, словно выкашливает каждое слово. Говорит, что конунг должен собрать своих людей на берегу и сказать им: Я несправедливо обошелся с Йоном. После Сигурда он самый близкий к конунгу человек. Хёвдинг теламёркцев идет после Йона.

— Если конунг так скажет, я не буду требовать от него вознаграждения за ущерб.

— Это невозможно! — кричу я.

— Я знаю, — говорит он.

— Тогда зачем ты этого требуешь?

— Потому что это моя цена, — отвечает он.

Все, я проиграл, мы оба молчим. И не смотрим друг на друга. Я знаю, что время идет и что еще до рассвета мы должны покинуть наш лагерь.



Я начинаю говорить о Киркьюбё, из которого мы со Сверриром уехали очень давно. О моей доброй матушке, фру Раннвейг, ходившей по протоптанным ею тропинкам между хлевом и пекарней и между берегом, где она собирала водоросли на корм скоту, и пастбищем, где она пасла его. Нынче я ничего не знаю о ней. Ничего не знаю о ее боли и горе, о ее мыслях под звездами, об ее одиночестве на ветру, о солнечном свете, который еще может осенять красотой ее старое лицо. Я говорю и об епископе Хрои, этом добром, но не сильном человеке, о котором нельзя сказать, что ему была известна великая истина. Но он был усердным и незаметным труженником в том винограднике, над которым судьба поставила его господином, у него было доброе сердце и да благословит его Сын Божий, от которого не укроется ничего. И еще об Астрид.

О той молодой и красивой женщине, которая была любовницей Сверрира, а потом стала его женой и подарила ему двух сыновей. О моей зависти и о страстном желании обладать ее молодым и прекрасным телом. Только раз я видел его во всей его чистоте, не скрытое одеждой, видел ее влажные губы и обнаженные плечи, откинутае

на ложе, которое принадлежало не мне. Да! И больше ни разу, Но никто не должен знать об этом. Считай, что я ничего не сказал тебе.

Он хочет привезти ее сюда.

Ее и их двух сыновей. Нет, нет, моя добрая матушка, фру Ранн-вейг, никогда не приедет сюда. Ты понимаешь, что я с трепетом жду того дня, когда Астрид сойдет на берег и не заметит меня, потому что первым увидит его. Но я увижу ее.

Ты понимаешь меня?

Будешь молчать о том, что я рассказал тебе?

Йон встает, протягивает мне руку. Мы стоим друг перед другом, два воина — одна судьба. Теперь я знаю, что он пойдет со мной.



Тогда в покои входит фру Гудрун, его старая, седовласая и суровая мать. Она наливает сыну пива, мне — нет. И уходит, не взглянув на меня.

Йон садится, им опять овладела брюзгливость.

Мы сидим вместе и молчим, проходит час. Я пробую молиться, но не верю, что это поможет, мне кажется, будто я вот-вот скорчу Сыну Божьему рожу и скажу ему: Видишь, ты бессилен. Во дворе слышится чей-то голос.

В дом заходит Эрлинг сын Олава из Рэ, тот, что ездил с Сигурдом к ярлу Биргиру за оружием. Эрлинг пришел с сообщением. Он передает его четко и коротко. Сигурд отдает младшему брату Йону право на усадьбу. Но за это Йон должен вернуться к конунгу со всеми своими людьми.

Йон говорит:

— Я не поступлю несправедливо с моим братом, если он по глупости несправедлив сам к себе.

Он встает в возбуждении, мне кажется, что сейчас он видит перед собой брата и говорит ему:

— Ты думаешь, я могу забрать у тебя усадьбу? Думаешь, я имею право нарушить закон, потому что конунг нарушил данное мне слово? И разве у тебя нет сына? Разве я имею право отобрать усадьбу у твоего сына и отдать ее своему, если у меня когда-нибудь будет сын? Да или нет? Ведь, если я отберу у тебя усадьбу, я тем самым отберу ее

и у твоего сына. А если я так поступлю, будешь ли ты потом вправе отобрать ее у моего сына и отдать своему? Да или нет? Что скажешь? — Он поворачивается к брату, которого тут нет, и презрительно смеется в темноте, не замечая ни Эрлинга сына Олава из Рэ, ни меня.

Я мигаю Эрлингу, и он уходит. Он пришел сюда с богатым даром, а уходит, как нищий.

Значит, все бесполезно, но теперь я рассердился. Я подхожу к очагу и делаю то, что не имею права делать в чужом доме: я ворошу в очаге угли так, чтобы вспыхнул огонь.

— Из-за своей брюзгливости ты забываешь о гостеприимстве, — говорю я. — Но раз я знаю, что это не твоя усадьба и что она не будет твоей, то нельзя считать, что я обошелся с тобой неучтиво.

Он встает, и я, не скрывая презрения, сажусь на почетное сиденье, где только что сидел он.

— Ведь это не твое почетное сиденье? — говорю я, передразнивая его. — Если усадьба не твоя, то и почетное сиденье не твое, да или нет? Если усадьба не твоя, то у тебя нет права сидеть на почетном сиденье! Да или нет, Йон из Сальтнеса?

Он не отвечает, от него разит брюзгливостью, он пропитан ею насквозь. Я встаю и начинаю ходить вокруг стола. Выглядываю в волоковое оконце, словно хочу увидеть звезды.

— Уже полночь, — говорю я, — пока еще никто не смеется над тобой. Но скоро тебя поднимут на смех.

Он вскидывает на меня глаза — вот оно, слабое место в его непроницаемом плаще брюзгливости. Я говорю, что люди, конечно, будут смеяться над ним.

— Пусть не завтра, когда конунг поведет нас в сражение, а ведь ты знаешь, каков будет его исход: без твоих людей нам не победить. Но те, кто переживут это сражение, — все погибнуть не могут, — будут смеяться над тобой. Они не возненавидят тебя, хотя найдутся и такие, но смеяться будут. Смеяться над твоей брюзгливостью, над тем, что ты мог стать наместником конунга в Нидаросе, но отказался только из-за своей брюзгливости. Из-за того, что ты дуешься по пустякам.

Над тобой будут смеяться и в дружине ярла Эрлинга, и за его столом, и на его зимних пирах за рогом пива. Все будут смеяться над воином, который из-за своей брюзгливости предпочел отправиться

в ад. Который сидел в своей родовой усадьбе кислый, как вчерашнее молоко. А потом будет написана сага, в этом не сомневайся, и скальды сочинят о тебе уничижительные висы, какие сочиняют обо всех, кто им не по душе. Они-то не упустят случая сочинить висы о таком отъявленном брюзге.

Йон весь съезживается, и его рука ищет меч. Меч лежит на скамье, но Йон не хватает его. Из-за своей брюзгливости он не может даже рассердиться по-настоящему. Я иду вокруг стола и, как будто случайно, натыкаюсь на него, наступаю ему на ногу и даже не замечаю этого. Потом смеюсь с презрением, сначала тихо, потом громче и спрашиваю, не позвать ли их сюда?

— Кого? — удивляется он.

— Твоих людей. Они тоже заслуживают доброго смеха. Пусть посмеются над своим хёвдингом-брюзгой!

Я заставляю его отпрянуть, и от этого он не становится более сговорчивым. До сих пор я говорил, словно про себя, а теперь обращаюсь к нему. Но тут же обрываю себя:

— Пусть черт уговаривает тебя! — Я опять презрительно смеюсь. — Ты тут сгниешь от своей брюзгливости, и скальды воспоют тебя.

Неужели ты не понимаешь, что однажды они сочинят висы про твоего сына? Не про тебя самого, ты слишком мрачен для этого, но если однажды ты подобрееешь и в это время тебе подвернется женщина, которую ты наградишь ребенком, у тебя может родиться сын. И скальды сочинят висы о сыне Йона Брюзги из Сальтнеса. Нелегкой будет его жизнь. Но сын такого человека, как ты, и не заслуживает лучшей участи.

Он возражает. Машет руками и пытается что-то объяснить, повторяет то, что уже сказал. Я не слушаю его. Отодвигаю в сторону. Уже светлеет. Времени уже не осталось. Я говорю:

— Мне пора. Но позволь сказать тебе, — теперь я кричу, — что можешь кинуть себе на здоровье, ты нам не нужен, ни ты, ни твои люди, лучше умереть, захлебнувшись собственной кровью, чем жить рядом с таким, как ты. Покойной ночи!

Он протягивает руку.

Но тут входит фру Гудрун, его высокочтимая старая мать.

— Ты не продал себя? — спрашивает она.

— Нет, — отвечает он и становится еще более кислым, чем был.



Больше я ничего не могу сделать, я говорю, что уйду и никогда сюда не вернусь:

— Со мной здесь обошлись несправедливо. Я не благодарю за то, чего не получил. Не помню, чтобы я что-нибудь получил здесь. Но, — говорю я, — одно я забыл передать тебе, Йон. Конунг сказал: После того, как мы возьмем Нидарос, Йон будет три ночи делить со мной мое ложе.

Я делаю шаг к двери, они как будто сдаются, Йон и его мать. Я говорю:

— Время не терпит. Идешь или нет? Я мог бы обещать, что ты будешь сюсюломанном* в Упплэнде, у меня есть на то полномочия. Но срать я хотел на такого брюзгу, как ты! Я должен только передать тебе слова конунга. Три ночи ты будешь делить с конунгом его ложе. Он сам отведет тебя в свою опочивальню. На глазах у всех.

Фру Гудрун выдыхает у меня за спиной:

— Четыре ночи...

— Нет, — говорю я. — Три.

Йон говорит:

— Четыре ночи или я не иду. Ясно?

— Нет, — отвечаю я, — три. И смотри, как бы их не стало только две, жирный мерин! — кричу я в лицо этому худощавому человеку. — Ладно, четыре, черт бы тебя подрал! А теперь идем!

Он идет. Но сперва делает то, что заставляет меня почувствовать к нему нежность: прежде чем уйти на битву, он подходит к своей старой матери и обнимает ее.

Летняя ночь светла, к Йону возвращается его рассудительность и он произносит слова, которые могут все перечеркнуть:

— Прежде чем мы снимемся с места, все воины должны узнать об обещании конунга.

Мы идем, и его воины следуют за нами.

* Должностное лицо конунга.



Конунг радуется нам, но Йон уже опять недоволен. Он говорит:

— Мне неприятно видеть конунга, который нарушил данное мне обещание. Поэтому обещание, которые ты передал мне через Аудуна, должно стать известно всем уже нынче ночью. Это моя цена. Ты должен сам обойти всех, ты должен заплатить эту цену.

Но конунгу не пристало платить такую цену в ночь перед сражением. Он не может ползать по холмам и полям от одной группы воинов к другой и говорить: Если мы захватим Нидарос, этот Йон из Сальтнеса будет четыре ночи делить со мной мое ложе. Конунг вынужден отказаться. Тогда Йон отказывается идти с нами и хочет увести своих воинов.

И тут приходят все, один за другим, и уговаривают его. Приходит Сигурд, Йон шипит на него, и Сигурд уходит. Приходит Вильяльм, третий брат, ни у кого в нашем войске нет на руках столько крови, как у него. Йон шипит на него, и Вильяльм уходит.

Потом его пробует уговорить мой добрый отец Эйнар Мудрый и мой любимый друг монах Бернард. Бесполезно. Приходит Симон. Он исполнен злобы, его, наверное, даже радует такой поворот дела. Он говорит:

— Аудун как близкий друг конунга обойдет всех и расскажет о соглашении, к которому пришли нынче конунг и Йон. Ближайший друг Йона будет сопровождать его как свидетель.

— Мой близкий друг — это я сам, — говорит Йон.

И мы ползем по вереску и по траве от одной группы воинов к другой, они лежат в укрытии и ждут. Мы уже насквозь мокрые от росы, время не терпит, надо соблюдать тишину, но обещание, данное конунгом, должно быть доведено до сведения каждого воина.

Сразу после этого люди Йона садятся в плоскодонки и первыми переправляются через устье Гауль.

Потом переправляемся и мы, все быстро высаживаются на берег. По дороге к Нидаросу мы видим, как начинают дымить сигнальные костры: нас ждут.

Но одна новость доставила мне радость в тот день: оба брата из усадьбы Фрёйланд у подножья Лифьялль, Торбьёрн и Коре, остались

живы и снова присоединились к нам. Им удалось украсть лошадь и найти нас. Сейчас они в войске вместе со всеми.

Вернулся и Бальдр, мой пес, и тоже идет с нами к городу конунга Олава Святого.



На склоне с южной стороны дороги, что ведет к городу, мы строим свое войско. У нас за спиной низкий склон, поросший редкими соснами и березами. Вдоль дороги тянется плетень, на расстоянии двух выстрелов из лука от нас с вершины холма сбегает ручей. По его руслу растет низкий густой кустарник. В легкой сетке дождя нам виден город. Дорога туда идет мимо многих усадеб, время от времени она вдруг исчезает из виду. Наше войско состоит из двух сотен воинов. Все, кроме двоих, вооружены. Безоружными идут мой добрый отец Эйнар Мудрый и монах Бернард.

Перед нами стоит войско ярла, шесть сотен человек, а может, и больше. Между нами расстояние в три или четыре полета стрелы. Мы еще не знаем, в Нидаросе ли сам конунг Магнус и его отец ярл Эрлинг и сами ли они поведут в сражение своих людей. Как бы там ни было, предводитель у них умелый: он разделил войско на две части и одной велел спрятаться за плетнем. Однако наши лазутчики проведали об этом. Это разделение вражеского войска опасно для нас. У наших недругов достаточно воинов, чтобы часть из них удержать, а потом бросить в сражение в самое неподходящее для нас время.

День только начался. Конунг сказал:

— Мы нападем в час пополуденной мессы.

Он держался спокойно и с большим достоинством, я никогда не видел, чтобы он был так полон бурлящей, горячей силы. Он тоже хотел разделить наше войско на две части, но сказал об этом после того, как обсудил свое намерение с самыми близкими ему людьми. Воинам, у которых были самострелы, велели повесить их за спины, чтобы враг, увидев их, не мог понять, вооружены ли наши люди обычными луками или самострелами. Потом наши лучники должны были подняться по дороге, что шла слева, и построиться в боевой порядок на вершине холма так, чтобы оказаться выше противника

на расстоянии двух полетов стрелы. Рожечнику Рейольву из Рэ было велено идти вместе с ними.

Сам конунг остался с основными силами, и я тоже. План конунга заключался в следующем: по его знаку рожечник Рейольв должен подать сигнал, тогда лучники с самострелами быстро подбегут к врагу на расстояние выстрела и осыплют стрелами тех, кто спрятался за плетнем. В этом случае их стрелы минуют основную часть вражеского войска и нас самих. Мы же, пригнувшись, должны броситься на недругов, врезаться в их главные силы и, нанеся первый удар, быстро отступить назад. Если они последуют за нами, в их плотных рядах появятся бреши и мы ими воспользуемся. Если же не последуют, мы снова ожесточенно нападём на них и так же внезапно отступим назад. Таков был план Сверрира. Что он принесет нам, жизнь или смерть, будет ясно еще до захода солнца.

К нам подходит один из лазутчиков, он наблюдал за врагом с холма у нас за спиной. Он говорит конунгу:

— Сюда из города движется толпа людей. Мне показалось, что всадник на лошади держит над ними какой-то стяг. Впереди и позади них идут по трое священников с кадилами.

Бернард говорит:

— Здесь есть только одна святыня, в честь которой они стали бы кадить курениями не в храме. Они несут стяг конунга Олава Святого.

Сверрир сразу сообразил, как опасно, что стяг конунга Олава Святого вынесли из церкви Христа и теперь несут нам навстречу. Его именем он постоянно подбадривал своих людей на пути из Вермаланда сюда. Не подумают ли наши люди, увидев стяг Олава Святого, который, как они полагали, сидит теперь одесную Создателя, что святой конунг отвернул от нас свой лик? Глаза Сверрира темнеют: бесчестно со стороны наших врагов использовать небесную святыню в земной борьбе. Когда придет их час, они понесут за это суровое наказание. Но не предстанем ли мы пред судом Божиим раньше их?

Мы замечаем, что главные силы врага немного повернули в сторону. Теперь они стоят лицом к нашим лучникам, находящимся на холме над ними. Очевидно, они решили сперва напасть на лучников, и, конечно, они побегут бегом — ведь, чем ближе они к ним подбегут, тем меньше преимущества останется у лучников с их самострелами. Если мы захотим помочь лучникам, нам придется подняться

на холм и мы сразу лишимся того преимущество, какое было у нас до этого, и тогда люди ярла, что прячутся сейчас за изгородью, нападут на нас.

Конунг говорит:

— Скорей всего они не начнут наступления, пока шествие со стягом Олава Святого не подойдет к ним. А такие шествия движутся медленно, ведь по пути священники читают молитвы, и они не торопятся. Значит, у нас еще есть время изменить свой план. Но есть ли у нас новый план?

Никто не отвечает, и конунг говорит:

— Если Рейольв из Рэ незаметно проберется вдоль ручья, он окажется у врага за спиной.

Я не сразу понимаю, что у Сверрира на уме, и прошу его оказать мне честь и разъяснить смысл его слов. Он говорит:

— Рейольв, который сейчас находится наверху с лучниками, должен пройти руслом ручья и выйти врагу в тыл, пусть ползет по дну, если нужно, но, главное, пусть не замочит рожок. Дальше он неожиданно выскочит из кустов и протрубит им в спину сигнал конунга. Сверрира, они повернутся к нему и начнут пробиваться сквозь кусты к ручью, полагая, что мы спрятали там часть наших людей. И если мы тогда без промедления нападём на них, чтобы встретить победу или смерть, мы разобьем их ряды. А наши лучники тем временем засыпят стрелами тех, кто скрываются за плетнем.

Мы одобрили план Сверрира, он был и хитрый, и достаточно простой, его было легко осуществить. Но рожечник, который протрубит сигнал конунга за спиной у врага, вряд ли сумеет после этой битвы принять участие в других. Я говорю конунгу об этом. Он отвечает:

— Пусть лучше погибнет один, чем все.

Теперь шествие видно уже и нам, надо спешить. Конунг просит меня бегом подняться на холм и передать рожечнику его приказ. Такое поручение небезопасно. Вражеская стрела легко может настичь меня, ближайшие воины врага стоят совсем рядом. Однако, увидев меня бегущим, они, скорей всего, решат, что я спешу с важным сообщением, и захотят перехватить меня. Конунг говорит, что Рейольв должен протрубить свой сигнал, как только стяг Олава Святого достигнет первых рядов врага.

Я кланяюсь конунгу и ухожу. Иду напрямик через наши главные силы, лица людей почернели от напряжения. Два брата из Сальтнеса, а также Хрут и Гудлаут растолковывают своим людям новый план конунга. На ходу я могу только издали кивнуть своему доброму отцу Эйнару Мудрому. Он сидит у ручья и разбирает целебные травы, которые скоро ему понадобятся. Он кивает в ответ и слабо улыбается.

Я делаю круг, поднимаясь на вершину, с другой стороны мне лучше видно расположение врага, чем снизу из нашего лагеря. Положение тех, кто стоит внизу, достаточно опасно. Врагов великое множество, я скрываюсь, как могу, перебегаю через открытые места и благополучно добираюсь до рожечника.

Здесь же и Йон из Сальтнеса, я объясняю ему, в чем состоит новый план конунга. Он коротко кивает, на этот раз он быстро все понял. Потом я отвожу в сторону Рейольва. Там я передаю ему волю конунга.

Сперва он внимательно осматривает свой рожок, словно боится обнаружить какой-нибудь недостаток в тонких кольцах бересты. Потом жестко усмехается и высказывает сожаление, что у того, кто так долго упражнялся, чтобы правильно протрубить сигнал к сражению, будет возможность протрубить его всего один раз. Но один раз лучше, чем ни одного.

Я веду его к ручью и объясняю, что он ему следует делать. Мы видим шествие, стяг конунга Олава Святого развеивается на ветру под морозящим дождем.

— Вот ручей, — говорю я. — Пробирайся сквозь кустарник вдоль воды. Если надо, скройся в воде, Любой ценой подползи к врагу как можно ближе, и, когда стяг Олава Святого окажется во главе войска, ты выскочишь у них за спиной и протрубишь сигнал конунга Сверрира.

— Благодарю тебя, — говорит он и учтиво кланяется.

Мы садимся на поваленное дерево, чтобы передохнуть. Скоро шествие должно показаться из-за поворота дороги, я предполагаю, что воины приветствуют стяг громкими криками. Вот тогда Рейольв должен сползти к ручью. Он молчит, но потом говорит, что часто вспоминает свою усадьбу, она стореда, ее спалили люди ярла Эрлинга.

— Может, я мог бы заново отстроить ее, — говорит он, — но теперь это сделают другие. Сына у меня нет.

— Дома, у меня осталась женщина, — говорит он, помолчав. — Я все-таки обычный мужик и еще не старый. Ее зовут Хельга. Бывают женщины и покрасивей, чем она. Но все равно передай ей поклон от меня, если останешься жив, когда все будет уже позади. Не думаю, что тебе повезет, если ты захочешь попытаться у ней счастья. Она не ложится в постель, с кем попало, но со мной ложилась охотно. Скажи ей, что я был несчастлив, когда мне пришлось покинуть ее, и, если случится так, что мы с ней встретимся в другой жизни, я все еще буду любить ее.

Я обещал передать Хельге его поклон и протянул ему комочек меда, который носил в кожаном мешке завернутым в тряпицу. Он поблагодарил меня, но губы у него дрожали, и он выплюнул мед.

На дороге показывается шествие, теперь оно от нас на расстоянии, не превышающем четыре полета стрелы. Воины внизу громкими криками приветствуют стяг конунга Олава Святого. Я поворачиваюсь к Рейольву и, глотнув воздуха, слегка хлопаю его по плечу. Он поднимается и идет.

Когда он скрывается из глаз, я отползаю назад и замечаю, что сижу на склоне между ногами двух лучников, приготовившихся стрелять из самострелов. Я отползаю подальше и обнажаю меч. Глаза мои следят за ручьем и кустарником, растущим по его узкому руслу. Один раз мне кажется, что я вижу, как там колышались ветки. Может, это вспорхнула птица или налетел ветер. Мне уже слышно, как священники поют молитвы, — шествие достигло уже последних рядов построения.

Мне видна лишь малая часть нашего войска, большая — скрыта холмом. Я слышу, как громко стучит мое сердце, недруг внизу спланирует свои ряды. Воины стоят плечом к плечу, они образовали единое заграждение из щитов и кричат в нашу сторону всякие оскорбления. При этом они топают ногами, это похоже на грохот тяжелых волн, бьющих о берег, и всячески поносят конунга Сверрира и его людей. Некоторые хёвдинги считают, что именно так выгодно начинать сражение. Это внушает людям мужество. Сердце у меня готово разорваться, есть что-то жуткое и вместе с тем смешное, когда шесть сотен человек ритмично топают то левой, то правой ногой и орут без конца: Ко-нунг дерь-мо!.. Ко-нунг дерь-мо!.. Наконец стяг Олава Святого достигает головы построения, сейчас самое время, пока они

не ринулись в бой. Мои глаза прочесывают лесок за спиной у врага, но ни одного живого существа там не видно. Я опускаю голову, мне ясно: план конунга Сверрира, такой простой и в то же время хитрый, все-таки не удался, потому что человек, который должен был его осуществить, не оправдал нашего доверия.

И тут же внизу звучит зов рожка — пламя, взметнувшееся сквозь рев шести сотен глоток. Я вижу человека, бегущего сзади к врагу, он смешивается с ним, и сигнал его рожка звучит, как победный клич. И наши идут в наступление.

Над моей головой в неприятеля, укрывшегося за плетнем, летят наши стрелы. Люди за плетнем вскакивают, кое-кто падает, среди них возникает паника, между выстрелами лучники бегут к ним. Под холмом слышится топот бегущих ног, это наши полторы сотни воинов. С неистовством и остервенением они бросаются в схватку. Вдруг лошадь, на которой сидит воин со стягом, вздымается на дыбы и несется назад. Она давит своих, всадник пытается сдержать и повернуть ее, но от этого хуже ему и его людям. Стяг падает на землю, теперь вокруг всадника и стяга уже наши воины. Я бросаюсь в их ряды и больше не вижу того, что происходит. Добраться до дерущихся трудно, наши напирают и враг в ужасе бежит, я наступил на кого-то и его вой слышен сквозь вой и шум битвы. Молодой парень впереди меня, один из наших, хватает шест со стягом и размахивает им в воздухе, на конце шеста развевается стяг конунга Олава Святого. Теперь он у нас.

Враг в смятении, наши вопят, чтобы заставить его повернуть назад, но это уже не нужно, враг и так отходит и наши преследуют его. Я вижу, что наши лучники стреляют теперь в направлении города. Должно быть, враг обратился в бегство. Меня вдруг охватывает ярость. Неужели я до конца сражения так и не обагрю свой меч кровью врага? Я бегу так, что у меня жжет в груди, спотыкаюсь о трупы. На дворе какой-то усадьбы меня окружают три воина. Они готовы зарубить меня, но тут в одном из них я узнаю Симона, других я не знаю, но все они наши люди. Мы обнимаемся и тут же пускаемся в погоню за отступающим врагом.

На земле много мертвых и раненых. Есть и наши. Я пробегаю мимо моего доброго отца Эйнара Мудрого, стоящего на коленях перед одним из раненых. Это теламёркец, он ранен в живот, отец при-

жимают его колени к груди, чтобы рана не зияла, как открытая пасть лошади. Я бегу дальше. И наконец попадаю в Нидарос, в город конунга Олава Святого, всю жизнь я мечтал увидеть его. И вот я его вижу.

Вот что я помню о парне, склонившемся над трупом:

Он говорит, что это его брат.

— Мы были в разных станах, и я зарубил его. Один из нас должен был умереть, но лучше бы это был не он.

Парень уходит.

Вот что я помню об отрубленной руке:

Я пробегаю мимо отрубленной руки. Человека, которому ее отрубили, рядом не видно. Наверное, он в доме.

Вот что я помню о корабле, только что отошедшем от причала:

Я оказался в Скипакроке, что в самом устье реки Нид, во фьорде полно кораблей, это воины и часть горожан бегут из Нидароса. На корме корабля, о котором я говорю, стоит высокий, худощавый человек и смотрит на город. Взгляд его останавливается на мне. На нем облачение священника. Он меряет меня взглядом. Тогда я выхватываю у одного из наших людей лук и пускаю в него стрелу. Но промахиваюсь.

Кто-то говорит:

— Это архиепископ Эйстейн. Он бежал.

Вот что я помню о рожечнике Рейольве из Рэ:

Я как раз подбежал к конунговой усадьбе, когда его принесли на носилках. Он еще жив. Из ран на груди течет кровь, голова свесилась на бок. За носилками идет мой добрый отец Эйнар Мудрый. Под мышкой он несет рожок Рейольва. Рожок сломан, видно, кто-то наступил на него ногой.

Вот что я помню о Хруте, хёвдинге теламёркцев:

Хрут сидит в воротах одной усадьбы, он, похоже, не ранен.

— Я хотел попасть сюда, и вот я здесь, — тихо говорит он, и теперь я вижу, что с ним что-то не ладно. — Я хотел отомстить и отомстил.

Хрут падает навзничь и умирает.

Вот что я помню о конунге:

Он пришел, как раз когда Хрут упал. Мы вместе поднимаем его за плечи. Крови на нем нет. Должно быть, его сердце не выдержало

напряжения битвы. В доме мы укладываем Хрута на длинный стол, конунг снимает с себя короткую куртку и подкладывает ее под голову мертвому хёвдингу.

— Ни ярла Эрлинга, ни конунга Магнуса в Нидаросе не было, — говорит мне Сверрир. — Против нас сражались только их люди. Поэтому нас ждут неожиданности.

Он тяжело дышит после сражения, но не ранен, наверное, он испытывает гордость, но и разочарование тоже.

— У нас впереди еще много дней, — говорю я.

— И не все они будут одинаково хороши, — отзывается он.

Он говорит, что теламёркцы будут считать, что им оказана честь, если мы положим Хрута на ложе конунга в его усадьбе. Три дня и три ночи он будет там лежать.

— Значит, Йону придется ждать своей очереди? — спрашиваю я.

— Да, — отвечает конунг. — Скажешь ему об этом?

Это то, что я помню о сражении за Нидарос.



ЗАХВАЧЕННЫЙ ГОРОД

Когда сражение за город было закончено и в некоторых раненых еще теплилась жизнь, твой отец конунг, йомфру Кристин, и я пошли в церковь Христа, чтобы преклонить там колени. Мы много слышали об этой церкви, о роскоши и величии каждого ее свода и о благородном настрое души тех, кто ее возводил. Был ясный и теплый летний день, ласточки стремительно носились над городом и над морем. Церковь окружали высокие деревья, из конунговой усадьбы сквозь листву были видны только ее очертания. В груди у меня еще жгло после сражения, конунг прихрамывал на правую ногу. С нами для охраны шел один воин.

В утлу кладбища мы встретили двух человек с носилками, на них лежал покойник. Мы отошли в сторону и, стоя лицом к носилкам, с опущенными головами помолились за усопшего. Потом подняли голвы. И увидели церковь.

Я столько думал об этом величественном храме с медными крышами, в которых то отражались звезды, то играло солнце!

Таким он представлялся мне, когда я по ночам молился на коленях в нашем сложенном из камня доме в Киркьюбе. Этот храм, как дорогое украшение, сиял в моем тоскующем сердце, когда я вспоминал Астрид, ставшую



женщиной Сверрира — любовницей и женой. Поняв, что они слились в жарком объятии, я пытался на ветру остудить свою страсть. И тогда я нашел, — хоть и молчал об этом, — утешение в мыслях о том, что придет день и мне будет оказана милость увидеть этот величественный дом Божий в Нидаросе и помолиться там.

Он был точно такой, каким его описывали паломники и странники, вернувшиеся оттуда в наше маленькое островное царство. Тяжелый, словно вросший в землю, и в то же время легкий, подобный облаку, плывущему по небу. Исполненный достоинства и в то же время веселый, он мог многое обещать кающейся грешной душе. Но одно оказалось для меня неожиданным: распятие из черного камня, обрамленное позеленевшей медью и прикрепленное над одним из высоких порталов храма. На тело Христово упал луч солнца и, отразившись, попал мне в глаза, черные кровавые слезы текли из глаз Христа, а жар медного обрамления обжигал мне кожу. Я упал на колени и стал молиться.

И твой отец конунг тоже упал на колени, и мы вместе, на коленях, двинулись к огромному дому Божьему. Послышалось пение, доносившееся ниоткуда и заполнявшее всю церковь благозвучием, приподнимавшем ее и заставлявшем парить в воздухе. Навстречу нам плыла дымка благовоний, я различал ее в синеватом воздухе, она была прозрачна, словно душа, направлявшаяся к вечному покою, и в то же время это был слабый земной привет моим беззащитным глазам.

Я прикоснулся лбом к прохладной земле и молился, постепенно все стало на свои места. Я поднял глаза: Христос снова висел на кресте, и пока я полз на коленях к боковому приделу, который, как я догадался, был капеллой Марии, мысли мои сосредоточились на Сыне Божьем, жившем когда-то на нашей кровавой земле. Тогда же мне пришла в голову мысль, которую я сперва отогнал. Кто-то точно принуждал меня думать о архиепископе Эйстейне. Я видел, как он покидал на корабле захваченный нами город. Вернется ли он когда-нибудь обратно? Говорили, что он умный и твердый человек. Я вспомнил все, что слышал о нем: жалкие кающиеся грешники, нарушившие Божьи заповеди, при нем уже не могли искупить свой грех, заплатив церкви, как раньше, чеканной серебряной монетой. Они должны были платить чистым серебром: для них это означало двой-

ное наказание, для архиепископа — двойной доход. На эти деньги он добывал в горах камень, приглашал зодчих и умельцев из далеких стран нашей прекрасной земли. Грехи и серебро стали краеугольными камнями этого великолепного дома Божьего в Нидаросе.

Я больше был не в состоянии сосредоточить свои мысли на страдающем над нами Христе, не мог я молиться и о конунге, стоявшем рядом со мной на окровавленных коленях. Вместо этого я молился о моей доброй бедной матушке в Кирккюбё, и тогда на мою душу снизошел покой.



Мы хотели проползти на коленях вокруг этого великолепного дома Божьего, но когда оказались позади хоров, нас остановило странное зрелище. Несколько человек рыли могилу у стены церкви, рядом на носилках лежало много покойников, там же собрались несколько священников. Певчий махал кадилом.

Конунг разрешил людям найти и похоронить в освященной земле своих родичей, погибших в битве за город. Мы оказались свидетелями последнего пути павших. Два монаха занимались покойниками, они выравнивали носилки, чтобы павшие лежали ровно и пристойно. Сперва они хотели выровнять носилки по веревке, но не могли порешить, какой конец носилок следует выравнивать, изголовье или изножье. Они долго пререкались, а я тем временем смотрел на ближайшего покойника. Борода у него была окровавлена, но в остальном казалось, что он просто спит. Один монах держал его за голову, другой — за ноги, никто из них не собирался уступать, по их перебранке было ясно, что у них большой опыт погребения покойников.

Мы ушли.

Телохранитель следовал за нами, как тень, он не произнес ни слова.



Мы подошли к капелле Марии, у входа Сверрир остановился. Он стукнулся головой о каменную стену и рассек себе лоб, выступило несколько капель крови. Повернувшись к телохранителю, он схватил его за грудки и начал трести.

— Я тебя ненавижу, — тихо сказал он, — ненавижу! Ступай к тому, кто послал тебя сюда, и плюнь ему в ухо!..

Телохранитель побледнел, но сдержался и ответил, что обязан охранять жизнь конунга.

— Мне приказано не отходить от тебя дальше, чем на пять шагов. Если тебя убьют, я заплачу за это своей жизнью. Сигурд из Сальтнеса так и сказал: Умрет конунг, умрешь и ты! Поэтому я не уйду.

Конунг снова встряхивает его, и он не сопротивляется, но когда конунг отбрасывает его от себя, он возвращается и снова встает в пяти шагах от нас. Конунг орет:

— Я этого не выдержу! Плевать я хотел на всех вас! Не нужна мне никакая охрана! Не нужен это камень на шею! Я вольная птица! Мне не нужна клетка!

Телохранитель не отвечает, он держит меч, Сверрир стонет и говорит:

— Не ходи за нами хотя бы в церковь. Не хочу, чтобы и там за мной ходил надсмотрщик. Хочу встретить Сына Божьего, как свободный человек! Ты останешься снаружи!

Но телохранитель говорит, что Сигурд из Сальтнеса не разрешил ему оставаться снаружи, если конунг войдет под своды церкви. Его приказ трудно и толковать иначе: не отходить от конунга дальше, чем на пять шагов. Ни днем, ни ночью. Никогда не отходить дальше, чем на пять шагов.

Конунг снова кричит:

— Но это же дом Божий!

Телохранитель отвечает:

— Твои враги могли укрыться и в доме Божьем.

Голос Сверрира звучит грубо, из него исчезло все благозвучие:

— Спрячь меч в ножны!

Телохранитель говорит:

— Мне приказано всегда держать его наготове!

— Но можно ли полагаться на тебя самого?.. — вдруг спрашивает Сверрир, и в его глазах мелькает недоверие. — Может, на тебя тоже нельзя полагаться?..

Телохранитель не отвечает. Он не понял вопроса.

Ум его с ранен, и я вдруг узнаю его: это он пытался сосчитать мертвых у озера в Ямталанде, но, видно, высокое искусство счета оказалось ему не по силам. Я говорю ему, чтобы помочь конунгу:

— Ты не мог даже сосчитать мертвых!..

Он смотрит на меня и не понимает. Нас отделяет друг от друга пять шагов.

Конунг краем плаща вытирает с лица пот и слезы. Он тихонько бранится.

Мы входим под своды церкви.

Телохранитель идет за нами.



Мы входим в капеллу Марии и опускаемся на колени. Здесь висит ее изображение с Сыном Божиим на руках, на губах добрая улыбка. Я смотрю на нее. И вижу: когда шевелятся мои губы, она тоже шевелит губами, словно произносит ту же молитву. Сюда не долетает ни звука. Но слабый солнечный луч проникает в окно и ломается о колонну, плывет по морю пыли и сгорает у меня перед глазами. Стены капеллы темно-зеленые, Дева Мария — в красном. Мы на коленях подползаем к ней.

И тогда я вижу: она уже не держит на коленях Сына Божьего, на коленях у нее моя добрая матушка, фру Раннвейг из Кирккюбё. Значит, матери нет больше среди живых. Вся белая, она покоится в объятиях Девы Марии, она не улыбается и тем не менее в ее прекрасном лице видна грустная радость. Она похожа на Деву Марию. Она — ее дочь, а я ее — сын. Я не чувствую горя из-за того, что моей матери нет больше в живых. Я рад за нее, рад, что годы ее одиночества кончились, что она наконец там, где должна быть. Теперь мне понятно, почему я избежал смерти и опасности на своем долгом пути сюда. Она сидела у ног Божьей Матери и молилась обо мне, и Дева Мария передала ее молитвы Тому, кто правит всем.

И все-таки я плачу, узнав, что моей доброй матушки нет больше в живых. Я поднимаюсь и тихо выхожу из капеллы.

За мной идут конунг и телохранитель.



Когда мы со Сверриром возвращаемся в конунгову усадьбу, к нам подходит человек и говорит, что он один из ваятелей, работающих в

церкви Христа. Он хочет знать, должен ли он продолжать начатую работу.

— Или я поступлю правильной, если на лето прерву работу? Ведь меня нанимал архиепископ Эйстейн, а теперь мне не к кому обратиться, кроме тебя.

— Продолжай работу, — говорит конунг.

— Но, государь, — говорит ваятель, его зовут Леонард, он ирландец, — ты ведь не знаешь, чью голову я рублю в камне. Она еще не готова, но ты можешь ее увидеть.

— Узнаешь? — спрашивает он и показывает на незаконченную мужскую голову, высеченную из камня.

— Я бы тоже не отказался срубить эту голову, — отвечает Сверрир. — Наша встреча с конунгом Магнусом в Тунсберге была короткой, но я узнал его.

— Эта работа не так легка, как кажется, — говорит Леонард. — Конунг Магнус — ничтожество. Я говорю это не из лести, у меня нет привычки льстить каждому новому конунгу. Но, тем не менее, конунг Магнус — ничтожество. Изваять же в камне ничтожество может только мастер. А я истинный мастер!

— Я в этом не сомневаюсь, — говорит конунг.

— Вопрос в том, — продолжает Леонард, — должен ли я продолжать работу над головой конунга Магнуса или должен подождать, пока он вернется обратно? У меня привычка все говорить прямо, государь. Я не люблю откладывать работу, а потом снова принимать за нее.

— Продолжай работать, — говорит Сверрир. — Когда ты вырубшь конунга Магнуса в камне, над-юсь, он уже будет покоиться у церковной стены.

— Ты не мелочен, — говорит Леонард. — Мне бы хотелось вырубить и тебя.

— Этого хотят многие, — отвечает конунг. — Но каким инструментом ты пользуешься?

— Каждый пользуется тем инструментом, какой ему больше по душе. Мой инструмент — резец. У тебя красивая голова, и ты не ничтожество, но что-то в тебе есть, чего я еще не понимаю. И пока не пойму, не смогу начать твое изваяние.

— Думаю, именно потому, что это мало кто понимает, моя голова не срублена до сих пор, — говорит конунг.

— Но все-таки, что это? — спрашивает Леонард.

— Не знаю, — отвечает конунг. — Но если у тебя есть желание провести со мной несколько дней, может, ты это и поймешь.

— Я надеюсь.

— Тогда приходи завтра вечером в конунгову усадьбу и раздели со мной трапезу, — приглашает Сверрир, и мы покидаем ваятеля.

Телохранитель следует за нами, как тень, он не произносит ни слова.



Мы ходили по Нидаросу и смотрели на городскую жизнь. Дружинники Вильяльма бегали по усадьбам и хватали людей, подозреваемых в том, что они воевали против конунга Сверрира. Конунг не позволил их убивать — каждый случай должен быть расследован и доложен ему. Мы не заметили на своем пути никакого бесчинства. Большинство плененных шли неохотно, и тем, кто выражал это слишком явно, помогали ударом по затылку. Смешно было смотреть на коз — с веселым любопытством они наблюдали за этим стадом людей. На нас никто не обращал внимания. Лицо конунга Сверрира было еще неизвестно в Нидаросе.

Конунг весело сказал, что проклятий и брани среди людей теперь слышится меньше, чем раньше.

— Это моя заслуга, — сказал он.

Кабаки и трактиры уже открылись после сражения.

С отрубленной рукой в зубах прибежала собака.



В одном из узких проулков стоял человека и громко зазывал в дом прохожих.

— Моя жена должна понести наказание, она уже лежит и ждет!

Нам стало любопытно, и мы остановились, чтобы узанть, в чем дело.

— Пока здесь были люди этого проклятого ярла, моя жена переспала с каждым из них. Я боялся проучить ее, ведь если бы она проболталась об этом, они зарубили бы меня на месте. Так продолжалось полгода, и все надо мной смеялись. Но теперь людей ярла

больше нет. Благослови, Господи, того, кто помог нам! Сейчас она лежит и ждет палки, вот этой. Теперь-то она стала послушной. Я бросил ее на скамью и сказал: Задери юбку. Она повиновалась, хотя и не очень охотно. Будешь лежать и ждать, пока я не соберу людей, сказал я. Вот она и ждет.

— Добро пожаловать! Заходите! — кричал он собравшимся. — Разве это будет не по закону? — прорычал он и повернулся к нам со Сверриром.

— Конечно, по закону, — ответил Сверрир.

— Столько же людей, сколько смеялись надо мной, теперь будут смеяться над ней, — сказал муж. — Я считаю, что так будет справедливо. Мне тогда было не менее больно, чем теперь будет ей.

— Умные слова, — сказал Сверрир.

— Я вижу, вы тут недвано, поэтому не могли смеяться надо мной. Но все равно, добро пожаловать, она не станет возражать против двух новых свидетелей. Она ждет в доме. Теперь она стала послушной.

Мы поблагодарили за приглашение и отказались: у нас нет времени, но если случится так, что ему придется проучить ее еще раз, мы с радостью поприсутствуем при этом. Он поблагодарил нас, и мы расстались друзьями.

Телохранитель следует за нами, как тень, не произнося ни слова.



Мы со Сверриром пошли на песчаную косу Эйрар, где обычно на тинге провозглашались все норвежские конунги. По пути встретили мальчика и спросили, далеко ли еще до холма тинга.

— Перейдете через ручей Гаута, а там идите прямо, — ответил мальчик.

— Ручей Гаута? — удивились мы. — Мы знаем человека по имени Гаута.

— Он однорукий?

— Верно.

— Значит, это тот самый. Там наверху у Гаута домишко, ручей течет совсем рядом. Но Гаут редко бывает дома. Он ходит повсюду и прощает людей. Хотите взглянуть на его могилу? — спросил мальчик.

Мы опять удивились, и он рассказал нам, что Гаут похоронил там свою отрубленную руку. Руку ему отрубили в монастыре на Селье, но кто именно, Гаут не знает. Он взял отрубленную руку с собой, добрался до какого-то дома и все дни, что боролся со смертью, крепко прижимал ее к себе. В конце концов он вернулся в Нидарос и похоронил свою руку рядом с домом, стоявшим на ручье Гаута. Когда он бывает дома, он часто сидит у могилы, вспоминает о случившемся и упражняется в искусстве прощать.

Мальчик побежал вперед, мы пошли за ним, постояли у могилы, где была похоронена рука Гаута.

Потом мы ушли.

Телохранитель следует за нами, как тень, не произнося ни слова.



Мы пришли в Эйрар, там на тинге провозглашали многих норвежских конунгов. Холм был красив, его окружали высокие деревья и камни, поставленные торцом. Мы со Сверриром хотели пройти на площадь тинга, но из дома поблизости вышел старик и погрозил нам кулаком:

— Убирайтесь отсюда! — крикнул он. — Сегодня никого конунгом не провозглашают!

Мы подошли к нему, он него исходил кислый стариковский запах. Старик сказал, что поставлен тут сторожем и исполняет свой долг, площадь тинга не пастбище для слоняющихся жеребцов. Я хотел было сказать, что перед ним новый конунг, но Сверрир быстро положил руку мне на плечо, и я промолчал.

— И давно ты тут сторожем? — спросил Сверрир.

— Хо! — засмеялся старик. — Во всяком случае раньше, чем ты научился мочиться без помощи матери. И останусь после твоей смерти!

— Значит, ты видел, как провозглашали многих конунгов?

— А то нет! Я многих видел, они приходили и уходили, а кто, скажите, все готовил к тингу и наводит тут порядок? Убирал мусор и ставил для всех пришедших сиденья. А как мы всегда боялись непогоды! Когда день провозглашения конунга уже объявлен, переносить его нельзя. В плохую погоду все выглядит не так благолепно, как в хорошую, а у нас тут в Трёндалёге погода чертовски капризная. Но

должен сказать, что все эти годы я не плохо справлялся со своими обязанностями. Не отказал ни одному конунгу.

— Рад, небось, что все это происходило у тебя на глазах?

— А ты как думаешь? Если б только после каждого тинга не оставалось столько мусора. Господь знает, какую грязь люди оставляют после себя, долго потом приходится убирать. Мне помогала моя старуха, но вообще-то, я не пускал ее на площадь тинга, женщине это не положено.

— Но нас-то ты можешь пустить? — спросил Сверрир.

— Нет, черт бы вас побрал! — гневно заорал старик и загородил нам путь, от него завоняло еще больше.

Мы повернулись и ушли.

Телохранитель следовал за нами, как тень, не произнося ни слова.



Мы вернулись в конунгову усадьбу, город успокаивался после сражения. Мимо пробежала собака с отрубленной рукой в зубах, из трактиров доносился смех и веселые песни. На дворе усадьбы стояли люди, они хотели поговорить с конунгом. Этой ночью он еще не мог думать об отдыхе.

Сверрир тихо сказал:

— Мертвый Хрут лежит на моем ложе, и пусть лежит. Я лягу на полу рядом с постелью, а рядом со мной ляжет Йон. Так будет справедливо по отношению ко всем.



Конунг сидит на почетном сиденье в конунговой усадьбе, его волосы и одежда еще в беспорядке после сражения. Он жует хлеб и говорит с полным ртом, дурной обычай, которого вообще-то он не позволяет никому, да и себе тоже. Вокруг него люди, усталые, грязные, некоторые в крови, мы пьем пиво и смеемся. Говорим, перебивая друг друга, гордимся своей победой, но за этой гордостью скрывается беспокойство. Теперь мы господа в Нидаросе. Конунгу открыт путь на Эйратинг. Но о пути оттуда и о своем дальнейшем пути мы не знаем ничего.

У торцовой стены на скамье лежит покойный хёвдинг Хрут. Он проделал долгий путь из Теламёрка, чтобы навсегда остаться в Нида-росе. Хёвдинг преисполнен достоинства, он был стар, но еще полон сил. Он лежит с выпрямленными коленями и сложенными на животе руками. Смуглое лицо, высокая переносица, волосы расчесаны и красиво кудрятся над ушами. Кажется, будто Хрут хочет сказать нам что-то приятное, прежде чем встанет и уйдет отсюда. Рот у него приоткрыт, но это не придает лицу глупого выражения, скорей похоже, будто он требует от людей тишины, потому что хочет сказать им последнее слово. За тебя отомстят, хёвдинг, и жизнь твоя будет оценена по достоинству. В мирные времена новый конунг повелел бы своим лучшим людям сопровождать тебя в Теламёрк и похоронить там в могиле твоих предков. Но сейчас идет война. И ты будешь покоиться в Нидаросе в тени церкви Христа. Многие уже нашли там свой приют.

Кто-то подходит и прикрывает полотном мужественное лицо покойника, но конунг встает, подходит к Хруту и откидывает полотно:

— Храбрым мужам негоже бояться лица покойника, — говорит он.

Сверрир стоит с полотном в руке, почтительно склонив голову, потом возвращается и садится на почетное сиденье. Между людьми снова завязывается веселая беседа.

Больше не заметно неприязни между Йоном из Сальтнеса и новым хёвдингом теламёркцев Гудлаутом Вали. Здесь же сидит и Симон, священник из монастыря на Селье. По-моему, впервые в его улбыке нет злобы, и это до сих пор приводит меня в изумление. Здесь же сидят и мой добрый отец Эйнар Мудрый, и Бернард, и Сигурд, и Вильяльм, и я. За спиной у конунга стоит телохранитель.

Входит один из дружинников Вильяльма, сначала он приветствует конунга, потом обращается к своему предводителю и говорит:

— Двое горожан, братья-близнецы, пытались ограбить Халльварда Губителя Лосей, когда тот лежал в беспамятстве после битвы. Их зовут Тумас и Торgrim. Убить их сразу?

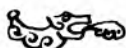
Вильяльм смотрит на конунга, тот отвечает:

— Ни один человек не умрет, пока я не скажу своего слова. Посадите их в яму, и пусть они ждут.

В конунговой усадьбе есть глубокое подземелье, те, кого туда опускают, не могут выбраться оттуда без посторонней помощи. Потом мы еще многое узнали о братьях-близнецах Тумасе и Торгриме.

Конунг отодвигает рог с пивом и говорит:

— Заприте все двери, никто не должен проникнуть сюда.



Мы окружаем его, он расстилает на столе полотно, которое только что снял с покойного Хрута. Потом просит, чтобы ему дали обгорелую щепку. Этой щепкой он рисует на полотне Нидарос, ставит в одном месте крест и говорит:

— Мы находимся здесь.

Он измеряет свой рисунок пальцем и говорит, что длина одного пальца равна одному дневному переходу войска.

— Наши лазутчики сообщают, что в трех пальцах отсюда стоит войско бондов из Сельбу. Если даже оно состоит и не сплошь из храбрецов, оно все равно может доставить нам немало хлопот, окажись оно довольно большим.

Теперь взгляните сюда. Это фьорд. Вот здесь — и это больше всего меня беспокоит — собрались корабли, покинувшие город после сражения. Люди на них только и ждут возможности вернуться назад, когда войско из Сельбу нападет на нас. Будь у нас боевые корабли, мы могли бы выйти им навстречу. Но кораблей у нас нет.

Теперь смотрите сюда вниз. Там, в самом низу находится Бьёргюн. И там сидит ярл Эрлинг. Он еще не знает, что Нидарос в наших руках. Многое зависит от того, достаточно ли быстро наши враги, что стоят в устье фьорда, сообщат ему об этом. Если они зажгут вдоль побережья сигнальные костры, ярл узнает об этом через две воскресных заутрени, начиная с нынешнего дня. Тогда ему придется собирать флот, он у него еще не готов к походу, а может, и люди отпущены по домам на страду. Ярл — человек осторожный, хитрый, прежде чем укусить, он спрева как следует подумает. Он не вскочит со своего почетного сиденья с первым же рассветом. Но уж когда он налетит, он будет подобен штормовому ветру.

Многое зависит от того, где сейчас находится конунг Магнус. Пока еще я называю его конунгом. Но вы знаете: он не имеет право

называться конунгом, его отец всего лишь ярл, а мать — дочь конунга. Но он называется конунгом и будет называться так, пока моя власть не распространится дальше Нидароса. Если Магнус в Вике, а я думаю, он там, значит, при нем там и его войско. Тогда еще неизвестно, нападет ли на нас ярл, располагая только своей стаей. Или подождет сына и явится с двойной силой, чтобы раздавить нас. Это дало бы нам желанную отсрочку. Но то, что последует за ней, уже не столь желанно.

Таково наше положение. А теперь слушайте внимательно: бессмысленно ждать, чтобы черный козел стал белым. Ведро не наступит от того, что мы станем проклинать ненастье. Но, зная о злых замыслах другого, можно обдумать и свои собственные. Поймите: мы взяли Нидарос не для того, чтобы остаться здесь любой ценой. Мы взяли его, чтобы я был провозглашен конунгом на Эйратинге. После этого мы, уже не теряя доси́нства, можем покинуть Нидарос. Но коли случится, что нас изгонят отсюда до провозглашения меня конунгом, это обернется для меня невосполнимой утратой и вечным позором. А моя утрата — это ваша утрата, и мой позор — ваш позор.

Впрос в том, нужно ли с этим спешить? Меня могут провозгласить конунгом уже завтра. Но это будет не по закону. Восемь фюльков* Трёндалёга имеют право прислать на тинг своих людей, когда провозглашается новый конунг. Мы не успеем так быстро оповестить их об этом, да и они не сразу. Это может быть не раньше, чем через два воскресенья. Но если войско из Сельбу и корабли, что стоят во фьорде, нападут на нас до того времени и прогонят нас отсюда? Мы должны сделать выбор. Каково будет ваше мнение?

Сверрир говорил спокойно, и его слова трудно было не понять. Он заставлял нас высказать свое мнение. Многие раньше не думали об этом. Теперь им пришлось задуматься. Кое-кто хотел бы подольше задержаться в городе, чтобы отдохнуть тут. Их соблазняли бани и пиво, склады и амбары в городе ломились от продовольствия, и молодые женщины не были недоступны. Однако найти слова, которые произвели бы на конунга нужное впечатление было не так

* Небольшие административные округа.

просто. Конунг испытывал презрение к людям, не умевшим говорить складно. И со временем я заметил, что он не просил больше присутствовать на советах тех, кто был не в состоянии четко мыслить и связано излагать свои мысли.

Гудлаут хотел остаться в Нидаросе.

— Ибо я зашел уже далеко, и у меня нет потребности возвращаться обратно, — сказал он.

Конунг сказал:

— Кто знает, не вынесут ли тебя отсюда на носилках.

Вильяльм тоже считал, что лучше остаться здесь.

— Мы должны разделиться, — сказал он, — половина должна прогнать отсюда войско из Сельбу, другая останется в Скипакроке и встретит корабли из устья фьорда, если они посмеют сунуться сюда.

Конунг сказал:

— Как велико войско, которое ты хочешь разделить на две части?

Бернард говорил меньше всех, он только сказал:

— Я среди вас единственный, у кого нет оружия, поэтому никто не сможет отнять его у меня. Я знаю, что я умный человек, поэтому мои советы относительно сражения ничего не стоят. Но куда бы ты ни пошел, государь, я пойду за тобой.

Мой добрый отец Эйнар Мудрый, наверное, очень устал, и голос у него словно потускнел. Время от времени он сбивался и был не так рассудителен, как обычно. В нем появилась какая-то горечь, на которую мне было грустно смотреть.

— У тебя, Сверрир, слишком мало людей, чтобы в открытом бою встретиться и с ярлом Эрлингом и с конунгом Магнусом. Еще несколько лет — если Бог даст тебе жизни, а Он щедр, хотя и не всегда к тем, кто этого заслуживает, — ты будешь скитаться по стране, как загнанный волк. Но придет день, когда твоя стая окажется достаточно сильной, чтобы ты смог ухватить старого ярла Эрлинга за кривой загривок и отправить его в могилу. И я не стану оплакивать его, если к тому времени буду еще жив. Поэтому вот мой совет: Уходи из Нидароса, и чем скорей, тем лучше. Ты не найдешь здесь удачи. Будь доволен, если найдешь звание конунга.

Сигурд из Сальтнеса сказал:

— В одном я согласен с Эйнаром Мудрым: мы должны быть готовы к тому, что нас ждут долгие скитания по стране, ты, конунг,

понимаешь это, и мы тоже. Но не исключено, что мы сможем продержаться в Нидаросе до следующей весны, если ярл и его сын сочтут, что нас больше, чем есть на самом деле, и потому будут копить силы в Бьёргюне. Если войско из Сельбу придет сюда, мы сумеем его разбить. Послушайся моего совета, государь, оповести фюльки и собери тинг через два воскресенья. Если же они нападут на нас и кораблей у них окажется больше, чем мы думаем, мы успеем провозгласить тебя конунгом, пока они огибают мыс Дигрмули. Это в худшем случае.

Кто-то громко стучит в дверь. Вильяльм кричит, чтобы нам не мешали, из-за двери отвечают, что нужно передать конунгу важное сообщение, это срочно. Конунг велит впустить гонца. Входит Эрлинг сын Олава из Рэ. Он сообщает, что наши люди обнаружили в одном из заливов фьорда шесть спрятанных там боевых кораблей. Не все одинаково хороши, но все они на плаву и все оснащены парусами и веслами.

Мы вскакиваем и орем от радости, к нам со двора вбегают люди. Через мгновение весь покой наполняется ликующими людьми. В середине конунг, он стоит на столе с рогом в руке и радуется вместе со всеми. В толпе мелькают братья из Фрёйланда, они поднимают Эрлинга сына Олава из Рэ и ставят на стол рядом с конунгом. Эрлинг без рубахи, вокруг теснятся люди, охваченные общей радостью. Меня оттесняют назад, я падаю на стоящую там скамью и не сразу замечаю, что сижу на мертвом хёвдинге из Теламёрка. Я вскакиваю, и он стонет. Должно быть, его легкие были заполнены воздухом, который теперь вышел.

Конунг просит тишины, и все умолкают. Он говорит, что мы стали сильнее, чем были еще совсем недавно. На этих кораблях мы разобьем тех, кто стоит в устье фьорда. Половина войска останется здесь и встретит войско из Сельбу, если бонды осмелются прийти сюда.

— Но, думаю, трёнды, узнав, что у берестеников тоже есть боевые корабли, вспылают к нам более дружескими чувствами, — заканчивает он.

На дворе я встречаю своего доброго отца Эйнара Мудрого. Я до сих пор не решился сказать ему, что моей доброй матушки нет больше в живых. Я прошу его пойти со мной в церковь Христа и

там, за ее тяжелыми стенами, рассказываю ему о том, что видел в капелле Марии.

Он отвечает:

— Я знаю об этом. Я тоже был в церкви, мать стояла за колонной и кивала мне. Когда же я хотел подойти поближе, она вошла в стену и скрылась в ней.

Я обнимаю его, и мы вместе плачем. Он говорит, что ей теперь лучше, чем нам. А нам будет еще хуже.

— Аудун, — спрашивает он, — ты никогда не жалел, что последовал за конунгом Сверриром?

— Нет, — отвечаю я.

— Ты такой молодой, Аудун, а я такой старый. Я больше, чем ты знаю и о любви, и о смерти.



Боевые корабли тяжело скользят по воде, дует встречный ветер. Я стою рядом с конунгом на кормовой палубе, фьорд покрыт белой пеной. Приятно снова чувствовать под ногами киль корабля, но мысли о предстоящем деле, портят мне эту радость. Нидарос отсюда кажется совсем маленьким. Соленые волны перехлестывают через борт, гребцы горбятся над веслами, и мы медленно скользим по фьорду. Когда наш корабль проходит мимо острова Нидархольм, стоящие на скалах монахи провожают нас глазами. Конунг отправил своих людей на остров. Он приказал не трогать тех служителей церкви, которые покорно читали свои проповеди и не брали в руки оружия. Но нам было известно, что монастырь на Нидархольме не отличался покорностью. А Эрлинг Кривой всегда был щедр к монахам. И они, знавшие все о милости Божьей, не были равнодушны к милостям ярла.

У Раудабьёрга мы увидели много торговых кораблей с грузом, они ждали попутного ветра. У нас во фьорде были лазутчики, переодетые рыбаками, они не знали точно, но предполагали, что на этих кораблях могли быть также и воины, которые прибыли с севера и держали путь на юг, в Бьёргюн, к ярлу Эрлингу. Волнение на море заставило их войти во фьорд. Они тоже разослали вокруг своих лазутчиков. На кораблях не было видно ни одного воина. Но на берегу

горели костры — вечер только начался, — все выглядело мирно и безопасно. Среди камней женщина стирала белье. Должно быть, это была служанка, сопровождавшая корабль, какой-то веселый парень помахал нам и поднял рог с пивом. Они производили впечатление честных, добрых людей и, видно, не думали, что мы станем высаживаться из-за них на берег, — ведь нам предстояло сразиться не с одной сотней воинов, стоявших в устье фьорда. Эти миролюбивые купцы не обращали на нас внимания, как будто уже знали, что нового конунга можно не опасаться. Парень у костра поднес рог ко рту и помахал рукой, словно приглашал нас к столу.

Ход у наших кораблей был тяжелый, мы шли медленно. Наконец Раудабьёрг оказался у нас за кормой по правому борту. Ветер по-прежнему был встречный. Неожиданно конунг приказывает нам повернуть. Мы поворачиваемся, словно девушки, танцующие на цыпочках, теперь ветер дует с кормы, мы быстро ставим паруса и корабли набирают скорость. Люди поднимают весла и берутся за оружие, мы врезаемся в строй торговых кораблей, не заботясь о том, что можем потопить один или два из них. Купцы не успевают даже достать оружие. Мы падаем на них, как ястребы с неба. Звучит наш победный бовой клич, я прыгаю через скамьи для гребцов, слышатся первые стоны и вопли, вскоре уже повсюду кричат раненые, море отвечает плеском на каждое очередное тело, упавшее за борт.

Было время отлива, и торговые корабли, словно огромные комья, стояли, уткнувшись носами в прибрежные камни. Некоторые из купцов, они, конечно, были воинами, прыгают в воду, ища спасения на берегу. Мы бросаемся за ними. Настигаем, никто из них не успевает даже взмахнуть мечом. В котлах над кострами еще кипит варено: их кашевар не зря приглашал нас к трапезе, когда мы плыли мимо. Но теперь гостям приходится самим прислуживать себе за столом.

Это нападение стоило нам всего трех отрубленных пальцев. Мы громко смеемся над этим. Даже мой добрый отец ухмыляется, начиная перевязывать раненого. Пострадавший — Халльвард Губитель Лосей, ему и на этот раз не повезло — он так и не обагрил свой меч кровью врага. Ему не повезло в сражении у озера Большого в Ямталанде, в сражении за Каупанг он впал в забытие и его ограбили двое братьев. Теперь он погнался по берегу за одним человеком, почти

настиг его и вдруг обнаружил, что это один из наших преследует врага. Халльвард остановился, чертыхаясь, и лишь тогда заметил, что у него на руке не достает трех пальцев. Он даже не знает, как он их потерял.

Мы все смеемся, и мой добрый отец говорит, что, чем меньше у человека пальцев, тем лучше: недругу будет тяжелее попасть в него. Мы хохочем, даже сам Халльвард улыбается. Но, когда отец льет ему на рану горячую смолу, Халльварду уже не до смеха. Он стискивает зубы.

Вокруг валялись мертвые, мы побросали их в воду. Они качаются на волнах, плывут и тонут, многие из них красивы, ветер играет их волосами, пока они не скрываются под водой. Тут же на берегу лежит и женщина, что стирала белье, она мертва, многие досадуют на это, я же, глядя на ее лицо, чувствую скорее грусть, чем сожаление. Она немолода и некрасива, наверное, это была продажная женщина и плыла на одном из этих кораблей, чтобы угождать мужчинам, которые не могли получить удовлетворения у своих оставшихся дома жен. В ее же обязанности входило содержать в порядке одежду мужчин.

Мы и женщину бросили в море, волны подхватили ее, одна рука у нее поднялась, словно женщина махнула нам на прощание, и море поглотило ее.



На кораблях много добра. Если нам удастся благополучно доставить его в Нидарос, конунг сможет и одарить своих людей и торговать с бондами. Здесь и вяленая рыба, и дорогие меха, много и сермяги и красивого платья. Мы все переносим на берег, и конунг велит выставить стражу. Потом корабли уходят на веслах, все, кроме одного, его поджигают, и он горит среди прибрежных камней.

На него льют много смолы и бросают сырой мох, полыхает огромный костер. Конунг хочет, чтобы, увидев дым, воины в устье фьорда подумали, что это горит наш флот. Мы оставляем свои корабли у одного островка и на тяжелых торговых кораблях выходим во фьорд.

Теперь наших людей не узнать. Все, кто мне виден, надели на себя плащи убитых купцов. На носу переднего корабля стоит рожечник,

взятый нами в плен. За ним, чуть ниже сидит наш человек, приставив рожечнику к задю острое копьа. Рожечник знает, что его ждет, если он не исполнит того, что ему приказали. На одном из торговых судов мы нашли стяг Эрлинга Кривого. Теперь он поднят на нашем корабле.

Встречный ветер ослаб, а вскоре и вовсе прекратился. Дым от горящего корабля тяжелыми, черными клубами поднимается к тучам. Мы заворачиваем за мыс и совсем близко видим военные корабли ярла. Должно быть, это те, что после сражения бежали из города. Люди на них держатся настороженно — парень с рожком получает толчок в зад и приветствует их зычным сигналом Эрлинга Кривого.

Наши люди в захваченных плащах вскакивают на скамьи и приветственно машут. Теперь там наверняка считают, что дым идет от сгоревших кораблей Сверрира. Мы приближаемся. Воины сидят в открытии.

С кораблей нас окликают, мы не отвечаем, нас окликают снова. Кажется в голосе окликнувшего звучит тревога? Хлопают паруса, скрипят весла, вода плещет о борт. Наконец мы сходимся с их кораблями.

Опять удача сопутствует нам, теперь уже в открытом море. Одним махом мы перепрыгиваем к ним на борт, воя, как дикие звери. Рожечник, сослуживший нам добрую службу, падает, сраженный ударом копьа, он загораживает нам путь и мы топчем его. Вскоре все кончено. Я убиваю одного человека и удовлетворен этим. Он замахнулся топором на кого-то из наших, и я ударил его сбоку, он падает к моим ногам. Я прыгаю через него, скольжу на крови и чуть не перелетаю за борт, но кто-то нападает на меня, я вонзаю в него меч, и это спасает меня. Приподнявшись, он молит о пощаде. Я рычу, что его уже ждут в аду, он хватает мою ногу, из раны у него хлещет кровь. Я бью его в зубы другой ногой, потом наклоняюсь и перекидываю его через борт головой вперед. У него еще хватает сил вцепиться в канат. Я отрубаю ему руку. Он падает в воду. Все.

Сражение закончено. Трое из наших последовали за врагом в тот мир, который, как говорят, лучше, чем наш. От пленных мы узнаем, что многих из них силой увели из дома и заставили служить Эрлингу Кривому, радости им это не доставляет. Они обещают пойти на

службу к конунгу Сверриру. Двое из них вызывают у нас подозрение. Их мы убиваем и бросаем в море. Там плавают много трупов, течение медленно несет их вглубь фьорда. Я слышу, как говорят, что Сверриру повезло: бонды найдут покойников на берегу и поймут, что имеют дело с конунгом, который не останавливается, если кто-то пытается встать у него на пути.

Нам достались хорошие корабли, конунг распределяет на них своих людей. Мы поднимаем паруса и берем курс на Нидарос, радуясь нашей победе. Чужих кораблей почти не видно. Нам хочется надеяться, что Эрлинг Кривой и его сын конунг Магнус в Бьёргюне еще не знают, что Нидарос захвачен конунгом Сверриром и его людьми.

Но о судьбе архиепископа Эйстейна нам ничего неизвестно.



В это время из-за мыса медленно выходит еще один корабль, у людей на его борту нет оружия. Это торговый корабль, мы не собираемся сражаться с ними, наоборот. Поднимаемся к ним на борт, и они приветствуют нас. Кормчий, похожий на злого пса, подбивает своих людей оказать нам сопротивление. Они ему не подчиняются.

Мы привязываем его к мачте крепкой веревкой, и его люди радуются, что на корабле появились новые хозяева. Они все с севера, из Тьотты, и держат путь в Бьёргюн. Их ждет служба у ярла, но едут они не по доброй воле. Кормчий получил в подарок от ярла две усадьбы и надеется на новые подарки. На корабле имеется серебро.

— Серебро? — переспрашивает конунг.

— Много серебра, — отвечают они, — но только мы не знаем, где оно спрятано. Тут не так много укромных местечек, но этот старый черт, должно быть, прячет краденное на себе. Да, да, это краденное серебро.

— Нам повезло, — говорит конунг. — Закон велит отнять серебро у вора и передать его конунгу.

Он кивает Вильяльму, его люди раздевают старика, но серебра на нем нет. Тогда его бьют ладонью по затылку. Он стонет, однако сильнее, чем боль, его мучит позор — две сотни людей с радостью наблюдают за происходящим. Он божится, что и в глаза не видал никакого серебра. Вильяльм приносит веревку и делает петлю.

— Мы не желаем тебе зла, — говорит конунг, — но ворованное принадлежит не вору. Для тебя же лучше, если ты отдашь его.

Мы обшариваем весь корабль, но серебра не находим. Тогда Вильяльм привязывает веревку к ноге кормчего и бросает его в море. Голова кормчего тут же выныривает. Мы надеваем ему на шею железный обруч. Теперь он погружается, как надо. Вильяльм вытаскивает его, ждет, чтобы изо рта и ушей у него вылилась вода, бьет и дружелюбно спрашивает:

— Есть у тебя на борту серебро?

— Нет, нет, нет! — Кормчий бранится. Он стар и упрям, как черный кот, если он умрет, мы так и не узнаем, где на корабле спрятано серебро. Старик молчит не потому, что надеется таким образом сохранить жизнь. Нет, у него один выбор: умереть с серебром или без серебра. И он решает сохранить то, что принадлежит ему.

Вильяльм снова бросает старика в воду, и мы, две сотни человек, хором начинаем считать. Останавливаемся, досчитав до десяти. Вытаскиваем его на борт. Он без памяти. Мы хлопчем вокруг него, и он приходит в себя. Вильяльм снова бьет его и спрашивает:

— Есть у тебя на борту серебро?

— Нет, нет, нет! — снова клянется старик, в голосе его звучит ненависть.

— Растянем его? — предлагает Вильяльм.

Мы связываем старику ноги, другую веревку пропускаем под мышки, потом разбиваемся на две группы и начинаем тянуть старика в разные стороны. Халльвард Губитель Лосей, потерявший недавно три пальца, тоже хочет присоединиться к нам, но мой добрый отец Эйнар Мудрый заботливо отталкивает его — он должен беречь раненную руку. Халльвард отходит в сторону и позволяет другому занять его место у веревки. Корабль качается у нас под ногами, когда мы, меряясь силами, растягиваем старика.

Он долго молчит, потом начинает стонать, а мы продолжаем медленно растягивать его. Он силен, но ведь и мы неслабы, корабль черпает бортом воду и одна группа падает вповалку. Люди барахтаются, смеются и кричат, но старик все еще жив и серебро все еще принадлежит ему.

— Кажется, здесь ослепили конунга Магнуса, получившего прозвище Слепой?.. — спрашивает Вильяльм.

Я уже думал об этом, когда мы утром проплывали мимо Нидар-хольма. Там в монастыре сидел несчастный конунг, ему выкололи глаза, он был оскроплен, словно хряк, и ему отрубили одну ногу. Вильяльм приносит нож — выкованный простым кузнецом и не очень подходящий для этого дела. Вильяльм не спешит. Меня не раз восхищала его способность действовать медленно, когда все остальные полагали, что надо спешить. Он находит осилок и со знанием дела точит нож. Пробует на лбу старика, но результат его не удовлетворяет. Он точит снова, нож сделан из прочной стали. Срывает несколько волосков с головы человека, который еще недавно на этом корабле был кормчим. Нож перерезает волосы. Теперь все в порядке. Вильяльм предупреждает, чтобы мы, когда он закончит свою работу, залили раны горячей смолой. Поэтому мы ждем, пока закипит кожаный мешок со смолой. На то, чтобы развести под палубой огонь, уходит время. Мы сидим и ждем, кормчий сидит перед нами, голый, словно только что появившийся на свет из лона матери.

Вот уж кто на диво упрям и терпелив. Он стар, борода его теперь в крови, тонкие руки, немного обвислый живот, большие ступни, на груди и на щиколотках красные полосы от веревок, но он упорствует. В нем уже почти не осталось жизни, только в глазах, и все-таки он уверен, что лучше умереть с серебром, чем без него.

— Оставь ему половину,¹ — громко говорю я конунгу, довольный своей хитростью.

— Дурак! — тут же шипит старик, глядя на меня.

Теперь все смеются надо мной, и во мне вспыхивает неприязнь к кормчему, которой я раньше не чувствовал.

Мешок со смолой уже кипит, нам предстоит еще одно мужское дело. Вильяльм говорит, чтобы старик сам спустился под палубу и принес оттуда мешок со смолой. Голый кормчий с трудом поднимается, идет и вдруг одним махом прыгает за борт.

Он хочет утопиться и унести с собой тайну серебра. Двое тут же прыгают за ним. Кормчему никак не удастся погрузиться под воду, он хочет утонуть и все-таки плывет, что, наверное, бесит его самого. У него длинные волосы, они плывут за ним по воде. Один из наших — тот самый проклятый телохранитель, который не желал оставить конунга в покое, а до того в Ямталанде не мог сосчитать мертвых после сражения у озера Большого, в горячке телохранитель позабыл, что

ему не велено отходить от конунга дальше, чем на пять шагов. Плавают телохранитель лучше, чем считает мертвых, он быстро догоняет старика.

Старик снова на борту, с почетным караулом его отправляют под палубу за мешком с кипящей смолой. Он приносит его и отдает Вильяльму, не выражая при этом никакой радости. Вильяльм строго выговаривает ему — почетный гость на борту судна не должен быть таким мрачным.

— Опустись на колени, — говорит Вильяльм.

Старик повинуется.

— Есть у тебя на борту серебро? — спрашивает Вильяльм и прибавляет: — Больше я спрашивать не стану...

Старик не отвечает.

Три человека должны держать старика, резать будет сам Вильяльм, но он требует, чтобы старик с открытыми глазами встретил свою судьбу. Подходит парень и поднимает старику веки. В это время с кормы доносится крик:

— Распятие!..

На корабле везут распятие. Грубое, некрасивое, простое бревно с поперечиной — вот и весь крест, лик распятого тоже не отличается красотой. Потому никому из нас не пришлось в голову забрать распятие как добычу на свой корабль. Люди идут, чтобы принести распятие. Оно очень тяжелое.

Наконец его приносят, оно весит не меньше хорошего мужика.

Вильяльм сворачивает Христу голову. Внутри фигура полая. К нашим ногам сыплются серебряные монеты.

Глаза старика спасены. Монеты пересчитывают, здесь большое богатство, и конунг внимательно следит, чтобы ничего не пропало. Он говорит своим людям, что все добро, которое мы отнимаем у неправых владельцев, по закону принадлежит конунгу.

— Но помните, — прибавляет он, — конунг по справедливости разделит и добро и деньги между своими людьми. Вы сами следили за счетом. Запомните, сколько здесь монет. Когда мы вернемся в город, каждый получит свою долю.

Раздается победный вопль, крики восторга — таким и должен быть истинный конунг. Как часто этих нищих изгоев грабили свои же, как часто нарушали данные им обещания! Но конунг

Сверрир при свидетелях пересчитал серебро и обещал честно поделиться со всеми.

Мы, счастливые, входим во фьорд. Старого кормчего мы выбросили за борт. Его даже не связали — плыви, если можешь, и он поплыл. Да, да, он, только что пытавшийся утонуть, теперь боролся с волнами за свою жизнь. Вот он вцепился в плывущее бревно. Оно скользкое, и руки кормчего соскальзывают, но он цепляется за него снова и снова и упрямо плывет за кораблями. Кормчий полагает, что если он ухватится за лодочный канат, ему сохранят жизнь — ведь серебро уже у нас. Думаю, он рассчитал правильно. Я часто думал, что если бы он догнал нас, мы бы сохранили ему жизнь.

Проходит время, прежде чем мы поднимаем паруса, нас несет ветер и течение. Кормчий по-прежнему ожесточенно и упрямо плывет на своем бревне. Откуда у него столько сил?

— Как его зовут? — спрашиваю я у стоящего рядом человека.

Он не знает. Я так и не узнал, как звали того кормчего. Корабли набирают скорость.

Мы стоим и смотрим на него — он уже превратился в точку, последнее, что я вижу, его волосы, потом исчезают и они. Мы возвращаемся в город победителями.

Бальдр, мой пес, ждет нас в Скипакроке и бросается ко мне, как только я схожу на берег.

Конунг наклоняется и гладит Бальдра.

Это я помню о Сверрире, конунге Норвегии.



Вот что я помню о Сверрире, конунге Норвегии:

Когда мы вернулись в Нидарос после победы во фьорде, мы со Сверриром пошли в церковь Христа и остановились перед ракой святого конунга. Я хорошо знал Сверрира, мы были дружны с детства, знал его мысли и его гордое сердце, его благородство по отношению к людям, попавшим в беду, его неукротимое стремление к справедливости и чувство собственного достоинства. Когда мы стояли с ним в церкви, не как конунг и его послушный слуга, но как братья, слившиеся в молитве, я понимал, что творилось в его душе. Но я молчал.

Рака была богато украшена драгоценными камнями и благородным золотом, двенадцать человек требовалось, чтобы поднять ее, свет, проникающий в узкие окна, прорезанные в толстых стенах, отражался от крышки и заставлял нас зажмуриваться. Здесь было место последнего упокоения человека, поднявшего знамя Христа в стране норвежцев. Это стоило ему жизни, но на его мертвой голове продолжали расти волосы и борода. Сюда приходили горюющие и кающиеся, страждущие и увечные из прекрасных городов и далеких селений этой страны, где правило столько конунгов. Здесь они получали исцеление. Но я знаю, что Сверрир стоял и думал: а был ли конунг Олав Святой тем, за кого себя выдавал?..

Был ли он человеком Бога и только им, был ли он последователем Христа или учеником разбойников, распятых с Христом на кресте? Были ли на его святом теле другие пятна, кроме пятен той крови, что он пролил ради того, чтобы свет истины зажегся в наших темных сердцах? Или он был, если и не лжецом, то орудием лжецов, человеком с тенями, чья сила затмевала в его душе силу божественного света? Правду или ложь произносили его уста, когда он вещал, с чистой душой преклонял он колена перед Всевышним или делал это, помня, что за ним наблюдает толпа?

Вот о чем думал человек, стоявший рядом со мной, конунг Норвегии, призванный идти дальше путем, которым шел конунг Олав Святой.

Но я знаю также, йомфру Кристин, что Сверрир, признав это сомнение в своей душе, обратился к нашему святому конунгу и сказал:

— Ты был человеком Бога! Ты был тем, за кого выдавал себя, — человеком, несшим в себе росток святости, ты умер, но сейчас ты живой сидишь одесную Бога. Я был вправе задать тебе вопрос, и я получил на него ответ, от тебя, избранного и избравшего в свою очередь меня.

Но в то же время он не мог не думать и так:

Если один конунг покоится в священной раке, значит, может, случится, что и другой тоже будет покоится там?..

Однако, йомфру Кристин, он гнал от себя такие мысли, понимал, что они недостойны и неумны, отирал со лба испарину, скрывал морозную дрожь в глубине сердца и утешался тем, что полет человеческой мысли так же неуправляем, как полет сокола под облаками. Стоя

в церкви, Сверрир чувствовал себя сыном конунга. Он добился того, чего хотел. Он отчетливо понимал, что его мать фру Гуннхильд знала больше, чем одного мужчину, но только один из них был конунг. Сверрир нес нелегкую ношу сомнения. Это сомнение придавало ему силы, побуждало к действию, давало мужество совершать подвиги. Но когда-то эта неизвестность должна была смениться убеждением, и вот этот день наступил. Когда он, повелитель Трёндалёга с кровью врагов на руках, жестокий, и в то же время дававший всем пленным пощаду, великий в глазах своих людей, но не такой великий в собственном мнении, честный и в своей вере и в своих сомнениях, стоял перед ракой Олава Святого, он знал, что он сын конунга.

Он был избранный. Он знал, что люди безоговорочно верят ему, что его слово обладает властью, что им правит мысль, что Божьим даром и тяжким бременем стала для него жажда господствовать над людьми. А тот, кто может господствовать, — конунг в душе. Он несомненно был из рода конунгов. Но в ту минуту он не преклонил колени перед священной ракой.

До сего дня, йомфру Кристин, я не понимал, почему он этого не сделал. А теперь, кажется, понимаю: кто же преклоняет колени перед тем, кого считает равным себе?..

Мы молча вышли из церкви, конунг Норвегии и я.

Никогда, йомфру Кристин, я не чувствовал сильнее, чем тогда: есть что-то большее, чем мы.

И знал, что это же чувство переполняло тогда и твоего отца конунга.



В церкви Христа должно было состояться большое благодарственное богослужение, и когда церковь была бы до отказа заполнена воинами и горожанами, конунг должен был пройти по главному проходу и занять место перед священной ракой. В те дни у нас было много дел — надо было окружить город цепью сигнальных костров, подготовиться к Эйратингу, на котором Сверрира должны были провозгласить конунгом, и надо было собрать сведения о людях, которых мы взяли в плен во время сражения за Нидарос. Лишь вечером накануне богослужения у нас нашлось время подумать, как конунгу следует войти в церковь и как он должен держать себя.

Сперва мы послали в храм двух послушных нам священников, чтобы они выгнали оттуда паломников и всех, кто молился перед священной ракой. Потом церковь заперли, Бернард, мой добрый отец Эйнар Мудрый, Сверрир и я подошли к главному алтарю, чтобы решить, как конунг должен держать себя в церкви.

Одет он будет просто, как воин, но в более дорогом плаще, чем обычно. Так считали мы с Бернардом, однако конунг с нами не согласился. Он сказал, что, конечно, может подойти к церкви в дорогом плаще, может даже сделать в нем несколько шагов по главному проходу, но потом слуга должен подойти к нему, забрать плащ и вынести его из церкви.

— Как воин за дело Господне пришел я сюда и как простой воин подойду к раке.

Мой добрый отец тут же сказал, что не надо хотя бы заставлять слугу уносить плащ из церкви.

— Люди могут заподозрить, что на этом плаще больше крови, чем пристало быть на плаще воина под сводами дома Божьего. Нет, так не годится, пусть слуга сложит плащ и с ним в руках стоит неподвижно у колонны, а когда ты будешь выходить из церкви, он накинет плащ тебе на плечи.

На это конунг согласился, но Бернард сказал:

— Не надо, чтобы слуга накидывал плащ тебе на плечи, когда ты будешь выходить из церкви. Люди скажут, что тебе часто приходилось обходиться без плаща во время непогоды, а теперь ты так загордился, что не можешь даже накинуть плащ без помощи слуги.

С этим конунг тоже согласился, и мы стали упражняться с плащом. Я изображал слугу, конунг снял плащ и положил его мне в руки.

Отсюда он должен был один, со склоненной головой, подойти к священной раке и опуститься перед ней на колени, сопровождать его должны были только два мальчика из хора с зажженными свечами.

— Где это сказано, что я должен идти со склоненной головой? — спросил конунг. — Можно, конечно, идти со склоненной головой и в глубокой задумчивости, но не лучше ли идти, подняв глаза к куполу церкви и к Богу?

Мы стали упражняться и в этом. Сначала я, как будто я конунг, дважды подошел к раке: один раз со склоненной головой и один раз,

подняв взгляд к куполу. Они решили, что с поднятым к куполу взглядом вид у меня был глупый.

— Может, это потому, что у тебя шея длиннее, чем у конунга, — предположил Бернارد. — К тому же у тебя совсем другая походка, ты ходишь легче, но как-то вразвалку. Попробуй ты, Сверрир, тогда мы удвидим, будет ли у тебя глупый вид, когда ты пойдешь с поднятой головой.

Сверрир дважды подошел к раке, и мы, не без колебания, решили, что все-таки лучше идти, склонив голову. Конунг сказал, что нам надо еще о многом подумать прежде, чем мы порешим на этом.

— Вы говорите, что меня должны сопровождать два мальчика из хора. Но почему только два? А может, вообще ни одного? Если два мальчика пойдут впереди, лицо у меня будет освещенно, это хорошо, но тогда спина будет в тени. Если их будет четверо, я буду освещен и спереди и сзади. Но, может, все-таки лучше, чтобы я шел один? Так у меня будет более смиренный вид. А у раки, я должен опуститься на колени у всех на глазах или как-нибудь иначе?

Мы долго обсуждали это и не пришли ни к какому решению. Мой добрый отец, который за последнее время сильно сгорбился и постарел, однако всегда обнаруживал бодрость, если что-то пробуждало в нем живой интерес, изобразил конунга и легко, на цыпочках, со склоненной головой пошел к раке.

— Вот как ты должен идти, Сверрир, — сказал он. — Потом ты остановишься, словно пригвожденный к месту великолепием раки, ты должен весь как бы поникнуть под тяжестью великой силы. Потом ты вдруг бросишься ниц, подползешь к раке и поцелуешь ее.

— Нет, нет, — возразил Бернارد. — Придуманно красиво и с добрыми намерениями, но это неумно. Я видел подобные службы у себя дома, там они весьма обычны. У меня есть все основания говорить, что твой образ мыслей, Эйнар, несколько устарел. Понимаешь, люди по природе своей очень подозрительны, и к тому же они полны зависти. В последнем ты, Сверрир, еще не раз убедишься и вспомнишь мои слова. Ни один конунг не избежит людской зависти. Главное, чтобы тебя считали честным, пусть даже мелочным, но при этом ты должен сохранять чувство достоинства. Не надо тянуть, надо быстро преклонить колени перед ракой. В странах, куда больших, чем Норвегия, уже давно это поняли. Там люди опускаются на колени, зами-

рают на время в глубочайшем почтении, а потом медленно встают и занимают свое место.

Он показал нам, как, по его мнению, это следует сделать.

— Я вижу, у тебя большой опыт в этом деле, Бернард, — сказал я. — Как настоятель монастыря премонстрантов в Тунсберге ты давно научился красиво преклонять колени, чего нельзя ждать от нашего уважаемого конунга и друга. Он это делает довольно неловко, так сказать, по-домашнему. Если позволите, я покажу вам, как, по-моему, это следует делать.

Я подошел к раке, немного быстрее, чем Бернард, голова у меня была наклонена только чуть-чуть, перед ракой я склонил ее ниже, словно на душе у меня было большое горе, отступил на шаг, опустился на колени и стал молиться. Потом встал и вернулся к остальным.

— Это слишком просто, — сказал конунг. — Не забывай, у нас богослужение по поводу радостного события. Люди придут, чтобы посмотреть на конунга, к тому же на нового конунга — и пусть завидуют ему, сколько хотят. Однако вид конунга должен внушить им радость, они должны почувствовать, что это праздник. Поэтому я пойду к раке совершенно один, а мальчики со свечами пусть стоят возле раки. Я быстро войду в освещенный ими круг и там, у раки, словно от боли, рухну на землю и буду лежать долго, пока люди не начнут удивляться. Потом я медленно поднимусь, точно возникну из закрытой могилы, раскину руки и обниму раку, а уже после этого повернусь к людям и опущусь на колени перед ними.

— Нет, нет, — сказал Эйнар Мудрый. — Не делай последнего, Сверрир, а то я перестану считать тебя конунгом. Это будет выглядеть неискренне и глупо. Но с началом я согласен. Давай повторим еще раз: ты встаешь и делаешь вид, будто обнимаешь раку, но не поднимай руки слишком высоко, глядя на тебя, они должны понять, что никто не достоин обнимать раку Олава Святого. Голова у тебя должна быть низко опущена, потом ты отступишь на шаг...

— Я возражаю, — вмешался я. — Это верно, Сверрир умеет замечательно делать вид, что он делает то, чего не делает. Но и этому есть предел. Помни, у тебя за спиной будут стоять люди. Твое лицо будет скрыто от них. Ты ловко умеешь играть своими морщинами, Сверрир, и у тебя их хватает. Но что тебе даст это твое умение, если люди не будут видеть твоего лица? Им будет виден только твой за-

тылок. Что будет видно священникам, стоящим перед тобой, нас мало волнует. Тебе придется все свои чувства выражать спиной. Но это у тебя не получится. Поэтому надо выбрать самое простое. Ты красиво опустишься на колени, потом встанешь и отойдешь в сторону.

— Конунг не должен никуда отходить, — заметил Бернард. — Я считаю, что он должен всю службу отстоять перед ракой с опущенной головой. Так делали в моей стране до того, как я уехал отсюда.

— Но сейчас мы в Норвегии, — напомнил я. — Если конунг всю службу простоит перед ракой, рассердятся священники, — ведь тогда люди будут смотреть на него, а не на них.

— Ты сам только что ты сказал, что нас не волнует, что подумают священники. Но это неважно, в твоих словах есть смысл. Трудность в том, чтобы придумать достоверное поведение, а что ты там будешь чувствовать, это уже неважно. Главное, твое поведение должно быть достойно и конунга и Бога.

Я сказал:

— А если так, конунг должен пройти по церкви, остановиться перед ракой, повернуться лицом к людям и преклонить колени перед ними. Потом он встанет, повернется лицом к раке, снова медленно опустится на колени и уже всю службу простоит на коленях. Люди будут довольны, что сначала преклонили колени перед ними, но больше достанется Богу, потому что конунг будет стоять перед ним на коленях гораздо дольше.

— Это не годится, — в один голос заявляют Эйнар Мудрый и Сверрир. — Как ты не понимаешь, что ни один конунг не может преклонить колени перед людьми раньше, чем он преклонит колени перед священной ракой?

Эйнар Мудрый берет руководство на себя, он начинает сердиться, а я знаю, что мой добрый отец принимает самые мудрые решения именно в минуты гнева.

— Конунг идет по среднему проходу, — твердо говорит он. — Идет несколько неуверенно. Но главное, медленно, государь, медленно! Помни, ты не должен разочаровать тех, кто смотрит на тебя. Потом ты опускаешься на колени, я согласен, что ты должен стоять на коленях дольше обычного. Но не слишком долго! Не забывай этого. Считай удары своего сердца. Мы сейчас посмотрим, как это

получится. Думаю ста двадцати ударов будет достаточно. Вообще-то хватило бы и ста, но в такой день сердце у тебя будет биться чаще, чем обычно. Потом ты встанешь, обернешься к людям и слегка наклонишь голову, так ты выразишь им свою благодарность. Но опуститься на колени перед своим народом конунг не должен. В этом наклоне головы выразится твоя благодарность за то, что ты стоишь перед священной ракой. Потом ты отойдешь в сторону и всю службу будешь стоять со склоненной головой.

Конунг сказал:

— Я думаю, так будет лучше всего.

Остальные еще немного сомневались в таком решении. Конунг же начал упражняться, он повторял все снова и снова, и тут выяснилось, что он не слышит ударов своего сердца. Тогда мы придумали, что, став на колени, он сложит руки, как для молитвы, и пальцем найдет на запястье жилу, в которой бьется кровь. Ста двадцати ударов оказалось слишком мало. Мы увеличили число до трех сотен. Потом конунг поднялся с колен.

На другой день мы благодарили Бога в церкви Христа.



Вечером после благодарственной службы в церкви Христа мы со Сверриром беседовали об архиепископе Эйстейне.

— Для нас архиепископ более опасен, чем ярл, — сказал он. — Я надеялся, что он не обратится в бегство из-за нашего прихода. Теперь мне бы хотелось, чтобы он вернулся обратно. Поэтому мы должны оказывать уважение каждому священнику и кланяться ниже, чем обычно, каждому настоятелю. Я не сменю ни одного епископа, хотя у меня и есть на то власть. Пусть поймут, что хотя моя власть будет все время набирать мощь, как ее набирает шторм, налетевший с моря, использовать ее против людей церкви я не буду. Нет! Я скорей обойдусь несправедливо со своими людьми, лишь бы привлечь на свою сторону архиепископа Эйстейна и его лживую свиту. Тебе не кажется, Аудун, что мы, священники, слуги дьявола? Мы научились читать и многие из нас умеют думать, и вдруг нам в голову лезет всякая дьявольщина! — Он посмотрел на меня и засмеялся. — Мы должны были стать людьми неба, а стали мелкими и хитрыми

апостолами земного царства. Архиепископ Эйстейн неглупый человек. Он знает, что я священник. И ему кажется, что он знает, о чем я думаю. Во многом, он, конечно, прав. Он понимает, что может набить себе цену. Хочет выждать и посмотреть, что будет дальше. Если мы пустим кровь ярлу Эрлингу и конунгу Магнусу, — а я уверен, что так и будет, хотя порой моя уверенность в этом сильно колеблется, — архиепископ Эйстейн изрядно поднимет цену на свое возвращение в Нидарос. Вообще-то ярлу и архиепископу легче понять друг друга. Ведь Эрлинг Кривой не священник. Он хитер, жесток, умен, лукав и неискреннен. Но эти качества в нем грубее и откровенней, чем в архиепископе. Мы, священники, куда ближе к дьяволу, чем он.

Сверрир поднимает рог и смеется, лицо его посвежело, и он выглядит более веселым. Таким я не видал его с тех пор, как однажды он бежал дома по холмам вместе с Астрид, — он обнял ее за талию, швырнул в море, потом прыгнул за ней, вытащил ее на берег, и раздел — из-за большого камня мне была видна только ее голая нога, — он развел костер, чтобы Астрид обсохла, и держал ее над ним на руках, а потом, шутя, отшлепал по задку. Не зря говорили, что она горячо целовала его еще до того, как стала его женой.

В дверь постучали.



Вошел священник Симон, он не позволил остановить себя. В этот вечер Симон был пьян, и таким он мне нравился больше. Он никогда не пил столько, чтобы потерять равновесие и упасть, у него только словно костенели суставы, а редкие, но глубокие морщины вокруг глаз становились темнее лица. Голос Симона всегда был одинаково резкий. Когда Симон выпивал, его голос становился немного хриловатым, точно приглушенным, это тоже было его оружие, хотя и не такое разящее, как до того, как он осушал рог.

Симон сел, не дожидаясь приглашения.

Я уже давно понял, что Симон не относится к тем, кого свободный человек может легко зарубить. Раб мог, конечно, подкрасться к нему сзади и разmozжить ему голову молотом, но и это было бы по силам лишь тому, кто за свои злодеяния попал бы в ад и не убив Симона.

Он наклонился к Сверриру и сказал:

— В городе говорят, что ты продал душу дьяволу...

Я вздрогнул, Сверрир тоже, я хорошо знал Симона: мысленно он уже прикинул, какую выгоду или неприятности нам принесут такие слухи. Он смотрел на конунга и смеялся — вернее, он только открывал рот и беззвучно изображал, что смеется. Смех оставался у него в горле и не вырывался наружу. Подняв рог, он повернулся ко мне, потом кивнул конунгу и сказал:

— Теламёркцы тоже считают, что ты продался дьяволу.

Я сразу понял, что Симон лжет. Но не сомневался, что при желании ему ничего не стоило убедить их, в чем угодно. Представь себе темную ночь, йомфру Кристин, дождь, жители города давно отправились на покой, и тут в дом, где спят воины, входит Симон, выбирает молодого парня, спящего с мечом под боком. Парня неожиданно будят, он просыпается, вскакивает и видит перед собой чьи-то темные глаза, чья-то рука трясет его и он слышит горячий шепот: Конунг продался дьяволу!

И — никого.

Я пытался понять, чего Симон хотел достичь своими словами. Сверрир тоже. Мы оба повернулись к Симону — робким этот человек не был, он взял мой рог и опустошил его.

И мне снова пришло в голову то, что уже приходило ночью, когда мы шли к Нидаросу. Это Симон, а не Сверрир, продался дьяволу. Если мы, слуги Божьи, вдвоем набросимся на него, мы его, конечно, убьем. Потом можно спрятать труп в спальном покое конунга, отослать всех стражей из усадьбы, вынести отсюда труп Симона и бросить его в Нид. Но все было не так просто.

Симон сказал:

— Если люди узнают, что я верю, будто ты продался дьяволу, скоро этому поверят многие...

— И чего же ты требуешь за свое молчание, серебро или усадьбу? — спросил конунг.

Конунг сразу заговорил о деле, Симон отодвинул рог, он решил, что ему выгоднее честно ответить на этот вопрос.

— Хочу стать епископом в Хамаре на Мьёрсе, — сказал он. — Думаю, Сверрир, что Упплэнд скоро покорится тебе. С Вестфольдом будет труднее, хотя самые большие трудности ждут тебя с Виком. Но

если ты будешь повелителем Трёндалёга, то уж, конечно, захватишь и все селения вокруг озера Мьёрс. В таком случае я хотел бы стать епископом в Хамаре. Не помню, как зовут того старика, который сидит там сейчас. Но мы можем прогнать его к черту или утопить в Мьёрсе, если он сам не уберется по добру по здорову. А когда ты будешь повелителем всей Норвегии, Сверрир...

Ты думаешь, архиепископ Эйстейн когда-нибудь вернется сюда?
Я не думаю.

Симон смотрел на нас, теперь он не смеялся, он предстал перед нами во всем великолепии своей злобы. Никогда еще он не был таким худым, серым, взволнованным и готовым к прыжку. Хмель слетел с него, перед нами был муж с волей мужа и в то же время хищная ощеренная рысь.

— Тебе в самый раз быть священником, Симон, с твоей любовью к земным благам, — сказал Сверрир.

Он наклонил голову и поглядел на свои руки, словно увидел их впервые. Вдруг, вскочив, схватил Симона за горло, приподнял и отшвырнул прочь, снова схватил и подмял под себя на полу. Я тоже вскочил, табуретки опрокинулись. Одной рукой Сверрир схватил Симона за шиворот, другой — за мошонку и надавил. Симон заорал. Сверрир поднял его и отнес к низкой скамеечке у торцевой стены, где у него лежала Библия. Сверрир всегда возил с собой Библию. Он прижал голову Симона к Библии и велел поцеловать ее. Симон плюнул на Библию, Сверрир поднял его и стукнул головой о стену так, что у Симона изо рта и из носа хлынула кровь. Потом он снова прижал Симона ртом к Библии и велел поцеловать ее. Симон повиновался.

— Идет у него из задницы синее пламя? — спросил у меня Сверрир.

— Да! — крикнул я.

— Значит, дьявол покинул его, — усмехнулся Сверрир. — Но он еще вернется.

Симону пришлось три раза поцеловать Библию, прежде чем Сверрир отпустил его.

— Священнику полезно целовать слово Божье, — заметил конунг.

Потом он взял полный рог с вином, чудом не опрокинувшийся в этой потасовке, и выплеснул вино в лицо Симону. Пока Симон моргал глазами, конунг достал красивый льняной плат, который всегда держал при себе, чтобы вытирать лицо, и смыл кровь и вино с лица Симона.

Потом спросил:

— Тебе все еще хочется стать епископом в Хамаре?

— Нет! — ответил настоятель монастыря на Селье, и я первый раз услышал, как у него дрогнул голос.

На пороге он обернулся и сказал голосом, звук которого я помню до сих пор:

— Говорят, государь, что твой добрый отец Унас где-то здесь в Трёндалёге, не тот отец, который конунг, а первый...

Он поклонился и вышел.



День конунга за трое суток до дня Йона:

Matutina*:

Конунг встает и идет к утрени в капеллу Марии. Конунга сопровождают: Бернард, Эйнар, Аудун. Аудун напоминает конунгу, что во время службы тот должен продумать и поручить Бернарду и Эйнару наблюдение за Симоном. Конунг возвращается из церкви Христа. Бернард и Эйнар получают задание.

В усадьбе конунга:

Конунг съедает легкий завтрак. Присутствуют: Бернард, Эйнар, Аудун. Кроме них, бывший друг архиепископа Эйстейна преподобный Кьяртан из Бёрсы. Разговор об архиепископе.

После того:

Конунг едет в Спротавеллир посмотреть, как люди из Теламёрка упражняются в воинском искусстве. Обращается к ним с короткой речью, всеуслышание хвалит Гудлауга. Верхом возвращается в конунгову усадьбу.

Два знатных человека из Фросты. Короткая беседа с конунгом. Их сыновья вступают в дружину.

После того: в конунгову усадьбу приходят знатные люди.

Сигурд из Сальтнеса докладывает все, что лазутчики разузнали о бондах.

Возможность послать лазутчика на юг в Бьёргюн. Разговор длится до следующей службы.

* Заутреня, около шести утра.

Prima*:

Конунг не идет в церковь Христа на эту службу. Идет Эйнар Мудрый, он передает священникам поклон от конунга. Их приглашают на трапезу к конунгу на другой день.

Конунг у оружейников, шутит и смеется с оружейниками. Пожимает каждому руку, раздает серебряные монеты. Верхом возвращается в конунгову усадьбу.

Короткая встреча с Вильяльмом, Аудуном, Сигурдом. Вильяльм докладывает, что горожане говорят о конунге.

Первый разговор о том, как разделить дружину на ближнюю, малую, и большую.

После того: конунг едет в женский монастырь Бакки и приветствует настоятельницу. Объявляет: Любому воину запрещено находиться в монастырских стенах. О нарушениях этого запрета сообщается конунгу.

После Эйратинга конунг собирается еще раз навестить женский монастырь и привезти богатые дары.

Возвращается в конунгову усадьбу.

Tertia**:

Конунг не принимает участия и в этой службе. На службе присутствует Бернард, он приветствует священников.

Конунг ест, Аудун читает первый набросок выступления конунга на Эйратинге.

После того:

Конунг и Аудун — разговор об Унасе. Выбирают пятерых надежных людей, которые должны найти Унаса.

После того:

Конунг едет в Скипакрок, где строятся корабли. Пожимает руку каждому плотнику, раздает серебряные монеты.

Возвращается в конунгову усадьбу.

Хагбард Монетчик — серебряные монеты со знаком конунга. Конунг Сверрир не должен раздавать монеты со знаком конунга Магнуса.

* Первый литургический час, по средневековой разбивке дня по литургическим часам в католической церкви, примерно, в половине седьмого.

** Час третий, примерно, в половине восьмого.

Sextia*:

Конунг присутствует на службе в церкви Христа. Его сопровождают Йон из Сальтнеса и Гудлаут. Воины входят в церковь впереди конунга. Конунг опускается на колени позади них.

Аудун — напоминает конунгу перед службой о возможности отправить письмо архиепископу Эйстейну.

После этой службы — конунг едет с Сигурдом в Спротавеллир и наблюдает, как дружина упражняется в воинском искусстве. Обращается к воинам с коротким словом.

Возвращается в конунгову усадьбу.

Конунг объявляет, что даст пощаду всем пленным.

В городе сообщается, что конунг даст пощаду всем пленным.

Конунг отзывает назад сообщение, что он даст пленным пощаду. Сообщение отозвано.

В городе становится известно, что сообщение конунга о пощаде пленных, отозвано назад.

Люди Вильяльма слушают, о чем говорят горожане, когда становится известно, что сообщение о пощаде отозвано. Конунгу передают эти разговоры.

После того:

Короткая встреча с фру Гудрун из Сальтнеса. Присутствуют ее сыновья. Конунг подносит фру Гудрун богатые дары. Говорит: Каждый из твоих сыновей достоин делить со мной мое ложе.

После того:

Конунг обедает. По возможности избегает разговоров. Потом короткий отдых. Никто не делит с ним постель.

Перед отдыхом не докладывается ни о чем, над чем следовало бы подумать.

Nona**:

Конунг не присутствует на этой службе. Присутствуют трое из его ближайших людей.

Конунг беседует с Аудуном, Эйнаром, Бернардом о родичах архиепископа Эйстейна в Бьёрсе и о возможности пригласить их в качестве гостей на Эйратинг.

* Час шестой, примерно, в половине двенадцатого.

** Девятый литургический час по средневековой разбивке дня, около трех часов пополудни.

Сигурд, Вильяльм, Гудлаут, Йон — второй разговор о разделении дружины на малую и большую.

Возможность купить оружие у кузнецов Упплэнда.

Братья из Фрэйланда — короткое сообщение об устройстве сигнальных костров.

После того: Встреча с бондом из Сельбу, он смастерил шашки и хочет подарить их конунгу.

После того: Встреча с жителем Тьотты, который хочет подарить конунгу удила.

После того: Конунг отдыхает.

Vespera*:

Конунг присутствует на службе вместе с самыми знатными и дружелюбно настроенными горожанами. Дружеские разговоры на площади перед церковью после службы.

Конунг возвращается в усадьбу.

Ужинает вместе с несколькими гостями. Среди них Симон. Конунг приветствует его так, словно между ними ничего не было. Беседа — о дальнейшем строительстве церкви Христа.

После того: Ближайшие люди конунга беседуют в усадьбе о пленных, следует ли давать им пощаду. Беседа длится до седьмой службы.

Completorium**:

Конунг не присутствует на этой службе.

Сигурд рассказывает последние новости из Упплэнда и Вика.

Конунг остается один перед тем, как лечь спать.

Спит, если возможно, без посторонних.



Однажды вечером шел дождь, погромыхивал гром, над города низко нависли тучи. Мы со Сверриром сидели в конунговой усадьбе, перед нами лежали дощечки с моими набросками обращения конунга к народу. Эту речь он должен был произнести на Эйратинге. По Нидаросу пошел слух, будто конунг продал душу дьяволу. Мы спо-

* Вечерня, в пять часов пополудни.

** Повечерие, последняя служба в девять вечера по завершению всех дневных дел.

рили, нужно или нет ему в своей речи говорить о том, что он знает об этих слухах. Я был против.

— Ты только привлечешь к этому внимание, и обязательно найдется кто-нибудь, кто этому поверит.

— Кто-то всегда чему-то верит, — возразил он. — Но трусливые станут еще больше бояться конунга, а умные проникнутся к нему уважением, если он осмелится сказать то, о чем большинство не осмеливается говорить.

Я был не согласен и спорил с ним. Времени почти не оставалось, речь должна была быть готова через две ночи. Потом ее следовало переписать начисто, и Сверрир должен был выучить ее наизусть. Он считал, что ему следует поупражняться прежде, чем он выступит с такой важной речью. Для этого из усадьбы нужно будет удалить всех обитателей, чтобы никто не узнал об этих упражнениях,

— Эта речь должна звучать так, словно она только что вылилась из сердца, — сказал он. — Иногда ведь так и бывает. Но в этом случае было бы глупо не взвесить заранее каждое слово. Воин должен проверить остроту меча до того, как он ринется в сражение.

В дверь постучали.

— Есть много причин, по которым не стоит упоминать, что люди думают, будто ты продал душу дьяволу, — сказал я.

— Есть много причин, по которым следует упомянуть, что я знаю, о чем говорят люди, — возразил он.

— Ну так и скажи, черт бы тебя побрал!

— Мы должны все взвесить.

— И что же, по-твоему, перевесит? — спросил я.

— Я предпочитаю сказать об этом.

— Конунг всегда прав, — заметил я. — Даже когда не прав.

В дверь постучали.



Да, в дверь опять постучали, и я с досадой встал, чтобы открыть ее. Стражи у двери лишь в особых случаях разрешали кому-нибудь тревожить нас. За дверью стоял человек, с него бежала вода, сперва мы его не узнали. Потом оба вскрикнули от удивления: это был Свиной Стефан.

Да, Свиной Стефан, тот самый, который был кормчим на корабле, который привез нас с Фарерских островов в Норвегию. Мы ничего не знали о его судьбе с тех пор, как захватили Нидарос. Теперь он стоял перед нами.

Мы втащили его в покой, сдернули с него плащ так, что отлетели все пряжки, посадили на табурет, снова подняли и бросились наливать вино. Сверрир расплескал вино, когда пил из рога. Стефан выглядел усталым, но был рад встрече с нами и его мужественное, обычно мрачное лицо сияло.

Он рассказал, что последние дни перед нашим нападением на Каупанг люди Эрлинга Кривого ходили из дома в дом и искали, всех, кто мог оказаться их противником. Свиной Стефан и еще несколько человек выбрались тайком из города и спрятались в усадьбе Дигрин.

— Дигрин! Значит, ты приехал туда сразу после того, как мы отсюда ушли!

Мы опять стали обниматься от радости, выпили, наконец Стефан глянул в сторону:

— Аудун...

— Я знаю, — коротко сказал я.

— Из Торсхёвна пришел корабль, люди, приплывшие на нем, говорили, что твоя добрая матушка фру Раннвейг умерла легкой смертью.

— Я знаю, что она умерла, — сказал я. — Я видел, как Дева Мария несла ее в своих объятиях, когда молился в капелле Марии.

Сверрир крикнул служанкам, чтобы нам принесли поесть, и на столе тут же появилась всякая снедь. Стефан спросил, примут ли его в войско конунга Сверрира, и Сверрир с радостью уверил его в этом:

— Не много я знал людей, Стефан, которые были бы храбрее тебя, — сказал он. — И умнее тоже.

— Не ждал я, что увижу тебя конунгом, — сказал Стефан.

— Это оказалось неожиданным не только для тебя, — усмехнулся Сверрир.

— Там стоит еще один человек, — сказал Стефан.

— Кто же это? — поинтересовался конунг.

— Ты не обрадуешься, увидев его, но все же, я думаю, твоя доброта к нему перевесит твою к нему неприязнь.

— Тогда я знаю, о ком ты говоришь. — Конунг поглядел в сторону, по-моему, его трясло.

— Раньше его считали твоим отцом, — сказал Стефан.

— Приведи его сюда! — Сверрир отошел к стене и прислонился к ней спиной.



Ты помнишь, йомфру Кристин, что Унаса в Норвегию с Фарерских островов привез сборщик дани Карл. Теперь мы узнали, что в Бьёргуне Унас бежал от людей ярла и здесь, в Нидаросе, встретил земляка из Киркьюбё — Свиного Стефана. Они вместе отправились в конунгову усадьбу, чтобы повидаться со Сверриром, но трезвым Унас боялся встретиться с сыном.

Сын — не сын, отец — не отец, я украдкой наблюдал за ними. Один — молодой, невысокий, крепко сбитый, с некрасивым, но сильным лицом, пронзительным взглядом, учтивый и приветливый. Другой — похожий на кошку, вытащенную из реки. Когда-то Унас был такого же роста, как Сверрир, теперь съежился, сгорбился, поседел, у него дрожали руки, он вообще сильно постарел за то время, что мы не виделись. Что было известно о конунге Сверрире и его происхождении, что я знал о его матери, фру Гуннхильд, что содержалось в ее рассказе, божья истина или дьявольская ложь?

Но я знал, как мне поступить.

Я подошел к Сверриру и тихо спросил:

— Думаю, государь, мне следует взять эти дощечки и подумать ночью над твоей речью?

Он взглянул на меня с благодарностью, потом сказал, чтобы я оставил дощечки и подождал снаружи, пока он не позовет меня.

— Хорошо. — Я взял под руку Свиного Стефана — он был не очень сообразителен, — и мы вместе вышли из дома.

Мы ждали под проливным дождем. Один из стражей, который в темноте не узнал меня, велел нам покинуть конунгову усадьбу. Я сердито назвал себя. Страж что-то буркнул и ушел. Мы со Свиным Стефаном спрятались от дождя под деревом.

— Здесь нам будет слышно, когда конунг позовет нас, — сказал я.

Чтобы скрыть одно горе другим, я начал расспрашивать Свиного Стефана, долго ли болела моя мать перед смертью. Он сказал, что,

насколько ему известно, она избежала больших страданий и время ее ожидания было недолгим.

— У нее там было много друзей, — сказал он, — и они помогали ей.

И это была святая правда. Где, как ни дома, на всей Божьей земле найдет себе друзей скромная доброта, ничего не требующая для себя, готовая поддержать ближнего и в шторм и во мраке ночи и предложить свою помощь страждущему? С ней не было ни мужа, ни сына, когда она умирала. Но что, йомфру Кристин, нам известно о нашей собственной смерти?..

Мы немного поговорили со Стефаном, странная это была встреча. Несколько раз Стефан прочищал горло, может, хотел задать вопрос, а может, обругать кого-то или многих. Но каждый раз я успевал опередить его вопросом о моей доброй матушке. Он ничего не знал.

— Аудун! — послышался голос конунга.

Я взял Свиного Стефана под руку, и мы вернулись в покой Сверрира.



Унас сидел на скамье, закрыв голову руками, рог был уже пуст. Значит, сын угостил отца, чтобы успокоить его боль... Я хочу сказать: конунг угостил своего приемного отца, чтобы тому было легче вынести то, что его ожидало. Конунг был невесел, но совершенно спокоен.

— Я рад, что ты пришел и привел с собой Унаса, — сказал он Стефану. — Сейчас тебя устроят на ночлег, а утром мы встретимся опять. Покойной ночи.

Я тоже пожелал Стефану покойной ночи. Потом пришел человек и увел его.

Унас так и не поднял головы, лицо его было закрыто руками. Сверрир уже устал. Он заговорил медленно — мне даже показалось, что он начинает с объяснений, чего обычно никогда не делал. Но тут же он оборвал себя, отвел меня в угол и спросил:

— Проводишь его из Нидароса?

— Да, — ответил я.

— Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Говори прямо.

Конунгу стало неприятно при мысли, что я мог превратно понять его, он быстро и устало провел рукой по глазам. Потом сказал хрипло:

— Ты проводишь его из города, но с ним ничего не должно случиться, понимаешь...

— Понимаю, — сказал я.

— Халльвард Губитель Лосей пойдет с тобой. Пальцы он потерял, но ходить может и мужества ему не занимать. Ты выведешь их из города и вернешься обратно, дальше они пойдут одни. Передай Халльварду то, что я сказал тебе: С ним ничего не должно случиться.

— Хорошо.

— Халльвард отведет его в Сельбу, там Халльварда знают. Пусть найдет там человека, который отведет Унаса в Ямталанд, а сам вернется сюда. Пусть передают один другому мой наказ: С ним ничего не должно случиться.

— Я позабочусь, чтобы твой наказ передавался от человека к человеку.

— Тогда ступай с Богом.

Он посмотрел на меня, и в глазах у него блеснули слезы, он смахнул их рукой и произнес слова, которые я запомнил навсегда:

— Не знаю, Бог ли ведет нас...

Он подошел к Унасу и положил руку на его седую голову. Я вышел и ждал на крыльце рядом со стражем, но не говорил с ним. Вскоре вышел и Унас. На поясе у него висел кошелек. За Халльвардом Губителем Лосей уже послали, и он вскоре явился. Мы вместе пустились в путь.

Мне пришло в голову, что Унас может захотеть убежать от нас, поэтому я отступил в сторону и пропустил его вперед. Он тихо сказал:

— Я не убегу.

Дорога была грязная, в темноте мы не видели деревянных мостков, а факела у нас не было. Унас оступился и упал, я поднял его. От него сильно пахло вином. Он плелся, шатаясь, впереди меня, вид у него был жалкий.

Я вывел их из города, дождь усилился, над фьордом сверкали молнии. Наконец мы остановились, я отвел Халльварда в сторону, потом понял, что это глупо, и подозвал к нам Унаса.

— Слушайте оба, — сказал я. — Вот наказ конунга. Ты Халльвард должен позаботиться, чтобы Унас благополучно добрался до Сельбу и потом дальше, до Ямталанда. С ним ничего не должно случиться.

Мы прошли еще немного, потом я остановился и протянул Унасу руку. Он слегка пожал ее.

— Как думаешь, — спросил он, — Сверрир и в самом деле сын конунга?

— Он избранный, — ответил я. — Но кто избрал его?

— Поэтому мне нельзя здесь остаться. Это умно.

Он простился и пошел дальше. Халльвард пошел за ним.

Я смотрел им вслед.

По дороге назад я снова думал о моей доброй матушке, я мог думать только о ней. Страж перед конунговой усадьбой не узнал меня в темноте и спросил, отношусь ли я к людям конунга.

— А ты сомневаешься? — спросил я.

Он поднял факел и узнал меня. Тогда он впустил меня внутрь.

Но мне расхотелось идти в усадьбу, и я остался в городе до наступления утра.



Вот что я помню о молодых людях, ставших потом моими друзьями:

Я сидел во дворе конунговой усадьбы у стены, освещенной солнцем, и отдыхал после работы над речью, которую конунг должен был проинести на Эйратинге. Ко мне подошли три молодых воина — Эрлинга сына Олава из Рэ я хорошо узнал во время нашего долгого пути из Вермаланда сюда. Двое других были братья Торбьёрн и Коре из Фрёйланда. Они держались учтиво и сказали, что хотят сообщить мне нечто, тяжким грузом лежащее у них на совести.

Я не привык к тому, чтобы воинов беспокоила совесть, и попросил их рассказать, в чем дело. Оказывается в Нидаросе ходили слухи, будто Сверрир не может представить доказательства, что он сын конунга.

— Мы вовсе не собираемся спорить с тобой об этом, мы только хотели спросить, а ты, если можешь, ответь нам, — сказали они.

Со временем я лучше узнал всех троих, и я горжусь своим ответом, от которого мне не пришлось отказываться и потом. Все трое были высокие и красивые, умные и бесстрашные. Что-то от них передалось мне, их душевный жар, похожий на ветер, посланный Богом. Я пригласил их сесть. Они сели.

Я сказал:

— Конунг Сверрир вышел из темноты к свету, он защищает всех нас, и он сильный человек.

Они не возражали.

— Конунг Сверрир обладает внутренней силой, он остается человеком Бога даже тогда, когда ему приходится прибегать к оружию дьявола, чтобы иметь возможность следовать своим путем.

Они не возражали.

— Он избранный, — продолжал я. — Всемогущий избрал его, и мы, ничтожные, поклялись ему в верности.

Они не возражали.

— Но сын ли он конунга, я не знаю.

Они посмотрели на меня.

— Но пусть это останется между нами, я полагаюсь на вас. У конунга была добрая мать, я знал ее. Однако к фру Гуннхильд приходил не один мужчина, и только один из них был конунг.

— Значит, он сын конунга, — решил Коре из Фрэйланда. — В своем сердце он сын конунга, и в моем тоже.

— Да, он сын конунга, — сказали и другие, — ибо если он и не сын конунга, он все-таки его сын милостью Божьей.

— Конунг дал мне право сомневаться, — сказал я, — поэтому я верю, что он сын конунга.

Они хотели уйти, но я попросил их остаться. И искал, о чем поговорить с ними, какую-нибудь общую для всех тему, чтобы победить их скованность из-за того, что я был близок конунгу.

— Может, поговорим о служанках, которые не всегда одинаково охотно служат воинам? — предложил я.

Они оживились, и нас всех словно захлестнуло одной волной. Мы хорошо провели тот день.

После того они стали моими друзьями и оставались ими и в добрые и недобрые времена. Мы беседовали о вечном, но не знали ответов на свои вопросы. Иногда мы говорили и о женщинах — мы все

одинаково плохо их знали и пытались скрыть это друг от друга. В такие минуты мы бывали особенно счастливы.

Йомфру Кристин, дружба между мужчинами — почти самый большой дар из всех, полученных нами от Бога. А самый большой — это любовь.



Вот что я помню о молодой женщине, которая продавала лук:

Однажды вечером я пошел один бродить по городу, мне хотелось поглядеть на людей и на городскую жизнь. В Нидарос уже собирались бонды из окрестных селений, чтобы присутствовать на Эйратинге и провозглашении конунга. На улицах кишели люди, продажные женщины открыто предлагали себя, некоторые, обезумев от желания, хватали меня за пояс, когда я проходил мимо них. За ними бегали мальчишки и совали им под юбки палки, женщины громко бранились, перед трактирами не совсем трезвые воины беседовали с горожанами. Я подошел к лавке, где какой-то торговец продавал лук. Покупателей было много, и я стал в очередь последним — человеку конунга не следовало теснить людей.

Неожиданно я почувствовал на себе чей-то взгляд и поднял глаза. Торговцу помогала продавать лук молодая женщина, может, его дочь. Она смотрела на меня. Меня вдруг потянуло к ней. Иногда так бывает. Тебя вдруг несет, как лодку по волнам, ты потерял управление, твою лодку несет в водоворот и ты не можешь помешать этому. У тебя есть весла, но ты не гребешь, тебе хочется закружиться в этом водовороте, ты ждешь жаркой встречи с той, которой никогда прежде не видел. Такое чувство охватило меня тогда. И ее, должно быть, тоже.

Покупающие медленно продвигались вперед, и я старался угадать, из чьих рук, ее или его, я получу лук. Выходило, что из ее. И я думал: может, и она думает о том же?

Тогда в толпу покупающих втиснулся воин, который не хотел ждать, и лук я получил из рук торговца.

Стоя перед ним, я взглянул на нее — она смотрела на меня. Руки у нас дрожали.

И я ушел от них.



Вот что я помню о паломниках:

В Нидарос пришли паломники, они принесли тяжелый крест, упали на колени и стали молиться. Они были грязные и устали после долгого пути, конунг вышел к ним и поблагодарил за то, что они проделали такой длинный путь, чтобы увидеть город, где хранится рака с мощами святого конунга Олава. В толпе паломников была Рагнфрид. Да, да, та самая женщина в жизни Сигурда из Сальтнеса. Она несла на руках их сына, позвали Сигурда, он прибежал. Когда он обнял ее, я отвернулся, и конунг тоже.

Был с ними и Малыш, сын Хагбарда Монетчика. Мы были вынуждены оставить его в Сокнадале у добрых людей, когда ушли оттуда, чтобы сразиться за Нидарос. Теперь паломники принесли его на плечах к отцу. И Хагбард пришел к сыну.

Я снова отвернулся.

Конунг сказал мне:

— Конунг — одинокий человек.

— Не конунг тоже может быть одиноким, — заметил я.

И рассказал ему о женщине, которая продавала лук, и о том, что я чувствовал, глядя на нее.

— Но ты можешь найти ее? — Он оживился.

— А что я могу предложить ей? — спросил я.

— Любовь у тебя есть, но мира нет.

— Честный человек дает или два куска серебра или ничего, — сказал я.

Он взглянул на меня и сказал, что дружба между мужчинами — почти самый большой дар из всех, полученных нами от Бога.

В ту ночь мы долго сидели и говорили о любви и дружбе, но о луке мы не говорили.



Вот что я помню о старом человеке и серебре:

Однажды в конунгову усадьбу пришел старый полутолстый человек. Он был похож на леминга, которого довели до бешенства, тыкая в него палкой. Стражи не сумели его удержать, от гнева у него на

губах выступила пена, из одной ноздри на бороду текла струйка крови, и он быстро слизывал эту кровь, чтобы не потерять ни капли.

Я узнал его. Это был кормчий, у которого мы отобрали серебро и корабль, а его самого бросили за борт.

Значит, он все-таки не утонул, он плыл на бревне, когда мы потащили его из виду. Видно, какой-нибудь чертов сын проплывал мимо на лодке и выловил этого негодяя. Теперь он был здесь. И требовал назад свое серебро.

Многих людей повидал я за те годы, что мы скитались по стране. Среди них были смелые, Но были и трусливые, я забыл почти всех. Но подумай, йомфру Кристин: мы бросили этого человека за борт и уплыли от него. И вот он явился к нам и требует, чтобы ему вернули его серебро.

Конунг вышел из дома, он собирался сесть на лошадь, чтобы куда-то ехать. Старик хотел изловчиться и схватить его за горло. Стража отшвырнула старика, я ткнул его кулаком в живот, и он с воплем согнулся пополам. Но тут же вскочил и снова выкрикнул конунгу в лицо свое требование:

— Я хочу, чтобы мне вернули мое серебро!..

Конунг рассердился. Он уже перекинул одну ногу через спину лошади и висел в положении, не совсем подобающем его сану. Лошадь забеспокоилась, взбрыкнула задними ногами и начала мочиться из презрения к конунгу и его людям. И все время этот жалкий, тощий старик орал в ухо конунгу:

— Я хочу, чтобы мне вернули мое серебро!..

— Ты дьявол! — крикнул конунг. — Тебе уже давно следовало сдохнуть!

— Ну так убей меня! — крикнул старик. — Убей меня к черту! Отними у меня жизнь! Или верни мне мое серебро!..

— У меня нет времени убивать тебя, — ответил конунг. — Я спешу в церковь на службу! — Он с силой отшвырнул старика, вцепившегося в его плащ.

— Ты спешишь не в церковь, ты едешь в Спротавеллир посмотреть, как там упражняются воины, — сердито сказал я.

— А ты заткни свою вонючую пасть! — рявкнул на меня Сверрир. — Я еду в церковь, когда хочу!

Старик продолжал кричать:

— Отдай мое серебро до того, как поедешь в церковь!..

— У меня нет времени убивать тебя! — рывкнул опять конунг. — Я еду в церковь. Он схватил свой кошелек и швырнул его в голову старику, замок раскрылся и оттуда выпала горстка серебра. — Забирай это!

Старик не заставил просить себя дважды, он бросился в грязь и стал совать серебряные монеты себе в рот, он как будто ел серебро.

— Так куда я еду, в церковь или в лапы к дьяволу? — спросил у меня конунг.

— Ты едешь в Спротавеллир, хитрец, — ответил я и вскочил на другую лошадь.

— Не убивайте старика! — крикнул конунг страже. — Пусть живет, пока у меня не будет времени убить его!

Конунг был в такой ярости, что по ошибке вместо Спротавеллира поехал все-таки в церковь.



Вот что я помню о Сверрире, конунге Норвегии:

Мы с ним обсуждали речь, которую он должен был произнести на Эйратинге.

— Очень важно, — сказал он, — лишний раз повторить, что конунг Магнус не сын конунга. Он сын дочери конунга и ярла и потому не имеет права именоваться конунгом. В этом нарушении закона повинен прежде всего архиепископ Эйстейн, поскольку он короновал Магнуса. Но последнего говорить не следует. Это может задеть архиепископа. А я не хочу его задевать.

Поэтому все нападки должны быть направлены против конунга Магнуса и его отца ярла Эрлинга. Я должен снова и снова повторять, что они сознательно нарушили закон, объявив конунгом страны того, кто не имеет на это права.

Не надо слишком подчеркивать, что я сын конунга. Я скажу это твердо, коротко и без лишних слов. Если я потрачу на это слишком много времени, всем покажется, будто я в этом сомневаюсь.

— Выпьешь пива? — спросил он.

— Я не пью, когда пишу, — ответил я.

Он сделал глоток и по бороде у него потекла пена.

— Я должен идти сегодня к службе? — спросил он.

— Нет, вместо тебя пойдет Бернард.
Он вздохнул с удовлетворением и осушил чашу.



Вот что я помню о плаще конунга:

Конунг хотел одеться на Эйратинг так, как одваются воины. Но сверху он собирался надеть красный плащ из валлийского сукна, который сможет одним движением сбросить с себя, когда его начнут чествовать. Он хотел предстать перед своими людьми одетым так же просто, как и они.

И тут оказалось, что в Нидаросе нет валлийского сукна. Во всех лавках, у всех купцов оно словно сквозь землю провалилось. Мы поняли, что горожане без большого восторга относятся к конунгу и его людям. Им хотелось поставить его на место.

Вильяльм попросил согласия конунга: он пойдет и достанет то, что необходимо.

— Нидарос не такой уж большой город, и я догадываюсь, где прячут сукно.

Но конунг не мог дать на это согласия.

— Плохо получится, если я поднимусь на холм тинга и позволю во имя закона провозгласить меня конунгом в плаще, который я добыл, нарушив закон. Едва ли закон можно истолковать так, что купцы не имеют права прятать то, что принадлежит им, и не продавать, если на то не будет их воли.

Мы заспорили, и мой добрый отец Эйнар Мудрый, который знал законы лучше многих из нас, сказал, что закон стоит на стороне конунга.

— Можешь не опасаясь послать Вильяльма за сукном, — сказал он.

— В любом случае я буду выглядеть смешным, — возразил конунг. — Люди станут смеяться, если я появлюсь в новом плаще и при этом будут знать, что мне пришлось отправить для этого к купцам самого предводителя моей дружины.

Сигурд из Сальтнеса сказал:

— Здесь в Нидаросе есть дом, где хранится столько сукна, что хватит, чтобы одеть небольшое войско.

— Где это? — хором закричали мы.

— В усадьбе архиепископа, — ответил Сигурд.

Он был прав, в усадьбе архиепископа хранилось много разного добра, было там, конечно, и валлийское сукно. Но конунг строго-настрого запретил брать что-либо оттуда, не мог же он нарушить свое слово, чтобы раздобыть сукна себе на плащ. Мы задумались, время шло, его оставалось все меньше и меньше, человек, который должен был сшить плащ, все еще ждал в конунговой усадьбе. Тогда мы впервые услышали, что плащ будет шить мужчина. Но это был Леонард, ваятель, вытесавший из камня голову конунга Магнуса, тот, которого мы со Сверриром видели в церкви Христа. Леонард умел также шить нарядную одежду. Слух о том, что плащ конунгу будет шить мужчина, уже распространился по усадьбе. На дворе собралась толпа любопытных женщин, они кричали, что хотят взглянуть на конунга, когда с него будут снимать мерку.

Конунг засмеялся, вышел из покоя, позвал Леонарда, и тот пришел, чтобы снять с конунга мерку.

— Но сукна вы не увидите! — крикнул он женщинам. — Никто до Эйратинга не узнает, какого оно цвета!

Он весело помахал им и вернулся в дом.

— Где мы достанем это чертово сукно? — спросил он, садясь на почетное сиденье.

Тогда Сигурд из Сальтнеса вспомнил, что паломники, пришедшие с дарами в церковь Христа, принесли с собой штуку валлийского сукна. Он побежал и привел Рагнфрид. Она подтвердила: у паломников есть штука красного валлийского сукна, и они будут рады, если конунг примет его от них в дар.

— Это хороший знак, если я получу плащ в дар от паломников у раки конунга Олава Святого, — сказал Сверрир. — Ты позаботишься, чтобы жители Нидароса узнали об этом? — спросил он у меня.

— Бернард больше подходит для этого, — ответил я. — И поручений у него меньше, чем у меня.

— Я с удовольствием позабочусь, чтобы жителям Нидароса стало известно об этом, — сказал Бернард.



Вот что я помню о бонде из Фросты и о девушке, которую собирались повесить:

Однажды к конунгу пришел бонд и привел с собой девушку, чтобы ее тут же повесили. Она была служанкой у него в усадьбе, и ее уличили в воровстве.

— Как же можно повесить такую красивую девушку, — сказал конунг. — Смотри, какая она сильная и ловкая. Используй ее на какой-нибудь работе. Не думаю, чтобы она стала опять красть.

— Она крадет все, как сорока крадет блестящие пуговицы, — сказал бонд. — И какой толк прогонять ее прочь, ведь тогда она будет красть у других. Я привел ее из Фросты, и она знает, что конунг повесит ее, когда она окажется у него в руках. По пути сюда я говорил всем встречным, что если новый конунг вешает всех воров и бесчестных людей, значит, он соблюдает наши законы.

— Но я не могу просто так повесить ее, — сказал конунг. — Может, она отказала тебе в твоих домогательствах и ты оговорил ее, чтобы отомстить ей. Ты воровала у хозяина? — спросил он у девушки.

— Да, — ответила она.

Она была красивая и статная, сильные плечи, руки, не боящиеся работы. Вешать такую девушку было жалко, но, с другой стороны, если б ее повесили, это было бы по закону.

— У тебя много сыновей? — спросил конунг у бонда.

— Трое.

— Мне нужно четыре молодых человека, — сказал конунг, — даже пять, и я думаю, что двое или трое вернутся домой живыми. Твои сыновья здесь?

— Они дома, во Фросте, — ответил бонд, он дрогнул.

— Ты сразу возвращаешься домой?

— Да, государь, если на то будет твоя милость.

— Тогда сначала ступай в березовый лес в Спротавеллире и высеки там девушку розгой. Потом можешь вернуться домой к сыновьям и сказать, чтобы они жили спокойно.

— Вытерпишь розгу? — спросил он у девушки.

— Да, — сказала она.

— Тогда высеки ее покрепче, — сказал он бонду. — А если ты и впредь будешь красть, хозяин приведет тебя ко мне и я прикажу тебя повесить.

— Да, — сказала она.

Они ушли, а мы продолжали обсуждать речь, которую конунг должен был произнести на Эйратинге.



Вот что я помню о том, как ходил в усадьбу архиепископа:

Конунг сказал:

— Я велел своим людям не подходить к усадьбе архиепископа ближе, чем на двадцать шагов. Сам я не могу пойти туда, за мной следит слишком много глаз, тут же кто-нибудь отправится тайными путями к архиепископу и сообщит ему, что конунг захватил его усадьбу. Но ведь мы даже не знаем, где он. Может, он все-таки скрывается здесь?..

Я молча смотрел на него. Он продолжал:

— Здесь он или нет? Какой-то человек уехал из Нидароса, и мы решили, что это был архиепископ, но кто знает точно? Может, он вовсе никуда не уезжал, а заперся у себя в усадьбе? Или скрывает там отряд своих людей, которые только и ждут, чтобы нанести удар нам в спину. Откуда мы знаем? Так ты сходишь туда?

— Да, — ответил я.

— Ступай босой, без оружия, голову посыпь пеплом — выдашь себя за верующего, который ищет самого близкого к Всевышнему человека, после папы в Ромаборге.

— Хорошо, я пойду.

— Думаю, с тобой ничего не случится. Но не считай себя в безопасности, кто-нибудь, полагающий, что ты пришел со злым умыслом, может подкараулить тебя за дверью. Иди с опущенной головой и не защищайся, уж лучше позволь убить себя.

— Спасибо за добрый совет, — сказал я. — Я преданно иду по твоему пути, хотя и не всегда с большой радостью.

Мне не хотелось, чтобы в конунговой усадьбе меня видели одетого кающимся грешником, поэтому Сверрир приказал, чтобы все стражи отправились на поле упражняться в воинском искусстве. Служанок он запер в доме и сказал, что прикажет их высечь, если они станут подглядывать. После этого я взял из очага золу и посыпал ею голову, заменил свои плащ рваным, скинул башмаки, препоясался веревкой и ушел.

День был погожий, гомонили птицы и по небу бежали легкие облака. С фьорда тянул теплый ветер. Я быстро прошел те несколько шагов, что отделяли конунгову усадьбу от церкви Христа и подошел к усадьбе архиепископа. Она выглядела пустой и покинутой. Один из людей архиепископа стоял на страже у ворот, о том, что он стоит там, мы знали и раньше, но больше — ничего.

Я поздоровался со стражем и сказал:

— Я не имею права заходить внутрь, и конунг не требует этого. Но Бог сказал мне: В своем покаянном паломничестве по залитой кровью земле ты должен также преклонить колени и помолиться в покоях архиепископа.

Он пропустил меня внутрь.



Сперва я шел по длинному холодному коридору, стены отзывались эхом на мои шаги, хотя я был босиком и ступал осторожно. Потолок был высокий, и в конце коридора я увидел дверь. Я вошел внутрь. И оказался в большом праздничном покое.

Я еще ни разу не видел такого большого помещения, если не считать церкви. Здесь все было великолепно, стены были увешаны красивыми шкурами и коврами, над которыми ткачихи в более солнечных краях, чем наша бедная Норвегия, трудились, верно, не один год. Я подошел к пустому почетному сиденью и поклонился ему — это было место архиепископа. Я понимал, что за мной через дырочки в стенах все время следят чьи-то глаза и потому, оказав таким образом честь сбежавшему архиепископу, я подошел к изображению Всевышнего, висевшему на торцовой стене, и опустился перед ним на колени. Тут я, как бы расквашившись, что выразил свое почтение не в том порядке, как следовало, задержался перед изображением Христа дольше, чем нужно. Наконец я встал и вышел из этого покоя.

Я прошел через весь дом. Видел большие богатства, но людей не видел. Слышал собственные шаги и один раз птичье пение, когда проходил мимо маленького открытого оконца, у которого снаружи пела птица. Видел оружие и дорогие одежды, в одном покое стояли большие сундуки и лари, и мне очень хотелось поднять хоть одну крышку. Но я не осмелился, помня о следящих за мной глазах.

Я вышел оттуда. И почувствовал, что у меня за спиной кто-то стоит и внимательно смотрит на меня.

Я оглянулся. Это был невысокий, худой человек с выразительным и властным лицом. Он не ответил, когда я склонил голову и сказал:

— Я кающийся грешник, мне хотелось помолиться и здесь.

Мы долго смотрели друг на друга.



Вот что я помню о Тьодреке, монахе с Нидархольма:

Он стоял у большого стола в покое, который, как я понял, был рабочим покоем архиепископа. На столе лежал пергамент и красивые дощечки, покрытые воском, по книгам, стоявшим здесь, было видно, что их прилежно читали. Я сказал монаху:

— Ты, должно быть, удивлен, что чужой, недостойный человек вторгся в усадьбу архиепископа? Но я уже сказал, что свершаю покаяние, и думал, что порадую Всевышнего, если помолюсь также и здесь.

Он слегка склонил голову, как будто мои слова удовлетворили его, но лицо у него было по-прежнему высокомерным.

— Я Аудун сын Эйнара из епископства Кирькьубё, — сказал я. — И близкий друг конунга Сверрира.

— А я монах Тьодрек с Нидархольма, — сказал он. — С разрешения епископа я нахожусь в его усадьбе, чтобы написать по-латыни сагу о нашей стране.

Он произнес это так, словно объявлял себя чудом Божьим, и моя неприязнь к нему заметно усилилась. Но я не подал вида. В своей жизни я видел много высокомерных людей, но он, пожалуй, превосходил всех. Он крутил в руке перо и, словно в задумчивости, наливал воск на дощечку. Это означало, что его ждут более важные дела, чем праздный разговор с таким, как я.

— Значит, когда придет время, тебе придется написать в своей саге о конунге Сверрире и его жизни, — сказал я.

Монах с удивлением посмотрел на меня, и удивление его было искреннее, он зажал пальцем одну ноздрю и презрительно сморкнулся.

Потом повернулся ко мне спиной.

— Тогда это сделает кто-нибудь другой, — сказал я и ушел. Покидая усадьбу епископа, я подумал: это сделаю я.



Вот что я помню о Сверрире, конунге Норвегии:

— Возьмем одиннадцать пленных и зарубим их еще до начала Эйратинга, — сказал он. — У нас больше сотни пленных, выберем из них одиннадцать и прикажем их зарубить. Этого будет достаточно, чтобы напугать остальных.

— Но почему именно одиннадцать? — спросил я.

— Чтобы это выглядело, будто мы хорошо все продумали, — ответил он. — Никто не должен сомневаться, что мы зарубили их за совершенные ими злодеяния. Я сперва думал взять двенадцать. Но одиннадцать будет лучше.

— А я думаю, девятандцать.

— Одиннадцать лучше, — сказал конунг. — Я еще не знаю, стоит ли брать представителей разных родов. Это, конечно, напугает больше народу, но и приведет к тому, что у нас появятся недруги в каждом из этих родов. Если мы возьмем одиннадцать человек из двух родов, у нас будет только два вражеских рода, но уже навсегда. Зато те, кого мы пощадим, будут нам благодарны.

— Я все-так считаю, что надо зарубить девятнадцать, — сказал я.

— Довольно и одиннадцати, — решил он.

Он крикнул служанку и велел принести нам пива.



Вот что я помню о Сверрире, конунге Норвегии:

— Хочу предупредить тебя насчет числа одиннадцать, — сказал я. — Оно принесет несчастье. Возьми лучше девятнадцать, тогда никто не скажет, что ты действуешь по расчету. Будет выглядеть так, будто ты казнишь только тех, кого нельзя не казнить. Что это справедливый суд.

— Не понимаю, к чему ты клонишь, — сказал он. — Разве одиннадцать не выглядит так же справедливо, как девятнадцать? Зачем мне брать на душу грех за восемь не обязательных смертей? Ведь

нужды в этом нет? У тебя в голове все спуталось, Аудун. Видно, тебе оказалось не по силам ходить с головой, посыпанной пеплом.

Мы заспорили, я разгорячился больше, чем следовало, и разозлил его. Увидев, что его глаза покраснели и запылали, голос зазвучал громче и он, покачнувшись, вскочил с табурета, я проговорил:

— Я не все сказал тебе.

— Что же еще?

— Я встретил одного монаха, его зовут Тьодрек, он с Нидархольма.

— И что же?

— Он сказал, что архиепископ поручил ему написать сагу. Но не о тебе.

Мы не спускали друг с друга глаз, очевидно, ему в голову пришла та же мысль, что и мне, его лицо посветлело прежде, чем я успел сказать:

— Сагу о тебе, Сверрир, напишу я.

— Да, — сказал он тихо и повторил громче, подходя ко мне и не скрывая своей радости. — Да, Аудун, когда придет время, ты напишешь мою сагу!

— И какое же число я должен буду написать в этой саге, одиннадцать или?..

Он взглянул на меня, сразу все понял, быстро провел рукой по глазам и сказал:

— Нет, не пиши одиннадцать. Но и не девятнадцать, Аудун. Нет, нет, только не девятнадцать.

Весь вечер мы проговорили о той саге, которую я когда-нибудь напишу.



Конунг собрал своих ближайших людей и сказал:

— Среди пленных есть два брата, Тумас и Торгрим. Они близнецы, одному из них следует отрубить руку за то, что они вместе ограбили Халльварда Губителя Лосей, когда тот лежал без памяти во время сражения за Нидарос. Хорошо, что они близнецы, они всегда вместе, и тот, кто сохранит обе руки, станет помогать брату.

— А что мы сделаем с остальными пленными? — спросил Вильяльм.

— Всем дадим пощаду. Но чтобы люди уважали праведный суд конунга, необходимо, чтобы о наказании, которое понесет один из братьев, стало известно всем. Надо собрать людей — пусть это произойдет у всех на глазах. К счастью, оба брата служат влиятельному роду, который воюет против меня. Остальные пленные пусть пока ничего не знают и пребывают в страхе перед тем, что их ждет.

— Ты хочешь вывести пленных, чтобы они все видели? — спросил Вильяльм.

— Не всех, только несколько человек, если большая часть останется в подземелье, это усилит их растерянность.

Конунг внимательно оглядел нас одного за другим, никто не возражал. Его решение отрубить руку одному из парней, дабы нагнать страху на своих противников, было не лишено риска. С другой стороны, выразив таким образом свою милость, он мог заслужить и их одобрение.

— Которому же из них я должен отрубить руку? — спросил Вильяльм.

— Которому хочешь, — ответил конунг. — Выбери того, кто тебе меньше нравится.

— Они похожи друг на друга, как ляжки молодой девушки. И они такие же похотливые, как девушки, — сказал Сигурд.

— Не могут они быть одинаково похотливыми, — возразил Вильяльм. — Так кому же из них мне следует отрубить руку?

— Какая разница кому, если они так похожи, — вмешался кто-то. На том и порешили.



Вильяльм и его люди подняли из подземелья Тумаса и Торгрима. Те еще не знали, что их ожидает, но тут им сообщили решение конунга. Они ограбили Халльварда Губителя Лосей, когда тот лежал без памяти, — забрали у него серебряную пряжку, которую потом обнаружили на одном из них. Но на ком именно, не знал никто — таких одинаковых парней мы еще не встречали. Вильяльм знал их обоих еще детьми. Они тоже жили в Бувике, он часто играл с ними и даже брал к себе в лодку, когда ходил за рыбой. Вильяльм утешил брагьев, что они не умрут.

— Во всяком случае, оба, — сказал он. — Но я не могу обещать, что тот, кто потеряет руку, не потеряет также и жизнь.

Конунг приказал, чтобы с тем, кому должны отрубить руку, обошлись по совести. Поэтому позвали знахарку, которая могла бы сразу оказать парню посильную помощь. День выдался погожий. В Нидаросе в те дни работали мало. Новые воины и предстоящий тинг в Эйраре возбудили в людях любопытство. Мужчины толпились в трактирах и харчевнях, из окрестных селений приходили все новые бонды. Когда по городу пролетел слух, что преступнику должны отрубить руку, дети и взрослые начали собираться вокруг Вильяльма и близнецов. Вильяльму пришлось попросить своих людей принести длинные березовые шесты. Положенные четырехугольником, они должны были удерживать любопытных на расстоянии. Но это не помогло, толпа напирала, и свободное пространство перед подземельем, где сидели пленные, постепенно сужалось. Тогда Вильяльм решил, что надо перенести все в Спротавеллир. Люди имеют право получить желанную радость.

И толпа, увеличиваясь на ходу, потекла среди домов. Впереди бежали дети, потом люди Вильяльма вели обоих братьев, братья молчали. За ними шел мой добрый отец Эйнар Мудрый, который должен был позаботиться о том, чтобы парень не умер, когда ему отрубят руку. Вместе с ним шла местная знахарка, ее звали Халльгейр, о ней говорили, будто она умеет колдовать, но никогда не пользуется колдовством во вред людям. За ними следовали горожане, их собиралось все больше, они сторали от любопытства и радовались предстоящему развлечению.

Мой добрый отец Эйнар Мудрый вспомнил, что нужна смола: обрубок руки следует опустить в горячую смолу, чтобы поскорей остановить кровь. Одного человека послали в конунгову усадьбу за смолой, и он приволок большой бочонок смолы. Другой принес котел с горящими углями и торфом, чтобы разогреть ее к тому времени, когда парню отрубят руку.

— А вот рожечника у нас нет, — сказал кто-то.

Да, подумал я, наш Рейольв, рожечник из Рэ, после битвы за Нидарос, лежит с распоротым животом и уже никогда в этой жизни не будет трубить в свой рожок. Мы шли долго, день был жаркий, но все с нетерпением ждали редкого зрелища и никому не пришлось в голову повернуть назад из-за жары.

Вильяльм подошел ко мне и сказал, что так и не знает, кому же из близнецов он должен отрубить руку.

— Я знал их обоих еще детьми и никогда не мог отличить одного от другого. Если бы один из них нравился мне меньше другого, но, по правде говоря, они мне оба по душе. Конунг поставил меня перед трудным выбором. — Вильяльм наклонился ко мне: — Согласись, что это нехорошо с его стороны. Он должен был выбрать сам. Должен был сказать мне: Отруби руку Торгриму! Я бы спросил у них, кто из вас Торgrim? И все было бы в порядке. Иногда хитрость конунга превосходит мое понимание. Или ему все это безразлично?

Я не ответил Вильяльму, близнецы могли слышать наш разговор. Сейчас у них была надежда, что один из них избежит наказания, но кто именно, было неведомо никому. Вильяльм отер пот со лба, он начал сердиться.

— Знаешь, что я сделаю, — сказал он. — Я пошлю сказать конунгу, что мне не по душе отрубать руку одному из этих парней. Скажу, что мы вместе ловили рыбу и с моей стороны было бы некрасиво таким образом возобновить старое знакомство. В городе есть хороший палач, вот только не помню, как его зовут. Он может и виновного выбрать и отрубить ему руку.

Вильяльм тут же отправил своего человека верхом в конунгову усадьбу. Среди людей пошел слух, будто тот поехал, чтобы спросить у конунга, нельзя ли сохранить парню руку. Идущие рядом со мной сочли виновным в этом меня и зароптали, будто я хочу их одурачить. Я крикнул им, чтобы они ничему не верили: если конунг сказал, что парню отрубят руку, значит, отрубят, хотя бы все войско Эрлинга Кривого пыталось помешать этому. Люди сразу повеселели. Близнецы посмотрели на меня, они держались достойно, большего и нельзя было требовать от людей в их положении.

Оба были невысокие и крепкие, рыжие, с торчащими вперед зубами. Особым умом они не отличались, но в их небольших глазках светилась крестьянская хитрость. В подземелье они похудели, им было по шестнадцать лет, и они шли, взявшись за руки, как дети.

Вскоре посланный вернулся и сказал, что именно Вильяльм должен отрубить руку одному из парней. Так судил конунг и потому сделать это должен человек конунга и не пожалеть силы.

— Это понятно и правильно, — сказал Вильяльм, — но мне от этого не легче.

Он поравнялся с близнецами и дружески заговорил с ними.

— Вам сейчас тяжело, — сказал он, — особенно одному, правда, не знаю, кому именно. Но и мне не легче. Ты кто? — спросил он одного из близнецов.

— Тумас, — ответил парень.

— Тогда я отрублю руку тебе и покончим с этим, — решил Вильяльм.

Но Торгрим сказал, что несправедливо таким образом наказывать его брата.

— Мы вместе там были, но правда в том, что мы не снимали с него эту пряжку. После сражения мы увидели лежавшего на земле человека и подумали, что он мертвый, а пряжка уже была сорвана. И мы вместе подобрали ее.

— Это не мое дело, — сказал Вильяльм. — Меня не касается, кто из вас взял пряжку и лжете ли вы или говорите правду. Видит Бог, было бы лучше, если б конунг приказал отрубить по руке каждому. Но такова его милость. Хотя он не подумал, что его милость к вам обречется несправедливостью ко мне.

Мы пришли в Спротавеллир. Вильяльм выбрал удобное место на одном из холмов. Но толпа теснила его и тоже хотела подняться на холм, люди говорили, что, если они останутся внизу, им ничего не будет видно. Поэтому они потребовали, чтобы Вильяльм с парнями остался внизу, а они сами поднялись на холм — тогда всем все будет видно. С этим Вильяльм согласился, поладить с ним было не трудно, он был готов поменяться местом со зрителями. Поднялась суматоха, люди устремились на холм, нас сжали со всех сторон, и мы в давке потеряли парней.

— Эй, где вы? — крикнул Вильяльм.

Никто не ответил, наконец кто-то крикнул:

— Один тут у меня!

Сразу же после этого добровольно вернулся и второй брат, он прятался в березовом лесу, который окружал холм. Он был утрум.

— Мне поднадобилось отойти по нужде, — объяснил он.

— Это любому может понадобится, — согласился Вильяльм, он сел на пень и взял жбан с пивом, поданный ему кем-то из его людей. Он пил и никак не мог утолить жажду.

Потом Вильяльм подумал, что близнецов тоже, небось, мучит жажда, и передал жбан им. Они пили по-очереди, долго, по-братски передавая жбан друг другу и все время встряхивая его. Вильяльм, задумавшись, сидел на пне. Потом позвал меня:

— Слушай, Аудун, может, нам бросить жребий, кому из них отрубить руку? — спросил он.

— Нет, — строго ответил я. — Ты и сам понимаешь, что конунг не допустит этого, когда речь идет о правосудии и отрубании руки.

— Это верно, — согласился Вильяльм. — Но, думаю, сам черт не захотел быть бы сейчас на моем месте и выбирать, которой их этих серых мух следует оторвать крыло.

— Может, вы сами это решите? — спросил я у близнецов.

Они оторопели от такого предложения, потом один из них сказал, что им потребуется время, чтобы прийти к согласию.

— Это я понимаю, — сказал Вильяльм. — Надо время, чтобы по справедливости решить, чью руку следует отрубить.

Тогда к Вильяльму подошел пожилой человек и почтительно приветствовал его.

— Я их отец, — сказал он. — Им не повезло, но если помешать этому нельзя, отруби поскорей руку одному из них и покончим с этим.

— Сразу видно, что ты умный человек, — ответил Вильяльм. — Может, хоть ты посоветуешь мне, кто из них должен лишиться руки?

— Старший получит в наследство усадьбу, — сказал отец, — но беда в том, что мы сами не знаем, кто из них старший. Они родились сразу один за другим, и уже тогда их было не различить. После того мы не раз путали их. Вполне возможно, что Торгрим это Тумас, а Тумас — Торгрим.

— Час от часу не легче, — вздохнул Вильяльм. — Что до меня, так я бы каждому отрубил по руке. Но если конунг уперся, тут я ничего не могу поделать.

К ним подошел еще один человек и тоже приветствовал Вильяльма.

— У меня есть дочь, — сказал он, — и она забрюхатила от одного из братьев. Так вот нельзя ли отрубить руку другому?

Вильяльму понравилось это предложение, и он серьезно спросил у близнецов, кто из них спал с девушкой.

— Оба, — ответили они.

Их отец, чтобы извинить сыновей, сказал, что это святая правда: у братьев всегда все было общее, и они никогда не расставались друг с другом.

— Приведите сюда девушку! — распорядился Вильяльм.

Снова пришлось ждать: за девушкой послали в город, она там работала в лавке. Когда я услышал про девушку и про лавку, по спине у меня побежали мурашки: почему-то мне показалось, что это та самая девушка, которая торговала луком, — неужели она носит под сердцем ребенка одного из братьев? Это была неприятная мысль, но когда стоишь и ждешь, пока человеку отрубят руку, о чем только не передумашь. Наконец девушка приехала, верхом, она сидела на лошади впереди воина, и было видно, что ей это нравится. Это была не та девушка, которая торговала луком. Прозвище у нее было Грудастая. Она явно робела, когда ее подвели к Вильяльму и близнецам.

— От кого ты ждешь ребенка? — спросил Вильяльм.

Девушка захихикала.

— Я не знаю, — сказала она.

— И ты не знаешь? — взревел Вильяльм, схватил ее за волосы, ударил, но тут же отпустил, он был мрачный и чуть не плакал. — Ну так скажи, кого ты выбираешь в отцы своему ребенку?

— Я не знаю, — опять ответила девушка

— Ну что тут будешь делать! — воскликнул Вильяльм и разразился смехом — у него часто неожиданно менялось настроение. Он дружески хлопнул девушку по задку и попросил ее поскорей решить, хочет ли она, чтобы у ее мужа было две руки или одна.

И тут неожиданно пришел Гаут.

Он вдруг выступил из толпы, весь в пыли после долгого пути, но упрямый, как всегда. Гаут почтительно поздоровался с моим отцом и со мной и уже не так дружелюбно с Вильяльмом.

— Я понимаю, Вильяльм, ты должен выполнить приказ конунга, которому служишь. Но для конунга у меня есть не только добрые слова.

Я сразу сообразил, что приход Гаута может принести мало радости и конунгу и всем нам. Гаут обладал странной способностью привлекать людей на свою сторону, но сила его действовала не очень долго. Поэтому я отвел его в сторону — кругом толпились люди и было трудно найти место, где бы мы могли поговорить без свидетелей.

— Пойми, эти братья совершили кражу, — сказал я.

— Это меня не касается, — ответил он. — Они, как и все, имеют право, чтобы их пощадили, несмотря на их проступок.

— Должен тебе сказать, что конунг выбрал еще одиннадцать человек, ночь за ночью он обсуждал это с близкими ему людьми. Мы говорили ему: Ты должен выбрать девятнадцать человек и повесить их! Нельзя вешать меньше девятнадцати. Но конунг сказал нам: Больше, чем за одиннадцать я не могу просить у Бога прощения!

Однажды утром конунг сказал: Нынче ночью ко мне приходил Олав Святой, и он сказал: Ты не должен казнить ни девятнадцать человек, ни одиннадцать. Наказание не должно быть большим, хотя это небезопасно для тебя как конунга этой страны.

Конунг сказал нам: Никто не умрет, но одну руку придется отрубить — люди должны помнить, что в стране есть карающий меч. А тот, кто потеряет руку, будет потом ходить по стране и прощать людей.

Услыхав эти слова, Гаут чуть не заплакал от радости. Потом сказал, что раз все складывается таким образом, он сможет утешить несчастного, которого покарает правосудие конунга.

— Кому отрубят руку? — спросил он.

— Одному из братьев, но кому именно, этого еще не знает никто, — ответил я.

— Тогда я смогу утешить обоих, — сказал он.

Он подошел к братьям, назвал себя и начал рассказывать им, как сам потерял руку. Он снял куртку, закатал рукав и показал им обрубок руки. Толпа снова начала теснить нас, и людям Вильяльма пришлось сдерживать самых рьяных.

— Так обрубок стал выглядеть с годами, — сказал Гаут. — Не бойся меча, рука твоя упадет, как яблоко с ветки. Ты будешь стоять на коленях, думаю, тебе лучше стать на колени, если наш добрый друг Вильяльм разрешит это, а он, конечно, разрешит. Потом ты протянешь руку, и мы все хором будем молиться за тебя. Когда рука будет отрублена, мы приложим к обрубку смолу. После этого мы все время будем с тобой. Если мы станем молиться от всего сердца и если ты достаточно силен, ты не умрешь. Вот увидишь!

Он показал близнецам, как избранный должен стать перед Вильяльмом.

— Ты только не напрягайся, — сказал он, — а то меч пойдет не так легко и рана получится рваной. Ты должен мужественно, даже весело, протянуть руку Вильяльму, все будет кончено быстро, а потом ты будешь счастлив.

Пока что вид у братьев был далеко не счастливый, и Вильяльм уже с нетерпением слушал речь Гаута. Он сел рядом с братьями — ноги плохо держали их — и сказал:

— Прежде чем я отрублю одному из вас руку, вы должны узнать, что я ничего не имею против вас. Мне было бы куда приятнее ловить рыбу дома, чем находиться здесь. Но сделать это необходимо. И вам не будет легче, если это сделает другой. Или, вы думаете, что было бы лучше, если б это был не я?

Нет, они так не думали.

В это время начался спор между Эйнарм Мудрым и знахаркой Халльгейр. Смола начинала кипеть, и они никак не могли решить, надо ли нагревать ее сильнее или уже достаточно. Халльгейр была более милосердна и говорила, что парня следует пожалеть и не нагревать смолу больше того, что может вытерпеть палец.

— Это глупо, — говорил Эйнар Мудрый. — Разве ты не знаешь, что смола должна закипеть, потому как только кипящая смола успокоит боль и остановит кровь?

— Будьте милосердны! — крикнул кто-то, слышавший их разговор.

От жары люди потеряли терпение, они взяли сторону Халльгейр. Эйнар Мудрый рассердился. Вернее, он был оскорблен. Я никогда не видел моего доброго отца таким возмущенным.

— Плевать я хотел на вас всех! — крикнул он. — Я приехал сюда из Кирккюбе, что на Фарерах. Я повидал достаточно ран и заливал их смолой. А вы рассказываете мне, что смола не должна кипеть! Ты просто тупая баба! — крикнул он Халльгейр и ушел.

Прискакал всадник с вестью от конунга: конунг велел, чтобы все знатные мужи, взятые в плен, стояли рядом, когда парню будут отрубать руку. И никто из них не должен знать, помилюют ли их самих или казнят. Конунг распорядился об этом еще накануне, но мы забыли выполнить его волю. Нам снова пришлось ждать. Дружинники Вильяльма отправился за пленными, а сам Вильяльм приказал принести ему еще пива. Он сидел рядом с братьями и Гаутом, они вспо-

минали о том, как по вечерам ловили рыбу в Бувике до того, как началась эта война.

Эйнар Мудрый вернулся обратно, он немного смягчился и сказал, что мы забыли об одном человеке, о рожечнике Рейольве из Рэ. Рейольв проявил самую большую храбрость в сражении за Нидарос. Он уже немного оправился после ранения, и ему очень хотелось бы протрубить в рожок, когда рука будет отрублена. Ему надоело лежать, не зная, выживет он или умрет.

— Если он будет трубить в рожок, у него откроется рана, — сказала Халльгейр.

— Замолчи, женщина! — Эйнар Мудрый отвернулся от нее. — Вели принести сюда на носилках Рейольва из Рэ, если у тебя есть для этого люди, — сказал он Вильяльму.

Вильяльм счел, что это можно сделать, и отправил двоих в конунгову усадьбу. Вскоре они принесли на носилках Рейольва. Он выглядел слабым, и лицо у него посерело, как грязный снег, но его подбадривала мысль, что он снова в гуще событий.

— Помни, я не могу ничего обещать тебе, — сказал Эйнар Мудрый. — Но мы испытаем тебя луком, если выдержишь, значит, сможешь и трубить в рожок.

Он вынул из своего кожаного мешка большую луковицу и велел Рейольву съесть ее.

— Прожуй хорошенько и проглоти, — сказал Эйнар, — а потом мы понюхаем твой живот.

Пока все это происходило, привели пленных, большая часть из них были знатные люди, однако сейчас вид у них был жалкий. Вильяльм поставил их так, чтобы им все хорошо было видно. Пленные еще не знали, что приготовила им судьба.

Эйнар Мудрый подождал некоторое время, не разрешая Вильяльму начинать, — надо было дать луку время размякнуть в желудке Рейольва. Наконец он счел, что уже пора, приподнял на Рейольве одежду и мы все увидели его рану. Люди напирали, и Вильяльм заорал, что тут много рук, которые он с радостью отрубит, если его попросят. Это подействовало. Вокруг Эйнара Мудрого стало свободней, он лег на землю рядом с носилками и понюхал рану.

— От раны пахнет, но не луком, — сказал он наконец. — Я сразу сказал после сражения, когда первый раз испытывал тебя луком, что

желудок не задет, тогда тоже не пахло луком. Значит, парень выживет, сказал я тогда. Раз от раны не пахнет луком, значит, дырки в желудке нет. Я считаю, что ты можешь трубить в рожок.

— Дай я тоже понюхаю, — сказала Халльгейр и опустилась на колени рядом с Эйнаром Мудрым. Они вместе стали нюхать рану.

— Луком не пахнет! — заявила она и оглядела толпу. — Эйнар Мудрый умеет исцелять раны!

Мой добрый отец как будто вырос у всех на глазах, его старое лицо осветилось счастливой улыбкой. Теперь они с Халльгейр быстро договорились, какой должна быть смола.

Наконец все было готово. Но кто из братьев должен опуститься на колени и протянуть руку, а кого судьба пощадит? Вильяльм отер со лба пот. Он снова подозвал к себе девушку, которая носила ребенка сразу от обоих братьев и строго сказал:

— Выбери себе мужа, если не хочешь сама потерять руку!

Девушка наугад показала на одного из братьев.

Вильяльм показал на другого и отрубил ему руку.



Ночью перед Эйратингом конунг захворал. Я проснулся оттого, что он склонился надо мной, лицо у него было серое и он с трудом дышал. Я вскочил. Он сказал, чтобы я позвал моего отца Эйнара Мудрого. Я пошарил, ища башмаки, не нашел их и бросился бежать босиком, от порога я вернулся, снял распятие, висевшее над почетным сиденьем, и дал его конунгу. Первым я разбудил Бернарда. Полуодетый, он побежал к конунгу, потом я разбудил моего доброго отца Эйнара Мудрого. Он сказал:

— Приведи и Халльгейр.

Халльгейр, как я уже говорил, была знахарка. Я побежал к стражнику, он заснул на посту и я ударил его. Стражник вскочил, я ударил его по щиколотке и приказал привести знахарку Халльгейр, и побыстрее.

— Кто там захворал? — пробурчал он.

— Бернард, — сказал я, во-время сообразив, что никто, кроме ближайших друзей конунга, не должен знать, что он захворал в ночь перед Эйратингом.

Когда я вернулся в опочивальню, Эйнар Мудрый уже приготовился пустить конунгу кровь. Бернард кликнул служанку и приказал ей немедленно принести горячего молока с медом, если она не хочет болтаться в петле.

— Эйнар Мудрый занемог! — крикнул он ей.

Служанка принесла молоко, он не впустил ее в покой, а на пороге взял кружку у нее из рук. Виски у конунга горели огнем, глаза мрачно сверкали.

Наконец пришла Халльгейр, она испугалась, узнав, что захворал конунг.

— Ему нужен териак*, — сказала она.

— Есть в Нидаросе териак? — спросил Эйнар Мудрый.

Он знал об этом снадобьи еще дома в Кирккюбё — один купец привез мешочек с териакон, и епископ Хрои хранил его все годы, используя только в самых крайних случаях.

— Говорят, у одного лавочника в городе есть териак, — сказала Халльгейр, — но он это скрывает. Ходит слух, будто он украл его у архиепископа и не продает никому, набивая цену.

— Я поколочу всех лавочников, одного за другим, и найду териак, если он у них есть, — пообещал я.

Уже убегая, я услышал за спиной слабый возглас — это Эйнар Мудрый пустил конунгу кровь. Стояла теплая ночь, моросил легкий дождь. По пути мне встречались редкие пьяные, возвращавшиеся домой. Я поклялся обшарить каждую лавку, чтобы найти териак, но в ночном, спящем городе это было не так-то просто. Я бежал от лавки к лавке и требовал, чтобы мне открыли, — показывалось усталое лицо, меня бранили, я говорил, что в конунговой усадьбе захворал близкий конунгу человек. Нет ли у них териака? Ради всего святого, немного териака!

Один купец подумал и сказал, что слышал, будто у какого-то купца должно быть немного териака. Вот только у кого? У меня не было времени ждать, и я, бранясь, побежал дальше.

— Кажется, у купца с Лукового холма?.. — услышал я за спиной его голос.

* Целебное средство, открытое придворным врачом императора Нерона Андромехом.

Какой еще Луковый холм, подумал я и тут же сообразил, что, должно быть, это тот самый торговец, у которого я однажды купил лук. Я побежал к его лавке и постучал. Хозяин спал в маленькой пристройке за лавкой, он проснулся и вышел.

— Говорят, у тебя есть териак? — спросил я.

Он взглянул на меня:

— Захворал знатный человек?

— Да, нынче ночью... один из близких людей конунга...

Он повернулся, пошел в лавку и стал там рыться. Я последовал за ним, прося его поспешить. Он нашел небольшой мешочек и сказал, что это териак.

— Возьми его во имя Бога. — Он протянул мне мешочек.

— У меня в поясе нет серебра, — сказал я.

— Мне не нужно серебро. — Он смотрел на меня добрыми глазами. — Я украл этот мешочек с териакom у одного знатного человека, которого сейчас нет в Нидарос, но потом раскаялся. Никогда в жизни я ничего не крал, только этот териак. Тогда захворала моя дочь, и я украл териак, чтобы спасти ей жизнь. И я опять украл бы ради нее что угодно, если б пришлось, но все равно — это грех. Думаю, Всемогуший простит меня, если я отдам этот териак другому страждущему.

— Конечно, простит, — сказал я.

— У меня хорошая дочь. — Он улыбнулся доброй улыбкой и спросил, не хочу ли я взглянуть на нее. — Она сейчас спит, — прибавил он.

Хозяин привел меня в пристройку за лавкой, где спала его дочь. Ее красивая головка покоилась на подушке, затянутой льняной тканью. Сама девушка была укрыта потертым меховым одеялом. Обнаженные плечи сверкали, как снег, легкого дыхания было почти не слышно.

Он тихо сказал, глядя на меня:

— Она хорошая дочь, а ты, я вижу, добрый человек. Я заметил, как ты смотрел на нее, когда покупал у меня лук. Она спит крепко, я мог бы откинуть одеяло и показать ее тебе. Она была бы тебе хорошей женой. Но мне не нравится, что ты воин. Если ты когда-нибудь отложишь меч и станешь священником у нас в городе — я слышал, будто ты священник, — или согласишься работать на моем огороде

и продавать лук вместе со мной, я отдам ее тебе в жены. Но я не покажу ее тебе прежде, чем ты не отложишь меч.

— Ты поступаешь верно, — сказал я, — ты хороший отец и хороший человек.

Я склонил голову и прочитал над спящей молитву.

Он проводил меня, я поблагодарил его и он сказал, что Сын Божий и святая Дева Мария сжалятся над моим страждущим.

Когда я вернулся в усадьбу, конунг выглядел значительно лучше.

— Кто возьмет на себя болезнь? — спросили мы друг у друга.

— Я сказал, что захворал ты, — признался я Бернardu.

— Я и в самом деле выгляжу не совсем здоровым, — согласился он.

Конунгу дали териак, он проспал утром лишний час и проснулся здоровым.



Бледный, еще не совсем оправившийся после недуга, конунг идет к своему месту через площадь у холма тинга. Он никого не приветствует, хотя обычно здоровается со всеми, люди уступают ему дорогу, он идет, слегка наклонив голову, в глубокой задумчивости, мысли его обращены к Богу. Никто не сопровождает его, никто не охраняет, ни один телохранитель, ни один знатный муж не провожает этого конунга из народа к его месту на Эйратинге.

Наконец он садится, еще ниже наклоняет голову, и тысячи присутствующих видят, что он молится. Он не опускается на колени, не поднимает руки к небу, не прибегает ни к каким уловкам, на нем красный плащ, подарок паломников, и это все, что у него есть.

В этот день у него нет меча, нет щита, любой, кто захочет, может броситься на него.

Бернард начинает службу. Да, Бернард, потому что все остальные священники Нидароса отказались служить на тинге. Мы могли бы заставить их, но священник, которого заставили, небезопасный противник, даже если он безоружен. У этих священников не хватило мужества приветствовать нового конунга, после того, как архиепископ Эйстейн покинул город. Они понимали, что, если архиепископ когда-нибудь вернется, его гнев обрушится на них, уступивших нам.

— Оставьте их в покое, — велел конунг. — Умный человек не станет принуждать священников петь псалмы, если они не хотят этого. Но присутствовать во время провозглашения конунга они должны, — прибавил он.

И они собрались здесь, молчаливые, опасные, священники Нида-роса и монахи с Нидархольма. Среди последних был и Тьодрек.

Бернард служит мессу. Уроженец страны франков, чужой среди нас, служитель Божий с ангелоподобным голосом. Этот сладкозвучный голос взмывает ввысь к птицам небесным, потом опускается на Божью землю. И люди поднимают глаза к небу, чтобы рассказать Всемогущему, что один из его ангелов покинул его пределы, чтобы отслужить мессу в честь нового конунга Норвегии. Бернард опускается на колени.

Тогда встает Сигурд из Сальтнеса и поднимается на холм тинга.

За ним идет конунг, за конунгом — хёвдинги из восьми фюльков Трёндаля, за ними — их ближайшие люди. На всех лучшее платье, однако конунг в своем красном плаще из валлийского сукна выделяется среди них, как драгоценный камень среди гальки. Потом конунг сбрасывает плащ — на нем одежда воина, теперь он, как все.

Сигурд обнажает меч, хёвдинги тоже обнажают мечи и поднимают их, приветствуя конунга. Он стоит, откинув голову, и Сигурд зычным голосом провозглашает Сверрира по закону страны конунгом Норвегии, его самого и его сыновей после него.

Тогда мы все вскакиваем и бьем в щиты, женщины кричат, ребята воют и Рейольв, принесенный сюда на носилках, поддерживаемый двумя воинами, приветствует конунга трубным гласом своего рожка, уже исправленного после повреждений, полученных во время сражения за Нидарос.

Хёвдинги опускают мечи. Конунг начинает говорить.

Он держит в уме каждое слово своей речи, он упражнялся, заставляя голос звучать так, как нужно. И все-таки в этот час он говорит от всего сердца и отдает это сердце слушающим его людям, как смиренный и бесценный дар. Его голос может сравниться лишь с голосом Бернарда. Но голос конунга принадлежит царству земному, он звучит сильнее и глубже, в нем слышится свист меча, тогда как в голосе Бернарда слышался шорох птичьих крыл. Конунг как будто пленил ветер и потом выпустил его на свободу, его слышат все, он не

приподнимается на носки и не пользуется никакими ухищрениями, он — грешник перед Богом и победитель своих врагов.

Говорит он недолго.

На тинг он отправился конунгом своего войска, а вернулся оттуда уже конунгом всего народа.

Коре из Фрёйланда подходит ко мне.

— Мы получили известие, что ярл Эрлинг и его сын конунг Магнус вышли на кораблях из Бьёргюна и идут на север, — говорит он.



Я помню конунга на пиру в усадьбе вечером после Эйратинга. Еще бледный после недуга, он ходил среди людей и весело смеялся. Позже он сидел на своем почетном сиденье, окруженный хёвдингами и бондами, и разговор шел о лошадях. Эта тема была близка всем, в том числе и конунгу. Он хорошо разбирался в лошадях. Дома, в Кирккюбё, он много ездил верхом, водил кобыл к жеребцу, он знал все о течке и случке и мог оценить кобылу не хуже любого бонда. В ту ночь конунг стал близким и понятным народу. Рога были наполнены пивом, всех обносили медом, конунг часто пригубливал свой рог, но пил мало. Бонды один за другим рассказывали о своих лошадях и хвастались ими. Горожане больше помалкивали, но не без интереса следили за разговором, хотя многие могли бы поведать, что кобылы из Нидароса славились по всей стране, даже из Упплёнда приезжали сюда, чтобы купить добрую кобылу. Конунг сказал, что он предпочитает ездить на кобылах:

— Если под тобой жеребец, жди беды, никогда не знаешь, когда он понесет, а на кобыле сидишь спокойно, как дома на своем почетном сиденье.

Бонды с ним согласились.

Я ходил среди гостей, выходил на двор, ночь для меня выдалась беспокойная, мы все смеялись и радовались, я смеялся иногда даже слишком громко. Люди то приходили, то уходили, пришедших впускали через боковые двери, всем было наказано молчать о полученном известии, многие помрачнели от тревоги. Конунг извинился перед бондами и вышел к нам.

Я так и вижу его перед собой: он словно стер с себя радость и стал вдруг серьезным.

Я доложил ему:

— Наши люди с побережья говорят, что ярл и его сын конунг Магнус идут на кораблях из Бьёргюна на север.

Пир кончился только под утро, многие гости были пьяны, и конунг сам подсаживал их в седло. Он был еще счастлив, весел, бодр и по-прежнему беззаботно обсуждал с последними гостями их лошадей. Стоя посреди двора, он махал гостям на прощание и желал им благополучно добраться до дома, потом подошел к нам:

— Войско должно собраться в Спротавеллире. Прикажите людям упражняться во владении оружием, — велел он.

Я передал Сигурду распоряжение конунга, и он тотчас бросился выполнять его.

Во дворе стоял бонд, с ним была молодая женщина.

— Я пришел, чтобы попросить конунга повесить ее, — сказал бонд. — Она продолжает красть.

Я узнал его.

— Сегодня конунгу некогда вешать людей, — сказал я.

И убежал от него.



Близкие люди конунга были созваны в усадьбу на совет. Стража была усилена, служанок прогнали, чтобы ни одно слово из того, что там будет сказано, не просочилось к народу.

Конунг спросил, сколько кораблей ярла идет на север. Ему ответили, что получено три разных донесения, но во всех говорится, что кораблей больше пяти десятков. В одном даже указывается, что их больше сотни. Скорей всего в Нидарос идет шесть или семь десятков кораблей с воинами на борту.

Конунг подсчитал и сказал, что в войске ярла должно быть не меньше трех тысяч человек.

— Это точно, что сам ярл и конунг Магнус плывут с кораблями? — спросил он.

Коре из Фрёйланда ответил, что один рыбак, которого наши люди взяли в плен в устье фьорда, сказал, что видел прибывших с

юга людей, те видели на кораблях стяги ярла Эрлинга и конунга Магнуса.

— Скорей всего, если сюда идет столько кораблей, то и они сами находятся на них, — решил конунг. — Надеются разбить нас здесь, в Нидаросе. А сколько людей у нас? — спросил он.

У нас было три с половиной сотни воинов, на которых мы могли положиться. Это были берестеники, сперва их насчитывалось две сотни, но потом к нам присоединились надежные люди и наше войско выросло. Может быть, у нас набралось бы даже четыре сотни. Было у нас еще и ополчение, состоящее из бондов и горожан, — несколько недель назад они выступали против нас, сегодня мы могли считать их своими друзьями. Но что будет завтра? Согласятся ли они со своим жалким оружием сражаться на нашей стороне, и, если нам придется отступить, не пойдут ли они снова против нас?

Конунг глубоко задумался, мы молчали. Потом он встал и вышел.

Мы молчали, пока он был в своей опочивальне. Может, он там молился или в тишине обдумывал то, что случилось. Вскоре он вернулся.

Мы встали.

И стоя слушали его слова:

— Нам нужно выступить на юг и встретить врага там.

Он отослал всех, кроме самых близких ему людей. Нам он сказал, что на самом деле у него совсем другой план: мы выходим на кораблях и говорим горожанам, что идем навстречу врагу. Но мы слишком слабы, чтобы сразиться с ярлом Эрлингом. Поэтому мы должны бежать из Трёндалёга. Об этом никто не должен знать. Даже наши люди. Корабли зайдут в Оркадальсфьорд, там мы сойдем на берег и отправимся в Упплэнд. И снова станем изгоями, пока не придет наш час.

Мы не возражали ему.

Сигурд сказал:

— Я хочу до этого обвенчаться с Рагнфрид.

Конунг поддержал его и послали за Рагнфрид. Она жила с Сигурдом уже давно и была матерью его сына. В присутствии свидетелей Бернард обвенчал их, и Рагнфрид стала женой Сигурда. Все выпили пива.

— Возьми сына и ступай в Сальтнес к моей доброй матушке фру Гудрун, — сказал Сигурд. — Когда-нибудь я вернусь к тебе.

Рагнфрид обещала Хагбарду Монетчику взять с собой и Мальпша. Мы слышали, как наши люди бегом отправились на корабли.

По дороге в Скипакрок я встретил молодую женщину, которая дала мне луку.

— У меня в поясе нет серебра, — сказал я.

— Но у меня в сердце есть радость, — ответила она и улыбнулась.



В Оркадальсфьорде мы сошли на берег. Конунг пересчитал всех людей. Там они узнали о его планах.

Потом мы подожгли корабли.

Я стоял на холме и смотрел, как они горят, темный, густой дым поднимался к небесам. Первый раз я видел, как горят наши, а не вражеские корабли, и я плакал. Не я один плакал.

На фоне огня и дыма я видел мрачных от горя людей, мы опять оказались изгоями в своей стране. На берегу стояли конунг и Симон, Сигурд и Вильяльм. Даже Гаут, вечный Гаут, последовал за нами. Я смотрел на них и мне чудилось, будто я слышу тяжелые удары их сердец.



ИЗГОИ

Я — Вильям из Сальтнеса, предводитель дружинников, я — меч конунга, когда кого-то надо казнить.



Я плакал, когда смотрел на горящие корабли. Их было восемнадцать, они покачивались среди прибрежных камней, паруса на них были еще подняты, мы даже не дали себе труда втащить весла на борт. Мы просто попрыгали в воду и поднялись на берег, у каждого было с собой оружие и столько груза, сколько он мог взвалить себе на плечи. Корабли остались у нас за спиной, словно стая огромных птиц, прибитых к берегу штормом.

Поджег корабли я. Я велел это сделать двоим воинам, но они отказались. Тогда я кликнул своего слугу и он принес мне котелок с горящими углями и торфом. Я зачерпнул ковшом горячей смолы, бросил щенок на нос ближайшего корабля, налил сверху смолы и, схватив голыми руками горящий уголь, бросил его на смолу. Потом спрыгнул на берег.

Неожиданно взметнулось пламя, корабли загорелись, на мачтах запылали паруса! Вокруг стояли люди, проделавшие трудный путь из Вермаланда в Трёндалёг и одержавшие победу в сражении за Нидарос, они вышли на кораблях из горо-

да и думали, что их ждет новое сражение с врагом. Теперь они стояли на берегу и смотрели, как горят их корабли.

Дым тяжело стелился по камням, пламя поднималось к небу. Я стоял так близко, что мне опалило лицо, я отбежал подальше, в дыму я налетел на какого-то воина, он лежал в вереске и плакал. Я поднял его и потащил за собой, потом снова бросил на землю, взбежал на пригорок и смотрел оттуда. Вокруг меня стояли люди.

Глядя на горящие корабли, я думал о гибели. Когда я, молодым воином, горя ненавистью к ярлу Эрлингу и его сыну, покинул Сальтнес, я верил, что когда-нибудь вернусь домой свободным человеком. Теперь мне хотелось погибнуть. Я участвовал в сражении при Рэ и получил рану в пах, раненный, я прошел через снег и мороз многие мили из Вестфольда до Вермаланда. У меня брезжила догадка, что я уже никогда не смогу опрокинуть женщину на спину и обойтись с ней так, как положено мужчине... Вскоре все знали то, о чем я только догадывался, они смеялись у меня за спиной, смеялись и мне в лицо, я кидался на них и бил. Тогда пришел конунг и сказал: Ты будешь предводителем дружины.

Я уже не помню всех людей, каких зарубил, всех женщин, которые плакали, когда я уводил у них из хлева овцу или корову. Но, глядя на горящие корабли, я вспомнил молодую женщину, которой я раздавил ноздь. Я был один с ней — это произошло в Ямталанде, мои люди ушли от меня. Мы спешили, у нас не было времени, конунг и его воины были уже близко. Мы должны были добыть для них пищу или погибнуть. На одной усадьбе я нашел молодую женщину и сказал ей:

— Конунгу нужно продовольствие!

У женщины была корова и овца, и она дрожала от страха при мысли, что может лишиться своей скотины. Она была красивая, ее родители, наверное, скончались от какого-нибудь недуга, а, может, от нее сбежал муж и она осталась одна. Но она не хотела сказать, куда спрятала свою овцу и корову. Конечно, они были где-то в лесу. Я велел ей раздеться. Она решила, что я сейчас надругаюсь над ней и стала кричать, но я-то знал, что не могу обладать женщиной после раны мечом в то место, которое должно украшать любого мужчину. Я велел ей раздеться и сделал вид, что хочу высечь ее. Однако ушло бы слишком много времени, прежде чем она заговорила бы, и я это знал. Раздетая женщина лежала у меня в ногах, я схватил небольшие щипцы, что всегда имел при себе, и сдавил ей ноздь так, что он посинел.

— Я отдам конунгу свою корову!.. — закричала она.

Потом она робко оделась и вышла, я — за ней, вскоре она нашла и овцу и корову.

Когда я уводил их со двора, она сказала мне вслед:

— Ты кончишь в адском огне!..

И теперь, когда горели наши корабли и от дыма першило в горле, я повторил про себя ее слова: Ты кончишь в адском огне!.. Да, да, теперь я знаю: мне уже никогда не вернуться в Сальтнес свободным человеком, моя судьба — быть мечом конунга, я кончу в адском огне. Дым затянул весь фьорд, потрескивало горящее дерево, у меня за спиной кто-то плакал, как ребенок. В адском огне, в адском огне!.. Когда горят корабли, мужчины плачут.

Мне следовало не спешить и высечь ее, так было бы лучше. Не нужно было портить ей нготь, но все равно я кончу в адском огне. Может быть, если бы все сложилось иначе, я мог привести ее к себе домой в Сальтнес и сказать: У тебя такие красивые розовые ногти, Бенедикта...

Я не знаю, как ее звали. Просто мне кажется, что ее звали Бенедикта... Но теперь горят корабли и я знаю, что кончу в адском огне.



Я, Эйнар Мудрый, толкователь снов из Киркьюбё, епископской усадьбы на Фарерских островах, самых дальних норвежских островах на западе.

Обо мне говорят, будто я умнее других. Я достаточно умен, чтобы видеть в этом и правду и преувеличение. Однажды дома, в Киркьюбё, я принимал участие в починке корабля. Его выбросило на берег, на борту не было ни одного человека, их смыло в море, и несколько недель мы весело чинили этот корабль на нашем продуваемом всеми ветрами острове. Я тоже участвовал в этой работе, потому что кое-что знал о благородном искусстве корабельных мастеров. Нам было весело, мы часто пели и искренне молились, однако без лишнего жара, которого я всегда опасался, для этого я был слишком умен. Как-то раз один из людей ударил себя по ногтю и тот у него сразу стал синим. Мы не сочли это большим несчастьем, однако я тут же сбежал за мазью, которую готовлю из известных только мне растений, я помалкиваю об этом, чтобы придать и себе и своей мази некую таинственность, благодаря которой меня больше уважают в усадьбе епископа. Пока человек стонал от боли, я намазал ему ноздрю мазью, а потом в шутку мазнул его ею по лбу, по груди и сказал: Я сохраню тебя от адского огня! А я тебя, ответил он и благословил меня. И мы продолжали чинить корабль.

Я усовершенствовал свои познания в благородном искусстве корабельных мастеров тем летом, когда мы чинили выброшенный морем корабль. К нам пришел епископ Хрои в старом потертом одеянии и сел рядом, держа в руке рог с пивом и кусок хлеба. Он всегда помогал нам, когда требовалось, оставляя в стороне слово Божье и мрачные воспоминания. Епископ был веселый человек и считал, что и мы и он так или иначе обречены на спасение.

— Кто из нас может быть в этом уверен? — спросил я его.

— Ха-ха, — засмеялся он. — Я бы должен сказать тебе: Каждый человек ближе к небесам, чем я. Но про себя я считаю, что более угоден Богу, нежели другие.

Это были слова честного человека, мы любили епископа, он мог и солгать, если требовалось, и признаться потом в своей лжи. Мой сын пришел посмотреть, как мы работаем, он был красивый мальчик, вместе с ним пришел Сверрир, сын Унаса и Гуннхильд. Они были самыми сообразительными детьми в усадьбе, и епископ обещал мне, — взяв с меня слово молчать, — что, когда придет время, он научит их высокому искусству читать книги. Мы пригрозили детишкам отлупить их, но они нам не поверили и измазались в смоле, мы стали браниться и снова обещали отлупить их. Но не отлупили.

Потом к нам пришла моя добрая жена Раннвейг, ей захотелось взглянуть на нашу работу. Теперь она уже умерла. Ее красивая голова, покрытая платком, была чуть-чуть наклонена к плечу, она родила мне много детей, но Господь всемогущий оставил нам только одного сына. Раннвейг накрыла нам поесть на береговом камне, и все мы, чинившие корабль, сели вокруг, прочитали молитву и принялись за еду. Хорошая женищина, сказал епископ глядя вслед уходящей Раннвейг. Да, она во всем мне покорна, отозвался я, отдав ей должное у всех на глазах. Но теперь она уже умерла.

Да, я узнал много нового о кораблях и о благородном искусстве корабельных мастеров тем замечательным летом дома в Киркьюбё. В мои обязанности не входило чинить корабли, но мне было приятно, что мы работали все вместе и помогали друг другу. С тех пор я всегда испытывал уважение к кораблям. Я чувствую напряженность шпунтов, нежность и силу снастей, знаю, сколько труда кроется за каждой корабельной доской от киля и до кончика мачты. Я сам ставил мачты и крепил парус. Я выучился танцевать вместе с кораблем, танцующим на волнах.

В такие дни я учился понимать людей. Я работал на берегу или ходил в горы искать потерявшуюся овцу, хотя и знал, что искать ее бесполезно, — пусть лучше сдохнет с переломанными ногами в какой-нибудь расселине, — но я все равно ходил и искал, ибо это помогало мне обрести покой, ясность и силу. Так я стал мудрым.

Я овладел также искусством толкования снов. Конечно, я понимал, что это обман, но был в этом и какой-то глубокий смысл, я

научился прикрывать правду, мелькнувшую во сне, чем-то, что не всегда было правдой. Но я научился также глубоко уважать правду Божью, которая изредко приоткрывается во сне, вырвавшись из тайников человеческой души. Я научился толковать и такие сны.

Теперь она уже умерла. Но мой сын жив, он следует за конунгом и потому я тоже следую за ним. Случается, я взываю к Богу по ночам: Избавь моего сына от необходимости идти путем конунга!.. Но я знаю, что он не свернет с этого пути, что путь этот будет долгий и кровавый, и, кто знает, что ждет их, победа или поражение? Я уверен только в одном: больше всего мне бы хотелось сейчас чинить корабль на берегу в Киркьюбё.

Корабли горят.

Я многое знаю о кораблях, о людях и кое-что даже об истине, которую Бог хранит в своем сердце.

Но больше всего я знаю о счастье, которое охватывает человека, когда он смотрит на прибрежные камни, и гордости, какую отец испытывает за своего сына.



Я, Симон из монастыря на Селье.

Когда наши корабли загорелись, я измазал голову конским навозом. Я стоял на пригорке и смотрел, как меня окутывает серый дым, мне пришлось бежать от него, чтобы не задохнуться. И я вспомнил, что мне сказала Катарина, монахиня нашей святой церкви, которую я выдавал за свою сестру и которой обладал жаркими ночами перед ракой святой Сунневы: Ты, лишивший меня девственности, когда-нибудь сгоришь в белом адском огне... Но она плакала, говоря эти слова, умоляла меня простить ее, я простил и мы снова обладали друг другом, я сорвал с нее монашеское одеяние, бросил ее на каменную скамью перед ракой святой Сунневы и овладел ею на этой скамье. Меня переполняла ненависть и блаженство, я вынес ее на руках из церкви, сияла летняя ночь, я овладел Катариной и поклялся, что буду любить ее, даже если кончу в белом адском огне. Я отправил Катарину, зашив в ее пояс яд, к ярлу Эрлингу и конунгу Магнусу, чтобы отравить их. Но они схватили ее, и у подножья горы в Тунсберге ей пришлось заплатить за это жизнью, а я сидел в монастыре на Селье и плакал.

Всегда был кто-нибудь, кого я ненавидел. Когда я был маленький, в нашу усадьбу в Суннмёре ворвались люди конунга — не помню, как звали, то чудовище, захватившее власть в стране, которому служил Эрлинг Кривой, — люди конунга ворвались в нашу усадьбу, связали мою мать веревками и вырвали ей ногти, чтобы она сказала, где прячется мой отец. Я ненавидел уже тогда. Я ненавидел и потом. Каждый мой день был отравлен ненавистью. Я стал священником нашей святой церкви не для того, чтобы любить Бога, а для того, чтобы иметь возможность скрывать оружие под облачением и использовать его, если кто-то вставал на моем пути. Потом ко мне пришел молодой человек, он назвал себя Сверриром, но его глазам я понял, что у

него есть мужество и цель, ум и сила, и тогда я связал с ним свою судьбу и последовал за ним. Но я возненавидел его.

Я сражался в битве при Рэ, подвязав свою рясу так, чтобы она мне не мешала, я украл топор у убитого берестеника. Я рубил этим топором направо и налево и вышел из битвы с чужой кровью на руках, не пролив ни капли своей. Я пришел в Вермаланд и подстрекал Сверрира, чтобы он объявил себя конунгом, а потом последовал за ним сюда. Но я возненавидел его.

Меня мучит одна загадка, разгадать которую я не в силах. По ночам у костра я тосковал по Катарине, я ложился навзничь на влажную землю и пытался вспомнить молитвы, которые когда-то возносил к Богу. Я перестал быть человеком Бога. Я стал человеком конунга, но я возненавидел его.

Если он бывал добр, я восставал против доброты, если бывал жесток, я восставал против жестокости. Я знал, что его судьба — это моя судьба, что его смерть станет также и моей смертью. И все-таки я ненавидел его. Однажды ночью я пустил слух, — так легко пустить слух среди воинов, — что он, должно быть, проданся дьяволу. Я хотел ослабить его. Но непостижимым образом это его только усилило. Расстояние между ним и людьми заметно увеличилось. Но уважение к нему не стало меньше. Конунг шел напролом, а темные бонды стояли у ворот со своими коровами и отдавали их ему без малейшего сопротивления в надежде, что они сохраняют свои жизни. А конунг? Что делал конунг? Он тщательно взвешивал все за и против. Он хотел понять, что ему выгоднее, сказать на Эйратинге, что ему известно о слухах, будто он проданся дьяволу? Или умолчать об этом?

Я встречал людей более сильных, чем я, и они тоже кого-нибудь ненавидели. Лишь одного человека я встретил, который никого не ненавидел и был сильнее меня. Он преодолел ненависть ясностью мысли, и все его действия были подчинены его воле. Я часто задаю себе вопрос: Как он ведет себя, когда обладает женщиной? Поднимает ее к небесам или опускает на землю, кружит в воздухе, отстраняет от себя и снова прижимает к себе? Как он ведет себя? Где крайняя точка его мысли, что управлет им во время страсти?

Он сильнее, чем я. Он умнее, чем я. Поэтому я должен ненавидеть его. И теперь, когда корабли горят и дым ест мне глаза, я знаю, что, если среди ожесточенного войска берестяников появится новый ко-

нунг, я поддержу этого нового. Не потому что так будет умно. И не потому, что так будет справедливо. А лишь потому, что я ненавижу.

Они вырвали моей матери все ногти, и заставили меня смотреть на это. Что значит сила крови Христовой по сравнению с силой той ненависти, которая родилась во мне, когда они выдирали у матери ногти? Иногда у меня перед глазами мелькают красные пятна, чаще всего по ночам, когда я не могу ни заснуть, ни найти утешения в вине — появится ли у берестеников новый конунг?..

Ты мог бы?.. спросил у меня чей-то голос.

Нет, нет, ответил я, на это у меня хватило ума, капля ума у меня еще осталась, несмотря на мою ненависть. Но голос продолжал: Может, он сделает тебя епископом?.. Тогда ты возглавишь епископство и сможешь дергать за невидимые нити. В один прекрасный день конунг придет к тебе с Библией в руке, ты встретишь его и он подведет тебя к обтянутой шелком скамье епископа и ты преклонишь колени...

Однако я ненавидел его. И когда он в Нидаросе припер меня к стенке и отказался дать мне епископский сан, я понял, что возненавидел его навсегда. Я вышел тогда из дома, меня вырвало, я достал нож, с которым не расстаюсь, и попробовал, острый ли он.

Но ум мой все-таки не умер. Нет, нет, если бы я его зарезал, тут же зарезали бы и меня самого, если б я его отравил, меня казнили бы. Нет, нет, сказал я. Придет день и среди берестеников появится новый конунг. Дождись этого! А до тех пор сражайся! И ненавидь!

Пока корабли горели, я думал:

Правда ли, что я продал свою душу дьяволу?..

Что ж, дьявол — это дьявол, может, он покупает злые души, а они даже не знают об этом? Ха-ха, дьявол купил мою душу и ничего не сказал мне об этом!

Корабли среди прибрежных камней нылают адским огнем, дым чуть не задушил меня, тогда я от страха упал на колени и измазал волосы конским навозом. Я взывал к всемогущему Богу, моля простить меня, как в тот день, когда я соблазнил монахиню Катариону и овладел ею.

Но вскоре дьявол помог мне. Я скинул с волос конский навоз и смыл в ручье его остатки.

Я опять стал Симоном, настоятелем монастыря на Селье, орудием дьявола и человеком конунга Сверрира.



Я, Халльвард Губитель Лосей,

последовавший за конунгом Сверриром, дабы испытать радость, убив кого-нибудь в сражении. Но единственное, чего я добился тем летом, это потерял три пальца и стал всеобщим посмешищем. Когда я вспоминаю дни, что прошли с тех пор, как я встретил конунга и его людей, я понимаю, что первый день был самый счастливый. Я сидел у очага и учил Кормильца печь хлеб. Конунг ел мой хлеб и насытился им.

Сейчас, когда горят корабли и черный дым скрыл берег, у меня мелькает грешная мысль: хорошо бы конунг мирно поселился в этой стране и я пек бы для него хлеб. Знаю, это работа для женщин, но ведь я пеку хлеб лучше любой женщины, и если бы я пек хлеб только для конунга, это было бы честью, а не позором. Личный пекарь конунга достоин большего уважения, чем Кормилец, ибо Кормилец готовит варево для всех, а я, избранный, пек бы хлеб только для одного человека. Конунг призывал бы меня и говорил своим гостям: Это Халльвард Губитель Лосей, он печет хлеб только для меня.

Теперь, когда мы сожгли корабли, этот день непременно придет.

Но сперва я должен убить человека и стать равным тем, кто так наловчился убивать.



Я, Хагбард Монетчик, посланец конунга, ходивший из Вермаланда в Теламёрк.

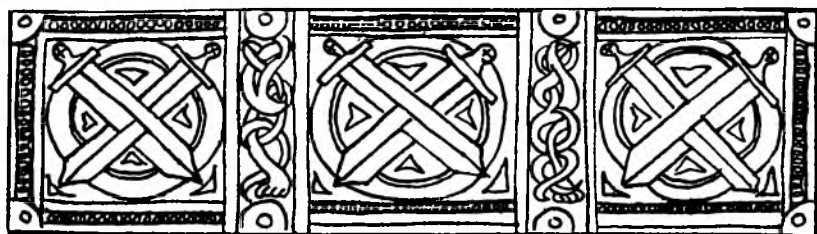
Я всегда ношу на плечах своего сына-калеку. Сейчас мой сын остался в Бувике, где поселилась молодая жена Сигурда. Но я тоскую без мальчика и, будь моя воля, я бросил бы эти горящие корабли, и лесами вернулся бы обратно к сыну. Но я в этом не волен.

Конунг сказал: Хагбард, когда-нибудь ты будешь чеканить монету с моим знаком!..

Сперва я изготовлю знак конунга в железе и залью формы серебром. Но в свободное время, а его у меня будет достаточно, когда мир, словно манна небесная, снизойдет на нашу землю, я изготовлю в железе личико Малыша и залью форму серебром. Я сделаю три таких монеты: одну для Малыша, одну — для себя и третью дам конунгу. Конунг возьмет ее, поблагодарит меня и скажет:

— Я конунг этой страны. А Малыш — конунг своего отца.

Но мир в этой стране наступит еще не скоро.



Я, человек, который не сумел сосчитать навших после сражения в Ямталанде, телохранитель конунга, повсюду следующий за ним.

Сейчас я стою позади конунга, смотрю, как горят корабли, и считаю их. Теперь я умею считать.

Дым тянет на нас, конунг кашляет, я оглядываюсь по сторонам — все вокруг кашляют. Не знаю, о чем они думают, и мне это безразлично, но, когда ветер ненадолго относит дым в сторону, я считаю корабли и у меня это получается.

Вот что значит быть человеком конунга: это приносит радость знаний тому, у кого есть желание учиться. После следующего сражения я уже сумею сосчитать навших.



Я, Гаут, однорукий,

я хожу по стране, чтобы прощанть. Когда от дыма горящих кораблей стало першить в горле и щипать глаза, я вспомнил, что один раз в детстве бросил что-то в костер, горевший возле ручья и сказал, что это сделал не я. Уже не помню, что это было. У ручья полыхал большой костер, я сидел рядом и с чем-то играл, потом бросил это в костер и сказал, что это сделал не я. Должно быть, я свалил вину на брата.

— Это сделал брат!.. — крикнул я.

Но мать не ответила мне, я шел за ней и кричал:

— Это сделал брат!

Уж не котенка ли я бросил тогда в костер? Когда я стал старше, об этом никогда не вспоминали. Я помню запах паленого и как я кричал, что это сделал мой брат. Но он был моложе меня, мать еще кормила его грудью. Кажется, она что-то выхватила из огня, но было уже поздно, что-то, горя каталось по земле и кричало, отвратительный запах ударил мне в нос, над ручьем тек дым.

— Это сделал мой брат!..

Весь день я ходил за матерью, плакал и говорил:

— Это сделал мой брат!

Но она молчала. Молчала и уходила от меня, а я шел за ней и все плакал и говорил, что во всем виноват мой брат. Но куда-то подевался наш котенок...

— А где котенок? — спросил я вечером.

Мать взглянула на меня — я до сих пор помню ее взгляд — и склонила голову, это я тоже помню. Должно быть, она молилась сыну всемогущего Бога и Деве Марии, чтобы ее злой отпрыск когда-нибудь все-таки спасся.

Ручей назывался моим именем — Ручьем Гаута. Лучшие бы он назывался именем моего доброго отца, усадьба которого стояла на этом ручье, или моей матери, склонившей голову в молитве за своего злого отпрыска. Но люди в Нидаросе звали ручей моим именем. В детстве я всегда играл у этого ручья, а воины и путники, мирные бонды и женщины проходили мимо меня в город навстречу своей нелегкой судьбе. Я играл у ручья. Какой красивый мальчик, говорили они. Многие давали мне комки меда, а кое-кто — и небольшие подарки, я был еще мал, чтобы работать, и меня, к сожалению, никогда не наказывали, что, несомненно, принесло бы мне пользу в будущем.

Я рано потерял моих добрых родителей. Когда я стоял над их могилами, — они захворали и умерли, — я вдруг понял, что оставлен жить на прекрасной Божьей земле, чтобы молиться за души моих покойных родителей. Потом я подумал: наверное, было бы лучше, если бы Всемогущий сохранил им жизнь, чтобы они молились за мою злую душу? Я стал странником, скрывая свою гордыню под ветхим плащом. Я всегда приходил туда, где строилась новая церковь. Но оставался там недолго и уходил дальше до того, как был положен последний камень и первые слуги Божьи могли войти внутрь, чтобы молиться и петь псалмы. Я спешил дальше, всегда дальше, ища то, от чего ни один человек не мог избавить меня. Как бы невзначай я рассказывал обо всех местах, где побывал и обо всех церквях, которые строил. И люди всегда относились ко мне с уважением.

Но вот мне отрубили руку, и кем же я стал тогда? Смелый человек, говорили про меня многие, а кто-то, заглянув в свое жалкое сердце, искал в нем благородства. Может быть, так и было, не знаю. Иногда мне казалось, что от моей души пахнет паленым. Она всегда терпит адскую муку, всегда корчится в вечном огне... Горят корабли и, по-своему, это красивое зрелище, справа от меня плачет Аудун, рядом с ним стоит конунг, он не плачет, и я понимаю, что мне следовало броситься в этот огонь и крикнуть им перед смертью: Вам не надо было жечь корабли! Вам следовало сжечь свое оружие!..

Но сегодня мужество мне изменило.

Люди конунга Сверрира отрубили руку молодому парню. Аудун сказал мне тогда: Теперь вы вместе сможете ходить и прощать! Однако вместо благодарности я испытал лишь тревогу, что отныне мне придется делить с ним расположение людей. Неужели он тоже будет

ходить по стране и прощать? Не думаю. Не у всех хватит настойчивости, чтобы ходить и прощать. Но сознавать, что этот однорукий парень живет в Нидаросе и что он будет отвлекать от меня внимание людей...

Не по этой ли причине я предпочел последовать за конунгом Сверриром на его опасном пути?

Не знаю. Знаю только, что нынче, когда мне следовало броситься в огонь и крикнуть: Бросьте сюда свое оружие! — мужество изменило мне. Мое сердце стучит: Больше оно тебе не изменит!

Когда-то я бросил в огонь котенка. Конечно, это был котенок, это было живое существо. И моя добрая матушка в конце концов простила меня.

Потом я ходил и прощал людей. Но кто знает, хороший ли я человек, может, Сверрир, конунг Норвегии, гораздо лучше, чем я. И все-таки я считаю, что мой путь лучше его пути, даже если мое сердце не лучше его сердца.



Я, Сверрир, конунг Норвегии, неважно, сын я конунга или нет, я изгой.

Когда мы покинули Нидарос и только мои самые близкие люди знали, что корабли, на которых мы плывем, вскоре пожрет огонь, я понимал, что они, знавшие о моем решении, молятся в глубине сердца, чтобы я переменял его и не стал жечь корабли. Но они не понимают меня и моих замыслов! Что им известно о той ноше, которую я несу, о том, что значит не только быть конунгом в изгнании, но и повелевать в изгнании своими людьми?

Разве я не знаю, что враг, идущий с юга, сильнее нас и у нас есть только один выход: бежать отсюда. Но разве в таком случае не следует уничтожить все, что могло бы принести пользу Эрлингу Кривому и его людям? Разве с легким сердцем я крикнул своим людям: Принесите смолу, разведите огонь, сожгите корабли? Мое сердце горит вместе с кораблями.

Эти красивые корабли несли нас по волнам, первые, какие я захватил в сражении и мог назвать своими. Я так люблю корабли, люблю чувствовать под ногами морскую глубину, она убаюкивает меня всякий раз, когда корабль несет меня по черному блестящему морю. А теперь я смотрю на горящие корабли. И в дыме от них я вижу тень Унаса, моего отца... Кто знает, отец он мне или нет? В конунговой усадьбе я схватил его за грудки и тряс, чтобы вытрясти из него хмель, а Аудун смотрел на меня и боялся, что я зарублю его. Я вытряс из него хмель и сказал: Ты должен уйти отсюда!.. Разве я не твой отец? — спросил он. Нет, ответил я. А если все-таки отец? Кто знает? Я дал ему серебра и даже поцеловал его, но не был ли это поцелуй Иуды? Не знаю. Знаю только: есть то, что есть. Я выбрал путь конунга. Выбрал, ибо знал, что рожден быть конунгом, а потому был вынужден выбрать этот путь. Кто зовет меня, Бог или дьявол, ко-

торому, как считают некоторые, я продал свою душу? Не знаю. Знаю только, что одно следует из другого: я конунг и потому должен идти путем конунга.

Я больше не свободен настолько, чтобы позволить Унасу быть моим отцом. Я должен был отослать его прочь, я не мог сажать его за свой стол и смотреть, как он пьянеет, видеть улыбки людей и слушать, как они перешептываются друг с другом: Говорят, это отец нашего конунга?.. Нет, нет, я должен был отослать его прочь.

Я уже не знаю, чему верю сам. Может, тому, что он не отец мне? Я гоню прочь эту мысль, но когда-нибудь истина откроется мне, и лишь тогда я стану тем конунгом, каким рожден, конунгом, провозглашенным не людьми на Эйратинге, но Господом Богом на его святом тинге, где он показывает пальцем на своего избранника и говорит: Ты конунг этой страны.

В дыме от горящих кораблей я вижу кровавый путь, уже пройденный мной. А может, и тот кровавый путь, который еще предстоит пройти? Но вижу ли я за этим кровавым путем путь Господень? Не знаю. Знаю только, что буду идти своим путем, пока моя мысль ведет меня по нему. Дивна жизнь, что Ты дал нам, Иисусе Христе! Дивна власть, что Ты дал мне, дивны мечты о жизни конунга, что ты подарил мне. Но иногда данные Тобой дни бывают проклятыми, дни вроде тех, когда мне приходится говорить с бондами о кобылах, зная, что корабли врага вышли в море и времени у нас в обрез. Да, проклятыми бывают иногда дни, что Ты дал мне, дни, когда мне приходится в сердце своем взвешивать на весах человеческую жизнь и знать, что весы лгут. Тогда, — но времени у меня всегда бывает так мало, — я позволяю себе мысленно вернуться домой в Кирккюбё к той, которая ждет меня там. Нашла ли она себе другого? Но там с ней, — даже если ее лоно будет разделено с другим, — живут сейчас и два мои сына, если Всемогущий не призвал их к себе. Счастливое чувство охватило меня в тот день, когда Аудун узнал, что его добрая матушка умерла. Но не потому, что она умерла, а потому, что посланец не привез печальной вести и мне. Значит, я могу думать, что мои сыновья живы и когда-нибудь приедут ко мне сюда.

Я, конунг Норвегии, изгой, не могу взять их сюда сейчас. Только когда вся страна будет принадлежать мне или же я буду чувствовать себя в безопасности хоть в какой-то части Норвегии, я возьму их

сюда. Будет ли Астрид из Киркьюбё верна мне до того времени? Я не изменял ей. Можно сказать и так: мои люди приводили ко мне женщин. Они не вталкивали их ко мне со словами: Государь, вот то, что тебе нужно! Нет, нет, они просто приходили ко мне и спрашивали: Государь, скажи, что тебе нужно?..

Я склонял голову и отвечал: Мне нужен хлеб и сон. И ничего больше.

Я мысленно вижу ее, она танцует передо мной на столе прекрасная, белоснежная, дивная, нагая, она танцует передо мной на столе. На одном корабле уже рухнула мачта.

Да, Унас, которого я отослал прочь, и она, которую я не могу пока привезти сюда, заполняют мысли конунга. Они заполняют мои мысли, но по моему лицу этого не видно, по лицу, которое люди благословляют или проклинают. Продался дьяволу, говорят некоторые. Слуга Божий, говорят другие. Не знаю. Сын конунга или нет, кто знает, я, конунг Норвегии, вынужден бежать в собственной стране.

Изгой в собственном сердце, несчастный в дыму горящих кораблей.

Наконец я собираю людей и веду их дальше.

Я, конунг Норвегии, никогда не показываю своих сомнений.



ПИР В САСТАДИРЕ

Я, Аудун с Фарерских островов, и ты, йомфру Кристин, дочь конунга, идем вместе либо навстречу счастью, либо навстречу своему горькому жребью. Пусть же нынче ночью, пока над Рафнабергом бушует шторм и к нам время от времени доносится с крыльца глухой голос фру Гудвейг, бормочущей молитвы, мы сойдемся с тобой в своей глубокой любви к конунгу и поделимся воспоминаниями о нем, поставившем печать греха и благодати и на твою и на мою жизнь. Иногда пепел от огня, горящего в очаге, попадает мне в глаза, и я снова переживаю тот день, когда стоял у прибрежных камней в Оркадальсфьорде и смотрел, как горят корабли. Суровые, но не бесславные дни остались у нас за спиной! Впереди же нас ждали дни, затянутые утренним туманом, словно серая поверхность воды. Но мы вступили в этот туман, как подобает храбрым мужам с оружием в руках — мы шли вслед за конунгом, и если мы сомневались в его праве называться конунгом, то молчали об этом, и из нашего молчания рождалась вера.

Йомфру Кристин, ты слышишь, как фру Гудвейг бормочет молитвы? Она молится за тебя и за твое счастье: за твое счастье в будущем, за мед твоих губ, за то, чтобы твое сердце не узнало ненависти. Молится за то, чтобы



тот, кто первым познает твое непорочное лоно, когда чудо жизни заставит тебя распуститься, словно розу у накалившегося солнцем камня, завоевал сначала твое сердце. Вот о чем она молит Сына всемогущего Бога и Деву Марию. Она молится о том, чтобы они послали тебе мужество и безграничную покорность в час опасности, чтобы твоя смерть, когда она придет к тебе, была безболезненной, и чтобы мучительные клещи чистилища лишь слегка прихватили одежды твоей нежной души. Да, йомфру Кристин, фру Гудвейг молится о том, чтобы мудрость твоего отца конунга осветила и твой путь и чтобы кровь, текшая по его следам, никогда не запятнала бы твоих воспоминаний. Протяни мне кубок, йомфру Кристин, когда-то его подарил мне твой отец! Дай мне утопить в легком хмеле мои злые желания и язвительные слова. Но сперва узнай: нынче ночью я вижу тебя такой, какая ты под плащом и под платьем, но я знаю, что я, старик с поникшими плечами, не имею права получить то, что в свое время получит какой-нибудь молодой властитель, сняв с тебя одежды.

Йомфру Кристин, ты последняя радость в моей жизни! Любовь редко переступала через мой порог, я был одинок под небесными звездами, но иногда случалось, что добрые люди одаривали меня богатой дружбой. Прежде всего твой отец, конунг, человек с разными ликами и жестоким лицом, дающий пощаду своим врагам. Я был молчаливым свидетелем многих его тайных злодеяний, а иногда и его духовником.

Йомфру Кристин, ты еще ничего не знаешь о волне любви, которая когда-нибудь захлестнет тебя. Но дружба между мужчинами есть и останется неведомой страной для тебя. В тот день, когда мы шли по долине Оркадаль, оставив за спиной горящие корабли, наша дружба расцвела и окрепла.

Сколько дорог мы прошли вместе, в скольких тяжелых битвах нам пришлось сражаться бок о бок! Мы одерживали победы, многие из наших людей полегли вдоль этих дорог, раскинув руки, напоминая нам о муках чистилища, которые им предстояло пройти, прежде чем они очистятся. Многие из наших врагов были отправлены нами в адские бездны, дабы они задохнулись там от запаха собственной горячей плоти. Мы поступали несправедливо и с нами поступали несправедливо, низкие помыслы лелеяли мы в своих сердцах и не

всегда обходились друг с другом так, как того требовала дружбы. Но когда сгорели корабли, наша дружба окрепла. День был погожий. Высоко над горами и над фьордом раскинулось Божье небо, по нему летали Божьи ласточки и плыли Божьи облака. С моря тянул ветер. Он, словно женская рука, касался наших глаз, ласкал нас и мы наслаждались им. В страну пришло лето, листва была сладкая на вкус, трава нежно гладила наши ступни. И когда нас встретили горы, могучие, с заснеженными вершинами и ручьями, бегущими в белой пене среди камней, мы уже не бранились, мы пели. Потому что поняли: мужчин связывает дружба.

Оставив за спиной смерть и глядя в глаза гибели, ждущей нас впереди, встречая свою судьбу, мы постигали, что такое дружба между мужчинами. Это не любовь, которая требует от женщины всего и лишает ее свободы, сперва радует ее, а потом тяготит. Которая заставляет ее бросать свое тело на ложе как дар, и кричать мужчине, корчась под бичом его воли: Возьми меня, бичуй меня! Нет, в мужской дружбе человек сохраняет свободу. Он силен и свободен, но не одинок, он в пути и знает, что каждый путь кончается смертью.

— Господин Аудун, мне странно, что мне, женщине, ты рассказываешь о мужской дружбе. Но разве не существует также дружбы между мужчиной и женщиной? Дружбы, дрожащей, как струна, натянутая над пропастью, которая легко может обернуться ненавистью или любовью?

— Йомфру Кристин, любая дружба между мужчиной и женщиной непременно кончается ненавистью или любовью. И поэтому я знаю, — вопреки морю лет, отделяющих нас друг от друга, — что когда мой смиренный рассказ о твоём отце конунге подойдет к концу, ты не проникнешься ко мне любовью, ибо твоё страстное тело, красота которого сверкает даже такой морозной ночью, как эта, жаждет упасть когда-нибудь к ногам молодого человека и сказать ему: Подними меня на свое ложе! Нет, йомфру Кристин, когда мой рассказ подойдет к концу, ты возненавидишь меня.

— Господин Аудун, нынче ночью, проявив в моем присутствии недозволенную свободу, ты заслужил мою ненависть. Но все-таки я не ненавижу тебя.

— Йомфру Кристин, необъятно твое благородное сердце, прекрасно твое желание оказать честь человеку, так близко стоявшему к

твоему отцу! Но правда, йомфру Кристин, дорогая монета: положи ее на чужую ладонь, и он закричит, словно руку ему обжег огонь.

— Господин Аудун, я и сама понимаю, что правда может заставить меня закричать, но она не заставит меня ненавидеть.

— В таком случае, йомфру Кристин, она заставит тебя полюбить.



Вот что я помню о Сверрире, конунге Норвегии:

Он пришел ко мне и сказал, что, если мы захватим несколько селений вокруг озера Мьёрс и раздобудем несколько небольших парусных судов, мы сможем пробыть там до следующего лета. Там можно рассчитывать на богатые вейцлы* и оттуда есть много дорог, на случай, если туда придут наши враги. Оттуда можно пойти или на юг, в Вик, или на север, в Нидарос, а можно также пойти и на запад, в Бьёргюн. Ну, а если в этой стране у нас земля начнет гореть под ногами, оттуда рукой подать до непроходимых лесов Свеварике**, где мы сможем укрыться. Тот, в чьих руках Упплэнд, подчинит себе со временем всю страну.

Наши лазутчики донесли нам:

— На Мьёрс под парусами стоят военные корабли и по селениям пущена стрела войны.

Мы повернули на запад и глухими лесами пошли к озеру, которое здесь называли Рёнд.



Сын Божий словно помогал нам, когда мы по крутым склонам спускались к озеру Рёнд. И этот день тоже был солнечный, ветренный, с легкими бегущими облаками. С вершины одного холма мы увидели несколько небольших судов, стоящих у берега, приплывшие на них люди, отложили оружие и дремали на солнце. Мы захватили их.

* Вейцла — «кормление», которое население округа поставляло в виде продовольствия или угощения конунгу или знатному человеку.

** Швеция.

Мы захватили их одним махом, птицы не успели умолкнуть и пчелы не увидели в этом помехи и продолжали добывать из цветов мед. Большая часть людей на судах не оказала нам никакого сопротивления, двоих мы зарубили и оттащили трупы подальше, чтобы своим видом они не огорчали остальных. Вскоре мы уговорили их перейти на нашу сторону. Это были сыновья бондов, с жирком на животах, покатыми плечами, не умевшие владеть мечом и не имевшие никакого желания сражаться. По приказу ярла Эрлинга они собрали ополчение, чтобы охранять селения от конунга Сверрира. Они были очень довольны, когда мы сказали им:

— Женщинам, живущим у Рёнда повезло, вон у них тут какие мужчины!

Словом, это была добрая встреча, и между мужами, которые на рассвете намеревались пустить кровь друг другу, родилась сердечная дружба. Люди расположились под деревьями, они ели из одного котла и рассказывали о девушках, которых нанизывали на свои гарпуны почище, чем форель в ручьях. Мы не сожгли ни одной усадьбы и платили серебром за любую отданную нам скотину. Пришли старухи и попросили, чтобы им позволили потрогать конунга, он засмеялся и сказал, что будь они помоложе, он бы тоже не отказался их потрогать. Восхищенные, они покорно кланялись ему, он же достал горсть серебра из кошелька, висевшего на поясе, щедро одарил их, погладил по щекам и сказал, что если их дочери так же хороши, как они сами были в молодости, их следует запереть дома и заложить засовы.

— Мои люди не станут отказываться от добычи, на которую, по их мнению, они имеют право, — сказал он.

Женщины засмеялись, потом пришли их дочери и день кончился тем, что дружба между мужчинами должна была отступить перед тем, что одни называют сполохом во время бури, а другие — выросшим на солнце цветком, вокруг которого жужжат пчелы и ангелы танцуют от радости.

Да, йомфру Кристин, это был замечательный день, он сохранился в моей памяти, сверкающим, точно начищенная серебряная монета на белой льняной ткани. Даже когда пришел конунг, — я сидел тогда с рогом в руке на спине одного берестеника и распевал во все горло, — я не испытал ни малейшей тревоги, узнав, что наша казна заметно похудела. Конунг сказал также, что, когда нам улыбается удача, мы

не должны омрачать свою радость мыслями о том, что наш сундук с деньгами стал легче рога, который только что осушил Аудун.

— Как ты считаешь, Аудун, не наполнить ли нам его снова?

— Рог? — спросил я.

— Сундук, — засмеялся конунг.

Пришел Сигурд. Я хорошо помню, как он сказал:

— Государь, если тебе нужны деньги, достать их будет нетрудно. Недалеко отсюда, мили две на север, лежит усадьба старого Эцура, лендрманна. Ты, небось, слышал об этом Эцуре, старом цепном псе ярла Эрлинга, который всегда пробует серебро на зуб и плачет, когда ему приходится отдавать его? Я-то его хорошо знаю. Когда люди Эрлинга Кривого захватили меня и заставили грести на корабле ярла, точно простого раба, вот тогда я и узнал его. Эцур никогда не моет рук перед тем, как садится есть. Он так жаден, что даже свою грязь жалеет оставить в воде, в которой кто-нибудь после него тоже будет мыть руки. Он так жаден, что даже не спит с женщинами, — он никому не отдаст ничего своего. На его усадьбах, а их у него много, овцы жрут собственное дерьмо, и когда потом люди едят баранину, от нее разит навозом. Да, да, Эцур такой скряга, что даже Эрлинг Кривой сказал однажды, что, когда его лендрманны предстанут перед Богом, — а мало кто из них сможет предстать перед Ним без стыда, — Эцур станет позади всех, потому что из-за скупости даже вошь пожалеет стряхнуть с волос.

Но у Эцура есть серебро. Да, государь, у него есть серебро, оно зашито в мешки из овчины и телячьи желудки и зарыто в кучах навоза у него на усадьбе. А на сундуке с золотом он сам сидит и днем и ночью и боится оторвать от него задницу даже ненадолго — ведь в это время кто-нибудь может украсть его добро. Светую тебе, государь, забрать у Эцура столько серебра, сколько тебе нужно.

— Добрый совет, — сказал Сверрир. — Пусть двадцать человек поедут к Эцуру и познакомят его с мечом конунга.

День выдался на славу, а когда наступило утро, наши люди уже вернулись обратно. Лошади несли тяжелую поклажу. Самого Эцура дома не оказалось — наши люди узнали, что он в Бьёргюне, — но двое его сыновей стерегли сундуки с добром. Усадьбу наши люди сожгли. Сейчас сыновья Эцура были уже в аду, а его серебро — здесь. Первый раз в жизни я видел такую гору тяжелых монет, их

было приятно держать в руках. Конунг опять проявил свой ум. Он взвесил все серебро в присутствии людей. И сказал, что большую часть мы должны взять с собой в сундуке, это принадлежит всем, но находится в распоряжении конунга.

— Добрым бондам мы будем платить за продовольствие, — сказал он. — Лучше честно покупать, чем отбирать силой то, что нам нужно. А сейчас каждый подойдет ко мне и получит из моих рук по монете. Используйте деньги с умом, спрячьте в кошелек или в пояс, проглотите, если угодно, или отдайте девушке, которая покинет вас, потеряв то, чего уже никогда не вернет.

Люди засмеялись и стали подходить к конунгу один за другим, я стоял и смотрел на суровые, обветренные лица этих людей, знакомых не по наслышке со всеми сторонами жизни, и знал: это дружба между мужчинами.



Вот что я помню о тех славных днях на берегу озера Рёнд:

Несколько лазутчиков, которых мы посылали на небольших лодках на юг озера, вернулись и рассказали, что большой отряд воинов движется из Хрингарики. Они узнали даже, что предводитель этого отряда — Орм Конунгов Брат, единоутробный брат покойного конунга Инги. Молва говорила, что Орму приходится брать на себя руководство людьми, ибо конунг Магнус плохо годится для этого дела. Всем было ясно, что если навстречу нам вышел сам Орм, значит, нас ждет сражение не на жизнь, а на смерть, но страха мы не испытывали. Ведь мы были берестеники.

Бернард подошел к конунгу и сказал:

— Я встречал Орма в Тунсберге, государь, и ты не ошибешься, если учтешь, что он гораздо умнее твоего противника конунга Магнуса, можно даже сказать, что ум его не менее изощрен, чем у ярла Эрлинга. В тот день, когда ты увидишь Орма мертвым, считай себя ближе к власти над страной на целый шаг. Он высок, плечи у него неширокие, голову он держит прямо и неподвижно — говорят, он делает это сознательно, чтобы отличаться от ярла, у которого голова свернута на сторону после того, как его рубанули мечом на обратном пути из Йорсалира. У Орма хорошая память,

он никогда ничего не прибавляет и не убавляет и, когда нужно, сохраняет голову холодной. Чувства же его горячи, особенно, если он знает, что извлечет из этого выгоду. Будь с ним осторожен, государь! Встречи вам не избежать! Он стоит у тебя на пути. А ты — у него.

Конунг сказал:

— Пятьдесят человек пойдут в лес и нарубят коротких бревен.

Мы не поняли, что было у него на уме, но люди сделали, как он велел.

— Господин Аудун, существует ли в борьбе между мужчинами что-то, глубину чего женщина не в силах постичь? Например, уважение к тому, кто приставил меч тебе к горлу, если, конечно, он сделал это с большим искусством?

— Йомфру Кристин, уважение — это одно, а похвальба — другое, и, если ты не понимаешь похвальбу мужчины, значит, ты не понимаешь его самого. Но всегда делай вид, будто ты веришь его похвальбе, тогда тебе будет легче повелевать им.

— Господин Аудун, ты хочешь сказать, что когда однажды придет мой сладкий час, — а мне говорили, что он будет сладок, несмотря на то, что в нем будет нечто и от адского пламени и от света небес Господних, — я тоже должна делать вид, будто верю похвальбе моего господина, даже если в глубине души буду считать, что он не слишком искусно дарит своей супруге то, что должен?

— Йомфру Кристин, если ты хочешь повелевать мужчиной, делай вид, будто он повелевает тобой. Когда же ты однажды покинешь его, не забудь сказать ему правду: ты всегда считала его ничтожным.

— Господин Аудун, если я правильно поняла тебя: каким бы малым ни было твое уважение к женщине, оно все равно будет больше, чем твое уважение к мужчине.

— Йомфру Кристин, в глубине души я вообще никого и ничего не уважаю, кроме смерти и того любовного огня, испытав который можно и умереть.



На рассвете следующего дня конунг сказал:

— Мы должны лесом перетащить корабли из Рёнда в Мьёрс.

Теперь мы поняли, зачем конунг заставил людей накануне валить деревья. На этот раз люди отказались бы выполнить приказ конунга, не обладай он такой сильной волей, мы не отказались. Мы вытащили корабли на берег и подложили под них катки. У каждого отряда был свой корабль, и невозможное стало возможным. Мы двигались по руслу ручья, впереди бежали молодые парни и расчищали дорогу, мы шли по пояс в воде через болота, мы тащили корабли без парусов и весел через леса и пустоши от одного озера к другому. Я еще никогда не видел, чтобы конунг померялся силой с тем, что казалось невозможным. Да, твой всемогущий отец — прости, йомфру Кристин, что я его так называю, хотя ни один смертный не имеет на то права перед судом Божиим — твой всевластный отец каждого из нас наделил силой, каждого одарил своей волей, доставил нам радость, явил нам свое мужество и поделился им с нами. Я стоял на холме, смотрел, как подо мной движутся по земле корабли, и смеялся. Смеясь, я шел по болоту с ремнем через плечо и тащил корабль. Корабли двигались, покачиваясь, как толстозадые бабы. Одному человеку раздавило ногу, мы положили его в один из кораблей и он поплыл на нем. Эйнар Мудрый был рядом с пострадавшим, пока корабль плыл по склонам, а пострадавший молил: Позволь мне тянуть корабль вместе со всеми! Симон, этот злобный монах с Сельи, тянул корабль, точно лошадь, которую хлещут кнутом, хотя его никто не понукал. Книжник Бернард, всегда возивший с собой ларец с книгами, самый ученый, из всех кого я встречал и к кому я любил больше других, бросил свой ларец на один из кораблей, плывущий через леса и болота, и, впрягшись, тянул вместе со всеми. Молодые парни перетаскивали катки, время шло, мы не ели, лишь утоляли жажду болотной водой, и мой пес Бальдр лаял от радости. Конунга видели и впереди и позади, он был повсюду — в сердцах людей и вокруг них, там, где корабль натывался на пень, и там, где корабль проваливался в болото. И часто, чтобы подбодрить нас, он хлестал нас своим дивным голосом: в этом голосе не было ни ненависти, ни гнева, он был мудр, как голос доброго отца, как пение ангела, это был глас сердца, переполненного радостью. И корабли плыли через леса. Мы вышли к большому озеру, которое называлось Эйна, и переплыли через него, мы гребли

и смеялись. Теперь наш путь вел вниз, он был труден и небезопасен, но силы наши были безграничны и мы были непоколебимы в своем высокомерии.

Наконец настал час — не знаю, был то день или ночь, вечер или утро, мы стояли на гребне хребта и смотрели, как под нами пенится водопад, а под ним простирается бескрайнее озеро — Мьёрс. Это была наша цель.

И мы достигли ее!

— Господин Аудун, позволь спросить: Бог ли всемогущий провел моего отца по тем лесам и болотам или дьявол внушил свою злую силу конунгу и его людям?

— Йомфру Кристин, думаю в тот незабываемый день с нами были и Бог и дьявол — один-единственный раз они объединились, как братья, и потому наши корабли переплыли леса и пустоши.

— Господин Аудун, мог ли кто-нибудь другой, кроме моего отца, заставить Бога и дьявола грести одним веслом?

— Йомфру Кристин, в твоём отце конунге были они оба, и Бог и дьявол, многие носят в себе их обоих, но мало в ком они были так сильны, как в твоём отце.



Вот что я помню о руках конунга:

Светлой летней ночью мы сидели на берегу бескрайнего озера Мьёрс, конунг протянул мне ладони:

— Смотри, — сказал он, — на правой ладони вокруг большого пальца идет глубокая линия, тут она изгибается и потом пропадает, словно ручей в засуху. А на левой та же линия не такая глубокая, она становится отчетливей только к концу, как будто пытается не исчезнуть совсем.

Я взял его руки и стал их разглядывать. Руки у него были красивые — в шрамах от порезов, полученных еще в детстве, с мозолями от тяжелой работы, с аккуратными ногтями, в них была гордая сила, присущая всем трудовым рукам. Такими они оставались у Сверрира до конца жизни. Других рук и не могло быть у сына оружейника, но никогда, ни у одного конунга, йомфру Кристин, я не видел более красивых рук.

— Давай я положу их так, — он положил руки на камень ладонями вверх, они были похожи на небольшие салфетки из коричневого полотна, — и мы постараемся понять, куда они указывают нам путь, в Хамар к епископу или на юг в Састадир, где сидит лендрманн Халльвард?..

— Лучше задать этот вопрос людям, более мудрым, чем я. Давай спросим совета у них, — предложил я. — Мой ум не так совершенен.

Я побежал за своим отцом Эйнаром Мудрым и нашим другом монахом Бернардом. Они пришли и стали разглядывать руки конунга, за все это время он не проронил ни слова. Эйнар Мудрый водил пальцем по линиям на ладонях Сверрира и что-то бормотал, может быть, молился. Бернарду, у которого зрение было уже не такое острое, как раньше, пришлось наклониться к самому камню, он как будто нюхал ладони конунга.

— Я вижу красивые линии, но спокойной жизни они не обещают, — сказал мой добрый отец. — И кровь, что течет под ними, может легко вырваться наружу.

— Однако, — подхватил Бернард, — каждая линия человеческой руки, даже самая некрасивая, отмеченная печатью смерти еще при жизни и лишенная подвижности, этого главного признака жизни, все равно маленькое чудо Божье. И за это мы должны быть Ему благодарны.

— Куда я должен идти отсюда, в Хамар или в Састадир? — спросил конунг.

Я сказал:

— Мы не прогадаем, если выступим еще до полуночи.

Эйнар Мудрый и монах Бернард снова принялись изучать руки конунга, неподвижно лежавшие на камне, я стоял рядом с конунгом и слышал, как бьется его сердце.

— Я вижу одну линию, которая напоминает мне о линии на руке епископа Хрои, — сказал Эйнар Мудрый. — Она направлена тебе в сердце Сверрир, и это не предвещает добра.

— Тогда я сначала отправлюсь в Састадир, а уже потом к епископу в Хамар, — решил конунг.

Я пошел к Сигурду из Сальтнеса и передал ему приказ конунга:

— Мы выступаем до полуночи и переправляемся через Мьёрс в Састадир.



Йомфру Кристин, позволь мне в эту холодную зимнюю ночь, когда над Рафнабергом завывает метель и море тяжело бьет в берега, рассказать тебе о чудесной летней ночи в усадьбе Састадир на берегу Мьёрса. То, что случилось там, запало мне в память, хотя сам я был тогда с конунгом на другом берегу озера. Так получилось, что среди гостей Састадира оказался некто близкий конунгу. Лендрманн Халльвард из Састадира, не знавший о близком родстве своей гостьи с конунгом Сверриром, посадил ее через двух человек от себя. Он поднес рог к губам и прежде, чем осушить его, поклонился своей знатной гостье. Он и не подозревал, что его слова будут потом переданы Сверриру, что обо всем, случившемся в Састадире, будет рассказано конунгу, которого он глубоко ненавидел и с которым вел борьбу.

В те дни в Састадире собралось много народу. Каждый проделал долгий путь по дорогам и тропинкам: тут были паломники, пришедшие пешком, и бонды, приехавшие на лошадях, странники и коробейники, вооруженные воины и знатные хёвдинги. Прошел год с тех пор, как в усадьбе была освящена церковь, и теперь священники и монахи съехались сюда на годовщину, чтобы прочитать в церкви прекрасную молитву, которую всегда читали в такие дни во всех Божьих домах на земле.

*Terribilis est lokus iste,
hic Domus Dei est et porta coeli.
Quam dilekta tabernacula tua,
Domine virtutum!*

Один священник, который, видимо, ослабел памятью, никак не мог заставить свои толстые губы правильно произнести молитву. Весь день он ходил с раскрытым молитвенником, подносил его к свету и читал по слогам, не в силах постигнуть глубокий смысл ее слов. Он даже пошел к высокому гостю лендрманна и попросил истолковать одно непонятное место, объяснив, что ему самому попал в глаз комар. Тот выполнил его просьбу.

Но это священнику не помогло. Он прежде познакомился со смертью, чем постиг высокое искусство чтения.

Столы были заставлены всевозможной снедью, рога наполнены, приезжали все новые гости и лендрманн в нарядной одежде стоял на дворе и приветствовал каждого гостя рукопожатием и учтивыми словами. На плечи его был накинут великолепный плащ из валлийского сукна, переливавшегося семью цветами радуги, и меч его был украшен камнями из далекого Йорсалира. Лендрманн из Састадира был один из самых знатных людей ярла Эрлинга Кривого. Он не только принадлежал к тем, кто был богат серебром и усадьбами, но и был к тому же умен.

Когда до него дошли злые слухи о том, что новый претендент на норвежский престол, Сверрир из Кирккюбё, захватил Нидарос и был провозглашен конунгом на Эйратинге, Халльвард понял, что этот человек окажется для ярла Эрлинга крепким орешком. Поговаривали, будто конунга Сверрира видели в северной части Гудбрандсдалира. Поэтому каждый гость, приехавший в СастаDIR на пир по случаю годовщины церкви, был хорошо вооружен.

Наконец лендрманн направился в пиршественный покой, гости поспешили за ним, они предвкушали веселую ночь и были исполнены высокой радости при мысли о том, что утром годовщина освящения церкви будет отмечена старой молитвой:

*Terribilis est locus iste,
hic Domus Dei est et porta coeli.*

Однако их ожиданиям было не суждено распуститься, подобно розе в теплый солнечный день. Лендрманн поднял рог и хотел прежде всего обратиться к своей знатной гостье, но охватившая его тревога сковала ему губы и помешала им сложиться в улыбку. Стражи были расставлены, хотя они больше гнулись от выпитого, чем от тяжести оружия. Воины и не думали о торжествах по случаю годовщины церкви, в которых должны были принять участие на другой день. Они думали больше о женщинах, молодых и не очень, которых можно бросить на сено, сорвать с них одежду, впиться зубами в обнаженную женскую плоть и почувствовать на губах вкус крови.

Они не знали, что скоро в крови у них будут не только губы. Лендрманн поднял рог и выпил за здоровье своих гостей.



Мы обернули уключины толстой тканью и обвязали ею весла. Я завязал Бальдру пасть, ибо не был уверен, что он не залает, почуяв людей и лошадей, когда мы подойдем к берегу. С завязанной пастью он сердито скулит и с укором смотрит на меня. Мы гребем быстро, но не слышно ни звука, лодки идут через озеро наискосок, мы следуем за хлопьями тумана, летящими над водой. Три раза мы меняем курс, но ни разу наши лодки не столкнулись друг с другом, не раздавалось ни единого возгласа, ни единого проклятия, мы плывем через Мьёрс, и никто нас не видит, а мы не видим берега к которому держим путь. Наконец мы выныриваем из белого летнего тумана, закрывшего озеро. На берегу под навесом стоят корабли. Наверху на склоне — усадьба. Мы прыгаем в воду и бежим. Мы и теперь молчим: стражи у кораблей умирают в белых женских объятиях прежде, чем успевают понять, что случилось. Все также молча мы бежим к усадьбе. Встречаем первых людей лендрманна и рубим их. Навстречу нам высыпает большая, но беспорядочная толпа воинов, они стоят на склоне выше нас и потому им легче сражаться, чем нам. Тогда мы издаем знаменитый боевой клич берестеников, мы вопим все разом — кажется, будто летнюю ночь разрубили одним ударом меча. Врагов много, нас окружают, на одного нашего приходится семеро воинов лендрманна, но мы сражаемся, охваченные безумием и радостью. Да, да, безумием и радостью — я одним ударом поражаю сразу несколько человек, не сомневаясь в нашей победе. В погоне за врагом я немного отбился от наших, неожиданно я услышал рыдания женщин, сбившихся в кучку позади сражающихся мужчин. Они стоят на пригорке и плачут, глядя, как чуть ниже сражаются и гибнут их мужья.

Наконец все кончено. Мы победили отряд, который был в семь раз больше нашего. Несколько наших тоже лежат на земле, но не самые главные, один из них без памяти — это Халльвард Губитель Лосей, ему и на этот раз не удалось никого лишить жизни, но я замечаю, что он потерял еще один палец.

Придя в себя, он плачет, как ребенок.

Женщины тоже плачут, они все еще стоят на пригорке над полем, на котором мы сражались, и не осмеливаются спуститься вниз, чтобы забрать тела своих мужей.

Потом, йомфру Кристин, — я много раз проезжал мимо Састадира, — пригорок, на котором плакали женщины, стали называть Пригорком Слез. И до сих пор, хоть прошло много зим и волосы мои поседели, я вижу то место, где плакали женщины.



Когда сражение было закончено, мы бросились к усадьбе и обыскали все дома. Многих мы нашли и кое-кого зарубили, но лендрманна Халльварда не было нигде. К нам подошел старый жалкий слуга, на его тостых губах были только лъстивые слова. Он встал перед конунгом на колени и сказал, что лендрманн лежит сейчас перед алтарем в своей усадебной церкви и молит Всевышнего пощадить его жизнь. Мы бросились к церкви, дверь была заперта изнутри. Вильяльм спросил у конунга, не разнести ли ее в щепки. Конунг запретил это делать, он сказал, что открывать двери дома Божьего с помощью топора — все равно, что стучаться в ворота ада и просить, чтобы тебя туда впустили. У церковной стены лежал мертвый священник. Он хотел укрыться в безопасном месте под крышей Божьей, но ему в шею угодила стрела и он упал, раскинув руки, словно обнимая дом, в котором так часто бывал. В руке у него был молитвенник. Бернارد поднял его.

— Возьми его себе, — сказал конунг.

Бернارد поблагодарил его и прочитал то место, на котором молитвенник был открыт:

*Terribilis est locus iste,
hic Domus Dei est et porta coeli.
Qvam dilecta tabernacula tua,
Domine virtutum!*

Конунг подошел и громко постучал в дверь.

— Покажи, что ты храбрый муж и выйди оттуда! — крикнул он. — Иначе на своих ногах ты оттуда не выйдешь!

Сперва внутри было тихо, потом послышались шаркающие шаги, отодвинулся засов. Вильяльм рванул дверь и схватил стоящего на пороге человека.

Тот был в одной рубахе, он хотел показать конунгу свое смирение и дать его людям повод посмеяться. Добрый смех часто смягчает жестокость, йомфру Кристин. Нередко случалось, что наши побежденные противники таким образом спасали свою жизнь. Бывало какой-нибудь молодой парень для смеха бросал на ветер обрывки одежды пленника, люди смеялись, а тем временем их кровожадность утихала и клинки остывали. Этот человек тоже держал в руке Библию.

Подняв ее перед собой, в одной исподней рубахе он стоял перед конунгом Норвегии.

— Я не Хальвард из Састадира! — сказал он. — Я преподобный Сэбьёрн из Хамара. И заперся в церкви, чтобы спасти лендрманна и сбить тебя и твоих людей с его следа. Хальвард из Састадира едет сейчас на север.

— Ты хочешь сказать, что он едет на юг? — спросил конунг. — Я вижу, ты не из робких, не каждый священник отважится на такую ложь, даже если будет одет лучше, чем ты.

Преподобный Сэбьёрн заморгал.

— Ты прав, государь, — сказал он.

Тут же в погоню за лендрманном были посланы всадники, хотя конунг считал, что это бесполезно.

— Отпустите этого священника, — сказал он и прибавил. — Но только пусть так и идет в исподнем.

И преподобный Сэбьёрн покинул Састадир с Библией в руке и без штанов, он был старый человек.

— Смелый священник, — заметил Бернард.

— Я бы предпочел быть в его рубахе, чем в своей, — отозвался конунг.

— Господин Аудун, несмотря на заботливое воспитание, полученное мной от моей доброй матушки и многих служителей церкви, которые находились при дворе моего отца, я все-таки не знаю молитвы, которую ты только что прочел, — молитвы, которую читают при освещении церкви. Я была бы благодарна тебе, если б ты прочел ее еще раз, а я стану повторять за тобой, чтобы частица твоей высокой ученности перешла на меня.

— Йомфру Кристин, *Terribillis est locus iste*.

— Господин Аудун, *Terribillis est locus iste*.

— ... hic Domus Dei est porta coeli.

— ... hic Domus Dei est porta coeli.

— А теперь покойной ночи, йомфру Кристин.

— Покойной ночи, господин Аудун, и спасибо тебе за твой урок о путях конунговых и путях Божьих.



Судьбе было угодно, чтобы в Састадире мы снова встретились с сестрой конунга, суровой и прекрасной фру Сесилией из Хамара в Вермаланде. Она прибыла сюда с большой свитой, направляясь в город святого Олава, чтобы помолиться там у его раки и раскрыть ему свою душу в его великолепном храме. Здесь, в Састадире, лендрманн посадил ее рядом с собой и учтиво приветствовал, поцеловав свой кубок. Ему бы, конечно, хотелось, чтобы его жесткие губы поцеловали те тайные уголки ее тела, которые, если верить ученым мужам, лучше всего подходят для поцелуев. А она? О чем думала она, эта паломница высокого происхождения, умолчавшая о том, что приходится сестрой конунгу Сверриру? Смиренно слушала, добродетельно прикрывшись шалью, что говорили мужчины о ее брате Сверрире, этом сыне дьявола, несущем в своем сердце также и силу Бога? Ловила настороженным слухом каждое слово, пылала ненавистью, когда они осуждали его? Не сверкали ли радостью ее темные глаза, когда они говорили, что против воли уважают этого человека, которого ярл Эрлинг Кривой видит в ночных кошмарах?

Вот он явился сюда сам.

Пока шло сражение, Сесилия со своими служанками и своими воинами с достоинством удалилась в отведенные ей покои. А потом снова явилась в зал и приветствовала своего брата конунга.

Я не имею права говорить о том, что слышали мои уши и видели мои глаза, но мое неутомимое сердце не может забыть встречу между хозяйкой Хамара в Вермаланде и конунгом Норвегии. Его одежда была залита кровью, она была прекрасна, оба были молоды, но чтобы обнаружить между ними внешнее сходство, требовалось более зоркое зрение, чем мое. Одно их объединяло: гордость своим королевским происхождением и потребность у него — видеть в ней сестру, а у нее — видеть в нем брата. Она сказала:

— Я покинула своего мужа и никогда не вернусь к нему...

И еще она сказала, когда я проходил мимо:

— Я ударила его башмаком в пах и ушла от него...

Она весело засмеялась, повернулась, пошла было за мной, потом отослала прочь стража, заплакала, опустила на лицо капюшон плаща и убежала. Но вскоре она уже сидела рядом с конунгом и с любовью говорила ему:

— Когда ты приехал в Хамар в Вермаланде, я сразу поняла, что ты мой брат! Я видела свое лицо в зеркале, подаренном мне мужем, а потом увидела его в твоих прекрасных глазах. И сразу поняла: ты мой брат! Может, у меня были и другие братья и сестры, говорили, что у конунга Сигурда есть сыновья и дочери в любом уголке Норвегии. Но я их не встречала и не знала. И вдруг явился ты! Я никогда не чувствовала влечения к тебе как женщина. Но в первое же мгновение я воспылала к тебе сестринской любовью. И я знала: когда ты объявишь себя конунгом, я покину Хамар, ударю остроносый башмаком в пах своего несчастного, трусливого мужа и навсегда уеду от него. И вот я здесь.

Конунг сказал:

— Может быть, с твоей стороны было бы умнее подождать до тех пор, пока я стану повелевать всей Норвегией. Но ты здесь! — прибавил он, и, если он был не очень рад встрече, то искусно скрывал это. Я все-таки верю, что, несмотря на терзавшую его тревогу, в глубине души он питал к ней братскую любовь. Ибо разве она не склонилась без колебаний перед ним и не сказала: Я, дочь конунга, приветствую тебя, моего брата!

Сесилия была красива, но ожесточена, то, чего она не знала о мужчинах, я мог бы записать на одном своем ногте и еще осталось бы много свободного места. Конунг велел двум стражам, самым некрасивым в нашей ватаге, где мало кто мог похвастаться красотой, проводить ее. Он сказал:

— Мы здесь не в безопасности, твоя жизнь дорога мне, и кто знает, не вернется ли сюда лендрманн Халльвард, чтобы отомстить за свое поражение?

Но я знал: конунг имел в виду не только эту опасность, приставив к ней таких телохранителей.

Да, Сесилия была очень красива, когда я встретил ее светлой летней ночью... Но теперь я понимаю, — теперь, на закате жизни, я

более мудр, чем был тогда, — что-то в моей слабой душе было не в состоянии зажечь в ней ответную искру, и это спасло меня. Она видела во мне скорее духовника, которому должна выложить свои грехи, чем мужчину, с которым могла бы согрешить. Она рассказала — и, должно быть, это доставило ей удовольствие, не имеющее ничего общего с небесами, — что иногда, когда ее супруга не было дома, — она звала к себе одного из своих телохранителей и требовала от него то, чего не имела права требовать от постороннего мужчины. А потом отсылала его прочь.

— Может ли Господь всемогущий простить меня? — спросила она.

— Да, потому что он всемогущий, — ответил я.

И еще она сказала:

— Когда я уеду отсюда, я хочу увезти с собой какого-нибудь молодого воина.

Той же ночью конунг пришел ко мне и сказал, что мы должны найти ей нового мужа.

— Церковь должна благословить ее на развод с хозяином Хамара в Вермаланде, — сказал конунг. — Фольквид сперва взял ее как наложницу, а потом женился на ней против ее воли. Когда она будет разведена, мы выдадим ее замуж за знатного человека, который заслужил это, связав с нами свою судьбу. Но что делать с ней до того, как нам удастся уложить ее в постель с новым мужем? — спросил он.

Я промолчал, я не мог сказать конунгу, что начал желать смерти его молодой сестре, фру Сесилии из Хамара в Вермаланде. Очень скоро она стала доставлять конунгу и его людям больше забот, чем все слухи о том, что Эрлинг Кривой идет со своим войском через Гудбрандсдалир в Упплэнд. Мой добрый отец Эйнар Мудрый и монахи Бернард также желали ей смерти. Первый раз в жизни — и, наверное, последний — я подумывал о том, что отравить ее было бы святым делом. Эта женщина была рождена, чтобы умереть от яда. Случалось, она незванной являлась ко мне, высовывала кончик красного языка и водила им так близко от моих губ, что я чувствовал его жар, как жар раскаленного угля. Потом она уходила.

Конунг снова пришел ко мне и сказал:

— Моя добрая сестра фру Сесилия, бывшая хозяйка Хамара в Вермаланде, завтра утром отправляется через Эйстридалир в Сельбу. Это самый надежный путь в Нидарос. Если она попадет к людям

Эрлинга Кривого, она назовет своего мужа и таким образом спасется. Когда же я стану повелевать всей Норвегией, она объявит, что я ее брат, мы созовем наших самых знатных людей и она выберет себе из них мужа.

Сесилия покорилась конунгу. Но пришла ко мне и сказала:

— Я хочу, чтобы со мной поехал какой-нибудь молодой воин.

И еще:

— Я уже выбрала того, кто поедет со мной. Это Торбьёрн из Фрёйланда.

Я тут же бросился к Торбьёрну из Фрёйланда и серьезно предупредил его, как мужчина мужчину. Но этого и не требовалось: теламёркец из усадьбы у подножья Лифьялль, выругавшись, сказал, что лучше сам лишит себя жизни, чем уедет с недостойной женщиной — неважно, сестра она конунга или нет, — которая бросается на любое чужое ложе, а теперь вот хочет устроится на его.

Я вернулся к фру Сесилии и сказал:

— Душа молодого человека, о котором ты говорила, не так красива, как его лицо. В детстве его наградили тем, что мы у нас в Киркьюбе называем отравленным дыханием. Каждый, кто продал душу дьяволу, может наградить другого отравленным дыханием. Один монах, чья душа уже пребывала в аду, меж тем как сам он еще находился среди нас, наградил этого молодого человека отравленным дыханием такой силы, что от него может погибнуть любое растение, а если он поцелует женщину, она не просто умрет, но сначала завянет, начиная от груди и ниже, и уже никогда не сможет наслаждаться тем, что, быть может, не считая счастья, найденного в Боге, является самым большим наслаждением в этой жизни.

И еще:

— Конунг знает этого молодого человека и тяготеющий над ним рок. Однажды этот человек еще сослужит ему добрую службу. Он сможет затесаться в ряды дружинников ярла и дышать на них.

Сесилия недовольно кивнула, разочарованная, но и благодарная за то, что ее благополучие было мне не безразлично.

— Есть и другие, — сказал я.

— Ты-то сам должен следовать за конунгом.

— И это не принесет мне радости, ибо сестра конунга дорога моему сердцу, — сказал я. — Но твой брат и мой государь счита-

ет, что не может обойтись без моего умения писать и моих добрых советов.

— А больше я не знаю никого, кто мне подошел бы.

— Зато я знаю, — сказал я. — Халльвард Губитель Лосей потерял несколько пальцев, но все другое осталось при нем.

Позвали Халльварда Губителя Лосей, Сесилия окинула его взглядом, и в ее глазах зажегся огонь. На другой день она уехала вместе со своей свитой.

В этой свите был также и преподобный Сэбьёрн. Он не забыл, что солгал перед алтарем Божиим, да еще держа в руках Библию, когда сказал конунгу Сверриру, что лендрманн из Састадира уехал на север. Теперь он пришел и сказал, что хочет, чтобы его за это покарали.

— Лучше поезжай в Нидарос и моли о прощении святого Олава, — сказал я ему от имени Сверрира.

Так он оказался в свите Сесилии, он шел босиком и в одной рубахе, чтобы искупить свой грех.

До того, как они покинули Састадир, я отвел в сторону Халльварда Губителя Лосей и спросил у него:

— Можешь поклясться, что тебе отрубили только пальцы?..

— Господин Аудун, твой откровенный рассказ о моей тетке, фру Сесилии из Хамара в Вермаланде, должен был бы разгневать меня и заставить отплатить тебе молчанием. Но если я поборю свою неприязнь и попрошу тебя побольше рассказать мне о ней, не станешь ли ты относиться ко мне без уважения, какое ты должен оказывать дочери конунга?

— Йомфру Кристин, мы с тобой последуем за твоим отцом по всей стране, и мало какой из его бесконечных походов был тяжелее того, что предстоял ему тогда. Шли слухи, что Эрлинг Кривой движется к нам через Гудбрандсдалир, и конунг тут же выступил, чтобы захватить Бьёргюн. Но, йомфру Кристин, мы потом снова встретились с фру Сесилией и то, что мы увидели, было такого свойства, на что целомудренной девушке лучше бы смотреть одним глазом.

— Господин Аудун, я готова закрыть оба глаза, если ты исполнишь мою просьбу и еще расскажешь о ней.

— Йомфру Кристин, однажды она приказала своим служанкам вымыть ее, и пятнадцать молодых людей носили для этого воду.

— Господин Аудун, мои глаза все еще закрыты.

— Потом она отослала их прочь.

— Кого, молодых мужчин?

— Нет, служанок.



В ГОРАХ СОГНА

Ясным осенним днем конунг Сверрир и сопровождавшие его люди ехали через Вальдрес. Нас было три сотни берестеников, все хорошо вооружены, богато одеты, в плащах, выючные лошади везли тяжелую поклажу. Мы так хорошо подготовились к этой дороге в селениях у Мьёрса, где были накоплены большие богатства, что у нас не было необходимости собирать продовольствие у бондов Вальдреса.



По пути мы никому не причиняли зла, серебро у нас было, и когда мы, проезжая, портили еще не убранное поле, конунг посылал к бонду своих людей и предлагал выкуп за потраву. Среди многих других всадников ехал и мой добрый друг монах Бернард. Конунг назначил его казначеем — теперь Бернард ведал сундуком с серебром. Сундук был навьючен на особую лошадь, привязанную к лошади Бернарда. В распоряжении у Бернарда было четыре человека, они неотступно следовали за казначеем и казной. Сундук можно было поднять только вдвоем, и его и серебро мы забрали в усадьбе старого Эцура. Только Бернард и конунг знали, какие богатства хранятся в этом сундуке. Первый раз у нас в поездке было с собой серебро, и это внушало всем блаженное чувство покоя. Мы ехали быстро, и день наш был долг, однако мы не загоняли ни

лошадей, ни себя. Перед нами лежал долгий путь. Мы не должны были растратить силы и мужество перед встречей с нашими противниками на западе по другую сторону гор.

Горы Филефьяль встретили нас прекрасной погодой и теплыми ночами. За перевалом в рукавах фьорда мы собирались найти корабли и неожиданно напасть на Бьёргюн. Никто из нас не сомневался в исходе схватки. И конунг и все мы были полны мужества. Лошади легко несли нас через перевал, где вереск и мох отливали теперь красным и желтым.

Мой пес Бальдр бежал за моей лошадейю.

А вот Гаут нас покинул.



Мы подъехали к торговому селению Боргунд и церкви, что была там построена совсем недавно. Священник Боргунда как раз смолил бревна, когда мы выехали на церковный луг. Он сразу подошел к нам и приветствовал конунга.

— Мне давно хотелось встретиться с тобой, конунг Сверрир, но я и не предполагал, что это произойдет сегодня, — говорит он.

Священник молод, его зовут предподобный Эдмунд, он первый из всех незнакомцев, встречавшихся Сверриру, узнал его. Было приятно, что он так приветливо отнесся к конунгу. Я заметил гордость, вспыхнувшую на лице конунга, искренность и бесстрашие преподобного Эдмунда только усилили ее.

— Многие говорили, государь, будто ты продал душу дьяволу, я мало этому верил, а теперь и того меньше, — говорит священник.

— Насколько мне известно, — отвечает конунг, — я еще никому не продан, но если Господь всемогущий захочет получить мою душу, он ее получит, и хорошо, что он не требует взамен злых поступков.

Мы спешиваемся, чтобы поесть, и приглашаем преподобного Эдмунда разделить с нами трапезу. Он с благодарностью принимает это приглашение, и они с конунгом садятся рядом на один из камней.

— Эта церковь совсем новая, — говорит преподобный Эдмунд. — Еще слишком мало людей останавливались в ней на своем пути к доброй или злой вечности. Но я часто думаю о людях, которые придут после нас.

— Или о тех, что ушли до нас, — говорит конунг.

— Им тоже нет числа, — соглашается преподобный Эдмунд.

Я вдруг замечаю, что Сверрир прибегает к выражениям, которыми пользовался, пока не сложил с себя сан священника.

Котел со смолой еще кипит на огне, и преподобный Эдмунд предлагает гостям, если они хотят, поддержать головы над паром, чтобы полчища вшей потеряли желание питаться столь благородной пищей. Мы, один за другим, подходим к котлу, непрощенные маленькие гости падают в котел под всеобщий смех и ко всеобщей радости. Молодым парням хочется посостязаться, и они спрашивают у конунга, не даст ли он серебрянную монету в награду тому, кто выиграет состязание и обратит в бегство больше врагов. Конунг смеется и отвечает, что он не всесилен, — когда речь идет о серебре, следует обращаться к Бернарду. Бернард встречает их без восторга, однако достает самую мелкую серебряную монету, а потом тоже идет к котлу со смолой, чтобы избавиться от войска, которое будет только мешать ему в опасном походе.

Неожиданно оказывается, что преподобный Эдмунд — друг нашего друга Гаута. Да, Гаут побывал и здесь, он строил и этот дом Божий, но уехал отсюда еще до того, как на кровле был прибит последний лемех.

— Станный он человек, — говорит преподобный Эдмунд. — Думаю, я не совсем понимаю его, да простит мне Всевышний мои грехи, и ты, государь, тоже прости меня, если я без должного почтения говорю о человеке, близком конунгу, но в непреодолимой потребности Гаута прощать есть что-то, что пробуждает во мне неприязнь к нему.

Мы согласны с преподобным Эдмундом, нам тоже случалось испытывать подобное чувство. Странно только, что во время этого перехода через горы по пути к нашему суровому недругу в далеком Бьёргуне мы сидим и беседуем с совершенно чужим человеком о сладостной тайне прощения. Преподобный Эдмунд спрашивает:

— Вы хотите спуститься к фьорду и взять там корабли?..

Конунг не отвечает.

— В этой долине, Сверрир, тебе нечего бояться, — продолжает преподобный Эдмунд. — Время от времени Эрлинг Кривой проезжает здесь, это, я думаю, тебе важно знать. Конечно, ты найдешь

корабли. Но если у тебя есть серебро, а я думаю, у тебя оно есть, прости совет человека, не обладающего твоим умом. Заплати бондам за ущерб, какой они понесут, отдав тебе свои корабли. И, если сможешь, верни корабли неповрежденными их прежним владельцам. Тогда ты скоро станешь конунгом этой страны.

— В этом ты прав, — соглашается конунг.

— В наших краях у тебя еще нет друзей, — откровенно говорит преподобный Эдмунд. — Люди не знают тебя, но они знают Эрлинга Кривого и его сына конунга Магнуса. Многие говорят, правда украдкой, что Магнус вообще незаконный конунг. Эрлинг Кривой нарушил закон, когда позволил, чтобы его сына провозгласили конунгом. Если твоя доброта, Сверрир, и твоя сила сожмутся в единый кулак, твои противники окажутся слабее тебя.

Эти слова трогают Сверрира, и я замечаю слезы в его глазах, глубину которых не мог измерить никто. Преподобный Эдмунд тоже замечает их и быстро заводит речь о другом. Он обращается ко мне и говорит, что недалеко отсюда мы выедем на узкую крутую тропу, которая идет над пропастью. Другой дороги отсюда нет. Тропа небезопасна, ее лучше проехать при дневном свете, привязав лошадь к лошади и человека к человеку. Если один сорвется, другие удержат его.

Мы благодарим священника за его советы и собираемся в путь. Преподобный Эдмунд просит, чтобы конунг и я зашли с ним в церковь. Церковь очень красива, она еще не окончена, но в слабом свете, проникающем сюда через узкие окна, видно распятие и мы опускаемся перед ним на колени.

— Прежде чем Гаут ушел отсюда, — говорит преподобный Эдмунд, — я сказал ему: Когда почувствуешь, что твой час близок, возвращайся сюда, и я похороню тебя под полом дома Божьего, который ты сам построил. И буду молиться за твою душу в чистилище до тех пор, пока сам не попаду туда. Гаут поблагодарил меня. И обещал, что если ноги не откажут ему, его последний путь будет сюда через Филефьялль.

Преподобный Эдмунд благословляет нас под сводами церкви и говорит:

— К имени всемогущего Господа и святой Девы Марии, к имени святого конунга Олава и святой Сунневы я прибавляю имя и богоугодного Гаута. Ступайте с миром и да будет с вами мое благословение.

Мы собираемся и едем дальше.

— Держитесь друг за друга на этой тропе!.. — кричит он нам вслед.



После полудня начинается дождь, и к вечеру мы достигаем крутой тропы. Крутом каменные россыпи, над тропой нависают отвесные скалы, внизу в ущелье между камнями пенится река. То тут, то там одинокие березы и сосны цепляются за неприступные склоны, и над всем этим в дожде и сумерках высится голая каменистая гора. Вершины ее мы не видим.

Конунг говорит, что мы должны заночевать в начале тропы, — поставим лошадей в середину и выставим посты. А завтра на рассвете пойдем по тропе, человек за человеком, лошадь за лошастью, так мы минуем это опасное место и выйдем к фьорду.

Не очень-то легко найти подходящую площадку, где можно разбить лагерь, а делить отряд на части конунг не хочет. Приходится вернуться немного назад, там мы находим удобное место и разводим костер, едим и ложимся, завернувшись в овчины. Сыплет частый дождь, но ночь теплая, из-за шума реки не слышно, что говорит человек, лежащий рядом с тобой. Я долго не сплю, так темно, что я не вижу собственной руки.

Меня кто-то трясет, я просыпаюсь и открываю глаза, это мой добрый отец Эйнар Мудрый. Только-только начинает светать.

— Аудун, я должен сообщить тебе нечто важное, — говорит он. — Тебе и конунгу, но он спит, а медлить нельзя. Разбуди его.

Я протягиваю руку и бужу конунга, он спит рядом со мной. Конунг встает — сна у него в глазах как ни бывало.

— Сверрир, — говорит мой добрый отец, — сегодня ночью ко мне приходил Гаут...

Мы внимательно смотрим на него, еще не совсем рассвело, и нам трудно разглядеть, что скрывается в глазах моего доброго отца. Голос его звучит не совсем обычно.

— Ко мне приходил Гаут, — повторяет отец, — и я не знаю, во сне или наяву. Если это был сон, то я никогда не видел такого явственного сна. Он подошел ко мне на крутой тропе и указал на меня

обрубком руки — он всегда так указывает, когда взволнован или сердит. Гаут как будто хотел показать, что меня не должно здесь быть.

Нам со Сверриром это не нравится, люди вокруг нас начинают просыпаться. Конунг говорит, что мы должны пойти к тропе и осмотреть ее. Сигурд из Сальтнеса тоже проснулся и идет с нами.

В предутренних сумерках мы с трудом различаем тропу, она лепится по горному склону, такая узкая, что большая кладь будет задевать горную стену и может оттеснить лошадь с тропы. Внизу обрыв и река.

— Я видел Гаута так явственно, — говорит Эйнар Мудрый, — он вышел из-за того камня, подошел ко мне и показал, что мне здесь не место...

— Подозрительно, что в селении почти не было мужчин, — говорит Сигурд из Сальтнеса. — Возможно, они на своих горных пастбищах. Но не все же.

— Они могут быть и там. — Конунг показывает на горный уступ. Уступ расположен так, что нам не видно, есть ли на нем люди. Под уступом наискось по горной стене лепится тропа, под ней обрыв и голые скалы.

— Вчера нас благословили во имя Гаута, — говорю я. — Может, Гаут почувствовал это и ему не понравилось, что его именем воспользовался человек, который говорил о прощении, а думал об убийстве?

— В таком случае тот человек недолго проживет во лжи, — говорит конунг.

Мы возвращаемся в лагерь и находим лошадь, которая захромала во время пути через долину. Уже совсем рассвело, к нам подходят люди, они слово в слово передают друг другу то, что видел ночью Эйнар Мудрый. Если там на уступе скрываются люди, они должны обладать большой выдержкой, чтобы пропустить по тропе хромую лошадь и дожидаться настоящей добычи. Но если они слишком спешат и не очень смелы, нетерпение выдаст их присутствие.

Сигурд подводит лошадь к торпе, бросает в нее камнями и лошадь идет.

Сверху срывается камень, лошади он не задевает, она вскидывается на дыбы, падает другой камень, лошадь делает бросок и срывается в пропасть.

Сверрир говорит:

— Он советовал нам идти, привязав лошадь к лошади и человека к человеку.



Конунг велит Вильяльму вернуться в Боргунд в церковь и привести сюда преподобного Эдмунда, если он еще там. Днем Вильяльм и его люди возвращаются со священником. Они нашли его в раке, где должны были лежать мощи святого, которому посвящена церковь. Вильяльм сказал, вытаскивая священника из раки:

— В этой раке не все одинаково свято.

Они прихватили с собой и двух сыновей преподобного Эдмунда, которых нашли в усадьбе.

Преподобный Эдмунд — бесстрашный человек и держится еще смелее, чем в прошлый раз. Он обращается к конунгу с горькими и жесткими словами:

— Государь, сегодня ты конунг, а еще вчера был священником, и ты смеешь похищать другого священника из дома Божьего, где по закону и по слову конунга каждый человек имеет право на пощаду!

— Но вчера под крышей того же дома Божьего ты сам солгал мне, надеясь лишить жизни моих людей и меня, — отвечает ему Сверрир. — Ты прав, любой человек может получить убежище в доме Божьем. Но только не тот, кто сам лжет под его сводами.

Преподобный Эдмунд молчит.

— Хуже другое, — продолжает конунг, — хуже то, что ты, благословляя нас, воспользовался именем Гаута, чтобы нашей с ним дружбой усыпить наше недоверие к тебе. Но знай, нынче ночью Гаут пришел к Эйнару Мудрому, моему толкователю снов, и предостерег нас против той тропы. Ты вовсе не друг Гаута, и я сомневаюсь, что когда-нибудь ты будешь читать молитвы над его телом. Уж скорее он над твоим.

Преподобный Эдмунд сглотнул слюну:

— Ты считаешь меня плохим человеком, государь, но вспомни, что и твое поведение безупречно. Разве ты, священник, не убивал своих врагов, не прибегал к хитрости, когда тебе это было выгодно и не упивался людской хвалой, если твоя хитрость приносила плоды?

Для священника, имеющего жалкий клочок земли, залатанную рясу и двух сыновей, не очень твердого в молитве и часто смертельно усталого от работы с рассвета и до заката, ты — нарушитель мира, и я хотел бы видеть тебя мертвым. Я знаю, что конунг Магнус ничем не лучше тебя. Но пока ты не пришел, у нас тут был мир. Теперь его у нас нет.

— Я не отказываю человеку, который хочет что-то сказать, — говорит конунг. — Сегодня ты честнее, чем был вчера, и это хорошо: каждый человек должен предстать перед Господом со словами правды на устах. С моим приходом придет мир, преподобный отец. Но ты его уже не застанешь.

— Значит, нас с тобой ждет общая судьба, государь!

Мы связали преподобного Эдмунда и его сыновей одной веревкой. Младший сын плакал, конунг взял нож, разрезал вервку, дал мальчишке пощечину и отпустил. Вильяльм заворчал.

— Я не воюю с детьми, — сказал конунг. — Даже и слабый род имеет право на продолжение.

Преподобный Эдмунд повернулся к конунгу и хотел благословить его. Конунг спросил, не собирается ли он и сегодня благословить его во имя Гаута? Священник промолчал.

— А теперь ты со своим сыном пойдешь по той тропе, — сказал Вильяльм священнику. — Люди на уступе узнают вас и увидят, что вы их друзья. Если вы повернетесь и пойдете назад, я пушу в вас стрелу. Если вы криком предупредите тех наверху, вы оба получите по стреле между лопатками. Не бегите, идите медленно. Вполне возможно, что камни не попадут в вас и вы останетесь живы. В таком случае считайте себя свободными людьми.

Мы замерли в ожидании, Вильяльм повел их вперед. Первым шел отец, за ним — сын, они были связаны и, казалось, тащат тяжелую ношу. Первый же камень угодил в отца, и он, падая, увлек за собой сына.

Мы вернулись от тропы в наш лагерь.



Дождь продолжался весь день, на склонах лежал тяжелый туман. Мы видели узкий уступ, на котором прятались бонды, но вершина

над ним была скрыта туманом. День был невеселый, все промокли и были растеряны, время шло, мы понимали, что весть о нашем приходе опередит нас.

Наши люди никогда не стеснялись роптать, если что-то им было не по душе. Сейчас они были недовольны конунгом. Он, мол, позволил преподобному Эдмунду обмануть себя, потому что этот чертов священник наговорил ему много приятных и лживых слов. Если бы Гаут не пришел во сне к Эйнару Мудрому, все как один были бы сейчас в пропасти.

— А так мы сидим, как мокрые вороны под водопадом, и даже конунг Сверрир не знает дороги отсюда, — сказал один.

Конунг отвел меня в сторону, он был мрачен и я пожалел его. Он показал на гору и сказал, что, если зрение его не обманывает, там есть расселина, по которой могли бы вскарабкаться козы.

— Если козы вскарабкаются вон на ту скалу, они окажутся над уступом, на котором прячутся бонды, и боднут их в зад. Для этого не нужно слишком много коз, как ты считаешь? — спросил он. — Бонды такие смелые потому, что они наверху, а мы — внизу. Если мы поднимемся выше их, мужество будет на нашей стороне.

Я сказал, что в прежние дни в Киркьюбё мы лазили по горам не хуже коз, но эти норвежцы умеют только плакать в непогоду, а не лазить по горам.

— Помнишь, как мы висели на веревках, ползая по горной стене за птичьими яйцами? — спросил он.

— У меня хорошая память, — ответил я.

— Возьмем с собой Свиного Стефана, — предложил он.

— Значит нас будет трое, и мы все уже лазили по горам раньше, — заметил я.

Конунг собрал людей вокруг себя, показал на горы и сказал:

— Если ваши глаза не хуже моих, вы увидите там вверху расселину. Уверен, что там бывали козы. Если нам удастся подняться на скалу над уступом, где прячутся бонды, мы приветствуем их так же учтиво, как они только что приветствовали нас. Аудун и Свиной Стефан согласились пойти туда. Третьим иду я.

Все стали возражать, но переубедить конунга было невозможно. Подошел Сигурд:

— Если у тебя на мокром камне поскользнется одна нога, считай, что поскользнулись обе, — сказал он.

Конунг ответил, что полагается на свои ноги. Подошли еще несколько человек и стали просить, чтобы Сверрир отказался от своей затеи, он засмеялся:

— Вы слишком долго кисли по моей вине, — сказал он. — Теперь же вам либо улыбнется удача без конунга, либо конунг вернется к вам более достойным вашего уважения, чем до того, как он вас покинул.

Они промолчали, и мы ушли.

У нас была с собой веревка, бонды со своего уступа не могли нас видеть, а если бы и увидели, то помешать нам были бы не в силах. Сначала лезть было легко — мне даже захотелось петь, так все было похоже на более веселые дни, чем те, что выпали на нашу долю теперь. Я видел, что и Сверрир и Свиной Стефан охвачены тем же чувством. Мы медленно лезли наверх. Вот главная заповедь для всех, кто идет в горы: Поднимайся медленно. Не смотри вниз, но не смотри и наверх, смотри прямо перед собой и не спеша ставь ногу на место. Трогай каждый камень прежде, чем упрешься в него ногой, отдыхай, если устал, и произноси слово Божье, если помнишь, однако не слишком увлекайся, а то разволнуешься и забудешь, где находишься. Веревкой пользуйся в крайнем случае. Но при малейшем сомнении, свяжи веревкой себя со своими спутниками. В спутники бери людей, которым доверяешь и с которыми уже ходил в горы, вы должны знать, к каким способам прибегает каждый из вас, доверять выдержке друг друга и силе своих рук.

Мы медленно поднимались наверх. Воины под нами уже казались точками.

День был мало подходящий для такой прогулки, камни были покрыты скользкой грязью, мох не держался и висел клочьями, ручьи подмыли корни кустов и они были ненадежными. Но мы упрямо лезли наверх. Мы добрались к полке, похожей снизу на переносицу человека, там мы обвязались веревкой. Если мы поднимемся на эту полку, бонды окажутся уже ниже нас. Мы немного отдохнули, сидя бок о бок и прижавшись спиной к горной стене, нас связывала одна веревка. Внизу раскинулась долина, скрытая туманом. Но иногда ветер разгонял туман и мы видели далеко внизу маленькие усадьбы. И даже наших людей. Они стояли, задрав головы, должно быть, нас, испачканных землей и прижавшихся к черной горе было плохо

видно. Над нами вздымались крутые скалы. А слева от выступающей вперед полки, но ниже нас, находился уступ, на котором залегли бонды.

Снизу полку, словно морщина кожу, рассекала узкая трещина. Свиной Стефан полез по ней, цепляясь за камень ногтями. Коза здесь не пролезла бы, но он пролез. Он висел над нами, и мы были бессильны помочь ему — если б упал он, упали бы и мы. Но он пролез через всю трещину, закрепил веревку за камень, и вскоре мы тоже были уже наверху.

Полка была маленькая и с сильным наклоном, наши ноги едва умещались на ней. Мы жались к стене, чтобы не соскользнуть вниз. Слева от нас была площадка немного побольше. Добравшись до нее, мы наконец оказались в безопасности.

Бонды лежали на уступе под нами, они заняли удобную позицию над проходившей ниже тропой и запаслись камнями. Нас они не видели.

Каждый из нас натянул свой лук, и стрелы полетели вниз. Мы заранее договорились, кто в кого метит, и двое упали. Другие вскочили, мы издали свой устрашающий вопль, один из бондов споткнулся, упал и рухнул в пропасть. Мы начали швырять в них камни. Двоих удалось подбить, третий оступился, повис на веревке, а потом с отчаянным криком полетел вниз. Другие начали торопливо спускаться. Но тропа, что привела их наверх, тоже мало походила на проселочную дорогу. Мы пустили им вдогонку несколько стрел, теперь их осталось только трое. Один упал, двое других на задницах заскользили вниз. Сорвались они в пропасть или нет, с нашего места было не видно.

В тот же вечер три сотни людей с лошадьми преодолели опасную тропу и спустились к селению.



К вечеру мы были уже на землях Лерадаля, шел дождь и было темно. Мы не хотели пугать местных бондов, заходя в усадьбы, и предпочитали не разводить огня. Нам следовало вести себя потише, наутро мы собирались захватить все корабли, что стояли во фьорде. Но когда забрезжило утро, наши надежды рухнули: во фьорд вошли

двадцать пять боевых кораблей с вооруженными воинами на борту, и мы поняли, что не найдем среди них своих друзей.

Конунг приказал построиться и приготовиться к сражению. Мы надеялись, что, если люди, прибывшие на кораблях, сойдут на берег, не все из них такими же веселыми вернутся назад. Мы не сомневались, что разобьем их. Потом бы мы захватили корабли и в скором времени были бы уже в Бьёргюне. Однако было похоже на то, что люди на кораблях вовсе не жаждут сразиться с нами. Корабли со спущенными парусами остановились в нескольких сажнях от берега. Конунг спрятал дружинников в ближнем лесочке. Если бы враг все-таки решил напасть на нас, конунг с остальными людьми отступил бы, и дружинники, выбежав из леса, с одной стороны, и мы, с другой, вступили бы с ним в сражение. Взяли бы его в клещи и отрезали бы ему путь к кораблям.

Но они не напали на нас.

День тянулся медленно, мы сидели в укрытии, но они так и не сошли с кораблей. Сигурд предложил спуститься к берегу и осыпать их бранью, обычно это хорошо помогало. Но конунг не верил, что врага удастся расшевелить столь детским способом. Мы все понимали, о чем он думал. Останутся ли корабли во фьорде или уйдут отсюда — морской путь на Бьёргюн для нас одинаково закрыт. Была уже поздняя осень. И путь через горы в этот торговый город, лежавший на краю моря, был не для слабых.

Днем мы захватили в плен одного бонда, и Вильяльм отрубил ему два пальца. Тогда бонд рассказал, что предводителя на корабле зовут Эцур — это был тот самый Эцур, усадьбу которого мы разграбили, когда переправлялись через Рёнд. Возможно, он еще не знал о том, что случилось после его отъезда из дома, что его серебро переключало в наш сундук и что он мог бы получить его обратно, явись он за ним к нам. На одном из кораблей подняли стяг. Он бессильно поник под дождем. Это был корабль Эцура. Время от времени несколько человек поднимались на корму и оттуда смотрели на берег. Один из них наверняка был он сам.

Конунг собрал своих людей на совет.

— Если мы не заставим их сойти на берег, фьорд для нас будет заперт, это ясно. Вы все слышали рассказы о жадности этого Эцура, когда мы были в его усадьбе. Если бы нам удалось дать ему знать,

что его серебро здесь, гнев и жадность заставили бы его напасть на нас. Однако нам будет нелегко оказать ему достойный прием.

Конунг велел позвать одного молодого ямта по имени Асли, этот Асли уже доказал нам свой ум и бесстрашие.

— Ты можешь отказаться выполнить мою просьбу, — сказал ему конунг, — если тебе хочется прославиться каким-нибудь иным образом и ты решишь подождать со славой до другого раза. Надо найти небольшую лодку и поплыть к кораблям, мы пустим вдогонку за тобой трех человек. Они будут орать, чтобы ты немедленно вернулся назад, но ты будешь грести быстрее, чем они. Тебя поднимут на борт, но говорить там ты будешь только с самим Эцуром. Подойдешь к нему и скажешь, как я тебя научу.

Это небезопасное дело. Если они сойдут на берег, постарайся улизнуть от них, так для тебя будет лучше. Если тебе дадут оружие, чтобы ты сражался против нас, возьми его, но старайся никого не зарубить им.

— Если ты предоставил мне выбор, прославиться мне нынче или завтра, то я не вижу никаких причин откладывать это на завтра. Я никогда не отличался терпением. Но мужества у меня хватит, — ответил Асли.

Он был не чужд хвастовства, но смелость давала ему право на это. Мы посоветовали Асли выпить пива, прежде чем он отправиться навстречу неизвестной судьбе, пиво поможет ему в его деле.

— Нет, — отказался Асли. — Им покажется подозрительным, если от меня будет пахнуть пивом. У человека перед побегом нет времени пить пиво.

— Ты умный человек, — сказал мой добрый отец Эйнар Мудрый, — и я не удивлюсь, если ты останешься в живых, но если ты умрешь, то умрешь без позора.

Мы подползли к опушке леса, чтобы наблюдать за Асли. Он приготовился, приготовился и Вильяльм с двумя своими дружинниками. В прибрежных камнях стояли несколько лодок, Асли неожиданно выскочил из леса и пустился к берегу. Он был без оружия, куртка на нем была разорвана, он не кричал, кричал Вильяльм и его люди. На мгновение показалось, что один из дружинников вот-вот схватит Асли. Но он споткнулся и упал, Вильяльм с бранью упал на него, Асли прыгнул в лодку, оттолкнулся от берега и налег на весла. Его

преследователи нашли другую лодку. Они уже почти настигли Асли, но тут у них сломалась уключина и лодка закружилась на месте. Это заняло время, и Асли ушел от преследования, люди на корабле внимательно наблюдали за происходившим, первые стрелы пролетели у Асли над головой и упали возле лодки Вильяльма. Тогда он повернул лодку и поплыл обратно.

Мы лежали, укрывшись за деревьями, и следили за Асли. Его подняли на борт, и больше мы его не видели, может быть, это был добрый знак. Я лежал в мокрой траве между конунгом и Сигурдом, Сигурд, волнуясь, предположил, что сейчас Асли рассказывает Эцуру о том, что мы сожгли его усадьбу, забрали все серебро и что сейчас это серебро тут поблизости... Конунг ударил меня по лицу перчаткой, потому что я не приветствовал его и тогда я убежал... Меня силой увели из дому. Большую часть своих людей конунг увел из их домов силой. Мужественному предводителю, у которого есть воины, ничего не стоит проучить конунга Сверрира.

Вскоре они вздернули на мачте какого-то человека, он так и болтался на мачте, пока корабли выходили из фьорда.

Наступил вечер. Морской путь на Бьёргюн был для нас закрыт.

Всю ночь шел дождь.



Вот что я помню о Сверрире, конунге Норвегии:

— Не могу же я сейчас повернуть назад, — сказал Сверрир, сверля меня темными глазами. — Это равносильно тому, что отступить без борьбы... Предложить врагу схватку и вдруг повернуться и вложить меч в ножны? Я не могу сейчас повернуть назад!

Сверрир схватил меня за плащ, словно хотел встряхнуть, потом отпустил и в сердцах выругался. Он был не похож сам на себя: некрасивый, потерявший спокойствие и силу — загнанный зверь, которого преследует свора собак и который уже не знает, куда бежать.

Он сказал:

— Не могу же я сейчас повернуть назад?..

Раньше он всегда говорил «мы» или «мои люди и я». Он всегда был частью нас всех, советовался с нами, оставляя за собой последнее слово, и силой своей мысли вел нас туда, куда хотел. Те-

перь же, непокорный, упрямый, твердо решивший следовать своим путем до конца, он как будто заблудился в тумане. Вдруг он сказал:

— Неужели они знают, что я сомневаюсь в своем праве быть конунгом?..

Он и раньше говорил это, но со смешком, в котором звучала грусть, с добродушной и горькой улыбкой. Теперь он произнес это со страхом. Неужели они знают, что я сомневаюсь в своем праве быть конунгом?..

— Но ведь конунг не поворачивает на полпути?.. — Он снова схватил меня за плеч, но больше уже не бранился.

Я никогда не видел Сверрира пьяным, разве что уголки глаз у него мутнели после очередной чарки да в его приятном голосе появлялся глуховатый призыв. Но теперь... Он не прикасался к чарке с тех пор, как мы покинули селения на берегах Мьёрса, и тем не менее казался пьяным. Руки не слушались его и слегка дрожали. Он сказал скорее, как слуга у двери своего господина, чем как конунг своему другу и слуге:

— Я ведь знаю, что ты последуешь за мной?

Задав вопрос и сам ответив на него, он выдал сомнение, которое касалось вовсе не меня и его людей, а его самого. Я ведь знаю, что ты последуешь за мной?.. Я не успел ответить, да мой ответ был ему и не нужен. Он сказал:

— Морской путь в Бьёргюн теперь для нас закрыт. Но ведь еще остался путь через горы?

Снова зарядил дождь, мы с конунгом были одни, люди спали, завернувшись в овчины, какой-то молодой парень — не знаю, кто это был, — громко молился Деве Марии. Конунг сказал:

— Путь через горы еще открыт для нас, мы еще можем неожиданно напасть на Бьёргюн — ведь никто не ждет, что мы пойдем через горы так поздно осенью.

— Ты конунг, — сказал я.

— Да. — Он улыбнулся. — А ты мой друг.

Он взял мои руки и встряхнул их, несмотря на мокрую простую одежду, поношенную и без серебряных пряжек, он снова стал конунгом.

Он улыбнулся мне:

— Конунг должен выглядеть храбрым, даже если ему изменило мужество.

Таким я помню Сверрира, конунга Норвегии.



Вот что я помню о своем добром друге монахе Бернарде:

Он сидел у костра, прикрыв голову овчиной, словно большой шляпой. Потом попытался читать одну из книг, которые возил с собой — красивую небольшую книгу, написанную на звучном языке франков. Он часто читал ее мне, и хотя я не понимал этого языка, я его чувствовал: мягкая мелодия слов, напоминала плеск моря в камнях, ветер, летящий между скал, звезду, вставшую над темной землей, шаги чужеземцев, бредущих без отдыха к далекой цели. Голос Бернарда менялся, когда он говорил на своем языке, становился, молже, веселее, хотя и был полон тоски.

Бернард сказал:

— Позволь, Аудун, еще раз рассказать тебе прекрасную сагу о молодой женщине, которая отправилась искать Бога, она исходила много дорог, но так и не нашла его. А за ней по тем же дорогам шел человек, любивший ее, — он полюбил ее, увидев мельком на городском базаре, и с тех пор повсюду искал ее. Он шел и шел по дорогам, ища свою любимую, но не встретил и не нашел ее. В конце концов, обессиленная, со сбитыми в кровь ногами, она упала и умерла, и он тоже упал и умер. Оба нашли свое счастье в неутомимом поиске чего-то, чего найти не смогли. А когда они умерли, Божьи ангелы спустились с неба и забрали их с собой, рука об руку они отправились на небеса, чтобы любить друг друга там. Вот о чем говорится в этой прекрасной саге.

И Бернард прочитал ее мне.

— Ты знаешь, что я чуть не стал братоубийцей? — спросил он.

Я кивнул, он уже рассказывал мне об этом, у него было мало тайн от меня.

— Да, братоубийцей, но мой брат остался жив, он не выпил отравленного вина, которым я угостил его, когда ему досталась женщина, которую мы оба любили. Тогда я пошел искать Бога. Как ты думаешь, Аудун, нашел я Его?

— Я думаю, Он нашел тебя.

На это Бернард ничего не ответил, но попросил меня пощупать тонкий пергамент книги.

— В моей стране мы не пользуемся для пергамента телячьей кожей, как здесь, — сказал он. — Мы пользуемся ослиной кожей, нет ничего мягче кожи ослят. Впрочем, нет, кожа молодой женщины еще мягче, чем кожа осленка! Говорят, — и я этому верю, — что человек, который хочет подарить книгу великому конунгу, должен похитить молодую женщину, убить ее и изготовить пергамент из ее кожи. Ты только потрогай, какой он мягкий!

И еще он сказал:

— Мне часто кажется, что это кожа молодой женщины. Может, это кожа той самой женщины, о которой говорится в саге?

Лил дождь, мы сидели, прижавшись друг к другу.

Таким запомнил я своего доброго друга монаха Бернарда.



На другое утро мы покинули Лерадаль и отправились через горы. У нас было три проводника, это были взятые в плен бонды, четвертого мы зарубили, чтобы внушить оставшимся уважение к себе. Мы пришли в Аурланд, оттуда перевалили через Раудафьялл, спустились в долину Раудаль и подошли к Вёрсу*. Мы спешили, однако старались не слишком утомлять людей и лошадей, мы подсчитывали прошедшие и оставшиеся мили, не разводя костров. Нас было три сотни берестеников, и все были хорошо вооружены. Если молва о нас еще не достигла Бьёргюна, нашим недругам было бы нелегко справиться с нами.

Вечером накануне дня Симона и Иуды** мы пришли в Вёрс и остались там на ночь. Там мы отпустили проводников обратно, в Бьёргюн нас должны были вести уже другие. Мы с конунгом ели стоя у стены хлева, было раннее утро, вот тогда-то люди ярла и напали на нас.

Их была, наверное, не одна тысяча, кругом кишели враги, точно вши в нечесанных волосах. Мы издали свой воинственный клич —

* 28 октября.

** Восс.

жуткий вопль, которому мы обучились, еще живя в Нидаросе. Он не был похож ни на что, в нем слышался и вой волка, и рыдания раненой женщины, он разносился повсюду и достигал каждого уха. Конунг говорил, что, если на нас неожиданно нападет враг, мы, отражая его, должны вопить во все горло. Во-первых, этот крик прибавляет мужества нам самим, во-вторых, сколько бы нас ни было, у врага создается впечатление, что нас не меньше тысячи. К тому же, такой вопль помогает держаться вместе, а это главное правило. Дальше же остается только драться, хотя бы и в плаще из собственной крови, никто не должен отступать, никто, лучше колоть мечом, если у тебя уже нет сил рубить, лучше принять смерть.

Думаю, их была не одна тысяча, и они тоже кричали, Вёрс еще никогда не слышал такой заутрени. К счастью, врагу не удалось разъединить нас. Слышался оглушительный рык конунга и громкие крики Сигурда и Вильяльма, подбадривавших людей. Я сражался сразу против двоих и зарубил обоих. Несмотря на уже начавшуюся схватку, нам удалось построиться. Вскоре мы уже стояли плечо к плечу и щит к щиту. Тогда раздались звуки рожка: Рейольв из Рэ выполнил приказ конунга, и мы от обороны перешли в наступление. Против нас были тысячи, они стойко держались, многие из наших пали, но их погибло больше. Вскочив на мервого врага, я рубил других, я сжимался, пригибался и отпрыгивал назад, когда ждал удара, а потом снова бросался вперед, и разрубал противника пополам до самого желудка. Наконец они дрогнули.

Мы преследовали их, они не обратились в бегство, а только отступили к реке и хотели перейти назад по мосту. Конунг сумел отдать приказ Сигурду, чтобы тот вывел своих людей из боя, быстро обошел врага и вышел ему в тыл. Он должен был ударить противника в спину со стороны леса и удерживать мост, тогда бы враг оказался у нас в клещах и мы погнали бы его на обрывистые берега реки. Таков был план конунга. Но тут они побежали. Поэтому им удалось достичь моста раньше, чем Сигурду и его людям. Небольшой отряд — все это были бонды, но они сражались с большой отвагой, — остался на нашем берегу реки и защищал мост, пока те, кто уже перешел на другой берег, подрубили основы и обрушили мост в реку. Нам оставалось только расправиться с теми, кто задержался на нашей стороне реки.

Это была только половина победы, а потому — поражение. Мы шли вверх по реке по одному берегу, они — по другому. Их все еще было раз в пять больше, чем нас. Громкими криками они выражали нам свое презрение, мы отвечали им тем же. Река была бурная, переправиться через нее на лодках было невозможно. Вскоре мы оказались у широкого озера, которое постепенно расширялось еще больше, мы уже не могли стрелять друг в друга из луков или обмениваться бранью. Стало темно.

Конунг сказал:

— Теперь для нас закрыт и сухопутный путь в Бьёргюн.

Сверрир был грязный и мокрый насквозь, весь в крови, но цел и невредим. Как и мы все, дышал он тяжело и говорить ему было трудно. Он отдыхал, лежа в вереске, может быть, ему хотелось плакать, но он не плакал.

Вскоре он сказал:

— Нам следует идти обратно в Упплэнд.

Подкралась темнота, и мы вернулись в Вёрс.



Сорок человек погибли у нас в этом сражении, но тяжело ранен был только один, остальные отделались царапинами. Раненый был телохранитель конунга, и прости мне, йомфру Кристин, что я не знаю его имени. Если я когда и слышал его, — а иначе и быть не могло, — оно давно стерлось из моей бедной памяти. Если помнишь, этот человек никак не мог сосчитать павших в сражении в Ямталанде. Не мог он сосчитать их и теперь.

Он получил удар мечом по шее и истекал кровью, правая голень у него была ободрана до кости. Говорить он не мог. Большой потерей для него это не было — он и раньше-то был не больно разговорчив. Я проходил мимо, когда мой добрый отец Эйнар Мудрый и еще два человека подняли раненого из лужи крови, в которой он лежал. Он показал рукой на усадьбу. Мы истолковали это так, что он хочет туда и не хочет возвращаться с нами назад через горы. Я пошел к конунгу, чтобы посоветоваться с ним. Но Сверрир сказал:

— Мы не можем оставить берестеника в селении, где у нас есть только враги. Мои люди должны знать: что бы ни случилось, мы не оставим в беде ни одного человека.

Раненый истекал кровью, и Эйнар Мудрый был не в состоянии остановить ее. Может, телохранитель мог еще слышать, хотя говорить уже не мог. Он поднял один палец — мне стало больно при виде такого белого пальца на некогда сильной руке. Он показал на шею, сделал движение поперек и поглядел в сторону, словно искал глазами меч. От этого движения кровь из раны потекла еще сильнее.

Мы поняли, чего он хочет, и я снова пошел советоваться с конунгом. Конунг был уверен, что Бог счел бы преступлением, если б мы помогли раненому расстаться с жизнью до того, как пробьет его час.

— Но было бы еще хуже, если б мои люди начали опасаться, что то же самое может случиться и с ними, — сказал он.

— Ты прав, — согласился я.

— Не знаю, — вздохнул он. — Но так должно быть, даже если я не прав.

Я вернулся и передал слова конунга. Мы подняли раненого на лошадь. Эрлинг сын Олава из Рэ вызвался ехать в седле позади него и поддерживать, чтобы он не упал. Мы попытались выпрямить ему голову, чтобы кровь текла не так сильно, но она все время валилась набок. Эйнар Мудрый привязал его за шею к шее лошади куском полотна, но тогда кровь потекла по лошади, она захрипела и начала лягаться. Кровь раненого набежала и в башмак Эйнара Мудрого и оттуда капала в вереск.

Шел частый дождь, было пасмурно. Нас было еще две с половиной сотни, а может, немного больше, сорок человек, погибших в сражении, мы поспешно перенесли на кладбище. Все собрались там и молчали. Лишь время от времени кричал телохранитель, висевший на лошади. Голос у него не пропал, но произносить слова он не мог.

Вильяльм нашел пятерых проводников, которые должны были проводить нас назад через горы. Каждый из них получил по две серебряные монеты и по мечу. Они наклонили головы и поблагодарили нас — радости они не испытывали, но понимали наше положение.

Цепочка лошадей и людей растянулась по долине. Врага мы больше не видели, наше доброе оружие отбило у него охоту преследовать нас. Нас ждали горы и зима, храбрые воины возвращались побежденными и понимали: надо перевалить через горы или умереть.

К вечеру раненый стал кричать громче. Сперва он молчал, но чем дальше мы углублялись в Раудаль, тем громче он кричал. В усадьбах

не было видно ни одного человека, хозяева заперлись в домах и дрожали. Но мы ни к кому не вламывались, мы молча ехали мимо, а раненый все кричал и кричал. Вечером его крики ослабели. Эрлинг сын Олава из Рэ, сидевший за ним на крупной лошади, был весь в крови.

С наступлением темноты телохранитель умер. Мы заночевали в том месте.

Похоронили его в каменной россыпи. Бернард совсем обессилел, и конунг сам отслужил панихиду по усопшему. Голос у него был, как всегда, приятный, он с прежней силой проникновенно произносил слово Божье, но радости в его голосе уже не слышалось.

Йомфру Кристин, если бы ты знала, сколько берестеников лежит в каменных россыпях по всей стране, у нас часто не было сил, чтобы довести их до освященной земли. Но, думаю, Сын всемогущего Бога и Дева Мария все-таки оказали им свою милость, независимо от того, отпевал ли их в последний путь голос конунга или чей-то другой.

От заката и до рассвета дождь не прекращался, и с гор дул холодный ветер. Мы почти не спали.



На другой день пошел снег, мы поднялись так высоко, что деревья здесь уже не росли, горы были голые. Мокрый снег налипал комьями на копыта лошадей. Время от времени мы постукивали топорами по копытам, чтобы сбить снег. Я до сих пор слышу это легкое постукивание топоров о железные подковы и хлюпание падающего снега. Длинная цепочка людей, одни, бранясь, садились на лошадей, другие, напротив, слезали. Через несколько шагов снег снова налипал на копыта. Люди загораживали дорогу друг другу, лошади — лошадям. С лошади на землю, с земли на лошадь. Из-за густого снега мы не видели ни гор, ни друг друга. От нас шел пар, лошади были мокрые, некоторые падали и мы с трудом поднимали их на ноги. Берестеники, привыкли орудовать лезвием топора, теперь им пришлось орудовать обухом. Опять и опять, а снег все летел и летел.

Во время этого бесславного пути назад многим хотелось лечь в снег и заснуть.



Когда мы поднялись на голое нагорье, снег усилился. Теперь он был уже не мокрый и не налипал на копыта. Мы ежились, пытались укрыться от него за спинами лошадей, отворачивали от него лица. Лошади не хотели идти против ветра, мы подгоняли их криками и ударами. Я ехал рядом с Эрлингом сыном Олава из Рэ. Он сказал, что его штанина, промокшая накануне от крови раненого, примерзла теперь к крупу лошади. В конце осени дни короткие, мы пользовались дневным светом и ехали без отдыха и без пищи от рассвета до сумерек. Но больше всего и люди и лошади страдали от жажды. Из-за густого снегопада мы не могли найти воду, ручьи и озера замерзли. Днем я плевал кровью.

В полдень мы оказались в узком ущелье. Затянутый туда ветер с силой налетел на нас, выжимая из груди воздух, дышать было невозможно. Казалось, буран хочет поставить лошадей на колени, мы все время орали на них, две с половиной сотни воинов в бешенстве и страхе кричали на своих лошадей, заставляя их идти вперед. Неожиданно одна лошадь споткнулась о камень, пытаясь обойти помеху, которой всадник не заметил. Всадник пытается заставить лошадь идти прямо, она упирается, пятится назад, он кричит и бьет ее, лошадь ржет, всадник позади чертыхается, потому что не может проехать вперед. Нас окружают отвесные горные стены. Вершин мы не видим, только угадываем их очертания, похожие на темные сжатые кулаки в белом летящем вихре. Днем мне приходит в голову мысль, а не ошиблись ли проводники дорогой?..

Если проводники ошиблись, значит, мы заблудились в горах, но нам остается только слепо следовать за ними. Я хлещу лошадь, заставляя ее идти, и понимаю, что каждый человек в нашей ватаге думает сейчас об одном: А по той ли дороге мы едем?.. Я знаю, о чем думает Вильяльм: Давайте зарубим проводников... Знаю, о чем думает и конунг: Нам это не поможет. Мы выбираемся из одного ущелья и попадаем в другое, небо и ад, море снега, принесенного последним бураном, темнота смешивается с летящим снегом и предупреждает, что ночь близко.

Передо мной под лед проваливается всадник. Должно быть, мы едем по озеру и лед еще плохо держит, лошадь лежит брюхом на льду, ее ржание разрывает воздух, она пытается выбраться.

— Слезай с седла! — кричу я всаднику.

Это один из теламёркцев, я вижу, что он не может освободиться. Подбегает конунг, бросается к всаднику и проваливается. Хватается за сбрую и выбирается на лед, с него течет вода, он пытается сдернуть всадника с лошади, которая медленно погружается в воду. Но всадник застрял в седле и никак не может освободиться. Крутом люди и лошади, лед трещит, конунг, насквозь мокрый, без шапки, гонит людей назад, подняв над головой руки. Лошадь целиком уходит под воду. Теперь я вижу лицо всадника, он кричит, это племянник Гудлауга, его зовут Гуннлауг, он погружается вместе с лошастью. Подходит Вильяльм, он нащупывает бок лошади, прижимается к нему и с ножом в руке скользит вниз. В воде он работает ножом, пытаясь освободить всадника. Нечаянно он задевает ножом лошадь. Сколько раз я слышал, как кричат лошади, раненные в сражении. Но этот крик в непроходимых горах среди снега, ветра и обезумевших людей мне не забыть никогда. Вильяльм орет, он целиком в воде. Лошадь уже скрылась, мы пытаемся удержать Гуннлауга, однако и он скрывается под водой. Зато Вильяльм выныривает на поверхность.

Конунг и Вильяльм промокли до нитки. Они раздеваются догола, в седельных сумках у нас еще есть сухая одежда. Они переодеваются в сухое, а Гудлауг подходит к полынье и смотрит, не покажется ли там его исчезнувший родич.

Потом мы идем дальше.

Но сперва мы пьем воду и не можем напиться. Проводники признаются конунгу: они заблудились.

Мы собираем лошадей и связываем их по двадцать пять штук — хвосты с гривами. Между каждой связкой расстояние в длину лошадиного крупа. Конунг ведет первую связку. Гудлауг — вторую, Сигурд — третью, Вильяльм — четвертую, Йон — пятую. На небе загорается серп луны, он дает немного света, по-прежнему летит густой снег, но ветер как будто чуть-чуть ослаб.

Мы разбиваем лагерь под гребнем горы, конунг приказывает, чтобы из каждых двадцати пяти человек пятеро бодрствовали, остальные должны зарыться в снег и заснуть.

Нам говорят, что слева от нас обрыв. В темноте и снегопаде разглядеть его невозможно.

Бернард кашляет, ему неможется.



Ночью Бернард захворал, мы не могли приготовить ему теплое питье. Лишь закутали поплотнее в свои меховые одеяла, однако снег проникал и под них. Мы все время смахивали снег у него с головы, один глаз у Бернарда смерзся, потому что слезился. Мы даже сделали ему живую постель: двое легли вниз, это были братья из Фрэйланда, усадьбы у подножья Лифьяллъ, на них мы положили Бернарда, сверху на него лег Эрлинг сын Олава из Рэ и я. Но это не помогло. Бернарда сильно знобило. Он хотел что-то сказать мне, но у него так стучали зубы, что я не разобрал ни слова.

Сигурд из Сальтнеса посоветовал резать лошадь и засунуть Бернарда в ее горячее брюхо. Мы сочли разумным совет опытного берестеника. В брюхе лошади больному было бы тепло больше суток. Но мой добрый отец Эйнар Мудрый не был уверен, что это поможет, и мы обратились за советом к конунгу. Но ни он, ни я не могли припомнить, как поступали в таких случаях в нашем родном Кирккюбё. Сигурд стоял на своем, и мы решили, что терять нам нечего. В темноте и буране Сигурд нашел лошадь. Они стояли, сбившись в кучу, голова к голове, эти животные покорно следовали за нами и страдали так же, как и мы. Он привел лошадь и зарезал ее.

И тут случилось непредвиденное — почуяв запах крови, лошади забескопоились. Казалось бы, они давно к нему привыкли, но тогда в седлах сидели люди, вокруг кипело сражение и поводья держала железная рука всадника. Теперь же крутом завывал ветер и пахло кровью, одна лошадь взбрыкнула задними ногами и ударила другую в морду, какой-то парень быстро вскочил, чтобы удержать свою лошадь, но тем самым напугал остальных. Сквозь темноту и снег мимо хлынул поток тяжелых лошадиных крупов. Этот поток смял и растоптал кричащего парня. Сигурд бросился было следом со своим окровавленным ножом, но тут весь табун рухнул с обрыва во мрак.

Мы слышали, как они летели, слышали их ржание, несмотря на вой ветра. Топчась в снегу, мы кричали друг на друга, чертыхались, но все заглушил голос конунга:

— Не приближайтесь к обрыву!..

Несколько обезумевших от страха лошадей все-таки уцелели, кого-то из людей затоптали. Мы уже не знали, с какой стороны на-

ходится обрыв, с какой — горная стена, и где лежит Бернард. Наконец мы нашли его.

Утром он был еще жив. Рядом с ним в снегу лежала зарезанная лошадь.

Конунг пересчитал людей: нас стало на дюжину меньше, чем было, когда мы в буране разбили лагерь на краю обрыва.

У нас осталось четыре лошади.

Одну мы отдаем Бернарду. И идем дальше.



Каждый шаг дается нам с трудом, буран сопровождает нас через горы. Мы привязали Бернарда к седлу, он часто впадает в забытие, иногда приходит в себя и проводит рукой по моим волосам. Я иду рядом, опираясь на круп лошади. Днем — если только это день, из-за адской метели мы видим лишь его сероватый проблеск, — Бернард, пошарив за пазухой, что-то достает и протягивает мне. Это книга, та самая, на его родном языке, он думает, что она написана на пергаменте, изготовленном из кожи молодой женщины.

Мы поднимаемся на очередной перевал, ветер сдул с камней снег. Идти немного легче, но ветер такой, что одного воина поднимает в воздух — привязанный у него за спиной щит неожиданно оказался парусом. Воин падает и ударяется спиной. Мы хотим поднять его на ноги, но идти он не может. Одна нога у него дергается. У нас нет ни сил нести его, ни мужества оставить его одного. Он умирает, пока мы в растерянности топчемся над ним.

Многие ложатся, укрывшись щитами от ветра, и засыпают. Этот сон может оказаться вечным: конунг ходит от человека к человеку, пинает их ногами, одному даже всаживает в голень нож, он заставляет всех встать и идти дальше. У нас есть еще четыре лошади. Наши овчинные одеяла навьючены на трех лошадях, на четвертой висит Бернард, у него за спиной к седлу приторочен сундук с казной. Но подходит Йон из Сальтнеса и отвязывает сундук — он натирает лошади спину, и она пытается сбросить его. Йон скидывает сундук себе на спину и идет вперед наперекор ветру, он очень сильный и, как всегда, мрачный.

Неожиданно три человека падают в реку, она стремительно несется под снегом, льда на ней еще нет. Двоих уносит бурный поток, третьего я успеваю схватить за волосы и замечаю, что ноги у меня скользят. Йон тут же хватается меня за пояс, и мы с ним общими усилиями вытаскиваем третьего, барахтающегося в воде по шею. Это Торбьёрн из Фрэйланда. Он проводит рукой по голове и говорит:

— Будь я острижен под барана, мне бы не спастись.

— Я бросил сундук в реку, когда схватил тебя, — говорит мне Йон.

— Значит, серебро Эцура смое с себя всю грязь, — отвечаю я.

— Пусть Эцур сам заберет его отсюда, — говорит подошедший к нам конунг. — Если это его серебро, мы не обязаны нести его на себе.

Мы продолжаем путь, находим место, где река покрыта льдом, и переходим на другой берег.

Тех двоих, которых унес поток, мы так больше и видели.



Вечером мы лежим, тесно прижавшись друг к другу, и Бернард умирает. Нас вокруг него тридцать человек, но наше живое одеяло не помогает, его час настал. У Бернарда еще хватает сил посмотреть кругом одним глазом, другой глаз так и не оттаял. Сквозь летящий снег и темноту мы видим лихорадочный блеск его глаза, Бернард как будто благодарит нас. Потом он испускает дух.

Утром я говорю конунгу, что Бернард был моим другом и потому он не должен лежать здесь один, — я останусь с ним и буду молиться за него, пока не наступит мой час.

— В таком случае я тоже останусь и буду молиться за тебя, — говорит конунг.

Мой добрый отец подходит и говорит, что он согласен со мной:

— Бернард не должен лежать здесь один, кто-то должен молиться за него. Но я к нему ближе вас, я самый старый и ближе всех к тому часу, который сейчас наступил для него. И я распоряжаюсь жизнью моего сына, — говорит он конунгу. — Иди дальше и заведи его с собой.

К нам подходит Симон, он мужественно держался во время бурана, теперь этот худой, несокрушимый человек, которого не могли

сломить ни буран, ни мороз, плачет. Он стоит над мертвым Бернардом, которого вот-вот скроет снег, и говорит, что останется с ним.

— Если раньше мне и случалось творить зло, то теперь я сотворю добро, — говорит он.

Конунг наклоняется и целует Бернарда. Мы все, один за другим, тоже наклоняемся и целуем Бернарда.

Потом конунг уводит нас, и мы продолжаем свой путь сквозь буран.



Наступивший за тем день оказался самым тяжелым в нашей с конунгом жизни. Люди падали в снег, идущие сзади спотыкались об них, тоже падали и оставались лежать. Их поднимали другие, орали на них и даже кололи ножами, и мы брели дальше в снегу, доходявшем нам до пояса, или переваливали через вершины, с которых ветер сдул весь снег, но зато он же выдавливал из нас все нутро.

В полдень мы поднимаемся на вершину, где завиваются снежные вихри. Сильно похолодало, пятеро человек ложатся в снег и не могут идти дальше. Симон, который до сих пор ловчей других поднимал на ноги упавших, сам садится в снег и закрывает голову руками. Я смотрю, как снег заносит его. Подходит конунг.

Колокола еще не звонят, между нами и смертью стоит Сверрир. Он поднимает Симона и встряхивает его, потом протягивает руки к небесам и идет к людям — черная точка в неистовстве метели, маленький, но твердый, он снова сгоняет всех в кучу. В середине — четыре лошади, они покрыты льдом, в них не осталось ни жизни, ни сопротивления, они просто покорно уступают нашей воли. Конунг сгоняет нас в кучу, лошади ложатся на землю, самых слабых он заталкивает в середину, они заползают между лошадьми. На них наваливаются остальные, кто падает, кто удерживается на ногах, снаружи — самые сильные, сохранившие волю и мужество. Конунг снаружи. Он ходит вокруг, ищет отставших и гонит их к остальным, а потом начинает молиться.

Мне странно слышать его голос в завывании ветра, у него всегда был сильный голос, он силен и теперь. В молитве Сверрира безумие и непокорность, он пытается заставить буран отступить, нападает на

Бога, проклинает Его и в то же время униженно благодарит за то, что мы все еще живы, что силы и мужество еще не покинули нас. Он молится, молится и кричит нам, чтобы мы тоже молились вместе с ним. Он кричит нам, и мы слышим его крик, некоторые отвечают ему, пытаются возвысить голос, но не могут. Теперь Сверрир уже не поет свою молитву, он орет, но поначалу я не разбираю слов. Голос его звучит все громче, к нему присоединяются еще несколько голосов: Генисарет! Генисарет! — кричит конунг, и мы тоже кричим, лежа в повалку и повернувшись спиной к непогоде: Генисарет! Конунг ходит вокруг нас, он и орет, и вост, и проклинает, и молится — все сразу: Генисарет!

Хочет ли он напомнить Всемогущему о том озере, где Спаситель когда-то остановил бурю? Не знаю. Хочет ли напомнить нашим полумертвым мыслям и окоченевшим сердцам, что когда-то буря была остановлена и люди спаслись, доплыв до берега? Не знаю. Генисарет! Генисарет! Он кричит и кричит, и мы все кричим вместе с ним, и у меня начинает колоть сердце, и грудь, и все тело. Генисарет! Кровь согревается, оттаивает и снова бежит по жилам. Генисарет! Лошади под нами шевелятся и хотят выбраться наружу, они дарят нам тепло. Мы прижимаем их к земле и кричим: Генисарет! Генисарет!

Подо мной кто-то задыхается и пытается выбраться, я погружаюсь в темноту, в тепло, идущее от тяжелого лошадиного тела. Генисарет! Генисарет! Надо мной и вокруг меня кричат люди: Генисарет! Генисарет! И лошади как будто ржут в глубине сердца: Генисарет! Генисарет! А вокруг нас ходит конунг, один, в снежном вихре: Генисарет! Генисарет!

Днем сквозь тучи пробивается солнце. Буран стихает.



Конунг говорит:

— Святой конунг Олав пришел ко мне и сказал: Мы не едим конину! Нет, нет, даже если мы и грешим перед Богом, мы, крещеные люди, не едим конину! Но сын Всемогущего может протянуть мизинец и превратить лошадь в ягненка, как он претворил свое тело и кровь в хлеб и вино. Нет, нет! — возразил я Олаву Святому. Да, да! — крикнул мне святой. И исчез в ветре...

Конунг бьет обухом топора по темени лошади, всаживает в нее нож, прижимается губами к порезу и пьет кровь, потом зажимает порез рукой и уступает место другому. Мы все пьем, пока есть, что пить, наконец мы разделяваем тушу и здесь, на вершине горы, на солнце, едим сырую конину.

Все в крови мы собираемся и идем дальше.

Но вид крови привычное зрелище для берестеников.

Мы спускаемся в Хаддингьядаль.

Оттуда идем в Эстердаль и празднуем там Рождество.



СМЕРТЬ ПОД ХАТТАРХАМАРОМ



Когда наступила весна, йомфру Кристин, мы покинули глухие леса между Эстердалем и страной свеев и снова пошли на север в Трёндалёг, чтобы захватить Нидарос. Небо было черное от птиц, они следили за нашим нелегким походом. Нас было немного, и лошадей у нас не было, мы шли ночами, а днем спали в укромных местах, вынуд мечи из ножен. Долгие дороги вели нас через долины и горы, на этот раз мы шли не прямо в Нидарос. Мы хотели выйти к морю севернее его, украсть там корабли и вернуться на юг в город. Над нами в синем воздухе и в сером воздухе, под моросящим дождем и под проливным ливнем на раскинутых крыльях летели птицы, то быстро, то плавно паря, с достоинством или поспешно они летели над нашими головами, и мы, должно быть, казались им ничтожными козявками, какими мы и были на самом деле.

Покрытые вшами, мы шли быстро. В тех селениях, что мы проходили, Бог не благословил людей баней, — помню, однажды мы для забавы поймали одного старика, соскоблили с него ножом всю грязь, вынесли ее на двор и сожгли. Но перезимовав рядом с такими людьями, мы и сами набрались вшей. И это не были привычные милые домашние вши, которых и простые люди и конунги тер-

пят с достоинством и по поводу которых шутят над рогом с пивом: Это, мол, родовые вши, почитаемые и любимые, богатство предков, с глубокой благодарностью переданное молодому поколению. Нет, нас донимали чудовища из рода вшей, воинственные, жадные, безжалостные, иметь их было недостойно ни для конунга, ни для его людей, их когти драли кожу почище напильников, а зубы были острее волчьих. Если бы у нас было время, мы бы купили смолы, развели костер, нагрели смолу и очистились бы в ее паре, слушая, как вши со слабым шорохом падают в кипящий котел. Но мы не могли, мы спешили. С мечтой о сражениях, подгоняемое вшами, войско берестеников спешило в Нидарос, в славный город святого конунга Олава.

Блестело у нас только оружие, оно было наточено и с легкостью перерезало волос. Зимой к нам присоединился новый человек, его звали Хельги Ячменное Пузо, и у него были точильные камни. Хельги ненавидел ярла Эрлинга за то, что люди ярла когда-то для забавы уничтожили его ячменное поле, они истоптали его и сожгли на глазах у Хельги, привязанного к шесту, и пока поле Хельги горело, они кололи его в живот тупым ножом. Как только Хельги освободился, он поспешно покинул дом и отправился к конунгу Сверриру. Конунг поручил ему нести кожаный мешок с точильными камнями, которыми наши люди пользовались с большой охотой. Я никогда в жизни не видел столь острого оружия. Как я уже сказал, оно легко перерезало волос.

С нами идет Симон, монах из монастыря на Селье, злой человек, который исходит радостью при виде опасности, радуется он и тогда, когда от тревоги у него во рту появляется привкус крови. По настоянию конунга Симон носит рясу священника, она подобрана и подвязана, под ним на Симоне обычная одежда воина. Случается, люди легче склоняются перед словом Божиим, чем перед мечом, — тогда Симон быстро отвязывает свою рясу и говорит с ними от имени конунга. На ходу Симон сосет кость. Я иду вторым. Время от времени Симон подходит ко мне и дает пососать свою кость. И я сосу ее, но не потому, что это придает мне силы, просто проявление дружеского чувства поддерживает меня в этом нечеловеческом походе через пустыню.

За пазухой я несу книгу, которую Бернارد отдал мне перед смертью. Мне бы хотелось уметь читать на прекрасном языке франков,

но ведь я и без того знаю, о чем написано в книге, иногда я сую руку за пазуху и глажу ее. Бернард сказал: Я думаю, что этот пергамент сделан из кожи молодой женщины... И глядя ее кожу, которая прикасается к моей, я испытываю и удовольствие и отвращение.

Моего доброго отца Эйнара Мудрого теперь часто одолевают мысли о чистилище и адском огне. Он зовет своего друга Бернарда, закликает показаться ему — иногда отец становится на колени у ручья или у родника и молит Всевышнего, чтобы тот позволил покойному Бернарду показаться в блестящей воде. Моему отцу хочется сказать Бернарду то, что он не успел сказать ему, пока Бернард был еще жив: Ты мой друг и в жизни и в смерти, никто не может сравниться с тобой. Но Бернард не показывается. Когда отец наконец засыпает, его мучают сны, которые он, толкователь снов, не в силах истолковать. Однажды он говорит мне: Мне приснилось, будто я пришел к Всевышнему и попросил: Покажи мне могилу Бернарда... Он не покоится в освященной земле... Отведи меня туда, позволь стать возле нее на колени и помолиться за его душу! Но вместо Бернарда Всевышний прислал ко мне во сне молодую женщину и она сказала: С меня заживо содрали кожу... И горько плакала.

О сне я молчу, говорю только, что мне никогда не стать таким же хорошим человеком, каким был Бернард:

— Он обладал твоей добротой, отец! Даже если мы не помолимся на его могиле, пребывание в чистилище будет для него недолгим.

Отцу помогают такие слова. Я даю ему пососать кость Симона, теперь она принадлежит мне, это придает отцу силы, он сосет кость, а мы идем все дальше и дальше.

Нас со всех сторон окружают люди, среди них Сигурд из Сальтнеса. Однажды утром он подходит ко мне — мы шли всю ночь и наконец сделали привал. Он говорит:

— Пусть это останется между нами. Ночью у меня из носа и из горла шла кровь. Я лег, и земля и мох подо мной стали красными.

На бороде у него засохла кровь, Сигурд встревожен:

— Это предупреждение о смерти? — спрашивает он.

— Скорее это предупреждение о том, что в скором времени ты убьешь другого, — отвечаю я.

— Почему же тогда пролилась моя кровь?

На это я не отвечаю, и мы с ним решаем никому не говорить о случившемся, чтобы люди не увидели в этом дурного предзнаменования. Я спрашиваю, не забыл ли он благословить то место, где пролилась его кровь, — в таком случае его путь через чистилище будет легче, когда придет его час.

— Да, да, я это сделал, — говорит он. — Но в любом случае, мне бы хотелось, чтобы другие попали туда раньше меня.

Самый выносливый после конунга хёвдинг из Теламёрка Гудлаут, Вали, он очень заботится о своих людях. Гудлаут упрям и неразговорчив, с такими, как он, мне всегда трудно находить общий язык, ему не свойствен высокий строй мысли, и учтивые выражения было бы трудно найти в его речи. Но он разделяет участь своих людей. Сражается с ними бок о бок и умеет увлечь их за собой, если их ряды дрогнут. Однажды он пришел к конунгу и сказал:

— Твоя сестра Сесилия оставила своего мужа. Нельзя ли мне жениться на ней?..

Я стоял рядом с ними, потом я ушел.

В то же утро конунг сказал мне:

— Пусть это останется между нами. Гудлаут хочет жениться на моей сестре Сесилии после того, как мы захватим Нидарос. Это имеет свою хорошую сторону: женитьба на Сесилии свяжет его со мной. Но что делать с Йоном из Сальтнеса, который не выносит одного вида Гудлаута?

Я сказал:

— Лучше пока никому не обещать этого ложа, государь.

Конунг сказал:

— Ты прав. Йона утешит, что он будет делить ложе со мной, если Гудлаут разделит ложе с Сесилией.

Сесилия, красавица Сесилия, мне хотелось бы увидеть тебя обнаженной, танцующей на столе в свете от факелов... Я глажу рукой книгу Бернарда, ее мягкую кожу, и я знаю, что твоя кожа, Сесилия, такая же мягкая.

Даже в тяжелом походе нам бывает иногда весело. Утром, после ночного перехода, смертельно усталые и не всегда сытые, мы иногда смеемся, когда Эрлинг сын Олава из Рэ передразнивает кого-нибудь из нас, Вильяльма, Гудлауга, меня или Сверира.

День конунга тяжел.

Первым стражи будят конунга. Он уже свеж и бодр, когда другие только просыпаются, умываются в ручье, стряхивают с волос вшей, бегут к Кормильцу, которому почти нечем ублажить их, и помогают ему разводить огонь. Конунг тут же с людьми, он осматривает оружие, бранит тех, у кого клинок не блестит, выстраивает молодых и обучает их владеть оружием. То первого, то последнего в ряду подбадривает острым словом и шуткой, помогает Хельги Ячменному Пузу нести мешок с точильными камнями, когда ремни мешка врезаются Хельги в плечи, бранит нерадивых, он первый, с песней, карабкается по крутым склонам, он повсюду и он неутомим.

Конунг несет дозор наравне со всеми, он приходит ко мне и обсуждает желание Гудлауга и прихоти Йона, он знает людей, знает их силу и слабости. Сон у конунга легкий. Он мгновенно вскакивает с ложа.

Над нами между облаками летят птицы, с высоты своего полета они не видят вшей у нас в волосах.

Я спрашиваю у конунга:

— Государь, почему за твоей веселостью прячется грусть?..

— Взгляни на этих птиц, Аудун, помнишь птиц у нас в Киркьюбё? Помнишь, как весной над морем летали птицы? Они носились над водой, и мы в своей лодке слышали свист их крыльев? Помнишь, Аудун?

— Но почему за твоей веселостью прячется грусть, государь?..

— Взгляни на этих птиц, Аудун. Мне бы хотелось видеть всех птиц Норвегии. Но повсюду я вижу только Эрлинга Кривого и его людей, его усадьбы и имущество, его дозорных, готовых зажечь сигнальные костры, и его корабли. Всюду только он.

— Только ли по этой причине за твоей веселостью прячется грусть, государь?..

— Помнишь женщин у нас в Киркьюбё, Аудун, их красоту летней ночью, их доброту к нам, даже если мы не всегда были добры к ним?

— Я помню только трех женщин, государь: мою добрую матушку фру Раннвейг, твою мать фру Гуннхильд и Астрид, твою молодую жену, бывшую дивным даром для нас обоих, даже если я никогда не прикоснулся к этому дару.

— Аудун, друг, известна ли тебе прелесть женской кожи и тихая радость, которую она дарит мужчине?

— Кое-что, но не все, государь, для меня книги и их пергамент стали большим даром, чем кожа женщины.

— Аудун, подойди поближе ко мне. Сейчас все спят и не могут нас слышать, ведь так?

— Так, государь, никто нас не слышит.

— Аудун, если когда-нибудь тебе придется выбирать между королевством и женщиной, выбери женщину и возблаговари Бога.

Мы спустились в Наумудаль и там, в одном из фьордов, забрали у бондов их корабли.



Корабли, что мы захватили в Наумудале, были небольшие и плохо годились для сражений. Но все-таки это была ценная добыча — мы захватили их темной ночью и никто не пытался остановить нас. На одном корабле в палатке спали двое. Молодой парень и его подруга, оба были обнажены, на веревке над их ложем висела ее юбка. Мы вышли во фьорд.

На корме, на одной из скамей, сидели те двое, она была в короткой рубаше, которую сжимала коленями, задница у нее была голая. Было видно, что ей холодно, и мы бросили ей овчинное одеяло.

— Как тебя зовут? — спросил конунг.

— Астрид, — ответила она и подняла глаза.

Конунг не стал спрашивать, как зовут парня.

Люди заговорили: хотим мы или нет, а этих двоих следует убить. Взять их с собой мы не можем, а если отпустим, они расскажут бондам, как нас мало и что один из нас называет себя конунгом. К тому же, несколько раз мы упомянули в разговоре Нидарос, и они, должно быть, слышали это. Стоит им сказать об этом кому угодно, и весть о нашем прибытии достигнет Нидароса раньше нас. Мы обычно обсуждали судьбу пленников, не смущаясь, что они могут это услышать. Кто-то сказал, что их нельзя просто бросить за борт, — если их подхватит течение, они благополучно доберутся до берега.

Злобы в нас не было, но вспомни, йомфру Кристин, что лежало у нас за плечами, — за все эти тяжелые годы мы хорошо усвоили, что доверять можно только своему оружию. Вильяльм сказал, что нет нужды пачкать скамьи их кровью:

— Перегните им головы через борт, и я отрублю их.

Неожиданно конунг выругался.

Мне трудно вразумительно объяснить то, что случилось потом. Пойми, йомфру Кристин, слово конунга было для нас законом. С того дня, когда мы выступили из Хамара в Вермаланде, с того дня, когда он на глазах у своих воинов затоптал конем двоих, осмелившихся не подчиниться ему. Сверриру случалось порой повышать голос, но я не помню никого, кто бы осмелился перечить ему, кроме старика с серебряными монетами, который вцепился конунгу в горло и все-таки уцелел, мы тогда швырнули его за борт, но он выплыл, вернулся к нам и потребовал назад свои деньги. Нет, я никак не могу объяснить того, что случилось. И до сих пор вспоминаю об этом с отвращением.

Между конунгом и его людьми завязалась перебранка. Он был небольшого роста и в тот день выглядел старым, до того я, да и вообще все, считали его молодым. В тот же день он выглядел старым и усталым, рот у него как будто запад, лоб покрыли морщины, словно и не имевшие отношения к тому гневу, с которым он припер к стенке спорящих с ним людей. Первым на него набросился Сигурд, потом Вильяльм. Не с обнаженными мечами, нет, нет, а с проклятиями и бранью. И конунг тоже отвечал им бранью. Но это не была брань сильного человека, не огонь небесный, испепеляющий противника. Нет, он бранился, как бранились женщины в Кирккюбё, стирающие летом белье у ручья и оспаривающие друг у друга право первой разжечь костер. Это был старый простолюдин, и люди вокруг не испытывали к нему никакого уважения, они смотрели на него, пряча ухмылку в уголках губ, словно знали, что человек, стоящий перед ними, труслив и надеется, что ему удастся скрыть свою трусость.

За спиной у конунга сидели пленники. Девушка плакала.

Парень сказал:

— Я бы мог пойти к тебе на службу, государь. Если бы ты отпустил Астрид.

Люди вокруг презрительно засмеялись, конунг молчал. Парень проявил мужество. Он встал на скамью и сказал:

— Астрид хорошая женщина.

— Я знаю, — почти весело ответил конунг.

Мы с удивлением смотрели на него — на конунга и на девушку. Она сидела, накинув овчинное одеяло на голое тело, должно быть, она сбежала из дома, чтобы отдать дар своей юности тому, кого любила. Но Вильяльм сказал:

— Так она знает или нет, куда мы держим путь?..

Люди опять стали грубо бранить конунга, он пытался отругиваться, но это не помогало. Тогда он замолчал и сел на скамью рядом с Астрид. Он смотрел вдаль и молчал. Никто не смел подойти к нему.

Над кораблями и над нашими головами с криком летали чайки — если мы зарубим пленных и бросим их в воду, чайки тут же выключают у покойников глаза.

Сигурд подошел ко мне, он даже побледнел от гнева:

— Ты согласен с конунгом? — спросил он, глядя на меня с такой ненавистью, будто собирался зарубить и меня.

— Сигурд, — проговорил я, — помнишь, ты сказал, что у тебя носом и горлом шла кровь, и спросил, не означает ли это, что ты скоро умрешь?..

Сигурд в гневе замахнулся на меня:

— Если мы отпустим эту девку, она тут же разболтает, куда мы направляемся!..

Он сердито смотрел на меня, неожиданно у него из носа брызнула кровь, сразу из обеих ноздрей. Он наклонился, в глазах у него стояли слезы.

Я вспомнил о святом гневе.

Сын Божий пришел в один город, там, у городских ворот какой-то человек бил своего осла, он забил его до смерти. Иисус так разгневался, что у него горлом и носом пошла кровь и закапала на песок. И каждая капля превратилась в розу.

— Так написано в книге Бернарда, которую я ношу на груди, — сказал я Сигурду.

Он ответил:

— Я не ученик Христа, мне больше нравится запах чужой крови, чем своей собственной.

Тогда я подошел к конунгу:

— У Сигурда носом и горлом идет кровь, — сказал я, — это знак того, что он скоро умрет.

Конунг вдруг встал и велел кормчему направить корабль к ближайшему островку. Люди вокруг заворчали.

— Ты умеешь плавать? — спросил конунг у парня.

— Нет, — ответил тот.

— А ты? — спросил он у Астрид.

— Нет.

Конунг велел кормчему подвести корабль к самому берегу и сказал, чтобы парень прыгнул первым. Парень легко перепрыгнул на берег. Потом прыгнула Астрид, овичное одеяло она оставила на корабле.

— Видел, какая у нее задница? — спросил у меня кто-то.

Я не ответил.

Конунг повысил голос:

— Я собственноручно зарублю каждого, кто пустит в них стрелу!

Корабль отошел от острова.

— Государь, что сегодня так мучило тебя?..

— Аудун, ты помнишь лодочный сарай епископа в Кирккюбё и запах смолы, помнишь, как по ночам мы приводили в этот сарай женщин?..

— Государь, моя память хранит и хорошие времена нашей жизни.

— Однажды ночью, Аудун, мы с Астрид уплыли на лодке, а ты остался в сарае. Мы спрятались в палатке на одном из кораблей...

Мой пес подошел и стал слизывать кровь с корабельных досок, где стоял Сигурд.



В самой крайней точке мыса Флатангер мы сошли на берег. Там, на маленьком островке, конунг созвал своих людей на тинг, со всех сторон нас окружало море, над головами кричали птицы. Нас было немного, мы забрались на край земли, наши силы и мужество были на исходе. Но хуже всего было то, что конунг вроде перестал быть конунгом, а люди — его людьми. Он поднялся на камень, чтобы говорить с нами — во взгляде его как будто не было прежней остроты и огня, а в голосе — былой силы.

Он сказал:

— Вы знаете, корабли, что мы захватили у бондов, никуда не годятся, на них мы далеко не уплывем. Первый же шторм может оказаться для нас последним, встреча с врагом, знающим, чего он хочет, может оказаться нашей последней с ним встречей. Может, вы хотите, чтобы мы отправились на север, в Тьотту? Говорят, там богатые селения и можно взять хорошую добычу.

Ему не ответили, нас часто называли грабителями, хотя мы сами видели свое назначение в том, чтобы завоевать страну. Конунг предложил людям отправиться за добычей, которая не принесла бы им чести, и они мрачно выслушали его слова. Он сказал, по-прежнему без силы и властности в голосе:

— А если хотите, можно отправиться на юг, мимо Трёндалёга, и уйти всем на запад, за море. Я думаю, что сейчас у берестеников нет ни мужества, ни силы, необходимых для того, чтобы захватить Нидарос.

Люди недовольно заворчали.

И тут они оказались в его власти. Он вдруг стал прежним Сверриром, таким, каким мы его знали: могучим и бесстрашным, с ясной мыслью, с новым голосом, прорезавшимся в его голосе, с новым лицом, проступившим сквозь его лицо, он точно сдернул покров и показал людям силу, превосходящую их собственную. И дал им понять: у меня есть и еще нечто, чего вы пока не видите.

Он сказал:

— Если мы прежние берестеники, мы, не задумываясь, бросимся в пасть ярлу Эрлингу в Нидаросе и встретим его войско, как пристало мужам. Но мы должны помнить: нас меньше, чем их. И не забывать, что именно в этом наша сила. Если ваши желания совпадают с моими, то мы направимся сейчас на юг к Нидаросу, там мы утопим наши корабли, выберемся на сушу, сбросим свою воинскую одежду и найдем в усадьбах обычное крестьянское платье. Там мы разделимся, часть наших людей быстро пойдет тайными тропами, скрывая под одеждой оружие и не узнавая друг друга при встрече, и незаметно проберется в город. Другая часть на маленьких судах войдет во фьорд как будто бы с рыбой, в палатках на этих судах будут прятаться воины. Мы должны разойтись по всему городу, по трактирам и кладбищам, и ждать, когда Рейольв из Рэ проскачет по улицам и своим рожком подаст нам

сигнал к битве. Это будет в полночь с субботы на воскресенье. Люди ярла Эрлинга будут пьяные и ничего не сообразят спросонья. Мы легко зарубим их.

Берестеники с ревом бросились к Сверриру, они кидали оружие в воздух, ловили его, били в щиты, конунг опять стал конунгом, а они — его людьми.

Тогда пришел Гаут.



Гаут направлялся на север, в Тьотту, чтобы строить там церковь, он приплыл на лодке с двумя гребцами. Велика была радость свидания, и Гаут сказал, что у него есть хорошие новости из Нидароса — Эрлинг Кривой поспешно покинул Нидарос и направился на юг в Бьёргюн. Должно быть, до ярла дошли слухи о том, что мы идем в Вестланд, или, сказал Гаут, — и этому он верил больше — дружба между ярлом Эрлингом и могущественным архиепископом Эйстейном была уже не такой безоблачной, как прежде. Говорили даже — этому можно верить или не верить, — что они расстались, наговорив друг другу на прощание много горячих и недобрых слов.

— Что ты решишь? — спросил Гаут.

Он был невысокий, как всегда неряшливый и еще более оборванный, чем берестеники. По его словам, в последнее время он чувствовал странный зуд в обрубке руки, а это означало, что уже недалек тот час, когда он встретит своего последнего недруга, простит его и на месте обрубка у него снова вырастет рука. Зуд — хороший признак, человек чувствует зуд, когда у него зарастает рана.

— Что ты решишь? — спросил он.

И сам ответил за конунга:

— Ты, Сверрир, пойдешь на юг в Нидарос и сойдешь на берег. Там ты обратишься к своим людям и скажешь: Бросьте оружие в море! Они послушаются тебя. Потом с обнаженной головой ты босиком, пойдешь к архиепископу Эйстейну и скажешь: Я Сверрир, конунг Норвегии.

И еще: Ты здесь архиепископ, но ты служишь не только Богу.

Ты скажешь ему:

— Сними свои башмаки!

Я думаю, он их снимет.

Тогда ты обнимешь его, вы вместе пойдете в церковь Христа и преклоните колени перед Божьей матерью. За вами туда последуют твои люди, они тоже опустятся на колени...

Конунг наклонил голову, приподнял рукав на отрубленной руке Гаута и поцловал обрубок.

— Ты всех прощаешь, — сказал он. — Сможешь ли ты простить и меня, если я пойду другим путем?..



Вот что я помню об одноруком Гауте:

Он попросил конунга отойти с ним к прибрежным камням, где никто не мог их слышать. Они сделали мне знак, чтобы я пошел вместе с ними. Там Гаут сказал:

— У меня есть и другие новости, которые я не хотел сообщать вам при всех. Я был и в Сельбу, где живет сейчас твоя сестра, государь, фру Сесилия из Хамара в Вермаланде. Там же живет и Халльвард Губитель Лосей и все люди, которых она взяла с собой, когда уехала из своего дома в Вермаланде. Если люди ярла прознают про это, их жизнь продлится недолго.

В Сельбу живет и твой отец, государь, Унас из Кирккюбё.

Прости, государь, я знаю: если она твоя сестра, значит, он не твой отец, а если он твой отец, то она тебе не сестра. Про Унаса не скажешь, что он человек слова, — он обещал тебе оставаться в Ямталанде, когда ты отправил его туда, но вернулся назад в Норвегию. Он не злой человек, но, думаю, и не добрый. Он похож на черную муху над миской с медом.

Позволь дать тебе еще один совет, государь. И можешь отрубить мне вторую руку за мою дерзость. Приведи Унаса к своим людям и скажи: Этот человек выдает себя за моего отца, но не он мой отец! Пусть люди увидят его, не прогоняй его от себя, возьми его к себе, пусть он ест за твоим столом. Если он не твой отец, тебе, сыну конунга и Божьему избраннику, нечего бояться его. А ты вместо этого отсылаешь его от себя.

Прояви доброту к нему, и тогда люди поверят тебе.

Сейчас кое-кто сомневается.

И это может обернуться для тебя несчастьем.

Гаут кликнул своих гребцов, и они поплыли дальше на север. Он помахал нам на прощание, добрый человек, единственный, кого бо-
ились обе стороны, ведущие братоубийственную войну в этой стране.



Сигурд из Сальтнеса пришел к конунгу и сказал:

— Я знаю архиепископа Эйстейна, на него нельзя полагаться. Ар-
хиепископ Эйстейн был сыном бонда Эрленда Медлительного. Мой
отец знал его, и они не раз мерялись силами, когда были детьми. Но
уже тогда Эйстейн был таким же надменным дерьмом, как и теперь,
он перед всеми задирает нос, смотрел сверху вниз из-под приспущен-
ных век и поджимал губы. Голова же у него работала хорошо, что
правда, то правда. Однажды к ним в усадьбу пришел монах и обучил
этого жалкого червяка читать еще до того, как он начал спать с жен-
щинами. Но со временем Эйстейн овладел и этим искусством. Он не
мог пропустить ни одну девушку. Однажды он зашел слишком дале-
ко, и отец девушки схватил будущего архиепископа за шкуру и
бросил в лужу. Но ведь тогда он еще не был ни священником, ни
епископом.

— Не доверяй ему, говорил мне отец. Теперь я то же самое
повторяю тебе, конунг Сверрир: Не доверяй ему! Он уехал в Па-
риж и там долго учился премудрости в школе, которая называется
Санкт Виктор.

Я видел его, когда он вернулся домой. Я был тогда мальчиш-
кой, а он приехал, чтобы все могли на него полюбоваться, мать
его еще была жива и он хотел поцеловать ей руку. Представляешь
себе мужчину, который целует матери руку у всех на глазах?
Должно быть, он выучился этому в своей ученой школе. После
этого он был казначеем у конунга Инги и вел счет его серебру. Не
знаю, каким он был казанчеем, но мы с тобой, государь, знаем,
что нет казначеев, которые не взвешивали бы своего серебра в
темноте ночи после того, как взвесили серебро конунга при свете

дня. Я слышал, что он купил себе женщину. Она не хотела иметь с ним дела. Но он бросил на стол монету и сказал: Иди и ложись. И она пошла.

Когда же он пришел к ней, она расцарапала ему живот острым краем монеты, у него, как у свиньи текла кровь, и он кричал громче женщины, которую порет муж.

Жители Трёндалёга очень гордились, когда он стал архиепископом. Еще живы женщины, которые могут рассказать, как они работали в усадьбе его отца и помогали этому недорослю застегнуть штаны, когда он еще не умел обходиться без посторонней помощи. Но после того, как Эйстейн короновал конунга Магнуса, ничего приятного для жителей Трёндалёга не произошло. Ярл Эрлинг и его сын оказались тяжелым бременем для людей. Истина в том, что архиепископ Эйстейн покупает и продает людей, он тверд, как подкова, и мысль у него острее моего клинка. Не доверяй ему, государь!

Неужели ты думаешь, Сверрир, что человек, возложивший корону на голову твоего противника, перейдет на твою сторону, если ты явишься в Нидарос с мечом, вложенным в ножны? Тебе известно, что у архиепископа есть больше двух сотен дружинников? Ты понимаешь, что, если он пустит нам кровь, он потребует у конунга Магнуса вознаграждения за это раньше, чем прочтет заупокойную молитву по тебе, павшему конунгу?

Не доверяй ему!

Мы постараясь незамеченными пробраться в Нидарос, как ты сказал, государь. Если нам не изменит удача и святой конунг Олав будет больше на нашей стороне, чем на его, то я уверен, что его архиепископский престол опустеет еще до наступления ночи. Самое лучшее, если он умрет, но, если он окажется нашим пленником, есть способ помочь ему перебраться в иной мир.

Он ничего не потеряет от этого путешествия.

Ведь он сам говорит, что иной мир лучше этого.

Сигурд ушел от нас. Все эти дни у него шла носом кровь, и он был бледней, чем обычно.

Позже, йомфру Кристин, я познакомился с архиепископом Эйстейном. В моей памяти он остался как благородный человек.



Конунг спросил, известны ли мне сомнения Фомы Неверного, который, чтобы поверить, хотел вложить палец в раны от гвоздей на руках Спасителя.

— Во мне, — сказал он, — живет и Петр Скала и Иуда Искарriot, но сомнение — не частый гость в моем сердце. Нынче я пригласил его к себе.

Если мы на своих жалких кораблях войдем во фьорд днем, горожане вскоре узнают, что конунг Сверрир со своим разбойниками снова направляется в Нидарос. Но станут ли они сражаться с нами? Скорей всего они расколются на два лагеря. В прошлом году, когда мы были в Нидаросе, у нас были там и друзья и враги. Может, на нашей стороне окажется больше людей, чем на стороне ярла Эрлинга? И кто будет подстрекать к борьбе тех, кто относится к нам недружественно? Если людей ярла в городе нет, кто, кроме архиепископа Эйстейна, сможет сделать это? Но захочет ли он?

Может, нам все-таки следует войти во фьорд днем? Щиты опущены, мечы вложены в ножны, мы не будем петь Господи, помилуй! — это выглядело бы лицемерием. Нет, нет, мы войдем тихо, на веслах, сойдем на берег, и расположиться там, никого не трогая, а через день или два с достоинством, без лести, однако с вежливым поклоном, один из моих людей отправится к архиепископу и скажет: Конунг Сверрир хотел бы поговорить с тобой, архиепископ Эйстейн, у алтара в церкви Олава Святого, если ты окажешь ему эту милость...

Как думаешь, он примет меня?

А что, если горожане встретят нас с оружием? Мы ведь тоже не безоружны? Я думаю, что хоть нас и немного, но после сражения, буде оно состоится, нас все-таки окажется больше, чем их! Вряд ли архиепископ захочет бросить в сражение своих дружинников! Он умный человек и не захочет разом потерять все.

— Или, — конунг взглянул на меня, — он все-таки ввяжется в сражение?

— Не знаю, — сказал я.

— Но мне важно знать это! — воскликнул конунг. — Разве я не такой же, как вы, разве я тоже не пас коз и не ловил птиц? Но мне важно это знать! Аудун, что мне делать?

Он склонился ко мне и заплакал.

— Мой отец жив или нет? — спросил он.

— У тебя дома есть два малолетних сына, поэтому ты богаче меня, — ответил я.

— Конунг всегда беден, — сказал он.



Страсть помучить себя заставила конунга заговорить о моем добром отце Эйнаре Мудром:

— Я так завидовал, когда видел вас вместе на пустоши, он шел впереди, ты — сзади, две темные фигуры на фоне неба и облаков, иногда он нес на плечах ягненка, а ты бежал за ним, как подобает послушному сыну. Я слушал его приятный голос в те годы, когда работал в епископской усадьбе и ел за столом епископа, а твой отец приходил к нему в гости. Я понимал, что у меня не могло быть такого доброго и любящего отца. И не было.

Когда он толкует сон, он заглядывает в сердце человека. Случается порой, правда, редко, что Всемогущий использует сон как инструмент, позволяющий истине спуститься с небес к нам, недостойным, и таким образом указать нам путь. И потому твой добрый отец Эйнар Мудрый служит не только людям, но и Богу. Ведь он толкует не только загадки человеческого сердца, но отчасти и самого Господа Бога. И я не мог не любить его.

Помню я и твою добрую матушку фру Раннвейг, и ее смиренную любовь к своему мужу и повелителю. Эйнар говорил, что ему редко приходилось ее наказывать, он мудро руководил ею и воспитал тебя правильно мыслящим человеком. Меня часто удивляло, что он при всем том обладал и незаурядной мужской силой. На вид он не выглядел сильным. Нет, не выглядел, он был чуть косоват — одно плечо чуть выше другого и голова наклонена, словно он ожидал, что его сейчас ударят. Но я не знаю другого человека, способного проявить такую же силу и мужество, как твой добрый отец Эйнар Мудрый.

Понимаешь ли ты, Аудун, какую зависть испытывала моя жалкая душа и какую муку терпело мое сердце? Их могла победить лишь воля, более сильная, чем моя.

— Что ты думаешь об архиепископе Эйстейне? — спросил он и взял меня за край плаща.

Кончилось тем, что мы плывем в Нидарос при свете дня, мужество покинуло наших людей. Сигурд сказал с горечью в голосе:

— Это люди без конунга, и конунг без людей.

Лицо Сверрира омрачало тяжелое сомнение.



Впереди идет Сигурд, он стирает кровь с носа. Жестокие прислужники Эрлинга Кривого ворвались однажды в его усадьбу в Бувике и увели его оттуда опозоренного, со связанными руками. Сигурда заставили быть гребцом на корабле ярла и увезли на Оркнейские острова, — где мы со Сверриром и познакомились с ним, — а потом обратно в страну норвежцев. Однажды над страной пронеслась весть: Появился новый конунг, его зовут Эйстейн Девчушка, люди добрые, собирайтесь под его начало! Тогда Сигурд покинул дружину ярла Эрлинга в Бьёргуне, темными ночами он бежал через всю страну в Нидарос, нашел там прибежище в женском монастыре, нашел там Рагнфрид, а она — его, за что ее изгнали из монастыря, а он скрылся в городе. Громкими криками он приветствовал прибытие туда нового конунга Эйстейна, разочаровался в нем, добрался морозными зимними дорогами до Рэ, сражался там, потерпел поражение, обмороженный проделал долгий путь до Хамара в Вермаланде, встретил там нового конунга, более сурового, чем все предыдущие, человека, у которого в глазах горел огонь победы: Приветствую тебя, Сверрир, под твоим знаменем мы победим! А дальше Ямталанд, Нидалрос, Мьёрс, горы Согна, Эстердаль, Наумудаль и наконец снова Нидалрос. Кровь из носа капала ему на бороду, он был предан своим друзьям, не владел учтивой речью и имел лишь одно желание — вернуться домой в Бувик к Рагнфрид и маленькому Сигурду, вернуться с кровью на руках, их можно отмыть, и с глубоким шрамом в душе, который уже не изгладится. Этот крестьянский парень, ставший воином, человеком конунга, мечтал теперь этого конунга покинуть.

Последние дни у него шла носом кровь.

И вот показались корабли.



Сигурд как-то рассказывал мне о своем брате Йоне:

В детстве и юности Йон был такой же угрюмый и брюзгливый, как и теперь, но руки у него были золотые. Однажды он пошел в кузницу, выгнал оттуда кузнеца и выковал себе удобные щипцы с длинными губами и короткими ручками. Их было легко спрятать под рубаху, и вот как-то вечером, когда молодежь, переключаясь и аукаясь с пригорка на пригорок, собралась водить хороводы, одна молодая девушка вдруг взвыла, как раненый бык. Это Йон ущипнул ее сзади своими щипцами, быстро их спрятал, ущипнул другую и замешался среди танцующих. Многие девушки подверглись с его стороны этому жестокому обращению, младшие побежали домой за утешением к своим матерям, а других дружки увели в лес и там, сняв с них юбки, натерли салом.

О поступке кузнеца из Сальтнеса стало известно, и слава о нем пошла по округе.

Когда молодежь в другой раз собралась поплясать, Йон счел уместным остаться дома.

— Дай мне твои щипцы! — попросил у него Сугурд.

— Боюсь, ты мне их испортишь, — ответил Йон, кислый как простокваша.

— Ну и ладно. — Сигурд обладал завидным спокойствием, он никогда ни на кого не таил зла, тем более на брата.

Через пятнадцать лет Йон однажды спросил у него:

— Помнишь те щипцы?..

— Как не помнить...

— Прости меня.

Сигурд давно простил.



Сигурд как-то рассказал мне о Вильяльме:

— Ты, наверное, помнишь, что в сражении при Рэ его ранили мечом в пах, я видел его рану, в ней был длинный червяк, Вильяльм выковырнул червяка ножом и расковырял рану, чтобы кровь омыла и очистила ее. С тех пор женщины не интересовали Вильяльма. Но

мне иногда кажется, не завелся ли такой же червяк у него в голове? Однажды вечером, пьяный, он заговорил о Бенедикте. Кто такая эта Бенедикта? Я пойду к Бенедикте, сказал он. Я останусь у Бенедикты. Но кто она, эта Бенедикта? У нее синий ноготь, сказал он и засмеялся, я пойду к ней. Но если после того ранения женщины стали ему не к чему, зачем ему понадобилась эта Бенедикта?

У Бенедикты синий ноготь, сказал он. Это из-за меня у нее синий ноготь.



К нам шли корабли, их было четыре, у нас тоже было четыре корабля. Но те корабли были больше наших и лучше оснащены, к тому же для них ветер был попутный. У бортов стояли вооруженные воины, они не издавали воинственных кличей, казалось, что они, как и мы, тоже растерялись. Если бы все было, как раньше, у нас был бы готовый план. Каждый предводитель знал бы свое место в бою и занял его, мы, не задумываясь, напали бы на них. Но теперь конунг приказал нам дожидаться, чтобы они первые напали на нас.

— Может, их предводители в Нидаросе послали их, чтобы вступить в сражение, только если мы нападём на них. А потому давайте дружески встретим их, может, они только этого и ждут!

И тут они первыми напали на нас, обрушились с силой, достойной берестеников, и мы, берестеники, отступили. Неожиданно они, один за другим, оказались на наших кораблях. Мы не успели даже вскрикнуть, как горожане, а это были они, уже пробились к мачте корабля, где стоял конунг. Мы попытались оттеснить их, но это нам не удалось, к ним все время присоединялись новые люди, сражение шло на наших кораблях, а мы к этому не привыкли. Нам даже показалось, что им удалось захватить корабль конунга. Но тут же мы услышали его голос, призывавший нас к мужеству. Для нас ветер был встречный. Корабли сбились в кучу, и их медленно несло к берегу. За спиной у нас был мыс Хаттархамар. Мы понимали, что нам грозит столкновение с прибрежными камнями, но не могли изменить курс, не могли развернуть корабли кормой вперед, как часто делали. Мы потеряли и обзор и превосходство над врагом, что прежде всегда давало нам мужество и приводило к победе. Сражение длилось дол-

го. Они дрались неистово, мы — почти безвольно. У их кораблей борта были выше, чем у наших. Когда мы пускали стрелы, они успевали укрыться за ними, когда рубили мечами, попадали в дерево. Они снова напали на нас. Видно, их вела чья-то твердая воля. Но не архиепископа Эйстейна, на кораблях был поднят стяг города, а дружинников архиепископа было бы легко узнать по стягу Олава Святого, их тут не было. Я дрался в третьем ряду, неожиданно меня позвал конунг, он стоял на корме, вокруг летали стрелы, но он их не замечал. Он направлял людей туда, где требовалась помощь, с кормы у него был хороший обзор, небеса были еще на его стороне. Я встал справа от конунга и попытался прикрыть его щитом, слева от конунга стоял Хельги Ячменное Пузо, который носил точльные камни. День был жаркий, ветер едва касался воды, крики битвы, как шум шторма, долетали до берега. Время от времени мой взгляд выхватывал из сражения отдельные картины:

Острие меча входит кому-то в кадык и выходит через затылок, брызжет кровь, человек падает, но я не знаю, кто это...

У Кормильца щита нет, он прикрывает живот железным котлом и орудует мечом, будто это нож для разделки туши...

В воздух взлетает клочок волос, человек пригибается, это Коре из Фрёйланда, он жив, поскользнувшись на крови, он падает, отползает в сторону и сразу вскакивает, с отхваченным клоком волос он снова бросается в битву...

И тут наши корабли налетают на прибрежные скалы.

А из-за мыса появляется новый корабль, он тоже больше наших и более богатый, чем те, с которыми мы сражаемся. На мачте развевается стяг Олава Святого — это корабль архиепископа Эйстейна.

И тогда мужество изменяет нам. Как раз в это мгновение Сигурд падает, я вижу его в последний раз.

Он что-то кричит, мне удастся различить его крик, несмотря на тяжелый грохот волн. Он получил роковой удар.

Мы отступаем и бежим.



Мы с конунгом перепрыгиваем на корабль, который стоит между нашим кораблем и берегом. Мимо нас бегут люди, конунг скользит

на мокрой от крови скамье и неожиданно проваливается под палубу. Я тоже поскользнулся и застрял — одна нога — на скамье, другая провалилась вниз. Конунг цепляется за меня, пытаюсь выбраться. Я кричу:

— Спасайте конунга!

Люди не отвечают, они бегут. Тогда появляется Хельги Ячменное Пузо, тот, который нес точильные камни через горы. Одним рывком он выдергивает конунга, конунг бежит, снова спотыкается, кричит, наконец выбираюсь и я. Меня толкают бегущие люди, я прыгаю через борт на камни. За мной прыгает конунг. Потом Хельги.

Я потерял меч, передо мной лежит человек с разрубленной головой, я хватаю его меч. Кое-кто из наших еще сражается на берегу, один из них Йон. Потом Йон падает.

Потом падает конунг.

Я мельком вижу человека, который сразил конунга, это наш старый знакомый. Мы встречались с ним в монастыре на Селье и потом в Тунсберге, это Серк из Рьодара, которого силой взяли в войско Эрлинга Кривого. Он метнул в конунга дротик и попал ему в шею. Хельги набрасывается на Серка, Серк отступает, с корабля прыгают горожане. Конунг вскакивает. Из шеи у него хлещет кровь, Хельги защищает его, я — тоже, тут и Гудлауг, и Свиной Стефан, и теламёркцы, — мы все защищаем конунга. Выстраиваемся и держим оборону, у Гудлауга большой опыт в сражениях, но враг напирает и нам приходится отступить, чтобы не попасть в кольцо. Конунг бежит, его поддерживает Хельги, сразу от воды поднимается крутой склон, его венчает грозная вершина Хаттархамар. Конунг наступает на полу плаща и скатывается вниз по склону.

Он опять внизу на камнях, его окружают враги, тогда Хельги и Гудлауг хватают мечи обеими руками и отбивают конунга. Должно быть, горожане расстреляли все свои стрелы, с мечами они не осмеливаются напасть на людей, окруживших конунга. Конунг снова вскакивает, из шеи у него все еще идет кровь, я бегу сзади и подталкиваю его, кажется, мне помогает мой добрый отец Эйнар Мудрый.

Наконец мы одолели этот склон.

Подходят Хельги и Гудлауг, многие лежат на земле, я вижу корабль, это наш корабль, начальником на нем был Вильяльм. Корабль горит, горят паруса, горящий корабль плывет по морю.



Наступает вечер, потом ночь, моросит дождь, в деревьях прячутся легкие сумерки. Мы поднимаемся на гору Гауларас, враг преследует нас, но он тоже обессилел и в лесу чувствует себя неуверенно. Свиной Стефан идет рядом с конунгом, он ведет нас. Гудлаут куда-то исчез, потом возвращается окровавленный, в разорванной одежде, но молчит о случившемся.

До конца ночи мы хлопочем вокруг конунга, мой добрый отец Эйнар Мудрый остановил кровотечение, но конунг очень слаб. Не надолго он впадает в забытие, потом приходит в себя и говорит:

— Пусть Вильяльм со своим отрядом прикроет нас!..

Мы молчим.

И ведем его дальше.

Мы идем всю ночь, Кормилец приносит конунгу крынку пива и заставляет его выпить. Наверное, Кормилец нашел поблизости какую-нибудь усадьбу и украл там пиво.

Конунг поднимает голову от крынки, у него лихорадочный взгляд, на лице кровь, он говорит:

— Пусть Вильяльм со своим отрядом прикроет нас!..

Он еще не знает, что Вильяльм остался на том охваченном огнем корабле, который унесло в море.



Потом говорили, что корабль Вильяльма загорелся от брошенного на борт горящего полена. С горящими парусами, будто с красным стягом, корабль шел по фьорду, на борту был предводитель дружинников Вильяльм из Сальтнеса. Он был ранен в голову, из раны у него текла кровь, обеими руками он зажимал рану, чтобы остановить кровь. Кроме того, его рубанули мечом по руке, эту рану он обмотал лоскутом, оторванном от рубахи. Раненые стонут, на них падают горящие доски, у одно парня загораются волосы, и он страшно кричит. Их преследуют горожане, корабль горожан идет быстрее, чем корабль Вильяльма. Вильяльм слышит победные крики, скоро они их догонят и раскроют череп ненавистному предводителю дружинников Вильяльму из Сальт-

неса. И тогда из горла Вильяльма вырывается вопль, должно быть, Вильяльм давно сдерживал его силой воли:

— К черту!..

Преследователи приближаются. Хагбард Монетчик тоже был на том корабле, он-то и рассказал мне о том, что там случилось. Хагбард не был ранен, он считал, что будет сражаться на корме, отгороженный от врага горящей мачтой, а потом утонет с образом Малыша перед глазами. И вдруг ветер прекратился.

Мачта падает, а с нею парус и снасти, корабль плывет по течению, горажане берутся за весла, и тогда Вильяльм кричит своим людям:

— Всем на весла!..

Раненые и умирающие, с пузырями от ожогов на ладонях люди хватают весла и гребут. У них почти нет сил, но и их преследователи тоже ослабели. Вильяльм хочет схватить весло, падает ничком и у него из раны на голове снова течет кровь, он переворачивается на спину и кричит:

— К черту!..

Снова зажав рану обеими руками, он пытается остановить кровь, люди гребут, преследователи уже так близко, что пущенная стрела, впившись, дрожит в борту корабля. Но и преследователям тоже приходится зажимать свои раны руками. Тем временем наступает вечер, расстояние между кораблями остается прежним. Вильяльм знает здесь каждую шхеру, каждый островок, в детстве он ловил здесь рыбу. Если они завернут за мыс, они окажутся в его родном фьорде, там будет легче найти спасение. Наступает ночь, и они заворачивают за мыс. Предводитель дружины лежит в забытии, порой он кричит: К черту!.. Больше других на весла налегает Хагбард, он не ранен, иногда он оборачивается и смотрит, жив ли Вильяльм. Вильяльм жив, он зажимает руками рану на голове, в серых глазах ходят ночные тени, он весь скорчился, этот человек уже никогда не сдавит щипцами ноготь женщине, чтобы узнать, где она прячет свою скотину.

— К черту!..

Они уже за мысом, летняя ночь светла, море и берег хорошо видны, высоко над ними с моря на землю ползут легкие облака. Но за спиной у них преследователи. Впереди показывается усадьба — туда-то и стремится Вильяльм — он поднимает голову над бортом судна, видит родной дом в синих сумерках и кричит:

— К черту!..

Люди отдают веслам последние силы, корабль ударяется о камни, преследователи не отстают. Хагбард неожиданно переваливается через борт. Он не ранен, он погружается в воду и прячется в тростнике, вспугнув утку. У него за спиной раздается крик:

— К черту!..

Никто не заметил, что там, где только что пряталась утка, притаился человек. Теперь прыгают и другие, они скользят на камнях, падают, поднимаются. Прыгает и Вильяльм, зажимая руками рану на голове. Он добирается до берега. Прячется в траве. Ползет прочь. Слышит, как преследователи шарят среди прибрежных камней. Они убивают всех, кого находят, слышится крик, потом тишина, и они бегут дальше, новый крик и опять тишина, Вильяльм ползет прочь.

Он знает здесь каждую тропинку. Ловко прячется даже в низкой траве, светлеет, за ним тянется кровавый след. Увидит ли его враг? Кровь капает в вереск и на мох, собак у преследователей нет, они находят раненых и убивают, но Вильяльма они не видят.

Он знает, где ему укрыться. За усадьбой есть земляной погреб, его крыша покрыта дерном, из него есть ход в лисью нору. Если он доберется туда, он спасен. Уже совсем рассвело, Вильяльм ползет кругами, видит собственный кровавый след, сворачивает с него, выбирает новое направление. Вот наконец и двор.

Он поднимает голову, по-прежнему зажимая руками рану, — никого нет, он знает: чтобы миновать двор, надо сделать большой круг, на это у него нет сил. И он принимает решение.

Он ползет вдоль изгороди, прислушивается, но слышит лишь удары своего сердца. Приподнимается, чтобы оглядеться, и видит их.

Они замечают его и бегут к нему.

Тогда появляется его мать, фру Гудрун из Сальтнеса.

Она первой оказывается рядом с Вильяльмом, потом — они. Молодой парень говорит:

— Он отрубил руку моему брату...

Два человека держат фру Гудрун, парень взмахивает мечом. И они уходят.

Мать поднимает труп сына, вносит его в дом и сажает на почетное сиденье.



Вот рассказ Рагнфрид, жены Сигурда, женщины, которая мазала волосы конским навозом и посыпала их золой. Фру Гудрун из Сальт-неса оседлала лошадей и через Гауларас поехала к Хаттархамару, где было сражение. Она нашла там трупы своих сыновей, Сигурда и Йона, и вернулась домой. Рагнфрид со своим сыном, которого тоже звали Сигурд, ездила с ней.

С трупов еще капала кровь, и собака, бежавшая за ними, лизала ее. Мальчик долго держал бессильную руку отца, потом ему надоело и он позвал мать. Она прижала его к себе, и они, держась за руки, шли за лошадьми до самого дома.

Фру Гудрун внесла привезенных сыновей в дом, теперь она всех троих посадила на почетное сиденье, они сидели, прислоненные друг к другу, еще в крови после сражения.

Мать поклялась отомстить за сыновей.



Мы втроем поддерживаем конунга, пока идем через Гауларас, — Хельги Ячменное Пузо, мой добрый отец Эйнар Мудрый и я. Рана конунга уже перевязана полотном, кровь остановилась, и он уже не в забытии. Мы то бежим, то идем.

Конунг говорит, что во всем виноват Сигурд.

— Он хорошо знал архиепископа Эйстейна, но дал мне неумный совет. Сигурд одной ногой стоял на корабле, другой — на земле, он был глуп и труслив. Приведите его сюда!.. — кричит конунг.

Мы только что присели отдохнуть, наших преследователей больше не слышно. Люди молча сидят под деревьями, лежат в траве, на мху и дышат с трудом. Некоторые мочатся на раны, чтобы они не воспалились. Конунг больше не в забытии.

— Приведите сюда Сигурда!.. — кричит он. — Он мне заплатит за это!..

Мы втроем уводим конунга от людей. Хельги обнажил меч, он немногословен и бесстрашен. Я говорю Сверриру:

— Сигурд мертв.

Сверрир не отвечает, он как будто не слышит меня и опять говорит:

— Сигурд знал архиепископа Эйстейна, он должен был предупредить меня. Должен был сказать, что архиепископ непременно поднимет горожан и потому надо явиться туда под покровом ночи, разделиться на две части и свалиться на них, как снег на голову. А что сказал Сигурд?

— Сигурд мертв, — говорю я.

Сверрир не слышит, он начинает кричать, рвет на себе волосы, вскакивает, пытается вытащить меч, который заклинило в ножнах, наверное потому, что с него не стерли кровь.

— Приведите сюда Сигурда! — говорит он. — Я скажу ему все, что думаю, здесь и сейчас, и пусть каждый слышит это, он знал архиепископа и не предупредил...

— Сигурд мертв, — говорю я.

Сверрир не слышит.

Он уже снова сидит и раскачивается всем телом, я слышу, что он плачет. Потом встает, не пытаясь скрыть слез, хочет вытащить меч, не может, поднимает над головой сжатые кулаки и чертыхается, выбирая самые богохульные слова, на губах у него выступает пена и он говорит:

— Сигурд должен умереть.

— Сигурд уже мертв, — отвечаю я.

Он как будто не слышит. Смотрит на меня, хватая меня за грудки и говорит с мольбой:

— Разве ты не согласен со мной, что Сигурд должен был дать мне более умный совет? Ведь он знал архиепископа! Почему он не сказал, пока еще было время: Послушай, Сверрир! Я знаю архиепископа. Знаю, что он суровый человек, умный и твердый, нет, не твердый, он непримирим, полон ненависти, низок, он друг ярла, он безжалостен и умен. Не полагайся на его добрые слова. Вот что должен был сказать мне Сигурд. А он дал мне неумный совет. Поэтому все так получилось. — Сверрир наклоняет голову и плачет.

Вскоре он начинает кричать, люди слышат его, и если наши преследователи недалеко, они тоже могут услышать его и прийти сюда. Я уговариваю Сверрира, но он не замечает меня. Эйнар Мудрый трясет его за плечо, это не помогает, конунг отпихивает его от себя.

Мы с отцом обмениваемся взглядом.

Наступает день.



Наступает день.

Мой добрый отец Эйнар Мудрый говорит:

— Сверрир, пришло время, тебе следует отказаться от короны конунга.

Мы вдвоем стоим рядом с ним, Хельги держится настороженно, он молчит.

— Ты больше не конунг, — говорит мой добрый отец и склоняется над Сверриром. — Ты потерпел поражение. Ты должен прекратить борьбу.

Я наклоняюсь к Сверриру с другой стороны и говорю тихо:

— Ты должен прекратить борьбу, Сверрир. Корона конунга оказалась слишком тяжела для тебя.

Он поднимает голову и упрямо спрашивает:

— Но ведь Сигурд не погиб?..

Мы не отвечаем ему и снова повторяем свое. Теперь отец говорит не так быстро, как в молодости. Он не ранен, но дышит со свистом и все-таки в его голосе звучит убийственная сила:

— Ты больше не конунг, Сверрир.

Я, как эхо, повторяю за отцом:

— Ты больше не конунг...

Сверрир хочет встать, мы сажаем его на поваленное дерево, он больше не плачет. Эйнар Мудрый повторяет и это похоже на церковную службу — дьявол служит свою мессу перед плачущими детьми Божьими:

— Ты лишился своей короны..

И я, ученик священника, повторяю за своим учителем:

— Ты больше не конунг, ты лишился своей короны...

Сверрир спрашивает снова, теперь уже резче:

— Сигурд погиб?

Мы не отвечаем. Эйнар Мудрый говорит:

— Ты больше не конунг, Сверрир...

Сверрир повторяет свой вопрос и требует, чтобы ему ответили, погиб ли Сигурд. Мы киваем: Да, он погиб. Белое лицо Сверрира становится пунцовым, злые слова еще рвутся с губ, но он глотает их, словно горький напиток. Эйнар Мудрый ходит вокруг Сверрира и

повторяет тихим голосом, почти неслышным из-за шелеста ветра в листве:

— Ты больше не конунг, Сверрир...

Я говорю, зная, что произношу приговор:

— Я видел того, кто метнул в тебя дротик...

Сверрир встает, но я заставляю его снова сесть:

— Сейчас у тебя нет сил для мести, — говорю я.

Он сердито смотрит на меня, я спрашиваю, хочет ли он узнать, кто бросил дротик? Он кивает.

— Наш старый знакомый. Помнишь Серка из Рьодара, мы познакомились с ним и его братом в монастыре на Селье? Два добрых молодых парня, они нам тогда понравились. Потом мы встретили их в Тунсберге, они были в войске Эрлинга Кривого. Помнишь, его брат был там убит? Я видел, как Серк метнул дротик. Он целился в тебя. И зло улыбался. А потом убежал...

— Позови сюда людей, — говорит Сверрир.

— Ты хочешь говорить о Сигурде и его вине? — спрашиваю я.

— Да. — Он кивает.



Я привожу людей, нас мало было до битвы и еще меньше стало после нее. Все люди в крови, своей и чужой, да, мы разбиты и обращены в бегство, но мы все сохранили свое оружие.

Конунг, хромая, поднимается на камень, плащ его разорван, он сбрасывает его с себя. Шея у него завязана, на повязке выступила кровь, он наклоняет голову и, прежде чем обратился к людям, читает молитву. Потом говорит:

— Это был тяжелый день, и может быть, нас ждут еще более тяжелые дни, но это не последний наш день, и пусть вас это утешит! Зато горожане и люди архиепископа поняли, что у волка есть зубы, много человек полегло в этой схватке, но их больше, чем наших.

Я должен сказать вам, что дротик в меня метнул человек по имени Серк из Рьодара. Вот вы, подойдите сюда... — Он манит к себе Коре и Торбьёрна, двух братьев из Фрёйланда, усадьбы, лежащей у подножья Лифьялль, и их друга Эрлинга сына Олава из Рэ.

Они подходят, раны их неопасны, но мечи окровавлены до рукоятки.

— Ступайте, найдите Серка и убейте его, — говорит конунг. — Убейте его или умрите сами.

Они просят Хельги Ячменное Пузо принести точильные камни и потом уходят.

Конунг обращается к своим людям:

— Подойдите поближе!

Они окружают его, окровавленные, побежденные и все-таки непобедимые.

— На этот раз нам пришлось отступить, — говорит конунг. — Но клянусь вам, в другой раз мы не отступим! Либо ярл Эрлинг поглощается земли еще до конца сражения, либо я! Даю вам слово.

Слышите мое слово?

— Да, да! — отвечают они.

Он стоит перед ними раненый и вместе с тем неуязвимый, сильный, твердый, не знающий удержу своей мощи. Он исполнен гордости, и в голосе его грохочет шторм:

— Никто из моих людей не виноват в том, что случилось. Святой конунг Олав пришел ко мне во сне, когда я отдыхал после сражения, и сказал: Ты не виноват в исходе сражения, Сверрир, ни Сигурд, ни Вильяльм, ни один из твоих людей. Это было испытание, посланное тебе Богом, и вы выдержали его, вы остались в живых. А ярл Эрлинг должен умереть...

Мы поднялись и пошли дальше.

Через несколько дней братья из Фрэйланда, усадьбы у подножья Лифьялль, и Эрлинг сын Олава из Рэ присоединились к нам и сообщили конунгу: Серка из Рьодара нет больше среди живых.



ГОСПОДИН АУДУН БЕСЕДУЕТ НОЧЬЮ В РАФНАБЕРГЕ СО СВОИМ ПОКОЙНЫМ ОТЦОМ ЭЙНАРОМ МУДРЫМ

Ночью, когда зима окутывает своим покровом всю страну, а обитатели Рафнаберга спят беспокойным сном и добрые или недобрые предупреждения открываются во сне их душам, я слышу, отец, как ты спускаешься с Божьих небес и встаешь у меня за спиной. Наклоняясь к огню, чтобы согреть огрубевшие руки, я чувствую на шее твое горячее дыхание. Позволь мне услышать твой голос в шквалах ветра, позволь хоть немного приобщиться той мудрости, что ты нес в своем поющем сердце! Мой жребий — показать, каким был конунг, показать его в ненависти и злобе, в величии и силе так, чтобы каждая черта засияла перед его прекрасной молодой дочерью, йомфру Кристин. Отец, позволь мне увидеть то, что видел ты, понять то, что понимал ты, позволь постичь величие его мысли, высокий полет духа и печаль души — тяжелое бремя горя, бывшего прекрасной частью его огромного сердца.

Я часто звал тебя в первые годы после того, как смерть унесла тебя, но ты не приходил. Возможно, Сын Божий не разрешал тебе прийти ко мне потому, что твоя служба



была необходима другим, возможно, Господь считал меня недостойным сыном, не заслуживающим твоего утешения и поддержки в борьбе. Но сегодня ты придешь ко мне, я чувствую это. Сегодня, когда Гаут бредет где-то по бездорожью снежного ада, держа путь в Тунсберг, а Сигурд идет по его следу, чтобы вернуть его сюда. Кто из них окажется сильнее — человек, несущий в себе весть о прощении, или тот, кто послан помешать прощению? Кто из них окажется нынче ночью более сильным?

Помнишь, отец, когда люди конунга отступили в сражении под Хаттархамаром, я поскользнулся на мокром от крови камне? Это была кровь Сигурда из Сальтнеса, я перешагнул через моего убитого друга и побежал дальше. А крик конунга, упавшего на склоне, его прерывистое дыхание, наше бегство и крики, крики, крики и несправедливые слова конунга, его слезы, приступ бессильной недостойной ярости?..

— Я думаю, сын мой, что конунг, обладавший твердой и несокрушимой волей, позволявшей ему скрывать самые тайные мысли и не произносить последнее слово, знал, что делает, когда явил нам крайний предел своей души. Думаю, он понимал, что в минуты ярости он вел людей именно своей яростью, освобождая в них последние силы и пробуждая в них сочувствие... И презрение...

— Наверное, ты прав, отец. Он был велик и, когда давал пощаду и когда расправлялся с людьми, велик и в своей бессильной ярости, и в отчаянии, и в редкой способности обращать страх перед адским огнем в силу, помогающую избежать ада...

— Но и у него были недостатки, мой сын! Если бы конунг не узнал, что Унас вернулся, он не поддался бы слабости и мы не поплыли бы в Нидарос. Пусть только один раз, но он уступил своему желанию верить, будто архиепископ Эйстейн стоит на нашей стороне. Лишь потому, что мысли его были заняты Унасом, — отец он ему или нет, — конунг не сумел сосредоточиться на более важном, и его люди легли на берегу среди камней...

— А помнишь, отец, как мы шли после сражения под Хаттархамаром, как конунг гнал нас все вперед и вперед, день за днем, ночь за ночью, в страну свеев за новым оружием? Помнишь наши налеты на отдаленные усадьбы, стоны и крики, людей на всех хломах и пригорках, этот долгий, долгий путь? Помнишь тоску по братьям из Сальт-

неса, новых людей, занявших их место? Но все-таки мы снова захватили Нидарос! Архиепископ Эйстейн был в Бьёргюне, мы узнали об этом и напали на Нидарос. Ту зиму мы провели там в безопасности, надежно защищенные морозом, метелями и штормами. Хорошая была зима.

— Да, да, мой сын, это была лучшая зима в моей жизни! Помнишь, как конунг показал себя конунгом и в мирной жизни, — позволь мне так это назвать, — молодые люди стекались к нам из всех селений, потом приходили их отцы, конунг посадил своих людей в усадьбах, что принадлежали Эрлингу Кривому, и сторого-настрога приказал обходиться с людьми мягче, чем с ними обходился ярл. Несмотря на мороз, он заставил людей строить корабли, кипела и текла смола, звенели топоры, бонды привозили в Скипакрок бревна. И повсюду был конунг! Хагбард Монетчик налил в формы первое серебро, и пошли первые монеты со знаком конунга Сверрира. И когда конунг на заре, в мороз и буран, осматривал строй своих людей, они поднимали топоры за него, а не против него, и он доставал из кошелька, что висел у него на поясе, монеты и одаривал их...

— Да, хорошая была зима! Осуществилась заветная мечта Халльварда Губителя Лосей, потерявшего еще один палец, — он заснул пьяный, а проснувшись, обнаружил, что во время сна кто-то отхватил ему палец, — он все-таки стал пекарем конунга. Когда в конунгову усадьбу из города или из ближних селений приходили гости и служанки приносили хлеб, конунг громко подзывал к себе Халльварда и говорил: Этот человек печет мой хлеб...

— А близнец... Тот из близнецов, который зарубил Вильяльма из Сальтнеса?.. Помнишь, как Вильяльм летним днем по приказу конунга отрубил руку одному из них? А потом в Сальтнесе другой брат зарубил Вильяльма? Мы взяли в плен их обоих, Торгрима и Тумаса, второй раз за свою жизнь они сидели в подземелье конунговой усадьбы. Люди говорили: Есть только один суд! Но конунг был милостив: первому брату отрубили правую руку, теперь конунг приказал отрубить второму левую. Так и сделали. Братья сохранили пару здоровых рук на двоих...

— А девушку, которую должны были повесить за воровство, все-таки повесили. В наше первое пребывание в Нидаросе ее хозяин

дважды приходил с ней к конунгу и говорил: Она крадет у меня, покажи, что ты конунг, и повесь ее! Но конунг сказал нет. Теперь этот бонд пришел в третий раз, валил снег и был сильный мороз, он снова привел девушку. Она обокрала меня, сказал он конунгу, повесь ее. Ты правда украла? — спросил конунг. Да, ответила девушка. Тогда я должен тебя повесить, сказал конунг. Да, сказала девушка.

Валил снег и был сильный мороз, я шел за ними, и у меня замерзли руки. У тебя замерзли пальцы? — спросил я у девушки. Да, ответила она. Тебя сейчас повесят, сказал я. И ее повесили.

Когда я возвращался в конунгову усальбу, из снежного вихря вышла другая молодая девушка и дала мне луку.

В тот вечер у меня было тяжело на душе, и у конунга тоже, мы сидели у очага, не прикасаясь к чашам, что подали нам служанки. Пришли братья из усадьбы у подножья Лифьялль и с ними их добрый друг Эрлинг сын Олава из Рэ. Они учтиво подошли к конунгу и сказали:

— Нам нечего сообщить тебе, государь, но зима сурова, а ночи так длинные.

— Садитесь к огню, — пригласил их конунг.

В ту ночь мы не говорили о Боге и всяких глубокомысленных вещах, мы говорили о женщинах, тех, что имели, или тех, что хотели бы иметь, только разговор о женщинах мог принести радость в такую ночь. Я сказал: Когда-то я встретил молодую женщину, она дала мне луку. У нее были красивые глаза? — спросили они. Да, ответил я, и грустные. Она легла на твое ложе? — спросили они. Она вошла в мои сны, ответил я...

— А Гаут? Помнишь, мой сын, он жил у ручья, который называли его именем? Неподалеку была могила, в которой он когда-то похоронил свою отрубленную руку. Конунг попросил Гаута помочь корабельным плотникам, но Гаут отказался. У меня осталось мало времени, и я хочу потратить его на то, чтобы тесать камни для церквей Божьих, сказал он. И упиваться своей гордыней, заметил конунг. В таком случае мы с тобой схожи, государь, и все-таки в твоих словах есть горькая правда. А ты позволишь мне работать, не получая за это серебра? Ты заслужил это, ответил конунг. Тогда Гаут пришел в Скипакрок со своим топором, он был знатный плотник. Но серебра от конунга он так и не принял...

А Сесилия? Отец, помнишь Сесилию, сестру конунга, которая взяла Унаса в свою свиту и отказывалась отпустить его? Почему она заступилась за Унаса, когда конунг хотел отослать его прочь? Я не знаю, отец, а ты?..

— Мой сын, человеческое сердце — это бездна, помни об этом! Эта беженка из Вермаланда, не имевшая мужа, красивая, но уже далеко не такая, как жаркой весной своей юности, была бессильна перед своим братом конунгом. Какие намерения были у конунга относительно Сесилии? Кому он хотел отдать ее в жены, перед кем она должна была скинуть свои одежды и кого ей предстояло напоить своим медом? Она была зла и ей был свойствен острый взгляд и сообразительность ее брата. Держа Унаса при себе, она имела оружие против конунга. И сестра Сверрира не приминула бы воспользоваться этим оружием...

— Но решительный день приближался. Зима была на исходе, мы знали, что с наступлением весны нам придется принять решение. Зима была сурова, только это помешало ярлу Эрлингу раньше подготовить корабли и пуститься по волнам на север. С ярлом был его сын конунг Магнус, с ярлом был и архиепископ Эйстейн. В долгих ночных беседах, что мы вели со Сверриром, мы часто называли два имени: имя ярла и имя архиепископа. Сверрир понимал: если ему удастся победить ярла, он получит власть над страной. Если же он победит архиепископа, он получит власть над народом.

Вот тогда они и пришли. Помнишь, отец?..

— Помню, мой сын...

— Подойди поближе, отец, дыши мне в шею, позволь мне услышать твой голос сквозь шквалы ветра, сотрясающие Рафнаберг. Ты помнишь, что произошло, когда ранней весной мы спустили свои корабли на воду и отправились на юг, чтобы завоевать Бьёргюн прежде, чем ярл явится сюда, чтобы завоевать Нидарос? Наши корабли встретились с кораблями ярла, идущими на север, их было в три раза больше, чем нас, мы подняли все паруса, они шли прямо на нас, мы взяли курс в открытое море, они тоже. Помнишь, отец? Помнишь, как люди кричали от страха, и конунг не мог заставить их замолчать? Мы слышали победные кличи с ближайшего вражеского корабля — там на борту был ярл. Помнишь отец?..

— Помню, мой сын...

— Тогда Сверрир встал на корме и начал молиться, в Кирккюбё он был священником, а теперь стал конунгом в стране норвежцев. Он молился громко, словно хотел заставить Господа повиноваться себе, его молитвы летели над волнами, его горячая вера с ветром взмывала к небесам, к Богу и Деве Марии. И тогда на море опустился туман. Мы были спасены.

Ты помнишь это, отец?

— Помню, мой сын...

— Что ты думаешь об этом, отец?..

— Я не думаю, Аудун, я верю...

— Мы вернулись в Нидарос, зная, что за нами идет Эрлинг Кривой, его сын конунг Магнус и все их люди.

Мы знали, что это будет решающая встреча.

— Отец, прежде чем ты снова покинешь меня, скажи встретил ли ты на небесах мою добрую матушку фру Раннвейг из Кирккюбё?..

— Моя душа — в ее душе, Аудун, а ее — в моей. И в нас обоих сияет свет Девы Марии, данной всем нам Господом Богом...



ЯРЛ ЭРЛИНГ КРИВОЙ

Тножество кораблей ярла Эрлинга Кривого идут вслед за нами. Мы на веслах вошли в Скипакрок и там пришвартовались, конунг первым спрыгнул на землю. Он приказывает людям оставить сундуки на кораблях с ключами в замках и взять с собой только оружие. Отряд за отрядом собирается вокруг своего предводителя, нас в общей сложности — четыре сотни, людей у ярла больше тысячи.



Длинной цепью мы идем в город, впереди несут стяг конунга Сверрира, Рейольв из Рэ поднимает рожок и трубит приветствие Сверрира ярлу Эрлингу Кривому. Мы видим нашего противника — его корабли входят во фьорд, воины стоят вдоль бортов с поднятым оружием и смотрят на нас. Между нами расстояние в пять или шесть полетов стрелы. Мы быстро проходим мимо церкви Христа, то один, то другой, подбегает к церкви, прикасается губами к каменной стене и спешит дальше. Мы проходим мимо усадьбы архиепископа, у ворот стоят два стража, но сам архиепископ на юге в Бьёргуне, если только не вернулся сюда с ярлом Эрлингом. Мы проходим через мост, сворачиваем направо и скрываемся в небольшом лесочке. И лежим там, тесно прижавшись друг к другу.

День теплый, и в лесу жарко, но уже вскоре мы слышим тяжелый топот. Они идут в ногу, должно быть, по четыре в ряд, мы не видим их, а они — нас. Мы слышим, что они останавливаются перед узким мостом и выжидают, потом попарно переходят мост и снова выстраиваются уже на нашем берегу. Теперь до нас доносится голос ярла, но слов разобрать еще нельзя. Мы еще не знаем, свернут ли они в распадок, где залегли мы, или пойдут вдоль берега реки. Топот удаляется. Один из наших лазутчиков машет нам, и тогда мы налетаем на них.

Сейчас у ярла Эрлинга за спиной узкий мост через реку. Подлесок мешает нам бежать, задний отряд ярла быстро поворачивается и яростно отбивается от нас. Мы рубим направо и налево, но большая часть наших зажата крутым склоном, мешающим людям пользоваться оружием. Ярл Эрлинг Кривой соображает быстро. Пока его задний отряд удерживает нас, он ведет остальных людей вдоль реки к мосту. Мы рубимся изо всех сил. Ярл переходит через мост и исчезает. Падает последний человек из отряда, который сдерживал нас, но остальные люди ярла уже в безопасности. Если мы бросимся их преследовать, мы окажемся на мосту, открытые их стрелам, а дальше нас встретят его главные силы, уже выстроившиеся у церкви Христа.

И тут мы видим его...

Видим ярла Эрлинга Кривого, он стоит, широко расставив ноги, и смотрит на нас. Его легко узнать по криво сидящей голове — таким мы видели его два года назад в Тунсберге. Он постарел с тех пор, на нем богатый плащ, которым он выделяется среди всех, наш же Сверрир одет в серое, как и его люди, и сливается с ними. Нам никто не мешает смотреть через реку на ярла...

Ярл Эрлинг Кривой, давным-давно, когда ты был красив и молод, ты отправился морем в далекий Йорсалир. Тебе была нужна слава, и ты, викинг с огнем Христа в сердце, добился ее. Умный, опасный, жестокий, глухой к милосердию, ты не щадил никого. Ты подавлял каждого, кто объявлял себя конунгом Норвегии, ты сзывал своих людей и звенели клинки, а потом твои люди возвращались и говорили: Мы победили того, кто объявил себя конунгом! А как сейчас? Если в твоём старом сердце стучит страх, значит, лев из Йорсалира уже не лев, а лисица. Ярл Эрлинг Кривой! Не колют ли старые грехи твои нагие ступни, подобно остриям мечей, не затягивает ли туман

сомнения твое высокомерное сердце? Понимаешь ли ты, ярл Эрлинг Кривой, что сегодня встретил противника, который сильнее тебя?..

Ярл приказал большому отряду охранять мост, остальную часть войска он увел к кладбищу у церкви Христа. Сверрир оставил несколько человек в дозоре на нашей стороне, потом мы вернулись назад по реке и разбили там лагерь. Конунга одолевали сомнения. Его первое намерение — напасть на ярла с тыла — не удалось. Если ярл уйдет из Нидароса, — во что Сверрир не верил, — снова начнется погоня через всю страну. Если мы сразимся с людьми ярла, выстроенными в боевом порядке, воинственно кричащими и топающими ногами за сплошной стеной из щитов, день может оказаться для нас тяжелым и вечер не принесет радости.

И тем не менее именно это желание проснулось в Сверрире и начало брать верх над всем остальным. Думаю, оно было продиктованно полученным им в удел горем, которое он редко обнаруживал перед своими людьми. Оно порождало мрачность, а мрачность — желание, чтобы все поскорей кончилось. Он был готов осмелиться на невозможное и просить Бога выбрать между ярлом с его упорством и конунгом, получившим в удел горе.

Он спрашивает у нас:

— Осмелитесь ли вы на то, на что осмелюсь я? Я хочу предложить ярлу свои условия и сказать: Выстрой своих людей в боевой порядок на любом месте, где хочешь, и сразись с нами сегодня! Осмелитесь ли вы на такое?

— Да! — кричим мы в ответ.

Мы знаем, что людей ярла в три раза больше, чем нас. Конунг велит Гудлаугу спуститься к опорам моста — он должен соблюдать осторожность и прикрыться щитом — и обратиться оттуда к людям Эрлинга ярла. По своему происхождению этим людям не положено говорить с посланцем конунга Сверрира, поэтому они посылают за своим предводителем и тот приходит, прикрываясь щитом от стрел. Гудлауг кричит:

— Конунг Сверрир предлагает сегодня Эрлингу ярлу на выбор три условия. Вы можете пройти по мосту в Спротавеллир, Сверрир и его люди отойдут и вернутся, когда вы уже построитесь в боевой порядок. Потом мы сразимся, и пусть Бог позволит победить достойному. Вы можете, если ярлу это больше по душе, сами выбрать

место для сражения. Тогда мы перейдем через мост и разобьем вас, если на то будет воля Божья. И вот третье условие: ступайте в Эйрар в устье реки Нид, постройтесь там и сразитесь с нами, а Бог сам решит, кому победить.

— Я позабочусь, чтобы ты расстался с жизнью, и Бог поможет мне! — отвечает Гудлаугу человек ярла.

— А если не поможет, ты сам расстанешься с жизнью еще до наступления ночи! — кричит ему Гудлауг.

Человек ярла покидает мост. Он идет задом наперед, подняв щит, пока не отходит на безопасное расстояние, где его не достанет стрела. Потом поворачивается и бежит к ярлу Эрлингу.

Позже мы узнали, что ярл сказал так:

— Не пристало мне принимать условия от конунга, который не имеет права называться конунгом! Он сын гребенщика, а я ярл Эрлинг Кривой...

Ярл Эрлинг Кривой, рядом с тобой на солнцепеке спит твой сын, конунг Магнус. Ты храбро боролся ради него, тебе удалось даже увенчать его голову короной конунга, хотя твой сын и не сын конунга, конунгом был лишь его дед по матери. Ради сына ты купил могущественного архиепископа Эйстейна, и он короновал твоего сына. Да, да, ради сына ты совершил много черных дел, и еще неизвестно, сможешь ли ты искупить свою вину в чистилище или будешь вечно гореть в адском огне. Ты мало спал по ночам и всегда бодрствовал днем, твой меч всегда был обнажен, за тобой тянулся кровавый след и тебя опережал ужас перед твоими деяниями — таким образом ты расчищал дорогу своему сыну.

Сейчас он спит на солнцепеке.

Ты склоняешься над ним и ерошишь ему волосы, он отворачивается и ворчит. Часто ли тебя мучило сомнение: а способен ли твой сын выдержать то, что выдержал ты? Может, он вовсе и не способен на это? Может, ты пожертвовал всей своей жизнью и вечным блаженством ради сына, который ни на что не способен? Не бьет ли тебя сейчас дрожь, ярл Эрлинг Кривой?..

Ярл Эрлинг Кривой отказывается от трех условий конунга Сверрира, мы снимаемся с места и по восточному берегу идем в сторону Клеппабу. Мы идем гуськом, один за другим, так, чтобы казалось, будто нас очень много. Впереди несут стяг конунга Сверрира, сзади

едет Рейольв из Рэ со своим рожком и посылает ярлу Эрлингу Кривому привет от конунга Сверрира.

Ярл Эрлинг Кривой не знал намерений конунга Сверрира. Конунг довел своих людей по реке до маленькой усадьбы, которая называлась Кот. Там он велел раскатать дом — других бревен взять было неоткуда — и сколотить плот, и в течение вечера и ночи, пока над землей лежали синие сумерки, мы все, четыре сотни человек, переправились на другой берег. Но отдохнуть мы не стали, а той же ночью перебрались через болота Тьодмюрар, прыгая с кочки на кочку и потеряв по пути двух лошадей. Смертельно усталые мы пришли в Став в Гаульдале, но конунг не разрешил нам отдохнуть. Он заставил людей найти лодки и, лишь когда мы перебрались в челнах через реку Гауль, сказал, что теперь можно и отдохнуть. Он быстро заснул. Но вокруг были выставлены сильные дозоры.

Есть нам было почти нечего, однако за эти годы мы научились отгонять мысли о еде, когда ее у нас все равно не было. Я лежал в полудреме и вдруг услышал рядом громкие голоса. Я вскочил. Двое наших захватили в плен бонда. Он ехал в город, чтобы продать там мешок солода. Проснулся и конунг. Люди хотели сразу зарубить бонда, но конунг сказал:

— Поезжай с миром в город, наш путь лежит не туда. Мы сейчас поднимемся и пойдем на юг. И если нам повезет, то к вечеру мы будем в Медальхусе.

Бонд уехал, радуясь, что легко отделался.

А мы ушли в лес и скрывались там трое суток.

Потом мы собрались и отправились на новое свидание с ярлом Эрлингом Кривым...

Ярл Эрлинг Кривой, помнишь ли ты тот день, когда ты повелел своим людям схватить мальчика, которого твоя гордая жена родила от другого, пока ты ходил в Йорсалир? Его отцом был конунг Сигурд Рот, опять он. Ты схватил его, потому что знал: по праву рождения однажды он может потребовать себе корону конунга этой страны. Твоя жена пыталась выцарапать тебе глаза и укусила за руку так, что у тебя брызнула кровь, ты отшвырнул ее, но она снова бросилась на тебя и ты велел связать ее, твой сын Магнус молил тебя пощадить мальчика, его единоутробного брата, но ты не внял ему и велел повесить ребенка. Чтобы он не оказался потом опасен для твоего сына.

Твоя жена покинула Норвегию.

Ты был бдителен, осторожен, подозрителен, твои люди докладывали тебе каждое слово, которое улавливали их длинные уши. Уж не потому ли ты сохранил власть и сберег жизнь, что лучше соображал и быстрее хватался за меч, чем тот, кто осмеливался выступить против тебя с оружием? Но теперь твои предводители пришли к тебе и спросили, можно ли верить бонду, который привез на продажу солод?..

— Ха-ха! — засмеялся ты. — Разве я сам не знаю, где сейчас находятся мои враги, не знаю, что человек, не имеющий права называться конунгом этой страны, бежит сейчас, точно заяц, через Доврафьялл? Я все знаю, я ярл Эрлинг Кривой...

Но ты не знал, ярл Эрлинг Кривой, что мы поднялись и пошли на встречу с тобой, чтобы победить или пасть, это уж как решит Бог. Мы перевалили через гору и вышли на склон Фегинсбрекка, оттуда в лучах утреннего солнца нам открылся вид на город с церковью Христа, похожей в туманной дымке на откровение Господне. Конунг Сверрир падает на колени и начинает молиться. Сперва он громко читает те молитвы, что мы читали дома, в Киркьюбё, — он сам же и составил их, когда мы с ним вместе сидели над Священным писанием, пытаясь обрести мудрость. Потом он поднимается, невыспавшийся, сильный, вспрыгивает на пень и обращается к своим людям.

Он говорит спокойно и тихо, и все-таки люди слышат каждое его слово. Я даже не знал, что он умеет говорить с таким жаром в голосе, находить такие пламенные слова, обращенные к каждому человеку в отдельности и проникающие ему в сердце. Он напоминает людям, сколько дорог они прошли по этой стране, о морозе, чуть не стубившем их в горах Согна, о роковом сражении под Хаттархамаром, унесшем столько наших лучших воинов.

— Но Олав Святой пришел ко мне и сказал: Вы должны были быть крещены в горькой чаше поражения, чтобы потом с достоинством нести венец победы. Этот день настал. Знайте же, мы будем сражаться и победим или будем сражаться и умрем. Пути назад нет. Знайте также и запомните мои слова, и как бы я ни раскаивался в них потом, я сдержу их. Каждый, кто сразит дружинника, станет дружинником. Каждый, кто сразит лендрманна, станет лендрманном. Помните об этом и сражайтесь под знаком святого конунга Олава. С

ним в нашем войске, с ним в наших сердцах мы встретим смерть... или победу... как будет угодно Богу.

И мы направились на встречу с ярлом...

Я ярл Эрлинг Кривой, мне говорят, что однажды в Тунсберге я встречался со Сверриром, — тогда он был совсем молодой, я мог бы шевельнуть рукой и мои люди схватились бы за мечи. Но откуда я мог знать, кто он? Или все-таки мог, но у меня не хватило сообразительности? Не знаю. Он уехал... Что думал он тогда обо мне, о ярле Эрлинге Кривом?..

Мы идем в Нидарос, чтобы сразиться с ярлом Эрлингом Кривым, идем открыто, днем, никто не в силах остановить нас. Мы слышим крики, несколько стражей — они все-таки были выставлены — пытаются удержать нас, одного мы зарубили на месте, другой убегает, но получает стрелу в спину и страшно кричит. Мы бежим мимо него.

Ярл Эрлинг Кривой, у тебя не было времени даже на то, чтобы зашнуровать кольчугу, ты бросаешься в битву с открытой грудью. Трубят рожки, но где все люди, где твои предводители, которые должны собрать воинов и построить их для боя? И где твой сын конунг Магнус? Ты бежишь к церкви Христа и целуешь стену, тебя окружают люди, которые тоже хотят поцеловать стену. Ты в гнев кричишь им: Не задерживайтесь слишком долго! У многих из вас будет потом достаточно времени, чтобы отдохнуть здесь. И ты выбегаешь из церковной ограды...

Мы бежим через мост, чтобы сразиться с ярлом Эрлингом Кривым, и выбегаем на поле, которое тут называют Кальвскинни, что значит Телячья Кожа. Ярл пытается построить на поле своих людей, разгорается жаркая битва, мы стараемся пробиться к ярлу, рядом с ним развевается его стяг. Люди вопят и рубят мечами, мало кому приходит в голову прикрываться щитом, конунг Сверрир верхом, он позади своих людей и подбадривает тех, кто нуждается в его поддержке. Но ее почти не требуется — каждый хочет пробиться к стягу ярла, все воинственно кричат и мечами прокладывают себе путь...

Ярл Эрлинг Кривой, помнишь, как тебя ударили мечом в шею, когда ты возвращался домой из Йорсалира? Помнишь, как жгло рану и как тебя лихорадило, долгие ночи, мольбы о воде, дурной запах, зажженные свечи и молящихся на коленях священников? За-

пах гари, откуда он шел, уж не из преисподней ли, которую тебе уготовили твои враги?..

Мы тесним ярла Эрлинга Кривого, отряд, прикрывавший его слева, отступает. Люди конунга Магнуса тоже отступают, теперь ярл с трех сторон окружен берестениками, но он держится. Он вопит, вопит и дерется, и каждый вопль ярла вселяет смелость в его людей. Мы рубим их одного за другим. Стяг ярла теперь далеко от него, волна наших воинов отнесла его людей назад. Кое-кто из наших, решив, что ярл должен быть рядом со своим стягом, бросается на своих. Сверрир орет, и стяг ярла падает с перерубленным древком. Мы опять все вместе. Будь ярл помоложе и не измени ему острота мысли, он мог бы бросить своих людей вперед, пока наши были охвачены смятением. Но вперед бросает своих людей Сверрир, вперед, против ярла Эрлинга Кривого...

Ярл Эрлинг Кривой, однажды в Тунсберге твои люди пришли к тебе и сказали: Мы схватили монахиню. У нее в поясе был пузырь с ядом, она хотела вылить его в твою чашу. Какая судьба ждет эту женщину, монахиню нашей святой церкви? Ты ответил: Отрубите ей голову. И монахине отрубили голову...

Отрубите ей голову, и голову отрубили, — где она теперь, эта монахиня, сидит у ног Девы Марии и смотрит вниз, плачет от бессилия или улыбается от радости? Помнишь ли ты вкус клинка, вошедшего тебе в шею, после которого ты окривел, ярл Эрлинг Кривой?

Ярл видит, как слева от него падают его люди, видит и своего сына, конунга Магнуса, дорога к кораблям для Магнуса еще открыта, и он бежит туда. Конунг Сверрир бросает своих людей вперед, но дружина ярла еще сдерживает их натиск. Сквозь гущу боя мы видим конунга Магнуса — заберет ли он с собой своего отца ярла? Ярл борется, он шлет вперед свою дружину, но конунг Магнус бежит, бежит, бросив отца. Ярл что-то кричит ему вслед, что это, мольба или проклятие, что крикнул ярл Эрлинг Кривой своему сыну?..

Сквозь кровавый туман ярл видит искаженное страхом лицо сына, сын бежит. Он кричит отцу: Встретимся в лучшие времена, отец!

Ты получаешь удар копьем в живот.

Твои люди тут же расправляются с тем, кто его нанес, ты садишься и смотришь вслед бегущему сыну. Ты ранен, государь! — кричит твой человек. Со мной все в порядке! — отвечаешь ты.

Твои люди еще сражаются за тебя, за ярла Эрлинга Кривого...

Мы видим, как ярл опускается на землю, сражение продолжается, вокруг крики и кровь, люди конунга Сверрира идут и идут, и ничто не может остановить их.

Так пришел конец ярлу Эрлингу Кривому.



ЭПИЛОГ

Я, Аудун с Фарерских островов, верный спутник конунга Сверрира в добрые и недобрые времена. Я все еще нахожусь в усадьбе Рафнаберг в Ботне, зима тяжело нависла над этим забытым Богом и людьми жильем, прилепившимся на высоком уступе, обрывающемся в море. Со мной дочь конунга, йомфру Кристин, и ее молодая служанка, йомфру Лив. Со мной и мои люди — несколько верных воинов, они несут дозор на берегу и в лесу, дабы защитить наши жизни, йомфру Кристин и мою. Но двоих из тех, что были со мной, здесь нет: это Гаута, который без моего согласия отправился в Тунсберг к посошникам, и Сигурда, словно волк идущего по его следу.

Эти ночи в Рафнаберге рядом с йомфру Кристин до конца жизни будут окружены в моей памяти слабым сиянием. Наши лица казались пылающими от горящего в очаге огня, ее — молодое, девичье, мое — старое, изможденное, покрытое шрамами, полученными за долгую службу конунгу Сверриру. Мое лицо пылало также и от вина, которое я тянул из кубка, подаренного мне Сверриром в благодарность за то, что я молчал об одном из его тайных злодеяний. Йомфру Кристин, ты прекраснейшая из женщин и верная слушательница моего самовлюблен-



ного рассказа. Твой мягкий голос серебряным колокольчиком редко перебивал мой, глухой и хриплый, пока я вел свой рассказ, в котором снова встретил друга и недруга лучших дней своей жизни. Я снова сражался, но на этот раз это была схватка с правдой и моим противником был твой отец, конунг.

Йомфру Кристин, когда я предложил тебе кубок с вином, ты лишь чуть-чуть пригубила его, словно не хотела, чтобы твои юные, нетронутые губы почувствовали жар моих. И тогда мне, точно по прихоти дьявола, показалось, что и тебя в твоей целомудренности посещают не очень целомудренные мысли. Если бы я встал, дрожа, и посмотрел бы на тебя горячим взглядом мужчины, который в моей жизни женщины встречали с не меньшим жаром, ты не опустила бы своих прекрасных глаз, но уверенно встретила бы мой взгляд. Твоя одежда легка, йомфру Кристин, сверху на тебе плащ, затканый шелком и серебром... Но я успокаиваюсь, молчу и снова начинаю рассказывать прекрасную сагу о моем покойном друге и твоём отце конунге Сверрире, священнике из Киркьюбе на Фарерских островах, этих самых западных островах Норвегии.

С крыльца доносятся рыдания фру Гудвейг.

Фру Гудвейг — бедная, мужественная хозяйка Рафнаберга, она не слишком расположена к своим непрошенным гостям, остановившимся у нее по пути из Осло в Бьёргюн. По моему приказу она молится за йомфру Кристин, молится на крыльце завернувшись в овчинное одеяло, она — последний страж, отделяющий нас от наших врагов. Время от времени фру Гудвейг начинает громко рыдать на крыльце. Может, у нее от мороза трескаются ногти, или она обессилила от горячих молитв, или дьявол, шутя, схватил ее за загривок?

Фру Гудвейг снова рыдает, на этот раз в ее рыданиях отчаяние, я вскакиваю и хватаюсь за меч. Йомфру Кристин тоже встает, приподняв руки, словно защищаясь, она стоит спиной к очагу, готовая встретить врага. В покой входит Гаут. За ним — Сигурд.



Я приглашаю Сигурда сесть, молча, с достоинством я показываю и Гауту на скамью, стоящую у очага. Оба садятся, они покрыты льдом и пальцами поддерживают падающие веки, их большие руки

багровы от мороза. Гаут, к тому же, потерял один башмак, мы видим на полу его босую ногу. Плащ его изодран, полотно, которым был замотан обрубок руки, потерялось. Я не часто видел обнаженный обрубок руки Гаута, йомфру Кристин видит его первый раз в жизни.

Сигурд по-мужски немногословен:

— Я привел его обратно,

Я говорю Гауту:

— Скажи, Гаут, ты хотел без моего разрешения пойти к посошникам в Тунсберг и сказать им, что мы здесь?

Он поднимает тяжелое, честное лицо, скрывающее однако тайны, не разгаданные мной и по сей день. Его сила упрямо противостоит любой опасности, но иногда она вызывает у меня отвращение — эта упрямая доброта делает его опасным: для обеих враждующих сторон. Он говорит:

— Господин Аудун, мы знаем, что эта война между братьями началась еще до того, как мы оба увидели свет. Если она будет продолжаться, она потребует нашей жизни, в том числе и жизни йомфру Кристин, и лишит нас последних остатков Божьей доброты, еще сохранившихся в наших сердцах. Поэтому долг заставил меня пойти в Тунсберг к посошникам, чтобы сказать им: Мы остановились в Рафнаберге в Ботне! И с нами та, которую вы можете убить, если у вас хватит на это мужества, но помните, вместе с ней вы убьете и свои души и обречете их на вечные муки. Можете убить нас, мы не боимся ваших мечей, мы боимся только Бога. Убейте нас или придите и простите нас. Мы падём на колени и омоем ваши ноги, и йомфру Кристин, я в этом не сомневаюсь, сама подведет вас к очагу и скажет: Если вы мои братья, садитесь со мной. Мой долг велел мне сказать им это.

— Мы, Гаут, не в этом видим свой долг перед Богом и перед людьми, — возразил я ему. — Мой долг велит мне до последнего вздоха защищать дочь конунга, и ты знаешь, я созвал всех обитателей этой усадьбы — ты тоже был в их числе — и сказал: Тому, кто изменит нам, мы отрубим руку, независимо от того, сколько их у него...

Гаут ответил:

— Все, что у меня есть, к твоим услугам.

Он не дрожал, дрожал я. Я позвал Малыша и сказал:

— Приведи сюда всех, кто есть в усадьбе.

И они все пришли: бедный бонд Дагфинн из Рафнаберга с палкой в руке, его дрожащая от холода жена фру Гудвейг, которая покинула крыльцо, где читала на ветру молитвы. С ними пришла и их дочь Торил, в исподней рубаше, некрасивая, сильная, сонная, знающая моих людей лучше, чем я сам. У йомфру Лив на шее висело распятие, принадлежащее йомфру Кристин. Потом пришли мои люди.

Пусть они останутся безымянными, какими были и в сражениях. Если б они пали, скальды, прославлявшие конунга, не вспомнили бы их имен, их судьба была еще неведома и они, безымянные, мужественно шли ей навстречу. Вот они стоят здесь и пусть будет назван только один из них: Сигурд, который привел обратно Гаута.

Я спрашиваю:

— Вы помните, что я говорил?..

И медленно перевожу взгляд с одного на другого, они неохотно кивают, все смотрят на Гаута, он поднялся и стоит с обнаженным обрубком руки, освещенный светом очага, кажется, будто он хочет защитить свою единственную руку обрубком другой. Я говорю:

— Это не мои слова, я передал вам суровые и неумолимые слова конунга: Тому, кто нам изменит, мы отрубим руку. Ты знаешь, — я с жаром обращаюсь к Гауту, — что конунг всегда держал свое слово? Ты знал его, Гаут, почти так же хорошо, как и я. Ответь же мне честно, как перед Богом, так, словно от того, скажешь ли ты правду или солжешь, зависит, попадешь ты на небо или в ад: Держал ли конунг свое слово?

Гаут опускает голову и говорит:

— Он всегда держал свое слово.

— Так что же! — кричу я, и меня охватывает дурнота при мысли, что я должен произнести свой суд над моим другом, одноруким Гаутом, который постоянно появлялся у нас на пути, который голодал и мерз, когда голодали и мерзли мы, которому мы лгали и которого покидали, но он разгадывал нашу ложь и прощал нам, он не боялся ничего, но его одинаково боялись в обоих враждующих станах. Мы стояли друг против друга, он, мой друг, и я, его судья. Меня охватила слабость, и в то же время я был тверд, хотя меня терзали и страх и злость на Гаута, а сила прощения, которое он всегда излучал, как будто перелилась из его сердца в мое. Я крикнул ему:

— Думаешь, я скажу: Помните, конунг также и щадил своих врагов? Щадил, даже когда его люди считали, что он совершает ошибку. Думаешь, я скажу: Конунг получил в удел горе, поэтому он щадил даже врагов? Скольких людей он избавил от горькой смерти? Я знаю, ты ждешь, чтобы я это сказал!

Гаут не ответил, все молчали, я опустил капюшон плаща на лицо и сказал:

— Вы все ждете, чтобы я это сказал.

И тут я услышал тихий голос йомфру Кристин, я обернулся к ней, к дочери конунга, стоявшей в плаще, накинутом на исподнюю рубашку, красивой, неподвижной, окаменевшей от горя:

— Господин Аудун, что давало ему такую силу? — спросила она.

— А ты не знаешь? Ты, его дочь, разве ты не знала собственного отца? Что давало ему такую силу, ему, конунгу? Ты хочешь, чтобы я ответил тебе? — Я презрительно засмеялся и повернулся ко всем, точно хотел, чтобы они разделили мое презрение к словам йомфру Кристин. — Ты, — я снова смотрел на нее, — дочь конунга, скажи, каким был бы сейчас суд твоего отца?..

Она молчала и не хотела помочь мне, тогда я схватил Сигурда за грудки и встряхнул его:

— У тебя есть меч?

— Да, — отвечает он.

— Ты сын Сигурда из Сальтнеса, — кричу я, — твоей матерью была Рагнфрид, некогда монахиня, изгнанная с позором из монастыря за то, что уступила твоему отцу. Твой отец погиб в битве под Хаттархамаром, он тоже был моим другом, и другом конунга, он был тверд, как конунг, хотя его глаза и не видели силы прощения, как ее видели глаза норвежского конунга, но он был храбр в бою! Ты сам еще ребенком стал служить конунгу, а потом служил ему и зрелым мужем. Ты был близок конунгу. Ты сражался с ним бок о бок. Ты был одним из первых в его дружине, и когда он казнил и когда миловал. Ты знал конунга?

— Да, — отвечает он.

— И что же ты скажешь теперь? — спрашиваю я.

Он молчит.

Тогда я говорю:

— Ты воин, Сигурд, и я требую от тебя, знавшего конунга и его волю, увести этого человека из дома и там, в вое ветра, найди конунга. И поступи с Гаутом так, как поступил бы конунг.

— Ступай, — говорю я, — и приведи его обратно с рукой или без руки!

Гаут смотрит на меня и повторяет:

— Все, что у меня есть, к твоим услугам.

Они уходят.

И пока мы молча стоим вокруг очага и над Рафнабергом воеет вьюга, йомфру Кристин, прекрасная дочь конунга, обращается ко мне и снова спрашивает:

— Что давало моему отцу такую силу? Что он скрывал в сердце, чего не видел никто?

И я отвечаю:

— Твоим отцом конунгом владело неутолимое желание господствовать над людьми и столь же неутолимое желание позволить Богу господствовать над собой.

— Скоро они вернутся... — говорит она.

КОРЕ ХОЛТ
Конунг. Человек с далеких островов
Конунг. Изгон
Романы

Редактор
Н. Будур

Художественный редактор
И. Марев, Т. Хрычева

Технический редактор
Н. Привезенцева

Корректор
И. Сахарук

Компьютерная верстка
Е. Фунтова

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 01.10.96 г.
Уч.-изд. л. 33,02. Цена 24 800 р.
Цена для членов клуба 22 500 р.

Издательский центр «ТЕРРА».
113184, Москва, Озерковская наб.,
18/1, а/я 27.

Конунг.

К 64 Холт К. Конунг. Человек с далеких островов. Холт К. Изгон / Пер. с норвежск.
Л. Горлиной. — М.: ТЕРРА, 1996. — 568 с.:ил. — (Викинги)

ISBN 5-300-00778-1

В очередной том серии «Викинги» вошли 2 первые части трилогии «Конунг» известного норвежского писателя Коре Холта, в которой рассказывается о периоде внутренней распри в Норвегии в XI веке.

В центре повествования — самозванец Сверрир, талантливый военачальник, искусный политик и дальновидный государственный муж.

На русском языке публикуется впервые.

К 470300000-540 Без объявл.
А30(03)-96

ББК 84.4 Нр.

vikings

Викинги

«О Сверрире конунге горевали все его люди и ближайшие друзья, и даже враги его признавали, что не было в их времена в Норвегии человека, подобного Сверриру».

«Сага о Сверрире», XII век

Он был «величием конунгов, столпом и опорой, примером и образцом благочестия, мужества и храбрости, твердости и великодушия, щитом и прибежищем своей отчизны и вотчины, доблестью и отвагой, грозой врагов и славой Норвегии, гордостью своего народа, опорой правосудия, расцветом законов и любовью всех своих подданных».

«Сага о Сверрире»

Впервые в мировой книгоиздательской практике «ТЕРРА» издает серию «Викинги», в которой представляет литературные произведения, повествующие о славных подвигах и приключениях морских разбойников Средневековья.

